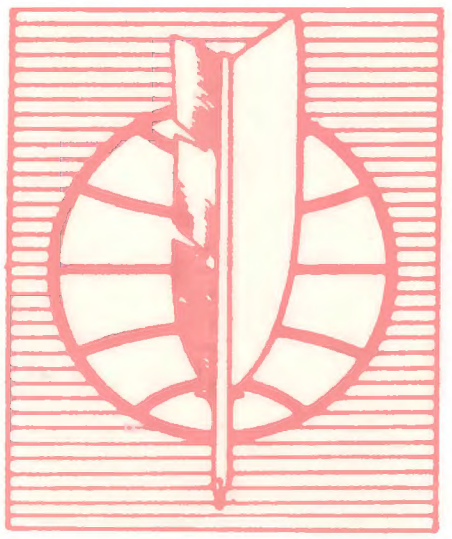
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ



БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Литературные сказки зарубежных писателей

●

ШАРЛЬ ПЕРРО
ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН
БРАТЬЯ ГРИММ
ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ
ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН
ОСКАР УАЙЛЬД
СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ

●

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1982

Scan by Tom Platz

С63
Л64

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В Н.
Стукалин Б И.
Танк Максим
Шолохов М

*

Предисловие
ЮРИЯ НАГИБИНА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и рисунки
Н. Г ГОЛЬЦ

О СКАЗКАХ И СКАЗОЧНИКАХ

Сказки бывают разные, но в науке литературоведения до сих пор не создано единой классификации. Разные исследователи предлагают свои варианты, весьма серьезно обоснованные, но не выдерживающие проверки живым материалом сказок. Наиболее часто встречается деление сказок на волшебные (тут вроде бы нет разногласий), нравоучительные, биологические (сказки о животных) и новеллистические.

Не будем углубляться в научные споры, занимающие куда более оснащенные познаниями умы, к тому же в данном сборнике представлены в основном волшебные сказки. Но и это понятие, принятое всеми безоговорочно, тоже зыбко и весьма приблизительно.

Разве волшебные превращения исключают мораль и разве нельзя любой сказке придать новеллистичность? Волшебное почти всегда присутствует в сказках о животных, достаточно того, что они разговаривают на человечьем языке, что довольно редко случается в действительной жизни, но кажется совершенно естественным в сказке.

Еще сказки делятся — и это бесспорно — на народные, созданные коллективной фантазией наших предков, и на литературные, авторские, являющиеся плодом писательского творчества. Посредине находятся народные сказки, подвергшиеся литературной обработке, таковы сказки братьев Гримм или Афанасьева. Надо сказать, что крайне редко сказка является плодом чистого вымысла писателя. Знаменитые сказочники: Перро, Гауф, Андерсен, Лагерлёф — черпали из фольклорной сокровищницы, заимствуя оттуда сюжеты, многие образы и мотивы. Сильные творческие индивидуальности, они зачастую бесконечно далеко уходили от народной первоосновы, и все же можно без особого труда обнаружить в их искрометных творениях отзвуки тех

наивных и мудрых небывальщин, которые в далекие дни детства люди моего поколения слышали от своих бабушек и неграмотных нянек. Легко догадаться, что это написано человеком, разменивающим седьмой десяток, в нынешнее просвещенное время нет неграмотных деревенских нянек с напевным голосом, а бодрым и деловитым бабушкам не до сказок.

Когда сейчас взрослые люди рассказывают сказки маленьким детям, они чаще всего ломаются, играют в дурачков, ибо не верят в то, что говорят. А моя бабушка верила и в Кощея Бессмертного, и в Бабу-Ягу, и в Лешего, и в говорящую мертвую лошадиную голову. Я понимал, что она верит, замирал от ужаса, и в ужасе этом была поэзия сопричастности инобытию, вечной тайне. Сейчас дети редко-редко услышат из уст взрослого настоящую сказку. В лучшем случае их попотчуют неким суррогатом из обрывков далеких, забытых снов и современных «мультяшек». Настоящую сказку можно получить только в книге.

Почему дети так тянутся к сказке? Принято считать, что сказки просты, доходчивы, понятны. Но, клянусь, мне куда легче разобраться в громоздах современной прозы, чем понять навороты «Финиста — ясного сокола» или мудреные сказы о подвигах Бабы-Яги — костяной ноги. У меня от одной этой костяной ноги ум за разум заходит. Почему «костяная» нога? Нигде в сказках это не объяснено. Почему «избушка на курьих ножках»? Почему Иван, желая войти в эту лесную избушку, просит: «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом» — не проще ли обойти? Когда же я наконец решил разобраться в простейших началах сказки, то попал в такие непролазные джунгли, что с трудом выпутался, уразумев лишь самую малость.

Оказывается, в основе волшебных сказок лежат народные верования и обряды древнейшей, доклассовой поры человеческого общества — родового строя. Подавляющее большинство сказок связано с обрядом инициации — посвящения в мужчины. Смысл этого обряда состоит в том, что молодых людей, достигших возраста, когда можно охотиться, рыбачить (земледелия в ту пору не существовало), а также вступать в брак, отводили в глухой лес или заросли, в укромную хижину и подвергали всякого рода суровым, даже жестоким испытаниям, чтобы проверить их мужество, смелость, стойкость, выносливость. Мучения были столь велики, что посвящаемые впадали в бессознательное состояние. Иные умирали, и племя таким образом избавлялось от больных, слабых, неполноценных. Те же, что с честью выдерживали испытания, пройдя через эту временную смерть, воскресали в новом образе: мужчины, охотника, полноправного члена племени. Их знакомили с мифами и всеми тайнами племени,

скрытыми от непосвященных, они могли ходить на охоту, участвовать в мужских плясках и пении. Считалось, что теперь им ведом язык зверей и птиц.

Этот мотив особенно часто встречается в сказках и отражает уверенность наших далеких предков, что великим охотником может быть лишь тот, кто познает душу зверя. Тогда твоя охота — основа жизни — станет добычливой, счастливой. Древний охотник не мог полагаться на свое примитивное охотничье вооружение, ему надо было найти помощников среди самих зверей. У каждого племени был свой почитаемый зверь — тотем. То была религия первобытных людей: каждое племя считало себя в родстве с тем или иным животным, которое было не то что божеством, а родичем, другом, помощником. Чтобы породниться со зверем, надо «пройти сквозь него», побывать в его шкуре, поэтому лесная хижина, куда отправляли молодых людей, имела вид какого-нибудь зверя. А потом, когда изменились условия жизни, или, говоря по-научному, производственные отношения, и общество из охотничьего стало земледельческим, обряд посвящения в своем прежнем виде потерял смысл, ибо теперь не лес кормил человека, а земля, и дикий зверь уступил место домашнему скоту, пропал и смысл хижины-зверя, но сказка безотчетно помнила об этом и сохранила «избушку на курьих ножках».

Считалось, что лесной домик, в котором происходила инициация, обращен входом не просто к чаще, а как бы к загробному миру, куда в должное время предстоит «окунуться» посвящаемому. И чтобы до срока не оступиться в инобытие, домик надо повернуть, вот откуда взялось в сказках обычное заклинание: «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом».

Обряд долговечнее породившей его действительности, а сказка куда долговечней обряда. Мнимые бессмыслицы и нелепицы сказок коренятся в сложном и торжественном обряде посвящения в мужи-охотники, давно утратившемся в живой народной памяти.

С переходом к земледельческому обществу некогда осмысленное и важное действо стало ненужным, даже вредным. И вот почтенная хранительница лесного дома превратилась в злую Бабу-Ягу, змея из помощницы человека стала кровожадным змием (в русской сказке Змеем Горынычем), которому герой срубает все его семь огнедышащих голов. Сказка как бы осуждала и высмеивала обряд, пришедший в противоречие с изменившимися условиями жизни.

Я ограничиваюсь немногими примерами, чтобы показать, как сложен по своему происхождению образный мир сказки и как не случайны в нем любые, пусть нелепые с виду подробности,

придуманные вроде бы лишь для пущего страха. Нет, во всех своих деталях сказка повязана с действительной жизнью людей древнейшего общества, с их верованиями и мифами. Малый объем предисловия не позволяет сколько-нибудь подробно исследовать происхождение и становление сказки, а также развитие ее на разных этапах исторической жизни, об этом написаны толстенные тома, и все же по многим важнейшим вопросам ученые не пришли к единому и окончательному мнению. Я пытался лишь дать понять, какие глубины скрываются за странными, диковатыми, страшными, а порой смешными, дурашливыми образами, кочующими из сказки в сказку.

То, что сказка возникла преимущественно из одного источника: верований первобытного общества, основой жизни которого была охота,— объясняет и такое поразительное явление, как сходство сказок народов, населяющих землю, в том числе народов, никогда не соприкасавшихся. Аборигены Австралии, папуасы Океании рассказывают те же сказки, что и американские индейцы, насельники далекого Севера и Сибири, Средней и Центральной Азии, африканских тропиков, европейских деревень и городов. Тотемизм, прарелигия всего человечества,— та общая почва, на которой выросли сказки. Передаваемые от дедов к внукам, они докатились до наших дней, порой весьма близкие к своему изначальному образу, порой изменившиеся до неузнаваемости.

Почему все мы в детстве так любим сказки? Воображению необходимо что-то не совсем от жизни, что-то таинственное, чудесное, страшное, но непременно со счастливым концом. Чувство справедливости является, видимо, врожденным, и невыносимо, чтобы доброта не вознаграждалась и торжествовало зло. Жизнь постепенно приучает нас к этому. Все сказочники неукоснительно следуют традиции счастливой развязки, кроме одного Андерсена: Русалочка гибнет, так и не добившись любви принца, но ведь датский кудесник создавал свои сказки и для детей, и для взрослых.

Я не очень отчетливо помню, что было со мной год, месяц и даже две недели назад, но поразительно отчетливо моя память хранит все воспоминания самого раннего детства и даже представления о том, что я ощущал до пробуждения памяти. И от лица того, каким я был более полустолетия тому назад, могу утверждать: да, я любил таинственное, ибо сам еще был причастен жгучей тайне, я только что расстался с предбытием, пришел в этот солнечный мир из тьмы вечности. Я был исполнен величайшего чуда, которым является рождение человека — мыслящей материи, пусть я еще не мыслил, лишь продирался к мышлению сквозь туман символов, видений и обставших со всех сторон загадок, и это не мое личное, а принадлежащее началу каждой человеческой жизни. Тут мы все похожи на наших исторических

предков, что впервые обнаружили в себе человека, хотя еще не называли себя так.

До чего же беспомощен и жалок был первый человек: безволосый, голый, нетвердо державшийся на двух задних лапах. Своим единственным преимуществом — освободившимися передними конечностями он поначалу не очень-то умел распорядиться, а вот бегать, ходить, лазать, даже просто стоять на двух подпорках вместо прежних четырех сильных лап было куда как трудно. Далекий наш предок не мог состязаться в скорости ни с одним четвероногим, за исключением разве черепахи. К тому же тонкая лысая шкура плохо защищала от стихий и врагов, и весь его аппарат добычи и обороны был ничтожен: ни рогов, ни копыт, ни бивней, даже сильными клыками и острыми когтями не располагал будущий властелин земли. Другие слабые создания не понимали своей жалкости и покорно существовали в данном им природой образе, но человеку, взамен многих потерь, был отпущен странный дар сознавать себя, знать цену своей сути. Человек постиг свою незащищенность и смертельно испугался окружающего мира. Испугался зверей, птиц и рыб, испугался деревьев, гор и рек, испугался неба и земли, испугался явлений природы и от испуга обожествил всех и вся, то есть поставил над собой.

Это была первая вера — религия человека, отсюда возникли мифы — предтечи сказок.

Чтобы уцелеть, надо обрести власть над враждебными силами, и прежде всего над зверьем, ибо в нем главный источник жизни. Слабый человек не был травоядным, рано открыл в себе хищника. Едва освободив руки, он поднял камень и швырнул им в пролетавшую мимо птицу. Затем схватился за палку; много позже придумал копье, топор, бумеранг, томагавк, нож; еще позже — лук и стрелы. Но все равно человек оставался очень слаб и с трудом добывал себе пропитание. Зато он уже умел мечтать и в мечтах видел себя счастливым добытчиком. Для этого мало ловкости и силы, надо войти в доверие к своим недавним собратьям, вновь породниться с ними, отыскать среди них могучих покровителей, верных помощников. Тот, кому это удавалось, кто входил в доверие к Главной выдре, Главному леопарду или к Главному бизону, становился Великим охотником и вождем.

Я тоже тянулся к зверям, какое счастье иметь собаку, кошку, ежа, черепаху, певчую птичку или золотых рыбок! Я обожал книжки, устные рассказы и фильмы про зверей. И несомненно, понимал язык зверей, а звери понимали меня. Можно подумать, что я помнил о времени, когда человек с помощью зверей становился тем, что он есть. И мне хотелось, чтобы со мной говорили на том древнейшем языке, каким является сказка.

Эта причудливая темная речь была мне куда понятнее и ближе, нежели трезвый язык дневной обыденности. Я брал конфету истины лишь в обертке таинственного, загадочного, волшебного. Странный, волнующий язык сказки ближе тому миру (коли позволено назвать миром — небытие), из которого в то далекое время я только что появился. Помните, у Лермонтова: душе, принесенной ангелом в наш печальный мир, «скучные песни земли» не могут заменить утраченных звуков небес.

Я, как и все мои тогдашние сверстники, задавал порой совершенно дикие, с точки зрения взрослого человека, вопросы, например, о стуле: «А он — что?», или о бабочке: «Кто она?» Но мы никогда не спрашивали подобного о Бабе-Яге или Кощее Бессмертном. Мы их сразу узнавали, они — из того черного провала, откуда мы сами недавно пришли; похоже даже, что мы там с ними встречались. Во всяком случае, фантастическая нежить была нам понятнее, нежели Иван-царевич, Иванушка-дурачок или царевна Несмеяна. Мне думается, в глубине своей новосел мира постигает то, что, уходя из рук Бабы-Яги или Кощея, герой сказки обманывает смерть. И мы учимся в сказках любить жизнь, ненавидеть смерть, учимся, конечно, не в школьном понимании, но к этому я еще вернусь в конце. Сказка укрепляет в нас чувство жизни, радость жизни, веру в жизнь.

Спокон века сказочник рисуется в двух образах: славного белобородого дедушки с хитроватым прищуром в бирюзовых глазах и доброй, уютной бабушки с очками на носу и вязаньем в руках (бессмертная красавица Шахразада, чарующая бессчетные поколения читателей дивной вязью своих небывальщин, все-таки не стала воплощением образа сказительницы).

Традиционное, освященное веками представление о тех, кто рассказывает сказки, переносится и на писателей-сказочников. Доброта и благость, необыкновенная любовь к детям, тихая мудрость и некоторая отрешенность от земных дел кажутся их непременными чертами. Таким нарисовал Ганса Христиана Андерсена другой необыкновенно добрый человек — Константин Паустовский. Может быть, в отношении Андерсена это и справедливо, хотя после недавней поездки в Данию автор «Русалочки» и «Калош счастья» предстал передо мной, в восприятии своих соотечественников, в ином свете — менее благостным, развинченно-романтическим и анемичным, а более живым, острым и заземленным.

И подавно не похож на доброго сказочника нервный, издерганный, саркастический, исполненный мистического ужаса перед непостижимостью мироздания и отвращения к обывательской пошлости Эрнст Теодор Амадей Гофман, умевший до экстаза восторгаться прекрасным, сочувствовать гонимым и непонятым и яростно ненавидеть самодовольных хозяев жизни, веривший

в волшебство и магию и с редкой проницательностью видевший всю подноготную земных дел. Он и сам мучительно ощущал свою раздвоенность, в нем жили две души, два разных человека, поэтому тема двойника проходит сквозь все творчество Гофмана. Бо́льшую часть взрослой жизни, за малыми просветами, когда существование его обретало цельность, Гофман жил в двух образах: исполнительного судейского чиновника, достигшего довольно высоких постов (он до скрежета зубовного ненавидел суд и судопроизводство), и необузданного романтика, чьи поэтические видения воплощались в литературе и музыке, а сарказм — в графике. Он поклонялся Моцарту, к имени, данном ему при крещении, он прибавил нежное имя своего кумира и стал Эрнст Теодор Амадей. Вдохновляемый творцом «Волшебной флейты», он и сам писал светлую, гармоничную музыку, озаренную причудливо-нежной фантазией. Но в графике он — сам дьявол, его карикатуры на окружающих мещан без промаха разили цель, не щадя никого, от убийственной насмешки не защищали ни важный чин, ни большая звезда на груди. Порой ему приходилось горько расплачиваться за эти злые шаржи. В рисунках Гофмана не было ничего от той мечтательной души, что напела оперу о речной деве Ундине.

В своих романах, новеллах, сказках Гофман сочетал оба начала: волшебное соседствовало с шаржем, нежные видения исчезали в раскатах сатанинского хохота. Нет, Гофмана никак не назовешь добряком. Его перо с изящной легкостью набрасывало эльфические образы детей и тут же, почти слышимо заскрипев, вычерчивало портрет филистера, судейского крючка, чиновника со сморщенной душой, блюдолиза-придворного и самого́ властелина — надутого болвана. И вновь без малейших усилий он уносится в мир причудливой фантазии, таинственных и страшных видений.

Он работал по ночам и нередко, напуганный собственными вымыслами, будил жену и просил посидеть рядом, пока он пишет.

Как естественно и просто под пером Гофмана волшебство вливалось в быт. Почтенная канонисса фон Розеншен, блюстительница приюта для благородных девиц, оказывается феей цветов Розабельверде из Джинистана в сказке «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». А как идиллически начинается прелестная сказка «Щелкунчик и Мышиный Король», помещенная в этом томе: рождество в нарядном, богатом доме, елка, подарки, возбужденные счастливые дети, довольные своей щедростью родители, чудесные елочные игрушки, сладкие марципаны. И до чего же просто рождественский праздник в почтенном немецком семействе оборачивается невероятной чертовщиной. Гофман верил, что все люди, вещи и явления имеют два лица: одно днев-

ное, обращенное к повседневности, другое ночное, страшное, скрывающее мрачную тайну; сдерни покров с обывательского благообразия — и обнаружатся сатанинские страсти, фантасмагория, бред. Гофман боялся этого таинственного мира и вместе с тем презирал людей, не способных услышать потусторонние голоса, поверить в чудо, волшебство. В семье советника медицины Штальбаума он выделил маленькую Мари, потому что в ней нет ни туповатого практицизма ее брата Фрица, ни здравомыслия глубоко буржуазных родителей; поэзия коснулась маленького существа своим крылом, и потому из всей семьи лишь она допущена в страшную и пленительную сказку, которая разыгрывается под мирными сводами бюргерского дома. Ей дано проглянуть скрытую суть окружающих, узнать, что старший советник суда, часовщик-любитель, изобретатель игрушек, крестный Дроссельмейер,— могущественный волшебник и маг, а деревянный Щелкунчик — его заколдованный племянник, что игрушки живут по ночам весьма бурной жизнью, а под полом обитает семиголовый Мышиный Король. Гофман так поверил маленькой Мари, что в конце сказки подарил ей волшебное царство, где «всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки,— словом, всякие чудеса и диковинки». Но он далеко не всегда так щедр к своим героям. И нередко, проведя их сквозь чудесные приключения, награждает всего-навсего житейским благополучием, вполне устраивающим даже тех, кто позволил на миг увлечь себя волшебному порыву. Гофман не заблуждался насчет душевных богатств своих здравомыслящих соотечественников. Отсюда ироничность многих его концовок.

«Щелкунчик» несомненно самая добрая сказка Гофмана. Но почему писатель, особенно же писатель с судьбой Гофмана, должен быть добрым? Гофман жил в бурное и трудное время, хотя иные бури века умудрился пропустить мимо себя. Так, юношей он «не заметил» Французской революции да и о Наполеоне узнал толком лишь потому, что нашествие французских войск сорвало его контракт с Лейпцигским оперным театром. Он жил «внутри себя», а не во внешнем мире. Куда сильнее общественных бурь, терзавших Европу, были для него личные потрясения: в раннем детстве смерть отца, оставившего его на руках у беспомощной, болезненной и равнодушной матери, затем смерть матери и докучное опекунство дяди, невыносимого педанта, с приходом юности — мучительная, безнадежная любовь к замужней женщине Коре Гат и другая влюбленность в нежное поэтичное существо, «проданное» родителями богатому вульгарному купцу. На любовные неудачи ложилось вечное безденежье, невозможность проявить себя ни в одной из трех ипостасей своего гения — писатель, художник, композитор,—

в который верил лишь он один. Наконец, когда жизнь немного наладилась — он женился по любви, получил хорошее место в Познани,— шарж на всесильного генерала разом сломал это хрупкое благополучие, карикатуриста сослали в богом забытый Плоцк.

И не раз в дальнейшем язвительный карандаш и острое, насмешливое перо будут причинять Гофману немало бед. Самые же гибельные поступки он совершил на исходе жизни, смело восстав против насилий, чинимых властями над совестью судей, а в сказке «Магистр блох» высмеяв председателя комиссии по расследованию политических преступлений. В этом крайнем индивидуалисте, аполитичном, чуждом общественным страстям своего времени, обнаружилось неожиданное социальное чувство. Ему грозила страшная расправа, но неизлечимая болезнь опередила человеческую кару. По злой иронии судьбы к этому времени Гофман, изведавший жестокую нужду, холод всеобщего непризнания, потерю единственной дочери, стал знаменит и почти богат. Но он уже ничего не хотел, кроме клочка зеленого поля, кусочка синего неба и глотка свежего воздуха. И в этом ему было отказано. Парализованный, прикованный к кровати, он скончался сорока семи лет от роду.

Гофману не за что было любить людей, но он умел любить Человека. Никто не мог сравниться с ним в дружбе. Для современников этот странный, изломанный человек так и остался загадкой.

Читали его много, но вряд ли понимали глубоко. Не больше повезло Гофману после смерти: вершители литературных судеб сочли его причудливую прозу просто развлекательным чтивом И много воды утекло, пока этот «неутомимый искатель высшей правды в искусстве» был оценен по заслугам...

Мало соответствуют благостному образу добрых сказочников знаменитые братья Гримм.

Наверное, я буду не оригинален, если признаюсь, что в детстве предпочитал толстый растрепанный том гриммовских сказок пленительным грезам великого Андерсена. Очевидно, чудесное нужно нам в детстве в чистом виде, без поэтических прикрас Конечно, нельзя сказать, что записанные братьями Гримм народные немецкие сказки вовсе лишены поэзии. Но это как ушедший под землю ручей, он есть, он обнаруживает себя россыпью незабудок, осоковатой растительностью, дыханием почвы, приминающейся под ногами, и вместе с тем он остается невидим. А ручей Ганса Христиана бурлит, шумит, играет, преломляет свет над собой и отвлекает тебя от леса, таящего столько опасных чудес. Андерсен *творил*, используя фольклорные мотивы, братья Гримм лишь собирали и записывали народные сказки.

Это не механическая работа: приходилось сличать разные

записи, извлекать первоначальное звучание из-под напластований позднейших времен, чтобы народная фантазия явилась в чистом виде, не искаженном стилизацией; то был труд ученых, исследователей, конечно, с божьей искрой в душе, иначе бы все засохло, но все же не литературное творчество.

Да они и были крупными учеными-филологами, профессорами и академиками Прусской академии. Знаменитые люди, которым даровано прижизненное долголетие, переходят в память потомков лишь в старческом образе. Лев Толстой для нас седобородый старец, а не тот стройный офицер с темными усиками и гладкими щеками, каким увидели обе столицы автора «Севастопольских рассказов», а ведь этот молодой Толстой столь же реален, как и яснополянский патриарх. На сохранившихся изображениях братья Гримм важны и суровы, Якоб — до угрюмости, и трудно поверить, что ими записаны такие прелестные шутки, как «Бременские музыканты» или «Семеро храбрецов»,— сколько тут очаровательной глупости и никаких назиданий! А что, если Гриммы, братья-погодки, трогательно любившие друг друга и прожившие совпадающую во всем жизнь, кроме одного: Вильгельм ушел из жизни на четыре года раньше брата — вовсе не были скучными и надутыми учеными мужами, а разбитными ребятами, знавшими толк в крепкой шутке, остром словце и веселом розыгрыше?

Это предположение, но несомненно, что в тяжеловатых немецких ученых, облаченных в темные сюртуки, было немало от мечтательного юноши, верившего в Ундину и грезившего о неземной любви с прохладной девой вод, а еще больше от того задорного мальчишки, который отдал бы все на свете, чтобы пошататься по дорогам с веселыми бременскими музыкантами.

Они увидели свет в захолустном местечке Ханау, в семье чиновника, обучались юриспруденции в Марбурге. Но души юных правоведов рано пленились народной немецкой поэзией, и они принялись собирать средневековые тексты: песни, легенды о короле хитрецов Рейнеке-Лисе, бедном Генрихе и т. п. То не было простым коллекционированием, Гриммы исследовали творчество миннезингеров (рыцарей-певцов), майстерзингеров (ремесленников-певцов), народную и куртуазную поэзию.

Будучи профессорами Геттингенского университета, они собрали и выпустили знаменитые «Детские и семейные сказки», ставшие всемирным чтением и прославившие их куда больше, нежели все многомудрые труды. А ведь Гриммы основоположники «мифологической школы» в филологии. Крупнейшие европейские исследователи, в том числе наш Буслаев и знаменитый сказочник Афанасьев, примыкали к этой школе. Но бессмертие братьям Гримм подарили все-таки не их коллеги, соратники,

ученики и последователи, а шумные, крикливые, невоспитанные мальчишки и девчонки, самые искренние и лучшие читатели на свете, которые и читать-то толком не умеют, зато умеют так замирать и обмирать, так смеяться и плакать над книгой, так радоваться, страдать, сопереживать героям, как не умеют никакие другие читатели. Дети щедро отблагодарили братьев-сказочников, построив им нерукотворный и вечный памятник в своих душах.

Настоящий том дает довольно широкое представление о той громадной работе, которую проделали эти неутомимые собиратели жемчужин устного народного творчества. Тут есть и волшебные сказки: «Белоснежка и Краснозорька», «Госпожа Метелица», «Горшок каши», «Молодой великан»; и сказки про животных: «Заяц и еж», «Бременские музыканты»; и назидательные сказки: «Глупый Ганс», «Три брата», «Король Дроздобород», «Семеро храбрецов»...

Сказки братьев Гримм, славящие находчивость и смелость, высмеивающие глупость, лень, трусость и жадность, замечательны по языку. Конечно, в русском переводе это так не ощущается, но братьям Гримм удалось вернуть старым сказкам, заболтанным многими поколениями и сельских, и городских людей, чудесный, гибкий и чистый народный язык.

Я повел свой разговор о сказочниках не по порядку. Справедливости ради следовало начать с Шарля Перро, который и стоит в сборнике первым. Он опубликовал свои знаменитые волшебные сказки раньше Гриммов, Гофмана и Андерсена — в конце XVII века. Но дело не только в хронологии, Перро открыл сказке двери в большую литературу, ввел Золушку во дворец. И задолго до Перро выходили книги сказок, но никто серьезно к этому жанру не относился: детское развлечение,— ни один взрослый, уважающий себя человек не унизился бы до чтения сказок. Но вот пришел чародей, взмахнул волшебной палочкой, и образованные, знатные, изысканные, пресыщенные люди с жадностью набросились на «детское» чтение. Подобно принцу, оживившему поцелуем спящую красавицу, а с ней и все погруженное в сон царство, вдохнул Перро жизнь и свежесть в сонное царство сказки.

Крупный, признанный писатель, член Французской академии, он знал цену своим сказкам, это вычитывается между строк в традиционно-галантном посвящении «Мадемуазель» и в авторском предисловии к первому изданию. Но куда меньше доверял он способности светского общества к художественному восприятию и выпустил сказки под именем своего восемнадцатилетнего сына П. Дарманкура. Старый академик, автор многих серьезных книг, вроде четырехтомного труда «Параллель между древними и новыми», маститый поэт боялся рисковать своим литературным

положением и до конца дней отрицал, что им написаны «Ослиная кожа», «Рике с хохолком», «Синяя борода» и другие чудесные небывальщины. Одно дело взять на себя душевный труд и привить дикий черенок простонародной поэзии к стволу «высокой» литературы, другое — отвечать за последствия дерзкого поступка, на это старика Перро не хватило. Он заслонился беспечным, необремененным ни славой, ни репутацией юношей-сыном. Не будем обвинять старого писателя в недостатке мужества — литературное имя трудно наживается и легко утрачивается,— будем благодарны ему за великую художественную прозорливость.

И снова, как в случае с братьями Гримм, только более жестоко, судьба посмеялась над писателем: сказки, в авторстве которых он страшился признаться, не только имели ошеломляющий успех у современников, породив целую подражательную литературу, но и сохранили для поколений имя Перро. А кто помнит сейчас его тяжеловесные труды и мастеровито-холодную поэзию, скованную канонами классицизма?

Братья Гримм обращались зачастую к тем же сюжетам, что и Перро. Они стремились тщательно сохранить содержание строй и лад сказки и те словесные одежды, в которые ее облек народ. Перро таких целей не ставил: он брал ходячий сказочный сюжет не из особого пристрастия к фольклору, а потому что видел заложенные там художественные возможности и расцвечивал готовую канву своей фантазией, своим юмором, снабжал моралью-нравоучением в стихах и создавал нечто весьма своеобразное. Перро обладал безукоризненным вкусом и во всем знал меру; оставаясь верным народной основе сказки и честной простоте языка, он избежал жеманства и литературщины своих последователей. Он всегда оставался мил, улыбчиво-простодушен, в нравоучениях ироничен, в нем не было ни педагогического рационализма, ни самолюбивого скепсиса, так испортивших сказку в последующий век.

Перро был, как мы говорим теперь, новатором, он ввел новый материал в литературу, его самобытная и остроумная манера изложения сближала волшебство с жизнью, придавая чудесам достоверность и возводя обыденное в ранг чудесного, а его последователи «пошли по пути приспосабливания сказки к требованиям салонного искусства или... детской педагогики» (Н. П. Андреев). Сказка как литературный жанр надолго пришла в упадок. Новый подъем сказки произошел не во Франции, лишь растерявшей то, что нашел Перро, а в Германии усилиями трудолюбивых братьев Гримм, гениального Гофмана и высокоодаренного Гауфа, чей быстрый расцвет оборвала ранняя смерть.

Всего двадцать пять лет было отпущено писателю-романтику Вильгельму Гауфу, но этого мотылькового срока ему оказалось

достаточно, чтобы обрести жизнь вечную. Он доказал справедливость вещих слов Леонардо да Винчи: «Долгая жизнь — это хорошая жизнь». Как легко многие из нас разбазаривают золото дней, не считают даром потраченных месяцев, канувших в пустоту лет. А спохватываются — ан, жизнь и прожита, и ничего не сделано, и все, что откладывалось на завтра, никогда не сбудется. А молодой человек Гауф, учитель в частных домах, ничего не откладывал, работал денно и нощно и оставил после себя два романа, в которых осмеял религиозное ханжество и мещанское лицемерие, трехтомную историческую эпопею «Лихтенштейн» о Крестьянской войне в Германии, множество лирических стихотворений и, наконец, сказки, которыми зачитывается весь мир. Такие его шедевры, как «Маленький Мук», «Калиф-аист», «Карлик Нос», навеянные восточными сказками, многожды переделывались для театра, а в последнее время и для кино.

Гауф любил столь популярный в фольклорном творчестве, идущий из глубокой древности мотив превращения: стали аистами калиф и его визирь, превратился в носатого уродца Карлика Носа пригожий Якоб; иногда превращение бывает не внешним, а внутренним: честный угольщик Петер стал холодным негодяем, потому что продал душу злой нежити Михелю-Голландцу Но, пройдя сквозь жестокие испытания, герои Гауфа возвращают свое подлинное лицо.

В манере Гауфа замечательно то полное доверие, с каким он сам относится ко всем фантастическим происшествиям, выпадающим на долю его героев. Тут нет и тени иронии, никакого заигрывания с читателем, этакого подмигивания: мол, мы-то с вами знаем, что так не бывает, но давайте вместе подурачимся. Нет, Гауф всегда серьезен, до конца искренен, исполнен достоинства и глубокого сочувствия к беднягам, утратившим свою суть. В сказках Гауфа чувствуешь себя надежно, как в родном доме, хотя порой бывает и очень страшно, но ведь и дома может быть страшно, когда ночь и ты не спишь, и лунный свет проникает в окно, и скрипят половицы под чьими-то тяжелыми шагами, тянет каким-то странным холодом. И все-таки ты сознаешь замирающим сердцем, что под охраной домашних духов ничего плохого с тобой не случится. Так и у Гауфа, он несомненно самый добрый из всех сказочников...

Гофман — величайший писатель из всех, обращавшихся к жанру сказки. И все же лучшим сказочником единодушно считается датчанин Ганс Христиан Андерсен. Его сказки больше говорят человеческому сердцу, нежели причудливые и жуткие до болезненности видения немецкого романтика. Андерсен принадлежал к тому же литературному направлению, его первые романы о судьбе художника в мире корысти были пронизаны

традиционным романтическим духом. Эти романы не остались незамеченными, но большой славы автору не принесли. В безволии бледноватых героев угадывалось безволие не нашедшего себя молодого писателя. Свое настоящее призвание Андерсен открыл в сказке.

Сын бедного сапожника, увидевший свет в маленьком домике под черепичной крышей в городе Оденсе, что на острове Фюн, рано почувствовал влечение, весьма далекое от той скромной роли, которая предназначалась ему в жизни: наследовать дело своего отца. Его мечтательную душу околдовал театр. Четырнадцатилетним подростком отправился Ганс Христиан в Копенгаген, чтобы стать актером. На сцену он не попал, но его наивные драматургические опыты привлекли внимание дирекции. Да будут благословенны эти проницательные люди, разглядевшие следы таланта в ребяческой пачкотне. Андерсен получил стипендию и право бесплатного обучения в латинской школе. Еще в студенческие годы он пишет смешную и щедрую на выдумки книгу «Путешествие пешком от Хольмен-канала до восточного мыса Амагера». Здесь легко обнаружить те зернышки, из которых впоследствии произрастут золотые колосья его сказок. Но сейчас юного автора влечет «даль свободного романа». Что из этого вышло, мы уже говорили. Словно подтверждая известные слова Тургенева, произнесенные много позже, что до тридцати лет нельзя написать хорошей прозы, Андерсен лишь — и сразу — за порогом тридцати позволяет себе стать тем, кем он был на самом деле. Словно из рога изобилия посыпались «Огниво», «Волшебный холм», «Принцесса на горошине», «Русалочка» и другие шедевры, составившие три тома «Сказок, рассказанных для детей».

Андерсен всегда любил и знал народную сказку, на этой доброй почве расцвел его большой талант, и все же нельзя согласиться с теми, кто сводит творчество Андерсена лишь к фольклорной традиции, равно сомнительно зачисление всей его «малой» прозы по департаменту сказки. Неоспорима связь с фольклором «Новых сказок», но в дальнейшем эта связь резко ослабляется без ущерба для художественных целей писателя, а там и вовсе становится неощутимой. Он расстается с волшебниками, феями, королевами воображаемых стран, нежитью лесов и вод, его притягивает окружающее, люди из плоти и крови с их тревогами, радостями, бедами, с их достоинствами и несовершенствами, с их трудной судьбой. Он так говорил об этом: «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь». Долгое время удивительно впору был ему яркий костюм сказочника, но когда он почувствовал, что сюртук жмет в проймах, пуговицы не застегиваются, а панталоны предательски трещат при наклоне, то понял, что вырос из этой одежды, и спокойно по-

весил ее в шкаф. Он расстался со сказочной бутафорией и неизменно счастливыми концовками. Впрочем, этому золотому правилу детской сказки он изменил еще в «Русалочке». Тем самым он перестал адресоваться впрямую к детям, не исключая их, разумеется, из числа своих читателей. Он давно хотел говорить с печальными взрослыми людьми. Андерсен писал прозаические басни, аллегории, короткие новеллы, просто рассказы, в которых порой и сохранялся сказовый тон, но ничего другого от сказки не было. Да ведь и называл он свои поздние писания не сказками, а историями.

Нас же интересует Андерсен-сказочник. Он довел до виртуозности то умение, которое мы находим у Гофмана: сочетать два плана — волшебный и житейский. В сказочный сюжет «Русалочки» он непринужденно вводит бытовые подробности, порой юмористические — почетные устрицы на хвосте знатной водоплавающей тетушки русалки. Поэтический строй этой песни любви ничуть не снижается, но для читателя вымысел обретает черты реальности, а неземная любовь русалочки к принцу — терпкий вкус родственной человечьей муки. И наоборот: он умеет в тусклой обыденности окружающих нас предметов домашнего обихода открыть чудесное, извлечь поэтический смысл из какой-нибудь штопальной иглы или старого крахмального воротничка. Чаще всего Андерсен пользуется этим приемом для целей сатирических: очеловечивая неодушевленные предметы, он высмеивает и осуждает не их безвинную суть, а людские пороки: чванство, хвастливость, корысть, суетность. Но бывает, что тот же прием используется для возвеличивания наиболее ценимых им в человеке свойств: стойкости, мужества, верности, общественной полезности.

Мне думается, нет нужды насильственно привязывать Андерсена к волшебному дереву сказки. Как писатель и человек он рос, развивался, менялся, старел, опечаливался, утрачивал безграничную веру в способности нашего грешного мира к чудесному превращению в райский сад, стоит только его обитателям сильно этого захотеть. Природа человека оказалась куда более косной, нежели ему рисовалось в юности, и феи бессильны в тяжелом земном царстве.

Над человеком надо много трудиться, «чтобы он стал тем, кто он есть», как замечательно сказал один французский мудрец. Для этого мало высмеивать людские заблуждения, нужно неустанно напоминать о вечности маленькому, жадному, рассеянному и глупому существу, слишком много о себе возомнившему. И Андерсен не устает это делать, его позднее творчество окрашено иронией, сарказмом, печалью и горечью, он вовсе не так добр и снисходителен, как в своих ранних сказках, когда сердце было полно веры и надежд. Но может

быть, это и есть высшая доброта: говорить жестокую правду тем, кого любишь?

Но вернемся к доброму, улыбчивому Андерсену детских сказок. Ведь и тогда его нравственный кодекс был весьма суров. Он всегда строго спрашивал с человека. Очень редко Андерсен просто резвился, как в «Волшебном холме». Лишь изощренный фанатик морали сможет отыскать назидание в прелестной и причудливейшей истории о том, как старый норвежский тролль с сыновьями-оболтусами гостевал у датского лесного царя. И хотя за троллями, лесовиками, водяными, мертвой лошадью и кладбищенской свиньей угадываются обычные люди с их вполне человечьими слабостями и ухватками, это ничего не меняет, ибо никаких выводов тут при всем желании не сделаешь. Сказка вполне бесцельна и тем очаровательна. Это самая любимая детьми сказка, наверное, в силу того, что она ровным счетом ничему не учит, но содержит какой-то нужный для растущего организма витамин. Я и сейчас радуюсь игре таланта, которым налита всклень эта сказка, но с некоторой горечью сознаю, что в детстве моя радость была ярче, упоительней и глубже.

Но и прямой, ясный вывод из рассказанного — мораль ничуть не вредит сказке, если не пристегивается к ней, а естественно вытекает из всего ее поэтического строя. Чарующий «Соловей», едва ли не вершина творчества Андерсена, откровенно нравоучителен. Прослышал китайский император, что в саду у него поет дивная птица соловей, и велел доставить во дворец. Пение соловья настолько очаровало императора и его двор, что все простили птичке ее невзрачную серенькую наружность. Но тут император Японии прислал искусственного соловья, певшего всего одну песню, зато усыпанного драгоценными камнями. Настоящему соловью дали отставку, а всеобщей любимицей стала блестящая заводная игрушка. Не беда, что в мертвом горле звучит одна и та же песня,— кому нужно при дворе истинное искусство? Ан, нужно! Император заболел, явилась смерть и села ему на грудь. Лишенный атрибутов власти,— смерть забрала его корону и саблю,— всеми покинутый, умирающий император тщетно просил механическую птицу скрасить ему уход. Но та не умела петь сама, без завода. По счастью, прилетел настоящий соловей и силой своего дивного голоса прогнал смерть, вернул императору корону и саблю. Спасительно и животворно лишь настоящее искусство. Мы это узнали во время войны, когда в годину тяжких испытаний запели настоящие соловьи, а механических певцов не стало слышно. Тема животворной силы истинного искусства, противостоящего мертвенной бесцельности подделок, волновала многих писателей, но никто не разрешил ее так блистательно, как Ганс Христиан Андерсен, а главное, та-

кими скупыми средствами: на пространстве нескольких страничек. Это — литературное чудо, и таких чудес немало у датского кудесника: «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Новое платье короля», «Дикие лебеди», «Гадкий утенок», «Свинопас», «Калоши счастья», «Русалочка», «Принцесса на горошине», «Бузинная матушка»,— всего не перечислишь. Многие названия давно уже стали нарицательными. Не надо долго разглагольствовать о девушке-ломаке, достаточно сказать: «принцесса на горошине», а для верного, мужественного человека нет выше похвалы, чем «стойкий оловянный солдатик»...

Оскар Уайльд представлен в сборнике всего одной сказкой «Мальчик-звезда». Этот самый изысканный, утонченный английский писатель прошлого века адресовал свои сказки взрослым людям, но некоторые из них будут в радость и пользу детям. Жаль, что здесь не нашлось места для «Духа Кентервилей». Это блестящая по остроумию история о страшном привидении в наследственном замке старых английских аристократов Кентервилей, осмеливающемся в исходе просвященного XIX века терроризировать окружающих. Но вот замок сняла суперсовременная американская семья и своим безверием, цинизмом, вульгарными замашками так запугала кентервильский призрак, что он заболел от огорчения. Конечно, «Дух Кентервилей» не настоящая сказка, а произведение пародийное, но с неожиданно серьезным и трогательным концом.

При всем своем громадном литературном даре Уайльд был позером, он любил поражать и скандализировать современное ему общество сумасбродными поступками и ошеломляющими высказываниями: «Поменьше естественности — в этом первый наш долг, в чем второй,— еще никто не знает»; «Все искусство совершенно бесполезно» — даже в борьбе с утилитарным искусством это слишком. Свои высказывания Уайльд подкреплял литературной практикой: его изящные, необычайно сценичные пьесы, до сих пор не сходящие с подмостков театра: «Идеальный муж», «Веер леди Уиндермир», «Как важно быть серьезным»,— вполне бесполезны и служат чисто развлекательным целям. Но можно ли так сказать о других его произведениях, и в первую очередь сказках, о том же «Мальчике-звезде»? Нет, нет и нет! Декларации художника далеко не всегда соответствуют его живому творчеству.

«Мальчик-звезда» — это страстный призыв к доброте и человечности; проклятие — злобе, эгоизму, жестокости. Сказку невозможно читать без слез — вот каким добрым и трогательным умел быть знаменитый сноб и скептик, отрицавший мораль и признававший только красоту.

Оскар Уайльд слишком значителен и сложен для таких беглых заметок, к тому же его слишком мало в сборнике. В отли-

чие от Гофмана, Андерсена, Гауфа, Лагерлёф, не говоря уже о Гриммах, он был чужд народному устному творчеству, фольклорной традиции, ведь он лишь имитировал сказку, но делал это с редким талантом, изяществом и тактом.

Шведская писательница Сельма Лагерлёф прожила очень долгую жизнь. Она родилась в дни Андерсена, чье влияние на ее творчество несомненно, а умерла, когда над Европой громыхала вторая мировая война. Ее восьмидесятидвухлетняя жизнь была наполнена великим трудом и неустанной борьбой. Она боролась против войны, нищеты, отстаивала права женщин. В знаменитой речи на Мировом женском конгрессе в Стокгольме в 1911 году Сельма Лагерлёф спрашивала с гневом:

«Где то государство, в котором нет бездомных детей, где молодежь не идет к гибели, но где все юные граждане воспитываются в бодрости духа и здоровье, согласно их правам?

Где то государство, которое карает не из мести, но исключительно для того, чтобы воспитывать и исправлять, как это следовало бы делать всем умным и сознательным людям?

Где то государство, которое способно пестовать каждое дарование?

Где то государство, в котором неудачник окружен такой же заботой, как и преуспевающий?

Где то государство, которое не порабощает малые народности, не будучи в состоянии сделать их счастливыми?

Где то государство, которое не допустит гибели отдельных членов общества от нужды, пьянства и позорного образа жизни?»

Не правда ли, замечательные слова?..

Эта энергичная, бодрая жизнь начиналась очень печально. Маленькая Сельма, дочь отставного военного хуторянина из провинции Вермланд, была прикована к постели детским параличом. Болезнь развила в ней мечтательность, фантазию, помогшую обходиться без живых детских игр, способность к самоуглублению, болезнь пробудила и любовь к сказкам, легендам, которыми тешили маленькую затворницу хуторские старухи. Она так сжилась со сказкой, пронизавшей все ее творчество, что и автобиографию назвала «Сказка о сказке».

Но это куда позже. А пока надо было победить болезнь. Мужественный и целеустремленный человек — при всей мечтательности и поэтической незащищенности, Сельма осилила недуг, получила образование и стала учительницей. Но все ее помыслы с самых ранних лет были отданы литературе. Она долго вынашивала замысел своего первого большого романа «Легенда о Йёсте Берлинге» и десять лет писала эту странную книгу, ни на что не похожую и в шведской, и в мировой литературе, книгу,

сразу сделавшую ее знаменитой. «Иёста Берлинг» очень сложное произведение, здесь реальное перемешано с фантастикой, аллегории с житейщиной, а дурной, злой человек с такой легкостью оборачивается нечистым, словно это обычное бытовое явление. Похоже, высокообразованная Сельма Лагерлёф разделяла мнение хуторских старух, будто князь тьмы ходит среди людей, прикладывая руки ко всем злым делам, свершающимся на земле. Когда автор ломается и лукавит, читатель перестает верить даже очевидным вещам, когда автор искренен, читатель готов принять за истину самое невероятное измышление. Романтический, трепетный, невероятный «Иёста Берлинг» надолго околдовал весь читающий мир. Сельма Лагерлёф написала еще много романов, укрепивших ее славу, принесших все награды, какие только существуют,— Нобелевскую премию, кресло в Шведской академии (первая женщина, удостоенная этой чести), но ни один не превзошел популярностью «Иёсту Берлинга». За исключением, пожалуй, детской книжки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Признаюсь честно, талантливая, свежая, изобретательная и вместе бесхитростная история Нильса нравится мне куда больше многошумного «Иёсты», которым я восторгаюсь как-то холодно, издали. А вот прелестная сказка тепла мне и близка, как крошечному Нильсу тело гусака Мартина, на котором он облетел всю Швецию в стае мудрой гусыни Акки Кебнекайсе. Лагерлёф спела удивительно звонкую и чистую песню природе родной северной страны, песню дружбе и взаимопомощи всех добрых на земле. Эта книга порождена переполняющей сердце добротой и страстной жаждой движения. Мне думается, прикованная к постели девочка мечтала о таком вот чудесном полете над лесами, долинами, горами, озерами и морями, о пронизанном ветрами и солнцем пространстве, которого была лишена.

Взрослая Лагерлёф много путешествовала, объездила Европу, побывала в России, но никогда не летала. И все же она изведала чувство полета, когда писала о гусиной стае, рассекающей воздух могучими крыльями. И передала нам, читателям, это головокружительное ощущение.

Прочитав сказку о Нильсе, ты веришь, что сам летал на спине гуся, воздушные струи обтекали твое тело и лицо, слезя глаза и наполняя восторгом душу...

Вот мы познакомились с самыми выдающимися западноевропейскими сказочниками прошлого. Были и другие замечательные сказочники, скажем, друг Гофмана, поэт Шамиссо, создавший одну из самых поэтичных, печальных и многозначительных сказок на свете о бедном Петере Шлемиле, человеке, потерявшем свою тень. Но этот бродячий сюжет представлен в сборнике очаровательной сказкой Андерсена, к тому же более доступной

юному читателю, нежели изысканная новелла Шамиссо. Можно назвать и другие имена, другие произведения, но нельзя исчерпать неисчерпаемое.

И вот возникает наивный, но неизбежный вопрос: для чего нужны сказки, да и нужны ли они вообще в нынешней жизни? Чему они учат? Что дают юным читателям? Представление об утилитарной сути литературы держится непоколебимо, его не обойдешь и не объедешь. И все же, даже в качестве рабочей предпосылки, мне трудно принять формулу: чему учат? Разве литература вообще призвана учить? Учат родители, учат школьные педагоги, вузовские преподаватели и профессора, учат книжки, по которым учатся, учит, наконец, сама жизнь, и нет суровей наставника. А художественная литература не ставит себе прямых педагогических целей, и писатели не педагоги. Я говорю о настоящих писателях, для которых литература не род занятия, а судьба. Они пишут порой от радости жизни, но чаще от желания разобраться в хаосе действительности, в собственной смуте. Пишут не потому, что у них есть готовые ответы на все мучительные вопросы века, а потому, что пытаются эти ответы найти. Когда Лев Толстой начинал учить, он переставал быть художником. Неужели Пушкин своим «Евгением Онегиным» и Лермонтов «Демоном» кого-то учили? Но может быть, учительство — принадлежность детской литературы? Плохой — да! А в хорошей все происходит зачастую наперекор общепринятым правилам и морали: прекрасны безобразники Том и Гек, а не примерный Сид. А чему учат уморительные «Бременские музыканты»? Какой положительный пример можно извлечь из «Ленивого Гейнца»? Что и при чудовищной лени можно неплохо устроиться в жизни. Но это уж вовсе антипедагогично. По счастью, ребенок не такой дурак, чтобы пленяться чудовищной ленью Гейнца и его распустёхи-жены. Он посмеется над простофилями, разыгравшими для него маленькое нелепое представление, и что-то смекнет про себя. А что — мы не знаем, ибо утратили чистоту ребенка.

Казалось бы, в большой повести Сельмы Лагерлёф легко читается мораль: надо быть добрым к животным и ко всем населяющим мир, иначе тебя постигнет участь Нильса: ты станешь карликом и... облетишь на гусиных крыльях полмира, узнаешь язык зверей и птиц, наглядишься неслыханных чудес. Право же, стоит отдавить кошке хвост, запустить палкой в жирного гусака и даже поймать сачком гнома, чтобы в наказание получить волшебное путешествие и столько увлекательных приключений. Мораль «надо быть добрым» как-то все-таки извлекается из сказки, но едва ли задерживается на ней читатель, только что переживший неслыханное счастье полета. Да и Сельма Лагерлёф писала свою сказку не от учительского зуда, а чтобы полетать на гусе.

Читая сказку, вы, как родных и близких, любите гусей, любите всех, кто помогал Нильсу: орла, белочку, даже раскаявшегося грешника ворона. Но так ли уж надо любить ворона и ненавидеть лисицу? А это вам тоже внушается образом злобного и мстительного лиса Смирре. Нет, это мелкая задача для такого большого писателя, как Сельма Лагерлёф. Душа читателя, омытая воздушными струями, взволнованная близостью тайной жизни, о которой она и не подозревала, стала ёмче, просторней, певучей. Вот чем одаривает сказка.

Если непременно извлекать из сказки назидание, то похождения нахальных бременских музыкантов учат ребенка брать жизнь нахрапом. Но не будем так плохо думать о братьях Гримм. После их задорной сказки каждый читатель будет смелее и увереннее чувствовать себя в большом мире, полном злых разбойников и разных опасностей.

Из всех сказочников, кажется, один Шарль Перро открыто декларировал назидательный, воспитательный смысл своих сказок: «Как бы ни были причудливы и фантастичны различные эпизоды сказок — несомненно, все они возбуждают в детях желание походить на тех, которые достигают счастья, и вместе с тем боязнь навлечь на себя несчастья, какие постигают злых за их пороки... Трудно себе представить, с какой жадностью эти невинные души, еще не утратившие природной чистоты, воспринимают скрытые в сказках поучения. Они грустны и подавлены, когда герой или героиня сказки — в беде, и вскрикивают от радости, когда приходит к ним счастье; подобным же образом они скрепя сердце переносят благополучие злого или злой и приходят в восторг, видя, что те, наконец, получают заслуженную кару. Все это — семена, которые западают в душу и сперва вызывают в ней лишь радость или печаль: но из которых не замедлят вырасти добрые наклонности».

Казалось бы, нельзя красноречивей свидетельствовать в пользу того, что сказки у ч а т. И, подчеркивая серьезность воспитательных намерений, Перро снабжает свои сказки стихотворными моралите, опущенными не без оснований в настоящем издании. Ибо назидательные сентенции мало соответствуют тому, что утверждал писатель выше. Прежде всего, нравоучения адресованы вовсе не детям. Возьмем, к примеру, «Красную Шапочку», где Перро использует древнейший фольклорный ход: Волк съедает Красную Шапочку — непонятно, почему переводчик изменил конец, не лучше ли было тогда воспользоваться гриммовской записью сказки? «Нравоучение» меняет адрес сказки, оно обращено к взрослым девицам, которым рекомендовано не слишком прислушиваться к речам льстивых волков: «ведь всех волков опасней льстивый волк». Невинная сказочка приобретает весьма игривый характер.

Еще менее воспитательно нравоучение «Синей бороды», метящее в привычные кругу Перро брачные отношения:

У нас ревнивцев самовластных
Увидишь подле жен смирней ягнят.
Пусть борода какого хочешь цвета,
А кто под каблуком — неясно часто это.

Можно не приводить других примеров, и без того видно, что Перро внес немалую дозу иронии в свои рассуждения о том, как невинные души воспринимают заложенную в сказку мораль. Похоже, он даже боялся, что невинные души слишком прямо и бесхитростно воспримут его сказки, и щедро подмешал хмеля в детское питье. Наверное, настоящему художнику органически чужда назидательность. Может быть и другое: Перро всерьез верил в свою миссию воспитателя, но садился писать, и художник тут же вступал в противоречие с педагогом-моралистом и разрушал высоконравственное настроение. Это верный признак истинного поэта.

Дело не только в пристегнутых к сказкам игривых моралите, а в красках, которыми пользовался Перро. Бездетные король и королева («Спящая красавица») «ездят на воды»; молодой король из той же сказки «сильно расстроился», когда его мать-людоедка кинулась в чан со змеями, но «скоро утешился с красавицей женой», в «Рике с хохолком» трезвое рассуждение об изменившемся взгляде принцессы на уродца Рике как бы отменяет волшебное превращение — здесь легкая насмешка над самой сказкой.

Если б Перро всерьез преследовал полезные и бесхитростные воспитательные цели, то пользовался бы иной палитрой. По-моему, его заботило одно: чтоб дети не выросли ханжами и лицемерами. Стало быть, его сказки не просто развлекательны, они имеют нравственную цель, но не столь прямую и очевидную, как он сам пытался убедить читателей.

Было бы глупо и неверно утверждать, будто сказки вообще ничему не учат. Учат, конечно, только поучения эти далеко не всегда бывают так прямолинейны, однозначны, как хотелось бы ревнителям литературного благонравия. И все вообще куда сложнее, чем кажется по первому взгляду, в державе сказки.

Любопытно, что в народных сказках и наиболее близких к ним сказках братьев Гримм герой чаще всего лишен каких бы то ни было положительных свойств, нередко он вообще «человек без свойств», и потому его победа не является торжеством добродетели. Просто ему повезло, или у него оказались могущественные помощники: кот в сапогах, серый волк, сивка-бурка, волшеб-

ная дубинка. Из этого не извлечешь ровным счетом никакой морали.

Кому тут подражать, с кого брать пример? Не дубинке же и не сивке-бурке.

А герой — недалекий сероватый парень, который то и дело попадает впросак,— спит, когда надо бодрствовать, хнычет и жалуется, когда надо действовать. Случается, что герой умеет сам за себя постоять, но тогда он берет чаще всего наглостью и беззастенчивостью, чему подражать едва ли следует, хотя это надежный способ пробиться в жизни.

Чем дальше отходит сказка от своей фольклорной основы, тем сильнее становится в ней нравоучительное начало. Прежде всего, герой оказывается носителем тех свойств, которые заслуживают награды. В народной сказке никогда не встретишь даже слабого подобия Герды с ее самоотверженной любовью, мужеством и верностью. Фольклорная царь-девица может почем зря предавать героя, а потом соединиться с ним в счастливом браке.

Народный автор не был склонен к морализированию в отличие от писателей-сказочников. Это у них вознаграждается добродетель, а зло карается. Один лишь Андерсен позволял себе нарушать это правило.

Какое поучение можно извлечь из «Русалочки»? Не надо стремиться к недостижимому, надо оставаться в том образе, в каком создала тебя природа? Во-первых, это едва ли верно, во-вторых, уж слишком непоэтично. Самое ценное в человеке — его стремление к недостижимому, а неспособность вышагнуть из своих пределов — признак ограниченной и просто бездарной натуры. Великий Ганс Христиан никогда бы не стал проповедовать столь нищенские идеалы. Я не знаю, чему учит «Русалочка», но твердо знаю, что без нее мир стал бы куда беднее и каждая человеческая душа стала бы беднее и суше. Если бы можно было представить все добро, всю поэзию, которую принесла в мир сказка о русалочке, полюбившей человека и принявшей ради этой любви неслыханные муки и гибель, мы бы узнали настоящую цену литературному слову. Русалочка была со всеми, кто совершал добрые, отважные, самоотверженные поступки «на земле, в небесах и на море»,— пусть о ней даже не вспоминали,— с Нансеном на вмерзшем в лед «Фраме», с Фрейхеном в ледяной гренландской хижине, с Сент-Экзюпери в его последнем полете, с Туром Хейердалом на утлом плоту, с героями датского Сопротивления, с защитниками Брестской крепости, она — в первом поцелуе влюбленных и в последнем взгляде разлуки...

Важная роль сказки в росте человеческой души, конечно же, не исчерпывается прямым научением, как мы убедились, этого

может и не быть. Но сказка дает юным читателям на редкость яркий, широкий, многозначный образ мира.

Не надо торопиться объяснять мир, надо показывать его в самых неожиданных и причудливых поворотах.

Мир весь — тайна, за каждой запертой калиткой скрывается дивное царство, и нет предела возможностям человека. И есть Баба-Яга и Кощей Бессмертный, просто в жизни они выглядят иначе, чем в сказке, но тот, кто узнал их в раннем детстве, всегда распознает под любым обличьем и одолеет. И надо любить животных, тогда в нужную минуту под рукой окажется серый волк и мудрый ворон, и добрый заяц, и верный пес с глазами, как плошки, и не надо верить, что смерть — это навсегда.

Юрий НАГИБИН

Шарль
ПЕРРО
Сказки

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше.

Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой, нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили:

— Вот Красная Шапочка идет!

Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке:

— Сходи-ка ты, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла да узнай, здорова ли она.

Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке в другую деревню.

Идет она лесом, а навстречу ей — серый Волк.

Очень захотелось ему съесть Красную Шапочку, да только он не посмел — где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся Волк и спрашивает девочку:

— Куда ты идешь, Красная Шапочка?

А Красная Шапочка еще не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с Волком и говорит:

— Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла.

— А далеко ли живет твоя бабушка? — спрашивает Волк.

— Довольно далеко,— отвечает Красная Шапочка.— Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с краю.

— Ладно,— говорит Волк,— я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет.

Сказал это Волк и побежал что было духу по самой короткой дорожке.

А Красная Шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь, по пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты.

Не успела она еще и до мельницы дойти, а Волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь:

Тук-тук!

— Кто там? — спрашивает бабушка.

— Это я, внучка ваша, Красная Шапочка,— отвечает Волк тоненьким голоском.— Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла.

А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле Красная Шапочка, и крикнула:

— Дерни за веревочку, дитя мое,— дверь и откроется!

Волк дернул за веревочку — дверь и открылась.

Бросился Волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что три дня ничего не ел.

Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать Красную Шапочку. Скоро она пришла и постучалась:

Тук-тук!

— Кто там? — спрашивает Волк.

А голос у него грубый, хриплый.

Красная Шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды и оттого у нее такой голос.

— Это я, внучка ваша,— говорит Красная Шапочка.— Принесла вам пирожок и горшочек масла.

Волк откашлялся и сказал потоньше:

— Дерни за веревочку, дитя мое,— дверь и откроется.

Красная Шапочка дернула за веревочку — дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а Волк спрятался под одеяло и говорит:

— Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной. Ты, верно, очень устала.

Красная Шапочка прилегла рядом с Волком и спрашивает:

— Бабушка, почему у вас такие большие руки?

— Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое.

— Бабушка, почему у вас такие большие уши?

— Чтобы лучше слышать, дитя мое.

— Бабушка, почему у вас такие большие глаза?

— Чтобы лучше видеть, дитя мое.

— Бабушка, почему у вас такие большие зубы?

— А это чтоб скорее съесть тебя, дитя мое!

Не успела Красная Шапочка и охнуть, как злой Волк бросился на нее и проглотил вместе с башмачками и красной шапочкой.

Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах.

Услышали они шум, вбежали в домик и убили Волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка — обе целые и невредимые.

РИКЕ С ХОХОЛКОМ

Жила когда-то королева, у которой родился сын, такой безобразный, что долгое время сомневались — человек ли он. Волшебница, присутствовавшая при его рождении, уверяла, что все обернется к лучшему, так как он будет весьма умен; она даже прибавила, что благодаря особому дару, полученному им от нее, он сможет наделить всем своим умом ту особу, которую полюбит более всего на свете.

Это несколько утешило бедную королеву, которая весьма была огорчена тем, что родила на свет такого гадкого малыша. Правда, как только этот ребенок научился лепетать, он сразу же стал говорить премилые вещи, а во всех его поступках было столько ума, что нельзя было не восхищаться. Я забыл сказать, что родился он с маленьким хохолком на голове, а потому его и прозвали: Рике с хохолком. Рике было имя всего его рода.

Лет через семь или восемь у королевы одной из соседних стран родились две дочери. Та из них, что первой явилась на свет, была прекрасна, как день; королеве это было столь приятно, что окружающие опасались, как бы ей от слишком сильной радости не стало худо. Та самая волшебница, которая присутствовала при рождении Рике с хохолком, находилась и при ней и, дабы ослабить ее радость, объявила, что у маленькой принцессы вовсе не будет ума и что насколько она красива, настолько она будет глупа. Это очень огорчило королеву, но несколько минут спустя она испытала огорчение еще большее: она родила вторую дочь, и та оказалась чрезвычайно некрасивой.

— Не убивайтесь так, сударыня,— сказала ей волшебница,— ваша дочь будет вознаграждена иными качествами, и будет у ней столько ума, что люди не заметят в ней недостатка красоты.

— Дай бог,— ответила королева,— но нельзя ли сделать так, чтобы старшая, такая красивая, стала немного поумнее?

— Что до ума, сударыня, я ничего не могу для нее сделать,— сказала волшебница,— но я все могу, когда дело идет о красоте, а так как нет такой вещи, которой я бы не сделала для вас, то она получит от меня дар — наделять красотой того, кто ей понравится.

По мере того как обе принцессы подрастали, умножались и их совершенства, и повсюду только и было речи, что о красоте старшей и об уме младшей. Правда и то, что с годами весьма усиливались и их недостатки. Младшая дурнела прямо на глазах, а старшая с каждым днем становилась все глупее. Она или ничего не отвечала, когда ее о чем-либо спрашивали, или говорила глупости. К тому же она была такая неловкая, что если переставляла на камине какие-нибудь фарфоровые вещицы, то

одну из них непременно разбивала, а когда пила воду, то половину стакана всегда выливала себе на платье.

Хотя красота — великое достоинство в молодой особе, все же младшая дочь всегда имела больший успех, чем старшая. Сперва все устремлялись к красавице, чтоб поглядеть на нее, полюбоваться ею, но вскоре уже все шли к той, которая была умна, потому что ее приятно было слушать; можно было только удивляться, что уже через четверть часа, даже раньше, никого не оставалось подле старшей, а все гости окружали младшую. Старшая, хоть и была весьма глупа, замечала это и не пожалела бы отдать всю свою красоту, лишь бы наполовину быть такой умной, как ее сестра. Королева, как ни была разумна, все же порой не могла удержаться, чтоб не попрекнуть дочь ее глупостью, и бедная принцесса чуть не умирала от этого с горя.

Как-то раз в лесу, куда она пошла поплакать о своей беде, к ней подошел человек очень уродливой и неприятной наружности, одетый, впрочем, весьма пышно. Это был молодой принц Рике с хохолком: влюбившись в нее по портретам, которые распространены были во всем мире, он оставил королевство своего отца ради удовольствия повидать ее и поговорить с нею. В восторге от того, что встретил ее здесь совсем одну, он подошел к ней и представился как только мог почтительнее и учтивее. Он приветствовал ее, как подобает, и тут, заметив, что принцесса очень печальна, сказал ей:

— Не понимаю, сударыня, отчего это особа столь прекрасная, как вы, может быть столь печальна? Хоть я и могу похвалиться, что видел множество прекрасных особ, все же, надо сказать, не видел ни одной, чья красота напоминала бы вашу.

— Вы так любезны, сударь,— ответила ему принцесса и больше ничего не могла придумать.

— Красота,— продолжал Рике с хохолком,— столь великое благо, что она все остальное может нам заменить, а когда обладаешь ею, то, мне кажется, ничто уже не может особенно печалить нас.

— Я бы предпочла,— сказала принцесса,— быть столь же уродливой, как вы, но быть умной, вместо того чтобы быть такой красивой, но такой глупой.

— Ничто, сударыня, не служит столь верным признаком ума, как мысль об его отсутствии, и такова уж его природа, что чем больше его имеешь, тем больше его недостает.

— Не знаю,— сказала принцесса,— знаю только, что я очень глупа, оттого-то и убивает меня печаль.

— Если только это огорчает вас, сударыня, я легко могу положить конец вашей печали.

— А как вы это сделаете? — спросила принцесса.

— В моей власти, сударыня,— сказал Рике с хохолком,— на-

делить всем моим умом ту особу, которую я полюблю более всего на свете. А так как эта особа — вы, сударыня, то теперь от вас одной зависит стать умной, лишь бы вы согласились выйти замуж за меня.

Принцесса была совсем озадачена и ничего не ответила.

— Вижу,— сказал Рике с хохолком,— что это предложение смущает вас, но я не удивляюсь и даю вам сроку целый год, чтобы вы могли принять решение.

Принцессе настолько не хватало ума, и в то же время ей так сильно хотелось иметь его, что она вообразила, будто этому году никогда не будет конца,— и вот она приняла сделанное ей предложение. Не успела она пообещать Рике, что выйдет за него замуж ровно через год, как почувствовала себя совсем иною, нежели раньше. Теперь она с поразительной легкостью могла говорить все, что хотела, и говорить умно, непринужденно и естественно. В ту же минуту она начала с принцем Рике любезный и легкий разговор и с таким блеском проявила в нем свой ум, что Рике с хохолком подумал, не дал ли он ей больше ума, чем оставил себе самому.

Когда она вернулась во дворец, весь двор не знал что и подумать о таком внезапном и необыкновенном превращении; насколько прежде все привыкли слышать от нее одни только глупости, настолько теперь удивлялись ее здравым и бесконечно остроумным речам. Весь двор был так обрадован, что и представить себе нельзя; только младшая сестра осталась не очень довольна, потому что, уже не превосходя теперь умом сестру, она рядом с нею казалась всего лишь противным уродом.

Король стал слушаться советов старшей дочери и нередко в ее покоях совещался о делах. Так как слух об этой перемене распространился повсюду, то молодые принцы из всех соседних королевств стали пытаться заслужить ее любовь, и почти все просили ее руки; но ни один из них не казался ей достаточно умным, и она выслушивала их, никому ничего не обещая. Но вот к ней явился принц столь могущественный, столь богатый, столь умный и столь красивый, что принцесса не могла не почувствовать к нему расположения. Отец ее, заметив это, сказал, что предоставляет ей выбрать жениха и что решение зависит только от нее. Чем умнее человек, тем труднее принять решение в таком деле, а потому, поблагодарив отца, она попросила дать ей время на размышление.

Случайно она пошла гулять в тот самый лес, где встретила принца Рике, чтобы на свободе подумать о том, что ей предпринять. Гуляя там в глубокой задумчивости, она вдруг услышала глухой шум под ногами, как будто какие-то люди ходят, бегают, суетятся. Внимательно прислушавшись, она разобрала слова. Кто-то говорил: «Принеси мне этот котелок!» А кто-то

другой: «Подай мне тот котелок». А третий: «Подложи дров в огонь». В тот же миг земля разверзлась, и у себя под ногами принцесса увидела большую кухню, которую наполняли повара, поварята и все прочие, без кого никак не приготовить роскошного пира. От них отделилась толпа человек в двадцать или тридцать; то были вертельщики, они направились в одну из аллей, расположились там вокруг длинного стола и, со шпиговальными иглами в руках, в шапках с лисьими хвостиками на головах, дружно принялись за работу, напевая благозвучную песню. Принцесса, удивленная этим зрелищем, спросила их, для кого они трудятся.

— Это, сударыня,— отвечал самый видный из них,— для принца Рике, завтра его свадьба.

Принцесса удивилась еще больше и, вспомнив вдруг, что сегодня исполнился ровно год с того дня, как она обещала выйти замуж за принца Рике, еле устояла на ногах. Не помнила она об этом оттого, что, давая обещание, была еще глупой, и, получив от принца ум, который он ей подарил, забыла все свои глупости.

Она продолжала свою прогулку, но не успела пройти и тридцати шагов, как пред ней предстал Рике с хохолком, исполненный отваги, в великолепном наряде, ну, словом, как принц, готовящийся к свадьбе.

— Вы видите, сударыня,— сказал он,— я свято сдержал слово и не сомневаюсь, что вы тоже пришли сюда затем, чтобы исполнить ваше обещание и сделать меня самым счастливым среди людей, отдав мне вашу руку.

— Признаюсь вам откровенно,— ответила принцесса,— я еще не приняла решения, какое хотелось бы вам, и не думаю, чтобы когда-нибудь приняла.

— Вы удивляете меня, сударыня! — сказал ей Рике с хохолком.

— Верю,— ответила принцесса,— и конечно уж, если бы я имела дело с человеком грубым или глупым, то была бы в великом затруднении. «Слово принцессы свято,— сказал бы он мне,— и вы должны выйти за меня замуж, раз вы мне обещали!» Но я говорю с человеком самым умным во всем мире, а потому уверена, что вас удастся убедить. Вы знаете, что, когда я еще была глупой, я все-таки и тогда не решалась выйти за вас замуж,— так как же вы хотите, чтобы теперь, обладая умом, который вы мне дали и от которого я стала еще разборчивее, чем была прежде, я приняла решение, какое не смогла принять даже в ту пору? Если вы и вправду собирались на мне жениться, то напрасно вы избавили меня от моей глупости и научили во всем разбираться.

— Если глупому человеку, как вы только что сказали,— возразил Рике с хохолком,— было бы позволено попрекать вас

изменой вашему слову, то почему же мне, сударыня, вы не разрешаете поступить так же, когда дело идет о счастье моей жизни? Какой смысл в том, чтобы люди умные оказывались в худшем положении, чем те, у которых вовсе нет ума? Вы ли это говорите, вы, у которой столько ума и которая так хотела поумнеть? Но давайте вернемся к делу. Если не считать моего уродства, что не нравится вам во мне? Вы недовольны моим родом, моим умом, моим нравом, моим поведением?

— Ничуть,— отвечала принцесса,— мне нравится в вас все, что вы перечислили сейчас.

— Если так,— сказал Рике с хохолком,— я очень рад, потому что вы можете сделать меня самым счастливым из смертных.

— Как же это может быть? — удивилась принцесса.

— Так будет,— ответил принц Рике,— если вы полюбите меня настолько, что пожелаете этого, а чтобы вы, сударыня, не сомневались, знайте: от той самой волшебницы, что в день моего рождения наградила меня волшебным даром и позволила мне наделить умом любого человека, какого мне заблагорассудится, вы тоже получили дар — вы можете сделать красавцем того, кого полюбите и кого захотите удостоить этой милости.

— Если так,— сказала принцесса,— я от души желаю, чтоб вы стали самым прекрасным и самым любезным принцем на всей земле, и, насколько это в моих силах, приношу вам в дар красоту.

Не успела принцесса произнести эти слова, как принц Рике уже превратился в самого красивого, самого стройного и самого любезного человека, какого ей случалось видеть.

Иные уверяют, что чары волшебницы здесь были ни при чем, что только любовь произвела это превращение. Они говорят, что принцесса, поразмыслив о постоянстве своего поклонника, о его скромности и обо всех прекрасных свойствах его ума и души, перестала замечать, как уродливо его тело, как безобразно его лицо: горб его стал теперь придавать ему некую особую важность, в его ужасной хромоте она теперь видела лишь манеру склоняться чуть набок, и эта манера приводила ее в восторг. Говорят даже, будто глаза его казались ей теперь еще более блестящими оттого, что были косы, будто в них она видела выражение страстной любви, а его большой красный нос приобрел для нее какие-то таинственные, даже героические черты.

Как бы то ни было, принцесса обещала Рике тотчас же выйти за него замуж, лишь бы он получил согласие ее отца. Король, узнав, сколь высоко его дочь ставит принца Рике, который к тому же был ему известен как принц весьма умный и рассудительный, был рад увидеть в нем своего зятя. Свадьбу отпраздновали на другой день, как и предвидел Рике с хохолком, и в полном согласии с приказаниями, которые он успел дать задолго до того.

ЗОЛУШКА, ИЛИ ХРУСТАЛЬНАЯ ТУФЕЛЬКА

Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал.

У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером.

У мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая — вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая.

И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все было ей не по вкусу, но больше всего невзлюбила она свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с нею казались еще хуже.

Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу в доме: она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень — своих сестриц.

Спала она на чердаке, под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестриц были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разубранными по последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с головы до ног.

Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Мачеха так прибрала его к рукам, что он теперь на все смотрел ее глазами и, наверно, только побранил бы дочку за неблагодарность и непослушание.

Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме прозвали ее Золушкой.

А все-таки Золушка в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была во сто раз милее, чем ее сестрицы, разодетые в бархат и шелк.

И вот как-то раз сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми.

Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу.

У бедной Золушки работы и заботы стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, плоить воротники и оборки.

В доме только и разговору было что о нарядах.

— Я,— говорила старшая,— надену красное бархатное платье и драгоценный убор, который мне привезли из-за моря.

— А я,— говорила младшая,— надену самое скромное платье, но зато у меня будет накидка, расшитая золотыми цветами, и бриллиантовый пояс, какого нет ни у одной знатной дамы.

Послали за искуснейшей модисткой, чтобы она соорудила им чепчики с двойной оборкой, а мушки купили у самой лучшей мастерицы в городе.

Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали у нее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво.

Никто не умел так искусно, как она, приколоть кружева или завить локоны.

— А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал? — спрашивали сестры, пока она причесывала их перед зеркалом.

— Ах, что вы, сестрицы! Вы смеетесь надо мной! Разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках!

— Что правда, то правда. Вот была бы умора, если бы такая замарашка явилась на бал!

Другая на месте Золушки причесала бы сестриц как можно хуже. Но Золушка была добра: она причесала их как можно лучше.

За два дня до бала сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее.

И вот наконец долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали.

Золушка долго смотрела им вслед, а когда их карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала.

Ее крестная, которая как раз в это время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах.

— Что с тобой, дитя мое? — спросила она.

Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить.

— Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли? — спросила крестная.

Она была фея — волшебница — и слышала не только то, что говорят, но и то, что думают.

— Правда,— сказала Золушка, всхлипывая.

— Что ж, будь только умницей,— сказала фея,— а уж я позабочусь о том, чтобы ты могла побывать сегодня во дворце. Сбегай-ка на огород да принеси мне оттуда большую тыкву!

Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестной. Ей очень хотелось спросить, каким образом простая тыква поможет ей попасть на королевский бал, но она не решилась.

А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес.

Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось полдюжины живых мышей.

Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого, мышастого коня.

Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из шести статных коней в серебряной сбруе.

Не хватало только кучера.

Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила:

— Что, если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса? Может быть, она годится в кучера?

— Твоя правда,— сказала волшебница.— Поди посмотри.

Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали три большие крысы.

Фея выбрала одну из них, самую крупную и усатую, дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами,— таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер.

— А теперь,— сказала фея,— ступай в сад. Там за лейкой, на куче песка, ты найдешь шесть ящериц. Принеси-ка их сюда.

Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как фея превратила их в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном.

Все шестеро проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю свою жизнь служили выездными лакеями и никогда не были ящерицами...

— Ну вот,— сказала фея,— теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь, не теряя времени, ехать во дворец. Что, довольна ты?

— Очень! — сказала Золушка.— Но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном золой платье?

Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями.

Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие и не снились ни одной девушке.

Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи.

— Если ты опоздаешь хоть на одну минутку,— сказала она,— твоя карета снова сделается тыквой, лошади — мышами, лакеи — ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое, залатанное платьице.

— Не беспокойтесь, я не опоздаю! — ответила Золушка и, не помня себя от радости, отправилась во дворец.

Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная, но никому не известная принцесса, сам выбежал встречать ее. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные.

Все сразу стихло. Скрипки замолкли. И музыканты, и гости невольно загляделись на незнакомую красавицу, которая приехала на бал позже всех.

«Ах, как она хороша!» — говорили шепотом кавалер кавалеру и дама даме.

Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Зо-

лушку и сказал королеве вполголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особы.

Придворные дамы были заняты только тем, что рассматривали ее платье и головной убор, чтобы завтра же заказать себе что-нибудь похожее, если только им удастся найти таких же искусных мастеров и такую же прекрасную ткань.

Принц усадил свою гостью на самое почетное место, а чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец.

Она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде.

После танцев разносили угощение. Но принц ничего не мог есть — он не сводил глаз со своей дамы. А Золушка в это время разыскала своих сестер, подсела к ним и, сказав каждой несколько приятных слов, угостила их апельсинами и лимонами, которые поднес ей сам принц.

Это им очень польстило. Они и не ожидали такого внимания со стороны незнакомой принцессы.

Но вот, беседуя с ними, Золушка вдруг услышала, что дворцовые часы бьют одиннадцать часов и три четверти. Она встала, поклонилась всем и пошла к выходу так быстро, что никто не успел догнать ее.

Вернувшись из дворца, она еще сумела до приезда мачехи и сестер забежать к волшебнице и поблагодарить ее за счастливый вечер.

— Ах, если бы можно было и завтра поехать во дворец! — сказала она.— Принц так просил меня...

И она рассказала крестной обо всем, что было во дворце.

Едва только Золушка переступила порог и надела свой старый передник и деревянные башмаки, как в дверь постучали. Это вернулись с бала мачеха и сестры.

— Долго же вы, сестрицы, гостили нынче во дворце! — сказала Золушка, зевая и потягиваясь, словно только что проснулась.

— Ну, если бы ты была с нами на балу, ты бы тоже не стала торопиться домой,— сказала одна из сестер.— Там была одна принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидишь! Мы ей, должно быть, очень понравились. Она подсела к нам и даже угостила апельсинами и лимонами.

— А как ее зовут? — спросила Золушка.

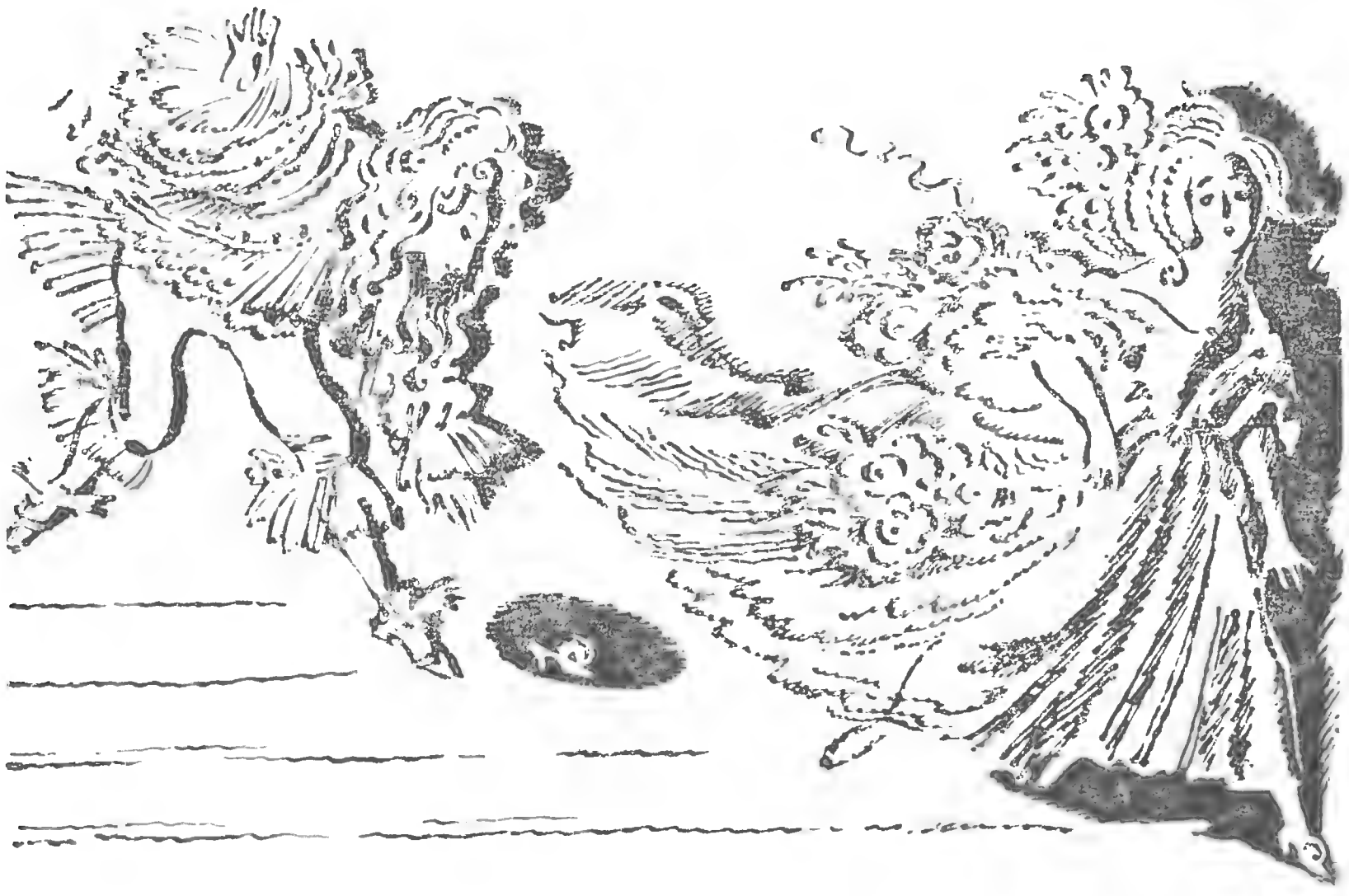
— Ну, этого никто не знает...— сказала старшая сестрица.

А младшая прибавила:

— Принц, кажется, готов отдать полжизни, чтобы только узнать, кто она такая.

Золушка улыбнулась.

— Неужели эта принцесса и вправду так хороша? — спросила она.— Какие вы счастливые!.. Нельзя ли и мне хоть одним



глазком посмотреть на нее? Ах, сестрица Жавотта, дайте мне на один вечер ваше желтое платье, которое вы носите дома каждый день!

— Этого только не хватало! — сказала Жавотта, пожимая плечами.— Дать свое платье такой замарашке, как ты! Кажется, я еще не сошла с ума.

Золушка не ждала другого ответа и нисколько не огорчилась. В самом деле: что бы стала она делать, если бы Жавотта вдруг расщедрилась и вздумала одолжить ей свое платье!

На другой вечер сестры опять отправились во дворец — и Золушка тоже... На этот раз она была еще прекраснее и наряднее, чем накануне.

Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете, даже о том, что ей надо уехать вовремя, и спохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь.

Она поднялась с места и убежала быстрее лани.

Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видел ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Правда, привратники заметили, что мимо них пробежала какая-то бедно одетая девушка, но она скорее была похожа на нищенку, чем на принцессу.

Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое, поношенное платьице, и от всего ее великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька, точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице.

Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, весело ли им было нынче на балу и приезжала ли опять во дворец вчерашняя красавица.

Сестры наперебой стали рассказывать, что принцесса и на этот раз была на балу, но убежала, чуть только часы начали бить двенадцать.

— Она так торопилась, что даже потеряла свой хрустальный башмачок,— сказала старшая сестрица.

— А принц поднял его и до конца бала не выпускал из рук,— сказала младшая.

— Должно быть, он по уши влюблен в эту красавицу, которая теряет на балах башмаки,— добавила мачеха.

И это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание, под звуки труб и фанфар, что девушка, которой придется впору хрустальная туфелька, станет его женой.

Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все было напрасно: она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам.

Наконец очередь дошла и до сестер Золушки.

Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги! Но она не лезла им даже на кончики пальцев. Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки.

— А ведь она, кажется, будет впору мне,— сказала Золушка.

Сестрицы так и залились злым смехом. Но придворный кавалер, который примерял туфельку, внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красива, сказал:

— Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня!

Он усадил Золушку в кресло и, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу увидел, что больше примерять ему не придется: башмачок был точь-в-точь по ножке, а ножка — по башмачку.

Сестры замерли от удивления. Но еще больше удивились они, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку — совсем такую же, как первая, только на другую ногу — и надела, не говоря ни слова. В эту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея — Золушкина крестная.

Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и оно стало еще пышнее и красивее, чем было накануне на балу.

Тут только обе сестрицы поняли, кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение за все обиды, которые она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца — ведь она была не только хороша собой, но и добра.

Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была прежде.

А через несколько дней сыграли веселую свадьбу.

ПОДАРКИ ФЕИ

Жила когда-то на свете вдова, и были у нее две дочери. Старшая — вылитая мать: то же лицо, тот же характер. Смотришь на дочку, а кажется, что видишь перед собой матушку. Обе, и старшая дочь, и мать, были до того грубы, спесивы, заносчивы, злы, что все люди, и знакомые и незнакомые, старались держаться от них подальше.

А младшая дочка была вся в покойного отца — добрая, приветливая, кроткая, да к тому же еще красавица, каких мало.

Обычно люди любят тех, кто на них похож. Поэтому-то мать без ума любила старшую дочку и терпеть не могла младшую. Она заставляла ее работать с утра до ночи, а кормила на кухне.

Кроме всех прочих дел, младшая дочка должна была по два раза в день ходить к источнику, который был по крайней мере в двух часах ходьбы, и приносить оттуда большой, полный доверху кувшин воды.

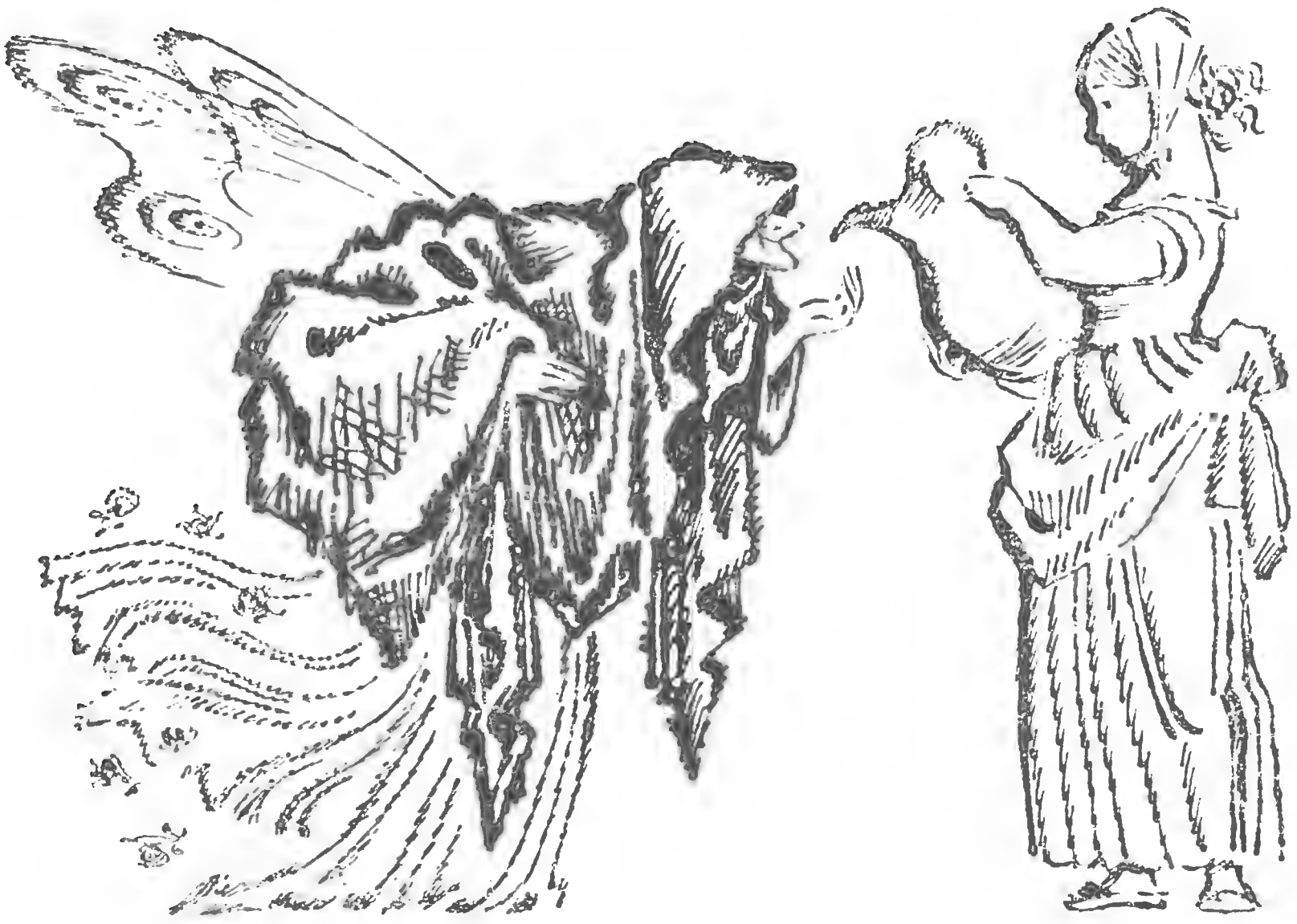
Как-то раз, когда девушка брала воду, к ней подошла какая-то бедная женщина и попросила напиться.

— Пейте на здоровье, тетушка,— сказала добрая девушка.

Сполоснув поскорее свой кувшин, она зачерпнула воды в самом глубоком и чистом месте и подала женщине, придерживая кувшин так, чтоб удобнее было пить.

Женщина отпила несколько глотков воды и сказала девушке:

— Ты так хороша, так добра и приветлива, что мне хочется подарить тебе что-нибудь на память. (Дело в том, что это была фея, которая нарочно приняла вид простой деревенской женщины, чтобы посмотреть, так ли эта девушка мила и учтива, как про нее рассказывают.) Вот что я подарю тебе: с нынешнего дня каждое слово, которое ты промолвишь, упадет с твоих губ либо цветком, либо драгоценным камнем. Прощай!



Когда девушка пришла домой, мать стала бранить ее за то, что она замешкалась у источника.

— Простите, матушка,— сказала бедная девушка.— Я нынче и вправду запоздала.

Но едва только она проронила эти слова, как с губ ее упали несколько роз, две жемчужины и два крупных алмаза.

— Смотрите-ка! — сказала мать, широко раскрыв глаза от удивления.— Мне кажется, вместо слов она роняет алмазы и жемчуга... Что это с тобой приключилось, дочка? (Первый раз в жизни она назвала свою меньшую тоже дочкой.)

Девушка попросту, не таясь и не хвалясь, рассказала матери обо всем, что с ней случилось у источника. А цветы и алмазы так и сыпались при этом с ее уст.

— Ну, если так,— сказала мать,— надо мне послать к источнику и старшую дочку... А ну-ка, Фаншон, посмотри, что сыплется с губ твоей сестры, чуть только она заговорит! Неужели тебе не хочется получить такой же удивительный дар? И ведь нужно для этого всего-навсего сходить к источнику и, когда бедная женщина попросит у тебя воды, вежливо подать ей напиться.

— Ну вот еще! Охота мне тащиться в этакую даль! — отвечала злючка.

— А я хочу, чтобы ты пошла! — прикрикнула на нее мать.— И сию же минуту, без разговоров!

Девушка нехотя послушалась и пошла, так и не переставая ворчать. На всякий случай она захватила с собой серебряный кувшинчик, самый красивый, какой был у них в доме.

Едва успела она подойти к источнику, как навстречу ей из лесу вышла нарядно одетая дама и попросила глоток воды. (Это была та же самая фея, но только на этот раз она приняла облик принцессы, чтобы испытать, так ли груба и зла старшая сестра, как о ней рассказывают.)

— Уж не думаете ли вы, что я притащилась сюда, чтобы дать вам напиться? — сказала девушка дерзко.— Ну конечно, только для этого! Я и серебряный кувшинчик нарочно захватила, чтобы поднести воду вашей милости!.. А впрочем, мне все равно. Пейте, если хотите...

— Однако вы не очень-то любезны,— сказала спокойно фея.— Ну что ж, какова услуга, такова и награда. С нынешнего дня каждое слово, которое сорвется с ваших губ, превратится в змею или жабу. Прощайте!

Как только девушка вернулась домой, мать кинулась к ней навстречу:

— Это ты, доченька? Ну как?

— А вот так, матушка! — буркнула в ответ дочка, и в то же мгновение две гадюки и две жабы плюхнулись на порог.

— Ах, боже мой! — вскрикнула мать.— Да что же это такое? Откуда?.. А, знаю! Это твоя сестра во всем виновата. Ну, поплатится же она у меня!..— И она кинулась на младшую дочку с кулаками.

Бедняжка в страхе бросилась бежать и укрылась в соседнем лесу.

Там и встретил ее молодой принц, сын короля этой страны. Возвращаясь с охоты, он нашел в чаще прекрасную девушку и, подивившись ее красоте, спросил, что она делает в лесу совсем одна и о чем так горько плачет.

— Ах, сударь,— ответила красавица,— матушка прогнала меня из дому!..

Королевский сын заметил, что с каждым словом девушка роняет из уст цветок, жемчужину или алмаз. Он изумился и попросил объяснить, что это за чудо. И тут девушка рассказала ему всю свою историю.

Королевский сын влюбился в нее. К тому же он рассудил, что дар, которым фея наделила красавицу, стоит дороже любого приданого, какое могла бы принести ему другая невеста. Он увез девушку во дворец, к своему отцу, и женился на ней.

Ну, а старшая сестра с каждым днем становилась все противнее и несноснее. В конце концов даже собственная мать не выдержала и прогнала ее из дому. Несчастная нигде и ни у кого не могла найти пристанища и умерла, отвергнутая всеми.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

Жили на свете король с королевой. У них не было детей, и это их так огорчало, что и сказать нельзя. Уж каких только обетов они не давали, ездили и на богомолье, и на целебные воды — все было напрасно.

И вот наконец, когда король с королевой потеряли всякую надежду, у них вдруг родилась дочка.

Можете себе представить, что за праздник устроили в честь ее рождения! В гости к маленькой принцессе позвали всех фей, каких удалось найти в стране. Дело в том, что у фей в те времена был прекрасный обычай: наделять своих крестниц различными чудесными дарами. А так как фей оказалось семь, то принцесса должна была получить от них в приданое не меньше семи достоинств или добродетелей.

Феи и другие приглашенные съехались в королевский дворец, где для почетных гостей был накрыт праздничный стол.

Перед феями поставили великолепные обеденные приборы и по ящичку из литого золота. В каждом ящичке лежали ложка, вилка и ножик — тоже из чистого золота самой тонкой работы, усыпанные алмазами и рубинами.

И вот, когда гости уселись за стол, дверь вдруг отворилась, и вошла старая фея — восьмая по счету,— которую забыли позвать на крестины.

А забыли ее позвать потому, что больше пятидесяти лет она не выходила из своей башни и все думали, что она давно умерла.

Король приказал, чтобы ей тоже подали прибор. Слуги исполнили это в одно мгновение, но золотого ящичка с ложкой, вилкой и ножиком на ее долю не хватило. Этих ящичков было приготовлено только семь — по одному для каждой из семи фей.

Старая фея, разумеется, очень обиделась. Она подумала, что король с королевой невежливые люди и встречают ее без должного уважения. Отодвинув от себя тарелку и кубок, она пробормотала сквозь зубы какую-то угрозу.

К счастью, юная фея, которая сидела рядом с ней, услышала ее бормотание, и, опасаясь, как бы старуха не вздумала наделить маленькую принцессу каким-нибудь очень неприятным подарком, она, чуть только гости встали из-за стола, пробралась в детскую и спряталась там за пологом кроватки. Она знала, что в споре обычно побеждает тот, за кем остается последнее слово, и хотела, чтоб ее пожелание было последним.

Когда кончился обед, наступила самая торжественная минута праздника: феи пошли в детскую и одна за другой стали преподносить крестнице свои дары.

Младшая из фей пожелала, чтобы принцесса была прекраснее всех на свете. Другая фея наградила ее нежным и добрым

сердцем. Третья сказала, что каждое ее движение будет вызывать восторг. Четвертая обещала, что принцесса будет превосходно танцевать, пятая — что она будет петь, как соловей, а шестая — что она будет играть на всех музыкальных инструментах с одинаковым искусством.

Наконец очередь дошла до старой феи. Старуха наклонилась над кроваткой и, тряся головой больше от досады, чем от старости, сказала, что принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрет.

Все так и вздрогнули, узнав, какой страшный подарок припасла для маленькой принцессы злая колдунья. Никто не мог удержаться от слез.

И вот тут-то юная фея появилась из-за полога и громко сказала:

— Утешьтесь, король и королева! Ваша дочь останется жива. Правда, я не так сильна, чтобы сказанное сделать несказанным. Принцесса должна будет, как это ни грустно, уколоть себе руку веретеном, но от этого она не умрет, а только заснет глубоким сном и будет спать ровно сто лет — до тех пор, пока ее не разбудит прекрасный принц.

Это обещание немного успокоило короля с королевой.

Однако король решил все же попытаться уберечь принцессу от несчастья, которое предсказала ей старая злая фея. Для этого особым указом он запретил всем своим подданным под страхом

смертной казни прясть пряжу и хранить у себя в доме веретена и прялки.

Прошло пятнадцать или шестнадцать лет. Как-то раз король с королевой и дочерью отправились в один из своих загородных дворцов.

Принцессе захотелось осмотреть древний замок, и, бегая из комнаты в комнату, она наконец добралась до самого верха дворцовой башни.

Там в тесной каморке под крышей сидела за прялкой какая-то старушка и преспокойно пряла пряжу. Как это ни странно, она ни от кого ни слова не слыхала о королевском запрете.

— Что это вы делаете, тетушка? — спросила принцесса, которая в жизни не видывала прялки.

— Пряду пряжу, дитя мое,— ответила старушка, вовсе и не догадываясь о том, что говорит с принцессой.

— Ах, это очень красиво! — сказала принцесса.— Дайте я попробую, выйдет ли у меня так же хорошо, как у вас.

Принцесса быстро схватила веретено и не успела прикоснуться к нему, как предсказание феи исполнилось: она уколола палец и упала замертво.

Перепуганная старушка принялась звать на помощь. Люди сбежались со всех сторон.

Чего только они не делали: брызгали принцессе в лицо водой, хлопали ладонями по ее ладоням, терли виски душистым уксусом королевы венгерской — ничего не помогало.

Побежали за королем. Он поднялся в башню, поглядел на принцессу и сразу понял, что печальное событие, которого они с королевой так опасались, свершилось.

С грустью приказал он перенести принцессу в самую красивую залу дворца и уложить там на постель, украшенную серебряным и золотым шитьем.

Трудно описать словами, как хороша была спящая принцесса. Она нисколько не побледнела. Щеки у нее были розовые, а губы красные, точно кораллы. И хоть глаза у нее были плотно закрыты, слышно было, что она тихонько дышит.

Стало быть, это и в самом деле был сон, а не смерть.

Король приказал не тревожить принцессу до тех пор, пока не наступит час ее пробуждения.

А добрая фея, которая спасла свою крестницу от смерти, пожелав ей столетнего сна, была в то время очень далеко от королевского замка.

Но она сразу же узнала об этом несчастье от маленького карлика-скорохода, у которого были семимильные сапоги (это такие чудесные сапоги, что стоит их надеть — и вы за один шаг будете проходить по семи миль).

Фея сейчас же пустилась в путь. Не прошло и часу, как ее огненная колесница, запряженная драконами, уже появилась возле королевского дворца. Король подал ей руку и помог сойти с колесницы.

Фея, как могла, постаралась утешить короля и королеву. А затем, так как это была очень предусмотрительная фея, она сразу же подумала, как грустно будет принцессе, когда через сто лет бедняжка проснется в этом старом замке и не увидит возле себя ни одного знакомого лица.

Чтобы этого не случилось, фея сделала вот что.

Своей волшебной палочкой она прикоснулась ко всем, кто был во дворце (кроме короля и королевы). А там были придворные, фрейлины, гувернантки, горничные, дворецкие, повара, поварята, скороходы, солдаты дворцовой стражи, привратники, пажи и лакеи.

Дотронулась она своей палочкой и до лошадей на королевской конюшне, и до конюхов, которые расчесывали лошадям хвосты. Дотронулась до больших дворцовых псов и до маленькой кудрявой собачки, по прозвищу Пуфф, которая лежала у ног спящей принцессы.

И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка феи, заснули. Заснули ровно на сто лет, чтобы проснуться вместе со своей хозяйкой и служить ей, как служили прежде. Заснули даже куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. Заснул вертел, на котором они вертелись. Заснул огонь, который их поджаривал.

И все это случилось в одно-единое мгновение. Феи знают свое дело: взмах палочки — и готово!

После этого король с королевой поцеловали свою спящую дочку, простились с ней и тихо вышли из залы.

Возвратившись к себе в столицу, они издали указ о том, чтобы никто не смел приближаться к заколдованному замку.

Но этого можно было бы и не делать, потому что в какие-нибудь четверть часа вокруг замка выросло столько деревьев, больших и маленьких, столько колючего кустарника — терновника и шиповника,— и все это так тесно переплелось ветвями, что ни человек, ни зверь не мог бы пробраться сквозь такую чащу.

И только издали, да еще с горы, можно было увидеть верхушки башен старого замка.

Все это фея сделала для того, чтобы ничье любопытство не потревожило покоя милой принцессы.

Прошло сто лет. Много королей и королев сменилось за эти годы.

И вот в один прекрасный день сын короля, который царствовал в то время, отправился на охоту.

Вдалеке, над густым дремучим лесом, он увидел башни какого-то замка.

— Чей это замок! — спросил он.— Кто там живет?

Каждый отвечал ему то, что сам слышал от других. Одни говорили, что это старые развалины, в которых живут привидения, другие уверяли, что все ведьмы в округе справляют в заброшенном замке свой шабаш. Но большинство сходилось на том, что старый замок принадлежит людоеду. Этот людоед будто бы ловит заблудившихся детей и уносит к себе в башню, чтобы съесть без помехи, так как никто не может проникнуть вслед за ним в его логовище — ведь только он один на свете знает дорогу сквозь заколдованный лес.

Принц не знал, кому и верить, но тут к нему подошел старый крестьянин и сказал, кланяясь:

— Добрый принц, полвека тому назад, когда я был так же молод, как вы, я слыхал от моего отца, что в этом замке спит непробудным сном самая прекрасная принцесса на свете и что спать она будет еще полвека, до тех пор, пока ее суженый, сын какого-то короля, не придет и не разбудит ее.

Можете себе представить, что почувствовал принц, когда он услышал эти слова!

Сердце у него в груди так и загорелось. Он сразу решил, что ему-то и выпало на долю счастье пробудить от сна прекрасную принцессу!

Недолго думая принц дернул поводья и поскакал в ту сторону, где виднелись башни старого замка, куда влекли его любовь и слава.

И вот перед ним заколдованный лес. Принц соскочил с коня, и сейчас же высокие, толстые деревья, колючий кустарник, заросли шиповника — все расступилось, чтобы дать ему дорогу. Словно по длинной прямой аллее, пошел он к замку, который виднелся вдали.

Принц шел один. Никому из его свиты не удалось последовать за ним — деревья, пропустив принца, сразу же сомкнулись за его спиной, а кусты опять переплелись ветвями.

Такое чудо могло испугать кого угодно, но принц был молод и влюблен, а этого довольно для того, чтобы быть храбрым.

Еще сотня шагов — и он очутился на просторном дворе перед замком. Принц посмотрел направо, налево, и кровь похолодела у него в жилах. Вокруг него лежали, сидели, стояли, прислонившись к стене, какие-то люди в старинной одежде. Все они были неподвижны, как мертвые.

Но, вглядевшись в красные, лоснящиеся лица привратников, он понял, что они вовсе не умерли, а просто спят. В руках у них были кубки, а в кубках еще не высохло вино, и это ясно по-

казывало, что внезапный сон застиг их в ту минуту, когда они собирались осушить чаши до дна.

Принц миновал большой двор, вымощенный мраморными плитами, поднялся по лестнице, вошел в залу дворцовой стражи. Латники спали стоя, выстроившись в ряд, с карабинами на плечах, и храпели вовсю.

Он прошел множество покоев, полных разодетыми придворными дамами и нарядными кавалерами. Все они тоже крепко спали, кто стоя, кто сидя.

И вот наконец он вошел в комнату с золочеными стенами и золоченым потолком. Вошел и остановился.

На постели, полог которой был откинут, покоилась прекрасная юная принцесса лет пятнадцати-шестнадцати (если не считать того столетия, которое она проспала).

Принц невольно закрыл глаза: красота ее так сияла, что даже золото вокруг нее казалось тусклым и бледным. Дрожа от восторга, он приблизился и опустился перед ней на колени.

В это самое мгновение час, назначенный доброй феей, пробил.

Принцесса проснулась, открыла глаза и взглянула на своего избавителя.

— Ах, это вы, принц? — сказала она.— Наконец-то! Долго же вы заставили себя ждать!..

Не успела она договорить эти слова, как все кругом пробудилось.

Первая подала голос маленькая собачка, по прозвищу Пуфф, которая лежала у ног принцессы. Она звонко залаяла, увидев незнакомого человека, и со двора ей ответили грубыми голосами сторожевые псы.

Заржали в конюшне лошади, заворковали голуби под крышей. Огонь в печи загудел что было мочи, и фазаны, которых поварята не успели дожарить сто лет тому назад, зарумянились в одну минуту.

Слуги под присмотром дворецкого уже накрывали на стол в зеркальной столовой. А придворные дамы в ожидании завтрака поправляли растрепавшиеся за сто лет локоны и улыбались своим заспанным кавалерам.

В зале дворцовой стражи латники снова занялись своим обычным делом — затопали ботфортами и загремели оружием.

А привратники, сидевшие у входа во дворец, наконец осушили кубки и опять наполнили их добрым винцом, которое за сто лет стало, конечно, старше и лучше.

Весь замок — от флага на башне до винного погреба — ожил и зашумел.

А принц и принцесса ничего не слышали. Они глядели друг на друга и не могли наглядеться. Принцесса позабыла, что ни-

чего не ела уже целый век, да и принц не вспоминал о том, что у него с утра не было во рту маковой росинки. Они разговаривали целых четыре часа и не успели сказать даже половины того, что хотели.

Но все остальные не были влюблены и поэтому умирали от голода.

Наконец старшая фрейлина, которой хотелось есть так же сильно, как и всем другим, не вытерпела и доложила принцессе, что завтрак подан.

Принц подал руку своей невесте и повел ее в столовую.

Принцесса была великолепно одета и с удовольствием поглядывала на себя в зеркала, а влюбленный принц, разумеется, ни слова не сказал ей о том, что фасон ее платья вышел из моды по крайней мере лет сто назад и что такие рукава и воротники не носят со времен его прапрабабушки.

Впрочем, и в старомодном платье она была лучше всех на свете.

Жених с невестой уселись за стол. Самые знатные кавалеры подавали им различные кушанья старинной кухни. А скрипки и гобои играли для них прелестные, давно забытые песни прошлого века.

Придворный поэт тут же сочинил новую, хотя немного старомодную песенку о прекрасной принцессе, которая сто лет проспала в заколдованном лесу. Песня очень понравилась тем, кто ее слышал, и с тех пор ее стали петь все от мала до велика, от поварят до королей.

А кто не умел петь песни, тот рассказывал сказку. Сказка эта переходила из уст в уста и дошла наконец до нас с вами.

КОТ В САПОГАХ

Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота.

Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, которые бы живо проглотили все их небогатое наследство. Старшему досталась мельница. Среднему — осел. Ну, а уж младшему пришлось взять себе кота.

Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства.

— Братья могут честно заработать себе на хлеб,— говорил он.— А что станется со мною после того, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту? Прямо хоть помирай с голоду.

Кот услышал эти слова, но виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно:

— Не печальтесь, хозяин. Дайте-ка мне мешок да закажите пару сапог, чтобы легче было бродить по лесу, и вы увидите, что вас не так уж обделили, как вам это сейчас кажется.

Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался этот плут, когда охотился на крыс и мышей, как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет в беде!

Едва только кот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за шнурки передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов. А в мешке у него были отруби и заячья капуста.

Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь глупый кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен свет, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенным для него угощением.

Долго ждать ему не пришлось: какой-то молоденький, доверчивый простачок-кролик сразу же прыгнул в мешок.

Недолго думая кот затянул шнурки и покончил с кроликом безо всякого милосердия.

После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приема у короля.

Его ввели в королевские покои.

Кот отвесил его величеству почтительный поклон и сказал:

— Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса (такое имя выдумал он для своего хозяина). Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок.

— Поблагодари своего господина,— ответил король,— и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие.

Несколько дней спустя кот пошел на поле и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок.

На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки на мешке и понес обеих к королю.

Король охотно принял и этот подарок и приказал наградить кота.

Так прошло два или три месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом.

И вот как-то раз кот узнал, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки.

— Согласны вы послушаться моего совета? — спросил он своего хозяина.— В таком случае счастье у вас в руках. Все,

что от вас требуется,— это пойти купаться на реку, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне.

Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно.

В то время как он купался, королевская карета выехала на берег реки.

Кот со всех ног бросился к ней и закричал что было мочи:

— Сюда, сюда! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!

Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал своих слуг выручать маркиза де Карабаса.

Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у его господина во время купанья воры украли все до нитки. (А на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем.)

Король немедленно приказал своим придворным доставить для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба.

Наряд оказался и впору и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда — красивый и статный,— то, приодевшись, он, конечно, стал еще лучше, и принцесса, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе.

Когда же маркиз де Карабас бросил в сторону королевской дочки два-три взгляда, весьма почтительных, но в то же время очень нежных, она влюбилась в него без памяти.

Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке.

Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено.

— Эй, люди добрые,— крикнул он на бегу,— если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят на куски, словно начинку для пирога! Так и знайте.

Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна:

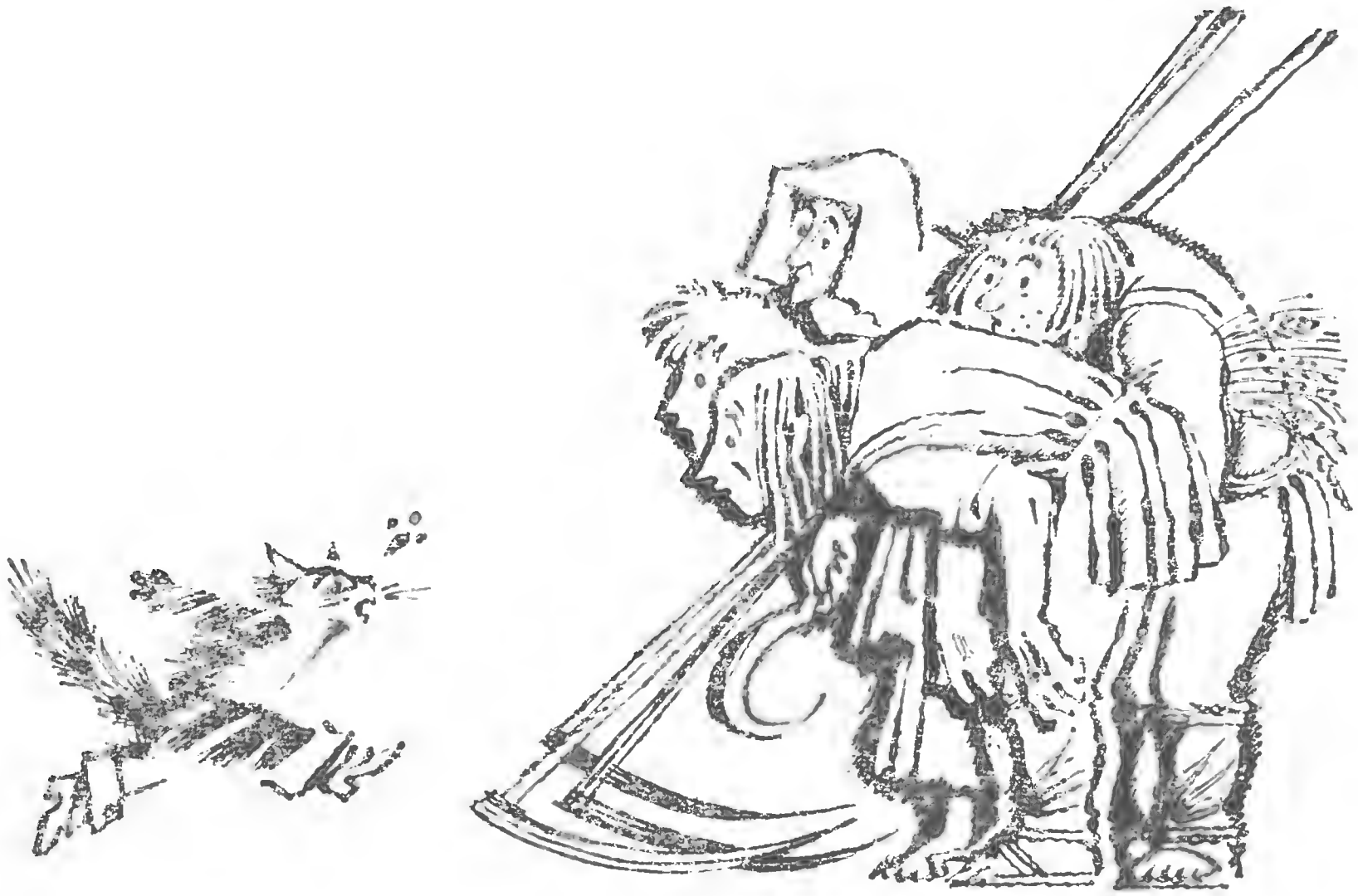
— Чей это луг вы косите?

— Маркиза де Карабаса! — в один голос отвечали косцы, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами.

— Однако, маркиз, у вас тут славное именье! — сказал король.

— Да, государь, этот луг каждый год дает отличное сено,— скромно ответил маркиз.

А между тем кот бежал все вперед и вперед, пока не увидел жнецов, работающих на поле.



— Эй, добрые люди,— крикнул он,— если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте: всех вас изрубят на куски, словно начинку для пирога!

Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи это поля они жнут.

— Поля маркиза де Карабаса,— был ответ.

И король опять порадовался за господина маркиза.

А кот все бежал и бежал впереди кареты и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же: «Это дом маркиза де Карабаса», «это мельница маркиза де Карабаса», «это сад маркиза де Карабаса».

Король не мог надивиться богатствам молодого маркиза.

И вот наконец кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан людоед. Никто на свете не видал великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении.

Кот заранее разузнал, что́ это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения.

Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть.

— Меня уверяли,— сказал кот,— что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться в льва или слона...

— Могу! — рявкнул великан.— И, чтобы доказать это, сейчас же сделаюсь львом. Смотри!

Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу, хоть это было трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по гладкой черепице. Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху.

— А еще меня уверяли,— сказал он,— но уж этому-то я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, например, сделаться крысой или мышкой. Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным.

— Ах вот как! Невозможным? — переспросил великан.— А ну-ка, погляди!

И в то же мгновение великан превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот — на то ведь он и кот! — погнался за ней, разом поймал и проглотил.

Тем временем король, проезжая мимо, заметил прекрасный замок и пожелал войти туда.

Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты, и, выбежав навстречу, сказал королю:

— Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!

— Как, господин маркиз? — воскликнул король.— Этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг. Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете.

Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее вслед за королем, который, как полагается, шел впереди.

Все втроем они вошли в большую залу, где был приготовлен великолепный ужин. Как раз в этот день людоед пригласил к себе приятелей, но они не посмели явиться, узнав, что в замке гостит король.

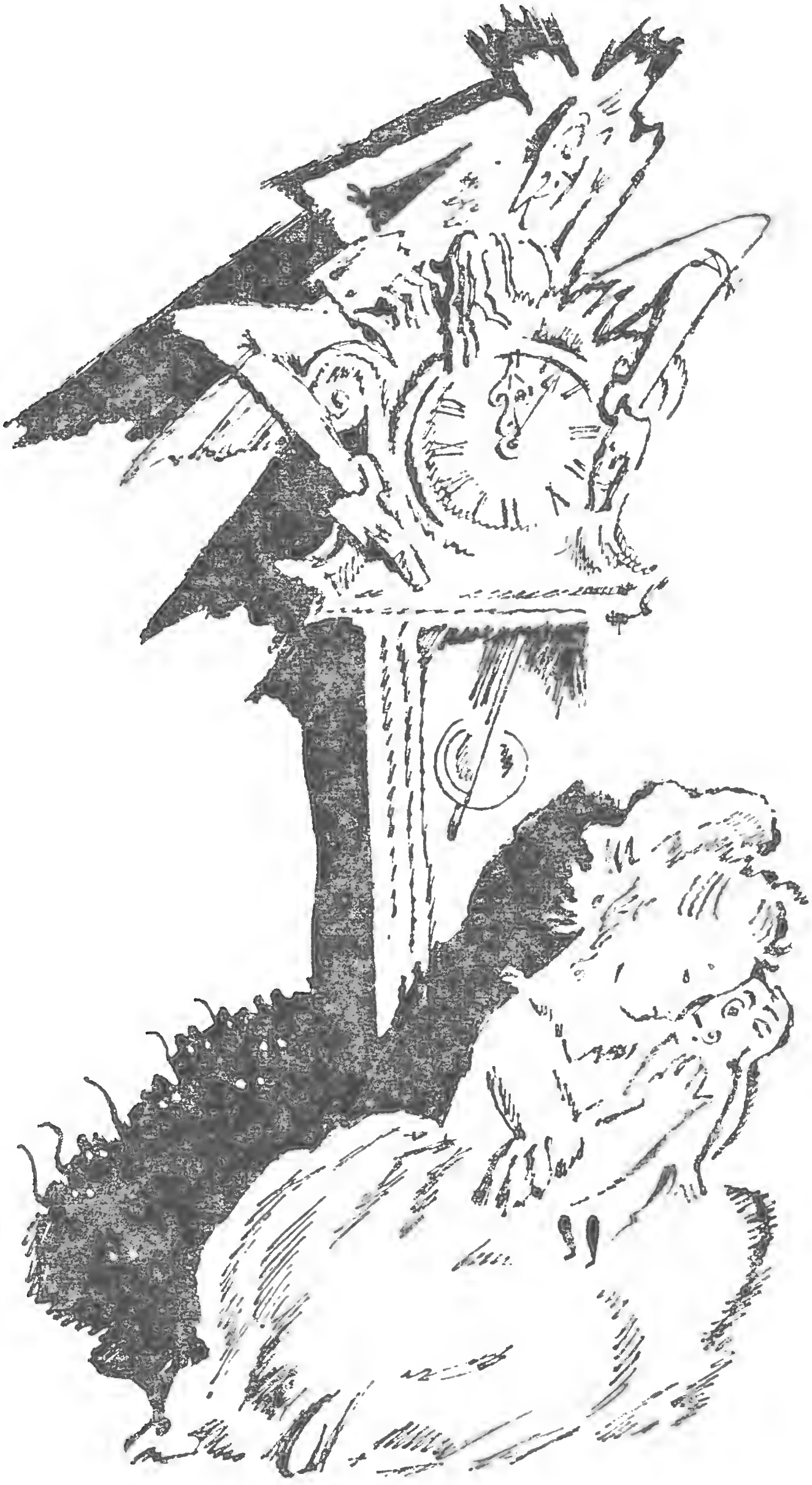
Король был очарован достоинствами господина де Карабаса почти так же, как его дочка. А та была от маркиза просто без ума. Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений маркиза и, осушив пять-шесть кубков, сказал:

— Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас. А я — согласен.

Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе.

А кот в сапогах стал знатным вельможей и с тех пор охотится на мышей только изредка — для собственного удовольствия.

Эрнст Теодор Амадей
ГОФМАН
Щелкунчик
и Мышиный Король
Сказка



ЕЛКА

Двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а уж в смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и Мари. Уже совсем стемнело, и им было очень страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке (ей только что минуло семь лет), что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой; но Фриц наверное знает, что это их крестный, Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала от радости в ладоши и воскликнула:

— Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный?

Старший советник суда Дроссельмейер не отличался красотой: это был маленький, сухонький человечек с морщинистым лицом, с большим черным пластырем вместо правого глаза и совсем лысый, почему он и носил красивый белый парик; а парик этот был сделан из стекла[1], и притом чрезвычайно искусно. Крестный сам был великим искусником, он знал толк в часах и даже умел их делать. Поэтому, когда у Штальбаумов начинали капризничать и переставали петь какие-нибудь часы, всегда приходил крестный Дроссельмейер, снимал стеклянный парик, стаскивал желтенький сюртучок, повязывал голубой передник и тыкал часы колючими инструментами, так что маленькой Мари было их очень жалко; но вреда часам он не причинял, наоборот— они снова оживали и сейчас же принимались весело тиктикать, звонить и петь, и все этому очень радовались. И всякий раз у крестного в кармане находилось что-нибудь занимательное для ребят: то человечек, ворочающий глазами и шаркающий ножкой, так что на него нельзя смотреть без смеха, то коробочка, из которой выскакивает птичка, то еще какая-нибудь штучка. А к рождеству он всегда мастерил красивую, затейливую игрушку, над которой много трудился. Поэтому родители тут же заботливо убирали его подарок.

---

[1] То есть из стеклянного волокна.

— Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный! — воскликнула Мари.

Фриц решил, что в нынешнем году это непременно будет крепость, а в ней будут маршировать и обучаться ружейным приемам прехорошенькие нарядные солдатики, а потом появятся другие солдатики и пойдут на приступ, но те солдаты, что в крепости, отважно выпалят в них из пушек, так что поднимется шум и грохот.

— Нет, нет,— перебила Фрица Мари,— крестный рассказывал мне о прекрасном саде. Там большое озеро, по нему плавают чудо какие красивые лебеди с золотыми ленточками на шее и распевают красивые песни. Потом из сада выйдет девочка, подойдет к озеру, приманит лебедей и будет кормить их сладким марципаном...

— Лебеди не едят марципана,— не очень вежливо перебил ее Фриц,— а целый сад крестному и не сделать. Да и какой толк нам от его игрушек? У нас тут же их отбирают. Нет, мне куда больше нравятся папины и мамины подарки: они остаются у нас, мы сами ими распоряжаемся.

И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари сказала, что мадемуазель Трудхен (ее большая кукла) совсем испортилась: она стала такой неуклюжей, то и дело падает на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а уж водить ее в чистом платье нечего и думать. Сколько ей ни выговаривай, ничего не помогает. И потом, мама улыбнулась, когда Мари так восхищалась Гретиным зонтиком. Фриц же уверял, что у него в придворной конюшне как раз не хватает гнедого коня, а в войсках маловато кавалерии. Папе это хорошо известно.

Итак, дети отлично знали, что родители накупили им всяких чудесных подарков и сейчас расставляют их на столе.

Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова; им чудилось, будто над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка. Вдруг светлый луч скользнул по стене. И в то же мгновение прозвучал тонкий серебряный колокольчик: динь-динь, динь-динь! Двери распахнулись, и елка засияла таким блеском, что дети с громким криком «Ах, ах!» замерли на пороге.

ПОДАРКИ

Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный читатель или слушатель,— Фриц, Теодор, Эрнст, все равно как бы тебя ни звали,— и прошу как можно живее вообразить себе

рождественский стол, весь заставленный чудными, пестрыми подарками, которые ты получил в нынешнее рождество,— тогда тебе нетрудно будет понять, что дети, обомлев от восторга, замерли на месте и смотрели на все сияющими глазами. Только минуту спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула:

— Ах, как чудно, ах, как чудно!

А Фриц несколько раз высоко подпрыгнул, на что был большой мастер. Уж, наверно, дети весь год были добрыми и послушными, потому что еще ни разу они не получали таких чудесных, красивых подарков, как сегодня.

Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали на темных ветках, и елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. И чего там только не было! Не знаю, кому под силу это описать!.. Мари увидела нарядных кукол, хорошенькую игрушечную посуду, но больше всего обрадовало ее шелковое платьице, искусно отделанное цветными лентами и висевшее так, что Мари могла любоваться им со всех сторон; она и любовалась им всласть, то и дело повторяя:

— Ах, какое красивое, какое милое, милое платьице! И мне позволят, наверное позволят, в самом деле позволят его надеть!

Фриц тем временем уже три или четыре раза галопом и рысью проскакал вокруг стола на новом гнедом коне, который, как он и предполагал, стоял на привязи у стола с подарками. Слезая, он сказал, что конь — лютый зверь, но ничего: уж он его вышколит. Потом он произвел смотр новому эскадрону гусар; они были одеты в великолепные красные мундиры, шитые золотом, размахивали серебряными саблями и сидели на таких белоснежных конях, что можно было подумать, будто и кони тоже из чистого серебра.

Только что дети, немного угомонившись, хотели взяться за книжки с картинками, лежавшие раскрытыми на столе, чтобы можно было любоваться разными замечательными цветами, пестро раскрашенными людьми и хорошенькими играющими детками, так натурально изображенными, будто они и впрямь живые и вот-вот заговорят,— так вот, только что дети хотели взяться за чудесные книжки, как опять прозвенел колокольчик. Дети знали, что теперь черед подаркам крестного Дроссельмейера, и подбежали к столу, стоявшему у стены. Ширмы, за которыми до тех пор был скрыт стол, быстро убрали. Ах, что увидели дети! На зеленой, усеянной цветами лужайке стоял замечательный за́мок со множеством зеркальных окон и золотых башен.

Заиграла музыка, двери и окна распахнулись, и все увидели, что в залах прохаживаются крошечные, но очень изящно сделанные кавалеры и дамы в шляпах с перьями и в платьях с длинными шлейфами. В центральном зале, который весь так и сиял (столько свечек горело в серебряных люстрах!), под музыку плясали дети в коротких камзольчиках и юбочках. Господин в изумрудно-зеленом плаще выглядывал из окна, раскланивался и снова прятался, а внизу, в дверях замка, появлялся и снова уходил крестный Дроссельмейер, только ростом он был с папин мизинец, не больше.

Фриц положил локти на стол и долго рассматривал чудесный замок с танцующими и прохаживающимися человечками. Потом попросил:

— Крестный, а крестный! Пусти меня к себе в замок!

Старший советник суда сказал, что этого никак нельзя. И он был прав: со стороны Фрица глупо было проситься в замок, который вместе со всеми своими золотыми башнями был меньше его. Фриц согласился. Прошла еще минутка, в замке все так же прохаживались кавалеры и дамы, танцевали дети, выглядывал все из того же окна изумрудный человечек, а крестный Дроссельмейер подходил все к той же двери.

Фриц в нетерпении воскликнул:

— Крестный, а теперь выйди из той, другой двери!

— Никак этого нельзя, милый Фрицхен,— возразил старший советник суда.

— Ну, тогда,— продолжал Фриц,— вели зеленому человечку, что выглядывает из окна, погулять с другими по залам.

— Этого тоже никак нельзя,— снова возразил старший советник суда.

— Ну, тогда пусть спустятся вниз дети! — воскликнул Фриц.— Мне хочется получше их рассмотреть.

— Ничего этого нельзя,— сказал старший советник суда раздраженным тоном.— Механизм сделан раз навсегда, его не переделаешь.

— Ах та-ак! — протянул Фриц.— Ничего этого нельзя... Послушай, крестный, раз нарядные человечки в замке только и знают, что повторять одно и то же, так что в них толку? Мне они не нужны. Нет, мои гусары куда лучше! Они маршируют вперед, назад, как мне вздумается, и не заперты в доме.

И с этими словами он убежал к праздничному столу, и по его команде эскадрон на серебряных конях начал скакать туда и сюда — по всем направлениям, рубить саблями и стрелять сколько душе угодно.

Мари тоже потихоньку отошла: и ей тоже наскучили танцы и гулянье куколок в замке. Только она постаралась сделать это незаметно, не так, как братец Фриц, потому что она была

доброй и послушной девочкой. Старший советник суда сказал недовольным тоном родителям:

— Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок.

Но тут мать попросила показать ей внутреннее устройство и удивительный, очень искусный механизм, приводивший в движение человечков. Дроссельмейер разобрал и снова собрал всю игрушку. Теперь он опять повеселел и подарил детям несколько красивых коричневых человечков, у которых были золотые лица, руки и ноги; все они превкусно пахли пряниками. Фриц и Мари очень им обрадовались. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела подаренное родителями нарядное платье, которое ей очень шло; а Мари попросила, чтоб ей позволили, раньше чем надевать новое платье, еще немножко полюбоваться на него, что ей охотно разрешили.

ЛЮБИМЕЦ

А на самом деле Мари потому не отходила от стола с подарками, что только сейчас заметила что-то, чего раньше не видела; когда выступили гусары Фрица, до того стоявшие в строю у самой елки, очутился на виду замечательный человечек. Он вел себя тихо и скромно, словно спокойно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Правда, он был не очень складный: чересчур длинное и плотное туловище на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже как будто великовата. Зато по щегольской одежде сразу было видно, что это человек благовоспитанный и со вкусом. На нем был очень красивый блестящий фиолетовый гусарский доломан весь в пуговичках и позументах, такие же рейтузы и столь щегольские сапожки, что едва ли доводилось носить подобные и офицерам, а тем паче студентам; они сидели на тоненьких ножках так ловко, будто были на них нарисованы. Конечно, нелепо было, что при таком костюме он прицепил на спину узкий неуклюжий плащ, словно выкроенный из дерева, а на голову нахлобучил шапчонку рудокопа, но Мари подумала: «Ведь крестный Дроссельмейер тоже ходит в прескверном сюртуке и в смешной шляпе, но это не мешает ему быть милым, дорогим крестным». Кроме того, Мари пришла к заключению, что крестный, будь он даже таким же щеголем, как человечек, все же никогда не сравняется с ним по миловидности. Внимательно вглядываясь в славного человечка, который полюбился ей с первого же взгляда, Мари заметила, каким добродушием светилось его лицо. Зеленоватые навыкате глаза смотрели приветливо и доброжелательно. Человечку очень шла тща-

тельно завитая борода из белых бумажных ниток, окаймлявшая подбородок,— ведь так заметнее выступала ласковая улыбка на его алых губах.

— Ах! — воскликнула наконец Мари.— Ах, милый папочка, для кого этот хорошенький человечек, что стоит под самой елкой?

— Он, милая деточка,— ответил отец,— будет усердно трудиться для всех вас: его дело — аккуратно разгрызать твердые орехи, и куплен он и для Луизы, и для тебя с Фрицем.

С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял деревянный плащ, и тогда человечек широко-широко разинул рот и оскалил два ряда очень белых острых зубов. Мари всунула ему в рот орех, и — щелк! — человечек разгрыз его, скорлупа упала, и у Мари на ладони очутилось вкусное ядрышко. Теперь уже все — и Мари тоже — поняли, что нарядный человечек вел свой род от Щелкунчиков и продолжал профессию предков. Мари громко вскрикнула от радости, а отец сказал:

— Раз тебе, милая Мари, Щелкунчик пришелся по вкусу, так ты уж сама и заботься о нем и береги его, хотя, как я уже сказал, и Луиза и Фриц тоже могут пользоваться его услугами.

Мари сейчас же взяла Щелкунчика и дала ему грызть орехи, но она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходилось слишком широко разевать рот, так как это, по правде сказать, его не красило. Луиза присоединилась к ней, и любезный друг Щелкунчик потрудился и для нее; казалось, он выполняет свои обязанности с большим удовольствием, потому что неизменно приветливо улыбался.

Фрицу тем временем надоело маршировать и скакать на коне. Когда он услышал, как весело щелкают орешки, ему тоже захотелось их отведать. Он подскочил к сестрам и от всего сердца расхохотался при виде потешного человечка, который теперь переходил из рук в руки и неустанно разевал и закрывал рот. Фриц совал ему самые большие и твердые орехи, но вдруг раздался треск — крак-крак! — три зуба выпали у Щелкунчика изо рта, и нижняя челюсть отвисла и зашаталась.

— Ах, бедный, милый Щелкунчик! — закричала Мари и отобрала его у Фрица.

— Что за дурак! — сказал Фриц.— Берется орехи щелкать, а у самого зубы никуда не годятся. Верно, он и дела своего не знает. Дай его сюда. Мари! Пусть щелкает мне орехи. Не беда, если и остальные зубы обломает, да и всю челюсть в придачу. Нечего с ним, бездельником, церемониться!

— Нет, нет! — с плачем закричала Мари.— Не отдам я тебе моего милого Щелкунчика. Посмотри, как жалостно глядит он на меня и показывает свой больной ротик! Ты злюка, ты бьешь своих лошадей и даже позволяешь солдатам убивать друг друга.

— Так полагается, тебе этого не понять! — крикнул Фриц.— А Щелкунчик не только твой, он и мой тоже. Давай его сюда!

Мари разрыдалась и поскорее завернула больного Щелкунчика в носовой платок. Тут подошли родители с крестным Дроссельмейером. К огорчению Мари, он принял сторону Фрица. Но отец сказал:

— Я нарочно отдал Щелкунчика на попечение Мари. А он, как я вижу, именно сейчас особенно нуждается в ее заботах, так пусть уж она одна им и распоряжается, и никто в это дело не вмешивается. Вообще меня очень удивляет, что Фриц требует дальнейших услуг от пострадавшего на службе. Как настоящий военный он должен знать, что раненых никогда не оставляют в строю.

Фриц очень сконфузился и, оставив в покое орехи и Щелкунчика, тихонько перешел на другую сторону стола, где его гусары, выставив, как полагается, часовых, расположились на ночлег. Мари подобрала выпавшие у Щелкунчика зубы; пострадавшую челюсть она подвязала красивой белой ленточкой, которую отколола от своего платья, а потом еще заботливее укутала платком бедного человечка, побледневшего и, видимо, напуганного. Баюкая его, как маленького ребенка, она принялась рассматривать красивые картинки в новой книге, которая лежала среди других подарков. Она очень рассердилась, хотя это было совсем на нее не похоже, когда крестный стал смеяться над тем, что она нянчится с таким уродцем. Ей пришло на ум странное сходство с Дроссельмейером, которое она отметила уже при первом взгляде на человечка, и она очень серьезно сказала:

— Как знать, милый крестный, как знать, был бы ты таким же красивым, как мой милый Щелкунчик, даже если бы принарядился не хуже его и надел такие же щегольские, блестящие сапожки?

Мари не могла понять, почему так громко рассмеялись родители, и почему у старшего советника суда так зарделся нос, и почему он не смеется вместе со всеми. Верно, на то были свои причины.

ЧУДЕСА

Как только войдешь к Штальбаумам в гостиную, тут, сейчас же у двери налево, у широкой стены, стоит высокий стеклянный шкаф, куда дети убирают прекрасные подарки, которые получают каждый год. Луиза была еще совсем маленькой, когда отец заказал шкаф очень умелому столяру, а тот вставил в него такие прозрачные стекла и вообще сделал все с таким умением, что в шкафу игрушки выглядели, пожалуй, даже еще ярче и красивей, чем

когда их брали в руки. На верхней полке, до которой Мари с Фрицем было не добраться, стояли замысловатые изделия господина Дроссельмейера; следующая полка была отведена под книжки с картинками; две нижние Мари и Фриц могли занимать чем им угодно. И всегда выходило так, что Мари устраивала на нижней полке кукольную комнату, а Фриц над ней расквартировывал свои войска. Так случилось и сегодня. Пока Фриц расставлял наверху гусар, Мари отложила внизу к сторонке мадемуазель Трудхен, посадила новую нарядную куклу в отлично обставленную комнату и напросилась к ней на угощение. Я сказал, что комната была отлично обставлена, и это правда; не знаю, есть ли у тебя, моя внимательная слушательница Мари, так же как у маленькой Штальбаум — ты уже знаешь, что ее тоже зовут Мари,— так вот, я говорю, что не знаю, есть ли у тебя, так же как у нее, пестрый диванчик, несколько прехорошеньких стульчиков, очаровательный столик, а главное, нарядная, блестящая кроватка, на которой спят самые красивые на свете куклы... Все это стояло в уголке в шкафу, стенки которого в этом месте были даже оклеены цветными картинками, и ты легко поймешь, что новая кукла, которую, как в этот вечер узнала Мари, звали Клерхен, чувствовала себя здесь прекрасно.

Был уже поздний вечер, приближалась полночь, и крестный Дроссельмейер давно ушел, а дети все еще не могли оторваться от стеклянного шкафа, как мама ни уговаривала их идти спать.

— Правда,— воскликнул наконец Фриц,— беднягам тоже пора на покой (он имел в виду своих гусар), а в моем присутствии никто из них не посмеет клевать носом, в этом уж я уверен!

И с этими словами он ушел. Но Мари просила:

— Милая мамочка, позволь мне побыть здесь еще минутку, одну только минутку! У меня так много дел, вот управлюсь и сейчас же лягу спать...

Мари была очень послушной, разумной девочкой, и потому мама могла спокойно оставить ее еще на полчаса одну с игрушками. Но чтобы Мари, заигравшись новой куклой и другими занимательными игрушками, не позабыла погасить свечи, горевшие вокруг шкафа, мама все их задула, так что в комнате осталась только лампа, висевшая посреди потолка и распространявшая мягкий, уютный свет.

— Не засиживайся долго, милая Мари. А то тебя завтра не добудишься,— сказала мама, уходя в спальню.

Как только Мари осталась одна, она сейчас же приступила к тому, что уже давно лежало у нее на сердце, хотя она, сама не зная почему, не решилась признаться в задуманном даже матери. Она все еще баюкала укутанного в носовой платок Щелкунчика. Теперь она бережно положила его на стол, тихонько развернула платок и осмотрела раны.

Щелкунчик был очень бледен, но улыбался так жалостно и ласково, что тронул Мари до глубины души.

— Ах, Щелкунчик, миленький,— зашептала она,— пожалуйста, не сердись, что Фриц сделал тебе больно: он ведь не нарочно. Просто он огрубел от суровой солдатской жизни, а так он очень хороший мальчик, уж поверь мне! А я буду беречь тебя и заботливо выхаживать, пока ты совсем не поправишься и не повеселеешь. Вставить же тебе крепкие зубки, вправить челюсть — это уж дело крестного Дроссельмейера: он на такие штуки мастер...

Однако Мари не успела договорить. Когда она упомянула имя Дроссельмейера, Щелкунчик вдруг скорчил злую мину, и в глазах у него сверкнули колючие зеленые огоньки. Но в ту минуту, когда Мари собралась уже по-настоящему испугаться, на нее опять глянуло жалобно улыбающееся лицо доброго Щелкунчика, и теперь она поняла, что черты его исказил свет мигнувшей от сквозняка лампы.

— Ах, какая я глупая, ну чего я напугалась и даже подумала, будто деревянная кукла может корчить гримасы! А все-таки я очень люблю Щелкунчика, ведь он такой потешный и такой добрый... Вот и надо за ним ухаживать как следует.

С этими словами Мари взяла своего Щелкунчика на руки, подошла к стеклянному шкафу, присела на корточки и сказала новой кукле:

— Очень прошу тебя, мамзель Клерхен, уступи свою постель бедному больному Щелкунчику, а сама переночуй как-нибудь на диване. Подумай, ты ведь такая крепкая, и потом, ты совсем здорова — ишь какая ты круглолицая и румяная. Да и не у всякой, даже очень красивой куклы есть такой мягкий диван!

Мадемуазель Клерхен, разряженная по-праздничному и важная, надулась, не проронив ни слова.

— И чего я церемонюсь! — сказала Мари, сняла с полки кровать, бережно и заботливо уложила туда Щелкунчика, обвязала ему пострадавшую челюсть очень красивой ленточкой, которую носила вместо кушака, и накрыла его одеялом по самый нос.

«Только незачем ему здесь оставаться у невоспитанной Клары»,— подумала она и переставила кроватку вместе с Щелкунчиком на верхнюю полку, где он очутился около красивой деревни, в которой были расквартированы гусары Фрица. Она заперла шкаф и собралась уже уйти в спальню, как вдруг... Слушайте внимательно, дети!.. Как вдруг во всех углах — за печью, за стульями, за шкафами — началось тихое-тихое шушуканье, перешептывание и шуршание. А часы на стене зашипели, захрипели все громче и громче, но никак не могли пробить двенадцать. Мари глянула туда: большая золоченая сова, сидевшая на часах, свесила крылья, совсем заслонила ими часы и вытянула вперед

противную кошачью голову с кривым клювом. А часы хрипели громче и громче, и Мари явственно расслышала:

— Тик-и-так, тик-и-так! Не хрипите громко так! Слышит все Король Мышиный. Трик-и-трак, бум-бум! Ну, часы, напев старинный! Трик-и-трак, бум-бум! Ну, пробей, пробей, звонок: королю подходит срок![1]

И... бим-бом, бим-бом! — часы глухо и хрипло пробили двенадцать ударов. Мари очень струсила и чуть не убежала со страху, но тут она увидела, что на часах вместо совы сидит крестный Дроссельмейер, свесив полы своего желтого сюртука по обеим сторонам, словно крылья. Она собралась с духом и громко крикнула плаксивым голосом:

— Крестный, послушай, крестный, зачем ты туда забрался? Слезай вниз и не пугай меня, гадкий крестный!

Но тут отовсюду послышалось странное хихиканье и писк, и за стеной пошла беготня и топот, будто от тысячи крошечных лапок, и тысячи крошечных огонечков глянули сквозь щели в полу. Но это были не огоньки, нет, а маленькие блестящие глазки, и Мари увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши.

Вскоре по всей комнате пошло: топ-топ, хоп-хоп! Все ярче светились глаза мышей, все несметнее становились их полчища; наконец они выстроились в том же порядке, в каком Фриц обычно выстраивал своих солдатиков перед боем. Мари это очень насмешило; у нее не было отвращения к мышам, как у иных детей, и страх ее совсем было улегся, но вдруг послышался такой ужасный и пронзительный писк, что у нее по спине забегали мурашки. Ах, что она увидела! Нет, право же, уважаемый читатель Фриц, я отлично знаю, что у тебя, как и у мудрого, отважного полководца Фрица Штальбаума, бесстрашное сердце, но если бы ты увидел то, что предстало взорам Мари, право, ты бы удрал. Я даже думаю, ты бы шмыгнул в постель и без особой надобности натянул бы одеяло по самые уши. Ах, бедная Мари не могла этого сделать, потому что — вы только послушайте, дети! — к самым ногам ее, словно от подземного толчка, посыпались песок, известка и осколки кирпича, и из-под пола с противным шипением и писком вылезли семь мышиных голов в семи ярко сверкающих коронах. Вскоре выбралось целиком и все туловище, на котором сидели эти семь голов, и все войско хором трижды приветствовало громким писком огромную, увенчанную семью коронами мышь. Теперь войско сразу пришло в движение и — хоп-хоп, топ-топ! — направилось прямо к шкафу, прямо на Мари, которая все еще стояла, прижавшись к стеклянной дверце.

---

[1] Перевод стихов в сказке сделан В. А. Зоргенфрей.

От ужаса у Мари уже и раньше так колотилось сердце, что она боялась, как бы оно тут же не выпрыгнуло из груди,— ведь тогда бы она умерла. Теперь же ей показалось, будто кровь застыла у нее в жилах. Она зашаталась, теряя сознание, но тут вдруг раздалось: клик-клак-хрр!..— и посыпались осколки стекла, которое Мари разбила локтем. В ту же минуту она почувствовала жгучую боль в левой руке, но у нее сразу отлегло от сердца: она не слышала больше визга и писка. Все мигом стихло. И хотя она не смела открыть глаза, все же ей подумалось, что звон стекла испугал мышей и они попрятались по норам.

Но что же это опять такое? У Мари за спиной, в шкафу, поднялся странный шум, и зазвенели тоненькие голосочки:

— Стройся, взвод! Стройся, взвод! В бой вперед! Полночь бьет! Стройся, взвод! В бой вперед!

И начался стройный и приятный перезвон мелодичных колокольчиков.

— Ах, да ведь это же мой музыкальный ящик! — обрадовалась Мари и быстро отскочила от шкафа.

Тут она увидела, что шкаф странно светится и в нем идет какая-то возня и суетня.

Куклы беспорядочно бегали взад и вперед и размахивали ручками. Вдруг поднялся Щелкунчик, сбросил одеяло и, одним прыжком соскочив с кровати, громко крикнул:

— Щелк-щелк-щелк, глупый мыший полк! То-то будет толк, мыший полк! Щелк-щелк, мыший полк прет из щелей — выйдет толк!

И при этом он выхватил свою крохотную сабельку, замахал ею в воздухе и закричал:

— Эй, вы, мои верные вассалы, други и братья! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?

И сейчас же отозвались три паяца, смешной Панталоне, четыре трубочиста, два бродячих музыканта и барабанщик:

— Да, наш государь, мы верны вам до гроба! Ведите нас в бой — на смерть или на победу!

И они ринулись вслед за Щелкунчиком, который, горя воодушевлением, отважился на отчаянный прыжок с верхней полки. Им-то было хорошо прыгать: они не только были разряжены в шелк и бархат, но и туловище у них было набито ватой и опилками; вот они и шлепались вниз, будто кулечки с шерстью. Но бедный Щелкунчик уж наверное переломал бы себе руки и ноги; подумайте только — от полки, где он стоял, до нижней было почти два фута[1], а сам он был хрупкий, словно выточенный из липы. Да, Щелкунчик уж наверное переломал бы себе руки и ноги, если бы в тот миг, как он прыгнул, мадемуазель Клерхен

---

[1] Фут — мера длины, равная примерно 30 см.

не соскочила с дивана и не приняла в свои нежные объятия потрясающего мечом героя.

— О милая, добрая Клерхен! — в слезах воскликнула Мари.— Как я ошиблась в тебе! Уж конечно, ты от всего сердца уступила кроватку дружку Щелкунчику.

И вот мадемуазель Клерхен заговорила, нежно обнимая юного героя.

— Разве можно вам, государь, идти в бой, навстречу опасности, больным и с не зажившими еще ранами! Взгляните, вот собираются ваши храбрые вассалы, они рвутся в бой и уверены в победе. Паяц, Панталоне, трубочисты, музыканты и барабанщик уже внизу, а среди куколок с сюрпризами у меня на полке заметно сильное оживление и движение. Соблаговолите, о государь, отдохнуть возле меня или же согласитесь созерцать вашу победу с высоты моей шляпы, украшенной перьями.

Так говорила Клерхен, но Щелкунчик вел себя совсем неподобающим образом и так брыкался, что Клерхен пришлось поскорее поставить его на полку. В то же мгновение он весьма учтиво опустился на одно колено и пролепетал:

— О прекрасная дама, и на поле брани не позабуду я оказанные мне милость и благоволение!

Тогда Клерхен нагнулась так низко, что схватила его за ручку, осторожно приподняла, быстро развязала на себе расшитый блестками кушак и собралась нацепить его на человечка, но он отступил на два шага, прижал руку к сердцу и произнес весьма торжественно:

— О прекрасная дама, не извольте расточать на меня ваши милости, ибо...— Он запнулся, глубоко вздохнул, быстро сорвал с плеча ленточку, которую повязала ему Мари, прижал ее к губам, повязал на руку в виде шарфа и, с воодушевлением размахивая сверкающим обнаженным мечом, спрыгнул быстро и ловко, словно птичка, с края полки на пол.

Вы, разумеется, сразу поняли, мои благосклонные и весьма внимательные слушатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, уже отлично чувствовал любовь и заботы, которыми окружила его Мари, и что только из симпатии к ней он не хотел принять от мадемуазель Клерхен ее пояс, несмотря на то что тот был очень красив и весь сверкал. Верный, благородный Щелкунчик предпочитал украсить себя скромной ленточкой Мари. Но что-то дальше будет?

Едва Щелкунчик прыгнул на пол, как вновь поднялся визг и писк. Ах, ведь под большим столом собрались несметные полчища злых мышей, и впереди всех выступает отвратительная мышь о семи головах!

Что-то будет?

БИТВА

— Барабанщик, мой верный подданный, бей общее наступление! — громко скомандовал Щелкунчик.

И тотчас же барабанщик начал выбивать дробь искуснейшим образом, так что стеклянные дверцы шкафа задрожали и задребезжали. А в шкафу что-то загремело и затрещало, и Мари увидела, как разом открылись все коробки, в которых были расквартированы войска Фрица, и солдаты выпрыгнули из них прямо на нижнюю полку и там выстроились блестящими рядами. Щелкунчик бегал вдоль рядов, воодушевляя войска своими речами.

— Где эти негодяи трубачи? Почему они не трубят? — закричал в сердцах Щелкунчик. Затем он быстро повернулся к слегка побледневшему Панталоне, у которого сильно тряссяся длинный подбородок, и торжественно произнес: — Генерал, мне известны ваши доблесть и опытность. Все дело в быстрой оценке положения и использовании момента. Вверяю вам командование всей кавалерией и артиллерией. Коня вам не требуется — у вас очень длинные ноги, так что вы отлично поскачете и на своих на двоих. Исполняйте свой долг!

Панталоне тотчас всунул в рот длинные сухие пальцы и свистнул так пронзительно, будто звонко запели сто дудок враз. В шкафу послышалось ржание и топот, и — гляди-ка! — кирасиры и драгуны Фрица, а впереди всех — новые, блестящие гусары, выступили в поход и вскоре очутились внизу, на полу. И вот полки́ один за другим промаршировали перед Щелкунчиком с развевающимися знаменами и с барабанным боем и выстроились широкими рядами поперек всей комнаты. Все пушки Фрица, сопровождаемые пушкарями, с грохотом выехали вперед и пошли бухать: бум-бум!.. И Мари увидела, как в густые полчища мышей полетело драже, напудрив их добела сахаром, отчего они даже растерялись. Но больше всего вреда нанесла мышам тяжелая батарея, въехавшая на мамину скамеечку для ног и — бум-бум! — непрерывно обстреливавшая неприятеля круглыми пряничками, от которых полегло немало мышей.

Однако мыши всё наступали и даже захватили несколько пушек; но тут поднялся шум и грохот — трр-трр,— и из-за дыма и пыли Мари с трудом могла разобрать, что происходит. Одно было ясно: обе армии бились с большим ожесточением, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Мыши вводили в бой все свежие и свежие силы, и серебряные пилюльки, которые они бросали весьма искусно, долетали уже до шкафа. Клерхен и Трудхен метались по полке и в отчаянии ломали ручки.

— Неужели я умру во цвете лет, неужели умру я, такая красавица! — вопила Клерхен.

— Не для того же я так хорошо сохранилась, чтоб погибнуть здесь, в четырех стенах! — причитала Трудхен.

Потом они упали друг другу в объятия и так громко разрыдались, что их не мог заглушить даже бешеный грохот битвы.

Вы и понятия не имеете, дорогие мои слушатели, что здесь творилось. Раз за разом бухали пушки: прр-прр!.. Др-др!.. Трах-тарарах-трах-тарарах!.. Бум-бурум-бум-бурум-бум!.. И тут же пищали и визжали Мышиный Король и мыши, а потом снова раздавался грозный и могучий голос Щелкунчика, командовавшего сражением. И было видно, как сам он обходит под огнем свои батальоны.

Панталоне провел несколько чрезвычайно доблестных кавалерийских атак и покрыл себя славой. Но мышиная артиллерия засыпала гусар Фрица отвратительными, зловонными ядрами, которые оставляли на их красных мундирах ужасные пятна, почему гусары и не рвались вперед. Панталоне скомандовал им «налево кругом» и, воодушевившись ролью полководца, сам повернул налево, а за ним последовали кирасиры и драгуны, и вся кавалерия отправилась восвояси. Теперь положение батареи, занявшей позицию на скамеечке для ног, стало угрожаемым; не пришлось долго ждать, как нахлынули полчища противных мышей и бросились в атаку столь яростно, что перевернули скамеечку вместе с пушками и пушкарями. Щелкунчик, по-видимому, был очень озадачен и скомандовал отступление на правом фланге.

Подобный маневр означает чуть ли не то же самое, что бегство с поля брани, и ты вместе со мной уже сокрушаешься о неудаче, которая должна была постигнуть армию маленького любимца Мари — Щелкунчика. Но отврати свой взор от этой напасти и взгляни на левый фланг Щелкунчиковой армии, где все обстоит вполне благополучно и полковник и армия еще полны надежды. В пылу битвы из-под комода тихонечко выступили отряды мышиной кавалерии и с отвратительным писком яростно набросились на левый фланг Щелкунчиковой армии; но какое сопротивление встретили они! Медленно, насколько позволяла неровная местность, ибо надо было перебраться через край шкафа, выступил и построился в каре корпус куколок с сюрпризами под предводительством двух китайских императоров. Эти бравые, очень пестрые и нарядные великолепные полки, составленные из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, арлекинов, купидонов, львов, тигров, мартышек и обезьян, сражались с хладнокровием, отвагой и выдержкой. С мужеством, достойным спартанцев[1], вырвал бы этот отборный батальон победу из рук врага, если бы некий бравый вражеский ротмистр не прорвался

---

[1] Спартанцы — мужественный народ, жители древнегреческого государства Спарты.

с безумной отвагой к одному из китайских императоров и не откусил ему голову, а тот при падении не задавил двух тунгусов и мартышку. Вследствие этого образовалась брешь, куда и устремился враг; и вскоре весь батальон был перегрызен. Но мало выгоды извлек неприятель из этого злодеяния. Как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, отчего он умирал на месте. Но помогло ли это Щелкунчиковой армии, которая, раз начав отступление, отступала все дальше и дальше и несла все больше потерь, так что вскоре только кучка смельчаков со злосчастным Щелкунчиком во главе еще держалась у самого шкафа?

— Резервы, сюда! Панталоне, Паяц, барабанщик, где вы? — взывал Щелкунчик, рассчитывавший на прибытие свежих сил, которые должны были выступить из стеклянного шкафа. Правда, оттуда прибыло несколько коричневых куколок из Торна с золотыми лицами и в золотых шлемах и шляпах; но они дрались так неумело, что ни разу не попали во врага, и, вероятно, сбили бы с головы шапочку своему полководцу Щелкунчику. Неприятельские егеря вскоре отгрызли им ноги, так что они попадали и при этом передавили многих соратников Щелкунчика.

Теперь Щелкунчик, со всех сторон теснимый врагом, находился в большой опасности. Он хотел было перепрыгнуть через край шкафа, но ноги у него были слишком коротки. Клерхен и Трудхен лежали в обмороке — помочь ему они не могли. Гусары и драгуны резво скакали мимо него прямо в шкаф. Тогда он в предельном отчаянии громко воскликнул:

— Коня, коня! Полцарства за коня!

В этот миг два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ, и Мышиный Король подскочил к Щелкунчику, испуская победный писк из всех своих семи глоток.

Мари больше не владела собой.

— О мой бедный Щелкунчик! — воскликнула она, рыдая, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги туфлю и изо всей силы швырнула ею в самую гущу мышей, прямо в их короля.

В тот же миг все словно прахом рассыпалось, а Мари почувствовала боль в левом локте, еще более жгучую, чем раньше, и без чувств упала на пол.

БОЛЕЗНЬ

Когда Мари очнулась после глубокого забытья, она увидела, что лежит у себя в постельке, а сквозь замерзшие окна в комнату светит яркое, искрящееся солнце.

У самой ее постели сидел чужой человек, в котором она, однако, скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал вполголоса:

— Наконец-то она очнулась...

Тогда подошла мама и посмотрела на нее испуганным, пытливым взглядом.

— Ах, милая мамочка,— пролепетала Мари,— скажи: противные мыши убрались наконец и славный Щелкунчик спасен?

— Полно вздор болтать, милая Марихен!—возразила мать.— Ну на что мышам твой Щелкунчик? А вот ты, нехорошая девочка, до смерти напугала нас. Так всегда бывает, когда дети своевольничают и не слушаются родителей. Ты вчера до поздней ночи заигралась в куклы, потом задремала, и, верно, тебя напугала случайно прошмыгнувшая мышка: ведь вообще-то мышей у нас не водится. Словом, ты расшибла локтем стекло в шкафу и поранила себе руку. Хорошо еще, что ты не порезала стеклом вену! Господин Вендельштерн, который вынимал у тебя из раны застрявшие там осколки, говорит, что ты на всю жизнь осталась бы калекой и могла бы даже истечь кровью. Слава богу, я проснулась в полночь, увидела, что тебя все еще нет в спальне, и пошла в гостиную. Ты без сознания лежала на полу у шкафа, вся в крови. Я сама со страху чуть не потеряла сознание. Ты лежала на полу, а вокруг были разбросаны оловянные солдатики Фрица, разные куклы и пряничные человечки. Щелкунчика ты держала в левой руке, из которой сочилась кровь, а неподалеку валялась твоя туфелька...

— Ах, мамочка, мамочка! — перебила ее Мари.— Ведь это же были следы великой битвы между куклами и мышами! Оттого-то я так испугалась, что мыши хотели забрать в плен бедного Щелкунчика, командовавшего кукольным войском. Тогда я швырнула туфлей в мышей, а что было дальше, не знаю.

Доктор Вендельштерн подмигнул матери, и та очень ласково стала уговаривать Мари:

— Полно, полно, милая моя детка, успокойся! Мыши все убежали, а Щелкунчик стоит за стеклом в шкафу, целый и невредимый.

Тут в спальню вошел советник медицины и завел долгий разговор с хирургом Вендельштерном, потом он пощупал у Мари пульс, и она слышала, что они говорили о горячке, вызванной раной.

Несколько дней ей пришлось лежать в постели и глотать лекарство, хотя, если не считать боли в локте, она почти не чувствовала недомогания. Она знала, что милый Щелкунчик вышел из битвы целым и невредимым, и по временам ей, как сквозь сон, чудилось, будто он очень явственным, хотя и чрезвычайно печальным голосом говорит ей:

— Мари, прекрасная дама, многим я вам обязан, но вы можете сделать для меня еще больше.

Мари тщетно раздумывала, что бы это могло быть, но ничего не приходило ей в голову. Играть по-настоящему она не могла из-за больной руки, а если бралась за чтение или принималась перелистывать книжки с картинками, у нее рябило в глазах, так что приходилось отказываться от этого занятия. Поэтому время тянулось для нее бесконечно долго, и Мари едва могла дождаться сумерек, когда мать садилась у ее кроватки и читала и рассказывала всякие чудесные истории.

Вот и сейчас мать как раз кончала занимательную сказку про принца Факардина, как вдруг открылась дверь и вошел крестный Дроссельмейер.

— Ну-ка, дайте мне поглядеть на нашу бедную раненую Мари,— сказал он.

Как только Мари увидела крестного в обычном желтом сюртуке, у нее перед глазами со всей живостью всплыла та ночь, когда Щелкунчик потерпел поражение в битве с мышами, и она невольно крикнула старшему советнику суда:

— О крестный, как ты гадко поступил! Я отлично видела, как ты сидел на часах и свесил на них свои крылья, чтобы часы били потише и не спугнули мышей. Я отлично слышала, как ты позвал Мышиного Короля. Почему ты не поспешил на помощь Щелкунчику, почему ты не поспешил на помощь мне, гадкий крестный? Во всем ты один виноват. Из-за тебя я порезала руку и теперь должна лежать больная в постели!

Мать в страхе спросила:

— Что с тобой, дорогая Мари?

Но крестный скорчил странную мину и заговорил трескучим, монотонным голосом:

— Ходит маятник со скрипом. Меньше стука — вот в чем штука. Трик-и-трак! Всегда и впредь должен маятник скрипеть, песни петь. А когда пробьет звонок: бим-и-бом! — подходит срок. Не пугайся, мой дружок. Бьют часы и в срок и кстати, на погибель мышьей рати, а потом слетит сова. Раз-и-два и раз-и-два! Бьют часы, коль срок им выпал. Ходит маятник со скрипом. Меньше стука — вот в чем штука. Тик-и-так и трик-и-трак!

Мари широко открытыми глазами уставилась на крестного, потому что он казался совсем другим и гораздо более уродливым, чем обычно, а правой рукой он махал взад и вперед, будто паяц, которого дергают за веревочку. Она бы очень испугалась, если бы тут не было матери и если бы Фриц, прошмыгнувший в спальню, не прервал крестного громким смехом.

— Ах, крестный Дроссельмейер,— воскликнул Фриц,— сегодня ты опять такой потешный! Ты кривляешься совсем как мой Паяц, которого я давно уже зашвырнул за печку.

Мать по-прежнему была очень серьезна и сказала:

— Дорогой господин старший советник, что за странная шутка? Что вы имеете в виду?

— Господи боже мой,— ответил Дроссельмейр, смеясь,— разве вы позабыли мою любимую песенку часовщика? Я всегда пою ее таким больным, как Мари.

И он быстро подсел к кровати и сказал:

— Не сердись, что я не выцарапал Мышиному Королю все четырнадцать глаз сразу,— этого нельзя было сделать. А зато я тебя сейчас порадую.

С этими словами старший советник суда полез в карман и осторожно вытащил оттуда — как вы думаете, дети, что? — Щелкунчика, которому он очень искусно вставил выпавшие зубки и вправил больную челюсть.

Мари громко вскрикнула от радости, а мать сказала, улыбаясь:

— Вот видишь, как заботится крестный о твоем Щелкунчике...

— А все-таки сознайся, Мари,— перебил крестный госпожу Штальбаум,— ведь Щелкунчик не очень складный и непригож собой. Если тебе хочется послушать, я охотно расскажу, как такое уродство появилось в его семье и стало там наследственным. А может быть, ты уже знаешь сказку о принцессе Пирлипат, ведьме Мышильде и искусном часовщике?

— Послушай-ка, крестный! — вмешался в разговор Фриц.— Что верно, то верно: ты отлично вставил зубы Щелкунчику, и челюсть тоже уже не шатается. Но почему у него нет сабли? Почему ты не повязал ему саблю?

— Ну ты, неугомонный,— проворчал старший советник суда,— никак на тебя не угодишь! Сабля Щелкунчика меня не касается. Я вылечил его — пусть сам раздобывает себе саблю где хочет.

— Правильно! — воскликнул Фриц.— Если он храбрый малый, то раздобудет себе оружие.

— Итак, Мари,— продолжал крестный,— скажи, знаешь ли ты сказку о принцессе Пирлипат?

— Ах нет! — ответила Мари.— Расскажи, милый крестный, расскажи!

— Надеюсь, дорогой господин Дроссельмейер,— сказала мама,— что на этот раз вы расскажете не такую страшную сказку, как обычно.

— Ну конечно, дорогая госпожа Штальбаум,— ответил Дроссельмейер.— Напротив, то, что я буду иметь честь изложить вам, очень занятно.

— Ах, расскажи, расскажи, милый крестный! — закричали дети.

И старший советник суда начал рассказывать.

СКАЗКА О ТВЕРДОМ ОРЕХЕ

Мать Пирлипат была супругой короля, а значит, королевой, а Пирлипат как родилась, так в тот же миг и стала прирожденной принцессой. Король налюбоваться не мог на почивавшую в колыбельке красавицу дочурку. Он громко радовался, танцевал, прыгал на одной ножке и то и дело кричал:

— Хейза! Видел ли кто-нибудь девочку прекраснее моей Пирлипатхен?

А все министры, генералы, советники и штаб-офицеры прыгали на одной ножке, как их отец и повелитель, и хором громко отвечали:

— Нет, никто не видел!

Да, по правде говоря, и нельзя было отрицать, что с тех пор, как стоит мир, не появлялось еще на свет младенца прекраснее принцессы Пирлипат. Личико у нее было словно соткано из лилейно-белого и нежно-розового шелка, глазки — живая сияющая лазурь, а особенно украшали ее волосики, вившиеся золотыми колечками. При этом Пирлипатхен родилась с двумя рядами беленьких, как жемчуг, зубов, которыми она два часа спустя после рождения впилась в палец рейхсканцлера, когда он пожелал поближе исследовать черты ее лица, так что он завопил: «Ой-ой-ой!» Некоторые, впрочем, утверждают, будто он крикнул: «Ай-ай-ай!» Еще и сегодня мнения расходятся. Короче, Пирлипатхен на самом деле укусила рейхсканцлера за палец, и тогда восхищенный народ уверился в том, что в очаровательном, ангельском тельце принцессы Пирлипат обитают и душа, и ум, и чувство.

Как сказано, все были в восторге; одна королева неизвестно почему тревожилась и беспокоилась. Особенно странно было, что она приказала неусыпно стеречь колыбельку Пирлипат. Мало того, что у дверей стояла стража,— было отдано распоряжение, чтобы в детской, кроме двух нянюшек, постоянно сидевших у самой колыбельки, еженощно дежурило еще шесть нянек, и — что казалось совсем нелепым и чего никто не мог понять — каждой няньке приказано было держать на коленях кота и всю ночь гладить его, чтобы он не переставая мурлыкал. Вам, милые детки, нипочем не угадать, зачем мать принцессы Пирлипат принимала все эти меры, но я знаю зачем и сейчас расскажу и вам.

Раз как-то ко двору короля, родителя принцессы Пирлипат, съехалось много славных королей и пригожих принцев. Ради такого случая были устроены блестящие турниры, представления и придворные балы. Король, желая показать, что у него много и золота и серебра, решил как следует запустить руку в свою казну и устроить нечто, достойное его. Поэтому, выведав от

обер-гофповара, что придворный звездочет возвестил время, благоприятное для колки свиней, он задумал задать колбасный пир, вскочил в карету и самолично пригласил всех окрестных королей и принцев всего-навсего на тарелку супа, мечтая затем поразить их роскошеством. Потом он очень ласково сказал своей супруге-королеве:

— Милочка, тебе ведь известно, какая колбаса мне по вкусу...

Королева уже знала, к чему он клонит речь: это означало, что она должна лично заняться весьма полезным делом — изготовлением колбас,— которым не брезговала и раньше. Главному казначею приказано было немедленно отправить на кухню большой золотой котел и серебряные кастрюли; печь растопили дровами сандалового дерева; королева повязала свой кухонный передник. И вскоре из котла потянуло вкусным духом колбасного навара. Приятный запах проник даже в государственный совет. Король, весь трепеща от восторга, не вытерпел.

— Прошу извинения, господа! — воскликнул он, побежал на кухню, обнял королеву, помешал немножко своим золотым скипетром в котле и, успокоенный, вернулся в государственный совет.

Наступил самый важный момент: пора было разрезать на ломтики сало и поджаривать его на золотых сковородах. Придворные дамы отошли в сторонку, потому что королева из преданности, любви и уважения к царственному супругу собиралась лично заняться этим делом. Но как только сало начало зарумяниваться, послышался тоненький, шепчущий голосок:

— Дай и мне отведать сальца, сестрица! И я хочу полакомиться — я ведь тоже королева. Дай и мне отведать сальца!

Королева отлично знала, что это говорит госпожа Мышильда. Мышильда уже много лет проживала в королевском дворце. Она утверждала, будто состоит в родстве с королевской фамилией и сама правит королевством Мышляндия, вот почему она и держала под печкой большой двор. Королева была женщина добрая и щедрая. Хотя вообще она не почитала Мышильду особой царского рода и своей сестрой, но в такой торжественный день от всего сердца допустила ее на пиршество и крикнула:

— Вылезайте, госпожа Мышильда! Поешьте на здоровье сальца.

И Мышильда быстро и весело выпрыгнула из-под печки, вскочила на плиту и стала хватать изящными лапками один за другим кусочки сала, которые ей протягивала королева. Но тут нахлынули все кумовья и тетушки Мышильды и даже ее семь сыновей, отчаянные сорванцы. Они набросились на сало, и королева с перепугу не знала, как быть. К счастью, подоспела обергофмейстерина и прогнала непрошеных гостей. Таким образом уцелело немного сала, которое, согласно указаниям призванного

по этому случаю придворного математика, было весьма искусно распределено по всем колбасам.

Забили в литавры, затрубили в трубы. Все короли и принцы в великолепных праздничных одеяниях — одни на белых конях, другие в хрустальных каретах — потянулись на колбасный пир. Король встретил их с сердечной приветливостью и почетом, а затем, в короне и со скипетром, как и полагается государю, сел во главе стола. Уже когда подали ливерные колбасы, все заметили, как все больше и больше бледнел король, как он возводил очи к небу. Тихие вздохи вылетали из его груди; казалось, его душой овладела сильная скорбь. Но когда подали кровяную колбасу, он с громким рыданием и стонами откинулся на спинку кресла, обеими руками закрыв лицо. Все повскакали из-за стола. Лейб-медик тщетно пытался нащупать пульс у злосчастного короля, которого, казалось, снедала глубокая, непонятная тоска. Наконец, после долгих уговоров, после применения сильных средств, вроде жженых гусиных перьев и тому подобного, король как будто начал приходить в себя. Он пролепетал едва слышно:

— Слишком мало сала!

Тогда неутешная королева бухнулась ему в ноги и простонала:

— О мой бедный, несчастный царственный супруг! О, какое горе пришлось вам вынести! Но взгляните: виновница у ваших ног — покарайте, строго покарайте меня! Ах, Мышильда со своими кумовьями, тетушками и семью сыновьями съела сало, и...

С этими словами королева без чувств упала навзничь. Но король вскочил, пылая гневом, и громко крикнул:

— Обер-гофмейстерина, как это случилось?

Обер-гофмейстерина рассказала, что знала, и король решил отомстить Мышильде и ее роду за то, что они сожрали сало, предназначенное для его колбас.

Созвали тайный государственный совет. Решили возбудить процесс против Мышильды и отобрать в казну все ее владения. Но король полагал, что пока это не помешает Мышильде, когда ей вздумается, пожирать сало, и потому поручил все дело придворному часовых дел мастеру и чудодею. Этот человек, которого звали так же, как и меня, а именно Христиан-Элиас Дроссельмейер, обещал при помощи совершенно особых, исполненных государственной мудрости мер на веки вечные изгнать Мышильду со всей семьей из дворца.

И в самом деле: он изобрел весьма искусные машинки, в которых на ниточке было привязано поджаренное сало, и расставил их вокруг жилища госпожи салоежки.

Сама Мышильда была слишком умудрена опытом, чтобы не понять хитрости Дроссельмейера, но ни ее предостережения, ни ее увещания не помогли: все семь сыновей и много-много Мышильдиных кумовьев и тетушек, привлеченные вкусным запахом

жареного сала, забрались в дроссельмейеровские машинки и только хотели полакомиться салом, как их неожиданно прихлопнула опускающаяся дверца, а затем их предали на кухне позорной казни.

Мышильда с небольшой кучкой уцелевших родичей покинула эти места скорби и слез. Горе, отчаяние, жажда мести клокотали у нее в груди.

Двор ликовал, но королева была встревожена: она знала Мышильдин нрав и отлично понимала, что та не оставит неотмщенной смерть сыновей и близких.

И в самом деле, Мышильда появилась как раз тогда, когда королева готовила для царственного супруга паштет из ливера, который он очень охотно ел, и сказала так:

— Мои сыновья, кумовья и тетушки убиты. Берегись, королева: как бы королева мышей не загрызла малютку принцессу! Берегись!

Затем она снова исчезла и больше не появлялась. Но королева с перепугу уронила паштет в огонь, и во второй раз Мышильда испортила любимое кушанье короля, на что он очень разгневался...

— Ну, на сегодняшний вечер довольно. Остальное доскажу в следующий раз,— неожиданно закончил крестный.

Как ни просила Мари, на которую рассказ произвел особенное впечатление, крестного Дроссельмейера продолжать, он был неумолим и со словами: «Слишком много сразу — вредно для здоровья. Продолжение завтра» — вскочил со стула.

В ту минуту, когда он собирался уже выйти за дверь, Фриц спросил:

— Скажи-ка, крестный, это на самом деле правда, что ты выдумал мышеловку?

— Что за вздор ты городишь, Фриц! — воскликнула мать.

Но старший советник суда очень странно улыбнулся и тихо сказал:

— А почему бы мне, искусному часовщику, не выдумать мышеловку?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ О ТВЕРДОМ ОРЕХЕ

— Ну, дети, теперь вы знаете,— так продолжал на следующий вечер Дроссельмейер,— почему королева приказала столь бдительно стеречь красоточку принцессу Пирлипат. Как же было ей не бояться, что Мышильда выполнит свою угрозу — вернется и загрызет малютку принцессу! Машинка Дроссельмейера ничуть не помогала против умной и предусмотрительной

К стр. 69

Мышильды, а придворный звездочет, бывший одновременно и главным предсказателем, заявил, что только род кота Мура может отвадить Мышильду от колыбельки. Потому-то каждой няньке приказано было держать на коленях одного из сынов этого рода, которых, кстати сказать, пожаловали чином тайного советника посольства, и облегчать им бремя государственной службы учтивым почесыванием за ухом.

Как-то, уже в полночь, одна из двух нянюшек, которые сидели у самой колыбельки, вдруг очнулись, словно от глубокого сна. Все вокруг было охвачено сном. Никакого мурлыканья — глубокая, мертвая тишина, только слышно тиканье жучка-точильщика. Но что почувствовала нянька, когда прямо перед собой увидела большую противную мышь, которая поднялась на задние лапки и положила свою зловещую голову принцессе на лицо! Нянька вскочила с криком ужаса, все проснулись, но в тот же миг Мышильда — ведь большая мышь у колыбельки Пирлипат была она — быстро шмыгнула в угол комнаты. Советники посольства бросились вдогонку, но не тут-то было: она шмыгнула в щель в полу. Пирлипатхен проснулась от суматохи и очень жалобно заплакала.

— Слава богу,— воскликнули нянюшки,— она жива!

Но как же они испугались, когда взглянули на Пирлипатхен и увидели, что сталось с хорошеньким нежным младенцем! На тщедушном, скорчившемся тельце вместо кудрявой головки румяного херувима сидела огромная бесформенная голова; голубые, как лазурь, глазки превратились в зеленые, тупо вытаращенные гляделки, а ротик растянулся до ушей.

Королева исходила слезами и рыданиями, а кабинет короля пришлось обить ватой, потому что король бился головой об стену и жалобным голосом причитал:

— Ах я несчастный монарх!

Теперь король, казалось, мог бы понять, что лучше было съесть колбасу без сала и оставить в покое Мышильду со всей ее запечной родней, но об этом отец принцессы Пирлипат не подумал — он просто-напросто свалил всю вину на придворного часовщика и чудодея Христиана-Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга и отдал мудрый приказ: Дроссельмейер должен в течение месяца вернуть принцессе Пирлипат ее прежний облик или, по крайней мере, указать верное к тому средство — в противном случае он будет предан позорной смерти от руки палача.

Дроссельмейер не на шутку перепугался. Однако он положился на свое умение и счастье и тотчас же приступил к первой операции, которую почитал необходимой. Он очень ловко разобрал принцессу Пирлипат на части, вывинтил ручки и ножки и осмотрел внутреннее устройство, но, к сожалению, он убедился,

что с возрастом принцесса будет все безобразнее, и не знал, как помочь беде. Он опять старательно собрал принцессу и впал в уныние около ее колыбели, от которой не смел отлучаться.

Шла уже четвертая неделя, наступила среда, и король, сверкая в гневе очами и потрясая скипетром, заглянул в детскую к Пирлипат и воскликнул:

— Христиан-Элиас Дроссельмейр, вылечи принцессу, не то тебе несдобровать!

Дроссельмейер принялся жалобно плакать, а принцесса Пирлипат тем временем весело щелкала орешки. Впервые часовых дел мастера и чудодея поразили ее необычайная любовь к орехам и то обстоятельство, что она появилась на свет уже с зубами. В самом деле, после превращения она кричала без умолку, пока ей случайно не попался орешек; она разгрызла его, съела ядрышко и сейчас же угомонилась. С тех пор няньки то и дело унимали ее орехами.

— О святой инстинкт природы, неисповедимые симпатии и антипатии! — воскликнул Христиан-Элиас Дроссельмейер.— Ты указуешь мне врата тайны. Я постучусь, и они откроются!

Он тотчас же испросил разрешения поговорить с придворным звездочетом и был отведен к нему под строгим караулом. Оба, заливаясь слезами, упали друг другу в объятия, так как были закадычными друзьями, затем удалились в потайной кабинет и принялись рыться в книгах, где говорилось об инстинкте, симпатиях и антипатиях и других таинственных явлениях.

Наступила ночь. Придворный звездочет поглядел на звезды и с помощью Дроссельмейера, великого искусника и в этом деле, составил гороскоп[1] принцессы Пирлипат. Сделать это было очень трудно, ибо линии запутывались все больше и больше, но — о радость! — наконец все стало ясно: чтобы избавиться от волшебства, которое ее изуродовало, и вернуть себе былую красоту, принцессе Пирлипат достаточно съесть ядрышко ореха Кракатук.

У ореха Кракатук была такая твердая скорлупа, что по нему могла проехаться сорокавосьмифунтовая пушка и не раздавить его. Этот твердый орех должен был разгрызть и, зажмурившись, поднести принцессе человек, никогда еще не бривший ся и не носивший сапог. Затем юноше следовало отступить на семь шагов, не споткнувшись, и только тогда открыть глаза.

Три дня и три ночи без устали работали Дроссельмейер со звездочетом, и как раз в субботу, когда король сидел за обедом, к нему ворвался радостный и веселый Дроссельмейер, которому в воскресенье утром должны были снести голову, и возвестил, что найдено средство вернуть принцессе Пирлипат утраченную

---

[1] Гороскоп — предсказание судьбы по звездам.

красоту. Король обнял его горячо и благосклонно и посулил ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два новых праздничных кафтана.

— После обеда мы сейчас же и приступим,— любезно прибавил король.— Позаботьтесь, дорогой чудодей, чтобы небритый молодой человек в башмаках был под рукой и, как полагается, с орехом Кракатук. И не давайте ему вина, а то как бы он не споткнулся, когда, словно рак, будет пятиться семь шагов. Потом пусть пьет вволю!

Дроссельмейера напугала речь короля, и, смущаясь и робея, он пролепетал, что средство, правда, найдено, но что обоих — и орех, и молодого человека, который должен его разгрызть,— надо сперва отыскать, причем пока еще очень сомнительно, возможно ли найти орех и щелкунчика. В сильном гневе потряс король скипетром над венчанной главой и зарычал, как лев:

— Ну, так тебе снесут голову!

На счастье поверженного в страх и горе Дроссельмейера, как раз сегодня обед пришелся королю очень по вкусу, и поэтому он был расположен внимать разумным увещаниям, на которые не поскупилась великодушная королева, тронутая судьбой несчастного часовщика. Дроссельмейер приободрился и почтительно доложил королю, что, собственно, разрешил задачу — нашел средство к излечению принцессы, и тем самым заслужил помилование. Король назвал это глупой отговоркой и пустой болтовней, но в конце концов, выпив стаканчик желудочной настойки, решил, что оба — часовщик и звездочет — тронутся в путь и не вернутся обратно, пока у них в кармане не будет ореха Кракатук. А человека, нужного для того, чтобы разгрызть орех, по совету королевы, решили раздобыть путем многократных объявлений в местных и заграничных газетах и ведомостях с приглашением явиться во дворец...

На этом крестный Дроссельмейер остановился и обещал досказать остальное в следующий вечер.

КОНЕЦ СКАЗКИ О ТВЕРДОМ ОРЕХЕ

И в самом деле, на следующий день вечером, только зажгли свечи, явился крестный Дроссельмейер и так продолжал свой рассказ:

— Дроссельмейер и придворный звездочет странствовали уже пятнадцать лет и все еще не напали на след ореха Кракатук. Где они побывали, какие диковинные приключения испытали, не пересказать, детки, и за целый месяц. Этого я делать и не собираюсь, а прямо скажу вам, что, погруженный в глубокое

уныние, Дроссельмейер сильно стосковался по родине, по милому своему Нюрнбергу. Особенно сильная тоска напала на него как-то раз в Азии, в дремучих джунглях, где он вместе со своим спутником присел выкурить трубочку табака.

— О дивный, дивный Нюрнберг мой, кто не знаком еще с тобой, пусть побывал он даже в Вене, в Париже и Петервардейне, душою будет он томиться, к тебе, о Нюрнберг, стремиться — чудесный городок, где в ряд красивые дома стоят...

Жалобные причитания Дроссельмейера вызвали глубокое сочувствие у звездочета, и он тоже разревелся так горько, что его слышно было на всю Азию. Но он взял себя в руки, вытер слезы и спросил:

— Досточтимый коллега, чего же мы здесь сидим и ревем? Чего не идем в Нюрнберг? Не все ли равно, где и как искать злополучный орех Кракатук?

— И то правда,— ответил, сразу утешившись, Дроссельмейер.

Оба сейчас же встали, выколотили трубки и из джунглей в глубине Азии прямехонько отправились в Нюрнберг.

Как только они прибыли, Дроссельмейер сейчас же побежал к своему двоюродному брату — мастеру игрушек, резчику по дереву, лакировщику и позолотчику Кристофу-Захариусу Дроссельмейеру, с которым не виделся уже много-много лет. Ему-то и рассказал часовщик всю историю про принцессу Пирлипат, госпожу Мышильду и орех Кракатук, а тот то и дело всплескивал руками и несколько раз в удивлении воскликнул:

— Ах, братец, братец, ну и чудеса!

Дроссельмейер рассказал о приключениях на своем долгом пути, рассказал, как провел два года у Финикового короля, как обидел и выгнал его Миндальный принц, как тщетно запрашивал он Общество естествоиспытателей в Городе Белок,— короче говоря, как ему нигде не удалось напасть на след ореха Кракатук. Во время рассказа Кристоф-Захариус не раз прищелкивал пальцами, вертелся на одной ножке, причмокивал губами и приговаривал:

— Гм, гм! Эге! О! Вот так штука!

Наконец он подбросил к потолку колпак вместе с париком, горячо обнял двоюродного брата и воскликнул:

— Братец, братец, вы спасены, спасены, говорю я! Слушайте: или я жестоко ошибаюсь, или орех Кракатук у меня!

Он тотчас же принес шкатулочку, откуда вытащил позолоченный орех средней величины.

— Взгляните,— сказал он, показывая орех двоюродному брату,— взгляните на этот орех. История его такова. Много лет назад, в сочельник, пришел сюда неизвестный человек с полным мешком орехов, которые он принес на продажу. У самых дверей

моей лавки с игрушками он поставил мешок наземь, чтоб легче было действовать, так как у него произошла стычка со здешним продавцом орехов, который не мог потерпеть у нас чужого торговца. И, как на грех, мешок переехала тяжело нагруженная фура. Все орехи были передавлены, за исключением одного, который чужеземец, странно улыбаясь, и предложил уступить мне за цванцигер 1720 года. Мне это показалось загадочным, но я нашел у себя в кармане как раз такую монетку, какую он просил, купил орех и позолотил его. Сам хорошенько не знаю, почему я так дорого заплатил за орех, а потом так берег его.

Всякое сомнение в том, что орех двоюродного брата — это действительно орех Кракатук, который они так долго искали, тут же рассеялось, когда подоспевший на зов придворный звездочет аккуратно соскоблил с ореха позолоту и отыскал на скорлупе слово «Кракатук», вырезанное китайскими письменами.

Радость путешественников была огромна, а двоюродный брат Дроссельмейера почел себя счастливейшим человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что счастье ему обеспечено, ибо отныне сверх значительной пенсии он будет получать золото для позолоты даром.

И чудодей и звездочет — оба уже нахлобучили ночные колпаки и собирались укладываться спать, как вдруг последний, то есть звездочет, повел такую речь:

— Дражайший коллега, счастье никогда не приходит одно. Поверьте, мы нашли не только орех Кракатук, но и молодого человека, который разгрызет его и преподнесет принцессе ядрышко — залог красоты. Я имею в виду не кого иного, как сына вашего двоюродного брата. Нет, я не лягу спать,— вдохновенно воскликнул он.— Я еще сегодня ночью составлю гороскоп юноши! — С этими словами он сорвал колпак с головы и тут же принялся наблюдать звезды.

Племянник Дроссельмейера был в самом деле пригожий, складный юноша, который еще ни разу не брился и не надевал сапог. В ранней молодости он, правда, изображал два рождества кряду паяца; но этого ничуточки не было заметно: так искусно был он воспитан стараниями отца. На святках он был в красивом красном, шитом золотом кафтане, при шпаге, держал под мышкой шляпу и носил превосходный парик с косичкой. В таком блестящем виде стоял он в лавке у отца и со свойственной ему галантностью щелкал барышням орешки, за что они и прозвали его Красавчик Щелкунчик.

Наутро восхищенный звездочет упал в объятия Дроссельмейера и воскликнул:

— Это он! Мы раздобыли его, он на́йден! Только, любезнейший коллега, не следует упускать из виду двух обстоятельств: во-первых, надо сплести вашему превосходному племяннику со-

лидную деревянную косу, которая была бы соединена с нижней челюстью таким образом, чтобы ее можно было сильно оттянуть косой; затем по прибытии в столицу надо молчать о том, что мы привезли с собой молодого человека, который разгрызет орех Кракатук,— лучше, чтобы он появился гораздо позже. Я прочел в гороскопе, что, после того как многие сломают себе на орехе зубы без всякого толку, король отдаст принцессу, а после смерти и королевство в награду тому, кто разгрызет орех и возвратит принцессе утраченную красоту.

Мастер игрушек был очень польщен, что его сыночку предстояло жениться на принцессе и самому сделаться принцем, а затем и королем, и потому он охотно доверил его звездочету и часовщику. Коса, которую Дроссельмейер приделал своему юному многообещающему племяннику, удалась на славу, так что тот блестяще выдержал испытание, раскусив самые твердые персиковые косточки.

Дроссельмейер и звездочет немедленно дали знать в столицу, что орех Кракатук найден, а там сейчас же опубликовали воззвание, и когда прибыли наши путники с талисманом, восстанавливающим красоту, ко двору уже явилось много прекрасных юношей и даже принцев, которые, полагаясь на свои здоровые челюсти, хотели попытаться снять злые чары с принцессы.

Наши путники очень испугались, увидев принцессу. Маленькое туловище с тощими ручонками и ножками едва держало бесформенную голову. Лицо казалось еще уродливее из-за белой нитяной бороды, которой обросли рот и подбородок.

Все случилось так, как прочитал в гороскопе придворный звездочет. Молокососы в башмаках один за другим ломали себе зубы и раздирали челюсти, а принцессе ничуть не становилось легче; когда же затем их в полуобморочном состоянии уносили приглашенные на этот случай зубные врачи, они стонали:

— Поди-ка раскуси такой орех!

Наконец король в сокрушении сердечном обещал дочь и королевство тому, кто расколдует принцессу. Тут-то и вызвался наш учтивый и скромный молодой Дроссельмейер и попросил разрешения тоже попытать счастья.

Принцессе Пирлипат никто так не понравился, как молодой Дроссельмейер; она прижала ручки к сердцу и от глубины души вздохнула:

— Ах, если бы он разгрыз орех Кракатук и стал моим мужем!

Вежливо поклонившись королю и королеве, а затем принцессе Пирлипат, молодой Дроссельмейер принял из рук обер-церемониймейстера орех Кракатук, положил его без долгих разговоров в рот, сильно дернул себя за косу и — щелк-щелк! — разгрыз скорлупу на кусочки. Ловко очистил он ядрышко от приставшей

кожуры и, зажмурившись, поднес, почтительно шаркнув ножкой, принцессе, затем начал пятиться. Принцесса тут же проглотила ядрышко, и — о чудо! — уродец исчез, а на его месте стояла прекрасная, как ангел, девушка с лицом, словно сотканным из лилейно-белого и розового шелка, с глазами, сияющими, как лазурь, с вьющимися колечками золотыми волосами.

Трубы и литавры присоединились к громкому ликованию народа. Король и весь двор танцевали на одной ножке, как при рождении принцессы Пирлипат, а королеву пришлось опрыскивать одеколоном, так как от радости и восторга она упала в обморок.

Поднявшаяся суматоха порядком смутила молодого Дроссельмейера, которому предстояло еще пятиться положенных семь шагов. Все же он держался отлично и уже занес правую ногу для седьмого шага, но тут из подполья с отвратительным писком и визгом вылезла Мышильда. Молодой Дроссельмейер, опустивший было ногу, наступил на нее и так споткнулся, что чуть не упал.

О злой рок! В один миг юноша стал так же безобразен, как до того принцесса Пирлипат. Туловище съежилось и едва выдерживало огромную бесформенную голову с большими вытаращенными глазами и широкой, безобразно разинутой пастью. Вместо косы сзади повис узкий деревянный плащ, при помощи которого можно было управлять нижней челюстью.

Часовщик и звездочет были вне себя от ужаса, однако они заметили, что Мышильда вся в крови извивается на полу. Ее злодейство не осталось безнаказанным: молодой Дроссельмейер крепко ударил ее по шее острым каблуком, и ей пришел конец.

Но Мышильда, охваченная предсмертными муками, жалобно пищала и визжала:

— О твердый, твердый Кракатук, мне не уйти от смертных мук!.. Хи-хи... Пи-пии... Знай, Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец. Мой сынок, Король Мышиный, не простит моей кончины, отомстит тебе за мать мышья рать. О жизнь, была ты светла, но смерть за мною пришла... Квик!

Пискнув в последний раз, Мышильда умерла, и королевский истопник унес ее прочь.

На молодого Дроссельмейера никто не обращал внимания. Однако принцесса напомнила отцу его обещание, и король тотчас же повелел подвести к Пирлипат юного героя. Но когда бедняга предстал перед ней во всем своем безобразии, принцесса закрыла лицо обеими руками и закричала:

— Вон, вон отсюда, противный Щелкунчик!

И сейчас же гофмаршал схватил его за узкие плечики и вытолкал за дверь.

Король распалился гневом, решив, что ему хотели навязать

в зятья Щелкунчика, во всем винил незадачливых часовщика и звездочета и на вечные времена изгнал обоих из столицы. Это не было предусмотрено гороскопом, составленным звездочетом в Нюрнберге, но он не преминул снова приступить к наблюдению за звездами и прочитал, что юный Дроссельмейер отменно будет вести себя в своем новом звании и, несмотря на все свое безобразие, сделается принцем и королем. Но его уродство исчезнет лишь в том случае, если семиголовый сын Мышильды, родившийся после смерти своих семи старших братьев и ставший Мышиным Королем, падет от руки Щелкунчика и если, несмотря на уродливую наружность, юного Дроссельмейера полюбит прекрасная дама...

Говорят, что и в самом деле на святках видели молодого Дроссельмейера в Нюрнберге в лавке его отца — хотя и в образе Щелкунчика, но все же в сане принца.

Вот вам, дети, сказка о твердом орехе. Теперь вы поняли, почему говорят: «Поди-ка раскуси такой орех!» — и почему щелкунчики столь безобразны...

Так закончил старший советник суда свой рассказ.

Мари решила, что Пирлипат — очень гадкая и неблагодарная принцесса, а Фриц уверял, что если Щелкунчик и вправду храбрец, он не станет особенно церемониться с Мышиным Королем и вернет себе былую красоту.

ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

Кому из моих высокоуважаемых читателей или слушателей случалось порезаться стеклом, тот знает, как это больно и что это за скверная штука, так как рана заживает очень медленно. Мари пришлось провести в постели почти целую неделю, потому что при всякой попытке встать у нее кружилась голова. Все же в конце концов она совсем выздоровела и опять могла весело прыгать по комнате.

В стеклянном шкафу все блистало новизной — и деревья, и цветы, и дома, и по-праздничному расфуфыренные куклы, а главное, Мари нашла там своего милого Щелкунчика, который улыбался ей со второй полки, скаля два ряда целых зубов. Когда она, радуясь от всей души, глядела на своего любимца, у нее вдруг защемило сердце: а что, если все, что рассказал крестный,— история про Щелкунчика и про его распрю с Мышильдой и ее сыном,— что, если все это правда? Теперь она знала, что ее Щелкунчик — молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, пригожий, но, к сожалению, заколдованный Мышильдой племянник крестного Дроссельмейера.

В том, что искусный часовщик при дворе отца принцессы Пирлипат был не кто иной, как старший советник суда Дроссельмейер, Мари ни минуты не сомневалась уже во время рассказа.

«Но почему же дядя не помог тебе, почему он не помог тебе?» — сокрушалась Мари, и в ней все сильнее крепло убеждение, что бой, при котором она присутствовала, шел за Щелкунчиково королевство и корону.

«Ведь все куклы подчинялись ему, ведь совершенно ясно, что сбылось предсказание придворного звездочета и молодой Дроссельмейер стал королем в кукольном царстве».

Рассуждая так, умненькая Мари, наделившая Щелкунчика и его подданных жизнью и способностью двигаться, была убеждена, что они и в самом деле вот-вот оживут и зашевелятся. Но не тут-то было: в шкафу все стояло неподвижно по своим местам. Однако Мари и не думала отказываться от своего внутреннего убеждения — она просто решила, что всему причиной колдовство Мышильды и ее семиголового сына.

— Хотя вы и не в состоянии пошевельнуться или вымолвить словечко, милый господин Дроссельмейер,— сказала она Щелкунчику,— все же я уверена, что вы меня слышите и знаете, как хорошо я к вам отношусь. Рассчитывайте на мою помощь, когда она вам понадобится. Во всяком случае, я попрошу дядю, чтобы он помог вам, если в том будет нужда, своим искусством!

Щелкунчик стоял спокойно и не трогался с места, но Мари почудилось, будто по стеклянному шкафу пронесся легкий вздох, отчего чуть слышно, но удивительно мелодично зазвенели стекла, и тоненький, звонкий, как колокольчик, голосок пропел:

— Мария, друг, хранитель мой! Не надо мук — я буду твой.

У Мари от страха по спине забегали мурашки, но, как ни странно, ей было почему-то очень приятно.

Наступили сумерки. В комнату вошли родители с крестным Дроссельмейером. Немного погодя Луиза подала чай, и вся семья, весело болтая, уселась за стол. Мари потихонечку принесла свое креслице и села у ног крестного. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела большими голубыми глазами прямо в лицо старшему советнику суда и сказала:

— Теперь, дорогой крестный, я знаю, что Щелкунчик — твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга. Он стал принцем, или, вернее, королем: все так и случилось, как предсказал твой спутник, звездочет. Но ты ведь знаешь, что он объявил войну сыну госпожи Мышильды, уродливому Мышиному Королю. Почему ты ему не поможешь?

И Мари снова рассказала весь ход битвы, при которой присутствовала, и часто ее прерывал громкий смех матери и Луизы. Только Фриц и Дроссельмейер сохраняли серьезность.

— Откуда только девочка набралась такого вздору? — спросил советник медицины.

— Ну,— ответила мать,— у нее просто богатая фантазия. В сущности, это бред, порожденный сильной горячкой.

— Все это неправда,— сказал Фриц.— Мои гусары — не такие трусы, не то я бы им показал!

Но крестный, странно улыбаясь, посадил крошку Мари на колени и заговорил ласковее, чем обычно:

— Ах, милая Мари, тебе дано больше, чем мне и всем нам. Ты, как и Пирлипат,— прирожденная принцесса: ты правишь прекрасным, светлым царством. Но много придется тебе вытерпеть, если ты возьмешь под свою защиту бедного уродца Щелкунчика! Ведь Мышиный Король стережет его на всех путях и дорогах. Знай: не я, а ты, ты одна можешь спасти его. Будь стойкой и преданной.

Никто — ни Мари, ни остальные — не поняли, что подразумевал Дроссельмейер; а советнику медицины слова крестного показались такими странными, что он пощупал у него пульс и сказал:

— У вас, дорогой друг, сильный прилив крови к голове: я вам пропишу лекарство.

Только супруга советника медицины задумчиво покачала головой и заметила:

— Я догадываюсь, что имеет в виду господин Дроссельмейер, но выразить это словами не могу.

ПОБЕДА

Прошло немного времени, и как-то лунной ночью Мари разбудило странное постукивание, которое, казалось, шло из угла, словно там перебрасывали и катали камешки, а по временам слышался противный визг и писк.

— Ай, мыши, мыши, опять тут мыши! — в испуге закричала Мари и хотела уже разбудить мать, но слова застряли у нее в горле.

Она не могла даже шевельнуться, потому что увидела, как из дыры в стене с трудом вылез Мышиный Король и, сверкая глазами и коронами, принялся шмыгать по всей комнате; вдруг он одним прыжком вскочил на столик, стоявший у самой кроватки Мари.

— Хи-хи-хи! Отдай мне все драже, весь марципан, глупышка, не то я загрызу твоего Щелкунчика, загрызу Щелкунчика!— пищал Мышиный Король и при этом противно скрипел и скрежетал зубами, а потом быстро скрылся в дырку в стене.

Мари так напугало появление страшного Мышиного Короля, что наутро она совсем осунулась и от волнения не могла вымолвить ни слова. Сто раз собиралась она рассказать матери, Луизе или хотя бы Фрицу о том, что с ней приключилось, но думала: «Разве мне кто-нибудь поверит? Меня просто поднимут на смех».

Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения Щелкунчика она должна будет отдать драже и марципан. Поэтому вечером она положила все свои конфеты на нижний выступ шкафа.

Наутро мать сказала:

— Не знаю, откуда взялись мыши у нас в гостиной. Взгляни-ка, Мари, они у тебя, бедняжки, все конфеты поели.

Так оно и было. Марципан с начинкой не понравился прожорливому Мышиному Королю, но он так обглодал его острыми зубками, что остатки пришлось выбросить. Мари нисколько не жалела о сластях: в глубине души она радовалась, так как думала, что спасла Щелкунчика. Но что она почувствовала, когда на следующую ночь у нее над самым ухом раздался писк и визг! Ах, Мышиный Король был тут как тут, и еще отвратительнее, чем в прошлую ночь, сверкали у него глаза, и еще противнее пропищал он сквозь зубы:

— Отдай мне твоих сахарных куколок, глупышка, не то я загрызу твоего Щелкунчика, загрызу Щелкунчика!

И с этими словами страшный Мышиный Король исчез.

Мари была очень огорчена. На следующее утро она подошла к шкафу и печально поглядела на сахарных куколок. И горе ее было понятно! Ведь ты не поверишь, внимательная моя слушательница, какие расчудесные сахарные фигурки были у Мари Штальбаум: премиленькие пастушок с пастушкой пасли стадо белоснежных барашков, а рядом резвилась их собачка; тут же стояли два почтальона с письмами в руках, и четыре очень миловидные пары — щеголеватые юноши и разряженные в пух и прах девушки — качались на русских качелях. Потом шли танцоры, а совсем в уголке стоял краснощекий младенец — любимец Мари... Слезы брызнули у нее из глаз.

— Ах, милый господин Дроссельмейер,— воскликнула она, обращаясь к Щелкунчику,— чего я только не сделаю, лишь бы спасти вам жизнь, но, ах, как это тяжело!

Однако у Щелкунчика был такой жалобный вид, что Мари, которой и без того чудилось, будто Мышиный Король разинул все свои семь пастей и хочет проглотить несчастного юношу, решила пожертвовать ради него всем.

Итак, вечером она поставила всех сахарных куколок на нижний выступ шкафа, куда до того клала сласти. Поцеловала пастуха, пастушку, овечек; последним достала она из уголка своего любимца — краснощекого младенца — и поставила его позади всех других куколок.

— Нет, это уж слишком! — воскликнула на следующее утро госпожа Штальбаум.— Видно, в стеклянном шкафу хозяйничает большая, прожорливая мышь: у бедняжки Мари погрызены и обглоданы все хорошенькие сахарные куколки!

Мари, правда, не могла удержаться и заплакала, но скоро улыбнулась сквозь слезы, потому что подумала: «Что же делать, зато Щелкунчик цел!»

Вечером, когда мать рассказывала господину Дроссельмейеру про то, что натворила мышь в шкафу у детей, отец воскликнул:

— Что за гадость! Никак не удается извести мерзкую мышь, которая хозяйничает в стеклянном шкафу и поедает у бедной Мари все сласти.

— Вот что,— весело сказал Фриц,— внизу, у булочника, есть прекрасный серый советник посольства. Я заберу его к нам наверх: он быстро покончит с этим делом и отгрызет мыши голову, будь то хоть сама Мышильда или ее сын, Мышиный Король.

— А заодно будет прыгать на столы и стулья и перебьет стаканы и чашки, и вообще с ним беды не оберешься! — смеясь, закончила мать.

— Да нет же! — возразил Фриц.— Этот советник посольства — ловкий малый. Мне бы хотелось так ходить по крыше, как он!

— Нет уж, пожалуйста, не нужно кота на ночь,— попросила Луиза, не терпевшая кошек.

— Собственно говоря, Фриц прав,— сказал отец.— А пока можно поставить мышеловку. Есть у нас мышеловки?

— Крестный сделает нам отличную мышеловку: ведь он же их изобрел! — закричал Фриц.

Все рассмеялись, а когда госпожа Штальбаум сказала, что в доме нет ни одной мышеловки, Дроссельмейер заявил, что у него их несколько, и действительно сейчас же велел принести из дому отличную мышеловку.

Сказка крестного о твердом орехе ожила для Фрица и Мари. Когда кухарка поджаривала сало, Мари бледнела и дрожала. Все еще поглощенная сказкой с ее чудесами, она как-то даже сказала кухарке Доре, своей давней знакомой:

— Ах, ваше величество королева, берегитесь Мышильды и ее родни!

А Фриц обнажил саблю и заявил:

— Пусть только придут, уж я им задам!

Но и под плитой, и на плите все было спокойно. Когда же старший советник суда привязал кусочек сала на тонкую ниточку и осторожно поставил мышеловку к стеклянному шкафу, Фриц воскликнул:

— Берегись, крестный-часовщик, как бы Мышиный Король не сыграл с тобой злой шутки!

Ах, каково пришлось бедной Мари на следующую ночь! У нее по руке бегали ледяные лапки, и что-то шершавое и противное прикоснулось к щеке и запищало и завизжало прямо в ухо. На плече у нее сидел противный Мышиный Король; из семи его разверстых пастей текли кроваво-красные слюни, и, скрежеща зубами, он прошипел на ухо оцепеневшей от ужаса Мари:

— Я ускользну — я в щель шмыгну, под пол юркну, не трону сала, ты так и знай. Давай, давай картинки, платьице сюда, не то беда, предупреждаю: Щелкунчика поймаю и искусаю... Хи-хи!.. Пи-пи!.. Квик-квик!

Мари очень опечалилась, а когда наутро мать сказала: «А гадкая мышь все еще не попалась!», Мари побледнела и растерялась, а мама подумала, что девочка грустит о сластях и боится мыши.

— Полно, успокойся, деточка,— сказала она,— мы прогоним гадкую мышь! Не помогут мышеловки — пускай тогда Фриц приносит своего серого советника посольства.

Как только Мари осталась в гостиной одна, она подошла к стеклянному шкафу и, рыдая, заговорила со Щелкунчиком:

— Ах, милый, добрый господин Дроссельмейер! Что могу сделать для вас я, бедная, несчастная девочка? Ну, отдам я на съедение противному Мышиному Королю все свои книжки с картинками, отдам даже красивое новое платьице... Но ведь он будет требовать с меня еще и еще, так что под конец у меня ничего не останется, и он, пожалуй, захочет загрызть и меня вместо вас. Ах я бедная, бедная девочка! Ну что мне делать, что мне делать?!

Пока Мари так горевала и плакала, она заметила, что у Щелкунчика на шее с прошлой ночи осталось большое кровавое пятно. С тех пор как Мари узнала, что Щелкунчик на самом деле молодой Дроссельмейер, племянник советника суда, она перестала носить его и баюкать, перестала ласкать и целовать, и ей даже было как-то неловко слишком часто до него дотрагиваться, но на этот раз она бережно достала Щелкунчика с полки и принялась заботливо оттирать носовым платком кровавое пятно на шее. Но как оторопела она, когда вдруг ощутила, что дружок Щелкунчик у нее в руках потеплел и шевельнулся! Быстро поставила она его обратно на полку. Тут губы у него приоткрылись, и Щелкунчик с трудом прошептал:

— О бесценная мадемуазель Штальбаум, верная моя подруга, сколь многим я вам обязан! Нет, не приносите в жертву ради меня книжки с картинками, праздничное платьице — раздобудьте мне саблю... Саблю! Об остальном позабочусь я сам, даже будь он...

Тут речь Щелкунчика прервалась, и его глаза, только что

светившиеся глубокой печалью, снова померкли и потускнели. Мари ни капельки не испугалась, напротив — она запрыгала от радости. Теперь она знала, как спасти Щелкунчика, не принося дальнейших тяжелых жертв. Но где достать для человечка саблю?

Мари решила посоветоваться с Фрицем, и вечером, когда родители ушли в гости и они вдвоем сидели в гостиной у стеклянного шкафа, она рассказала брату все, что приключилось с ней из-за Щелкунчика и Мышиного Короля и от чего теперь зависит спасение Щелкунчика.

Больше всего огорчило Фрица, что его гусары плохо вели себя во время боя, как это выходило по рассказу Мари. Он очень серьезно переспросил ее, так ли оно было на самом деле, и когда Мари дала ему честное слово, Фриц быстро подошел к стеклянному шкафу, обратился к гусарам с грозной речью, а затем в наказание за себялюбие и трусость срезал у них у всех кокарды с шапок и запретил им в течение года играть лейб-гусарский марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился к Мари:

— Я помогу Щелкунчику достать саблю: только вчера я уволил в отставку с пенсией старого полковника, и, значит, его прекрасная, острая сабля ему больше не нужна.

Упомянутый полковник проживал на выдаваемую ему Фрицем пенсию в дальнем углу, на третьей полке. Фриц достал его оттуда, отвязал и впрямь щегольскую серебряную саблю и надел ее Щелкунчику.

На следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от тревоги и страха. В полночь ей послышалась в гостиной какая-то странная суматоха, звяканье и шорох. Вдруг раздалось: «Квик!»

— Мышиный Король! Мышиный Король! — крикнула Мари и в ужасе соскочила с кровати.

Все было тихо, но вскоре кто-то осторожно постучал в дверь, и послышался тоненький голосок:

— Бесценная мадемуазель Штальбаум, откройте дверь и ничего не бойтесь! Добрые, радостные вести.

Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула юбочку и быстро отворила дверь. На пороге стоял Щелкунчик с окровавленной саблей в правой руке, с зажженной восковой свечкой — в левой. Увидев Мари, он тотчас же опустился на одно колено и заговорил так:

— О прекрасная дама! Вы одна вдохнули в меня рыцарскую отвагу и придали мощь моей руке, дабы я поразил дерзновенного, который посмел оскорбить вас. Коварный Мышиный Король повержен и купается в собственной крови! Соблаговолите милостиво принять трофеи из рук преданного вам до гробовой доски рыцаря.

С этими словами Щелкунчик очень ловко стряхнул семь золотых корон Мышиного Короля, которые он нанизал на левую руку, и подал Мари, принявшей их с радостью.

Щелкунчик встал и продолжал так:

— Ах, моя бесценнейшая мадемуазель Штальбаум! Какие диковинки мог бы я показать вам теперь, когда враг повержен, если бы вы соблаговолили пройти за мною хоть несколько шагов! О, сделайте, сделайте это, дорогая мадемуазель!

КУКОЛЬНОЕ ЦАРСТВО

Я думаю, дети, всякий из вас, ни минуты не колеблясь, последовал бы за честным, добрым Щелкунчиком, у которого не могло быть ничего дурного на уме. А уж Мари и подавно — ведь она знала, что вправе рассчитывать на величайшую благодарность со стороны Щелкунчика, и была убеждена, что он сдержит слово и покажет ей много диковинок. Вот потому она и сказала:

— Я пойду с вами, господин Дроссельмейер, но только недалеко и ненадолго, так как я совсем еще не выспалась.

— Тогда,— ответил Щелкунчик,— я выберу кратчайшую, хотя и не совсем удобную дорогу.

Он пошел вперед. Мари — за ним. Остановились они в передней, у старого огромного платяного шкафа. Мари с удивлением заметила, что дверцы, обычно запертые на замок, распахнуты; ей хорошо было видно отцовскую дорожную лисью шубу, которая висела у самой дверцы. Щелкунчик очень ловко вскарабкался по выступу шкафа и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Он изо всей силы дернул кисть, и тотчас из рукава шубы спустилась изящная лесенка кедрового дерева.

— Не угодно ли вам подняться, драгоценнейшая мадемуазель Мари? — спросил Щелкунчик.

Мари так и сделала. И не успела она подняться через рукав, не успела выглянуть из-за воротника, как ей навстречу засиял ослепительный свет, и она очутилась на прекрасном, благоуханном лугу, который весь искрился, словно блестящими драгоценными камнями.

— Мы на Леденцовом лугу,— сказал Щелкунчик.— А сейчас пройдем в те ворота.

Только теперь, подняв глаза, заметила Мари красивые ворота, возвышавшиеся в нескольких шагах от нее посреди луга; казалось, что они сложены из белого и коричневого, испещренного крапинками мрамора. Когда же Мари подошла поближе,

она увидела, что это не мрамор, а миндаль в сахаре и изюм, почему и ворота, под которыми они прошли, назывались, по уверению Щелкунчика, Миндально-Изюмными воротами. На боковой галерее этих ворот, по-видимому сделанной из ячменного сахара, шесть обезьянок в красных куртках составили замечательный турецкий военный оркестр, который играл так хорошо, что Мари, сама того не замечая, шла все дальше и дальше по мраморным плитам, прекрасно сделанным из сахара, сваренного с пряностями.

Вскоре ее овеяли сладостные ароматы, которые струились из чудесной рощицы, раскинувшейся по обеим сторонам. Темная листва блестела и искрилась так ярко, что ясно были видны золотые и серебряные плоды, висевшие на разноцветных стеблях, и банты, и букеты цветов, украшавшие стволы и ветви, словно веселых жениха и невесту и свадебных гостей. При каждом дуновении зефира, напоенного благоуханием апельсинов, в ветвях и листве поднимался шелест, а золотая мишура хрустела и трещала, словно ликующая музыка, которая увлекала сверкающие огоньки, и они плясали и прыгали.

— Ах, как здесь чудесно! — воскликнула восхищенная Мари.

— Мы в Рождественском лесу, любезная мадемуазель,— сказал Щелкунчик.

— Ах, как бы мне хотелось побыть здесь! Тут так чудесно! — снова воскликнула Мари.

Щелкунчик ударил в ладоши, и тотчас же явились крошечные пастухи и пастушки, охотники и охотницы, такие нежные и белые, что можно было подумать, будто они из чистого сахара. Хотя они и гуляли по лесу, Мари их раньше почему-то не заметила. Они принесли чудо какое хорошенькое золотое кресло, положили на него белую подушку из пастилы и очень любезно пригласили Мари сесть. И сейчас же пастухи и пастушки исполнили прелестный балет, а охотники тем временем весьма искусно трубили в рога. Затем все скрылись в кустарнике.

— Простите, дорогая мадемуазель Штальбаум,— сказал Щелкунчик,— простите за такие жалкие танцы. Но это танцоры из нашего кукольного балета — они только и знают, что повторять одно и то же. А теперь не угодно ли вам пожаловать дальше?

— Да что вы, балет был просто прелесть какой, и мне очень понравился! — сказала Мари, вставая и следуя за Щелкунчиком.

Они шли вдоль ручья, бегущего с нежным журчанием и лепетом и наполнявшего своим чудным благоуханием весь лес.

— Это Апельсинный ручей,— ответил Щелкунчик на расспросы Мари,— но, если не считать его прекрасного аромата, он не может сравниться ни по величине, ни по красоте с Лимо-

надной рекой, которая, подобно ему, вливается в озеро Миндального Молока.

И в самом деле, вскоре Мари услышала более громкий плеск и журчание и увидела широкий лимонадный поток, который катил свои гордые светло-желтые волны среди сверкающих, как изумруды, кустов. Необыкновенно бодрящей прохладой, услаждающей грудь и сердце, веяло от прекрасных вод. Неподалеку медленно текла темно-желтая река, распространявшая необычайно сладкое благоухание, а на берегу сидели красивые дети, которые удили маленьких толстых рыбок и тут же поедали их. Подойдя ближе, Мари заметила, что рыбки были похожи на ломбардские орехи. Немножко подальше на берегу раскинулась очаровательная деревушка. Дома, церковь, дом пастора, амбары были темно-коричневые с золотыми кровлями, а многие стены были расписаны так пестро, словно на них налепили миндалины и лимонные цукаты.

— Это село Пряничное,— сказал Щелкунчик,— расположенное на берегу Медовой реки. Народ в нем живет красивый, но очень сердитый, так как все там страдают зубной болью. Лучше мы туда не пойдем.

В то же мгновение Мари заметила красивый городок, в котором все дома сплошь были пестрые и прозрачные. Щелкунчик направился прямо туда, и вот Мари услышала беспорядочный веселый гомон и увидела тысячу хорошеньких человечков, которые разбирали доверху нагруженные телеги, теснившиеся на базаре. А то, что они доставали, напоминало пестрые разноцветные бумажки и плитки шоколада.

— Мы в Конфетенхаузене,— сказал Щелкунчик,— сейчас как раз прибыли посланцы из Бумажного королевства и от Шоколадного короля. Не так давно бедным конфетенхаузенцам угрожала армия комариного адмирала, поэтому они покрывают свои дома дарами Бумажного государства и возводят укрепления из прочных плит, присланных Шоколадным королем. Но, бесценная мадемуазель Штальбаум, мы не можем посетить все городки и деревушки страны — в столицу, в столицу!

Щелкунчик заторопился дальше, а Мари, сгорая от нетерпения, не отставала от него. Вскоре повеяло дивным благоуханием роз, и все словно озарилось нежно мерцающим розовым сиянием. Мари заметила, что это был отблеск розово-алых вод, со сладостно-мелодичным звуком плескавшихся и журчавших у ее ног. Волны все прибывали и прибывали и наконец превратились в большое прекрасное озеро, по которому плавали чудесные серебристо-белые лебеди с золотыми ленточками на шее и пели прекрасные песни, а бриллиантовые рыбки, словно в веселой пляске, ныряли и кувыркались в розовых волнах.

— Ах,— в восторге воскликнула Мари,— да ведь это же то

самое озеро, какое пообещал мне сделать крестный! А я — та самая девочка, которая должна была забавляться с миленькими лебедями.

Щелкунчик улыбнулся так насмешливо, как еще ни разу не улыбался, а потом сказал:

— Дяде никогда не смастерить ничего подобного. Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум... Но стоит ли над этим раздумывать! Лучше переправимся по Розовому озеру на ту сторону, в столицу.

СТОЛИЦА

Щелкунчик снова захлопал в ладоши. Розовое озеро зашумело сильнее, выше заходили волны, и Мари заметила вдали двух золотых дельфинов, впряженных в раковину, сиявшую яркими, как солнце, драгоценными камнями. Двенадцать очаровательных арапчат в шапочках и передниках, сотканных из радужных перышек колибри, соскочили на берег и, легко скользя по волнам, перенесли сначала Мари, а потом Щелкунчика в раковину, которая сейчас же понеслась по озеру.

Ах, как чудно было плыть в раковине, овеваемой благоуханием роз, омываемой розовыми волнами! Золотые дельфины подняли морды и принялись выбрасывать хрустальные струи высоко вверх, а когда эти струи ниспадали с вышины сверкающими и искрящимися дугами, чудилось, будто поют два прелестных, нежно-серебристых голоса:

«Кто озером плывет? Фея вод! Комарики, ду-ду-ду! Рыбки, плеск-плеск! Лебеди, блеск-блеск! Чудо-птичка, тра-ла-ла! Волны, пойте, вея, млея,— к нам плывет по розам фея; струйка резвая, взметнись — к солнцу, ввысь!»

Но двенадцати арапчатам, вскочившим сзади в раковину, видимо, совсем не нравилось пение водных струй. Они так тряслИ своими зонтиками, что листья финиковых пальм, из которых были сплетены зонтики, мялись и гнулись, а арапчата отбивали ногами какой-то неведомый такт и пели:

— Топ-и-тип и тип-и-топ, хлоп-хлоп-хлоп! Мы по водам хороводом! Птички, рыбки — на прогулку, вслед за раковиной гулкой! Топ-и-тип и тип-и-топ, хлоп-хлоп-хлоп!

— Арапчата очень веселый народ,— сказал несколько смущенный Щелкунчик,— но как бы они не взбаламутили мне все озеро!

И правда, вскоре раздался громкий гул, удивительные голоса, казалось, плыли над озером. Но Мари не обращала на них внимания, она смотрела в благоуханные волны, откуда ей улыбались прелестные девичьи лица.

— Ах,— радостно закричала она, хлопая в ладоши,— поглядите-ка, милый господин Дроссельмейер: там принцесса Пирлипат! Она так ласково мне улыбается... Да поглядите же, милый господин Дроссельмейер!

Но Щелкунчик печально вздохнул и сказал:

— О бесценная мадемуазель Штальбаум, это не принцесса Пирлипат, это вы. Только вы сами, только ваше собственное личико ласково улыбается из каждой волны.

Тогда Мари быстро отвернулась, крепко зажмурила глаза и совсем сконфузилась. В то же мгновение двенадцать арапчат подхватили ее и отнесли из раковины на берег. Она очутилась в небольшом лесочке, который был, пожалуй, еще прекраснее, чем Рождественский лес,— так все тут сияло и искрилось; особенно замечательны были редкостные плоды, висевшие на деревьях, редкостные не только по окраске, но и по дивному благоуханию.

— Мы в Цукатной роще,— сказал Щелкунчик,— а вон там— столица.

Ах, что же увидала Мари! Как мне описать вам, дети, красоту и великолепие представшего перед глазами Мари города, который широко раскинулся на усеянной цветами роскошной поляне? Он блистал не только радужными красками стен и башен, но и причудливой формой строений, совсем не похожих на обычные дома. Вместо крыш их осеняли искусно сплетенные венки, а башни были увиты такими прелестными пестрыми гирляндами, что и представить себе нельзя.

Когда Мари и Щелкунчик проходили через ворота, которые, казалось, были сооружены из миндального печенья и цукатов, серебряные солдатики взяли на караул, а человечек в парчевом халате обнял Щелкунчика со словами:

— Добро пожаловать, любезный принц! Добро пожаловать в Конфетенбург!

Мари очень удивилась, что такой знатный вельможа называет господина Дроссельмейера принцем. Но тут до них донесся гомон тоненьких голосков, шумно перебивавших друг друга, долетели звуки ликования и смеха, пение и музыка, и Мари, позабыв обо всем, сейчас же спросила Щелкунчика, что это.

— О любезная мадемуазель Штальбаум,— ответил Щелкунчик,— дивиться тут нечему: Конфетенбург — многолюдный, веселый город, тут каждый день веселье и шум. Будьте любезны, пойдемте дальше.

Через несколько шагов они очутились на большой, удивительно красивой базарной площади. Все дома были украшены сахарными галереями ажурной работы. Посередине, как обелиск, возвышался сладкий пирог, обсыпанный сахаром, а вокруг из четырех искусно сделанных фонтанов били вверх струи лимонада

и других вкусных прохладительных напитков. Бассейн был полон сбитых сливок, которые так и хотелось зачерпнуть ложкой. Но лучше всего были очаровательные человечки, во множестве толпившиеся тут. Они веселились, смеялись, шутили и пели; это их веселый гомон Мари слышала еще издали. Тут были нарядно разодетые кавалеры и дамы, армяне и греки, евреи и тирольцы, офицеры и солдаты, и монахи, и пастухи, и паяцы — словом, всякий люд, какой только встречается на белом свете.

В одном месте на углу поднялся страшный гвалт: народ кинулся врассыпную, потому что как раз в это время проносили в паланкине Великого Могола[1], сопровождаемого девяноста тремя вельможами и семьюстами невольниками. Но надо же было случиться, что на другом углу цех рыбаков, в количестве пятисот человек, устроил торжественное шествие, а на беду, турецкому султану как раз вздумалось проехаться в сопровождении трех тысяч янычар[2] по базару; к тому же прямо на сладкий пирог надвигалась со звонкой музыкой и пением «Слава могучему солнцу, слава!» процессия прерванного торжественного жертвоприношения. Ну и поднялась же суматоха, толкотня и визг! Вскоре послышались стоны, так как в суматохе какой-то рыбак сшиб голову брамину[3], а Великого Могола чуть было не задавил Паяц. Шум становился все бешеней и бешеней, уже начались толкотня и драка, но тут человек в парчовом халате, тот самый, что у ворот приветствовал Щелкунчика в качестве принца, взобрался на пирог и, трижды дернув звонкий колокольчик, трижды громко крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Сутолока мигом улеглась; всякий спасался, как мог, и, после того как распутались спутавшиеся шествия, когда вычистили перепачкавшегося Великого Могола и снова насадили голову брамину, опять пошло шумное веселье.

— В чем тут дело с кондитером, любезный господин Дроссельмейер? — спросила Мари.

— Ах, бесценная мадемуазель Штальбаум, кондитером здесь называют неведомую, но очень страшную силу, которая, по здешнему поверью, может сделать с человеком все, что ей вздумается,— ответил Щелкунчик.— Это тот рок, который властвует над этим веселым народцем, и жители так его боятся, что одним упоминанием его имени можно угомонить самую большую сутолоку, как это сейчас доказал господин бургомистр. Тогда никто уже не помышляет о земном, о тумаках и шишках на лбу, всякий погружается в себя и говорит: «Что есть человек и во что он может превратиться?»

---

[1] Великий Могол — индийский правитель — падишах.
[2] Янычары — турецкая пехота.
[3] Брамин — индийский жрец.

Громкий крик удивления — нет, крик восторга вырвался у Мари, когда она вдруг очутилась перед замком с сотней воздушных башенок, светившимся розово-алым сиянием. Там и сям по стенам были рассыпаны роскошные букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, которые оттеняли ослепительную, отливающую алым светом белизну фона. Большой купол центрального здания и остроконечные крыши башен были усеяны тысячами звездочек, сверкающих золотом и серебром.

— Вот мы и в Марципановом замке,— сказал Щелкунчик.

Мари не отрывала глаз от волшебного дворца, но все же она заметила, что на одной большой башне не хватало крыши, над восстановлением которой, по-видимому, трудились человечки, стоявшие на помосте из корицы. Не успела она задать вопрос Щелкунчику, как он сказал:

— Совсем недавно замку грозила большая беда, а может быть, и полное разорение. Великан Сладкоежка проходил мимо. Быстро откусил он крышу вон с той башни и принялся уже за большой купол, но жители Конфетенбурга умилостивили его, поднеся в виде выкупа четверть города и значительную часть Цукатной рощи. Он закусил ими и отправился дальше.

Вдруг тихо зазвучала очень приятная, нежная музыка. Ворота замка распахнулись, и оттуда вышли двенадцать крошек пажей с зажженными факелами из стеблей гвоздики в руках. Головы у них были из жемчужин, туловища — из рубинов и изумрудов, а передвигались они на золотых ножках искусной работы. За ними следовали четыре дамы почти такого же роста, как Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах; Мари мигом признала в них прирожденных принцесс. Они нежно обняли Щелкунчика и при этом воскликнули с искренней радостью:

— О принц, дорогой принц! Дорогой братец!

Щелкунчик совсем растрогался: он утирал часто набегавшие на глаза слезы, затем взял Мари за руку и торжественно объявил:

— Вот мадемуазель Мари Штальбаум, дочь весьма достойного советника медицины и моя спасительница. Не брось она в нужную минуту башмачок, не добудь она мне саблю вышедшего на пенсию полковника, меня загрыз бы противный Мышиный Король, и я лежал бы уже в могиле. О мадемуазель Штальбаум! Может ли сравниться с ней по красоте, достоинством и добродетели Пирлипат, несмотря на то, что та — прирожденная принцесса? Нет, говорю я, нет!

Все дамы воскликнули: «Нет!» — и, рыдая, принялись обнимать Мари:

— О благородная спасительница нашего возлюбленного царственного брата! О несравненная мадемуазель Штальбаум!

Затем дамы отвели Мари и Щелкунчика в покои замка, в зал, стены которого сплошь были сделаны из переливающегося всеми цветами радуги хрусталя. Но что понравилось Мари больше всего, это расставленные там хорошенькие стульчики, комодики, письменные столики.

Принцессы уговорили Мари и Щелкунчика присесть и сказали, что они собственноручно приготовят им угощение. Они тут же достали разные горшочки и мисочки из тончайшего японского фарфора, ложки, ножи, вилки, терки, кастрюльки и прочую золотую и серебряную кухонную утварь. Затем они принесли такие чудесные плоды и сласти, каких Мари и не видывала, и очень грациозно принялись выжимать белоснежными ручками фруктовый сок, толочь пряности, тереть сладкий миндаль — словом, принялись так славно хозяйничать, что Мари поняла, какие они искусницы в кулинарном деле и какое роскошное угощение ожидает ее. Прекрасно сознавая, что тоже кое-что в этом понимает, Мари втайне желала сама принять участие в занятии принцесс. Самая красивая из сестер Щелкунчика, словно угадав тайное желание Мари, протянула ей маленькую золотую ступку и сказала:

— Милая моя подружка, бесценная спасительница брата, потолки немножко карамелек.

Пока Мари весело стучала пестиком, так что ступка звенела мелодично и приятно, не хуже прелестной песенки, Щелкунчик начал подробно рассказывать о страшной битве с полчищами Мышиного Короля, о том, как он потерпел поражение из-за трусости своих войск, как потом Мышиный Король во что бы то ни стало хотел загрызть его, как Мари пришлось пожертвовать многими ее подданными, которые были у нее на службе...

Во время рассказа Мари чудилось, будто слова Щелкунчика и даже ее собственные удары пестиком звучат все глуше, все невнятнее, и вскоре глаза ей застлала серебряная пелена — словно поднялись легкие клубы тумана, в которые погрузились принцессы... пажи... Щелкунчик... она сама... Где-то что-то шелестело, журчало и пело; странные звуки растворялись вдали. Вздымающиеся волны несли Мари все выше и выше... выше и выше... выше и выше...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Та-ра-ра-бух! — и Мари упала с неимоверной высоты. Вот это был полет! Но Мари тут же открыла глаза. Она лежала у себя в постельке. Было совсем светло, а рядом стояла мама и говорила:

— Ну можно ли так долго спать! Завтрак давно на столе.

Мои глубокоуважаемые слушатели, вы, конечно, уже поняли, что Мари, ошеломленная всеми виденными чудесами, в конце концов заснула в зале Марципанового замка и что арапчата или пажи, а может быть, и сами принцессы отнесли ее домой и уложили в постельку.

— Ах, мамочка, милая моя мамочка, где только я не побывала этой ночью с молодым господином Дроссельмейером! Каких только чудес не насмотрелась!

И она рассказала все почти так же подробно, как только что рассказал я, а мама слушала и удивлялась.

Когда Мари окончила, мать сказала:

— Тебе, милая Мари, приснился длинный прекрасный сон. Но выкинь все это из головы.

Мари упрямо твердила, что видела все не во сне, а наяву. Тогда мать подвела ее к стеклянному шкафу, вынула Щелкунчика, который, как всегда, стоял на второй полке, и сказала:

— Ах ты глупышка, откуда ты взяла, что деревянная нюрнбергская кукла может жить и двигаться?..

— Но, мамочка,— перебила ее Мари,— я ведь знаю, что крошка Щелкунчик — молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного!

Тут оба — и папа и мама — громко расхохотались.

— Ах,— чуть не плача, продолжала Мари,— теперь ты, папочка, смеешься над моим Щелкунчиком, а он так хорошо отзывался о тебе! Когда мы пришли в Марципановый замок, он представил меня принцессам — своим сестрам и сказал, что ты весьма достойный советник медицины!

Хохот только усилился, и теперь к родителям присоединились Луиза и даже Фриц. Тогда Мари побежала в другую комнату, быстро достала из своей шкатулки семь корон Мышиного Короля и подала их матери со словами:

— Вот, мамочка, посмотри: вот семь корон Мышиного Короля, которые прошлой ночью поднес мне в знак своей победы молодой господин Дроссельмейер!

Мама с удивлением разглядывала крошечные коронки из какого-то незнакомого, очень блестящего металла и такой тонкой работы, что едва ли это могло быть делом рук человеческих. Господин Штальбаум тоже не мог насмотреться на коронки. Затем и отец и мать строго потребовали, чтобы Мари призналась, откуда у нее коронки, но она стояла на своем.

Когда отец стал ее журить и даже обозвал лгуньей, она горько разрыдалась и только жалобно приговаривала:

— Ах я бедная, бедная! Ну что мне делать?

Но тут вдруг открылась дверь и вошел крестный.

— Что случилось? Что случилось? — спросил он.— Моя

крестница Марихен плачет и рыдает? Что случилось? Что случилось?

Папа рассказал ему, что случилось, и показал крошечные короны. Старший советник суда, как только увидел их, рассмеялся и воскликнул:

— Глупые выдумки, глупые выдумки! Да ведь это же коронки, которые я когда-то носил на цепочке от часов, а потом подарил Марихен в день ее рождения, когда ей минуло два года! Разве вы позабыли?

Ни отец, ни мать не могли этого припомнить...

Когда Мари убедилась, что лица у родителей опять стали ласковыми, она подскочила к крестному и воскликнула:

— Крестный, ведь ты же все знаешь! Скажи, что мой Щелкунчик — твой племянник, молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, и что он подарил мне эти крошечные короны.

Крестный нахмурился и пробормотал:

— Глупые выдумки!

Тогда отец отвел маленькую Мари в сторону и сказал очень строго:

— Послушай, Мари, оставь раз навсегда выдумки и глупые шутки! И если ты еще раз скажешь, что уродец Щелкунчик — племянник твоего крестного, я выброшу за окно не только Щелкунчика, но и всех остальных кукол, не исключая и мамзель Клерхен.

Теперь бедняжка Мари, разумеется, не смела и заикнуться о том, что переполняло ее сердце: ведь вы понимаете, что не так-то легко было Мари забыть все прекрасные чудеса, приключившиеся с ней. Даже, уважаемый читатель или слушатель Фриц, даже твой товарищ Штальбаум сейчас же поворачивался спиной к сестре, как только она собиралась рассказать о чудесной стране, где ей было так хорошо. Говорят, что порой он даже бормотал сквозь зубы: «Глупая девчонка!» Но, издавна зная его добрый нрав, я никак не могу этому поверить; во всяком случае, доподлинно известно, что, не веря больше ни слову в рассказах Мари, он на публичном параде формально извинился перед своими гусарами за причиненную обиду, приколол им вместо утраченных знаков отличия еще более высокие и пышные султаны из гусиных перьев и снова разрешил трубить лейб-гусарский марш. Ну, а мы-то знаем, какова была отвага гусар, когда отвратительные пули насажали им на красные мундиры пятна.

Говорить о своем приключении Мари больше не смела, но волшебные образы сказочной страны не оставляли ее. Она слышала нежный шелест, ласковые, чарующие звуки; она видела все снова, как только начинала об этом думать, и, вместо того чтобы играть, как бывало раньше, могла часами сидеть смирно

и тихо, уйдя в себя,— вот почему все теперь звали ее маленькой мечтательницей.

Раз как-то случилось, что крестный чинил часы у Шталь-баумов. Мари сидела около стеклянного шкафа и, грезя наяву, глядела на Щелкунчика. И вдруг у нее вырвалось:

— Ах, милый господин Дроссельмейер, если бы вы на самом деле жили, я не отвергла бы вас, как принцесса Пирлипат, за то, что из-за меня вы потеряли свою красоту!

Советник суда тут же крикнул:

— Ну, ну, глупые выдумки!

Но в то же мгновение раздался такой грохот и треск, что Мари без чувств свалилась со стула. Когда она очнулась, мать хлопотала около нее и говорила:

— Ну можно ли падать со стула? Такая большая девочка! Из Нюрнберга сейчас приехал племянник господина старшего советника суда, будь умницей.

Она подняла глаза: крестный снова нацепил свой стеклянный парик, надел желтый кафтан и довольно улыбался, а за руку он держал, правда, маленького, но очень складного молодого человека, белого и румяного, в великолепном красном, шитом золотом камзоле, в туфлях и белых шелковых чулках. К его жабо был приколот хорошенький букетик, волосы были тщательно завиты и напудрены, а вдоль спины спускалась превосходная коса. Крошечная шпага у него на боку так и сверкала, словно вся усеянная драгоценными камнями, под мышкой он держал шелковую шляпу.

Молодой человек проявил свой приятный нрав и благовоспитанность, подарив Мари целую кучу чудесных игрушек, и, прежде всего, вкусный марципан и куколок взамен тех, что погрыз Мышиный Король, а Фрицу — замечательную саблю. За столом любезный юноша щелкал всей компании орешки. Самые твердые были ему нипочем; правой рукой он совал их в рот, левой дергал себя за косу, и — щелк! — скорлупа разлеталась на мелкие кусочки.

Мари вся зарделась, когда увидела учтивого юношу, а когда после обеда молодой Дроссельмейер предложил ей пройти в гостиную, к стеклянному шкафу, она стала пунцовой.

— Ступайте, ступайте играть, дети, только смотрите не ссорьтесь. Теперь, когда все часы у меня в порядке, я ничего не имею против! — напутствовал их старший советник суда.

Как только молодой Дроссельмейер очутился наедине с Мари, он опустился на одно колено и повел такую речь:

— О бесценная мадемуазель Штальбаум, взгляните: у ваших ног — счастливый Дроссельмейер, которому на этом самом месте вы спасли жизнь. Вы изволили вымолвить, что не отвергли бы меня, как гадкая принцесса Пирлипат, если бы из-за вас я стал

уродом. Тотчас же я перестал быть жалким Щелкунчиком и обрел мою былую, не лишенную приятности наружность. О превосходная мадемуазель Штальбаум, осчастливьте меня, скажите, что я достоин вашей руки! Разделите со мной корону и трон, будем царствовать вместе в Марципановом замке.

Мари подняла юношу с колен и тихо сказала:

— Милый господин Дроссельмейер! Вы кроткий, добросердечный человек, да к тому же еще царствуете в прекрасной стране, населенной прелестным веселым народцем,— ну разве могу я не согласиться, чтобы вы были моим женихом!

И Мари тут же стала невестой Дроссельмейера. Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми, что на свадьбе у них плясали двадцать две тысячи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами и жемчугом, а Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки — словом, всякие чудеса и диковинки.

Вот вам сказка про Щелкунчика и Мышиного Короля.

БРАТЬЯ
ГРИММ
Сказки

ТРИ БРАТА

Много лет тому назад жил на свете отец с тремя сыновьями. Выросли сыновья молодцами, один другого лучше.

Вот и говорит им отец:

— Ступайте, дети, по белу свету странствовать, людей посмотрите и какому-нибудь делу научитесь. Тому из вас, кто самым лучшим мастером вернется, я свой дом оставлю.

Пошли братья странствовать. Три года бродили они по чужим краям, а через три года вернулись все в один день домой к отцу.

— Здравствуй, отец,— говорят они.

— Здравствуйте, дети,— отвечает отец.— Ну что, научились чему-нибудь?

— Да,— говорят,— научились.

— Чему же вы, дети, научились?

— Я,— говорит младший сын,— брить научился.

— Я,— говорит средний сын,— ковать научился.

— А я,— сказал старший сын,— фехтовать научился.

— Ну и хорошо,— говорит отец.— Хотел бы я посмотреть, ловко ли вы умеете брить, ковать и фехтовать.

А в это время по полю бежал заяц.

— Эх! — закричал младший сын, который брить научился.— Тебя-то мне и надо!

Схватил он тазик и мыло, взбил кисточкой пену, а потом догнал зайца, на бегу намылил ему мордочку и выбрил обе щеки.

Да как чисто выбрил! Ни разу не порезал и ни одного волоска не оставил.

— Хорошая работа,— сказал отец.— Ловко бреешь!

И только он это проговорил, как на дороге показалась карета.

— А ну-ка,— говорит средний сын, который ковать научился,— посмотри, отец, и на мое уменье!

Побежал средний сын за каретой, догнал ее, оторвал у лошади на всем скаку все четыре подковы и тут же на всем скаку подковал ее сызнова.

— Отличная работа! — сказал отец.— Не хуже, чем у твоего брата.

Тут заговорил старший сын:

— Позволь, отец, и мне показать свое уменье!

— Что ж,— говорит отец,— покажи.

А как раз в это время пошел дождь.

Взял старший сын свою шпагу да как начал вертеть ею у себя над головой! Так быстро вертит, что ни одна капля на него не попадает. Дождь льет все сильнее и сильнее. Хлещет как из ведра, а старший сын только вертит шпагой и стоит сухой, будто под крышей. Все капли дождевые шпагой отбивает!

Увидел это отец, удивился и сказал детям:

— Все вы искусные мастера — не знаю я, кому из вас дом оставить. Живите все вместе.

Согласились с ним сыновья да так с тех пор вместе и живут.

БЕЛОСНЕЖКА И КРАСНОЗОРЬКА

На краю леса, в маленькой избушке, одиноко жила бедная вдова. Перед избушкой у нее был сад, а в саду росли два розовых куста. На одном из них цвели белые розы, а на другом — красные. И были у нее две дочки — одна белее белой розы, другая румяней красной. Одну прозвали Белоснежкой, другую — Краснозорькой.

Обе девочки были скромные, добрые, работящие, послушные. Кажется, весь свет обойди — не найдешь лучше! Только Белоснежка была тише и ласковей, чем ее сестра. Краснозорька любила бегать и прыгать по лугам и полям, собирать цветы, ловить певчих птичек. А Белоснежка охотнее оставалась подле матери: помогала ей по хозяйству или читала что-нибудь вслух, когда делать было нечего.

Сестры так сильно любили друг дружку, что всюду ходили вместе, взявшись за руки. И если Белоснежка говорила: «Мы никогда не расстанемся», то Краснозорька прибавляла: «До тех пор, пока живы!» А мать заканчивала: «Во всем помогайте друг дружке и все делите поровну!»

Часто обе сестры уходили вдвоем в дремучий лес собирать спелые ягоды. И ни разу ни один хищный зверь не тронул их, ни один маленький зверек не спрятался от них в страхе. Зайчик смело брал капустный лист из рук сестер, дикая коза, как домашняя, паслась у них на глазах, олень весело прыгал вокруг, а лесные птицы и не думали улетать от девочек — они сидели на ветках и пели им все песни, какие только знали.

Никогда никакой беды не приключалось с ними в лесу.

Если, бывало, они замешкаются и ночь застанет их в чаще, они укладывались рядышком на мягкий мох и спокойно засыпали до утра. Мать знала это и нисколько не тревожилась о них.

Белоснежка и Краснозорька так чисто прибирали всегда свой домик, что и заглянуть туда было приятно.

Летом за всем присматривала Краснозорька. Каждое утро, прежде чем просыпалась мать, она ставила возле ее постели букет цветов, а в букете непременно было по цветку с каждого розового куста — белая роза и красная.

А зимой в доме хозяйничала Белоснежка. Она разводила в очаге огонь и вешала над огнем котелок на крюке. Котелок был медный, но блестел, как золотой,— так ярко он был начищен.

Вечером, когда за окнами мела метель, мать говорила:

— Поди, Белоснежка, закрой поплотнее дверь!

И они втроем усаживались перед очагом.

Мать доставала очки, раскрывала большую толстую книгу и принималась читать, а обе девочки сидели за своими прялками, слушали и пряли. Подле них на полу лежал барашек, а позади, на насесте, дремал, спрятав голову под крыло, белый голубок.

Вот как-то раз, когда они сидели так перед огнем и коротали вечер за книгой и прялкой, кто-то робко постучался у дверей, словно просил впустить его.

— Слышишь, Краснозорька? — сказала мать.— Отопри поскорей! Это, наверное, какой-нибудь путник ищет у нас приюта и отдыха.

Краснозорька пошла и отодвинула засов. Она думала, что увидит за дверью усталого человека, застигнутого непогодой.

Но нет, на пороге стоял не человек. Это был медведь, который сразу же просунул в дверь свою огромную черную голову.

Краснозорька громко вскрикнула и отскочила назад. Барашек заблеял. Голубок захлопал крыльями. А Белоснежка спряталась в самый дальний угол, за кровать матери.

Медведь посмотрел на них и сказал человечьим голосом:

— Не бойтесь! Я не сделаю вам никакого зла. Я просто очень озяб и хотел бы хоть немного обогреться у вас.

— Ах ты бедный зверь! — сказала мать.— Ложись-ка вот тут, у огня... Только смотри поосторожнее — не подпали как-нибудь ненароком свою шубу.

Потом она закричала:

— Белоснежка! Краснозорька! Идите сюда поскорей! Медведь не сделает вам ничего дурного. Он умный и добрый.

Обе девочки подошли поближе, а за ними и барашек и голубок. И скоро уже никто из них не боялся медведя.

— Дети,— сказал медведь,— почистите-ка немного мою шубу, а то она вся в снегу.

Девочки принесли метелку, обмели и почистили густой медвежий мех, и медведь растянулся перед огнем, урча от удовольствия.

А Белоснежка и Краснозорька доверчиво примостились возле него и давай тормошить своего неповоротливого гостя. Они ерошили его шерсть, ставили ему на спину ноги, толкали то в один бок, то в другой, дразнили ореховыми прутьями. А когда зверь начинал рычать, они звонко смеялись.

Медведь охотно позволял играть с ним и, только когда его уж очень донимали, ворчал:

— Белоснежка! Краснозорька!

Долго ль, дети, до греха?
Вы убьете жениха.

Когда наступила ночь и пришло время ложиться спать, мать сказала медведю:

— Оставайся-ка тут, перед очагом. Здесь ты, по крайней мере, будешь укрыт от ветра и стужи.

Мохнатый гость остался.

На рассвете девочки отворили дверь, и медведь медленно побрел в лес по снежным сугробам.

К стр. 137

Но с той поры каждый вечер в один и тот же час он приходил к ним, ложился перед очагом и позволял обеим сестрам тормошить его сколько им вздумается.

Девочки так привыкли к нему, что даже дверей не закрывали, пока не придет их косматый черный приятель.

И вот наступила весна. Когда все вокруг зазеленело, медведь сказал Белоснежке:

— Прощай. Я должен уйти от вас, и целое лето мы не увидимся.

— Да куда ж ты идешь, милый медведь?— спросила Белоснежка.

— В лес — охранять свои сокровища от злых карликов,— ответил медведь.— Зимой, когда земля накрепко замерзает, они не могут выкарабкаться наверх и поневоле сидят в своих глубоких норах. Но сейчас солнце обогрело землю, растопило лед, и они уже, верно, проложили дорогу из своего подземелья на волю, вылезли наружу, всюду шарят и тащат к себе, что приглянется. А уж что попадет к ним в руки и окажется у них в норе, то не скоро выйдет опять на дневной свет.

Жалко было Белоснежке расставаться с добрым другом. Она в последний раз отворила ему дверь. А он, пробираясь мимо нее через порог, зацепился нечаянно за дверной крюк и вырвал кусочек шерсти. И тут Белоснежке показалось, что под косматой медвежьей шкурой блеснуло золото... Но она и глазам своим не поверила. Медведь опрометью бросился бежать и, прежде чем она успела оглянуться, пропал за деревьями.

Вскоре после того послала мать обеих дочек в лес за хворостом. В чаще девочки набрели на большое дерево, поваленное наземь непогодой. Еще издали они заметили, что возле ствола в траве что-то суетится и прыгает. Но что это такое — они не могли разобрать.

Сестры подошли поближе и увидели карлика — маленького старичка с морщинистым лицом и длинной белой, как снег, бородой. Кончик его бороды попал в трещину дерева, и малыш прыгал и метался, словно собачонка на веревочке, но никак не мог вырваться на волю.

Завидев девочек, он выпучил свои красные, светящиеся, как искры, глазенки и закричал:

— Чего же вы стали? Не можете подойти поближе и помочь?

— Да что ты тут делаешь, старичок? — спросила Краснозорька.

— Глупая любопытная гусыня! — ответил карлик.— Я хотел расколоть дерево, чтобы наготовить себе мелких дровец для кухни. На толстых поленьях пригорают наши нежные, легкие кушанья. Ведь мы едим понемножку, а не набиваем себе брюхо,

как вы, грубый, жадный народ!.. Я уж было вколотил в дерево клин, и все шло отлично, да проклятая деревяшка оказалась слишком скользкой и ни с того ни с сего вылетела обратно. Я не успел отскочить, и мою прекрасную белую бороду защемило, словно тисками. Вот она и застряла в трещине, и я, сколько ни бьюсь, не могу вырваться... Да вы что смеетесь, толстощекие дурочки? Тьфу, и смотреть-то на вас противно!

Девочки изо всех сил старались помочь карлику, но высвободить его бороду им никак не удавалось: уж очень крепко зажало ее в расщелине.

— Я побегу позову людей,— сказала Краснозорька.

— Пустые бараньи головы! — заскрипел карлик.— Очень нужно звать сюда людей! Хватит с меня и вас двоих. Неужто вы не можете придумать ничего лучшего?

— Потерпи немножко,— сказала Белоснежка.— Сейчас я тебя выручу.

Она вытащила из кармана маленькие ножницы и отстригла ему кончик бороды.

Чуть только карлик почувствовал себя на свободе, он схватил запрятанный меж корней дерева и доверху набитый золотом мешок и крепко завязал его, ворча под нос:

— Неотесанный народ!.. Отхватили кусок моей роскошной бороды... Чтоб вам пусто было!

С этими словами он взвалил мешок на плечи и ушел, даже не поглядев на девочек.

Через несколько дней после того Белоснежка и Краснозорька вздумали наловить к обеду немного рыбы. Придя на берег ручья, они увидели какого-то большого кузнечика, который прыгал около самой воды, словно хотел кинуться в ручей.

Они подбежали поближе и узнали карлика, которого недавно видели в лесу.

— Да что с тобой? — спросила Краснозорька.— Ты, кажется, собираешься прыгнуть в воду?

— Я не такой дурак! — крикнул в ответ карлик.— Неужто вы сами не видите, что это проклятая рыба тянет меня за собой?

Оказалось, что карлик сидел на берегу и удил рыбу. На беду, ветер вздумал поиграть его длинной бородой и намотал ее на леску удочки. А тут, словно нарочно, клюнула большая рыба. У бедняги не хватило силенок вытащить ее на берег. Рыба одолела рыболова и потянула его за собой в воду. Он цеплялся за травинки и соломинки, но никак не мог удержаться. Рыба металась в воде и таскала его за собой по берегу то вправо, то влево... Еще немного, и она утащила бы его на дно.

Девочки подоспели как раз вовремя. Крепко ухватив карлика, они попытались распутать его бороду. Да где там! Боро-

да и леска так тесно переплелись, что думать об этом было нечего.

Оставалось одно: снова достать из кармана маленькие ножницы и отстричь еще клочок бороды.

Чуть только щелкнули ножницы, карлик закричал не своим голосом:

— Да где это видано, лягушки вы лупоглазые, так уродовать человека! Мало того, что давеча вы отхватили у меня конец бороды, теперь вы обкорнали ее лучшую часть. Да как я в таком виде своим покажусь! Ах, чтоб вам на бегу подошвы потерять!..

Тут он схватил мешок с жемчугом, запрятанный в камышах, и, не сказав больше ни слова, пропал за камнем.

Прошло еще дня три, и вот мать послала обеих дочек в город купить иголок, ниток, шнурков и лент.

Дорога шла через пустынную равнину, по которой тут и там были разбросаны огромные глыбы камней.

Девочки заметили, что в небе парит большая птица. Медленно кружась, она опускалась все ниже и ниже и наконец села неподалеку от девочек, возле одной из скал.

В то же мгновение они услышали чей-то пронзительный жалобный крик.

Сестры бросились на помощь и с ужасом увидели, что в когти орла попал их старый знакомый — седобородый карлик. Птица расправила крылья и уже собиралась унести его.

Девочки изо всех сил ухватились за человечка и до тех пор дергали и тянули его к себе, пока птица не выпустила свою добычу.

Едва карлик опомнился от испуга, как закричал своим скрипучим, визгливым голоском:

— Неужто нельзя было обойтись со мной как-нибудь поосторожней? Вы в клочья разорвали мой кафтанчик из такого тонкого сукна!.. Эх вы, неуклюжие, неповоротливые девчонки!

Он поднял мешок, на этот раз набитый драгоценными камнями, и юркнул в какую-то нору под скалой.

А девочки, ничуть не удивившись, пошли дальше: они уже привыкли к его неблагодарности.

Вечером, окончив в городе свои дела, сестры возвращались той же дорогой и опять неожиданно увидели карлика.

Выбрав чистое, ровное местечко, он вытряхнул из своего мешка драгоценные камни и разбирал их, не думая, что кто-нибудь так поздно пойдет мимо скал.

В лучах заходящего солнца блестящие камешки так чудесно мерцали, переливаясь всеми цветами радуги, что сестры невольно остановились и залюбовались.

Карлик поднял голову и заметил девочек.

— Ну чего стали, разини? — закричал он, и его пепельно-серое лицо побагровело от злости.— Что вам тут надо?..

Он открыл рот, чтобы выкрикнуть еще какое-то ругательство, но тут послышалось грозное рычание, и большой черный медведь шаром выкатился из леса.

Карлик в страхе отскочил в сторону, но улизнуть в свою подземную нору ему не удалось: медведь уже был в двух шагах от него.

Тогда, дрожа от ужаса, он запищал:

— Дорогой господин медведь, пощадите меня! Я отдам вам все свои сокровища! Взгляните хоть на те прекрасные камешки, что лежат перед вами... Только подарите мне жизнь! Ну на что я вам, такой маленький и щупленький? Вы даже не почувствуете меня на зубах. Возьмите лучше этих скверных девчонок! Вот это будет для вас лакомый кусочек. Вы же сами видите, что они жирнее молодых перепелок. Съешьте их обеих на здоровье!..

Но медведь и ухом не повел, как будто не слышал, что говорит ему злой карлик. Он только ударил его разок своей тяжелой лапой, и карлик больше не шевельнулся.

Девочки очень испугались и бросились было бежать, но медведь крикнул им вслед:

— Белоснежка, Краснозорька, не бойтесь, подождите! И я с вами!

Тут они узнали голос своего старого приятеля и остановились. Когда же медведь поравнялся с ними, толстая медвежья шкура вдруг свалилась с него, и они увидели перед собой прекрасного юношу, с ног до головы одетого в золото.

— Я королевич,— сказал юноша.— Этот злой карлик похитил мои сокровища, а меня самого превратил в медведя. Диким зверем должен я был скитаться по лесным дебрям до тех пор, пока его смерть не освободит меня. И вот наконец он наказан поделом, а я опять стал человеком. Но я никогда не забуду, как вы пожалели меня, когда я был еще в звериной шкуре. Больше мы с вами не расстанемся. Пусть Белоснежка станет моей женой, а Краснозорька — женой моего брата.

Так и случилось. Когда пришло время, королевич женился на Белоснежке, а его брат — на Краснозорьке.

Драгоценные сокровища, унесенные карликом в подземные пещеры, снова засверкали на солнце.

Добрая вдова еще долгие годы жила у своих дочерей спокойно и счастливо. Оба розовых куста она взяла с собою. Они росли под ее окном. И каждый год расцветали на них чудесные розы — белые и красные.

КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД

У одного короля была дочь, которая прославилась на весь свет своей красотой. И правда, хороша она была выше всякой меры, но зато и высокомерна, как никто. Никого из женихов не считала она достойным своей руки. Кто ни сватался к ней, все получали отказ да еще какое-нибудь злое словечко или насмешливое прозвище в придачу. Старый король все прощал своей единственной дочке, но под конец даже ему надоели ее прихоти и причуды.

Он велел устроить пышное празднество и созвать из дальних краев и соседних городов всех молодых людей, еще не потерявших надежду понравиться королевне и добиться ее благосклонности.

Съехалось немало женихов. Их построили в ряд, одного за другим, по старшинству рода и величине дохода. Сначала стояли короли и наследные принцы, потом — герцоги, потом — князья, графы, бароны и, наконец, простые дворяне.

После этого королевну повели вдоль ряда, чтобы она могла поглядеть на женихов и выбрать себе в мужья того, кто больше всех придется по сердцу.

Но и на этот раз никто не приглянулся королевне.

Один жених показался ей слишком толстым.

— Пивная бочка! — сказала она.

Другой — долговязым и долгоносым, как журавль на болоте.

— Журавлины долги ноги не найдут пути-дороги.

Третий ростом не вышел.

— От земли не видать — боюсь растоптать!

Четвертого она нашла слишком бледным.

— Белый, как смерть, тощий, как жердь!

Пятого — слишком румяным.

— Краснокожий, на рака похожий!..

Шестого — недостаточно стройным.

— Свежее дерево — за печкой сушено. Было сырое, стало сухое, было прямое, стало кривое!

Словом, всем досталось на орехи.

Но почему-то хуже всех пришлось молодому королю, который занимал в ряду женихов чуть ли не самое почетное место.

Уж в нем-то, кажется, не было ничего смешного. Всякой девушке пришелся бы он по вкусу, только не нашей королевне. Она, видите ли, разглядела, что бородка у него острее, чем следует, и слишком выдается вперед. И этого было довольно, чтоб потешаться над ним вовсю.

— Ах!— воскликнула она и засмеялась:— Посмотрите! Посмотрите! У него борода, словно клюв у дрозда! Король Дроздобород! Король Дроздобород!

А так как на свете немало охотников посмеяться над соседом, то словцо это тут же подхватили, и никто с той поры не называл иначе молодого короля, как король Дроздобород.

Но всякой потехе приходит конец.

Когда старый король, отец прекрасной королевны, увидел, что дочка его вовсе и не думает выбирать себе жениха, а только зря потешается над людьми, явившимися по его приглашению, он сильно разгневался и поклялся своей головой и короной, что выдаст ее замуж за первого попавшегося нищего, который постучится у ворот.

Прошло два дня. И вот под окнами дворца задребезжали струны, и какой-то бродячий музыкант затянул свою песенку. Пение стоило музыки, да и песня была из тех, что поются не ради веселья, а только для того, чтобы разжалобить слушателей и выпросить у них несколько грошей или кусок хлеба.

Но король прислушался и послал за музыкантом своих слуг.

— Впустите-ка его. Пусть войдет сюда!— сказал он.

Грязный, оборванный нищий робко вошел во дворец и пропел перед королем и королевной все, что знал и помнил. А потом низко поклонился и попросил милостиво наградить его не столько за умение, сколько за старание.

Король сказал:

— Какова работа, такова и плата. Мне так понравилось твое пенис, братец, что я решил выдать за тебя замуж родную дочь.

Услышав эти слова, королевна в ужасе упала перед отцом на колени, но король даже не поглядел на нее.

— Ничего не поделаешь! — сказал он.— Я поклялся своей головой и короной, что отдам тебя за первого попавшегося нищего, и я сдержу свою клятву!

Сколько ни плакала королевна, сколько ни молила — все было напрасно. Ее тут же обвенчали с нищим музыкантом.

А после венчания король сказал:

— Не пристало жене нищего жить в королевском дворце. Можешь отправляться со своим мужем на все четыре стороны.

Нищий музыкант, не говоря ни слова, взял за руку молодую жену и вывел за ворота. Первый раз в жизни королевна пешком вышла из отцовского дворца.

Опустив голову, не глядя по сторонам, шла она вслед за своим мужем по каменистой пыльной дороге.

Долго брели они так по равнинам и холмам, по дорогам, дорожкам и тропинкам. И наконец тропинка вывела их в сень густого леса.

Они сели отдохнуть под старым дубом, и королевна спросила, невольно залюбовавшись тенистыми деревьями:

— Чей это лес закрыл небесный свод?

— Владеет им король Дроздобород.
А если б ты была его женой —
То был бы твой.
Королевна задумалась, а потом вздохнула и прошептала:
— Ах, кабы мне дана была свобода,
Я стала бы женой Дроздобородa!
Музыкант искоса поглядел на нее, но ничего не сказал. Они пошли дальше.
И вот перед ними — полноводная река, а вдоль берега стелется свежий, сочный луг.
Королевна опять спросила:
— Чей этот луг над гладью синих вод?
— Владеет им король Дроздобород.
А если б ты была его женой —
То был бы твой.
— Ах,— сказала королевна, глотая слезы.—
Будь мне возвращена моя свобода,
Я стала бы женой Дроздобородa!
Музыкант нахмурился, покачал головой, но и тут ничего не сказал ей. И они опять пошли дальше.
Когда солнце стало опускаться за холмами, королевна и нищий музыкант подошли к стенам большого богатого города. Над золотыми тяжелыми воротами возвышалась круглая башня.
Королевна спросила:
— Чей это город с башней у ворот?

— Владеет им король Дроздобород.
А если б ты была его женой —
То был бы твой!

Тут королевна не выдержала. Она горько заплакала и воскликнула, заламывая руки:

— Вернись ко мне опять моя свобода —
Я стала бы женой Дроздобородa!..

Музыкант рассердился.

— Слушай-ка, голубушка! — сказал он.— Не больно-то мне по вкусу, что ты на каждом слове поминаешь другого и жалеешь, что не пошла за него замуж. А я-то, что же, недостаточно хорош для тебя?

Королевна притихла. Не обменявшись ни одним словом, они прошли через весь город и остановились на самой окраине, около маленького, вросшего в землю домика. Сердце дрогнуло в груди у королевны. Она поглядела на домик, на мужа и робко спросила:

— Чей это домик, старый и кривой?

— Он мой и твой! — ответил с гордостью музыкант и отворил покосившуюся дверь.— Здесь мы с тобою будем жить. Входи!

Ей пришлось наклониться, чтобы, переступая через порог, не удариться головой о низкую притолоку.

— А где же слуги? — спросила королевна, поглядев по сторонам.

— Какие там слуги! — ответил нищий.— Что понадобится, сделаешь сама. Вот разведи-ка огонек, поставь воду да приготовь мне чего-нибудь поесть. Я изрядно устал.

Но королевна не имела ни малейшего понятия о том, как разводят огонь и стряпают, и музыканту пришлось самому приложить ко всему руки, чтобы дело кое-как пошло на лад.

Наконец скудный ужин поспел. Они поели и легли отдохнуть.

А на другой день нищий ни свет ни заря поднял с постели бедную королевну:

— Вставай, хозяюшка, некогда нежиться! Никто за тебя работать не станет!

Так прожили они дня два, ни шатко ни валко, и мало-помалу все припасы бедного музыканта подошли к концу.

— Ну, жена,— сказал он,— хорошенького понемножку. Это безделье не доведет нас до добра. Мы с тобой только проедаемся, а зарабатывать ничего не зарабатываем. Начни-ка ты хоть корзинки плести, что ли... Прибыль от этого небольшая, да зато и труд не велик.

Он пошел в лес, нарезал ивняку и принес домой целую вязанку.

Королевна принялась плести корзины, но жесткие прутья

не слушались ее. Они не хотели ни сгибаться, ни переплетаться и только исцарапали да покололи ее белые ручки.

— Так! — сказал муж, поглядев на ее работу.— Вижу, что это дело не для таких белоручек, как ты. Садись-ка лучше прясть. Авось хоть на это у тебя хватит ума да уменья.

Она села за прялку, но грубая нитка врезалась в нежные пальцы, и кровь капала с них так же часто, как слезы из ее глаз.

— Чистое наказание с тобой! — сказал муж.— Ну посуди сама — на что ты годишься! Попробовать, что ли, торговать горшками да всякими там глиняными чашками-плошками? Будешь сидеть на рынке, моргать глазами и получать денежки.

«Ах,— подумала королевна,— что, если кто-нибудь из нашего королевства приедет в этот город, придет на площадь и увидит, что я сижу на рынке и торгую горшками! Как они будут смеяться надо мной!»

Но делать было нечего. Либо помирай с голоду, либо соглашайся на все. И королевна согласилась.

Сначала торговля пошла славно. Люди нарасхват брали горшки у прекрасной торговки и платили ей, не торгуясь, все, что она ни запрашивала. Мало того, иные давали ей деньги да еще в придачу только что купленные горшки.

Так жили они до тех пор, пока все чашки и плошки до последней не были распроданы. А потом муж снова закупил целый воз глиняной посуды. Королевна уселась на рыночной площади, возле дороги, расставила вокруг свой товар и приготовилась торговать.

Как вдруг, откуда ни возьмись, какой-то пьяный гусар на горячем коне вихрем вылетел из-за угла и пронесся прямо по горшкам, оставив за собою облако пыли да груду битых черепков.

Королевна залилась слезами.

— Ах, как мне достанется! — в страхе приговаривала она, перебирая остатки растоптанной посуды.— Ах, что теперь скажет мой муж!

Она побежала домой и, плача, рассказала ему о своем несчастье.

— Да кто же садится с глиняной посудой на рынке с краю, у проезжей дороги!— сказал муж.— Ну ладно! Полно реветь! Я отлично вижу, что ты не годишься ни для какой порядочной работы. Нынче я был в королевском замке и спросил там на кухне, не нужна ли им судомойка. Говорят — нужна. Собирайся-ка! Я отведу тебя в замок и пристрою к месту. Будешь, по крайней мере, сыта.

Так прекрасная королевна стала судомойкой. Она была теперь на посылках у повара и делала самую черную работу.

В глубокие карманы своего большого фартука она засунула по горшочку и складывала туда остатки кушаний, доставшиеся на ее долю. А вечером уносила эти горшочки домой, чтобы поужинать после работы.

В то самое время, когда королевна-судомойка чистила на кухне закопченные котлы и выгребала из очага золу, во дворце готовились отпраздновать большое событие — свадьбу молодого короля.

Настал наконец и торжественный день.

Окончив работу, королевна тихонько пробралась из кухни наверх и притаилась за дверью парадной залы, чтобы хоть издали полюбоваться на королевский праздник.

И вот зажглись тысячи свечей. Огни заиграли на золоте, серебре и драгоценных камнях, и гости — один нарядней другого — стали входить в королевские покои.

Королевна смотрела на них из своего угла, и чем дольше она смотрела, тем тяжелее становилось у нее на сердце.

«Я считала когда-то, что я лучше всех на свете, что я первая из первых,— думала она.— И вот теперь я — последняя из последних...»

Мимо нее вереницей проходили слуги, неся на вытянутых руках огромные блюда с дорогими кушаньями. А возвращаясь назад, то один, то другой бросал ей какой-нибудь оставшийся кусок — корку от пирога, крылышко птицы или рыбий хвост, и она ловила все эти хвосты, крылышки и корочки, чтобы припрятать их в свои горшочки, а потом унести домой.

Вдруг из залы вышел сам молодой король — весь в шелку и бархате, с золотой цепью на шее.

Увидев за дверью молодую, красивую женщину, он схватил ее за руку и потащил танцевать. Но она отбивалась от него изо всех сил, отворачивая голову и пряча глаза. Королевна так боялась, что он узнает ее! Ведь это был король Дроздобород — тот самый король Дроздобород, которого еще совсем недавно она высмеяла неизвестно за что и прогнала с позором.

Но не так-то легко было вырваться из его крепких рук. Король Дроздобород вывел королевну-судомойку на самую середину залы и пустился с ней в пляс.

И тут завязка ее фартука лопнула. Горшочки вывалились из карманов, ударились об пол и разлетелись на мелкие черепки. Брызнули во все стороны и первое и второе, и суп и жаркое, и косточки и корочки.

Казалось, стены королевского замка рухнут от смеха. Смеялись знатные гости, прибывшие на праздник, смеялись придворные дамы и кавалеры, смеялись юные пажи и седые советники, хохотали и слуги, сгибаясь в три погибели и хватаясь за бока.

Одной королевне было не до смеха. От стыда и унижения она готова была провалиться сквозь землю.

Закрыв лицо руками, выбежала она из залы и опрометью бросилась вниз по лестнице.

Но кто-то догнал ее, схватил за плечи и повернул к себе.

Королевна подняла голову, взглянула и увидела, что это опять был он — король Дроздобород!

Он ласково сказал ей:

— Не бойся! Разве ты не узнаешь меня? Ведь я тот самый бедный музыкант, который был с тобой в маленьком покосившемся домике на окраине города. И я тот самый гусар, который растоптал твои горшки на базаре. И тот осмеянный жених, которого ты обидела ни за что ни про что. Из любви к тебе я сменил мантию на нищенские лохмотья и провел тебя дорогой унижений, чтобы ты поняла, как горько человеку быть обиженным и осмеянным, чтобы сердце твое смягчилось и стало так же прекрасно, как и лицо.

Королевна горько заплакала.

— Ах, я так виновата, так виновата, что недостойна быть твоей женой...— прошептала она.

Но король не дал ей договорить.

— Полно! Все дурное осталось позади,— сказал он.— Давай же праздновать нашу свадьбу!

Придворные дамы нарядили молодую королевну в платье, расшитое алмазами и жемчугами, и повели в самую большую и великолепную залу дворца, где ее ждали знатные гости и среди них — старый король, ее отец.

Все поздравляли молодых и без конца желали им счастья и согласия.

Тут-то и началось настоящее веселье. Жаль только, нас с тобой там не было...

ЛЕНИВЫЙ ГЕЙНЦ

Гейнц был очень ленивый. Он каждый раз тяжко вздыхал, когда возвращался домой с работы. А всего и работы-то у него было — козу на лугу пасти.

— Вот уж тяжелое и утомительное дело — все лето, с весны до поздней осени, козу пасти! — говорил он.— Если бы хоть прилечь можно было да поспать, ну тогда еще туда-сюда. Так нет же, надо во все глаза глядеть, как бы она молодые деревца не объела да не забрела бы к кому-нибудь в сад, а то и вовсе не сбежала бы. Ну разве можно при такой работе жить спокойно и радостно!

Стал он подумывать, как бы ему от этой обузы избавиться. Долго не мог ничего придумать. И вдруг его словно осенило:

— Женюсь-ка я на Трине! У нее тоже коза есть. Вот она и будет обеих коз пасти. Кончится тогда мое мученье.

Пошел Гейнц к родителям Трины и попросил выдать за него их прилежную и скромную дочку. Родители не стали долго раздумывать и тут же согласились.

Женился Гейнц на Трине, и стала она пасти обеих коз. Для Гейнца настали красные деньки, он и отдыхал-то теперь только от лени.

Но Трина оказалась такой же ленивой, как и Гейнц.

— Милый Гейнц,— сказала она как-то,— зачем мы понапрасну портим жизнь да губим свою молодость? Отдадим-ка лучше наших коз соседу, а он даст нам за них пчелиный улей. От коз одно только беспокойство. Они каждое утро будят нас от сладкого сна. А улей мы поставим позади дома, на солнышке, и избавимся от всякой заботы. Пчел-то ведь ни стеречь, ни выгонять на пастбище не надо. Они сами найдут дорогу к дому и меду насбирают. А мы и пальчиком не шевельнем.

— Ты рассуждаешь, как умная женщина,— отвечал Гейнц,— так мы и сделаем. Мед куда сытней и вкусней, чем козье молоко, да и не портится он дольше.

Пошли они к соседу, и тот, конечно, очень охотно променял один улей на двух коз.

Пчелы неутомимо летали все лето, с раннего утра до позднего вечера, и к осени улей был полон прекрасного меда. Гейнц набрал его целый кувшин.

Кувшин этот они поставили в своей спальне на полку, но

все равно очень боялись, как бы мед не стащили, как бы мыши его не поели. Трина положила рядом с постелью здоровенную ореховую палку, чтобы гонять незваных гостей этой палкой и не вставать зря.

И вот однажды, когда на дворе уже давным-давно стоял белый день, а Гейнц все еще валялся на перине — отдыхал от сна,— он сказал жене:

— Знаю я, все женщины любят сладенького поесть. И ты небось лакомишься потихоньку медком. Вот я и подумал: лучше уж променять наш мед на гуся с гусятами, а то, пожалуй, ты весь его съешь.

— Ну что ж, я согласна,— сказала Трина.— Но мы сделаем это только тогда, когда у нас вырастет сынок. Пусть он и пасет их. Не самой же мне возиться с гусятами и портить свое здоровье!

— Как бы не так! — отвечал Гейнц.— Станет наш сынок гусей пасти! Знаешь, какие нынче дети — совсем от рук отбились. Они, видно, думают, что стали умнее родителей, и хотят все делать по-своему.

— Ух,— сказала Трина,— достанется же ему, если он не станет меня слушаться! Возьму я тогда палку да так его отделаю!

И чтобы показать, как это будет, она схватила свою ореховую палку, размахнулась да и стукнула прямо по кувшину с медом.

Кувшин ударился о стенку, потом упал на пол и разбился на мелкие кусочки. А прекрасный, сладкий мед весь растекся по полу.

— Вот тебе и гусь с гусятами! — сказал Гейнц.— Счастье еще, что кувшин мне на голову не упал. Мы должны радоваться, что все кончилось так благополучно.

Вдруг он заметил в одном из черепков немного меду и радостно воскликнул:

— Да тут и полакомиться кое-чем осталось! А потом и отдохнуть после этакого страха не мешает. Не беда, коли мы встанем чуточку попозднее: день-то ведь и так уж больно велик.

ТРИ СЧАСТЛИВЦА

У одного крестьянина было три сына. Как-то раз позвал он к себе всех троих и сказал:

— Я уже стар и решил, пока жив, поделить между вами наследство. Денег у меня нет, и потому я оставляю в наследство одному из вас петуха, другому — косу, а третьему — кошку. Вещи не очень-то ценные, но если распорядиться ими разумно,

и они могут принести большую пользу. Попробуйте-ка найти такую страну, где люди никогда не видали этих вещей, и тогда будете счастливы.

И вот после смерти отца пошел старший брат со своим петухом счастья искать. Но куда бы он ни приходил, петухи везде уже были известны. В городах он еще издали видел петухов на верхушках башен. Это были флюгера, они все время поворачивались по ветру. А в деревнях петухи так и заливались песнями во всех дворах. Никому эта птица не была в диковинку, никто на его петуха и глядеть не хотел.

Все же наконец старшему брату посчастливилось — он попал на остров, жители которого еще ни разу не видели петуха.

— Смотрите, какая чудесная птица! — сказал им старший брат.— На голове у нее красная корона, а на ногах шпоры. Она каждую ночь кричит три раза, и всегда в одно и то же время. Первый раз она кричит в два часа, второй раз — в четыре часа и третий раз — в шесть часов утра. А если она закричит днем, это значит, что скоро переменится погода.

Петух очень понравился всем жителям острова. Они не спали целую ночь и все слушали, как он звонко выкликал время в два, в четыре и в шесть часов. А утром они спросили, не продается ли птица и сколько она стоит.

— Дайте мне за нее столько золота, сколько может унести осел,— отвечал старший брат.

— Да он почти даром отдает такую драгоценную птицу!— воскликнули в один голос все жители острова.

И они купили петуха.

Когда старший брат вернулся домой, братья удивились, что он получил за петуха так много денег.

— Пойду-ка и я попытаю счастья,— сказал средний брат.— Может быть, мне тоже удастся выгодно сбыть свою косу,— и отправился в путь.

Но всюду, где он проходил, он видел у крестьян точно такие же косы, как у него.

Наконец и ему посчастливилось попасть на остров, где люди еще не видели косы. Когда им надо было убирать созревший хлеб, они подкатывали к полю пушки, стреляли, и пушечные ядра перешибали стебли колосьев. Это было очень неудобно, потому что ядра то пролетали мимо, то попадали по самым колоскам и портили много зерна. Да и грохоту было много от стрельбы.

Пришел средний брат к этим людям на поле и так быстро и бесшумно начал косить, что они рты разинули от удивления. Стали жители острова просить, чтобы он продал им косу.

— Дайте мне столько золота, сколько его может унести на себе лошадь,— сказал средний брат.

Получив деньги, он, довольный, вернулся домой.

Наконец отправился и третий брат со своей кошкой счастья искать.

Сначала у него все шло так же, как и у первых двух братьев. Куда бы он ни пришел, везде было множество кошек. Но вот и ему тоже посчастливилось: он приплыл к такому острову, где не было ни одной кошки. Зато мышей на этом острове развелось видимо-невидимо! Они бегали прямо по столам и скамейкам и совсем не боялись людей.

Все жители острова очень страдали от них, и даже сам король в своем дворце не мог спастись от мышей: мыши пищали по всем углам и сгрызали все, что им только попадалось.

Вот выпустил младший брат свою кошку, и она тут же принялась за охоту.

Быстрехонько уничтожила она всех мышей в двух больших залах дворца.

Король захотел купить кошку и дал за нее столько золота, сколько мог унести верблюд, так что третий брат привез домой денег больше всех.

А кошка в королевском дворце столько мышей переловила, что и не сосчитать. Она очень устала, у нее даже в горле пересохло, и захотелось пить. Подняла она кверху мордочку и замяукала: «Мяу, мяу!»

Услыхали король и его придворные этот странный крик, испугались и убежали из дворца.

Собрал король своих советников, и стали они думать, как бы им от кошки избавиться.

Наконец решили:

— Уж лучше мы будем страдать от мышей, чем жить с таким чудовищем и рисковать своей жизнью. К мышам-то мы уже привыкли.

И король послал к кошке слугу с приказом уйти из дворца.

— Если она откажется уйти, предупреди ее, что ей будет плохо! — сказал он слуге.

А кошка за то время, пока шел совет, еще больше пить захотела.

И когда слуга спросил ее, согласна ли она уйти по-хорошему, она в ответ опять промяукала:

«Мяу, мяу!»

Слуге показалось, что она говорит:

«Нет, нет!»

Он так и передал королю.

— Ну что ж,— сказал король,— не хочет по-хорошему уходить, придется насильно выгонять!

Он приказал выкатить во двор пушки и стрелять по дворцу.

Дворец загорелся.

Когда огонь дошел до той комнаты, где была кошка, она преспокойно выскочила из окна и убежала.

А по дворцу все палили и палили из пушек — до тех пор, пока от него не осталась лишь груда развалин.

ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА

Была у одной вдовы дочь, была у нее еще и падчерица. Падчерица прилежная, красивая, а дочка и лицом нехороша, и лентяйка страшная. Дочку свою вдова очень любила и все ей прощала, а падчерицу заставляла много работать и кормила очень плохо.

Каждое утро должна была падчерица садиться у колодца и прясть пряжу. И столько ей нужно было спрясть, что часто даже кровь выступала у нее на пальцах.

Однажды сидела она так, пряла и запачкала кровью веретено. Наклонилась девушка к колодцу, чтобы обмыть веретено, и вдруг выскользнуло у нее веретено из рук и упало в колодец.

Заплакала падчерица и побежала домой к мачехе рассказать о своей беде.

— Ты его уронила, ты его и доставай,— сказала мачеха сердито.— Да смотри, без веретена не возвращайся.

Пошла девушка обратно к колодцу и с горя взяла да и бросилась в воду. Бросилась в воду и сразу сознание потеряла.

А когда очнулась, увидела она, что лежит на зеленой лужайке, с неба солнце светит, а на лужайке цветы растут.

Пошла девушка по лужайке, смотрит: стоит на лужайке печь, а в печи хлебы пекутся. Хлебы крикнули ей:

— Ах, вынь нас, девушка, из печи поскорее! Ах, вынь поскорее! Мы уже спеклись! А не то мы скоро совсем сгорим!

Взяла девушка лопату и вынула хлебы из печи.

Потом пошла она дальше и пришла к яблоне. А на яблоне было много спелых яблок. Яблоня крикнула ей:

— Ах, потряси меня, девушка, потряси! Яблоки давно уже поспели!

Стала девушка трясти дерево. Яблоки дождем на землю посыпались. И до тех пор трясла она яблоню, пока не осталось на ней ни одного яблока.

Сложила девушка яблоки в кучу и пошла дальше. И вот наконец пришла она к избушке. В окно избушки выглянула старуха. Изо рта у нее торчали огромные белые зубы. Увидела девушка старуху, испугалась и хотела бежать, но старуха крикнула ей:

— Чего ты испугалась, милая? Оставайся-ка лучше у меня. Будешь хорошо работать, и тебе хорошо будет. Ты мне только по-

стель стели получше да перину и подушки взбивай посильнее, чтобы перья во все стороны летели. Когда от моей перины перья летят, на земле снег идет. Знаешь, кто я? Я — сама госпожа Метелица.

— Что же,— сказала девушка,— я согласна поступить к вам на службу.

Вот и осталась она работать у старухи. Девушка она была хорошая, примерная и делала все, что ей старуха приказывала.

Перину и подушки она так сильно взбивала, что перья, словно хлопья снега, летели во все стороны.

Хорошо жилось девушке у Метелицы. Никогда ее Метелица не ругала, а кормила всегда сытно и вкусно.

И все-таки скоро начала девушка скучать. Сначала она и сама понять не могла, отчего скучает,— ведь ей тут в тысячу раз лучше, чем дома, живется, а потом поняла, что скучает она именно по родному дому. Как там ни плохо было, а все-таки она очень к нему привыкла.

Вот раз и говорит девушка старухе:

— Я очень стосковалась по дому. Как мне у вас ни хорошо, а все-таки не могу я здесь больше оставаться. Мне очень хочется родных увидеть.

Выслушала ее Метелица и сказала:

— Мне нравится, что ты своих родных не забываешь. Ты хорошо у меня поработала. За это я тебе сама покажу дорогу домой.

Взяла она девушку за руку и привела к большим воротам. Ворота раскрылись, и когда девушка проходила под ними, посыпалось на нее сверху золото. Так и вышла она из ворот, вся золотом обсыпанная.

— Это тебе в награду за твое старание,— сказала Метелица и дала ей веретено, то самое, которое в колодец упало.

Потом ворота закрылись, и девушка снова очутилась наверху, на земле. Скоро пришла она к мачехиному дому. Вошла она в дом, а петушок, сидевший на колодце, в это время запел:

— Ку-ка-ре-ку, девушка пришла!
Много золота в дом принесла!

Увидели мачеха с дочкой, что принесла падчерица с собой много золота, и встретили ее ласково. Даже ругать не стали за долгую отлучку.

Рассказала им девушка обо всем, что с нею случилось, и захотелось мачехе, чтобы ее дочка тоже стала богатой, чтобы она тоже много золота в дом принесла.

Посадила она свою дочь прясть у колодца. Села ленивая дочка у колодца, но прясть не стала. Только расцарапала себе

палец терновником до крови, вымазала веретено кровью, бросила его в колодец и сама за ним в воду прыгнула.

И вот очутилась она на той же самой зеленой лужайке, где росли красивые цветы. Пошла она по тропинке и скоро пришла к печи, где пеклись хлебы.

— Ах,— крикнули ей хлебы,— вынь нас из печки! Вынь поскорее! Мы спеклись уже! Мы скоро сгорим!

— Как бы не так! — ответила лентяйка.— Стану я из-за вас пачкаться,— и пошла дальше.

Потом пришла она к яблоне, яблоня крикнула ей:

— Ах, потряси меня, девушка, потряси меня! Яблоки уже давно поспели!

— Как же, как же,— отвечала она,— того и гляди, если я начну тебя трясти, какое-нибудь яблоко мне на голову свалится да шишку набьет!

Наконец подошла лентяйка к дому госпожи Метелицы. Она совсем не испугалась Метелицы. Ведь сестра рассказала ей о больших зубах Метелицы и о том, что она совсем не страшная.

Вот и поступила лентяйка к Метелице на работу.

Первый день она еще кое-как старалась побороть свою лень, слушалась госпожу Метелицу, взбивала ей перину и подушки так, что перья летели во все стороны.

А на второй и на третий день стала ее одолевать лень. Утром нехотя поднималась она с кровати, постель своей хозяйки стлала плохо, а перину и подушки совсем перестала взбивать.

Надоело Метелице держать такую служанку, вот она и говорит ей:

— Уходи-ка ты обратно к себе домой!

Тут лентяйка обрадовалась.

«Ну,— думает,— сейчас на меня золото посыплется».

Подвела ее Метелица к большим воротам. Распахнулись ворота. Но когда выходила из них лентяйка, не золото на нее посыпалось, а опрокинулся котел со смолой.

— Вот тебе награда за твою работу,— сказала Метелица и захлопнула ворота.

Пришла лентяйка домой, а петушок, сидевший на колодце, увидел ее и закричал:

— Будут смеяться все на селе:
Входит девушка вся в смоле!

И так эта смола к ней крепко пристала, что осталась у нее на коже на всю жизнь.

ГОРШОК КАШИ

Жила-была одна девочка.

Пошла девочка в лес за ягодами и встретила там старушку.

— Здравствуй, девочка,— сказала ей старушка,— дай мне ягод, пожалуйста.

— На, бабушка,— говорит девочка.

Поела старушка ягод и сказала:

— Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. Стоит только сказать:

— Раз, два, три,
Горшочек, вари! —

и он начнет варить вкусную, сладкую кашу. А скажешь ему:

— Раз, два, три,
Больше не вари! —

и он перестанет варить.

— Спасибо, бабушка,— сказала девочка, взяла горшочек и пошла домой к матери.

Обрадовалась мать этому горшочку. Да и как не радоваться? Без труда и хлопот всегда на обед вкусная, сладкая каша готова.

Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек перед собой и говорит:

— Раз, два три,
Горшочек, вари!

Он и начал варить. Много каши наварил. Мать поела, сыта стала. А горшочек все варит и варит кашу. Как его остановишь?

Нужно было сказать:

— Раз, два, три,
Больше не вари! —

да мать забыла эти слова, а девочки дома не было. Горшочек варит и варит. Уж вся комната полна каши, уж и в прихожей каша, и на крыльце каша, и на улице каша, а он все варит и варит. Испугалась мать, побежала за девочкой, да не перебраться ей через дорогу — горячая каша рекой течет. Хорошо, что девочка недалеко от дома была. Увидела она, что на улице делается, и бегом побежала домой. Кое-как взобралась на крылечко, открыла дверь и крикнула:

— Раз, два, три,
Больше не вари!

И перестал горшочек варить кашу.

А наварил он ее столько, что тот, кому приходилось из деревни в город ехать, должен был себе в каше дорогу проедать.

Только никто на это не жаловался.

Очень уж была каша вкусная и сладкая.

ВЫГОДНОЕ ДЕЛО

Привел крестьянин на базар корову и продал ее там за семь талеров.

Продал корову, получил деньги и пошел обратно домой. Вот идет он мимо пруда и слышит — кричат в воде лягушки: «Ква, ква, ква, ква!»

«Вот глупые лягушки,— подумал крестьянин,— какую ерунду говорят. Семь талеров я за корову получил, а вовсе не два».

Подошел он к воде и крикнул лягушкам:

— Эй вы, лягушки, кому лучше знать: мне или вам, сколько я получил — семь талеров или два?

А лягушки все кричат: «Ква, ква, ква!»

— Ну вот, если не верите, смотрите — я их еще раз пересчитаю.

Вытащил он деньги из кармана и пересчитал все семь талеров.

А у лягушек, верно, свой счет был, и они опять стали кричать: «Ква, ква, ква, ква!»

— Ах, вот вы какие! — закричал крестьянин.— Все спорите да мне не верите! Так нате же, сами считайте!

Взял деньги и бросил их в воду.

Потом сел на берег и стал ждать, скоро ли лягушки деньги пересчитают и вернут ему.

Ждет, ждет, а лягушки по-прежнему кричат: «Ква, ква, ква, ква!» И денег не возвращают.

Рассердился тогда крестьянин и закричал:

— Ах вы, водошлепницы! Ах вы, толстоголовые да пучеглазые! Кричать вы умеете так громко, что от вашего крика в ушах звенит, а сами талеры сосчитать не умеете! Не думаете ли вы, пучеглазые, что я буду ждать здесь до вечера, когда вы там у себя со счетом справитесь?

А лягушки ему в ответ: «Ква, ква, ква, ква!»

Совсем рассердился на них крестьянин, плюнул со злости и пошел домой.

Прошло немного времени, и решил он продать вторую корову. Заколол ее и повез мясо на базар.

Подъезжает он к городу, а тут у самых ворот собак собралось видимо-невидимо. А впереди всех стоит огромная гончая

собака. Почуяла собака мясо, стала прыгать вокруг воза и лаять: «Дай, дай, дай!»

А крестьянин говорит ей:

— Ишь ты какая хитрая, недаром говоришь: «Дай, дай». Это ты мяса хочешь. Да я-то не такой глупый, чтобы его тебе отдать.

А собака опять лает: «Дай, дай, дай!»

— Ну ладно,— говорит крестьянин.— Ты только скажи мне, заплатить за мясо сумеешь или нет?

А собака опять лает: «Дай, дай, дай!»

— Ну что с тобой делать,— сказал он.— Знаю я, у кого ты служишь, оставлю тебе мясо. Только смотри: через два дня принеси мне за него деньги, а не то тебе плохо придется.

Свалил он все мясо с воза и поехал домой.

А собаки набросились на мясо и лают: «Дай, дай, дай!»

Услыхал крестьянин их лай и подумал: «Это они от большой собаки свою долю требуют. Да мне-то не все ли равно: платить ведь она должна».

Прошло два дня.

Проснулся крестьянин на третий день утром и думает: «Ну, сегодня я богатым стану, сегодня мне собака должна деньги принести».

Однако и день прошел, и вечер настал, а денег никто не принес.

— Вот ведь время какое настало,— говорит он,— ни на кого положиться нельзя. Пойду-ка я к хозяину этой собаки — городскому мяснику. Пускай он мне деньги за мясо отдаст.

Так он и сделал.

Пришел к мяснику и говорит:

— Эй, хозяин, отдавай мне деньги за мясо, которое я твоей собаке продал.

— Да ты что,— говорит мясник,— с ума сошел, что ли?

— Нет,— говорит крестьянин,— я в своем уме, плати деньги.

Тогда мясник разозлился, схватил палку и выгнал его вон из своего дома.

— Уходи,— говорит,— пока цел. А если еще раз сюда придешь, снова на своей спине палку почувствуешь.

Ушел крестьянин от мясника.

«Куда,— думает,— идти мне теперь жаловаться, кто мне поможет? Пойду-ка я в королевский дворец».

Так он и сделал.

Впустили его во дворец.

Вошел он в тронный зал, а там сидят на троне король и королевская дочка.

— На что жалуешься? — спросил его король.— Кто тебя обидел?

— Ах,— сказал крестьянин,— лягушки у меня деньги отняли, собаки — мясо, а мясник меня за это палкой побил.

Начал он им подробно рассказывать о своих несчастьях. А дочка королевская слушала его, слушала да вдруг не выдержала и расхохоталась.

Тут король говорит:

— Ни лягушек, ни собак я наказать не могу, а вот на дочке моей ты можешь жениться. Она ведь еще никогда не смеялась, и я обещал отдать ее в жены тому, кто первый ее рассмешит. Видишь, какой ты счастливый!

— Вот удружил,— говорит крестьянин.— Я совсем и жениться-то не хочу. У меня дома своя жена есть, на что мне твоя дочка. У меня дом маленький, не то что твой дворец, нам и двоим с женой тесно.

Тут король рассердился и закричал:

— Ты невежа и грубиян, вот ты кто!

— Что ж,— ответил ему крестьянин,— сам знаешь: на свинке не шелк, а щетинки.

— Ну ладно,— говорит король,— сейчас убирайся. Я тебе другую награду назначу. Дня через три приходи во дворец, тогда я тебе все пятьсот отсыплю сполна.

Пошел крестьянин из дворца, а у ворот остановил его солдат из королевской стражи и говорит:

— Ты рассмешил королевну, так уж, верно, за это получишь хорошую награду.

— Да,— сказал крестьянин,— неплохую. Мне будет за это пять сотен выплачено.

— Послушай,— говорит ему солдат,— куда тебе столько денег, дал бы ты мне немного!

— Ну что ж,— говорит крестьянин,— две сотни могу тебе уступить. Приходи через три дня к королю и скажи, чтобы он тебе их выплатил вместо меня.

А тут один торговец услыхал их разговор, подбежал к мужику и тоже стал его уговаривать. Чем, говорит, тебе три дня этих денег ждать, возьми у меня сейчас сто пятьдесят. А все остальное я сам у короля получу.

— Давай,— говорит крестьянин.— Мне деньги нужны.

Через три дня он опять пришел к королю.

— Снимайте с него платье,— говорит король,— он должен получить свои пять сотен.

— Нет,— говорит крестьянин,— ничего не выйдет. Не мои эти пять сотен. Я их уже твоему солдату да одному торговцу подарил.

И верно, приходят в это время солдат и торговец к королю и требуют: солдат двести, а торговец триста.

Так им и дали: солдату двести розог, а торговцу триста.

Солдата на королевской службе часто пороли, так что он особенно не горевал и вытерпел, а торговец все время кричал:

— Ой, больно! Ой, какие ваши деньги крепкие!

А крестьянин пошел домой и всю дорогу радовался, что так легко от королевской награды избавился.

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел, хороший осел, умный и сильный.

Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой и вот наконец состарился. Видит хозяин: ослабел осел, не годится больше для работы — и выгнал его из дому.

Испугался осел: «Куда я пойду, куда денусь? Стар я стал и слаб».

А потом подумал: «Пойду-ка я в немецкий город Бремен и стану там городским музыкантом».

Так и сделал. Пошел в немецкий город Бремен.

Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит он: лежит на дороге собака и тяжело дышит.

— Отчего ты так запыхалась, собака? — спрашивает осел.— Что с тобой?

— Устала,— говорит собака.— Бежала долго, вот и запыхалась.

— Что ж ты так бежала, собака? — спрашивает осел.

— Ах, осел,— говорит собака,— пожалей меня. Жила я у охотника, долго жила. По полям и болотам за дичью для него бегала, а теперь стара стала, и задумал мой хозяин меня убить. Вот я и убежала от него, а что дальше делать — не знаю.

— Пойдем со мной в город Бремен,— отвечает ей осел,— сделаемся там музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший — ты будешь петь и в барабан бить. А я буду на гитаре играть.

— Что ж,— говорит собака,— пойдем.

Пошли они вместе.

Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачьи.

Шли они, шли и вдруг видят: сидит на дороге кот, печальный сидит кот, невеселый.

— Что ты такой печальный? — спрашивает его осел.

— Что ты такой невеселый? — спрашивает собака.

— Ах,— говорит кот,— пожалейте вы меня, осел и собака. Жил я у своей хозяйки, долго жил,— ловил крыс и мышей. А теперь стар стал, зубы у меня притупились, и захотела моя

хозяйка меня в речке утопить. Я и убежал из дому. А что дальше делать — не знаю.

Осел ему отвечает:

— Пойдем с нами, кот, в город Бремен, станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на скрипке играть, собака — петь и на барабане играть, а я — петь и на гитаре играть.

— Что ж,— говорит кот,— пойдем.

Пошли они вместе.

Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачьи, кот идет, мяукает по-кошачьи.

Шли они, шли. Проходят мимо одного двора и видят: сидит на воротах петух и кричит во все горло: «Ку-ка-ре-ку!»

— Ты что, петушок, кричишь? — спрашивает его осел.

— Что с тобой случилось? — спрашивает его собака.

— Может, тебя кто обидел? — спрашивает кот.

— Ах,— говорит петух,— пожалейте вы меня, осел, собака и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут, и вот собираются мои хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?

Отвечает ему осел:

— Пойдем с нами, петух, в город Бремен, и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на балалайке играть, кот будет петь и на скрипке играть, собака — петь и на барабане играть, а я буду петь и на гитаре играть.

— Что ж,— говорит петух,— пойдем.

Пошли они вместе.

Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачьи, кот идет, мяукает по-кошачьи, петух идет, кукарекает.

Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и собака легли под большим дубом, кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам.

Смотрел, смотрел и увидел: светится невдалеке огонек.

— Огонек светится! — кричит петух.

Осел говорит:

— Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит.

Собака говорит:

— Может, в этом доме мясо есть. Я бы поела.

Кот говорит:

— Может, в этом доме молоко есть. Я бы попил.

А петух говорит:

— Может, в этом доме пшено есть. Я бы поклевал.

Встали они и пошли на огонек.

Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится.

Осел подошел к дому и заглянул в окошко.

— Что ты там видишь, осел? — спрашивает его петух.

— Вижу я,— отвечает осел,— сидят за столом разбойники, едят и пьют.

— Ох, как хочется есть! — сказала собака.

— Ох, как хочется пить! — сказал кот.

— Как бы нам разбойников из дома выгнать? — сказал петух.

Думали они, думали и придумали.

Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник, собака взобралась на спину ослу, кот вскочил на спину собаке, а петух взлетел на голову коту.

И тут они все разом закричали:

осел — по-ослиному,

собака — по-собачьи,

кот — по-кошачьи,

а петух закукарекал.

Закричали они и ввалились через окно в комнату.

Испугались разбойники и убежали в лес.

А осел, собака, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду.

Ели-ели, пили-пили,— наелись, напились и спать легли.

Осел растянулся во дворе на сене, собака улеглась перед дверью, кот свернулся клубком на печи, а петух взобрался на ворота.

Потушили они огонь в доме и заснули.

А разбойники сидят в лесу и смотрят из чащи на свой дом.

Видят: огонь в окошке погас, темно стало.

И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается.

Может, зря они так испугались.

Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печке два огонька горят.

«Наверно, это угли,— подумал разбойник,— вот я сейчас лучинку разожгу».

Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз.

Рассердился кот, вскочил, зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, да как зашипит.

Разбойник — в дверь.

А тут его собака за ногу схватила.

Разбойник — во двор.

А тут его осел копытом лягнул.

Разбойник — в ворота.

А с ворот петух как закричит:

— Кукареку!

Кинулся разбойник со всех ног в лес. Прибежал к своим товарищам и говорит:

— Беда! В нашем доме поселились страшные великаны. Один мне все лицо копьем исцарапал, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: «Держи вора!»

— Ох,— сказали разбойники,— надо нам отсюда поскорее уходить.

И ушли разбойники из этого леса навсегда.

А бременские музыканты — осел, собака, кот и петух — остались жить у них в доме да поживать.

СЕМЕРО ХРАБРЕЦОВ

Однажды встретились семеро храбрецов. Первого звали Шульц, второго Якли, третьего Марли, четвертого Ергли, пятого Михель, шестого Ганс, а седьмого Вейтли.

Задумали они вместе весь свет обойти, приключений поискать и свою храбрость показать.

А чтобы странствовать им было безопасней, заказали они себе у кузнеца копье. Одно копье на всех, но зато длинное и крепкое.

За это копье ухватились они все семеро. Впереди пошел самый смелый и самый сильный — Шульц. А за ним — Якли, а за Якли — Марли, а за Марли — Ергли, а за Ергли — Михель, а за Михелем — Ганс, а последним шел Вейтли.

Шли они день, шли они два. На третий день к вечеру, когда уже стемнело, дошли до большого луга. А на лугу сено лежало.

Пролетел тут мимо семерых храбрецов шмель. Пролетел он и зажужжал: «Ж-ж-ж!»

Храбрый Шульц очень испугался. Чуть копье не выронил.

— Ох! — говорит он товарищам.— Слышите, слышите? В барабаны бьют!

А Якли говорит:

— Ах-ах! Порохом пахнет. Сейчас из пушки стрелять будут.

Тогда Шульц совсем испугался, бросил копье и побежал. Побежал и нечаянно наступил на зубья граблей, которые лежали на траве. Грабли подскочили и стукнули его по лбу.

— Ай, ай! — закричал храбрый Шульц.— Сдаюсь, берите меня в плен!

А Якли, Марли, Ергли, Михель, Ганс и Вейтли бросили копье и закричали:

— Если ты сдаешься, так и мы сдаемся! Берите всех в плен!

Кричали, кричали, а потом видят — некому их в плен брать: одни они на лугу.

— Вот что,— говорит Шульц.— Не надо об этом случае рассказывать. А то над нами смеяться будут.

Так они и порешили молчать до тех пор, пока кто-нибудь из них случайно не проболтается.

А через несколько дней с ними новая беда приключилась, пострашнее первой.

Шли они через пашни, а там сидел заяц, грелся на солнышке и дремал.

Уши у него торчали вверх, а глаза были большие и словно стеклянные.

Испугались наши храбрецы, стали думать, как им быть: бежать или напасть на это чудовище?

— Братцы,— говорит храбрый Шульц,— нам предстоит опасный бой. Чем храбрее мы будем, тем скорее победим. Я так думаю.

— И я тоже,— сказал Якли.

— И я,— сказал Марли.

— И я,— сказал Ергли.

— И я,— сказал Михель.

— И я,— сказал Ганс.

— И я,— сказал Вейтли, который шел позади всех.

Взялись они вместе за копье и побежали на зайца. Пробежали немного и остановились.

А Вейтли, который бежал позади всех, закричал:

— Храбрый Шульц, смелее в бой!
Не пугайся, мы с тобой!

А Шульц закричал:

— Вейтли громче всех орет!
Вейтли пусть идет вперед!

Стали они спорить, кому вперед идти. А заяц все сидит на том же месте.

Наконец Шульц набрался храбрости и опять побежал, остальные храбрецы за ним.

— Ату его, ату-ту-ту! — закричал Шульц.

— Ату его, ату-ту-ту! — закричал Якли.

— Ату его, ату-ту-ту! — закричал Марли.

— Ату его, ату-ту-ту! — закричал Ергли.

— Ату его, ату-ту-ту! — закричал Михель.

— Ату его, ату-ту-ту! — закричал Ганс.

— Ату его, ату-ту-ту! — закричал громче всех Вейтли, который бежал позади всех.

Но тут заяц проснулся и ускакал.

— Вот,— говорит храбрый Шульц,— значит, мы опять маху дали. Это был заяц.

Пришли к большой реке,— лодки не видно, моста нет. Как же на тот берег перебраться? А на том берегу сидел рыбак с удочкой. Вот Шульц и кричит ему:

— Как бы нам на тот берег перебраться?

— Поищи броду! — отвечает рыбак.

А Шульцу показалось, что рыбак сказал: «Полезай в воду». Он и полез в воду. Прошел несколько шагов, а дальше идти не может. Река глубокая, и ноги в тине завязли. Шапка у него с головы слетела и по воде плывет, а на шапку лягушка села. Села и заквакала:

— Ква-ква!

Якли говорит:

— Это Шульц нас зовет. Пойдем за ним.

Вошли они все в воду и тоже в тине завязли. Стоят и кричат:

— Помогите — тонем! Помогите — тонем!

Кричали до тех пор, пока рыбак за ними с того берега на лодке не приехал и их из реки не вытащил.

Обогрелись храбрецы, обсушились и пошли по домам.

— Не буду я больше путешествовать,— сказал Шульц.

— Конечно, лучше дома сидеть,— сказал Якли.

— Дома тепло,— сказал Марли.

— Дома сухо,— сказал Ергли.

— Дома никто тебя не тронет,— сказал Михель.

— Дома можно на перине спать,— сказал Ганс.

— Дома я никого не боюсь,— сказал Вейтли, который теперь шел впереди всех.

Вот так храбрецы!

ХРАБРЫЙ ПОРТНОЙ

В одном немецком городе жил портной, звали его Ганс. Целый день сидел он на столе у окошка, поджав ноги, и шил. Куртки шил, штаны, жилетки шил.

Вот как-то сидит портной Ганс на столе, шьет и слышит — кричат на улице: «Варенье! Сливовое варенье! Кому варенья?»

«Варенье! — подумал портной.— Да еще сливовое. Это хорошо».

Подумал он так и закричал в окошко:

— Тетка, тетка, иди сюда! Дай-ка мне варенья!

Купил он этого варенья полбаночки, отрезал себе кусок хлеба, намазал его вареньем и стал жилетку дошивать.

«Вот,— думает,— дошью жилетку и варенья поем».

А в комнате у портного Ганса много-много мух было, прямо не сосчитать сколько. Может, тысяча, а может, и две тысячи. Почуяли мухи, что вареньем пахнет, и налетели на хлеб.

— Мухи, мухи,— говорит им портной,— вас-то кто сюда звал? Зачем на мое варенье налетели?

А мухи его не слушают и едят варенье. Тут портной рассердился, взял тряпку да как ударит тряпкой по мухам, так семь мух сразу и убил.

— Вот какой я храбрый! — сказал портной Ганс.— Об этом весь город должен узнать. Да что город? Пусть весь мир узнает! Скрою́-ка я себе новый пояс и вышью на нем большими буквами: «Когда злой бываю, семерых убиваю».

Так он и сделал. Потом надел на себя новый пояс, сунул в карман кусок творожного сыра на дорогу и вышел из дому.

У самых своих ворот увидел он птицу, запутавшуюся в кустарнике. Бьется птица, кричит, а выбраться не может. Поймал Ганс птицу и сунул ее в тот же карман, где у него творожный сыр лежал.

Шел он, шел и пришел наконец к высокой горе. Забрался на вершину и видит: сидит на горе великан и кругом посматривает.

— Здравствуй, приятель! — говорит ему портной Ганс.— Пойдем вместе со мною по свету странствовать.

— Какой ты мне приятель! — отвечает великан.— Ты слабенький, маленький, а я большой и сильный. Уходи, пока цел.

— А это ты видел? — говорит портной Ганс и показывает великану свой пояс. А на поясе у Ганса вышито крупными буквами: «Когда злой бываю, семерых убиваю».

Прочел великан и подумал: «Кто его знает, может, он и верно сильный человек. Надо его испытать».

Взял великан в руки камень и так крепко сжал его, что из камня потекла вода.

— А теперь ты попробуй это сделать,— сказал великан.

— Только и всего? — говорит портной.— Ну, для меня это дело пустое.

Вынул он потихоньку из кармана кусок творожного сыра и стиснул в кулаке. Из кулака вода так и полилась на землю.

Удивился великан такой силе, но решил испытать Ганса еще раз. Поднял с земли камень и швырнул его в небо. Так далеко закинул, что камня и видно не стало.

— Ну-ка,— говорит он портному,— попробуй и ты так.

— Высоко ты бросаешь,— сказал портной.— А все же твой камень упал на землю. Вот я брошу, так прямо на небо камень закину.

Сунул он руку в карман, выхватил птицу и швырнул ее вверх. Птица взвилась высоко-высоко в небо и улетела.

— Что, приятель, каково? — спрашивает портной Ганс.

— Неплохо,— говорит великан.— А вот посмотрим теперь, можешь ли ты дерево на плечах снести.

Подвел он портного к большому срубленному дубу и говорит:

— Если ты такой сильный, так помоги мне вынести это дерево из лесу.

— Ладно,— ответил портной, а про себя подумал: «Я слаб, да умен, а ты силен, да глуп. Я всегда тебя обмануть сумею».

И говорит великану:

— Ты себе на плечи только ствол взвали, а я понесу все ветви и сучья. Ведь они потяжелее будут.

Так они и сделали.

Великан взвалил себе на плечи ствол и понес. А портной вскочил на ветку и уселся на ней верхом. Тащит великан на себе все дерево, да еще и портного в придачу. А оглянуться назад не может. Ему ветви мешают. Едет портной Ганс верхом на ветке и песенку поет:

— Как пошли наши ребята
Из ворот на огород...

Долго тащил великан дерево, наконец устал и говорит:

— Слушай, портной, я сейчас дерево на землю сброшу. Устал я очень.

Тут портной соскочил с ветки и ухватился за дерево обеими руками, как будто он все время шел позади великана.

— Эх, ты,— сказал он великану,— такой большой, а силы, видать, у тебя мало.

Оставили они дерево и пошли дальше.

Шли, шли и пришли наконец в пещеру. Там у костра сидели пять великанов, и у каждого в руках было по жареному барану.

— Вот,— говорит великан, который привел Ганса,— тут мы и живем. Забирайся-ка на эту кровать, ложись и отдыхай.

Посмотрел портной на кровать и подумал: «Ну, эта кровать не по мне. Чересчур велика».

Подумал он так, нашел в пещере уголок потемнее и лег спать. А ночью великан проснулся, взял большой железный лом и ударил с размаху по кровати.

— Ну,— сказал великан своим товарищам,— теперь-то я избавился от этого силача.

Встали утром все шестеро великанов и пошли в лес дрова рубить.

А портной тоже встал, умылся, причесался и пошел за ними следом.

Увидели великаны в лесу Ганса и перепугались.

«Ну,— думают,— если мы даже ломом железным его не убили, так он теперь всех нас перебьет».

И разбежались великаны в разные стороны.

А портной посмеялся над ними и пошел куда глаза глядят.

Шел он, шел и пришел наконец к королевскому дворцу. Там у ворот он лег на зеленую траву и крепко заснул.

А пока он спал, увидели его королевские слуги, наклонились над ним и прочли у него на поясе надпись: «Когда злой бываю, семерых убиваю».

— Вот так силач к нам пришел,— сказали они.— Надо королю о нем доложить.

Побежали королевские слуги к своему королю и говорят:

— Лежит у ворот твоего дворца силач. Хорошо бы его на службу взять. Если война будет, он нам пригодится.

Король обрадовался.

— Верно,— говорит,— зовите его сюда.

Выспался портной, протер глаза и пошел служить королю.

Служит он день, служит другой. И стали королевские воины говорить друг другу:

— Чего нам хорошего ждать от этого силача? Ведь он, когда злой бывает, семерых убивает. Так у него и на поясе написано.

Пошли они к королю и сказали:

— Не хотим служить с ним вместе. Он всех нас перебьет, если рассердится. Отпусти нас со службы.

А король уже и сам жалел, что взял такого силача к себе на службу.

«А вдруг,— думал он,— этот силач и в самом деле рассердится, воинов моих перебьет, меня зарубит и сам на мое место сядет. Как бы от него избавиться?»

Позвал он портного Ганса и говорит:

— В моем королевстве в дремучем лесу живут два разбойника, и оба они такие силачи, что никто к ним близко подойти не смеет. Приказываю тебе найти их и одолеть. А в помощь тебе даю сотню всадников.

— Ладно,— сказал портной.— Я, когда злой бываю, семерых убиваю. А с двумя-то разбойниками я и шутя справлюсь.

И пошел он в лес. А сто королевских всадников за ним следом поскакали.

На опушке леса обернулся портной к всадникам и говорит:

— Вы, всадники, здесь подождите, а я с разбойниками один справлюсь.

Вошел он в чащу и стал оглядываться кругом. Видит: лежат под большим деревом два разбойника и так храпят во сне, что ветки над ними колышутся.

Портной недолго думая набрал полные карманы камней, залез на дерево и стал сверху бросать камни в одного разбойника. То в грудь попадет ему, то в лоб. А разбойник храпит и ничего не слышит.

И вдруг один камень стукнул разбойника по носу. Разбойник проснулся и толкает своего товарища в бок:

— Ты что меня бьешь?

— Да что ты,— говорит другой разбойник.— Я тебя не бью, тебе, видно, приснилось.

И опять они оба заснули.

Тут портной начал бросать камни в другого разбойника.

Тот тоже проснулся и стал кричать на товарища:

— Ты что в меня камни бросаешь? С ума сошел?

Да как ударит своего приятеля по лбу. А тот его. И стали они драться камнями, палками и кулаками.

И до тех пор дрались, пока друг друга насмерть не убили.

Тогда портной соскочил с дерева, вышел на опушку леса и говорит всадникам:

— Дело сделано. Оба убиты. Ну и злые же эти разбойники — и камнями они в меня швыряли, и кулаками на меня замахивались, да что им со мной поделать? Ведь я, когда злой бываю, семерых убиваю.

Въехали королевские всадники в лес и видят: верно, лежат на земле два разбойника, лежат и не шевелятся — оба убиты.

Вернулся портной Ганс во дворец к королю. А король хитрый был. Выслушал он Ганса и думает: «Ладно, с разбойниками ты справился, а вот сейчас я тебе такую задачу задам, что ты у меня в живых не останешься».

— Слушай,— говорит Гансу король,— поди-ка ты опять в лес, излови свирепого зверя-единорога.

— Изволь,— говорит портной Ганс,— это я могу. Ведь я, когда злой бываю, семерых убиваю. Так с одним-то единорогом живо справлюсь.

Взял он с собой топор и веревку и опять пошел в лес.

Недолго пришлось портному Гансу искать единорога: зверь сам к нему навстречу выскочил — страшный, шерсть дыбом, рог острый, как меч.

Кинулся на портного единорог и хотел было проткнуть его своим рогом, да портной за дерево спрятался. Единорог с разбегу так и всадил в дерево свой острый рог. Рванулся назад, а вытащить не может.

— Вот теперь-то ты от меня не уйдешь! — сказал портной, набросил единорогу на шею веревку, вырубил топором его рог из дерева и повел зверя на веревке к королю.

Привел единорога прямо в королевский дворец.

А единорог, как только увидел короля в золотой короне и красной мантии, засопел, захрипел. Глаза у него кровью налились, шерсть дыбом, рог как меч торчит. Испугался король и кинулся бежать. И все его воины за ним. Далеко убежал король, так далеко, что назад дороги найти не смог.

А портной стал себе спокойно жить да поживать, куртки, штаны и жилетки шить. Пояс свой он на стенку повесил и больше ни великанов, ни разбойников, ни единорогов на своем веку не видал.

ГЛУПЫЙ ГАНС

Пришел Ганс к матери.
— Прощай,— говорит,— матушка.
Мать спрашивает:
— Ты куда, Ганс, собрался?
Ганс отвечает:
— Иду Гретель проведать, матушка.
Мать говорит:
— Смотри же, будь умником.
Ганс отвечает:
— Буду, матушка.
Мать говорит:
— Прощай, Ганс.
Ганс отвечает:
— Прощай, матушка.
Пришел Ганс к Гретель:
— Здравствуй, Гретель.
— Здравствуй, Ганс. Что ты мне в подарок принес?

— Ничего не принес,— говорит Ганс.— Ты сама мне что-нибудь подари.

Гретель дала ему иголку.

Ганс говорит:

— Прощай, Гретель.

Гретель отвечает:

— Прощай, Ганс.

Взял Ганс у Гретель иголку, ткнул ее в сено на возу и пошел за возом домой.

Пришел Ганс домой.

— Добрый вечер, матушка,— говорит Ганс.

— Добрый вечер, Ганс,— отвечает матушка.— Где ты был?

— У Гретель я был,— говорит Ганс.

— Что ты ей подарил? — спрашивает матушка.

— Ничего не подарил, сам от нее в подарок иголку получил.

— А где же эта иголка, Ганс? — спрашивает матушка.

— В сено на возу воткнул.

— Глупо ты сделал, Ганс,— говорит матушка.— Тебе бы ее к рукаву приколоть.

— Ладно,— говорит Ганс,— в другой раз так и сделаю.

Собрался опять Ганс в дорогу.

Мать говорит:
— Ты куда, Ганс, собрался?
Ганс отвечает:
— Иду Гретель проведать, матушка.
Мать говорит:
— Смотри же, будь умником, Ганс.
Ганс отвечает:
— Буду, матушка.
Мать говорит:
— Прощай, Ганс.
Ганс отвечает:
— Прощай, матушка.
Пришел Ганс к Гретель:
— Здравствуй, Гретель.
— Здравствуй, Ганс. Что ты мне в подарок принес?
— Ничего не принес,— говорит Ганс.— Ты мне что-нибудь подари.
Гретель дала ему ножик.
Ганс говорит:
— Прощай, Гретель.
Гретель говорит:
— Прощай, Ганс.
Взял Ганс ножик, воткнул его в рукав и пошел домой.
Пришел Ганс домой, а ножика в рукаве нет. Только дырка в рукаве осталась.
— Добрый вечер, матушка,— говорит Ганс.
— Добрый вечер, Ганс,— отвечает матушка.— Где ты был?
— У Гретель я был,— говорит Ганс.
— Что ты ей подарил? — спрашивает матушка.
— Ничего не подарил. Сам от нее в подарок ножик получил.
— А где этот ножик, Ганс?
— Да я его в рукав воткнул, он и потерялся.
— Глупо ты сделал, Ганс,— говорит матушка.— Надо было тебе нож в сумку положить.
— Ладно,— говорит Ганс,— в другой раз так и сделаю.
Вот опять собрался Ганс в дорогу.
Мать говорит:
— Ты куда, Ганс, собрался?
Ганс отвечает:
— Иду Гретель проведать, матушка.
Мать говорит:
— Смотри же, будь умником.
Ганс отвечает:
— Буду, матушка.
Мать говорит:
— Прощай, Ганс.

Ганс отвечает:
— Прощай, матушка.
Пришел Ганс к Гретель:
— Здравствуй, Гретель.
— Здравствуй, Ганс. Что ты принес мне в подарок?
— Ничего не принес,— говорит Ганс.— Ты мне что-нибудь подари.
Гретель подарила ему маленькую козочку.
Ганс говорит:
— Прощай, Гретель.
Гретель говорит:
— Прощай, Ганс.
Взял Ганс козочку, засунул ее в сумку и пошел домой.
Пришел Ганс домой:
— Добрый вечер, матушка.
— Добрый вечер, Ганс. Где ты был?
— У Гретель был.
— Что ж ты ей подарил?
— Ничего не подарил. Сам от нее козочку получил.
— А где же твоя козочка, Ганс?
— А я ее в сумку засунул,— говорит Ганс.— Она там и задохнулась.
— Глупо ты сделал, Ганс,— говорит матушка.— Тебе бы козочку на веревку привязать.
— Ладно,— говорит Ганс,— в другой раз так и сделаю.
Собрался Ганс опять в дорогу.
Мать говорит:
— Ты куда, Ганс, собрался?
Ганс отвечает:
— Гретель проведать, матушка.
Мать говорит:
— Смотри же, будь умником.
Ганс отвечает:
— Буду, матушка.
Мать говорит:
— Прощай, Ганс.
Ганс отвечает:
— Прощай, матушка.
Пришел Ганс к Гретель:
— Здравствуй, Гретель.
— Здравствуй, Ганс. Что ты мне в подарок принес?
— Ничего не принес,— говорит Ганс.— Ты мне что-нибудь подари.
Гретель дала ему большой кусок свиного сала.
Ганс говорит:
— Прощай, Гретель.

Гретель говорит:

— Прощай, Ганс.

Взял Ганс кусок свиного сала, привязал его к веревке и потащил за собой. Приходит домой, а за ним только веревка тащится.

— Добрый вечер, матушка,— говорит Ганс.

— Добрый вечер, Ганс. Где ты был?

— У Гретель был.

— Что ты ей подарил? — спрашивает матушка.

— Ничего не подарил, сам от нее кусок свиного сала получил,— говорит Ганс.

— А где же свиное сало, Ганс?

— Привязал я его к веревке, потащил домой, да по дороге его, верно, собаки съели.

— Глупо ты сделал, Ганс,— говорит матушка.— Тебе надо бы сало на голове нести.

— Ладно,— говорит Ганс,— в другой раз так и сделаю.

И опять собрался Ганс в дорогу.

Мать говорит:

— Ты куда собрался, Ганс?

Ганс отвечает:

— Гретель проведать, матушка.

Мать говорит:

— Смотри, будь умником.

Ганс отвечает:

— Буду, матушка.

Мать говорит:

— Прощай, Ганс.

Ганс отвечает:

— Прощай, матушка.

Пришел Ганс к Гретель:

— Здравствуй, Гретель.

— Здравствуй, Ганс. Что ты мне принес в подарок?

— Ничего не принес,— говорит Ганс.— Ты мне что-нибудь подари.

Гретель подарила Гансу теленка.

Ганс говорит:

— Прощай, Гретель.

Гретель говорит:

— Прощай, Ганс.

Взял Ганс теленка, взвалил его себе на голову и понес.

Несет он теленка на голове, а теленок рвется, брыкается, не хочет у Ганса на голове сидеть. Сбросил Ганс теленка в канаву, а сам пришел домой весь в синяках и шишках.

— Добрый вечер, матушка,— говорит Ганс.

— Добрый вечер, Ганс,— говорит матушка.— Где ты был?

— У Гретель я был,— говорит Ганс.

— Что ты ей подарил? — спрашивает матушка.

— Ничего не подарил. Сам от нее теленка получил.

— А где же теленок, Ганс? — спрашивает матушка.

— Да я его на голове нес,— говорит Ганс,— а он дорогой брыкался-брыкался и столько мне шишек на лбу наставил, что я его в канаву бросил.

— Глупо ты сделал, Ганс,— говорит матушка.— Ты бы теленка хворостиной погнал, травой покормил и у нас на дворе к забору привязал.

— Ладно,— говорит Ганс,— в другой раз так и сделаю.

Вот опять собрался Ганс в дорогу.

Мать говорит:

— Ты куда, Ганс, собрался?

Ганс отвечает:

— К Гретель, матушка.

Мать говорит:

— Смотри, будь умником.

Ганс отвечает:

— Буду, матушка.

Мать говорит:

— Прощай, Ганс.

Ганс отвечает:

— Прощай, матушка.

Пришел Ганс к Гретель:

— Здравствуй, Гретель.

— Здравствуй, Ганс. Что ты принес мне в подарок?

— Ничего не принес,— говорит Ганс.— Ты мне что-нибудь подари.

Гретель говорит:

— Нечего мне тебе подарить, Ганс. Я сама с тобой пойду.

Взял Ганс длинную хворостину и погнал Гретель к себе домой.

А дома травы ей бросил и крепко-накрепко привязал ее к забору.

Приходит Ганс к матери.

— Добрый вечер, матушка,— говорит Ганс.

— Добрый вечер, Ганс,— говорит матушка.— Где ты был?

— У Гретель я был,— говорит Ганс.

— Что ты ей подарил? — спрашивает матушка.

— Ничего не подарил,— говорит Ганс.— Сюда ее привел.

— А где же она? — говорит матушка.

— Да я ее к забору во дворе привязал и травы ей подбросил.

Побежала мать во двор, а Гретель там уже нет, только веревка на заборе болтается. Убежала Гретель.

Так ее Ганс с тех пор и не видал.

ЗАЯЦ И ЕЖ

Этой сказке вы, пожалуй, не поверите.

Однако мой дедушка, рассказывая ее, всегда говорил:

— Не все в этой сказке выдумка. Есть в ней и правда. А то зачем бы стали люди ее рассказывать?

Начиналась эта сказка так.

Однажды в ясный солнечный денек стоял еж у дверей своего дома, сложив руки на животе, и напевал песенку.

Пел он свою песенку, пел и вдруг решил: «Пойду-ка я в поле, на свою брюкву посмотрю. Пока,— думаст,— моя жена-ежиха детей моет да одевает, я успею и в поле побывать, и домой вернуться».

Пошел еж и встретился по дороге с зайцем, который тоже шел в поле — на свою капусту поглядеть.

Увидел еж зайца, поклонился ему и говорит приветливо:

— Здравствуйте, уважаемый заяц. Как вы поживаете?

А заяц был очень важный и гордый. Вместо того чтобы вежливо поздороваться с ежиком, он только головой кивнул и сказал грубо:

— Что это ты, еж, в такую рань по полю рыщешь?

— Я погулять вышел,— говорит еж.

— Погулять? — спросил заяц насмешливо.— А по-моему, на таких коротеньких ножках далеко не уйдешь.

Обиделся еж на эти слова. Не любил он, когда говорили о его ногах, которые и вправду были коротенькие и кривые.

— Уж не думаешь ли ты,— спросил он зайца,— что твои заячьи ноги бегают быстрее и лучше?

— Разумеется,— говорит заяц.

— А не хочешь ли со мной вперегонки побежать? — спрашивает еж.

— С тобой вперегонки? — говорит заяц.— Не смеши меня, пожалуйста. Неужели же ты на своих кривых ногах меня обгонишь?

— А вот увидишь,— отвечает еж.— Увидишь, что обгоню.

— Ну, давай побежим,— говорит заяц.

— Подожди,— говорит еж.— Сначала я схожу домой, позавтракаю, а через полчаса вернусь на это место. Тогда и побежим. Ладно?

— Ладно,— сказал заяц.

Пошел еж домой. Идет и думает: «Заяц, конечно, быстрее меня бегает. Но он глуп, а я умен. Я его перехитрю».

Пришел еж домой и говорит жене:

— Жена, собирайся поскорее, придется тебе со мной в поле идти.

— А что случилось? — спрашивает ежиха.

— Да вот мы с зайцем поспорили, кто быстрее бегает — я или он. Я должен зайца обогнать, а ты мне в этом деле поможешь.

— Что ты — с ума сошел? — удивилась ежиха.— Куда же тебе с зайцем тягаться? Он тебя сразу обгонит.

— Не твое дело, жена,— сказал еж.— Собирайся, и идем. Я знаю, что делаю.

Ежиха пошла с ежом в поле.

По дороге еж говорит жене:

— Мы побежим с зайцем вот по этому длинному полю. Заяц побежит по одной борозде, а я по другой. А ты, жена, стань в конце поля у моей борозды. Как только подбежит к тебе заяц, ты крикни: «Я уже здесь!» Поняла?

— Поняла,— отвечает жена.

Так они и сделали. Отвел еж ежиху на конец своей борозды, а сам вернулся на то место, где оставил зайца.

— Ну что ж,— говорит заяц,— побежим?

— Побежим,— говорит еж.

Стали они каждый у начала своей борозды.

— Раз, два, три! — крикнул заяц.

И оба они побежали со всех ног.

Пробежал еж шага три-четыре, а потом тихонько вернулся на свое место и сел. Сидит и отдыхает. А заяц все бежит и бежит. Добежал до конца своей борозды, а тут ежиха ему и крикнула:

— Я уже здесь!

А надо сказать, что еж и ежиха очень похожи друг на друга. Удивился заяц, что еж его обогнал.

— Бежим теперь обратно,— говорит он ежихе.— Раз, два, три!

И помчался заяц назад быстрее прежнего. А ежиха осталась сидеть на своем месте.

Добежал заяц до начала борозды, а еж ему кричит:

— Я уже здесь!

Еще больше удивился заяц.

— Бежим еще раз,— говорит он ежу.

— Ладно,— отвечает еж.— Если хочешь, побежим еще раз.

Побежали еще и еще раз.

Так семьдесят три раза бегал заяц туда и обратно. А еж все его обгонял.

Прибежит заяц к началу борозды, а еж ему кричит: «Я уже здесь!»

Побежит заяц обратно к концу борозды, а ежиха ему кричит: «Я уже здесь!»

На семьдесят четвертый раз добежал заяц до середины поля и свалился на землю.

— Устал,— говорит,— не могу больше бегать.

— Вот видишь теперь,— говорит ему еж,— у кого ноги быстрее?

Ничего не ответил заяц и ушел с поля — еле плелся от усталости. А еж с ежихой позвали своих детей и пошли с ними гулять.

СОЛОМИНКА, УГОЛЬ И БОБ

Жила-была одна старушка, старая-престарая. Восемьдесят лет ей было. Пошла старушка на огород, собрала целое блюдо бобов и решила их сварить.

«Вот,— думает,— сварю бобы и пообедаю».

Растопила она плиту и, чтобы огонь разгорелся получше, подбросила в топку пучок соломы.

А потом стала сыпать в горшок бобы.

Вот тут-то все и началось.

Когда сыпала она бобы в горшок, один боб взял да и упал на пол.

Упал и лежит рядом с соломинкой.

И сюда же, на пол, выскочил из печки раскаленный уголек.

Вот соломинка и говорит:

— Милые друзья, откуда вы здесь?

— Я,— отвечает уголек,— из печки. Если бы,— говорит,— я оттуда не выскочил, я бы пропал, пришлось бы мне сгореть и рассыпаться золой.

А боб говорит:

— И мне посчастливилось, что я сюда упал. А то пришлось бы мне, как и другим моим приятелям-бобам, в кашу развариться.

А соломинка говорит:

— И я рада, что в печку не попала, а здесь лежу.

— Ну, а что же мы теперь будем делать? — спрашивает уголек.

— Я думаю,— сказал боб,— вот что. Пойдемте-ка белый свет посмотрим.

— Пойдем, пойдем,— сказали уголек и соломинка.

И пошли они вместе — боб, соломинка и уголек.

Долго шли они и пришли к ручейку.

Ручеек маленький, узенький, а перебраться через него трудно — моста нет. Как тут быть?

Тогда соломинка говорит:

— Мы вот как сделаем: я перекинусь с бережка на бережок, а вы по мне переправитесь, как по мосту.

Так они и сделали. Перекинулась соломинка с берега на

берег, и первым побежал по ней уголек. Бежит, как по мосту. Добежал он до середины, слышит — плещет внизу вода. Стало ему страшно, остановился он и кричит:

— Боюсь воды, боюсь воды!

А пока он стоял и кричал, соломинка от него загорелась, распалась на две части и полетела в ручей. Уголек тоже упал в воду. Он зашипел: «Тону, спасите!» — и пошел ко дну.

А боб осторожный был, он на берегу остался.

Остался на берегу и давай смеяться над угольком и соломинкой.

Смеялся он, смеялся — и лопнул от смеха.

Плохо бы ему пришлось, да, на его счастье, сидел на берегу бродячий портной.

Достал портной нитки и сшил обе половинки боба.

А так как у портного белых ниток с собой не было, он зашил боб черной ниткой. С тех пор у всех бобов черный шов посередине.

МОЛОДОЙ ВЕЛИКАН

У одного крестьянина был сын ростом с мизинчик. Проходил год за годом, а мальчик все не рос, все оставался такой же маленький.

Вот однажды собрался отец поле пахать, а сын и говорит ему:

— Отец, возьми меня с собой.

— Что ты,— говорит отец,— оставайся лучше дома: ты такой маленький, что, того и гляди, потеряешься.

А сын говорит:

— Нет, я не потеряюсь, возьми меня с собой.

Ну что тут делать? Сунул его отец к себе в карман и поехал на поле.

Вот приехали они на поле. Начал отец землю пахать, а сына посадил в свежевзрытую борозду.

Отец пашет, а сын по борозде гуляет.

Вдруг выходит из-за горы великан.

— Видишь великана? — говорит отец сыну.— Смотри далеко не уходи, а то увидит тебя великан и унесет с собою.

Так и случилось. Великан сделал два шага и очутился у той самой борозды, по которой гулял мальчик.

Наклонился к нему великан, поднял его осторожно двумя пальцами, осмотрел со всех сторон, потом сунул к себе в карман и ушел.

Отец так перепугался, что слова сказать не мог.

«Пропал,— думает,— мой сын, никогда мне больше его не увидеть. Зачем только я его с собой на поле взял!»

А великан унес мальчика к себе в горы и стал его там кормить горными орехами из своего сада. Кто этих орехов поест, тот великаном станет.

Два года жил мальчик у великана, два года щелкал орехи и с каждым днем становился все выше и сильнее.

И вот решил наконец великан испытать силу мальчика.

Повел он его в лес и сказал:

— А ну-ка, выломай себе дубинку!

Мальчик схватил обеими руками молодое деревцо и вырвал его с корнем.

— Нет,— говорит великан,— видно, мало ты силы набрался. Надо тебе еще у меня пожить, еще орехов поесть.

Опять прошли два года. И опять повел великан мальчика в лес.

На этот раз мальчик вырвал из земли старое дерево с толстыми и длинными корнями.

Но и тут великан сказал:

— Нет, мало еще в тебе силы, пойдем-ка домой.

И еще два года прожил мальчик у великана. Орехи ел, сил набирался. И так вырос за это время, что стал уже не мальчиком, а молодым великаном.

В третий раз пошли они в лес.

— Ну-ка, выломай себе хорошую дубинку,— сказал ему великан.

Мальчик поглядел кругом, выбрал самый толстый дуб и стал рвать его с корнем. По всему лесу треск пошел, когда он тащил дерево из земли.

— Вот теперь у тебя силы довольно,— сказал ему великан и повел его на то же самое поле, откуда он унес мальчика шесть лет тому назад.

А отец мальчика, как и шесть лет тому назад, пахал в это время землю.

Вдруг подходит к нему молодой великан и говорит:

— Здравствуй, отец. Видишь, каким молодцом я стал.

Отец испугался.

— Что ты,— говорит,— я тебя не знаю, иди своей дорогой.

А молодой великан говорит:

— Нет, я твой сын. Дай-ка мне попахать, я не хуже тебя справлюсь.

Не верит отец.

— Совсем ты не мой сын,— говорит.— Уходи отсюда, ты мне все поле истопчешь.

А великан стоит и не уходит.

Бросил тогда отец плуг, отошел в сторонку и сел на камень.

Взялся молодой великан за плуг, надавил на него слегка одной рукой, да так надавил, что весь плуг в землю вошел.

Рассердился отец.

— Эй,— кричит,— что ты делаешь? Разве так пашут? Ты плуг поломаешь!

Тогда молодой великан отпряг лошадей, а сам впрягся вместо них. А отцу только крикнул:

— Пойди-ка домой да вели матери еды побольше настряпать, пока я здесь поле пашу!

Отец махнул рукой и пошел домой.

Молодой великан быстро вспахал все поле. Потом впрягся в две бороны зараз и взборонил его. А когда кончил работу, вырвал на опушке леса два дуба с корнями, взвалил их себе на плечи и подвесил к верхушкам и корням плуг, лошадей и бороны.

Приходит он во двор к своим родителям. А мать смотрит на него и не узнает.

— Кто этот страшный великан, который несет наших лошадей? — спрашивает она у отца.

— Это наш сын,— отвечает ей отец.

— Что ты! — говорит мать.— Разве наш сын такой был? Наш был маленький.

А сын поставил лошадей в конюшню, дал им овса и сена, а плуг и бороны отнес в сарай. Потом говорит матери:

— Матушка, я проголодался. Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?

— Сейчас,— говорит мать,— принесу.

Принесла она два больших блюда картошки. Ей с отцом хватило бы этого на восемь дней, а сын проглотил всю картошку разом и еще попросил.

Дала ему мать полный котел свинины. Он и свинину съел, а все еще не сыт.

— Ну,— говорит он отцу и матери,— вижу я, не прокормить вам меня. Дайте мне железную палку, да такую крепкую, чтобы я ее о колено переломить не мог. И пойду я с этой палкой по свету странствовать.

Побежал отец к кузнецу и заказал ему железную палку потолще и потяжелее.

Выковал кузнец палку, да такую длинную и тяжелую, что ее насилу двое коней привезли.

Взял ее великан за оба конца, уперся в середину коленом — палка треснула и сломалась.

Тогда отец запряг две пары коней и поехал к кузнецу за новой палкой.

Еще толще была новая палка, еще тяжелее.

А великан и эту палку переломил о колено.

Запряг тут отец четыре пары коней. Насилу дотащили они до дому третью палку.

А сын взял ее, отломил у нее конец и говорит:

— Вижу, отец, не добыть тебе для меня хорошей палки. Придется мне без палки странствовать.

Попрощался он с родителями и ушел из дому.

Шел день, шел другой, а на третий день добрался до одной деревни, где стояла большая кузница.

Хозяин этой кузницы был богатый и скупой кузнец.

Вошел молодой великан в кузницу и говорит:

— Не надо ли тебе, хозяин, работника?

— Что ж,— говорит кузнец,— работник мне нужен. А много ли ты за работу просишь?

— Нет,— отвечает молодой великан.— Мне денег совсем не надо, я даром буду работать. Только каждые две недели буду тебе по два пинка давать. Согласен?

Обрадовался скупой кузнец. Думает — пинок не беда, были бы деньги целы.

— Согласен,— говорит,— оставайся у меня.

Вытащил кузнец из горна раскаленную полосу железа, а молодой великан как ударит по ней молотом — железо, будто стекло, разлетелось вдребезги, а наковальня в землю ушла.

Рассердился кузнец.

— Что это ты,— говорит,— разбойник, делаешь? Разве можно так бить? Говори, сколько хочешь за этот удар получить, да уходи отсюда поскорее.

— Денег твоих мне не нужно,— говорит молодой великан.— Расплачивайся, как обещал.

Дал он хозяину пинка, и полетел хозяин, как перышко,— через четыре стога сена перелетел.

А молодой великан нашел себе в кузнице толстую железную палку и отправился дальше.

Шел он, шел и пришел наконец к воротам богатой усадьбы.

На широком дворе стоял сам помещик.

Молодой великан поклонился ему и говорит:

— Не нужен ли тебе работник?

— Работник-то мне нужен,— отвечает помещик,— а много ли ты в год жалованья хочешь?

— Денег мне не нужно,— говорит молодой великан.— Вот поработаю я у тебя год и дам тебе три пинка, только и всего.

А помещик скупой был, еще скупее кузнеца. Обрадовался он, что денег великану платить не придется, и говорит:

— Я согласен.

На другой день послал помещик всех своих работников в лес за дровами.

Собрались работники, запрягли лошадей, а молодой великан еще спит.

Управляющий подошел к нему и кричит в самое ухо:

— Вставай скорее! Все уже в лес поехали!

— Ну и пускай едут,— говорит молодой великан.— А я посплю вволю и все равно раньше всех работу окончу.

Пошел управляющий к помещику и стал ему жаловаться:

— Спит великан и на работу идти не хочет. Что с ним делать?

Тут помещик сам пошел будить великана.

— Ты чего валяешься, лентяй, вставай скорее!

— Ладно! — отвечает молодой великан.— Сейчас встану!

Встал он, оделся не торопясь. Принес с чердака два мешка гороху, сварил себе огромный котел каши, съел всю кашу дочиста, а потом запряг коней и потихоньку поехал в лес.

Приехал в лес, вырвал из земли два огромных дерева, бросил на телегу и повернул лошадей домой.

Только въехал в ворота — навстречу ему помещик. Смотрит на него сердито и говорит:

— Ты чего так скоро вернулся, бездельник?

Молодой великан взял дерево одной рукой и показал его помещику.

— Что ты,— говорит,— зря ругаешься? Тут в одном дереве добрая сажень дров будет.

Помещик ему ничего не ответил, а дома сказал своей жене:

— Хороший нам работник попался. Хоть и спит дольше всех, да зато и работает больше всех.

Целый год прожил молодой великан у помещика, а когда кончился год, пришел к хозяину и говорит:

— Ну, хозяин, плати за работу — получай три пинка.

Испугался помещик, стал просить великана:

— Не давай ты мне пинков. Будь лучше вместо меня помещиком, а я твоим работником стану.

— Нет,— отвечает молодой великан.— Как уговорились, так и расплачивайся. Получай пинки.

Стал его помещик уговаривать:

— Поживи у меня, пожалуйста, еще две недели. Поработай еще немножко.

— Ну, две недели — срок небольшой,— говорит молодой великан.— Так и быть, поживу.

А помещик собрал всех своих соседей-помещиков, и стали они все вместе думать, как бы погубить молодого великана.

Думали они, думали и придумали.

— Прикажи,— говорят,— молодому великану колодец вычистить. А как спустится он туда, мы на него сверху жернов сбросим и убьем его.

Так и сделали.

Полез молодой великан в колодец, а помещики на него самый тяжелый мельничный жернов бросили.

«Ну,— думают помещики,— теперь-то мы убили великана, теперь-то мы от него избавились!»

А молодой великан кричит из колодца:

— Эй, вы, отгоните кур от колодца! Они там наверху роются, а на меня песочек сыплется!

Кончил великан работу и вылез из колодца с жерновом на шее.

— Смотрите-ка,— говорит,— какое у меня на шее ожерелье.

Снял он с себя жернов и подошел к помещику.

— Ну-ка,— говорит,— хозяин, плати сполна, получай пинки.

Ударил он его разок — и взлетел помещик под самые тучи.

А великан пошел к жене помещика.

— Дай-ка,— говорит,— я и тебе заодно пинка дам, чтобы мужу твоему одному не скучно было.

Помещица от пинка еще выше помещика взлетела. Она чуть-чуть полегче его была. Вот летают жена и муж под тучами.

Муж говорит:

— Жена, спускайся ко мне.

А жена отвечает:

— Нет, муж, ты ко мне поднимайся.

Муж говорит:

— Нет, ты спустись, я не могу к тебе подняться.

А жена отвечает:

— Нет, ты поднимись, я не могу к тебе спуститься!

Так они и до сих пор все летают и спорят.

А великан взял свою железную палку и пошел дальше бродить по свету.

МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ

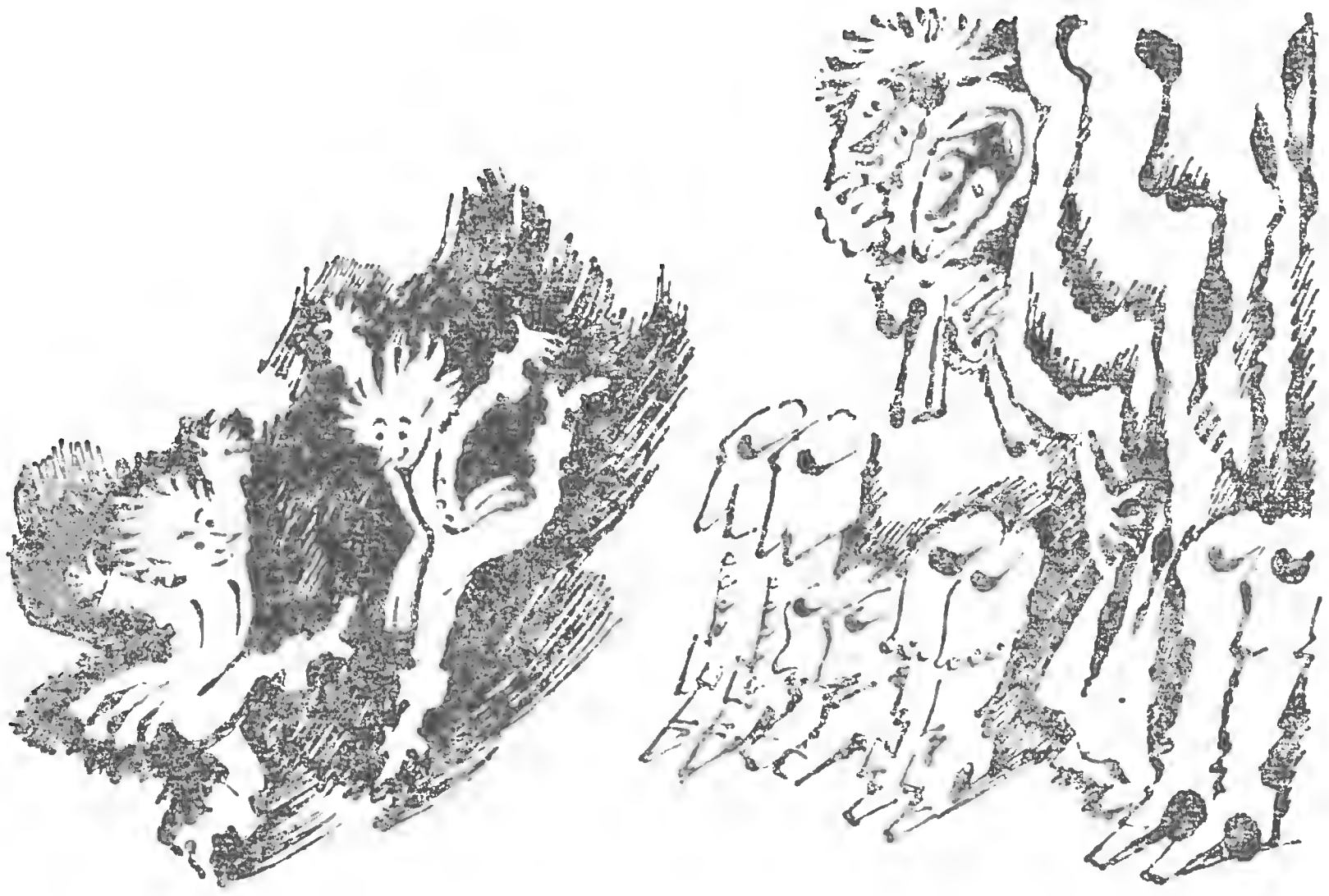
Жил на свете сапожник. Денег у него совсем не было. И так он наконец обеднел, что остался у него всего только один кусок кожи на пару сапог. Выкроил под вечер он из этой кожи заготовки для сапог и подумал: «Лягу я спать, а утром встану пораньше и сошью сапоги».

Так он и сделал: лег и уснул. А утром проснулся, умылся и хотел садиться за работу — сапоги шить. Только смотрит, а работа его уже готова — сшиты сапоги.

Очень удивился сапожник. Он не знал даже, как такой случай можно объяснить.

Взял он сапоги и стал их внимательно рассматривать.

Как хорошо были они сработаны! Ни одного стежка не было



неверного. Сразу было видно, что искусный мастер те сапоги шил. А скоро нашелся и покупатель на сапоги. И так они ему понравились, что заплатил он за них большие деньги. Смог теперь сапожник купить себе кожи на две пары сапог. Скроил он вечером две пары и думает: «Лягу я сейчас спать, а утром встану пораньше и начну шить».

Встал он утром, умылся, смотрит — готовы обе пары сапог.

Покупатели опять скоро нашлись. Очень им понравились сапоги. Заплатили они сапожнику большие деньги, и смог он купить себе кожи на целых четыре пары сапог.

На другое утро и эти четыре пары были готовы.

И так пошло с тех пор каждый день. Что скроит вечером сапожник, то к утру уже бывает сшито.

Кончилась у сапожника бедная да голодная жизнь.

Однажды вечером скроил он, как всегда, сапоги, но перед сном вдруг говорит своей жене:

— Слушай, жена, что если сегодня ночью не ложиться спать, а посмотреть, кто это нам сапоги шьет?

Жена обрадовалась и сказала:

— Конечно, не будем ложиться, давай посмотрим.

Зажгла жена свечку на столе, потом спрятались они в углу под платьями и стали ждать.

И вот ровно в полночь пришли в комнату маленькие человечки. Сели они за сапожный стол, взяли своими маленькими пальчиками накроенную кожу и принялись шить.

Они так проворно и быстро тыкали шилом, тачали да постукивали молотками, что сапожник от изумления не мог отвести от них глаз. Они работали до тех пор, пока не сшили все сапоги. А когда последняя пара была готова, спрыгнули человечки со стола и сразу исчезли.

Утром жена сказала мужу:

— Маленькие человечки сделали нас богатыми. Надо и нам сделать для них что-нибудь хорошее. Приходят человечки к нам по ночам, одежды на них нет, и, наверно, им очень холодно. Знаешь, что я придумала: сошью-ка я каждому из них курточку, рубашечку и штанишки. А ты им сапожки смастери.

Выслушал ее муж и говорит:

— Хорошо ты придумала. То-то они, верно, обрадуются!

И вот однажды вечером положили они свои подарки на стол вместо выкроенной кожи, а сами опять спрятались в углу и стали ждать маленьких человечков.

Ровно в полночь, как всегда, пришли в комнату маленькие человечки. Они прыгнули на стол и хотели сразу же приняться за работу. Только смотрят — на столе вместо скроенной кожи лежат красные рубашечки, костюмчики и стоят маленькие сапожки.

Сперва удивились маленькие человечки, а потом очень обрадовались.

Быстро-быстро надели они свои красивые костюмчики и сапожки, затанцевали и запели:

— Хороши у нас наряды,
Значит, не о чем тужить!
Мы нарядам нашим рады
И сапог не будем шить!

Долго пели, танцевали и прыгали маленькие человечки через стулья и скамейки. Потом они исчезли и больше уже не приходили шить сапоги. Но счастье и удача с тех пор не покидали сапожника во всю его долгую жизнь.

Вильгельм
ГАУФ
Сказки

КАЛИФ-АИСТ

I

Было это давным-давно, в незапамятные времена, в далеком городе Багдаде.

Однажды, в прекрасное послеобеденное время, калиф багдадский Хасид предавался отдыху. Он даже успел немного вздремнуть, утомленный дневным зноем, и теперь был в самом лучшем расположении духа. Полеживая на диване, он курил длинную трубку розового дерева и попивал кофе из чашечки китайского фарфора. Кофе был отличный, и после каждого глотка калиф от удовольствия поглаживал бороду. Словом, он был, что называется, наверху блаженства. В такой час ему что хочешь говори, о чем хочешь проси,— калиф все выслушает благосклонно и ни на что не разгневается.

Это отлично знал великий визирь калифа — Мансор. Поэтому он всегда являлся к калифу со всеми делами и просьбами в час его послеобеденного отдыха.

Так было и в тот день, о котором идет речь. Визирь пришел в свое урочное время, но только на этот раз он не стал просить за виновных, не стал жаловаться на правых, а низко поклонился калифу и молча отошел в сторону.

Калиф очень удивился. Он выпустил изо рта трубку и сказал:

— Чем озабочен ты, великий визирь? Почему на лице твоем такая печаль?

Визирь скрестил руки на груди и, низко поклонившись своему повелителю, сказал:

— Великий государь! Я не знаю, печально ли мое лицо или нет, но хорошо знаю, что у ворот дворца стоит бродячий торговец со всякими диковинными товарами. И еще знаю — что я не могу купить у него даже самую ничтожную безделицу, потому что мне нечем за нее заплатить.

Но недаром о калифе шла слава, что, пока в чашке у него есть кофе, а в трубке табак,— милости его нет конца.

Тотчас кликнул он раба и приказал привести торговца в свои покои.

Торговец пришел. Это был маленький тучный человечек, одетый в рваное тряпье, с тяжелым сундуком за плечами. Торговец поставил сундук у ног калифа и открыл крышку. Великий аллах! Чего только тут не было! И ожерелья из жемчуга, и самоцветные перстни, и оружие в серебряной оправе, и золотые кубки, и роговые гребни.

Калиф и визирь все пересмотрели, все перетрогали, а потом калиф выбрал себе и визирю по красивому кинжалу, а для жены визиря — гребень, разукрашенный сверкающими камнями.

О цене он даже не стал спрашивать, а просто велел насыпать торговцу полный кошель золота.

Торговец хотел было уже укладывать свои товары в сундук, как вдруг калиф увидел маленькую коробочку вроде табакерки.

— А это что такое? — спросил калиф.— Покажи-ка!

Почтительно склонившись, торговец протянул коробочку. С виду в ней не было ничего примечательного, но когда калиф открыл ее, он увидел, что коробочка до краев полна каким-то черным порошком, а сверху лежит пожелтевший клочок пергамента, весь испещренный непонятными знаками.

— Скажи мне, что тут написано? — спросил калиф.

— Да простит меня великий повелитель, но этого никто не знает,— сказал разносчик.— Много лет тому назад один богатый купец дал мне эту коробочку, а сам он нашел ее на улице священного города Мекки. Если господин пожелает, я готов отдать эту безделицу даром, ибо какая же ей цена, если никто не знает, на что она годится.

Калиф был большой любитель всяких редкостей, даже тех, в которых ничего не понимал. Поэтому он взял коробочку, а разносчику прибавил еще десять золотых монет и милостиво отпустил его на все четыре стороны.

Разносчик ушел, а калиф все еще вертел коробочку, словно пытался разгадать тайну, которая в ней была заключена.

— Однако неплохо бы узнать, что тут такое написано,— сказал он, рассматривая со всех концов клочок пергамента.— Не знаешь ли ты, визирь, кто бы мог прочесть эти письмена?

— Всемилостивейший господин и повелитель,— ответил визирь,— у Большой мечети живет человек, по имени Селим, по прозванию «Ученый». Он может прочесть всякую книгу. Прикажи позвать его,— может быть, он проникнет в тайну этих загадочных знаков.

Калиф так и сделал.

Само собой разумеется, что ему не пришлось долго ждать Селима,— если тебя требует к себе сам калиф, ноги несут тебя так же быстро, как птицу крылья!

И вот когда Селим явился, калиф сказал ему так:

— Послушай, Селим, люди говорят, что ты человек мудрый и ученый. Взгляни-ка на эту рукопись — может быть, ты разберешь, что тут написано. Если разберешь — получишь от меня новый халат, а не разберешь — получишь двенадцать палочных ударов по пяткам, за то что люди незаслуженно именуют тебя Ученым.

Селим поклонился и сказал:

— Да исполнится воля твоя, о господин!

Долго рассматривал он пожелтевший листок и вдруг воскликнул:

— Прикажи меня повесить, господин, если это не по-латыни!

— Что ж, по-латыни так по-латыни,— милостиво сказал калиф.— Говори, что там написано!

Слово за словом Селим стал переводить загадочные письмена.

И вот что он прочел:

— «О смертный, ты, который держишь в своих руках этот клочок пергамента, возблагодари аллаха за его милость. Ибо вместе с этим ничтожным клочком пергамента ты держишь в своих руках великую тайну: если ты понюхаешь черный порошок из этой коробочки и произнесешь священное слово: «Мутабор» — ты можешь обернуться всяким зверем лесным, всякой птицей небесной, всякой рыбой морской и будешь понимать язык всех живых существ на земле, в небе и в воде. Когда же ты пожелаешь снова принять образ человека, поклонись три раза на восток и снова произнеси священное слово: «Мутабор». Но горе тому, кто, приняв образ птицы или зверя, засмеется. Заветное слово навсегда исчезнет из его памяти, и уже никогда не стать ему снова человеком. Помни об этом, смертный! Горе тому, кто смеется не вовремя!»

Калиф был очень доволен. Он взял с ученого Селима клятву, что тот никому не откроет этой великой тайны, подарил ему халат не хуже своего и отпустил с миром домой.

Потом он сказал своему визирю:

— Вот это славная покупка! Теперь я буду знать, о чем говорят в моей стране даже птицы и звери. Ни один калиф, с тех пор как стоит Багдад, не мог похвалиться таким могуществом! Приходи ко мне завтра пораньше, пойдем вместе погулять, понюхаем чудесный порошок да послушаем, о чем говорят в воздухе и воде, в лесах и долинах.

II

На другой день, чуть только калиф успел одеться и позавтракать, как визирь, послушный его приказанию, уже явился, чтобы сопровождать своего повелителя во время прогулки.

Калиф сунул за пояс коробочку с волшебным порошком и без всякой свиты, вдвоем с визирем, вышел из дворца.

— Великий калиф! — сказал визирь.— Не пойти ли нам к прудам, что находятся на окраине города. Я не раз видел там аистов. Это презабавные птицы, у них всегда такой важный вид, как будто они первые советники вашей милости. К тому же они очень разговорчивы и постоянно о чем-то болтают на своем птичьем языке. Если ваша милость пожелает, мы можем испробовать наш чудодейственный порошок, послушаем, о чем говорят аисты, а заодно испытаем, каково быть птицей.

— Неплохо придумано,— согласился калиф, и они отправились в путь.

Не успели они подойти к пруду, как увидели аиста. Аист с важным видом расхаживал взад и вперед, выискивая лягушек, и то и дело пощелкивал клювом. Но что он хотел этим сказать, было совершенно непонятно.

Через минуту калиф и визирь увидели в небе другого аиста, который летел прямо на них.

— Клянусь бородой, всемилостивейший государь, что эти длинноногие заведут сейчас прелюбопытный разговор! — воскликнул визирь.— Не превратиться ли нам в аистов?

— Что ж, я не прочь,— согласился калиф.— Только сначала повторим, что надо сделать, чтобы снова стать людьми. Как там сказано? Надо поклониться три раза на восток, а потом произнести: «Мутабор». Тогда я снова стану калифом, а ты визирем. Но смотри не смейся, а то мы пропали.

В это время второй аист пролетел у них над самой головой и стал медленно спускаться на землю, громко курлыкая.

Калиф, которого уже разбирало любопытство, поспешно достал из-за пояса коробочку, взял оттуда щепотку порошка и передал коробочку визирю. Тот тоже отсыпал себе на понюшку. Потом оба зашмыгали носами и, когда втянули весь волшебный порошок, до последней пылинки, громко воскликнули: «Мутабор!»

И тотчас ноги у них стали тонкими, как спицы, длинными, как ходули, и вдобавок покрылись красной шершавой кожей. Их прекрасные туфли превратились в плоские когтистые лапы, руки стали крыльями, шеи вытянулись чуть не на аршин, а бороды, которыми они так гордились, исчезли совсем. Зато у них выросли предлинные твердые носы, на которые можно было опираться, как на палки.

Калиф от удивления просто глазам своим не верил. Наконец он пришел в себя и сказал:

— Ну и славный же у тебя нос, великий визирь! Клянусь бородой пророка, я в жизни своей не видывал ничего подобного. Для великого визиря такой нос — истинное украшение.

— Вы льстите мне, о мой властелин! — сказал визирь и поклонился. При этом он стукнулся носом о землю.— Но осмелюсь доложить, что и вы ничего не потеряли, превратившись в аиста. Я бы даже позволил себе сказать, что вы стали еще красивее. Но не угодно ли вам послушать, о чем говорят наши новые сородичи, если только правда, что мы теперь можем понимать их речь?

Тем временем второй аист уже спустился на землю. Он почистил клювом свои ноги, оправил перья и зашагал к аисту, который его поджидал.

Калиф и визирь кинулись к ним со всех ног. Правда, они еще не привыкли ходить на таких тонких и длинных ногах и поэтому все время спотыкались.

Они притаились в густых кустах и прислушались. Да! Все было так, как обещала таинственная надпись на пергаменте,— они понимали каждое слово, которое произносили птицы.

Это были две вежливые, хорошо воспитанные аистихи.

— Мое почтение, любезная Длинноножка! — сказала аистиха, которая только что прилетела.— Так рано, а вы уже на лугу!

— Мое почтение, душенька Щелкунья! Я прилетела пораньше, чтобы полакомиться свежими молодыми лягушатами. Может быть, вы составите мне компанию и скушаете лягушачью ножку или хвостик ящерицы?

— Покорнейше благодарю, но мне, право, не до завтрака. Сегодня у моего отца званый вечер, и мне придется танцевать перед гостями. Поэтому я хочу еще раз повторить некоторые сложные фигуры.

И молодая аистиха пошла прохаживаться по лужайке, выкидывая самые затейливые коленца. Под конец она поджала одну ногу и, стоя на другой, принялась раскланиваться вправо и влево, помахивая при этом крыльями.

Тут уж калиф и визирь не могли удержаться и, забыв обо всем на свете, громко расхохотались.

— Вот это потеха так потеха! — воскликнул калиф, переведя наконец дух.— Да, такое представление не увидишь ни за какие деньги! Жаль, что глупые птицы испугались нашего смеха, а то бы они, чего доброго, еще начали петь! Да ты погляди-ка, погляди на них!

Но визирь только махнул крылом.

— Великий государь,— сказал он.— Боюсь, что мы не к добру развеселились. Ведь нам нельзя было смеяться, пока мы обращены в птиц.

Тут и калиф забыл о веселье.

— Клянусь бородой пророка,— воскликнул он,— это будет плохая шутка, если мне придется навсегда остаться аистом!

А ну-ка припомни это дурацкое слово. Что-то оно вылетело у меня из головы.

— Мы должны трижды поклониться на восток и сказать: «Му... му... мутароб».

— Да, да, что-то в этом роде,— сказал калиф.

Они повернулись лицом к востоку и так усердно стали кланяться, что их длинные клювы, точно копья, вонзались в землю.

— Мутароб! — воскликнул калиф.

— Мутароб! — воскликнул визирь.

Но — горе! — сколько ни повторяли они это слово, они не могли снять с себя колдовство.

Они перепробовали все слова, какие только приходили им на ум: и муртубор, и мурбутор, и мурбурбур, и муртурбур, и мурбурут, и мутрубут,— но ничто не помогало. Заветное слово навсегда исчезло из их памяти, и они как были, так и остались аистами.

III

Печально бродили калиф и визирь по полям, не зная, как бы освободиться от колдовства. Они готовы были вылезти из кожи, чтобы вернуть себе человеческий вид, но все было напрасно — аистиная кожа вместе с перьями крепко приросла к ним. А вернуться в город, чтобы все видели их в таком наряде, было тоже невозможно. Да и кто бы поверил аисту, что он — сам великий багдадский калиф! И разве согласились бы жители города, чтобы ими правил какой-то длинноногий, длинноносый аист?

Так скитались они много дней, подбирая на земле зерна и вырывая корешки, чтобы не ослабеть от голода. Если бы они были настоящие аисты, они могли бы найти себе что-нибудь и повкуснее: лягушек и ящериц тут было сколько хочешь. Но калиф и визирь никак не могли примириться с мыслью, что болотные лягушки и скользкие ящерицы — это самое лучшее лакомство.

Одно было у них теперь утешение — они могли летать.

И они каждый день летали в Багдад и, стоя на крыше дворца, смотрели, что делается в городе.

А в городе царило смятение. Шутка сказать — средь бела дня исчез сам калиф и его первый визирь!

На четвертый день, когда калиф-аист и визирь-аист прилетели на багдадские крыши, они увидели торжественное шествие, которое медленно двигалось ко дворцу. Гремели барабаны, трубили трубы, пели флейты. Окруженный пышной свитой, на коне, убранном парчою, ехал какой-то человек в красном золототканом плаще.

— Да здравствует Мизра, властитель Багдада! — громко выкрикивали его приближенные.

Тут калиф и визирь переглянулись.

— Теперь я все понимаю! — печально воскликнул калиф.— Этот Мизра — сын моего заклятого врага, волшебника Кашнура. С тех пор как я прогнал Кашнура из дворца, он поклялся отомстить мне. Он и торговца подослал, чтобы избавиться от меня и посадить на мое место своего сына.

Калиф тяжело вздохнул и замолчал. Визирь тоже молчал повесив нос.

— Все-таки не следует терять надежду на спасение,— сказал наконец калиф.— Летим, мой верный друг, в священный город Мекку; может быть, молитва, вознесенная аллаху, снимет с нас колдовство.

Они поднялись с крыши и полетели на восток. Но летели они, как желторотые птенцы, хотя по виду были совсем взрослые аисты.

Часа через два визирь-аист совсем выбился из сил.

— О господин! — простонал он.— Я не могу угнаться за вами, вы летите чересчур быстро. Да к тому же становится темно, не мешало бы нам подумать о ночлеге.

Калиф не стал спорить со своим визирем, он и сам едва держался на крыльях.

К счастью, они увидели внизу, прямо под ними, какие-то развалины, где можно было укрыться на ночь. И они спустились на землю.

Все говорило о том, что когда-то на этом месте стоял богатый и пышный дворец. То там, то тут торчали обломки колонн, кое-где уцелели узорчатые своды.

Калиф и его визирь бродили среди развалин, выбирая место для ночлега, как вдруг визирь-аист остановился.

— Господин и повелитель,— прошептал он,— может быть, это и смешно, чтобы великий визирь, а тем более аист, боялся привидений, но, признаюсь, мне становится как-то не по себе. Не кажется ли вам, что тут кто-то стонет и вздыхает?

Калиф остановился и прислушался. И вот в тишине он ясно услышал жалобный плач и протяжные стоны.

Сердце у калифа застучало от страха. Но ведь теперь он был не только калифом, он был еще и аистом. А всем известно, что аист — птица любопытная. Поэтому калиф-аист недолго раздумывая ринулся туда, откуда слышались эти жалобные стоны.

Напрасно визирь пытался помешать ему. Он умолял калифа не подвергать себя новой опасности, он даже пустил в дело свой клюв и, точно щипцами, схватил калифа за крыло.

Однако калифа ничто не могло остановить, он рванулся впе-

ред и, оставив в клюве своего визиря несколько перьев, исчез в темноте.

Но недаром визирь называл себя правой рукой калифа. И хотя теперь у калифа не было ни правой руки, ни левой, визирь не покинул своего господина и бросился за ним.

Скоро они различили в темноте какую-то дверь.

Калиф толкнул дверь клювом и от удивления остановился на пороге. В тесной каморке, едва освещенной слабым светом, проникавшем сквозь крошечное решетчатое окошко, он увидел большую сову. Сова горько плакала. Из желтых круглых глаз ее текли крупные, как орех, слезы.

Но, увидев калифа и визиря, она радостно вскрикнула и захлопала крыльями — совсем так, как хлопают в ладоши дети.

Потом она вытерла одним крылом слезы и, к великому удивлению калифа и визиря, заговорила на чистейшем арабском языке:

— Добро пожаловать, дорогие аисты! Как я рада вас видеть! Мне давно предсказали, что аисты принесут мне счастье.

Калиф поклонился как можно почтительнее, красиво изогнув длинную шею, и сказал:

— Прелестная совушка! Если я правильно понял твои слова, мы с тобою товарищи по несчастью. Но — увы! — напрасно ты надеешься на нашу помощь. Выслушай нашу историю, и ты поймешь, что мы сами нуждаемся в помощи так же, как ты.

IV

Когда калиф кончил свою грустную повесть, сова тяжело вздохнула и сказала:

— Да, я вижу, что несчастье, постигшее вас, не меньше моего. Вы, наверное, догадываетесь, что и я от рождения не была совой. Отец мой — властитель Индии, а я его единственная дочь. Злой волшебник Кашнур, который заколдовал вас, заколдовал и меня. Однажды он явился к моему отцу сватать меня за своего сына Мизру. Мой отец очень рассердился и приказал выгнать Кашнура. И вот тогда Кашнур поклялся отомстить моему отцу. Он переоделся в платье раба и проник во дворец. Как раз в это время я гуляла в саду, и мне захотелось пить. Он поднес мне какое-то питье, и не успела я сделать глоток, как стала отвратительной птицей, которую вы видите перед собой. Я хотела закричать, позвать на помощь, но от страха лишилась голоса. А злой Кашнур схватил меня и принес сюда.

«Здесь,— сказал он,— ты будешь жить до конца твоих дней, чтобы пугать всех зверей и птиц своим уродством. Впрочем, ты можешь не терять надежды на спасение,— добавил он со

смехом.— Если кто-нибудь согласится взять тебя в жены — вот такую, какая ты сейчас, с круглыми злыми глазами, с крючковатым носом и острыми когтями,— ты снова станешь человеком. А пока явится к тебе избавитель, сиди здесь. Может быть, теперь ты пожалеешь о том, что твой отец не захотел выдать тебя за моего сына».

Тут сова замолчала и вытерла крылом слезы, которые снова закапали из ее глаз.

Калиф и визирь тоже молчали, не зная, как утешить несчастную принцессу.

— О, если бы мне снова стать человеком! — воскликнул калиф.— Я отомстил бы за тебя этому отвратительному колдуну! Но что я могу сделать теперь, когда я сам — жалкая, длинноногая птица! — И он горестно опустил свой клюв.

— Государь! — воскликнула сова.— Мне кажется, не все еще потеряно. Забытое слово ты можешь узнать! И когда колдовские чары будут сняты с тебя, может быть, тогда и я избавлюсь от беды. Ведь недаром же мне было предсказано, что аист принесет мне счастье.

— Говори же скорее! Что я должен сделать, чтобы избавиться от колдовства? — воскликнул калиф.

— Слушай меня,— сказала сова.— Раз в месяц колдун Кашнур и его сообщники собираются среди этих развалин в подземном зале. Там они пируют и похваляются друг перед другом своими проделками, открывают друг другу свои тайны. Я часто подслушивала их. Может быть, и теперь кто-нибудь из них обмолвится и назовет забытое тобой слово.

— О драгоценнейшая сова! — воскликнул калиф в нетерпении.— Скажи, когда они должны собраться и где этот подземный зал?

Сова помолчала с минуту и наконец сказала:

— Прости меня, великий калиф, но я отвечу тебе только при одном условии.

— Говори же, какое это условие! Мы готовы повиноваться тебе во всем!

И калиф вместе со своим визирем почтительно склонили перед ней головы.

Тогда сова сказала:

— Прости мою дерзость, господин, но мне тоже хотелось бы избавиться от колдовских чар, а это возможно только в том случае, если один из вас возьмет меня в жены...

Услышав об этом, аисты несколько растерялись.

Калиф сделал знак визирю, и они отошли в дальний угол.

— Послушай, визирь,— шепотом сказал калиф,— это предложение не из приятных, но, по-моему, тебе следует согласиться.

— Великий калиф! — прошептал визирь в ужасе.— Вы забываете, что у меня есть жена! К тому же я старик, а вы еще молоды. Нет, нет, это вы должны жениться на молодой прекрасной принцессе!

— Откуда же ты знаешь, что она молода и прекрасна? — печально сказал калиф. У него даже крылья опустились, так он был огорчен.

Долго еще они спорили и уговаривали друг друга. В конце концов визирь прямо заявил, что лучше навсегда останется аистом, чем женится на сове.

Что было делать калифу? В другое время он приказал бы казнить непокорного визиря, но сейчас об этом было бесполезно говорить.

Он набрался мужества и, подойдя к сове, сказал:

— Прекрасная принцесса, я принимаю твое условие.

Сова была вне себя от радости.

— Теперь я могу открыть вам, что волшебники соберутся сегодня. Вы пришли как раз вовремя! Идите за мной, я покажу вам дорогу.

И она повела их по темным переходам и полуразрушенным лестницам.

Вдруг навстречу им вырвался откуда-то яркий луч света.

Сова подвела их к пролому в стене и сказала:

— Стойте здесь. Но смотрите, будьте осторожны: если вас увидят — все пропало.

Калиф и визирь осторожно заглянули через пролом. Они увидели огромный зал, в котором было светло как днем от тысяч горевших светильников.

Посредине стоял круглый стол, а за столом сидели восемь колдунов. В одном из них калиф и визирь сразу узнали того торговца, который подсунул им волшебный порошок.

— Ну, сегодня мне есть чем похвастать! — говорил он, посмеиваясь.— На этот раз я провел самого калифа и его визиря. Клянусь аллахом, которым они клянутся, им никогда не вспомнить слова, которое может снять с них колдовские чары!

— А что же это за слово? — спросил один колдун.

— Слово очень трудное, его никто не может запомнить и никто не должен знать. Но вам я открою его — слово это: «Мутабор».

Аисты чуть не заплясали от радости, когда услышали заветное слово. Со всех ног — а ведь ноги у них были предлинные — они бросились бежать, так что бедная сова едва поспевала за ними на своих коротеньких ножках.

Выбравшись наверх, калиф с почтительным поклоном сказал ей:

— О мудрейшая сова, о добрейшая принцесса, тебе обязаны мы своим спасением. Позволь же мне в знак благодарности просить твоей руки.

Потом калиф и визирь поспешно повернулись к востоку и трижды поклонились солнцу, выходившему из-за гор.

— Мутабор! — воскликнули они в один голос.

И тотчас перья упали с них, клювы исчезли, и они стали такими, какими были всегда. От радости калиф даже забыл, что он хотел казнить визиря за непослушание. Повелитель и слуга бросились друг другу в объятия, они плакали и смеялись, дергали друг друга за бороды и ощупывали свои халаты, чтобы убедиться в том, что все это не сон.

Наконец они вспомнили про сову и обернулись.

И что же! Не сову с круглыми глазами и крючковатым носом увидели они, а красавицу принцессу.

Можете себе представить, как обрадовался калиф!

Если бы он был аистом, он, наверно, пошел бы сейчас плясать и выкидывать разные коленца, совсем так, как аистиха Щелкунья, виновница всех бед, которые свалились на его голову. Но теперь он был уже не аистом, а калифом, поэтому он приложил руку к сердцу и сказал:

— Все к лучшему! Если бы меня не постигло великое несчастье, я не узнал бы теперь величайшего счастья!

И вот, все трое, они отправились в Багдад. И хотя крыльев у них теперь не было, они летели как на крыльях.

Увидев калифа Хасида живым и невредимым, жители Багдада выбегали на улицу, чтобы приветствовать своего владыку.

Правда, и при Хасиде им жилось не очень сладко, но с тех пор, как во дворце поселился злой колдун, им стало еще хуже.

Хасид приказал тотчас схватить калифа-самозванца и его отца — колдуна Кашнура.

Старому колдуну отрубили голову, а его сына Мизру калиф заставил понюхать черного порошка, и тот превратился в аиста. Калиф посадил его в большую клетку и выставил клетку в сад.

Конечно, Мизра мог бы снова сделаться человеком — стоило ему только поклониться три раза на восток и сказать: «Мутабор». Уж конечно, он хорошо помнил это слово, потому что ему было не до смеха.

Но Мизра даже не пытался вернуть себе человеческий вид. Он рассудил — и, пожалуй, рассудил правильно,— что если уж сидишь в клетке, то лучше быть птицей.

Так кончилось это приключение.

Калиф Хасид еще долго и счастливо жил со своей красавицей женой.

По-прежнему каждый день, в час послеобеденного отдыха, к нему приходил великий визирь, и калиф всегда охотно с ним беседовал.

Они часто вспоминали минувшие дни, когда они были аистами, и калиф пресмешно изображал, как расхаживал визирь на длинных птичьих ногах, весь обросший перьями, с большущим клювом. Калиф становился на кончики пальцев, неуклюже переступал с ноги на ногу, взмахивал руками, словно он тонул, и изо всех сил вытягивал шею. А потом поворачивался лицом к востоку и, низко кланяясь, приговаривал:

— Муртурбур! Бурмуртур! Турбурмур!

Жена калифа и его дети смеялись до слез над этим представлением. Да и сам визирь не мог удержаться от смеха. Он, конечно, не смел передразнивать своего повелителя, но если калиф очень уж над ним потешался, визирь заводил разговор о том, как два аиста уговаривали друг друга жениться на страшной сове. Тут калиф сердито хмурил брови, и визирь сразу замолкал. Так не будем же больше вспоминать об этом и мы.

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

I

Всякий, кому случалось побывать в Шварцвальде (по-русски это слово значит «Чернолесье»), скажет вам, что никогда в другом месте не увидишь таких высоких и могучих елей, нигде больше не встретишь таких рослых и сильных людей. Кажется, будто самый воздух, пропитанный солнцем и смолой, сделал обитателей Шварцвальда непохожими на их соседей, жителей окрестных равнин. Даже одежда у них не такая, как у других. Особенно затейливо наряжаются обитатели гористой стороны Шварцвальда. Мужчины там носят черные камзолы, широкие, в мелкую складку шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими полями. И надо признаться, что наряд этот придает им весьма внушительный и почтенный вид.

Все жители здесь отличные мастера стекольного дела. Этим ремеслом занимались их отцы, деды и прадеды, и слава о шварцвальдских стеклодувах издавна идет по всему свету.

В другой стороне леса, ближе к реке, живут те же шварцвальдцы, но ремеслом они занимаются другим, и обычаи у них тоже другие. Все они, так же как их отцы, деды и прадеды,— лесорубы и плотогоны. На длинных плотах сплавляют они лес вниз по Неккару в Рейн, а по Рейну — до самого моря.

Они останавливаются в каждом прибрежном городе и ждут

покупателей, а самые толстые и длинные бревна гонят в Голландию, и голландцы строят из этого леса свои корабли.

Плотогоны привыкли к суровой, бродячей жизни. Поэтому и одежда у них совсем не похожа на одежду мастеров стекольного дела. Они носят куртки из темного холста и черные кожаные штаны на зеленых, шириною в ладонь, помочах. Из глубоких карманов их штанов всегда торчит медная линейка — знак их ремесла. Но больше всего они гордятся своими сапогами. Да и есть чем гордиться! Никто на свете не носит таких сапог. Их можно натянуть выше колен и ходить в них по воде, как посуху.

Еще недавно жители Шварцвальда верили в лесных духов. Теперь-то, конечно, все знают, что никаких духов нет, но от дедов к внукам перешло множество преданий о таинственных лесных жителях.

Рассказывают, что эти лесные духи носили платье точь-в-точь такое, как и люди, среди которых они жили.

Стеклянный Человечек — добрый друг людей — всегда являлся в широкополой островерхой шляпе, в черном камзоле и шароварах, а на ногах у него были красные чулочки и черные башмачки. Ростом он был с годовалого ребенка, но это нисколько не мешало его могуществу.

А Михель-Великан носил одежду сплавщиков, и те, кому случалось его видеть, уверяли, будто на сапоги его должно было пойти добрых полсотни телячьих кож и что взрослый человек мог бы спрятаться в этих сапожищах с головой. И все они клялись, что нисколько не преувеличивают.

С этими-то лесными духами пришлось как-то раз познакомиться одному шварцвальдскому парню.

О том, как это случилось и что произошло, вы сейчас узнаете.

Много лет тому назад жила в Шварцвальде бедная вдова, по имени и прозвищу Барбара Мунк.

Муж ее был угольщиком, а когда он умер, за это же ремесло пришлось взяться ее шестнадцатилетнему сыну Петеру. До сих пор он только смотрел, как его отец тушит уголь, а теперь ему самому довелось просиживать дни и ночи возле дымящейся угольной ямы, а потом колесить с тележкой по дорогам и улицам, предлагая у всех ворот свой черный товар и пугая ребятишек лицом и одёжой, потемневшими от угольной пыли.

Ремесло угольщика тем хорошо (или тем плохо), что оставляет много времени для размышлений.

И Петер Мунк, сидя в одиночестве у своего костра, так же как и многие другие угольщики, думал обо всем на свете. Лесная тишина, шелест ветра в верхушках деревьев, одинокий крик птицы — все наводило его на мысли о людях, которых он встре-

чал, странствуя со своей тележкой, о себе самом и о своей печальной судьбе.

«Что за жалкая участь быть черным, грязным угольщиком! — думал Петер.— То ли дело ремесло стекольщика, часовщика или башмачника! Даже музыкантов, которых нанимают играть на воскресных вечеринках, и тех почитают больше, чем нас!» Вот, случись, выйдет Петер Мунк в праздничный день на улицу — чисто умытый, в парадном отцовском кафтане с серебряными пуговицами, в новых красных чулках и в башмаках с пряжками... Всякий, увидев его издали, скажет: «Что за парень — молодец! Кто бы это был?» А подойдет ближе, только рукой махнет: «Ах, да ведь это всего-навсего Петер Мунк, угольщик!..» И пройдет мимо.

Но больше всего Петер Мунк завидовал плотогонам. Когда эти лесные великаны приходили к ним на праздник, навесив на себя с полпуда серебряных побрякушек — всяких там цепочек, пуговиц да пряжек,— и, широко расставив ноги, глядели на танцы, затягиваясь из аршинных кёльнских трубок, Петеру казалось, что нет на свете людей счастливее и почтеннее. Когда же эти счастливцы запускали в карман руку и целыми пригоршнями вытаскивали серебряные монеты, у Петера спирало дыхание, мутилось в голове, и он, печальный, возвращался в свою хижину. Он не мог видеть, как эти «дровяные господа» проигрывали за один вечер больше, чем он сам зарабатывал за целый год.

Но особенное восхищение и зависть вызывали в нем три плотогона: Иезекиил Толстый, Шлюркер Тощий и Вильм Красивый.

Иезекиил Толстый считался первым богачом в округе.

Везло ему необыкновенно. Он всегда продавал лес втридорога, денежки сами так и текли в его карманы.

Шлюркер Тощий был самым смелым человеком из всех, кого знал Петер. Никто не решался с ним спорить, а он не боялся спорить ни с кем. В харчевне он и ел-пил за троих, и место занимал на троих, но никто не смел сказать ему ни слова, когда он, растопырив локти, усаживался за стол или вытягивал вдоль скамьи свои длинные ноги,— уж очень много было у него денег.

Вильм Красивый был молодой, статный парень, лучший танцор среди плотогонов и стекольщиков. Еще совсем недавно он был таким же бедняком, как Петер, и служил в работниках у лесоторговцев. И вдруг ни с того ни с сего разбогател! Одни говорили, что он нашел в лесу под старой елью горшок серебра. Другие уверяли, что где-то на Рейне он подцепил багром мешок с золотом.

Так или иначе, он вдруг сделался богачом, и плотогоны стали почитать его, точно он был не простой плотогон, а принц.

Все трое — Иезекиил Толстый, Шлюркер Тощий и Вильм Красивый — были совсем не похожи друг на друга, но все трое одинаково любили деньги и были одинаково бессердечны к людям, у которых денег не было. И однако же, хоть за жадность их недолюбливали, за богатство им все прощали. Да и как не простить! Кто, кроме них, мог разбрасывать направо и налево звонкие талеры, словно деньги достаются им даром, как еловые шишки?!

«И откуда только они берут столько денег,— думал Петер, возвращаясь как-то с праздничной пирушки, где он не пил, не ел, а только смотрел, как ели и пили другие.— Ах, кабы мне хоть десятую долю того, что пропил и проиграл нынче Иезекиил Толстый!»

Петер перебирал в уме все известные ему способы разбогатеть, но не мог придумать ни одного мало-мальски верного.

Наконец он вспомнил рассказы о людях, которые будто бы получили целые горы золота от Михеля-Великана или от Стеклянного Человечка.

Еще когда был жив отец, у них в доме часто собирались бедняки соседи помечтать о богатстве, и не раз они поминали в разговоре маленького покровителя стеклодувов.

Петер даже припомнил стишки, которые нужно было сказать в чаще леса, у самой большой ели, для того чтобы вызвать Стеклянного Человечка:

— Под косматой елью,
В темном подземелье,
Где рождается родник,—
Меж корней живет старик.
Он неслыханно богат,
Он хранит заветный клад...[1]

Были в этих стишках еще две строчки, но, как Петер ни ломал голову, он ни за что не мог их припомнить.

Ему часто хотелось спросить у кого-нибудь из стариков, не помнят ли они конец этого заклинания, но не то стыд, не то боязнь выдать свои тайные мысли удерживали его.

— Да они, наверно, и не знают этих слов,— утешал он себя.— А если бы знали, то почему бы им самим не пойти в лес и не вызвать Стеклянного Человечка!..

В конце концов он решил завести об этом разговор со своей матерью — может, она припомнит что-нибудь.

Но если Петер забыл две последние строчки, то матушка его помнила только две первые.

---

[1] Стихи в этой сказке перевел С. Я. Маршак.

Зато он узнал от нее, что Стеклянный Человечек показывается только тем, кому посчастливилось родиться в воскресенье между двенадцатью и двумя часами пополудни.

— Если бы ты знал это заклинание от слова до слова, он непременно бы явился тебе,— сказала мать, вздыхая.— Ты ведь родился как раз в воскресенье, в самый полдень.

Услышав это, Петер совсем потерял голову.

«Будь что будет,— решил он,— а я должен попытать свое счастье».

И вот, распродав весь заготовленный для покупателей уголь, он надел отцовский праздничный камзол, новые красные чулки, новую воскресную шляпу, взял в руки палку и сказал матери:

— Мне нужно сходить в город. Говорят, скоро будет набор в солдаты, так вот, я думаю, следовало бы напомнить начальнику, что вы вдова и что я ваш единственный сын.

Мать похвалила его за благоразумие и пожелала счастливого пути. И Петер бодро зашагал по дороге, но только не в город, а прямо в лес. Он шел все выше и выше по склону горы, поросшей ельником, и наконец добрался до самой вершины.

Место было глухое, безлюдное. Нигде никакого жилья — ни избушки дровосеков, ни охотничьего шалаша.

Редко какой человек заглядывал сюда. Среди окрестных жителей поговаривали, что в этих местах нечисто, и всякий старался обойти Еловую гору стороной.

Здесь росли самые высокие, самые крепкие ели, (но давно уже не раздавался в этой глуши стук топора. Да и не мудрено! Стоило какому-нибудь дровосеку заглянуть сюда, как с ним непременно случалась беда: либо топор соскакивал с топорища и вонзался в ногу, либо подрубленное дерево падало так быстро, что человек не успевал отскочить и его зашибало насмерть, а плот, в который попадало хоть одно такое дерево, непременно шел ко дну вместе с плотогоном. Наконец люди совсем перестали тревожить этот лес, и он разросся так буйно и густо, что даже в полдень здесь было темно, как ночью.

Страшно стало Петеру, когда он вошел в чащу. Кругом было тихо — нигде ни звука. Он слышал только шорох собственных шагов. Казалось, даже птицы не залетают в этот густой лесной сумрак.

Около огромной ели, за которую голландские корабельщики не задумываясь дали бы не одну сотню гульденов, Петер остановился.

«Наверно, это самая большая ель на всем свете! — подумал он.— Стало быть, тут и живет Стеклянный Человечек».

Петер снял с головы свою праздничную шляпу, отвесил перед деревом глубокий поклон, откашлялся и робким голосом произнес:

— Добрый вечер, господин стекольный мастер!

Но никто не ответил ему.

«Может быть, все-таки лучше сначала сказать стишки»,— подумал Петер и, запинаясь на каждом слове, пробормотал:

— Под косматой елью,
В темном подземелье,
Где рождается родник,—
Меж корней живет старик.
Он неслыханно богат,
Он хранит заветный клад...

И тут — Петер едва мог поверить своим глазам! — из-за толстого ствола кто-то выглянул. Петер успел заметить островерхую шляпу, темный кафтанчик, ярко-красные чулочки... Чьи-то быстрые, зоркие глаза на мгновение встретились с глазами Петера.

Стеклянный Человечек! Это он! Это, конечно, он! Но под елкой уже никого не было. Петер чуть не заплакал от огорчения.

— Господин стекольный мастер! — закричал он.— Где же вы? Господин стекольный мастер! Если вы думаете, что я вас не видел, вы ошибаетесь. Я отлично видел, как вы выглянули из-за дерева.

И опять никто ему не ответил. Но Петеру показалось, что за елкою кто-то тихонько засмеялся.

— Погоди же! — крикнул Петер.— Я тебя поймаю! — И он одним прыжком очутился за деревом. Но Стеклянного Человечка там не было. Только маленькая пушистая белочка молнией взлетела вверх по стволу.

«Ах, если бы я знал стишки до конца,— с грустью подумал Петер,— Стеклянный Человечек, наверно, вышел бы ко мне. Недаром же я родился в воскресенье!..»

Наморщив лоб, нахмурив брови, он изо всех сил старался вспомнить забытые слова или даже придумать их, но у него ничего не выходило.

А в то время как он бормотал себе под нос слова заклинанья, белочка появилась на нижних ветвях елки, прямо у него над головой. Она охорашивалась, распушив свой рыжий хвост, и лукаво поглядывала на него, не то посмеиваясь над ним, не то желая его подзадорить.

И вдруг Петер увидел, что голова у белки вовсе не звериная, а человечья, только очень маленькая — не больше беличьей. А на голове — широкополая, островерхая шляпа. Петер так и замер от изумления. А белка уже снова была самой обыкновенной белкой, и только на задних лапках у нее были красные чулочки и черные башмачки.

Тут уж Петер не выдержал и со всех ног бросился бежать.

Он бежал не останавливаясь и только тогда перевел дух, когда услышал лай собак и завидел вдалеке дымок, поднимающийся над крышей какой-то хижины. Подойдя поближе, он понял, что со страху сбился с дороги и бежал не к дому, а прямо в противоположную сторону. Здесь жили дровосеки и плотогоны.

Хозяева хижины встретили Петера приветливо и, не спрашивая, как его зовут и откуда он, предложили ему ночлег, зажарили к ужину большого глухаря — это любимое кушанье местных жителей — и поднесли ему кружку яблочного вина.

После ужина хозяйка с дочерьми взяли прялки и подсели поближе к лучине. Ребятишки следили, чтоб она не погасла, и поливали ее душистой еловой смолой. Старик хозяин и старший его сын, покуривая свои длинные трубки, беседовали с гостем, а младшие сыновья принялись вырезывать из дерева ложки и вилки.

К вечеру в лесу разыгралась буря. Она выла за окнами, сгибая чуть не до земли столетние ели. То и дело слышались громовые удары и страшный треск, словно где-то невдалеке ломались и падали деревья.

— Да, никому бы я не посоветовал выходить в такую пору из дому,— сказал старый хозяин, вставая с места и покрепче закрывая дверь.— Кто выйдет, тому уж не вернуться. Нынче ночью Михель-Великан рубит лес для своего плота.

Петер сразу насторожился.

— А кто такой этот Михель? — спросил он у старика.

— Он хозяин этого леса,— сказал старик.— Вы, должно быть, нездешний, если ничего не слышали о нем. Ну хорошо, я расскажу вам, что знаю сам и что дошло до нас от наших отцов и дедов.

Старик уселся поудобнее, затянулся из своей трубки и начал:

— Лет сто назад — так, по крайней мере, рассказывал мой дед — не было на всей земле народа честнее шварцвальдцев. Теперь-то, когда на свете завелось столько денег, люди потеряли стыд и совесть. Про молодежь и говорить нечего,— у той только и дела, что плясать, ругаться да сорить деньгами. А прежде было не то. И виной всему — я это раньше говорил и теперь повторю, хотя бы он сам заглянул вот в это окошко,— виной всему Михель-Великан. От него все беды и пошли.

Так вот, значит, лет сто тому назад жил в этих местах богатый лесоторговец. Торговал он с далекими рейнскими городами, и дела у него шли как нельзя лучше, потому что он был человек честный и трудолюбивый.

И вот однажды приходит к нему наниматься какой-то парень. Никто его не знает, но видно, что здешний,— одет как шварцвальдец. А ростом чуть не на две головы выше всех. Наши парни и сами народ не мелкий, а этот настоящий великан.

Лесоторговец сразу сообразил, как выгодно держать такого дюжего работника. Он назначил ему хорошее жалованье, и Михель (так звали этого парня) остался у него.

Что и говорить, лесоторговец не прогадал.

Когда надо было рубить лес, Михель работал за троих. А когда пришлось перетаскивать бревна, за один конец бревна лесорубы брались вшестером, а другой конец поднимал Михель.

Послужив так с полгода, Михель явился к своему хозяину.

«Довольно, говорит, нарубил я деревьев. Теперь охота мне поглядеть, куда они идут. Отпусти-ка меня, хозяин, разок с плотами вниз по реке».

«Пусть будет по-твоему,— сказал хозяин.— Хоть на плотах нужна не столько сила, сколько ловкость, и в лесу ты бы мне больше пригодился, но я не хочу мешать тебе поглядеть на белый свет. Собирайся!»

Плот, на котором должен был отправиться Михель, был составлен из восьми звеньев отборного строевого леса. Когда плот был уже связан, Михель принес еще восемь бревен, да таких больших и толстых, каких никто никогда не видывал. И каждое бревно он нес на плече так легко, будто это было не бревно, а простой багор.

«Вот на них я и поплыву,— сказал Михель.— А ваши щепочки меня не выдержат».

И он стал вязать из своих огромных бревен новое звено.

Плот вышел такой ширины, что едва поместился между двумя берегами.

Все так и ахнули, увидев этакую махину, а хозяин Михеля потирал руки и уже прикидывал в уме, сколько денег можно будет выручить на этот раз от продажи леса.

На радостях он, говорят, хотел подарить Михелю пару самых лучших сапог, какие носят плотогоны, но Михель даже не поглядел на них и принес откуда-то из лесу свои собственные сапоги. Мой дедушка уверял, что каждый сапог был пуда в два весом и футов в пять высотой.

И вот все было готово. Плот двинулся.

До этой поры Михель, что ни день, удивлял лесорубов, теперь пришла очередь удивляться плотогонам.

Они-то думали, что их тяжелый плот будет еле-еле тянуться по течению. Ничуть не бывало — плот несся по реке, как парусная лодка.

Всем известно, что труднее всего приходится плотогонам на поворотах: плот надо удержать на середине реки, чтобы он не сел на мель. Но на этот раз никто и не замечал поворотов. Михель, чуть что, соскакивал в воду и одним толчком направлял плот то вправо, то влево, ловко огибая мели и подводные камни.

Если же впереди не было никаких излучин, он перебегал на переднее звено, с размаху втыкал свой огромный багор в дно, отталкивался — и плот летел с такой быстротой, что казалось, прибрежные холмы, деревья и села так и проносятся мимо.

Плотогоны и оглянуться не успели, как пришли в Кёльн, где обычно продавали свой лес. Но тут Михель сказал им:

«Ну и сметливые же вы купцы, как погляжу я на вас! Что ж вы думаете — здешним жителям самим нужно столько леса, сколько мы сплавляем из нашего Шварцвальда? Как бы не так! Они его скупают у вас за полцены, а потом перепродают втридорога голландцам. Давайте-ка мелкие бревна пустим в продажу здесь, а большие погоним дальше, в Голландию, да сами и сбудем тамошним корабельщикам. Что следует хозяину по здешним ценам, он получит сполна. А что мы выручим сверх того — то будет наше».

Долго уговаривать сплавщиков ему не пришлось. Все было сделано точь-в-точь по его слову.

Плотогоны погнали хозяйский товар в Роттердам и там продали его вчетверо дороже, чем им давали в Кёльне!

Четверть выручки Михель отложил для хозяина, а три четверти разделил между сплавщиками. А тем во всю жизнь не случалось видеть столько денег. Головы у парней закружились, и пошло у них такое веселье, пьянство, картежная игра! С ночи до утра и с утра до ночи... Словом, до тех пор не возвратились они домой, пока не пропили и не проиграли все до последней монетки.

С той поры голландские харчевни и кабаки стали казаться нашим парням сущим раем, а Михель-Великан (его стали после этого путешествия называть Михель-Голландец) сделался настоящим королем плотогонов.

Он не раз еще водил наших плотогонов туда же, в Голландию, и мало-помалу пьянство, игра, крепкие словечки — словом, всякая гадость перекочевала в эти края.

Хозяева долго ничего не знали о проделках плотогонов. А когда вся эта история вышла наконец наружу и стали допытываться, кто же тут главный зачинщик,— Михель-Голландец исчез. Искали его, искали — нет! Пропал — как в воду канул...

— Помер, может быть? — спросил Петер.

— Нет, знающие люди говорят, что он и до сих пор хозяйничает в нашем лесу. Говорят еще, что, если его как следует попросить, он всякому поможет разбогатеть. И помог уже кое-кому... Да только идет молва, что деньги он дает не даром, а требует за них кое-что подороже всяких денег... Ну и больше я об этом ничего не скажу. Кто знает, что в этих россказнях правда, что басня? Одно только, пожалуй, верно: в такие ночи,

как нынешняя, Михель-Голландец рубит и ломает старые ели там, на вершине горы, где никто не смеет рубить. Мой отец однажды сам видел, как он, словно тростинку, сломал ель в четыре обхвата. В чьи плоты потом идут эти ели, я не знаю. Но знаю, что на месте голландцев я бы платил за них не золотом, а картечью, потому что каждый корабль, в который попадает такое бревно, непременно идет ко дну. А все дело здесь, видите ли, в том, что стоит Михелю сломать на горе новую ель, как старое бревно, вытесанное из такой же горной ели, трескается или выскакивает из пазов, и корабль дает течь. Потому-то мы с вами так часто и слышим о кораблекрушениях. Поверьте моему слову: если бы не Михель, люди странствовали бы по воде, как посуху.

Старик замолчал и принялся выколачивать свою трубку.

— Да...— сказал он опять, вставая с места.— Вот что рассказывали наши деды о Михеле-Голландце... И как там ни поверни, а все беды у нас пошли от него. Богатство он дать, конечно, может, но не желал бы я оказаться в шкуре такого богача, будь это хоть сам Иезекиил Толстый, или Шлюркер Тощий, или Вильм Красивый.

Пока старик рассказывал, буря улеглась. Хозяева дали Петеру мешок с листьями вместо подушки, пожелали ему спокойной ночи, и все улеглись спать. Петер устроился на лавке под окном и скоро уснул.

Никогда еще угольщику Петеру Мунку не снились такие страшные сны, как в эту ночь.

То чудилось ему, будто Михель-Великан с треском распахивает окно и протягивает ему огромный мешок с золотыми. Михель трясет мешок прямо у него над головой, и золото звенит, звенит — звонко и заманчиво.

То ему чудилось, что Стеклянный Человечек верхом на большой зеленой бутыли разъезжает по всей комнате, и Петер опять слышит лукавый тихий смешок, который донесся до него утром из-за большой ели.

И всю ночь Петера тревожили, будто споря между собой, два голоса. Над левым ухом гудел хриплый густой голос:

— Золотом, золотом,
Чистым — без обмана,—
Полновесным золотом
Набивай карманы!
Не работай молотом,
Плугом и лопатой!
Кто владеет золотом,
Тот живет богато!..

А над правым ухом звенел тоненький голосок:

— Под косматой елью,
В темном подземелье,
Где рождается родник,—
Меж корней живет старик...

Ну, а как дальше, Петер? Как там дальше? Ах, глупый, глупый угольщик Петер Мунк! Не может вспомнить такие простые слова! А еще родился в воскресный день, ровно в полдень... Придумай только рифму к слову «воскресный», а уж остальные слова сами придут!..

Петер охал и стонал во сне, стараясь припомнить или придумать забытые строчки. Он метался, вертелся с боку на бок, но так как за всю свою жизнь не сочинил ни одного стишка, то и на этот раз ничего не выдумал.

Угольщик проснулся, едва только рассвело, уселся, скрестив руки на груди и принялся размышлять все о том же: какое слово идет в пару со словом «воскресный»?

Он стучал пальцами по лбу, тер себе затылок, но ничего не помогало.

И вдруг до него донеслись слова веселой песни. Под окном проходили трое парней и распевали во все горло:

— За рекою в деревушке...
Варят мед чудесный...
Разопьем с тобой по кружке
В первый день воскресный!..

Петера словно обожгло. Так вот она, эта рифма к слову «воскресный»! Да полно, так ли? Не ослышался ли он?

Петер вскочил и сломя голову кинулся догонять парней.

— Эй, приятели! Подождите! — кричал он.

Но парни даже не оглянулись.

Наконец Петер догнал их и схватил одного за руку.

— Повтори-ка, что ты пел! — закричал он, задыхаясь.

— Да тебе-то что за дело! — ответил парень.— Что хочу, то и пою. Пусти сейчас же мою руку, а не то...

— Нет, сперва скажи, что ты пел! — настаивал Петер и еще сильнее стиснул его руку.

Тут два других парня недолго думая накинулись с кулаками на бедного Петера и так отколотили его, что у бедняги искры из глаз посыпались.

— Вот тебе на закуску! — сказал один из них, награждая его увесистым тумаком.— Будешь помнить, каково задевать почтенных людей!..

— Еще бы не помнить! — сказал Петер, охая и потирая ушибленные места.— А теперь, раз уж вы меня все равно околотили, сделайте милость — спойте мне ту песню, которую вы только что пели.

Парни так и прыснули со смеху. Но потом все-таки спели ему песню от начала до конца.

После этого они по-приятельски распрощались с Петером и пошли своей дорогой.

А Петер вернулся в хижину дровосека, поблагодарил хозяев за приют и, взяв свою шляпу и палку, снова отправился на вершину горы.

Он шел и все время повторял про себя заветные слова «воскресный — чудесный, чудесный — воскресный»... И вдруг, сам не зная, как это случилось, прочитал весь стишок от первого до последнего слова.

Петер даже подпрыгнул от радости и подбросил вверх свою шляпу.

Шляпа взлетела и пропала в густых ветках ели. Петер поднял голову, высматривая, где она там зацепилась, да так и замер от страха.

Перед ним стоял огромный человек в одежде плотогона. На плече у него был багор длиной с хорошую мачту, а в руке он держал шляпу Петера.

Не говоря ни слова, великан бросил Петеру его шляпу и зашагал с ним рядом.

Петер робко, искоса поглядывал на своего страшного спутника. Он словно сердцем почуял, что это и есть Михель-Великан, о котором ему вчера столько рассказывали.

— Петер Мунк, что ты делаешь в моем лесу? — вдруг сказал великан громовым голосом.

У Петера затряслись колени.

— С добрым утром, хозяин,— сказал он, стараясь не показать виду, что боится.— Я иду лесом к себе домой — вот и все мое дело.

— Петер Мунк! — снова загремел великан и посмотрел на Петера так, что тот невольно зажмурился.— Разве эта дорога ведет к твоему дому? Ты меня обманываешь, Петер Мунк!

— Да, конечно, она ведет не совсем прямо к моему дому,— залепетал Петер,— но сегодня такой жаркий день... Вот я и подумал, что идти лесом хоть и дальше, да прохладнее!

— Не лги, угольщик Мунк! — крикнул Михель-Великан так громко, что с елок дождем посыпались на землю шишки.— А не то я одним щелчком вышибу из тебя дух!

Петер весь съежился и закрыл руками голову, ожидая страшного удара.

Но Михель-Великан не ударил его. Он только насмешливо поглядел на Петера и расхохотался.

— Эх ты дурак! — сказал он.— Нашел, к кому на поклон ходить!.. Думаешь, я не видел, как ты распинался перед этим жалким старикашкой, перед этим стеклянным пузырьком. Счастье твое, что ты не знал до конца его дурацкого заклинания! Он скряга, дарит мало, а если и подарит что-нибудь, так ты жизни рад не будешь. Жаль мне тебя, Петер, от души жаль! Такой славный, красивый парень мог бы далеко пойти, а ты сидишь возле своей дымной ямы да угли жжешь. Другие не задумываясь швыряют направо и налево талеры и дукаты, а ты боишься истратить медный грош... Жалкая жизнь!

— Что правда, то правда. Жизнь невеселая.

— Вот то-то же!..— сказал великан Михель.— Ну да мне не впервой выручать вашего брата. Говори попросту, сколько сот талеров нужно тебе для начала?

Он похлопал себя по карману, и деньги забренчали там так же звонко, как то золото, которое приснилось Петеру ночью.

Но сейчас этот звон почему-то не показался Петеру заманчивым. Сердце его испуганно сжалось. Он вспомнил слова старика о страшной расплате, которую требует Михель за свою помощь.

— Благодарю вас, сударь,— сказал он,— но я не желаю иметь с вами дело. Я знаю, кто вы такой!

И с этими словами он бросился бежать что было мочи.

Но Михель-Великан не отставал от него. Он шагал рядом с ним огромными шагами и глухо бормотал:

— Ты еще раскаешься, Петер Мунк! Я по твоим глазам вижу, что раскаешься... На лбу у тебя это написано. Да не беги же так быстро, послушай-ка, что я тебе скажу!.. А то будет поздно... Видишь вон ту канаву? Это уже конец моих владений...

Услышав эти слова, Петер бросился бежать еще быстрее. Но уйти от Михеля было не так-то просто. Десять шагов Петера были короче, чем один шаг Михеля. Добежав почти до самой канавы, Петер оглянулся и чуть не вскрикнул — он увидел, что Михель уже занес над его головой свой огромный багор.

Петер собрал последние силы и одним прыжком перескочил через канаву.

Михель остался на той стороне.

Страшно ругаясь, он размахнулся и швырнул Петеру вслед тяжелый багор. Но гладкое, с виду крепкое, как железо, дерево разлетелось в щепки, словно ударилось о какую-то невидимую каменную стену. И только одна длинная щепка перелетела через канаву и упала возле ног Петера.

— Что, приятель, промахнулся? — закричал Петер и схватил щепку, чтобы запустить ею в Михеля-Великана.

Но в ту же минуту он почувствовал, что дерево ожило у него в руках.

Это была уже не щепка, а скользкая ядовитая змея.

Он хотел было отшвырнуть ее, но она успела крепко обвиться вокруг его руки и, раскачиваясь из стороны в сторону, все ближе и ближе придвигала свою страшную узкую голову к его лицу.

И вдруг в воздухе прошумели большие крылья.

Огромный глухарь с лёта ударил змею своим крепким клювом, схватил ее и взвился в вышину. Михель-Великан заскрежетал зубами, завыл, закричал и, погрозив кулаком кому-то невидимому, зашагал к своему логову.

А Петер, полуживой от страха, отправился дальше своей дорогой.

Тропинка становилась все круче, лес — все гуще и глуше, и наконец Петер опять очутился возле огромной косматой ели на вершине горы.

Он снял шляпу, отвесил перед елью три низких — чуть не до самой земли — поклона и срывающимся голосом произнес заветные слова:

— Под косматой елью,
В темном подземелье,
Где рождается родник,—
Меж корней живет старик.
Он неслыханно богат,
Он хранит заветный клад.
Кто родился в день воскресный,
Получает клад чудесный!

Не успел он выговорить последнее слово, как чей-то тоненький, звонкий, как хрусталь, голосок сказал:

— Здравствуй, Петер Мунк!

И в ту же минуту он увидел под корнями старой ели крошечного старичка в черном кафтанчике, в красных чулочках, с большой остроконечной шляпой на голове. Старичок приветливо смотрел на Петера и поглаживал свою небольшую бородку — такую легкую, словно она была из паутины. Во рту у него была трубка из голубого стекла, и он то и дело попыхивал ею, выпуская густые клубы дыма.

Не переставая кланяться, Петер подошел и, к немалому своему удивлению, увидел, что вся одежда на старичке: кафтанчик, шаровары, шляпа, башмаки — все было сделано из разноцветного стекла, но только стекло это было совсем мягкое, словно еще не остыло после плавки.

— Этот грубиян Михель, кажется, здорово напугал тебя,—

сказал старичок.— Но я его славно проучил и даже отнял у него его знаменитый багор.

— Благодарю вас, господин Стеклянный Человечек,— сказал Петер.— Я и вправду натерпелся страха. А вы, верно, и были тем почтенным глухарем, который заклевал змею? Вы мне спасли жизнь! Пропал бы я без вас. Но, уж если вы так добры ко мне, сделайте милость, помогите мне еще в одном деле. Я бедный угольщик, и живется мне очень трудно. Вы и сами понимаете, что, если с утра до ночи сидеть возле угольной ямы — далеко не уйдешь. А я еще молодой, мне хотелось бы узнать в жизни что-нибудь получше. Вот гляжу я на других — все люди как люди, им и почет, и уважение, и богатство... Взять хотя бы Иезекиила Толстого или Вильма Красивого, короля танцев,— так ведь у них денег что соломы!..

— Петер,— строго перебил его Стеклянный Человечек и, запыхтев трубкой, выпустил густое облако дыма,— никогда не говори мне об этих людях. И сам не думай о них. Сейчас тебе кажется, что на всем свете нет никого, кто был бы счастливее их, а пройдет год или два, и ты увидишь, что нет на свете никого несчастнее. И еще скажу тебе: не презирай своего ремесла. Твой отец и дед были почтеннейшими людьми, а ведь они были угольщиками. Петер Мунк, я не хочу думать, что тебя привела ко мне любовь к безделью и легкой наживе.

Говоря это, Стеклянный Человечек пристально смотрел Петеру прямо в глаза.

Петер покраснел.

— Нет, нет,— забормотал он,— я ведь и сам знаю, что лень — мать всех пороков, и все такое прочее. Но разве я виноват, что мое ремесло мне не по душе? Я готов быть стекольщиком, часовщиком, сплавщиком — кем угодно, только не угольщиком.

— Странный вы народ — люди! — сказал, усмехаясь, Стеклянный Человечек.— Всегда недовольны тем, что есть. Был бы ты стекольщиком — захотел бы стать сплавщиком, был бы сплавщиком — захотел бы стать стекольщиком. Ну да пусть будет по-твоему. Если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь,— я помогу тебе. У меня заведен такой обычай: я исполняю три желания каждого, кто рожден в воскресенье между двенадцатью и двумя часами пополудни и кто сумеет меня найти. Два желания я исполняю, какие бы они ни были, даже самые глупые. Но третье желание сбывается только в том случае, если оно стоит того. Ну, Петер Мунк, подумай хорошенько и скажи мне, чего ты хочешь.

Но Петер не стал долго раздумывать.

От радости он подбросил вверх свою шляпу и закричал:

— Да здравствует Стеклянный Человечек, самый добрый и

могущественный из всех лесных духов!.. Если вы, мудрейший властелин леса, в самом деле хотите осчастливить меня, я скажу вам самое заветное желание моего сердца. Во-первых, я хочу уметь танцевать лучше самого короля танцев и всегда иметь в кармане столько же денег, сколько у самого Иезекиила Толстого, когда он садится за игорный стол...

— Безумец! — сказал, нахмурившись, Стеклянный Человечек.— Неужели ты не мог придумать что-нибудь поумнее? Ну посуди сам: какая будет польза тебе и твоей бедной матери, если ты научишься выкидывать разные коленца и дрыгать ногами, как этот бездельник Вильм? И какой толк в деньгах, если ты будешь оставлять их за игорным столом, как этот плут Иезекиил Толстый? Ты сам губишь свое счастье, Петер Мунк. Но сказанного не воротишь — твое желание будет исполнено. Говори же, чего бы ты хотел еще? Но смотри, на этот раз будь поумнее!

Петер задумался. Он долго морщил лоб и тер затылок, пытаясь придумать что-нибудь умное, и наконец сказал:

— Я хочу быть владельцем самого лучшего и самого большого стекольного завода, какой только есть в Шварцвальде. Ну и, конечно, мне нужны деньги, чтобы пустить его в ход.

— И это все? — спросил Стеклянный Человечек, испытующе глядя на Петера.— Неужели это все? Подумай хорошенько, что еще тебе нужно?

— Ну, если вам не жалко, прибавьте ко второму желанию еще пару лошадок и коляску! И хватит...

— Глупый же ты человек, Петер Мунк! — воскликнул Стеклянный Человечек и со злости так швырнул свою стеклянную трубку, что она ударилась о ствол ели и разлетелась вдребезги.— «Лошадок, коляску»!.. Ума-разума надо тебе, понимаешь? Ума-разума, а не лошадок и коляску. Ну да все-таки второе твое желание поумней первого. Стекольный завод — это дело стоящее. Если вести его с умом, и лошадки, и коляска, и все у тебя будет.

— Так ведь у меня остается еще одно желание,— сказал Петер,— и я могу пожелать себе ума, если это так уж необходимо, как вы говорите.

— Погоди, прибереги третье желание про черный день. Кто знает, что еще ждет тебя впереди! А теперь ступай домой. Да возьми для начала вот это,— сказал Стеклянный Человечек и вынул из кармана кошелек, набитый деньгами.— Здесь ровно две тысячи гульденов. Три дня тому назад умер старый Винкфриц, хозяин большого стекольного завода. Предложи его вдове эти деньги, и она с радостью продаст тебе свой завод. Но помни: работа кормит только того, кто любит работу. Да не водись с Иезекиилом Толстым и пореже заходи в трактир. Это к добру не приведет. Ну прощай. Я буду изредка заглядывать к тебе,

чтобы помочь советом, когда тебе не будет хватать своего умаразума.

С этими словами человечек вытащил из кармана новую трубку из самого лучшего матового стекла и набил сухими еловыми иглами.

Потом, крепко прикусив ее мелкими, острыми, как у белки, зубками, он достал из другого кармана огромное увеличительное стекло, поймал в него солнечный луч и закурил.

Легкий дымок поднялся над стеклянной чашечкой. На Петера пахнуло нагретой солнцем смолой, свежими еловыми побегами, медом и почему-то самым лучшим голландским табаком. Дым делался все гуще, гуще и наконец превратился в целое облако, которое, клубясь и курчавясь, медленно растаяло в верхушках елей. А вместе с ним исчез и Стеклянный Человечек.

Петер еще долго стоял перед старой елью, протирая глаза и вглядываясь в густую, почти черную хвою, но так никого и не увидел. На всякий случай он низко поклонился большой елке и пошел домой.

Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина думала, что ее Петера забрали в солдаты и ей не скоро уже придется с ним увидеться.

Какова же была ее радость, когда ее сын вернулся домой, да еще с кошельком, набитым деньгами! Петер не стал рассказывать матери о том, что с ним было на самом деле. Он сказал, что повстречал в городе одного доброго приятеля, который дал ему взаймы целых две тысячи гульденов, чтобы Петер мог начать стекольное дело.

Мать Петера прожила всю жизнь среди угольщиков и привыкла видеть все вокруг черным от сажи, как мельничиха привыкает видеть все кругом белым от муки. Поэтому сначала ее не очень-то обрадовала предстоящая перемена. Но в конце концов она и сама размечталась о новой, сытой и спокойной жизни.

«Да, что там ни говори,— думала она,— а быть матерью стекольного заводчика почетнее, чем быть матерью простого угольщика. Соседки Грета и Бета мне теперь не чета. И в церкви я с этих пор буду сидеть не у стены, где меня никто не видит, а на передних скамейках, рядом с женой господина бургомистра, матерью господина пастора и тетушкой господина судьи...»

На следующий день Петер чуть свет отправился к вдове старого Винкфрица.

Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешел к новому хозяину.

Вначале стекольное дело очень нравилось Петеру.

Целые дни, с утра до вечера, он проводил у себя на заводе. Придет, бывало, не спеша, и, заложив руки за спину, как делал это старый Винкфриц, важно расхаживает по своим владениям,

заглядывая во все углы и делая замечания то одному работнику, то другому. Он и не слышал, как за его спиной работники посмеивались над советами неопытного хозяина.

Больше всего нравилось Петеру смотреть, как работают стеклодувы. Иногда он и сам брал длинную трубку и выдувал из мягкой неостывшей массы пузатую бутыль или какую-нибудь затейливую, ни на что не похожую фигурку.

Но скоро все это ему надоело. Он стал приходить на завод всего на часок, потом через день, через два и под конец не чаще, чем раз в неделю.

Работники были очень довольны и делали что хотели. Словом, порядка на заводе не стало никакого. Все пошло вкривь и вкось.

А началось все с того, что Петеру вздумалось заглянуть в трактир.

Он отправился туда в первое же воскресенье после покупки завода.

В трактире было весело. Играла музыка, и посреди зала, на удивление всем собравшимся, лихо отплясывал король танцев — Вильм Красивый.

А перед кружкой пива сидел Иезекиил Толстый и играл в кости, не глядя бросая на стол звонкие монеты.

Петер поспешно сунул руку в карман, чтобы проверить, сдержал ли Стеклянный Человечек свое слово. Да, сдержал! Карманы его были битком набиты серебром и золотом.

«Ну так, верно, и насчет танцев он меня не подвел»,— подумал Петер.

И как только музыка заиграла новый танец, он подхватил какую-то девушку и стал с ней в пару против Вильма Красивого.

Ну и пляска же это была! Вильм подпрыгивал на три четверти, а Петер — на четыре, Вильм кружился волчком, а Петер ходил колесом, Вильм выгибал ноги кренделем, а Петер закручивал штопором.

С тех пор как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного.

Петеру кричали «Ура!», и единодушно провозгласили его королем над всеми королями танцев.

Когда же все трактирные завсегдатаи узнали, что Петер только что купил себе стекольный завод, когда заметили, что каждый раз, проходя в танце мимо музыкантов, он бросает им золотую монетку,— общему удивлению не было конца.

Одни говорили, что он нашел в лесу клад, другие — что он получил наследство, но все сходились на том, что Петер Мунк самый славный парень во всей округе.

Наплясавшись вволю, Петер подсел к Иезекиилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию-другую. Он сразу же поставил

двадцать гульденов и тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Иезекиил положил свой выигрыш в карман, в кармане у Петера тоже прибавилось ровно двадцать гульденов.

Словом, все получилось точь-в-точь, как хотел Петер. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у Иезекиила Толстого, и Стеклянный Человечек исполнил его желание. Поэтому, чем больше денег переходило из его кармана в карман толстого Иезекиила, тем больше денег становилось в его собственном кармане.

А так как игрок он был из рук вон плохой и все время проигрывал, то нет ничего удивительного, что он постоянно был в выигрыше.

С тех пор Петер стал проводить за игорным столом все дни, и праздничные и будничные.

Люди так привыкли к этому, что называли его уже не королем над всеми королями танцев, а просто Петером-игроком.

Но хоть он стал теперь бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он без счета раздавал деньги беднякам, так же как без счета пропивал и проигрывал.

И вдруг Петер с удивлением стал замечать, что денег у него становится все меньше и меньше. А удивляться было нечему. С тех пор как он стал бывать в трактире, стекольное дело он совсем забросил, и теперь завод приносил ему не доходы, а убытки. Заказчики перестали обращаться к Петеру, и скоро ему пришлось за полцены продать весь товар бродячим торговцам только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами и подмастерьями.

Однажды вечером Петер шел из трактира домой. Он выпил изрядное количество вина, но на этот раз вино нисколько не развеселило его.

С ужасом думал он о своем неминуемом разорении. И вдруг Петер заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел Стеклянного Человечка.

— Ах, это вы, сударь! — сказал Петер сквозь зубы.— Пришли полюбоваться моим несчастьем? Да, нечего сказать, щедро вы наградили меня!.. Врагу не пожелаю такого покровителя! Ну что вы мне теперь прикажете делать? Того и гляди, пожалует сам начальник округа и пустит за долги с публичного торга все мое имущество. Право же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот...

— Так,— сказал Стеклянный Человечек,— так! Значит, по-твоему, это я виноват во всех твоих несчастьях? А по-моему, ты сам виноват в том, что не сумел пожелать ничего путного. Для того чтобы стать хозяином стекольного дела, голубчик, надо прежде всего быть толковым человеком и знать мастерство.

Я тебе и раньше говорил и теперь скажу: ума тебе не хватает, Петер Мунк, ума и сообразительности!

— Какого там еще ума!..— закричал Петер, задыхаясь от обиды и злости.— Я нисколько не глупее всякого другого и докажу тебе это на деле, еловая шишка!

С этими словами Петер схватил Стеклянного Человечка за шиворот и стал трясти его изо всех сил.

— Ага, попался, властелин лесов? Ну-ка, исполняй третье мое желание! Чтобы сейчас же на этом самом месте был мешок с золотом, новый дом и... Ай-ай!..— завопил он вдруг не своим голосом.

Стеклянный Человечек как будто вспыхнул у него в руках и засветился ослепительно белым пламенем. Вся его стеклянная одежда раскалилась, и горячие, колючие искры так и брызнули во все стороны.

Петер невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожженной рукой.

В это самое мгновение над ухом у него раздался легкий, как звон стекла, смех — и все стихло.

Стеклянный Человечек пропал.

Несколько дней не мог Петер позабыть об этой неприятной встрече.

Он бы и рад был не думать о ней, да распухшая рука все время напоминала ему о его глупости и неблагодарности.

Но мало-помалу рука у него зажила, и на душе стало легче.

— Если даже они и продадут мой завод,— успокаивал он себя,— у меня все-таки останется толстый Иезекиил. Пока у него в кармане есть деньги, и я не пропаду.

Так-то оно так, Петер Мунк, а вот если денег у Иезекиила на станет, что тогда? Но Петеру это даже и в голову не приходило.

А между тем случилось именно то, чего он не предвидел, и в один прекрасный день произошла очень странная история, которую никак нельзя объяснить законами арифметики.

Однажды в воскресенье Петер, как обычно, пришел в трактир.

— Добрый вечер, хозяин,— сказал он с порога.— Что, толстый Иезекиил уже здесь?

— Заходи, заходи, Петер,— отозвался сам Иезекиил.— Место для тебя оставлено.

Петер подошел к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или выигрыше толстый Иезекиил. Оказалось, в большом выигрыше. Об этом Петер мог судить по своему собственному, туго набитому карману.

Он подсел к игрокам и так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая. Но сколько он ни проигрывал, деньги у него в кармане не убывали, потому что Иезекиилу Толстому все время везло.

Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и толстый Иезекиил. Но Петер так уговаривал его остаться и сыграть еще партию-другую, что тот наконец согласился.

— Ну хорошо,— сказал Иезекиил.— Только сначала я пересчитаю свои деньги. Будем бросать кости. Ставка — пять гульденов. Меньше нет смысла: детская игра!..— Он вытащил свой кошелек и стал считать деньги.— Ровно сто гульденов! — сказал он, пряча кошелек в карман.

Теперь и Петер знал, сколько у него денег: ровно сто гульденов. И считать не надо было.

И вот игра началась. Первым бросил кости Иезекиил — восемь очков! Бросил кости Петер — десять очков!

Так и пошло: сколько раз ни бросал кости Иезекиил Толстый, у Петера всегда было больше ровно на два очка.

Наконец толстяк выложил на стол свои последние пять гульденов.

— Ну, бросай еще раз! — крикнул он.— Но так и знай, я не сдамся, даже если проиграю и теперь. Ты одолжишь мне несколько монет из своего выигрыша. Порядочный человек всегда выручает приятеля в затруднении.

— Да о чем там говорить! — сказал Петер.— Мой кошелек всегда к твоим услугам.

Толстый Иезекиил встряхнул кости и бросил на стол.

— Пятнадцать! — сказал он.— Теперь посмотрим, что у тебя.

Петер не глядя швырнул кости.

— Моя взяла! Семнадцать!..— крикнул он и даже засмеялся от удовольствия.

В ту же минуту за его спиной раздался чей-то глухой, хриплый голос:

— Это была твоя последняя игра!

Петер в ужасе оглянулся и увидел за своим стулом огромную фигуру Михеля-Голландца. Не смея пошевельнуться, Петер так и замер на месте.

А толстый Иезекиил никого и ничего не видел.

— Дай мне скорей десять гульденов, и будем продолжать игру! — нетерпеливо сказал он.

Петер как во сне сунул руку в карман. Пусто! Он пошарил в другом кармане — и там не больше.

Ничего не понимая, Петер вывернул оба кармана наизнанку, но не нашел в них даже самой мелкой монетки.

Тут он с ужасом вспомнил о своем первом желании. Проклятый Стеклянный Человечек сдержал свое слово до конца: Петер хотел, чтобы денег у него было столько же, сколько в кармане у Иезекиила Толстого, и вот у Иезекиила Толстого нет ни гроша, и в кармане у Петера — ровно столько же!

Хозяин трактира и Иезекиил Толстый смотрели на Петера, вытаращив глаза. Они никак не могли понять, куда же девал он выигранные деньги. А так как Петер на все их вопросы не мог ответить ничего путного, то они решили, что он попросту не хочет расплачиваться с трактирщиком и боится поверить в долг Иезекиилу Толстому.

Это привело их в такую ярость, что они вдвоем накинулись на Петера, избили его, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь.

Ни одной звездочки не видно было на небе, когда Петер пробирался к себе домой.

Темень была такая, что хоть глаз выколи, и все-таки он различил рядом с собой какую-то огромную фигуру, которая была темней темноты.

— Ну, Петер Мунк, твоя песенка спета! — сказал знакомый хриплый голос.— Теперь ты видишь, каково приходится тем, кто не хочет слушать моих советов. А ведь сам виноват! Вольно же тебе было водиться с этим скупым старикашкой, с этим жалким стеклянным пузырьком!.. Ну да еще не все потеряно. Я не злопамятен. Слушай, завтра я целый день буду у себя на горе. Приходи и позови меня. Не раскаешься!

Сердце похолодело у Петера, когда он понял, кто с ним говорит. Михель-Великан! Опять Михель-Великан!.. Сломя голову Петер бросился бежать, сам не зная куда.

II

Когда в понедельник утром Петер пришел на свой стекольный завод, он застал там непрошеных гостей — начальника округа и трех судейских.

Начальник вежливо поздоровался с Петером, спросил, хорошо ли он почивал и как его здоровье, а потом вытащил из кармана длинный список, в котором стояли имена всех, кому Петер был должен.

— Собираетесь ли вы, сударь, заплатить всем этим лицам?— спросил начальник, строго глядя на Петера.— Если собираетесь, прошу вас поторопиться. Времени у меня немного, а до тюрьмы добрых три часа ходу.

Петеру пришлось сознаться, что платить ему нечем, и судейские без долгих разговоров приступили к описи его имущества.

Они описали дом и пристройки, завод и конюшню, коляску и лошадей. Описали стеклянную посуду, которая стояла в кладовых, и метлу, которой подметают двор... Словом, все-все, что только попалось им на глаза.

Пока они расхаживали по двору, все разглядывая, ощупывая и оценивая, Петер стоял в стороне и посвистывал, стараясь показать, что это его нимало не беспокоит. И вдруг в ушах у него зазвучали слова Михеля: «Ну, Петер Мунк, твоя песенка спета!..»

Сердце у него тревожно екнуло и кровь застучала в висках.

«А ведь до Еловой горы совсем не так далеко, ближе, чем до тюрьмы,— подумал он.— Если маленький не захотел помочь, что ж, пойду попрошу большого...»

И, не дожидаясь, покуда судейские кончат свое дело, он украдкой вышел за ворота и бегом побежал в лес.

Он бежал быстро — быстрее, чем заяц от гончих собак,— и сам не заметил, как очутился на вершине Еловой горы.

Когда он пробегал мимо старой большой ели, под которой в первый раз разговаривал со Стеклянным Человечком, ему показалось, что чьи-то невидимые руки стараются поймать и удержать его. Но он вырвался и опрометью побежал дальше...

Вот и канава, за которой начинаются владения Михеля-Великана!..

Одним прыжком перемахнул Петер на ту сторону и, едва отдышавшись, крикнул:

— Господин Михель! Михель-Великан!..

И не успело эхо откликнуться на его крик, как перед ним словно из-под земли выросла знакомая страшная фигура — чуть ли не в сосну ростом, в одежде плотогона, с огромным багром на плече...

Михель-Великан явился на зов.

— Ага, пришел-таки! — сказал он, смеясь.— Ну что, дочиста облупили тебя? Шкура-то еще цела, или, может, и ту содрали и продали за долги? Да полно, полно, не горюй! Пойдем-ка лучше ко мне, потолкуем... Авось и сговоримся...

И он зашагал саженными шагами в гору по каменной узкой тропинке.

«Сговоримся?..— думал Петер, стараясь не отстать от него.— Чего же ему от меня надо? Сам ведь знает, что у меня ни гроша за душой... Работать на себя заставит, что ли?»

Лесная тропинка становилась все круче и круче и наконец оборвалась. Они очутились перед глубоким темным ущельем.

Михель-Великан не задумываясь сбежал по отвесной скале, словно это была пологая лестница. А Петер остановился на самом краю, со страхом глядя вниз и не понимая, что же ему делать дальше. Ущелье было такое глубокое, что сверху даже

Михель-Великан казался маленьким, как Стеклянный Человечек.

И вдруг — Петер едва мог поверить своим глазам — Михель стал расти. Он рос, рос, пока не стал вышиной с кёльнскую колокольню. Тогда он протянул Петеру руку, длинную, как багор, подставил ладонь, которая была больше, чем стол в трактире, и сказал голосом гулким, как погребальный колокол:

— Садись ко мне на руку да покрепче держись за палец! Не бойся, не упадешь!

Замирая от ужаса, Петер перешагнул на ладонь великана и ухватился за его большой палец. Великан стал медленно опускать руку, и чем ниже он ее опускал, тем меньше становился сам.

Когда он наконец поставил Петера на землю, он уже опять был такого роста, как всегда,— гораздо больше человека, но немного меньше сосны.

Петер оглянулся по сторонам. На дне ущелья было так же светло, как наверху, только свет здесь был какой-то неживой — холодный, резкий. От него делалось больно глазам.

Вокруг не было видно ни дерева, ни куста, ни цветка. На каменной площадке стоял большой дом, обыкновенный дом — не хуже и не лучше, чем те, в которых живут богатые шварцвальдские плотогоны, разве что побольше, а так — ничего особенного.

Михель, не говоря ни слова, отворил дверь, и они вошли в горницу. И здесь все было, как у всех: деревянные стенные часы — изделие шварцвальдских часовщиков,— изразцовая расписная печь, широкие скамьи, всякая домашняя утварь на полках вдоль стен.

Только почему-то казалось, что здесь никто не живет,— от печки веяло холодом, часы молчали.

— Ну присаживайся, приятель,— сказал Михель.— Выпьем по стакану вина.

Он вышел в другую комнату и скоро вернулся с большим кувшином и двумя пузатыми стеклянными стаканами — точь-в-точь такими, какие делали на заводе у Петера.

Налив вина себе и гостю, он завел разговор о всякой всячине, о чужих краях, где ему не раз довелось побывать, о прекрасных городах и реках, о больших кораблях, пересекающих моря, и наконец так раззадорил Петера, что тому до смерти захотелось поездить по белу свету и посмотреть на все его диковинки.

— Да, вот это жизнь!..— сказал он.— А мы-то, дураки, сидим весь век на одном месте и ничего не видим, кроме слок да сосен.

— Что ж,— лукаво прищурившись, сказал Михель-Великан.— И тебе пути не заказаны. Можно и пространствовать, и

делом позаняться. Все можно — только бы хватило смелости, твердости, здравого смысла... Только бы не мешало глупое сердце!.. А как оно мешает, черт побери!.. Вспомни-ка, сколько раз тебе в голову приходили какие-нибудь славные затеи, а сердце вдруг дрогнет, заколотится, ты и струсишь ни с того ни с сего. А если кто-нибудь обидит тебя, да еще ни за что ни про что? Кажется, и думать не о чем, а сердце ноет, щемит... Ну вот скажи-ка мне сам: когда тебя вчера вечером обозвали обманщиком и вытолкали из трактира, голова у тебя заболела, что ли? А когда судейские описали твой завод и дом, у тебя, может быть, заболел живот? Ну, говори прямо, что у тебя заболело?

— Сердце,— сказал Петер.

И, словно подтверждая его слова, сердце у него в груди тревожно сжалось и забилось часто-часто.

— Так,— сказал Михель-Великан и покачал головой.— Мне вот говорил кое-кто, что ты, покуда у тебя были деньги, не жалея, раздавал их всяким побирушкам да попрошайкам. Правда это?

— Правда,— шепотом сказал Петер.

Михель кивнул головой.

— Так,— повторил он опять.— А скажи мне, зачем ты это делал? Какая тебе от этого польза? Что ты получил за свои деньги? Пожелания всяких благ и доброго здоровья! Ну и что же, ты стал от этого здоровее? Да половины этих выброшенных денег хватило бы, чтобы держать при себе хорошего врача. А это было бы гораздо полезнее для твоего здоровья, чем все пожелания, вместе взятые. Знал ты это? Знал. Что же тебя заставляло всякий раз, когда какой-нибудь грязный нищий протягивал тебе свою помятую шляпу, опускать руку в карман? Сердце, опять-таки сердце, а не глаза, не язык, не руки и не ноги. Ты, как говорится, слишком близко все принимал к сердцу.

— Но как же сделать, чтобы этого не было? — спросил Петер.— Сердцу не прикажешь!.. Вот и сейчас — я бы так хотел, чтоб оно перестало дрожать и болеть. А оно дрожит и болит.

Михель засмеялся.

— Ну еще бы! — сказал он.— Где тебе с ним справиться! Люди покрепче и те не могут совладать со всеми его прихотями и причудами. Знаешь что, братец, отдай-ка ты его лучше мне. Увидишь, как я с ним управлюсь.

— Что? — в ужасе закричал Петер.— Отдать вам сердце? Но ведь я же умру на месте. Нет, нет, ни за что!

— Пустое! — сказал Михель.— Это если бы кто-нибудь из ваших господ хирургов вздумал вынуть из тебя сердце, тогда ты бы, конечно, не прожил и минуты. Ну, а я — другое дело.

И жив будешь и здоров, как никогда. Да вот поди сюда, погляди своими глазами... Сам увидишь, что бояться нечего.

Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петера рукой:

— Входи сюда, приятель, не бойся! Тут есть на что поглядеть.

Петер переступил порог и невольно остановился, не смея поверить своим глазам.

Сердце в груди у него так сильно сжалось, что он едва перевел дыхание.

Вдоль стен на длинных деревянных полках стояли рядами стеклянные банки, до самых краев налитые какой-то прозрачной жидкостью.

А в каждой банке лежало человеческое сердце. Сверху на ярлычке, приклеенном к стеклу, было написано имя и прозвище того, в чьей груди оно раньше билось.

Петер медленно пошел вдоль полок, читая ярлычок за ярлычком. На одном было написано: «сердце господина начальника округа», на другом — «сердце главного лесничего». На третьем просто — «Иезекиил Толстый», на пятом — «король танцев».

Дальше подряд стояли шесть сердец скупщиков хлеба, три сердца богатых ростовщиков, два таможенных сердца, четыре судейских...

Словом, много сердец и много почтенных имен, известных всей округе.

— Видишь,— сказал Михель-Великан,— ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения. Их бывшие хозяева избавились раз навсегда от всяких забот, тревог, пороков сердца и прекрасно чувствуют себя, с тех пор как выселили из своей груди беспокойного жильца.

— Да, но что же теперь у них в груди вместо сердца? — спросил, запинаясь, Петер, у которого голова пошла кругом от всего, что он видел и слышал.

— А вот что,— спокойно ответил Михель.

Он выдвинул какой-то ящик и достал оттуда каменное сердце.

— Это? — переспросил Петер, задыхаясь, и холодная дрожь пробежала у него по спине.— Мраморное сердце?.. Но ведь от него, должно быть, очень холодно в груди?

— Конечно, оно немного холодит,— сказал Михель,— но это очень приятная прохлада. Да и зачем, собственно, сердце непременно должно быть горячим? Зимой, когда холодно, вишневая наливка греет куда лучше, чем самое горячее сердце. А летом, когда и без того душно и жарко, ты и не поверишь, как славно освежает такое мраморное сердечко. А главное — оно-то уж не забьется у тебя ни от страха, ни от тревоги, ни от глупой жалости. Очень удобно!

Петер пожал плечами.

— И это все, зачем вы меня позвали? — спросил он у великана.— По правде сказать, не того я ожидал от вас. Мне нужны деньги, а вы мне предлагаете камень.

— Ну, я думаю, ста тысяч гульденов хватит тебе на первое время,— сказал Михель.— Если сумеешь выгодно пустить их в оборот, ты можешь стать настоящим богачом.

— Сто тысяч!.. — закричал, не веря своим ушам, бедный угольщик, и сердце его забилось так сильно, что он невольно придержал его рукой.— Да не колотись ты, неугомонное! Скоро я навсегда разделаюсь с тобой... Господин Михель, я согласен на все! Дайте мне деньги и ваш камешек, а этого бестолкового барабанщика можете взять себе.

— Я так и знал, что ты парень с головой,— дружески улыбаясь, сказал Михель.— По этому случаю следует выпить. А потом и делом займемся.

Они уселись за стол и выпили по стакану крепкого, густого, точно кровь, вина, потом еще по стакану, еще по стакану, и так до тех пор, пока большой кувшин не опустел совсем.

В ушах у Петера зашумело и, уронив голову на руки, он заснул мертвым сном.

Петера разбудили веселые звуки почтового рожка. Он сидел в прекрасной карете. Лошади мерно стучали копытами, и карета быстро катилась. Выглянув из окошка, он увидел далеко позади горы Шварцвальда в дымке синего тумана.

Сначала он никак не мог поверить, что это он сам, угольщик Петер Мунк, сидит на мягких подушках в богатой барской карете. Да и платье на нем было такое, какое ему и во сне не снилось... А все-таки это был он, угольщик Петер Мунк!..

На минуту Петер задумался. Вот он первый раз в жизни покидает эти горы и долины, поросшие еловым лесом. Но почему-то ему совсем не жалко уезжать из родных мест. Да и мысль о том, что он оставил свою старуху мать одну, в нужде и тревоге, не сказав ей на прощание ни одного слова, тоже нисколько не опечалила его.

«Ах да,— вспомнил он вдруг,— ведь у меня теперь каменное сердце!.. Спасибо Михелю-Голландцу — он избавил меня от всех этих слез, вздохов, сожалений...»

Он приложил руку к груди и почувствовал только легкий холодок. Каменное сердце не билось.

«Ну относительно сердца он сдержал свое слово,— подумал Петер.— А вот как насчет денег?»

Он принялся осматривать карету и среди вороха всяких дорожных вещей нашел большую кожаную сумку, туго на-

битую золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах.

«Ну, теперь все в порядке»,— подумал Петер и уселся поудобнее среди мягких кожаных подушек.

Так началась новая жизнь господина Петера Мунка.

Два года ездил он по белу свету, много видел, но ничего не заметил, кроме почтовых станций, вывесок на домах да гостиниц, в которых он останавливался.

Впрочем, Петер всегда нанимал человека, который показывал ему достопримечательности каждого города.

Глаза его смотрели на прекрасные здания, картины и сады, уши слушали музыку, веселый смех, умные беседы, но ничто его не занимало и не радовало, потому что сердце у него всегда оставалось холодным.

Только и было у него удовольствия, что сытно есть и сладко спать.

Однако все кушанья ему почему-то скоро приелись, а сон стал бежать от него. И ночью, ворочаясь с боку на бок, он не раз вспоминал о том, как хорошо ему спалось в лесу около угольной ямы и как вкусен был жалкий обед, который приносила из дому мать.

Ему никогда теперь не бывало грустно, но зато не бывало и весело.

Если другие смеялись при нем, он только из вежливости растягивал губы.

Ему даже казалось иногда, что он просто разучился смеяться, а ведь прежде, бывало, его мог насмешить всякий пустяк.

В конце концов ему стало так скучно, что он решил вернуться домой. Не все ли равно, где скучать?

Когда он снова увидел темные леса Шварцвальда и добродушные лица земляков, кровь на мгновение прилила к его сердцу, и ему даже показалось, что он сейчас обрадуется. Нет! Каменное сердце осталось таким же холодным, как было. Камень — это камень.

Вернувшись в родные места, Петер раньше всего пошел повидаться с Михелем-Голландцем. Тот встретил его по-приятельски.

— Здорово, дружище! — сказал он.— Ну что, хорошо съездил? Повидал белый свет?

— Да как вам сказать...— ответил Петер.— Видел я, разумеется, немало, но все это глупости, одна скука... Вообще должен вам сказать, Михель, что этот камешек, которым вы меня наградили, не такая уж находка. Конечно, он меня избавляет от многих неприятностей. Я никогда не сержусь, не грущу, но зато никогда и не радуюсь. Словно я живу наполовину... Нельзя ли сделать его хоть немного поживее? А еще лучше — отдайте мне

мое прежнее сердце. За двадцать пять лет я порядком привык к нему, и хоть иной раз оно и пошаливало — все же это было веселое, славное сердце.

Михель-Великан расхохотался.

— Ну и дурак же ты, Петер Мунк, как я погляжу,— сказал он.— Ездил-ездил, а ума не набрался. Ты знаешь, отчего тебе скучно? От безделья. А ты все валишь на сердце. Сердце тут решительно ни при чем. Ты лучше послушай меня: построй себе дом, женись, пусти деньги в оборот. Когда каждый гульден будет у тебя превращаться в десять, тебе станет так весело, как никогда. Деньгам даже камень обрадуется.

Петер без долгих споров согласился с ним. Михель-Голландец тут же подарил ему еще сто тысяч гульденов, и они расстались друзьями.

Скоро по всему Шварцвальду пошла молва о том, что угольщик Петер Мунк воротился домой еще богаче, чем был до отъезда.

И тут случилось то, что обычно бывает в таких случаях. Он опять стал желанным гостем в трактире, все кланялись ему, спешили пожать руку, каждый рад был назвать его своим другом.

Стекольное дело он бросил и начал торговать лесом. Но и это было только для вида.

На самом деле он торговал не лесом, а деньгами: давал их взаймы и получал назад с лихвою.

Мало-помалу половина Шварцвальда оказалась у него в долгу.

С начальником округа он был теперь запанибрата. И стоило Петеру только заикнуться, что кто-то не уплатил ему деньги в срок, как судейские мигом налетали на дом несчастного должника, все описывали, оценивали и продавали с молотка. Таким образом каждый гульден, который Петер получил от Михеля-Голландца, очень скоро превратился в десять.

Правда, сначала господину Петеру Мунку немного докучали мольбы, слезы и упреки. Целые толпы должников днем и ночью осаждали его двери. Мужчины умоляли об отсрочке, женщины старались слезами смягчить его каменное сердце, дети просили хлеба...

Однако все это уладилось как нельзя лучше, когда Петер обзавелся двумя огромными овчарками. Стоило спустить их с цепи, как вся эта, по выражению Петера, «кошачья музыка» мигом прекращалась.

Но больше всего досаждала ему «старуха» (так называл он свою мать, госпожу Мунк).

Когда Петер вернулся из странствий, снова разбогатевший и всеми уважаемый, он даже не зашел в ее бедную хижину.

Старая, полуголодная, больная, она приходила к нему во двор, опираясь на палку, и робко останавливалась у порога.

Просить у чужих она не смела, чтобы не позорить своего богатого сына, и каждую субботу приходила к его дверям, ожидая подаяния и не решаясь войти в дом, откуда один раз ее уже выгнали.

Завидя старуху из окна, Петер, сердито хмурясь, доставал из кармана несколько медяков, заворачивал их в клочок бумаги и, кликнув слугу, высылал матери. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила его и желала ему всякого благополучия, слышал, как, покашливая и постукивая палочкой, пробиралась она мимо его окон, но думал только о том, что вот опять понапрасну истратил несколько грошей.

Да что и говорить, теперь это был уже не тот Петер Мунк, бесшабашный весельчак, который без счета бросал деньги бродячим музыкантам и всегда был готов помочь первому встречному бедняку. Нынешний Петер Мунк хорошо знал цену деньгам и ничего другого не желал знать.

С каждым днем он делался все богаче и богаче, но веселее ему не становилось.

И вот, вспомнив совет Михеля-Великана, он решил жениться.

Петер знал, что любой почтенный человек в Шварцвальде с радостью отдаст за него свою дочь, но он был разборчив. Ему хотелось, чтобы все хвалили его выбор и завидовали его счастью. Он объехал весь край, заглянул во все углы и закоулки, посмотрел всех невест, но ни одна из них не показалась ему достойной стать супругой господина Мунка.

Наконец на одной вечеринке ему сказали, что самая красивая и скромная девушка во всем Шварцвальде — это Лизбет, дочь бедного дровосека. Но она никогда не бывает на танцах, сидит дома, шьет, хозяйничает и ухаживает за стариком отцом. Лучше этой невесты нет не только в здешних местах, но и на всем свете.

Не откладывая дела, Петер собрался и поехал к отцу красавицы. Бедный дровосек был очень удивлен посещением такого важного господина. Но еще больше удивился он, когда узнал, что этот важный господин хочет посвататься к его дочери.

Как было не ухватиться за такое счастье!

Старик решил, что его горестям и заботам пришел конец, и недолго думая дал Петеру согласие, даже не спросив красавицу Лизбет.

А красавица Лизбет была покорной дочерью. Она беспрекословно исполнила волю отца и стала госпожою Мунк.

Но невесело жилось бедняжке в богатом доме ее мужа. Все

соседи считали ее примерной хозяйкой, а господину Петеру она никак не могла угодить.

У нее было доброе сердце, и, зная, что в доме сундуки ломятся от всякого добра, она не считала за грех накормить какую-нибудь бедную старушку, вынести рюмку вина прохожему старику или дать несколько мелких монеток соседским детям на сласти.

Но когда Петер однажды узнал об этом, он весь побагровел от злости и сказал:

— Как ты смеешь швырять направо и налево мое добро? Забыла, что сама нищая?.. Смотри у меня, чтобы это было в последний раз, а не то...

И он так взглянул на нее, что сердце похолодело в груди у бедной Лизбет. Она горько заплакала и ушла к себе.

С тех пор всякий раз, когда какой-нибудь бедняк проходил мимо их дома, Лизбет закрывала окно или отворачивалась, чтобы не видеть чужой бедности. Но ни разу не посмела она ослушаться своего сурового мужа.

Никто не знал, сколько слез она пролила по ночам, думая о холодном, безжалостном сердце Петера, но все знали теперь, что госпожа Мунк не даст умирающему глотка воды и голодному корки хлеба. Она прослыла самой скупой хозяйкой в Шварцвальде.

Однажды Лизбет сидела перед домом, пряла пряжу и напевала какую-то песенку. На душе у нее было в этот день легко и весело, потому что погода была отличная, а господин Петер уехал по делам.

И вдруг она увидела, что по дороге идет какой-то старенький старичок. Сгибаясь в три погибели, он тащил на спине большой, туго набитый мешок.

Старичок то и дело останавливался, чтобы перевести дух и стереть пот со лба.

«Бедный,— подумала Лизбет,— как трудно ему нести такую непосильную ношу!»

А старичок, подойдя к ней, сбросил на землю свой огромный мешок, тяжело опустился на него и сказал едва слышным голосом:

— Будьте милостивы, хозяюшка! Дайте мне глоток воды. До того измучился, что просто с ног валюсь.

— Как же можно в ваши годы таскать такие тяжести! — сказала Лизбет.

— Что поделаешь! Бедность!..— ответил старичок.— Жить-то ведь чем-нибудь надо. Конечно, такой богатой женщине, как вы, это и понять мудрено. Вот вы, наверно, кроме сливок, и не пьете ничего, а я и за глоток воды скажу спасибо.

Ничего не ответив, Лизбет побежала в дом и налила полный

ковшик воды. Она хотела уже отнести его прохожему, но вдруг, не дойдя до порога, остановилась и снова вернулась в комнату. Отворив шкаф, она достала большую узорчатую кружку, налила до краев вином и, прикрыв сверху свежим, только что испеченным хлебцем, вынесла старику.

— Вот,— сказала она,— подкрепитесь на дорогу.

Старичок с удивлением посмотрел на Лизбет своими выцветшими, светлыми, как стекло, глазами.

Он медленно выпил вино, отломил кусочек хлеба и сказал дрожащим голосом:

— Я человек старый, но мало видел на своем веку людей с таким добрым сердцем, как у вас. А доброта никогда не остается без награды...

— И свою награду она получит сейчас же!-— загремел у них за спиной страшный голос.

Они обернулись и увидели господина Петера.

— Так вот ты как!..— проговорил он сквозь зубы, сжимая в руках кнут и подступая к Лизбет.— Самое лучшее вино из моего погреба ты наливаешь в мою самую любимую кружку и угощаешь каких-то грязных бродяг... Вот же тебе! Получай свою награду!..

Он размахнулся и изо всей силы ударил жену по голове тяжелым кнутовищем из черного дерева.

Не успев даже вскрикнуть, Лизбет упала на руки старика.

Каменное сердце не знает ни сожаления, ни раскаяния. Но тут даже Петеру стало не по себе, и он бросился к Лизбет, чтобы поднять ее.

— Не трудись, угольщик Мунк! — вдруг сказал старик хорошо знакомым Петеру голосом.— Ты сломал самый прекрасный цветок в Шварцвальде, и он никогда больше не зацветет.

Петер невольно отшатнулся.

— Так это вы, господин Стеклянный Человечек! — в ужасе прошептал он.— Ну, да что сделано, того уж не воротишь. Но я надеюсь, по крайней мере, что вы не донесете на меня в суд...

— В суд? — Стеклянный Человечек горько усмехнулся.— Нет, я слишком хорошо знаю твоих приятелей — судейских... Кто мог продать свое сердце, тот и совесть продаст не задумавшись. Я сам буду судить тебя!..

От этих слов в глазах у Петера потемнело.

— Не тебе меня судить, старый скряга! — закричал он, потрясая кулаками.— Это ты погубил меня! Да, да, ты, и никто другой! По твоей милости пошел я на поклон к Михелю-Голландцу. И теперь ты сам должен держать ответ передо мной, а не я перед тобой!..

И он вне себя замахнулся кнутом. Но рука его так и застыла в воздухе.

На глазах у него Стеклянный Человечек вдруг стал расти. Он рос все больше, больше, пока не заслонил дом, деревья, даже солнце... Глаза его метали искры и были ярче самого яркого пламени. Он дохнул — и палящий жар пронизал Петера насквозь, так что даже его каменное сердце согрелось и дрогнуло, как будто снова забилось. Нет, никогда даже Михель-Великан не казался ему таким страшным!

Петер упал на землю и закрыл голову руками, чтобы защититься от мести разгневанного Стеклянного Человечка, но вдруг почувствовал, что огромная рука, цепкая, словно когти коршуна, схватила его, подняла высоко в воздух и, завертев, как ветер крутит сухую былинку, швырнула оземь.

— Жалкий червяк!..— загремел над ним громовой голос.— Я мог бы на месте испепелить тебя! Но, так и быть, ради этой бедной, кроткой женщины дарю тебе еще семь дней жизни. Если за эти дни ты не раскаешься — берегись!..

Точно огненный вихрь промчался над Петером — и все стихло.

Вечером люди, проходившие мимо, увидели Петера лежащим на земле у порога своего дома.

Он был бледен как мертвец, сердце у него не билось, и соседи уже решили, что он умер (ведь они-то не знали, что сердце его не бьется, потому что оно каменное). Но тут кто-то заметил, что Петер еще дышит. Принесли воды, смочили ему лоб, и он очнулся...

— Лизбет!.. Где Лизбет? — спросил он хриплым шепотом.

Но никто не знал, где она.

Он поблагодарил людей за помощь и вошел в дом. Лизбет не было и там.

Петер совсем растерялся. Что же это значит? Куда она исчезла? Живая или мертвая, она должна быть здесь.

Так прошло несколько дней. С утра до ночи бродил он по дому, не зная, за что взяться. А ночью, стоило ему только закрыть глаза, его будил тихий голос:

— Петер, достань себе горячее сердце! Достань себе горячее сердце, Петер!..

Это был голос Лизбет. Он вскакивал, озирался по сторонам, но ее нигде не было.

Соседям он сказал, что жена поехала на несколько дней навестить отца. Ему, конечно, поверили. Но ведь рано или поздно они узнают, что это неправда. Что сказать тогда? А дни, отпущенные ему, для того чтобы он раскаялся, все шли и шли, и час расплаты приближался. Но как он мог раскаяться, когда его каменное сердце не знало раскаяния? Ах, если бы в самом деле он мог добыть себе сердце погорячей!

И вот, когда седьмой день был уже на исходе, Петер решился. Он надел праздничный камзол, шляпу, вскочил на коня и поскакал к Еловой горе.

Там, где начинался частый ельник, он спешился, привязал лошадь к дереву, а сам, цепляясь за колючие ветки, полез наверх.

Около большой ели он остановился, снял шляпу и, с трудом припоминая слова, медленно проговорил:

— Под косматой елью,
В темном подземелье,
Где рождается родник,—
Меж корней живет старик.
Он неслыханно богат,
Он хранит заветный клад.
Кто родился в день воскресный,
Получает клад чудесный.

И Стеклянный Человечек появился. Но теперь он был весь в черном: кафтанчик из черного матового стекла, черные панталоны, черные чулки... Черная хрустальная лента обвивала его шляпу.

Он едва взглянул на Петера и спросил безучастным голосом:

— Что тебе надо от меня, Петер Мунк?

— У меня осталось еще одно желание, господин Стеклянный Человечек,— сказал Петер, не смея поднять глаза.— Я хотел бы, чтобы вы его исполнили.

— Разве у каменного сердца могут быть желания! — ответил Стеклянный Человечек.— У тебя уже есть все, что нужно таким людям, как ты. А если тебе еще чего-нибудь не хватает, проси у своего друга Михеля. Я вряд ли смогу тебе помочь.

— Но ведь вы сами обещали мне исполнить три желания. Одно еще остается за мной!..

— Я обещал исполнить третье твое желание, только если оно не будет безрассудным. Ну говори, что ты там еще придумал?

— Я хотел бы... Я хотел бы...— начал прерывающимся голосом Петер.— Господин Стеклянный Человечек! Выньте из моей груди этот мертвый камень и дайте мне мое живое сердце.

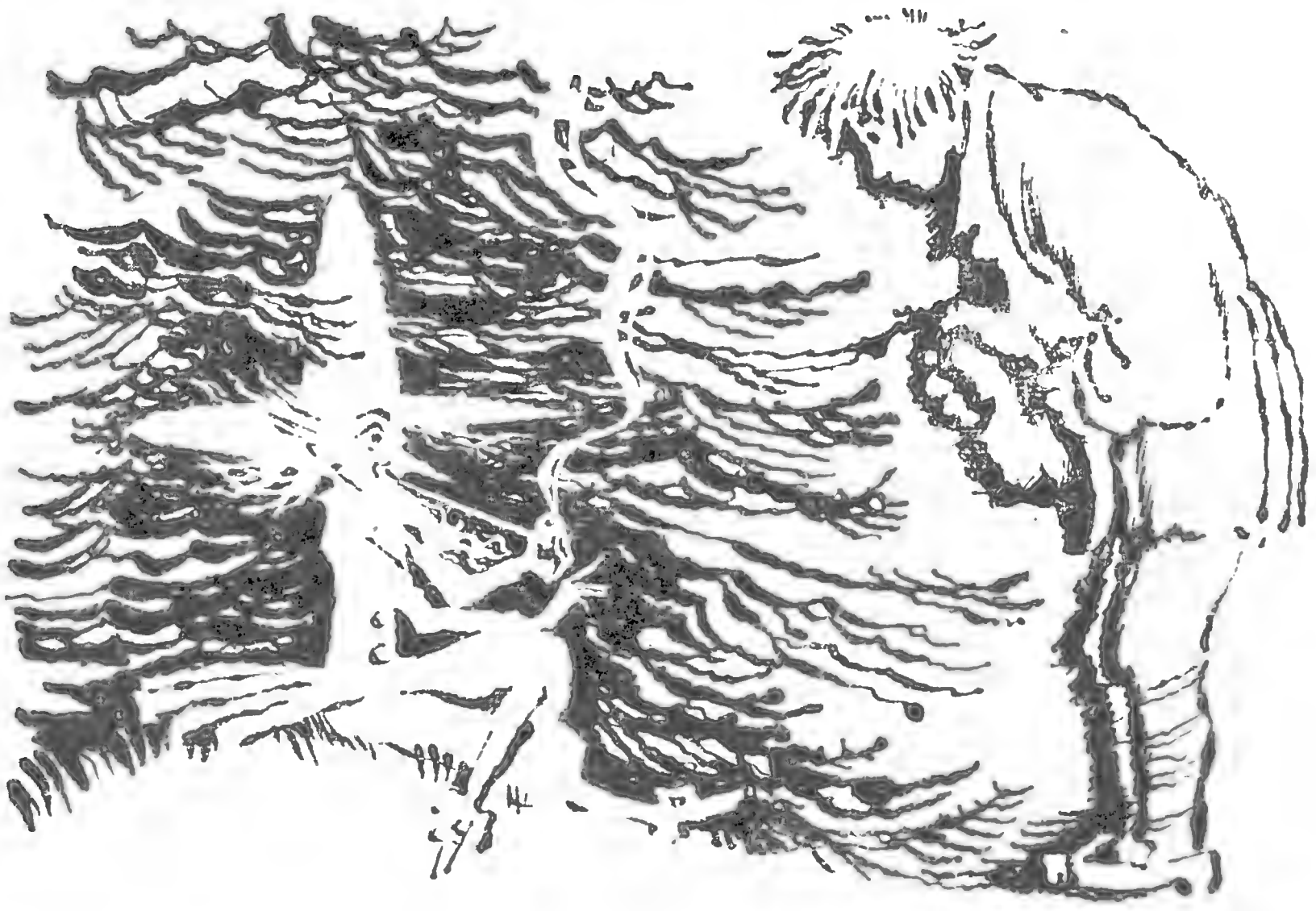
— Да разве ты со мной заключил эту сделку? — сказал Стеклянный Человечек.— Разве я Михель-Голландец, который раздает золотые монеты и каменные сердца? Ступай к нему, проси у него свое сердце!

Петер грустно покачал головой:

— Ах, он ни за что не отдаст мне его.

Стеклянный Человечек помолчал с минуту, потом вынул из кармана свою стеклянную трубку и закурил.

— Да,— сказал он, пуская кольца дыма,— конечно, он не захочет отдать тебе твое сердце... И хотя ты очень виноват перед



людьми, передо мной и перед собой, но желание твое не так уж глупо. Я помогу тебе. Слушай: силой ты от Михеля ничего не добьешься. Но перехитрить его не так уж трудно, хоть он и считает себя умнее всех на свете. Нагнись ко мне, я скажу, как выманить у него твое сердце.

И Стеклянный Человечек сказал Петеру на ухо все, что надо делать.

— Запомни же,— добавил он на прощание,— если в груди у тебя будет опять живое, горячее сердце и если перед опасностью оно не дрогнет и будет тверже каменного, никто не одолеет тебя, даже сам Михель-Великан. А теперь ступай и возвращайся ко мне с живым, бьющимся, как у всех людей, сердцем. Или совсем не возвращайся.

Так сказал Стеклянный Человечек и скрылся под корнями ели, а Петер быстрыми шагами направился к ущелью, где жил Михель-Великан.

Он трижды окликнул его по имени, и великан явился.

— Что, жену убил? — сказал он, смеясь.— Ну и ладно, поделом ей! Зачем не берегла мужнино добро! Только, пожалуй, приятель, тебе придется на время уехать из наших краев, а то заметят добрые соседи, что она пропала, поднимут шум, начнутся всякие разговоры... Не оберешься хлопот. Тебе, верно, деньги нужны?

— Да,— сказал Петер,— и на этот раз побольше. Ведь до Америки далеко.

— Ну, за деньгами дело не станет,— сказал Михель и повел Петера к себе в дом.

Он открыл сундук, стоявший в углу, вытащил несколько больших свертков золотых монет и, разложив их на столе, стал пересчитывать.

Петер стоял рядом и ссыпал в мешок сосчитанные монеты.

— А какой ты все-таки ловкий обманщик, Михель! — сказал он, хитро поглядев на великана.— Ведь я было совсем поверил, что ты вынул мое сердце и положил вместо него камень.

— То есть как это так? — сказал Михель и даже раскрыл рот от удивления.— Ты сомневаешься в том, что у тебя каменное сердце? Что же, оно у тебя бьется, замирает? Или, может быть, ты чувствуешь страх, горе, раскаяние?

— Да, немного,— сказал Петер.— Я прекрасно понимаю, приятель, что ты его попросту заморозил, и теперь оно понемногу оттаивает... Да и как ты мог, не причинив мне ни малейшего вреда, вынуть у меня сердце и заменить его каменным? Для этого надо быть настоящим волшебником!..

— Но уверяю тебя,— закричал Михель,— что я это сделал! Вместо сердца у тебя самый настоящий камень, а настоящее твое сердце лежит в стеклянной банке, рядом с сердцем Иезекииля Толстого. Если хочешь, можешь посмотреть сам.

Петер засмеялся.

— Есть на что смотреть! — сказал он небрежно.— Когда я путешествовал по чужим странам, я видел много диковин и почище твоих. Сердца, которые лежат у тебя в стеклянных банках, сделаны из воска. Мне случалось видеть даже восковых людей, не то что сердца! Нет, что там ни говори, а колдовать ты не умеешь!..

Михель встал и с грохотом отбросил стул.

— Иди сюда! — крикнул он, распахивая дверь в соседнюю комнату.— Смотри, что тут написано! Вот здесь — на этой банке! «Сердце Петера Мунка»! Приложи ухо к стеклу — послушай, как оно бьется. Разве восковое может так биться и трепетать?

— Конечно, может. Восковые люди на ярмарках ходят и говорят. У них внутри есть какая-то пружинка...

— Пружинка? А вот ты у меня сейчас узнаешь, что это за пружинка! Дурак! Не умеет отличить восковое сердце от своего собственного!..

Михель сорвал с Петера камзол, вытащил у него из груди камень и, не говоря ни слова, показал его Петеру. Потом он вытащил из банки сердце, подышал на него и осторожно положил туда, где ему и следовало быть.

В груди у Петера стало горячо, весело, и кровь быстрей побежала по жилам.

Он невольно приложил руку к сердцу, слушая его радостный стук.

Михель поглядел на него с торжеством.

— Ну, кто был прав? — спросил он.

— Ты,— сказал Петер.— Вот уж не думал, признаться, что ты такой колдун.

— То-то же!..— ответил Михель, самодовольно ухмыляясь.— Ну, теперь давай — я положу его на место.

— Оно и так на месте! — сказал Петер спокойно.— На этот раз ты остался в дураках, господин Михель, хоть ты и великий колдун. Я больше не отдам тебе моего сердца.

— Оно уже не твое! — закричал Михель.— Я купил его. Отдавай сейчас же мое сердце, жалкий воришка, а не то я раздавлю тебя на месте!

И, стиснув свой огромный кулак, он занес его над Петером. Но Петер даже головы не нагнул. Он поглядел Михелю прямо в глаза и твердо сказал:

— Не отдам!

Должно быть, Михель не ожидал такого ответа. Он отшатнулся от Петера, словно споткнулся на бегу. А сердца в банках застучали так громко, как стучат в мастерской часы, вынутые из своих оправ и футляров.

Михель обвел их своим холодным, мертвящим взглядом — и они сразу притихли.

Тогда он перевел взгляд на Петера и сказал тихо:

— Вот ты какой! Ну полно, полно, нечего корчить из себя храбреца. Уж кто-кто, а я-то знаю твое сердце, в руках держал... Жалкое сердечко — мягкое, слабенькое... Дрожит небось со страху... Давай-ка его сюда, в банке ему будет спокойнее.

— Не дам! — еще громче сказал Петер.

— Посмотрим!

И вдруг на том месте, где только что стоял Михель, появилась огромная скользкая зеленовато-бурая змея. В одно мгновение она обвилась кольцами вокруг Петера и, сдавив его грудь, словно железным обручем, заглянула ему в глаза холодными глазами Михеля.

— Отдаш-ш-шь? — прошипела змея.

— Не отдам! — сказал Петер.

В ту же секунду кольца, сжимавшие его, распались, змея исчезла, а из-под змеи дымными языками вырвалось пламя и со всех сторон окружило Петера.

Огненные языки лизали его одежду, руки, лицо...

— Отдашь, отдашь?..— шумело пламя.

— Нет! — сказал Петер.

Он почти задохнулся от нестерпимого жара и серного дыма, но сердце его было твердо.

Пламя сникло, и потоки воды, бурля и бушуя, обрушились на Петера со всех сторон.

В шуме воды слышались те же слова, что и в шипенье змеи, и в свисте пламени: «Отдашь? Отдашь?»

С каждой минутой вода подымалась все выше и выше. Вот уже она подступила к самому горлу Петера...

— Отдашь?

— Не отдам! — сказал Петер.

Сердце его было тверже каменного.

Вода пенистым гребнем встала перед его глазами, и он чуть было не захлебнулся.

Но тут какая-то невидимая сила подхватила Петера, подняла над водой и вынесла из ущелья.

Он и очнуться не успел, как уже стоял по ту сторону канавы, которая разделяла владения Михеля-Великана и Стеклянного Человечка.

Но Михель-Великан еще не сдался. Вдогонку Петеру он послал бурю.

Как подкошенные травы, валились столетние сосны и ели. Молнии раскалывали небо и падали на землю, словно огненные стрелы. Одна упала справа от Петера, в двух шагах от него, другая — слева, еще ближе.

Петер невольно закрыл глаза и ухватился за ствол дерева.

— Грози, грози! — крикнул он, с трудом переводя дух.— Сердце мое у меня, и я его тебе не отдам!

И вдруг все разом стихло. Петер поднял голову и открыл глаза.

Михель неподвижно стоял у границы своих владений. Руки у него опустились, ноги словно вросли в землю. Видно было, что волшебная сила покинула его. Это был уже не прежний великан, повелевающий землей, водой, огнем и воздухом, а дряхлый, сгорбленный, изъеденный годами старик в ветхой одежде плотогона. Он оперся на свой багор, как на костыль, вобрал голову в плечи, съежился...

С каждой минутой на глазах у Петера Михель становился все меньше и меньше. Вот он стал тише воды, ниже травы и наконец совсем прижался к земле. Только по шелесту и колебанию стебельков можно было заметить, как он уполз червяком в свое логово.

...Петер еще долго смотрел ему вслед, а потом медленно побрел на вершину горы к старой ели.

Сердце у него в груди билось, радуясь тому, что оно опять может биться.

Но чем дальше он шел, тем печальнее становилось у него на душе. Он вспомнил все, что с ним случилось за эти годы,— вспомнил старуху мать, которая приходила к нему за жалким

подаянием, вспомнил бедняков, которых травил собаками, вспомнил Лизбет... И горькие слезы покатились у него из глаз.

Когда он подошел к старой ели, Стеклянный Человечек сидел на мшистой кочке под ветвями и курил свою трубочку.

Он посмотрел на Петера ясными, прозрачными, как стекло, глазами и сказал:

— О чем ты плачешь, угольщик Мунк? Разве ты не рад, что в груди у тебя опять бьется живое сердце?

— Ах, оно не бьется, оно разрывается на части,— сказал Петер.— Лучше бы мне не жить на свете, чем помнить, как я жил до сих пор. Матушка никогда не простит меня, а у бедной Лизбет я даже не могу попросить прощения. Лучше убейте меня, господин Стеклянный Человечек,— по крайней мере, этой постыдной жизни наступит конец. Вот оно, мое последнее желание!

— Хорошо,— сказал Стеклянный Человечек.— Если ты этого хочешь, пусть будет по-твоему. Сейчас я принесу топор.

Он неторопливо выколотил трубочку и спрятал ее в карман. Потом встал и, приподняв мохнатые колючие ветви, исчез где-то за елью.

А Петер, плача, опустился на траву. О жизни он нисколько не жалел и терпеливо ждал своей последней минуты.

И вот за спиной у него раздался легкий шорох.

«Идет! — подумал Петер.— Сейчас всему конец!»

И, закрыв лицо руками, он еще ниже склонил голову.

— Петер Мунк! — услышал он голос Стеклянного Человечка, тонкий и звонкий, как хрусталь.— Петер Мунк! Оглянись вокруг в последний раз.

Петер поднял голову и невольно вскрикнул. Перед ним стояли его мать и жена.

— Лизбет, ты жива! — закричал Петер, задыхаясь от радости.— Матушка! И вы тут!.. Как мне вымолить у вас прощенье?!

— Они уже простили тебя, Петер,— сказал Стеклянный Человечек.— Да, простили, потому что ты раскаялся от всего сердца. А ведь оно у тебя теперь не каменное. Воротись домой и будь по-прежнему угольщиком. Если ты станешь уважать свое ремесло, то и люди будут уважать тебя, и всякий с радостью пожмет твою почерневшую от угля, но чистую руку, даже если у тебя не будет бочек с золотом.

С этими словами Стеклянный Человечек исчез.

А Петер с женой и матерью пошел домой.

От богатой усадьбы господина Петера Мунка не осталось и следа. Во время последней бури молния ударила прямо в дом и сожгла его дотла. Но Петер нисколько не жалел о своем потерянном богатстве.

До старой отцовской хижины было недалеко, и он весело зашагал туда, вспоминая то славное время, когда был беспечным и веселым угольщиком...

Как же удивился он, когда увидел вместо бедной, покривившейся хижины новый красивый домик. В палисаднике цвели цветы, на окошках белели накрахмаленные занавески, а внутри все было так прибрано, словно кто-то поджидал хозяев. В печке весело потрескивал огонь, стол был накрыт, а на полках вдоль стен переливалась всеми цветами радуги разноцветная стеклянная посуда.

— Это все подарил нам Стеклянный Человечек! — воскликнул Петер.

И началась новая жизнь в новом домике. С утра до вечера Петер работал у своих угольных ям и возвращался домой усталый, но веселый — он знал, что дома его ждут с радостью и нетерпением.

За карточным столом и перед трактирной стойкой его больше никогда не видели. Но свои воскресные вечера он проводил теперь веселее, чем раньше. Двери его дома были широко открыты для гостей, и соседи охотно заходили в дом угольщика Мунка, потому что их встречали хозяйки, гостеприимные и приветливые, и хозяин, добродушный, всегда готовый порадоваться с приятелем его радости или помочь ему в беде.

А через год в новом домике произошло большое событие: у Петера и Лизбет родился сын, маленький Петер Мунк.

— Кого ты хочешь позвать в крестные отцы? — спросила у Петера старуха мать.

Петер ничего не ответил. Он смыл угольную пыль с лица и рук, надел праздничный кафтан, взял праздничную шляпу и пошел на Еловую гору.

Возле знакомой старой ели он остановился и, низко кланяясь, произнес заветные слова:

— Под косматой елью,
В темном подземелье...

Он ни разу не сбился, ничего не забыл и сказал все слова, как надо, по порядку, от первого до последнего.

Но Стеклянный Человечек не показывался.

— Господин Стеклянный Человечек! — закричал Петер.— Мне ничего не надо от вас, я ни о чем не прошу и пришел сюда только для того, чтобы позвать вас в крестные отцы к моему новорожденному сыночку!.. Слышите вы меня, господин Стеклянный Человечек?..

Но кругом все было тихо. Стеклянный Человечек не отозвался и тут.

Только легкий ветер пробежал по верхушкам елей и сбросил к ногам Петера несколько шишек.

— Ну что ж, возьму на память хоть эти еловые шишки, если уж хозяин Еловой горы не хочет больше показываться,— сказал сам себе Петер и, поклонившись на прощание большой ели, пошел домой.

Вечером старая матушка Мунк, убирая в шкаф праздничный кафтан сына, заметила, что карманы его чем-то набиты. Она вывернула их, и оттуда выпало несколько больших еловых шишек.

Ударившись об пол, шишки рассыпались, и все их чешуйки превратились в новенькие блестящие талеры, среди которых не оказалось ни одного фальшивого.

Это был подарок Стеклянного Человечка маленькому Петеру Мунку.

Еще много лет в мире и согласии прожила на свете семья угольщика Мунка. Маленький Петер вырос, большой Петер состарился.

И когда молодежь окружала старика и просила его рассказать что-нибудь о прошлых днях, он рассказывал им эту историю и всегда кончал ее так:

— Знал я на своем веку и богатство и бедность. Беден я был, когда был богат, богат — когда беден. Были у меня раньше каменные палаты, да зато и сердце в моей груди было каменное. А теперь у меня только домик с печью — да зато сердце человечье.

МАЛЕНЬКИЙ МУК

В городе Никее, на моей родине, жил человек, которого звали Маленький Мук. Хотя я был тогда мальчиком, я очень хорошо его помню, тем более что мой отец как-то задал мне из-за него здоровую трепку. В то время Маленький Мук был уже стариком, но рост имел крошечный. Вид у него был довольно смешной: на маленьком, тощем тельце торчала огромная голова, гораздо больше, чем у других людей.

Маленький Мук жил в большом старом доме совсем один. Даже обед он себе сам стряпал. Каждый полдень над его домом появлялся густой дым; не будь этого, соседи не знали бы, жив карлик или умер. Маленький Мук выходил на улицу только раз в месяц — каждое первое число. Но по вечерам люди часто видели, как Маленький Мук гуляет по плоской крыше своего дома. Снизу казалось, будто одна огромная голова движется взад и вперед по крыше.

Я и мои товарищи были злые мальчишки и любили дразнить

прохожих. Когда Маленький Мук выходил из дому, для нас был настоящий праздник. В этот день мы толпой собирались перед его домом и ждали, пока он выйдет. Вот осторожно раскрывалась дверь. Из нее высовывалась большая голова в огромной чалме. За головой следовало все тело в старом, полинялом халате и просторных шароварах. У широкого пояса болтался кинжал, такой длинный, что трудно было сказать — кинжал ли прицеплен к Муку или Мук прицеплен к кинжалу.

Когда Мук наконец выходил на улицу, мы приветствовали его радостными криками и плясали вокруг него точно шальные. Мук с важностью кивал нам головой и медленно шел по улице, шлепая туфлями. Туфли у него были прямо огромные — таких никто никогда раньше не видал. А мы, мальчишки, бежали за ним и кричали: «Маленький Мук! Маленький Мук!» Мы даже сочинили про него такую песенку:

— Крошка Мук, крошка Мук,
Оглянись скорей вокруг,
Оглянись скорей вокруг
И поймай нас, крошка Мук!

Мы часто потешались над бедным карликом, и приходится сознаться, хоть мне и стыдно, что я больше всех обижал его. Я всегда норовил схватить Мука за полу халата, а раз даже нарочно наступил ему на туфлю так, что бедняга упал. Это показалось мне очень смешно, но у меня сразу пропала охота смеяться, когда я увидел, что Маленький Мук, с трудом поднявшись, пошел прямо к дому моего отца. Он долго не выходил оттуда. Я спрятался за дверь и с нетерпением ожидал, что будет дальше.

Наконец дверь открылась, и карлик вышел. Отец проводил его до порога, почтительно поддерживая под руку, и низко поклонился ему на прощание. Я чувствовал себя не очень-то приятно и долго не решался вернуться домой. Наконец голод пересилил мой страх, и я робко проскользнул в дверь, не смея поднять голову.

— Ты, я слышал, обижаешь Маленького Мука,— строго сказал мне отец.— Я расскажу тебе его приключения, и ты, наверно, больше не станешь смеяться над бедным карликом. Но сначала ты получишь то, что тебе полагается.

А полагалась мне за такие дела хорошая порка. Отсчитав шлепков сколько следует, отец сказал:

— Теперь слушай внимательно.

И он рассказал мне историю Маленького Мука.

Отец Мука (на самом деле его звали не Мук, а Мукра) жил в Никее и был человек почтенный, но небогатый. Так же как

Мук, он всегда сидел дома и редко выходил на улицу. Он очень не любил Мука за то, что тот был карлик, и ничему не учил его.

— Ты уже давно сносил свои детские башмаки,— говорил он карлику,— а все только шалишь и бездельничаешь.

Как-то раз отец Мука упал на улице и сильно ушибся. После этого он заболел и вскоре умер. Маленький Мук остался один, без гроша. Родственники отца выгнали Мука из дому и сказали:

— Иди по свету, может, и найдешь свое счастье.

Мук выпросил себе только старые штаны и куртку — все, что осталось после отца. Отец у него был высокий и толстый, но карлик недолго думая укоротил и куртку и штаны и надел их. Правда, они были слишком широки, но с этим уж карлик ничего не мог поделать. Он обмотал голову вместо чалмы полотенцем, прицепил к поясу кинжал, взял в руку палку и пошел куда глаза глядят.

Скоро он вышел из города и целых два дня шел по большой дороге. Он очень устал и проголодался. Еды у него с собой не было, и он жевал коренья, которые росли в поле. А ночевать ему приходилось прямо на голой земле.

На третий день утром он увидел с вершины холма большой красивый город, украшенный флагами и знаменами. Маленький Мук собрал последние силы и пошел к этому городу.

«Может быть, я наконец найду там свое счастье»,— говорил он себе.

Хотя казалось, что город совсем близко, Муку пришлось идти до него целое утро. Только в полдень он наконец достиг городских ворот. Город был весь застроен красивыми домами. Широкие улицы были полны народа. Маленькому Муку очень хотелось есть, но никто не открыл перед ним двери и не пригласил его зайти и отдохнуть.

Карлик уныло брел по улицам, еле волоча ноги. Он проходил мимо одного высокого красивого дома, и вдруг в этом доме распахнулось окно и какая-то старуха, высунувшись, закричала:

— Сюда, сюда —
Готова еда!
Столик накрыт,
Чтоб каждый был сыт.
Соседи, сюда —
Готова еда!

И сейчас же двери дома открылись, и туда стали входить собаки и кошки — много-много кошек и собак. Мук подумал, подумал и тоже вошел. Как раз перед ним вошли двое котят, и он решил не отставать от них — котята-то, уж наверно, знали, где кухня.

Мук поднялся наверх по лестнице и увидел ту старуху, которая кричала из окна.

— Что тебе нужно? — сердито спросила старуха.

— Ты звала обедать,— сказал Мук,— а я очень голоден. Вот я и пришел.

Старуха громко рассмеялась и сказала:

— Откуда ты взялся, парень? Все в городе знают, что я варю обед только для моих милых кошек. А чтобы им не было скучно, я приглашаю к ним соседей.

— Накорми уж и меня заодно,— попросил Мук.

Он рассказал старухе, как ему пришлось туго, когда умер его отец, и старуха пожалела его. Она досыта накормила карлика и, когда Маленький Мук наелся и отдохнул, сказала ему:

— Знаешь что, Мук? Оставайся-ка ты у меня служить. Работа у меня легкая, и жить тебе будет хорошо.

Муку понравился кошачий обед, и он согласился. У госпожи Ахавзи (так звали старуху) было два кота и четыре кошки. Каждое утро Мук расчесывал им шерстку и натирал ее драгоценными мазями. За обедом он подавал им еду, а вечером укладывал их спать на мягкой перине и укрывал бархатным одеялом.

Кроме кошек, в доме жили еще четыре собаки. За ними карлику тоже приходилось смотреть, но с собаками возни было меньше, чем с кошками. Кошек госпожа Ахавзи любила, точно родных детей.

Маленькому Муку было у старухи так же скучно, как у отца: кроме кошек и собак, он никого не видел.

Сначала карлику все-таки жилось неплохо. Работы не было почти никакой, а кормили его сытно, и старуха была им очень довольна. Но потом кошки что-то избаловались. Только старуха за дверь — они сейчас же давай носиться по комнатам как бешеные. Все вещи разбросают да еще посуду дорогую перебьют. Но стоило им услышать шаги Ахавзи на лестнице, они мигом прыг на перину, свернутся калачиком, подожмут хвосты и лежат как ни в чем не бывало. А старуха видит, что в комнате разгром, и ну ругать Маленького Мука. Пусть сколько хочет оправдывается — она больше верит своим кошкам, чем слуге. По кошкам сразу видно, что они ни в чем не виноваты.

Бедный Мук очень горевал и наконец решил уйти от старухи. Госпожа Ахавзи обещала платить ему жалованье, да все не платила.

«Вот получу с нее жалованье,— думал Маленький Мук,— сразу уйду. Если бы я знал, где у нее спрятаны деньги, давно бы сам взял, сколько мне следует».

В доме старухи была маленькая комнатка, которая всегда стояла запертой. Муку было очень любопытно, что такое в ней спрятано. И вдруг ему пришло на ум, что в этой комнате, может

быть, лежат старухины деньги. Ему еще больше захотелось войти туда.

Как-то раз утром, когда Ахавзи ушла из дому, к Муку подбежала одна из собачонок и схватила его за полу (старуха очень не любила эту собачонку, а Мук, напротив, часто гладил и ласкал ее). Собачонка тихо визжала и тянула карлика за собой. Она привела его в спальню старухи и остановилась перед маленькой дверью, которую Мук никогда раньше не замечал.

Собака толкнула дверь и вошла в какую-то комнатку; Мук пошел за ней и застыл на месте от удивления: он оказался в той самой комнате, куда ему так давно хотелось попасть.

Вся комната была полна старых платьев и диковинной старинной посуды. Муку особенно понравился один кувшин — хрустальный, с золотым рисунком. Он взял его в руки и начал рассматривать, и вдруг крышка кувшина — Мук и не заметил, что кувшин был с крышкой,— упала на пол и разбилась.

Бедный Мук не на шутку испугался. Теперь уж рассуждать не приходилось — надо было бежать: когда старуха вернется и увидит, что он разбил крышку, она изобьет его до полусмерти.

Мук в последний раз оглядел комнату, и вдруг он увидел в углу туфли. Они были очень большие и некрасивые, но его собственные башмаки совсем развалились. Муку даже понравилось, что туфли такие большие,— когда он их наденет, все увидят, что он уже не ребенок.

Он быстро скинул башмаки с ног и надел туфли. Рядом с туфлями стояла тоненькая тросточка с львиной головой.

«Эта тросточка все равно стоит здесь без дела,— подумал Мук.— Возьму уж и тросточку кстати».

Он захватил тросточку и бегом побежал к себе в комнату. В одну минуту он надел плащ и чалму, прицепил кинжал и помчался вниз по лестнице, торопясь уйти до возвращения старухи.

Выйдя из дома, он пустился бежать и мчался без оглядки, пока не выбежал из города в поле. Тут карлик решил немного отдохнуть. И вдруг он почувствовал, что не может остановиться. Ноги у него бежали сами и тащили его, как он ни старался их задержать. Он и падать пробовал, и поворачиваться — ничего не помогало. Наконец он понял, что все дело в его новых туфлях. Это они толкали его вперед и не давали остановиться.

Мук совсем выбился из сил и не знал, что ему делать. В отчаянии он взмахнул руками и закричал, как кричат извозчики:

— Тпру! Тпру! Стой!

И вдруг туфли сразу остановились, и бедный карлик со всего маха упал на землю.

Он до того устал, что сразу заснул. И приснился ему удивительный сон. Он увидел во сне, что маленькая собачка, которая привела его в потайную комнату, подошла к нему и сказала:

«Милый Мук, ты еще не знаешь, какие у тебя чудесные туфли. Стоит тебе три раза повернуться на каблуке, и они перенесут тебя, куда ты захочешь. А тросточка поможет тебе искать клады. Там, где зарыто золото, она стукнет о землю три раза, а там, где зарыто серебро, она стукнет два раза».

Когда Мук проснулся, он сразу захотел проверить, правду ли сказала маленькая собачонка. Он поднял левую ногу и попробовал повернуться на правом каблуке, но упал и больно ударился носом о землю. Он попытался еще и еще раз и наконец научился вертеться на одном каблуке и не падать. Тогда он потуже затянул пояс, быстро перевернулся три раза на одной ноге и сказал туфлям:

— Перенесите меня в соседний город.

И вдруг туфли подняли его на воздух и быстро, как ветер, побежали по облакам. Не успел Маленький Мук опомниться, как очутился в городе, на базаре.

Он присел на завалинке около какой-то лавки и стал думать, как бы ему раздобыть хоть немного денег. У него, правда, была волшебная тросточка, но как узнать, в каком месте спрятано золото или серебро, чтобы пойти и найти его? На худой конец, он мог бы показываться за деньги, но для этого он слишком горд.

И вдруг Маленький Мук вспомнил, что он умеет теперь быстро бегать.

«Может быть, мои туфли принесут мне доход,— подумал он.— Попробую-ка я наняться к королю в скороходы».

Он спросил хозяина лавки, как пройти во дворец, и через каких-нибудь пять минут уже подходил к дворцовым воротам. Привратник спросил его, что ему нужно, и, узнав, что карлик хочет поступить к королю на службу, повел его к начальнику рабов. Мук низко поклонился начальнику и сказал ему:

— Господин начальник, я умею бегать быстрее всякого скорохода. Возьмите меня к королю в гонцы.

Начальник презрительно посмотрел на карлика и сказал с громким смехом:

— У тебя ножки тоненькие, как палочки, а ты хочешь поступить в скороходы! Убирайся подобру-поздорову. Я не для того поставлен начальником рабов, чтобы всякий урод надо мной потешался!

— Господин начальник,— сказал Маленький Мук,— я не смеюсь над вами. Давайте спорить, что я обгоню вашего самого лучшего скорохода.

Начальник рабов расхохотался еще громче прежнего. Карлик показался ему до того забавным, что он решил не прогонять его и рассказать о нем королю.

— Ну ладно,— сказал он,— так уж и быть, я испытаю тебя.

Ступай на кухню и готовься к состязанию. Тебя там накормят и напоят.

Потом начальник рабов отправился к королю и рассказал ему про диковинного карлика. Король захотел повеселиться. Он похвалил начальника рабов за то, что тот не отпустил Маленького Мука, и приказал ему устроить состязание вечером на большом лугу, чтобы все его приближенные могли прийти посмотреть.

Принцы и принцессы услышали, какое будет вечером интересное зрелище, и рассказали своим слугам, а те разнесли эту новость по всему дворцу. И вечером все, у кого только были ноги, пришли на луг посмотреть, как будет бегать этот хвастун карлик.

Когда король с королевой сели на свои места, Маленький Мук вышел на середину луга и отвесил низкий поклон. Со всех сторон раздался громкий хохот. Уж очень этот карлик был смешон в своих широких шароварах и длинных-предлинных туфлях. Но Маленький Мук нисколько не смутился. Он с гордым видом оперся на свою тросточку, подбоченился и спокойно ждал скорохода.

Вот наконец появился и скороход. Начальник рабов выбрал самого быстрого из королевских бегунов. Ведь Маленький Мук сам захотел этого.

Скороход презрительно посмотрел на Мука и стал с ним рядом, ожидая знака начинать состязание.

— Раз, два, три! — крикнула принцесса Амарза, старшая дочь короля, и взмахнула платком.

Оба бегуна сорвались с места и помчались как стрела. Сначала скороход немножко обогнал карлика, но вскоре Мук настиг его и опередил. Он уже давно стоял у цели и обмахивался концом своей чалмы, а королевский скороход все еще был далеко. Наконец и он добежал до конца и как мертвый повалился на землю. Король и королева захлопали в ладоши, и все придворные в один голос закричали:

— Да здравствует победитель — Маленький Мук!

Маленького Мука подвели к королю. Карлик низко поклонился ему и сказал:

— О могущественный король! Я сейчас показал тебе только часть моего искусства! Возьми меня к себе на службу.

— Хорошо,— сказал король.— Я назначаю тебя моим личным скороходом. Ты всегда будешь находиться при мне и исполнять мои поручения.

Маленький Мук очень обрадовался — наконец-то он нашел свое счастье! Теперь он может жить безбедно и спокойно.

Король высоко ценил Мука и постоянно оказывал ему милости. Он посылал карлика с самыми важными поручениями, и никто лучше Мука не умел их исполнять. Но остальные коро-

левские слуги были недовольны. Им очень не нравилось, что ближе всех к королю стал какой-то карлик, который только и умеет, что бегать. Они то и дело сплетничали на него королю, но король не хотел их слушать. Он все больше и больше доверял Муку и вскоре назначил его главным скороходом.

Маленького Мука очень огорчало, что придворные ему так завидуют. Он долго старался что-нибудь придумать, чтобы они его полюбили. И наконец он вспомнил про свою тросточку, о которой совсем было позабыл.

«Если мне удастся найти клад,— раздумывал он,— эти гордые господа, наверно, перестанут меня ненавидеть. Говорят, что старый король, отец теперешнего, зарыл в своем саду большие богатства, когда к его городу подступили враги. Он, кажется, так и умер, никому не сказав, где закопаны его сокровища».

Маленький Мук только об этом и думал. Он целыми днями ходил по саду с тросточкой в руках и искал золото старого короля.

Как-то раз он гулял в отдаленном углу сада, и вдруг тросточка у него в руках задрожала и три раза ударила о землю. Маленький Мук весь затрясся от волнения. Он побежал к садовнику и выпросил у него большой заступ, а потом вернулся во дворец и стал ждать, когда стемнеет. Как только наступил вечер, карлик отправился в сад и начал копать в том месте, где стукнула палочка. Заступ оказался слишком тяжел для слабых рук карлика, и он за час выкопал яму глубиной в каких-нибудь пол-аршина.

Долго еще трудился Маленький Мук, и наконец его заступ ударился обо что-то твердое. Карлик наклонился над ямой и нащупал руками в земле какую-то железную крышку. Он поднял эту крышку и обомлел. При свете луны перед ним засверкало золото. В яме стоял большой горшок, доверху наполненный золотыми монетами.

Маленький Мук хотел вытащить горшок из ямы, но не мог: не хватило сил. Тогда он напихал в карманы и за пояс как можно больше золотых и потихоньку вернулся во дворец. Он спрятал деньги у себя в постели под периной и лег спать довольный и радостный.

На другое утро Маленький Мук проснулся и подумал: «Теперь все переменится и мои враги будут меня любить».

Он принялся раздавать свое золото направо и налево, но придворные стали только еще больше ему завидовать. Главный повар Ахули злобно шептал:

— Смотрите, Мук делает фальшивые деньги.

Ахмед, начальник рабов, говорил:

— Он выпросил их у короля.

А казначей Архаз, самый злой враг карлика, который уже

давно тайком запускал руку в королевскую сокровищницу, кричал на весь дворец:

— Карлик украл золото из королевской казны!

Чтобы наверняка узнать, откуда у Мука взялись деньги, его враги сговорились между собой и придумали такой план.

У короля был один любимый слуга, Корхуз. Он всегда подавал королю кушанья и наливал вино в его кубок. И вот как-то раз этот Корхуз пришел к королю грустный и печальный. Король сразу заметил это и спросил:

— Что с тобой сегодня, Корхуз? Почему ты такой грустный?

— Я грустный потому, что король лишил меня своей милости,— ответил Корхуз.

— Что ты болтаешь, мой добрый Корхуз! — сказал король.— С каких это пор я лишил тебя своей милости?

— С тех пор, ваше величество, как к вам поступил ваш главный скороход,— ответил Корхуз.— Вы осыпаете его золотом, а нам, вашим верным слугам, не даете ничего.

И он рассказал королю, что у Маленького Мука появилось откуда-то много золота и что карлик без счету раздает деньги всем придворным. Король очень удивился и велел позвать к себе Архаза — своего казначея и Ахмеда — начальника рабов. Те подтвердили, что Корхуз говорит правду. Тогда король приказал своим сыщикам потихоньку проследить и узнать, откуда карлик достает деньги.

На беду, у Маленького Мука как раз в этот день вышло все золото, и он решил сходить в свою сокровищницу. Он взял заступ и отправился в сад. Сыщики, конечно, пошли за ним, Корхуз и Архаз — тоже. В ту самую минуту, когда Маленький Мук наложил полный халат золота и хотел идти обратно, они бросились на него, связали ему руки и повели к королю.

А этот король очень не любил, когда его будили среди ночи. Он встретил своего главного скорохода злой и недовольный и спросил сыщиков:

— Где вы накрыли этого бесчестного карлика?

— Ваше величество,— сказал Архаз,— мы поймали его как раз в ту минуту, когда он зарывал это золото в землю.

— Правду ли они говорят? — спросил король карлика.— Откуда у тебя столько денег?

— Милостивый король,— простодушно ответил карлик,— я ни в чем не виноват. Когда ваши люди меня схватили и связали мне руки, я не зарывал это золото в яму, а, напротив, вынимал его оттуда.

Король решил, что Маленький Мук все лжет, и страшно рассердился.

— Несчастный! — закричал он.— Ты сначала меня обокрал, а теперь хочешь обмануть такой глупой ложью! Казначей! Прав-

да ли, что здесь как раз столько золота, сколько не хватает в моей казне?

— В вашей казне, милостивый король, не хватает гораздо больше,— ответил казначей.— Могу поклясться, что это золото украдено из королевской сокровищницы.

— Заковать карлика в железные цепи и посадить его в башню! — закричал король.— А ты, казначей, пойди в сад, возьми все золото, которое найдешь в яме, и положи его обратно в казну.

Казначей исполнил приказание короля и принес горшок с золотом в сокровищницу. Он принялся считать блестящие монетки и пересыпать их в мешки. Наконец в горшке больше ничего не осталось. Казначей в последний раз взглянул в горшок и увидел на дне его бумажку, на которой было написано:

ВРАГИ НАПАЛИ НА МОЮ СТРАНУ Я ЗАКОПАЛ В ЭТОМ МЕСТЕ ЧАСТЬ МОИХ СОКРОВИЩ. ПУСТЬ ЗНАЕТ ВСЯКИЙ, КТО НАЙДЕТ ЭТО ЗОЛОТО, ЧТО ЕСЛИ ОН СЕЙЧАС ЖЕ НЕ ОТДАСТ ЕГО МОЕМУ СЫНУ, ОН ЛИШИТСЯ МИЛОСТИ СВОЕГО КОРОЛЯ.

Король Сади

Хитрый казначей разорвал бумажку и решил никому не говорить про нее.

А Маленький Мук сидел в высокой дворцовой башне и думал, как ему спастись. Он знал, что за кражу королевских денег его должны казнить, но ему все-таки не хотелось рассказывать королю про волшебную трость: ведь король сейчас же ее отнимет, а с нею вместе, пожалуй, и туфли. Туфли все еще были у карлика на ногах, но от них не было никакого проку — Маленький Мук был прикован к стене короткой железной цепью и никак не мог повернуться на каблуке.

Утром в башню пришел палач и приказал карлику готовиться к казни. Маленький Мук понял, что раздумывать нечего — надо открыть королю свою тайну. Ведь все-таки лучше жить без волшебной палочки и даже без туфель-скороходов, чем умереть на плахе.

Он попросил короля выслушать его наедине и все ему рассказал. Король сначала не поверил и решил, что карлик все это выдумал.

— Ваше величество,— сказал тогда Маленький Мук,— обещайте мне пощаду, и я вам докажу, что говорю правду.

Королю было интересно проверить, обманывает его Мук или нет. Он велел потихоньку закопать в своем саду несколько золотых монет и приказал Муку найти их. Карлику не пришлось долго искать. Как только он дошел до того места, где было

закопано золото, палочка три раза ударила о землю. Король понял, что казначей сказал ему неправду, и велел его казнить вместо Мука. А карлика он позвал к себе и сказал:

— Я обещал не убивать тебя и сдержу свое слово. Но ты, наверно, открыл мне не все твои тайны. Ты будешь сидеть в башне до тех пор, пока не скажешь мне, отчего ты так быстро бегаешь.

Бедному карлику очень не хотелось возвращаться в темную, холодную башню. Он рассказал королю про свои чудесные туфли, но самого главного — как их остановить — не сказал. Король решил сам испытать эти туфли. Он надел их, вышел в сад и как бешеный помчался по дорожке. Скоро он захотел остановиться, но не тут-то было. Напрасно он хватался за кусты и деревья — туфли все тащили и тащили его вперед. А карлик стоял и посмеивался. Ему было очень приятно хоть немного отомстить этому жестокому королю. Наконец король выбился из сил и упал на землю.

Опомнившись немного, он вне себя от ярости набросился на карлика.

— Так вот как ты обращаешься со своим королем! — закричал он.— Я обещал тебе жизнь и свободу, но если ты через двенадцать часов еще будешь на моей земле, я тебя поймаю, и тогда уж не рассчитывай на пощаду. А туфли и тросточку я возьму себе.

Бедному карлику ничего не оставалось, как поскорей убраться из дворца. Печально плелся он по городу. Он был такой же бедный и несчастный, как прежде, и горько проклинал свою судьбу.

Страна этого короля была, к счастью, не очень большая, так что уже через восемь часов карлик дошел до границы. Теперь он был в безопасности, и ему захотелось отдохнуть. Он свернул с дороги и вошел в лес. Там он отыскал хорошее местечко около пруда, под густыми деревьями, и лег на траву.

Маленький Мук так устал, что почти сейчас же заснул. Спал он очень долго и, когда проснулся, почувствовал, что голоден. Над его головой, на деревьях, висели винные ягоды — спелые, мясистые, сочные. Карлик взобрался на дерево, сорвал несколько ягод и с удовольствием съел их. Потом ему захотелось пить. Он подошел к пруду, наклонился над водой и весь похолодел: из воды на него смотрела огромная голова с ослиными ушами и длинным-предлинным носом.

Маленький Мук в ужасе схватился за уши. Они и вправду были длинные, как у осла.

— Так мне и надо! — закричал бедный Мук.— У меня было в руках мое счастье, а я, как осел, погубил его.

Он долго ходил под деревьями, все время ощупывая свои

уши, и наконец опять проголодался. Пришлось снова приняться за винные ягоды. Ведь больше есть было нечего.

Наевшись досыта, Маленький Мук по привычке поднес руки к голове и радостно вскрикнул: вместо длинных ушей у него опять были его собственные уши. Он сейчас же побежал к пруду и посмотрелся в воду. Нос у него тоже стал такой же, как прежде.

«Как же это могло случиться?» — подумал карлик. И вдруг он сразу все понял: первое дерево, с которого он поел ягоды, наградило его ослиными ушами, а от ягод второго они исчезли.

Маленький Мук мигом сообразил, какое ему опять привалило счастье. Он нарвал с обоих деревьев столько ягод, сколько мог унести, и пошел обратно в страну жестокого короля. В ту пору была весна, и ягоды считались редкостью.

Вернувшись в тот город, где жил король, Маленький Мук переоделся, чтобы никто его не мог узнать, наполнил целую корзину ягодами с первого дерева и пошел к королевскому дворцу. Дело было утром, и перед воротами дворца сидело много торговок со всякими припасами. Мук также уселся рядом с ними. Вскоре из дворца вышел главный повар и принялся обходить торговок и осматривать их товар. Дойдя до Маленького Мука, повар увидел винные ягоды и очень обрадовался.

— Ага,— сказал он,— вот подходящее лакомство для короля! Сколько ты хочешь за всю корзину?

Маленький Мук не стал дорожиться, и главный повар взял корзину с ягодами и ушел. Только он успел уложить ягоды на блюдо, как король потребовал завтрак. Он ел с большим удовольствием и то и дело похваливал своего повара. А повар только посмеивался себе в бороду и говорил:

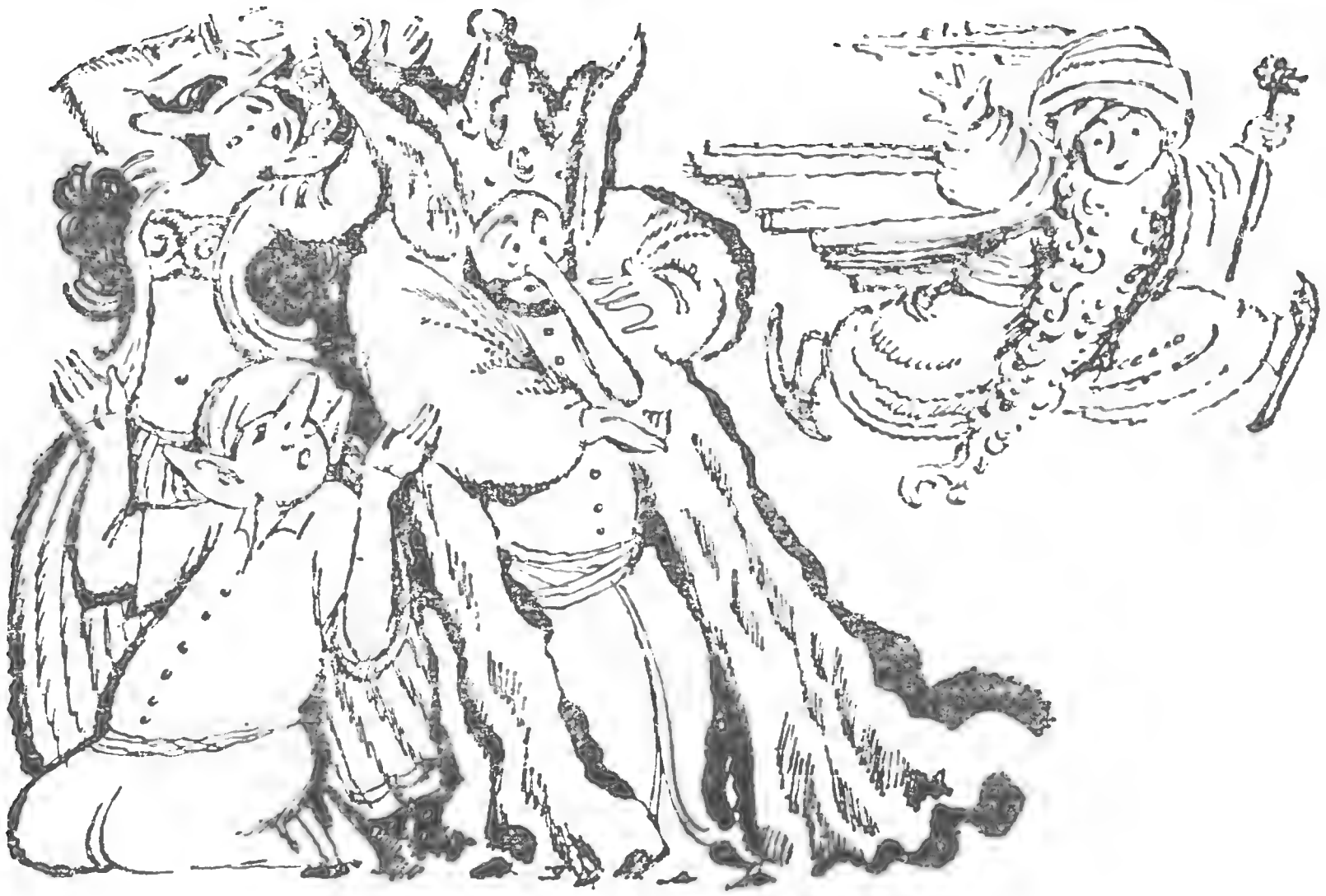
— Подождите, ваше величество, самое вкусное блюдо еще впереди.

Все, кто был за столом — придворные, принцы и принцессы,— напрасно старались догадаться, какое лакомство приготовил им сегодня главный повар. И когда наконец на стол подали хрустальное блюдо, полное спелых ягод, все в один голос воскликнули: «Ах!» — и даже захлопали в ладоши.

Король сам взялся делить ягоды. Принцы и принцессы получили по две штуки, придворным досталось по одной, а остальные король приберег для себя — он был очень жадный и любил сладкое. Король положил ягоды на тарелку и с удовольствием принялся их есть.

— Отец, отец,— вдруг закричала принцесса Амарза,— что сделалось с твоими ушами?

Король потрогал свои уши руками и вскрикнул от ужаса. Уши у него стали длинные, как у осла. Нос тоже вдруг вытянулся до самого подбородка. Принцы, принцессы и придворные были



немногим лучше на вид: у каждого на голове появилось такое же украшение.

— Доктора, доктора скорей! — закричал король.

Сейчас же послали за докторами. Их пришла целая толпа. Они прописывали королю разные лекарства, но лекарства не помогали. Одному принцу даже сделали операцию — отрезали уши, но они снова отросли.

Дня через два Маленький Мук решил, что пришло время действовать. На деньги, полученные за винные ягоды, он купил себе большой черный плащ и высокий остроконечный колпак. Чтобы его совсем не могли узнать, он привязал себе длинную белую бороду. Захватив с собой корзину ягод со второго дерева, карлик пришел во дворец и сказал, что может вылечить короля. Сначала ему никто не поверил. Тогда Мук предложил одному принцу попробовать его лечение. Принц съел несколько ягод, и длинный нос и ослиные уши у него пропали. Тут уж придворные толпой бросились к чудесному доктору. Но король опередил всех. Он молча взял карлика за руку, привел его в свою сокровищницу и сказал:

— Вот перед тобой все мои богатства. Бери что хочешь, только вылечи меня от этой ужасной болезни.

Маленький Мук сейчас же заметил в углу комнаты свою волшебную тросточку и туфли-скороходы. Он принялся ходить взад и вперед, словно разглядывая королевские богатства, и незаметно подошел к туфлям. Мигом надел он их на ноги, схватил

тросточку и сорвал с подбородка бороду. Король чуть не упал от удивления, увидев знакомое лицо своего главного скорохода.

— Злой король! — закричал Маленький Мук.— Так-то ты отплатил мне за мою верную службу? Оставайся же на всю жизнь длинноухим уродом и вспоминай Маленького Мука!

Он быстро повернулся три раза на каблуке и, прежде чем король успел сказать слово, был уже далеко...

С тех пор Маленький Мук живет в нашем городе. Ты видишь, как много он испытал. Его нужно уважать, хоть с виду он и смешной.

Вот какую историю рассказал мне мой отец. Я передал все это другим мальчишкам, и ни один из нас никогда больше не смеялся над карликом. Напротив, мы его очень уважали и так низко кланялись ему на улице, словно он был начальник города или главный судья.

КАРЛИК НОС

В одном большом германском городе жил когда-то сапожник Фридрих со своей женой Ханной. Весь день он сидел у окна и клал заплатки на башмаки и туфли. Он и новые башмаки брался шить, если кто заказывал, но тогда ему приходилось сначала покупать кожу. Запасти товар заранее он не мог — денег не было.

А Ханна продавала на рынке плоды и овощи со своего маленького огорода. Она была женщина опрятная, умела красиво разложить товар, и у нее всегда было много покупателей.

У Ханны и Фридриха был сын Якоб — стройный, красивый мальчик, довольно высокий для своих двенадцати лет. Обыкновенно он сидел возле матери на базаре. Когда какой-нибудь повар или кухарка покупали у Ханны сразу много овощей, Якоб помогал им донести покупку до дому и редко возвращался назад с пустыми руками.

Покупатели Ханны любили хорошенького мальчика и почти всегда дарили ему что-нибудь: цветок, пирожное или монетку.

Однажды Ханна, как всегда, торговала на базаре. Перед ней стояло несколько корзин с капустой, картошкой, кореньями и всякой зеленью. Тут же в маленькой корзинке красовались ранние груши, яблоки, абрикосы.

Якоб сидел возле матери и громко кричал:

— Сюда, сюда, повара, кухарки!.. Вот хорошая капуста, зелень, груши, яблоки! Кому надо? Мать дешево отдаст!

И вдруг к ним подошла какая-то бедно одетая старуха с ма-

ленькими красными глазками, острым, сморщенным от старости личиком и длинным-предлинным носом, который спускался до самого подбородка. Старуха опиралась на костыль, и удивительно было, что она вообще может ходить: она хромала, скользила и переваливалась, точно у нее на ногах были колеса. Казалось, она вот-вот упадет и ткнется своим острым носом в землю.

Ханна с любопытством смотрела на старуху. Вот уже без малого шестнадцать лет, как она торгует на базаре, а такой чудной старушонки еще ни разу не видела. Ей даже немного жутко стало, когда старуха остановилась возле ее корзин.

— Это вы Ханна, торговка овощами? — спросила старуха скрипучим голосом, все время тряся головой.

— Да,— ответила жена сапожника.— Вам угодно что-нибудь купить?

— Увидим, увидим,— пробормотала себе под нос старуха.— Зелень поглядим, корешки посмотрим. Есть ли еще у тебя то, что мне нужно...

Она нагнулась и стала шарить своими длинными коричневыми пальцами в корзине с пучками зелени, которые Ханна разложила так красиво и аккуратно. Возьмет пучок, поднесет к носу и обнюхивает со всех сторон, а за ним — другой, третий.

У Ханны прямо сердце разрывалось — до того тяжело ей было смотреть, как старуха обращается с зеленью. Но она не могла сказать ей ни слова — покупатель ведь имеет право осматривать товар. Кроме того, она все больше и больше боялась этой старухи.

Переворошив всю зелень, старуха выпрямилась и проворчала:

— Плохой товар!.. Плохая зелень!.. Ничего нет из того, что мне нужно. Пятьдесят лет назад было куда лучше!.. Плохой товар! Плохой товар!

Эти слова рассердили маленького Якоба.

— Эй ты, бессовестная старуха! — крикнул он.— Перенюхала всю зелень своим длинным носом, перемяла корешки корявыми пальцами, так что теперь их никто не купит, и еще ругаешься, что плохой товар! У нас сам герцогский повар покупает!

Старуха искоса поглядела на мальчика и сказала хриплым голосом:

— Тебе не нравится мой нос, мой нос, мой прекрасный длинный нос? И у тебя такой же будет, до самого подбородка.

Она подкатилась к другой корзине — с капустой, вынула из нее несколько чудесных, белых кочанов и так сдавила их, что они жалобно затрещали. Потом она кое-как побросала кочаны обратно в корзину и снова проговорила:

— Плохой товар! Плохая капуста!

— Да не тряси ты так противно головой! — закричал Якоб.—

У тебя шея не толще кочерыжки — того и гляди, обломится, и голова упадет в нашу корзину. Кто у нас тогда что купит?

— Так у меня, по-твоему, слишком тонкая шея? — сказала старуха, все так же усмехаясь.— Ну, а ты будешь совсем без шеи. Голова у тебя будет торчать прямо из плеч — по крайней мере, не свалится с тела.

— Не говорите мальчику таких глупостей! — сказала наконец Ханна, не на шутку рассердившись.— Если вы хотите что-нибудь купить, так покупайте скорей. Вы у меня разгоните всех покупателей.

Старуха сердито поглядела на Ханну.

— Хорошо, хорошо,— проворчала она.— Пусть будет по-твоему. Я возьму у тебя эти шесть кочанов капусты. Но только у меня в руках костыль, и я не могу сама ничего нести. Пусть твой сын донесет мне покупку до дому. Я его хорошо награжу за это.

Якобу очень не хотелось идти, и он даже заплакал — он боялся этой страшной старухи. Но мать строго приказала ему слушаться — ей казалось грешно заставлять старую, слабую женщину нести такую тяжесть. Вытирая слезы, Якоб положил капусту в корзину и пошел следом за старухой.

Она брела не очень-то скоро, и прошел почти час, пока они добрались до какой-то дальней улицы на окраине города и остановились перед маленьким полуразвалившимся домиком.

Старуха вынула из кармана какой-то заржавленный крючок, ловко всунула его в дырочку в двери, и вдруг дверь с шумом распахнулась. Якоб вошел и застыл на месте от удивления: потолки и стены в доме были мраморные, кресла, стулья и столы — из черного дерева, украшенного золотом и драгоценными камнями, а пол был стеклянный и до того гладкий, что Якоб несколько раз поскользнулся и упал.

Старуха приложила к губам маленький серебряный свисток и как-то по-особенному, раскатисто, свистнула — так, что свисток затрещал на весь дом. И сейчас же по лестнице быстро сбежали вниз морские свинки — совсем необыкновенные морские свинки, которые ходили на двух лапках. Вместо башмаков у них были ореховые скорлупки, и одеты эти свинки были совсем как люди — даже шляпы не забыли захватить.

— Куда вы девали мои туфли, негодницы! — закричала старуха и так ударила свинок палкой, что они с визгом подскочили.— Долго ли я еще буду здесь стоять?..

Свинки бегом побежали вверх по лестнице, принесли две скорлупки кокосового ореха на кожаной подкладке и ловко надели их старухе на ноги.

Старуха сразу перестала хромать. Она отшвырнула свою палку в сторону и быстро-быстро заскользила по стеклянному полу,

таща за собой маленького Якоба. Ему было даже трудно поспевать за ней, до того проворно она двигалась в своих кокосовых скорлупках.

Наконец старуха остановилась в какой-то комнате, где было много всякой посуды. Это, видимо, была кухня, хотя полы в ней были устланы коврами, а на диванах лежали вышитые подушки, как в каком-нибудь дворце.

— Садись, сынок,— ласково сказала старуха и усадила Якоба на диван, пододвинув к дивану стол, чтобы Якоб не мог никуда уйти со своего места.— Отдохни хорошенько — ты, наверно, устал. Ведь человеческие головы — не легкая ноша.

— Что вы болтаете! — закричал Якоб.— Устать-то я и вправду устал, но я нес не головы, а кочаны капусты. Вы купили их у моей матери.

— Это ты неверно говоришь,— сказала старуха и засмеялась.

И, раскрыв корзинку, она вытащила из нее за волосы человеческую голову.

Якоб чуть не упал, до того испугался. Он сейчас же подумал о своей матери. Ведь если кто-нибудь узнает про эти головы, на нее мигом донесут, и ей придется плохо.

— Нужно тебя еще наградить за то, что ты такой послушный,— продолжала старуха.— Потерпи немного: я сварю тебе такой суп, что ты его до смерти вспоминать будешь.

Она снова свистнула в свой свисток, и на кухню примчались морские свинки, одетые как люди: в передниках, с поварешками и кухонными ножами за поясом. За ними прибежали белки — много белок, тоже на двух ногах; они были в широких шароварах и зеленых бархатных шапочках. Это, видно, были поварята. Они быстро-быстро карабкались по стенам и приносили к плите миски и сковородки, яйца, масло, коренья и муку. А у плиты суетилась, катаясь взад и вперед на своих кокосовых скорлупках, сама старуха — ей, видно, очень хотелось сварить для Якоба что-нибудь хорошее. Огонь под плитой разгорался все сильнее, на сковородках что-то шипело и дымилось, по комнате разносился приятный, вкусный запах. Старуха металась то туда, то сюда и то и дело совала в горшок с супом свой длинный нос, чтобы посмотреть, не готово ли кушанье.

Наконец в горшке что-то заклокотало и забулькало, из него повалил пар, и на огонь полилась густая пена.

Тогда старуха сняла горшок с плиты, отлила из него супу в серебряную миску и поставила миску перед Якобом.

— Кушай, сынок,— сказала она.— Поешь этого супу и будешь такой же красивый, как я. И поваром хорошим сделаешься — надо же тебе знать какое-нибудь ремесло.

Якоб не очень хорошо понимал, что это старуха бормочет себе под нос, да и не слушал ее — больше был занят супом. Мать

часто стряпала для него всякие вкусные вещи, но ничего лучше этого супа ему еще не приходилось пробовать. От него так хорошо пахло зеленью и кореньями, он был одновременно и сладкий, и кисловатый, и к тому же очень крепкий.

Когда Якоб почти что доел суп, свинки зажгли на маленькой жаровне какое-то куренье с приятным запахом, и по всей комнате поплыли облака голубоватого дыма. Он становился все гуще и гуще, все плотней и плотней окутывал мальчика, так что у Якоба наконец закружилась голова. Напрасно говорил он себе, что ему пора возвращаться к матери, напрасно пытался встать на ноги. Стоило ему приподняться, как он снова падал на диван — до того ему вдруг захотелось спать. Не прошло и пяти минут, как он и вправду заснул на диване, в кухне безобразной старухи.

И увидел Якоб удивительный сон. Ему приснилось, будто старуха сняла с него одежду и завернула его в беличью шкурку. Он научился прыгать и скакать, как белка, и подружился с другими белками и свинками. Все они были очень хорошие.

И стал Якоб, как они, прислуживать старухе. Сначала ему пришлось быть чистильщиком обуви. Он должен был смазывать маслом кокосовые скорлупки, которые старуха носила на ногах, и так натирать их тряпочкой, чтобы они блестели. Дома Якобу часто приходилось чистить туфли и башмаки, так что дело быстро пошло у него на лад.

Примерно через год его перевели на другую, более трудную должность. Вместе с несколькими другими белками он вылавливал пылинки из солнечного луча и просеивал их сквозь самое мелкое сито, а потом из них пекли для старухи хлеб. У нее во рту не осталось ни одного зуба, потому-то ей и приходилось есть булки из солнечных пылинок, мягче которых, как все знают, нет ничего на свете.

Еще через год Якобу было поручено добывать старухе воду для питья. Вы думаете, у нее был вырыт на дворе колодец или поставлено ведро, чтобы собирать в него дождевую воду? Нет, простой воды старуха и в рот не брала. Якоб с белками собирал в ореховые скорлупки росу с цветов, и старуха только ее и пила. А пила она очень много, так что работы у водоносов было по горло.

Прошел еще год, и Якоб перешел служить в комнаты — чистить полы. Это тоже оказалось не очень-то легким делом: полы-то ведь были стеклянные — на них дохнешь, и то видно. Якоб чистил их щетками и натирал суконкой, которую навертывал себе на ноги.

На пятый год Якоб стал работать на кухне. Это была работа почетная, к которой допускали с разбором, после долгого испытания. Якоб прошел все должности, от поваренка до старшего пирожного мастера, и стал таким опытным и искусным поваром,

что даже сам себе удивлялся. Чего только он не выучился стряпать! Самые замысловатые кушанья — пирожное двухсот сортов, супы из всех трав и кореньев, какие есть на свете,— все он умел приготовить быстро и вкусно.

Так Якоб прожил у старухи лет семь. И вот однажды она надела на ноги свои ореховые скорлупки, взяла костыль и корзину, чтобы идти в город, и приказала Якобу ощипать курицу, начинить ее зеленью и хорошенько подрумянить. Якоб сейчас же принялся за работу. Он свернул птице голову, ошпарил ее всю кипятком, ловко ощипал с нее перья, выскоблил кожу, так что она стала нежная и блестящая, и вынул внутренности. Потом ему понадобились травы, чтобы начинить ими курицу. Он пошел в кладовую, где хранилась у старухи всякая зелень, и принялся отбирать то, что ему было нужно. И вдруг он увидел в стене кладовой маленький шкафчик, которого раньше никогда не замечал. Дверца шкафчика была приоткрыта. Якоб с любопытством заглянул в него и видит — там стоят какие-то маленькие корзиночки. Он открыл одну из них и увидел диковинные травы, какие ему еще никогда не попадались. Стебли у них были зеленоватые, и на каждом стебельке — ярко-красный цветочек с желтым ободком.

Якоб поднес один цветок к носу и вдруг почувствовал знакомый запах — такой же, как у супа, которым старуха накормила его, когда он к ней пришел. Запах был до того сильный, что Якоб громко чихнул несколько раз и проснулся.

Он с удивлением осмотрелся кругом и увидел, что лежит на том же диване, в кухне у старухи.

«Ну и сон же это был! Прямо будто наяву! — подумал Якоб.— То-то матушка посмеется, когда я ей все это расскажу! И попадет же мне от нее за то, что я заснул в чужом доме, вместо того чтобы вернуться к ней на базар!»

Он быстро вскочил с дивана и хотел бежать к матери, но почувствовал, что все тело у него точно деревянное, а шея совсем окоченела — он еле-еле мог шевельнуть головой. Он то и дело задевал носом за стену или за шкаф, а раз, когда быстро повернулся, даже больно ударился о дверь. Белки и свинки бегали вокруг Якоба и пищали — видно, им не хотелось его отпускать. Выходя из дома старухи, Якоб поманил их за собой — ему тоже было жалко с ними расставаться, но они быстро укатили назад в комнаты на своих скорлупках, и мальчик долго еще слышал издали их жалобный писк.

Домик старухи, как мы уже знаем, был далеко от рынка, и Якоб долго пробирался узкими, извилистыми переулками, пока не добрался до рынка. На улицах толпилось очень много народу. Где-то поблизости, наверное, показывали карлика, потому что все вокруг Якоба кричали:

— Посмотрите, вот безобразный карлик! И откуда он только взялся? Ну и длинный же у него нос! А голова — прямо на плечах торчит, без шеи! А руки-то, руки!.. Поглядите — до самых пяток!

Якоб в другое время с удовольствием сбегал бы поглядеть на карлика, но сегодня ему было не до того — надо было спешить к матери.

Наконец Якоб добрался до рынка. Он порядком побаивался, что ему попадет от матери. Ханна все еще сидела на своем месте, и у нее в корзине было порядочно овощей — значит, Якоб проспал не особенно долго. Уже издали он заметил, что его мать чем-то опечалена. Она сидела молча, подперев рукой щеку, бледная и грустная.

Якоб долго стоял, не решаясь подойти к матери. Наконец он собрался с духом и, подкравшись к ней сзади, положил ей руку на плечо и сказал:

— Мама, что с тобой? Ты на меня сердишься?

Ханна обернулась и, увидев Якоба, вскрикнула от ужаса.

— Что тебе нужно от меня, страшный карлик? — закричала она.— Уходи, уходи! Я не терплю таких шуток!

— Что ты, матушка? — испуганно сказал Якоб.— Ты, наверно, нездорова. Почему ты гонишь меня?

— Говорю тебе, уходи своей дорогой! — сердито крикнула Ханна.— От меня ты ничего не получишь за твои шутки, противный урод!

«Она сошла с ума! — подумал бедный Якоб.— Как мне теперь увести ее домой?»

— Мамочка, посмотри же на меня хорошенько,— сказал он, чуть не плача.— Я ведь твой сын Якоб!

— Нет, это уж слишком! — закричала Ханна, обращаясь к своим соседкам.— Посмотрите на этого ужасного карлика! Он отпугивает всех покупателей да еще смеется над моим горем! Говорит — я твой сын, твой Якоб, негодяй этакий!

Торговки, соседки Ханны, разом вскочили на ноги и принялись ругать Якоба:

— Как ты смеешь шутить над ее горем! Ее сына украли семь лет назад. А какой мальчик был — прямо картинка! Убирайся сейчас же, не то мы тебе глаза выцарапаем!

Бедный Якоб не знал, что подумать. Ведь он же сегодня утром пришел с матерью на базар и помог ей разложить овощи, потом отнес к старухе домой капусту, зашел к ней, поел у нее супу, немного поспал и вот теперь вернулся. А торговки говорят про какие-то семь лет. И его, Якоба, называют противным карликом. Что же с ними такое случилось?

Со слезами на глазах побрел Якоб с рынка. Раз мать не хочет его признавать, он пойдет к отцу.

«Посмотрим,— думал Якоб.— Неужели и отец тоже прогонит меня? Я стану у двери и заговорю с ним».

Он подошел к лавке сапожника, который, как всегда, сидел там и работал, стал возле двери и заглянул в лавку. Фридрих был так занят работой, что сначала не заметил Якоба. Но вдруг случайно поднял голову, выронил из рук шило и дратву и вскрикнул:

— Что это такое? Что такое?

— Добрый вечер, хозяин,— сказал Якоб и вошел в лавку.— Как поживаете?

— Плохо, сударь мой, плохо! — ответил сапожник, который тоже, видно, не узнал Якоба.— Работа совсем не ладится. Мне уже много лет, а я один — чтобы нанять подмастерья, денег не хватает.

— А разве у вас нет сына, который мог бы вам помочь? — спросил Якоб.

— Был у меня один сын, Якобом его звали,— ответил сапожник.— Теперь было бы ему годков двадцать. Он бы здорово поддержал меня. Ведь ему всего двенадцать лет было, а такой был умница! И в ремесле уже кое-что смекал, и красавец был писаный. Он бы уж сумел приманить заказчиков, не пришлось бы мне теперь класть заплатки — одни бы новые башмаки шил. Да уж, видно, такая моя судьба!

— А где же теперь ваш сын? — робко спросил Якоб.

— Про то один господь знает,— ответил с тяжелым вздохом сапожник.— Вот уже семь лет прóшло, как его увели от нас на базаре.

— Семь лет! — с ужасом повторил Якоб.

— Да, сударь мой, семь лет. Как сейчас помню, жена прибежала с базара, воет, кричит: уж вечер, а дитя не вернулось. Она целый день его искала, всех спрашивала, не видали ли,— и не нашла. Я всегда говорил, что этим кончится. Наш Якоб — что правда, то правда — был пригожий ребенок, жена гордилась им и частенько посылала его отнести добрым людям овощи или что другое. Грех сказать — его всегда хорошо награждали, но я частенько говорил жене: «Смотри, Ханна! Город большой, в нем много злых людей. Как бы чего не случилось с нашим Якобом!» Так и вышло! Пришла в тот день на базар какая-то женщина, старая, безобразная, выбирала, выбирала товар и столько в конце концов накупила, что самой не отнести. Ханна, добрая душа, и пошли с ней мальчика... Так мы его больше и не видали.

— И, значит, с тех пор прошло семь лет?

— Весной семь будет. Уж мы и объявляли о нем, и по людям ходили, спрашивали про мальчишку — его ведь многие знали, все его, красавчика, любили,— но сколько ни искали, так

и не нашли. И женщину ту, что у Ханны овощи покупала, никто с тех пор не видал.Одна древняя старуха — девяносто уже лет на свете живет — говорила Ханне, что это, может быть, злая колдунья Крейтервейс, что приходит в город раз в пятьдесят лет закупать провизию.

Так рассказывал отец Якоба, постукивая молотком по сапогу и вытягивая длинную вощеную дратву. Теперь наконец Якоб понял, что с ним случилось. Значит, он не во сне это видел, а вправду семь лет был белкой и служил у злой колдуньи. У него прямо сердце разрывалось с досады. Семь лет жизни у него украла старуха, а что он за это получил? Научился чистить кокосовые скорлупки и натирать стеклянные полы да всякие вкусные кушанья выучился готовить!

Долго стоял он на пороге лавки, не говоря ни слова. Наконец сапожник спросил его:

— Может быть, вам что-нибудь у меня приглянулось, сударь? Не возьмете ли пару туфель или хотя бы,— тут он вдруг прыснул со смеху,— футляр для носа?

— А что такое с моим носом? — сказал Якоб.— Зачем мне для него футляр?

— Воля ваша,— ответил сапожник,— но будь у меня такой ужасный нос, я бы, осмелюсь сказать, прятал его в футляр — хороший футляр из розовой лайки. Взгляните, у меня как раз есть подходящий кусочек. Правда, на ваш нос понадобится немало кожи. Но как вам будет угодно, сударь мой. Ведь вы, верно, частенько задеваете носом за двери.

Якоб ни слова не мог сказать от удивления. Он пощупал свой нос — нос был толстый и длинный, четверти в две, не меньше. Видно, злая старуха превратила его в урода. Вот почему мать не узнала его.

— Хозяин,— чуть не плача, сказал он,— нет ли у вас здесь зеркала? Мне нужно посмотреться в зеркало, обязательно нужно.

— Сказать по правде, сударь,— ответил сапожник,— не такая у вас наружность, чтобы было чем гордиться. Незачем вам каждую минуту глядеться в зеркало. Бросьте эту привычку — уж вам-то она совсем не к лицу.

— Дайте, дайте мне скорей зеркало! — взмолился Якоб.— Уверяю вас, мне очень нужно. Я, правда, не из гордости...

— Да ну вас совсем! Нет у меня зеркала! — рассердился сапожник.— У жены было одно малюсенькое, да не знаю, куда она его задевала. Если уж вам так не терпится на себя посмотреть — вон напротив лавка цирюльника Урбана. У него есть зеркало, раза в два больше вас. Глядитесь в него сколько душе угодно. А затем — пожелаю вам доброго здоровья.

И сапожник легонько вытолкнул Якоба из лавки и захлопнул

за ним дверь. Якоб быстро перешел через улицу и вошел к цирюльнику, которого он раньше хорошо знал.

— Доброе утро, Урбан,— сказал он.— У меня к вам большая просьба: будьте добры, позвольте мне посмотреться в ваше зеркало.

— Сделайте одолжение. Вон оно стоит в левом простенке! — крикнул Урбан и громко расхохотался.— Полюбуйтесь, полюбуйтесь на себя, вы ведь настоящий красавчик — тоненький, стройный, шея лебединая, руки словно у королевы, а носик курносенький,— лучше нет на свете! Вы, конечно, немножко им щеголяете, ну да все равно, посмотрите на себя. Пусть не говорят, что я из зависти не позволил вам посмотреться в мое зеркало.

Посетители, которые пришли к Урбану бриться и стричься, оглушительно хохотали, слушая его шутки. Якоб подошел к зеркалу и невольно отшатнулся. Слезы выступили у него на глазах. Неужели это он, этот уродливый карлик! Глаза у него стали маленькие, как у свиньи, огромный нос свешивался ниже подбородка, а шеи как будто и совсем не было. Голова глубоко ушла в плечи, и он почти совсем не мог ее повернуть. А ростом он был такой же, как семь лет назад,— совсем маленький. Другие мальчишки за эти годы выросли вверх, а Якоб рос в ширину. Спина и грудь у него были широкие-преширокие, и он был похож на большой, плотно набитый мешок. Тоненькие коротенькие ножки едва несли его тяжелое тело. А руки с крючковатыми пальцами были, наоборот, длинные, как у взрослого мужчины, и свисали почти до земли. Таков был теперь бедняга Якоб.

«Да,— подумал он, глубоко вздыхая,— не мудрено, что ты не узнала своего сына, матушка! Не таков он был раньше, когда ты любила похвастать им перед соседками!»

Ему вспомнилось, как старуха подошла в то утро к его матери. Все, над чем он тогда смеялся — и длинный нос, и безобразные пальцы,— получил он от старухи за свои насмешки. А шею она у него отняла, как обещала...

— Ну что, вдоволь насмотрелись на себя, мой красавчик? — спросил со смехом Урбан, подходя к зеркалу и оглядывая Якоба с головы до ног.— Честное слово, такого смешного карлика и во сне не увидишь. Знаете, малыш, я хочу вам предложить одно дело. В моей цирюльне бывает порядочно народу, но не так много, как раньше. А все потому, что мой сосед, цирюльник Шаум, раздобыл себе где-то великана, который переманивает к нему посетителей. Ну, стать великаном, вообще говоря, уж не так хитро, а вот таким крошкой, как вы,— это другое дело. Поступайте ко мне на службу, малыш. И жилье, и пищу, и одежду — все от меня будете получать, а работы-то всего — стоять у дверей цирюльни и зазывать народ. Да, пожалуй, еще взбивать мыль-

ную пену и подавать полотенце. И наверняка вам скажу, мы оба останемся в выгоде: у меня будет больше посетителей, чем у Шаума с его великаном, а вам каждый еще на чаек даст.

Якоб в душе очень обиделся — как это ему предлагают быть приманкой в цирюльне! — но что поделаешь, пришлось стерпеть это оскорбление. Он спокойно ответил, что слишком занят и не может взяться за такую работу, и ушел.

Хотя тело у Якоба было изуродовано, голова работала хорошо, как прежде. Он почувствовал, что за эти семь лет сделался совсем взрослым.

«Не то беда, что я стал уродом,— размышлял он, идя по улице.— Обидно, что и отец, и мать прогнали меня прочь, как собаку. Попробую еще раз поговорить с матерью. Может быть, она меня все-таки узнает».

Он снова отправился на рынок и, подойдя к Ханне, попросил ее спокойно выслушать, что он хочет ей сказать. Он напомнил ей, как его увела старуха, перечислил все, что случилось с ним в детстве, и рассказал, что семь лет прожил у колдуньи, которая превратила его сначала в белку, а потом в карлика за то, что он над ней посмеялся.

Ханна не знала, что ей и думать. Все, что говорил карлик про свое детство, было правильно, но чтобы он семь лет был белкой, этому она поверить не могла.

— Это невозможно! — воскликнула она.

Наконец Ханна решила посоветоваться с мужем.

Она собрала свои корзины и предложила Якобу пойти вместе с ней в лавку сапожника. Когда они пришли, Ханна сказала мужу:

— Этот карлик говорит, что он наш сын Якоб. Он мне рассказал, что его семь лет назад у нас украла и заколдовала волшебница...

— Ах, вот как! — сердито перебил ее сапожник.— Он тебе, значит, все это рассказал? Подожди, глупая! Я сам ему только что рассказывал про нашего Якоба, а он, вишь, прямо к тебе и давай тебя дурачить... Так тебя, говоришь, заколдовали? А ну-ка, я тебя сейчас расколдую.

Сапожник схватил ремень и, подскочив к Якобу, так отхлестал его, что тот с громким плачем выскочил из лавки.

Целый день бродил бедный карлик по городу не евши, не пивши. Никто не пожалел его, и все над ним только смеялись. Ночевать ему пришлось на церковной лестнице, прямо на жестких, холодных ступеньках.

Как только взошло солнце, Якоб встал и опять пошел бродить по улицам.

«Как же я буду жить дальше? — думал он.— Быть вывеской у цирюльника или показываться за деньги я не хочу, а мать

и отец меня прогнали. Что же мне придумать, чтобы не умереть с голоду?»

И тут Якоб вспомнил, что, пока он был белкой и жил у старухи, ему удалось научиться хорошо стряпать. И он решил поступить поваром к герцогу.

А герцог, правитель той страны, был известный объедала и лакомка. Он больше всего любил хорошо поесть и выписывал себе поваров со всех концов земли.

Якоб подождал немного, пока совсем рассвело, и направился к герцогскому дворцу.

Громко стучало у него сердце, когда он подошел к дворцовым воротам. Привратники спросили его, что ему нужно, и начали над ним потешаться, но Якоб не растерялся и сказал, что хочет видеть главного начальника кухни. Его повели какими-то дворами, и все, кто его только видел из герцогских слуг, бежали за ним и громко хохотали.

Скоро у Якоба образовалась огромная свита. Конюхи побросали свои скребницы, мальчишки мчались наперегонки, чтобы не отстать от него, полотеры перестали выколачивать ковры. Все теснились вокруг Якоба, и на дворе стоял такой шум и гомон, словно к городу подступили враги. Всюду слышались крики:

— Карлик! Карлик! Видели вы карлика?

Наконец во двор вышел дворцовый смотритель — заспанный толстый человек с огромной плеткой в руке.

— Эй вы, собаки! Что это за шум? — закричал он громовым голосом, немилосердно колотя своей плеткой по плечам и спинам конюхов и прислужников.— Не знаете вы разве, что герцог еще спит?

— Господин,— отвечали привратники,— посмотрите, кого мы к вам привели! Настоящего карлика! Такого вы еще, наверное, никогда не встречали.

Увидев Якоба, смотритель сделал страшную гримасу и как можно плотнее сжал губы, чтобы не рассмеяться,— важность не позволяла ему хохотать перед конюхами. Он разогнал собравшихся своей плеткой и, взяв Якоба за руку, ввел его во дворец и спросил, что ему нужно. Услышав, что Якоб хочет видеть начальника кухни, смотритель воскликнул:

— Неправда, сынок! Это я тебе нужен, дворцовый смотритель. Ты ведь хочешь поступить к герцогу в карлики?

— Нет, господин,— ответил Якоб.— Я хороший повар и умею готовить всякие редкостные кушанья. Отведите меня, пожалуйста, к начальнику кухни. Может быть, он согласится испытать мое искусство.

— Твоя воля, малыш,— ответил смотритель,— ты еще, видно, глупый парень. Будь ты придворным карликом, ты мог бы

ничего не делать, есть, пить, веселиться и ходить в красивой одежде, а ты хочешь на кухню! Но мы еще посмотрим. Едва ли ты достаточно искусный повар, чтобы готовить кушанья самому герцогу, а для поваренка ты слишком хорош.

Сказав это, смотритель отвел Якоба к начальнику кухни. Карлик низко поклонился ему и сказал:

— Милостивый господин, не нужен ли вам искусный повар?

Начальник кухни оглядел Якоба с головы до ног и громко расхохотался.

— Ты хочешь быть поваром? — воскликнул он.— Что же, ты думаешь, у нас в кухне плиты такие низенькие? Ведь ты ничего на них не увидишь, даже если поднимешься на цыпочки. Нет, мой маленький друг, тот, кто тебе посоветовал поступить ко мне поваром, сыграл с тобой скверную шутку.

И начальник кухни снова расхохотался, а за ним — дворцовый смотритель и все те, кто был в комнате. Якоб, однако, не смутился.

— Господин начальник кухни! — сказал он.— Вам, наверно, не жалко дать мне одно-два яйца, немного муки, вина и приправ. Поручите мне приготовить какое-нибудь блюдо и велите подать все, что для этого нужно. Я состряпаю кушанье у всех на глазах, и вы скажете: «Вот это настоящий повар!»

Долго уговаривал он начальника кухни, поблескивая своими маленькими глазками и убедительно качая головой. Наконец начальник согласился.

— Ладно! — сказал он.— Давай попробуем шутки ради! Идемте все на кухню, и вы тоже, господин смотритель дворца.

Он взял дворцового смотрителя под руку и приказал Якобу следовать за собой. Долго шли они по каким-то большим роскошным комнатам и длинным коридорам и наконец пришли на кухню. Это было высокое просторное помещение с огромной плитой на двадцать конфорок, под которыми день и ночь горел огонь. Посреди кухни был бассейн с водой, в котором держали живую рыбу, а по стенам стояли мраморные и деревянные шкафчики, полные драгоценной посуды. Рядом с кухней, в десяти громадных кладовых, хранились всевозможные припасы и лакомства. Повара, поварята, судомойки носились по кухне взад и вперед, гремя кастрюлями, сковородками, ложками и ножами. При появлении начальника кухни все замерли на месте, и в кухне сделалось совсем тихо; только огонь продолжал потрескивать под плитой и вода по-прежнему журчала в бассейне.

— Что заказал сегодня господин герцог к первому завтраку? — спросил начальник кухни главного заведующего завтраками — старого толстого повара в высоком колпаке.

— Его светлость изволили заказать датский суп с красными гамбургскими клецками,— почтительно ответил повар.

— Хорошо,— продолжал начальник кухни.— Ты слышал, карлик, чего господин герцог хочет покушать? Можно ли тебе доверить такие трудные блюда? Гамбургских клецек тебе ни за что не состряпать. Это тайна наших поваров.

— Нет ничего легче,— ответил карлик (когда он был белкой, ему часто приходилось стряпать для старухи эти кушанья).— Для супа дайте мне таких-то и таких-то трав и пряностей, сала дикого кабана, яиц и кореньев. А для клецек,— он заговорил тише, чтобы его не слышал никто, кроме начальника кухни и заведующего завтраками,— а для клецек мне нужны четыре сорта мяса, немножко пива, гусиный жир, имбирь и трава, которая называется «утешение желудка».

— Клянусь честью, правильно! — закричал удивленный повар.— Какой это чародей учил тебя стряпать? Ты все до тонкости перечислил. А про травку «утешение желудка» я и сам в первый раз слышу. С нею клецки, наверно, еще лучше выйдут. Ты прямо чудо, а не повар!

— Вот никогда бы не подумал этого! — сказал начальник кухни.— Однако сделаем испытание. Дайте ему припасы, посуду и все, что требуется, и пусть приготовит герцогу завтрак.

Поварята исполнили его приказание, но когда на плиту поставили все, что было нужно, и карлик хотел приняться за стряпню, оказалось, что он едва достает до верха плиты кончиком своего длинного носа. Пришлось пододвинуть к плите стул, карлик взобрался на него и начал готовить. Повара, поварята, судомойки плотным кольцом окружили карлика и, широко раскрыв глаза от удивления, смотрели, как проворно и ловко он со всем управляется.

Подготовив кушанья к варке, карлик велел поставить обе кастрюли на огонь и не снимать их, пока он не прикажет. Потом он начал считать: «Раз, два, три, четыре...» — и, досчитав ровно до пятисот, крикнул: «Довольно!»

Поварята сдвинули кастрюли с огня, и карлик предложил начальнику кухни отведать его стряпни.

Главный повар приказал подать золотую ложку, сполоснул ее в бассейне и передал начальнику кухни. Тот торжественно подошел к плите, снял крышки с дымящихся кастрюль и попробовал суп и клецки. Проглотив ложку супа, он зажмурил глаза от наслаждения, несколько раз прищелкнул языком и сказал:

— Прекрасно, прекрасно, клянусь честью! Не хотите ли и вы убедиться, господин дворцовый смотритель?

Смотритель дворца с поклоном взял ложку, попробовал и чуть не подскочил от удовольствия.

— Я не хочу вас обидеть, дорогой заведующий завтраками,— сказал он,— вы прекрасный, опытный повар, но такого супа и таких клецек вам состряпать еще не удавалось.

К стр. 216

Повар тоже попробовал оба кушанья, почтительно пожал карлику руку и сказал:

— Малыш, ты — великий мастер! Твоя травка «утешение желудка» придает супу и клецкам особенный вкус.

В это время в кухне появился слуга герцога и потребовал завтрак для своего господина. Кушанье тотчас же налили в серебряные тарелки и послали наверх. Начальник кухни, очень довольный, увел карлика в свою комнату и хотел его расспросить, кто он и откуда явился. Но только что они уселись и начали беседовать, как за начальником пришел посланный от герцога и сказал, что герцог его зовет. Начальник кухни поскорее надел свое лучшее платье и отправился вслед за посланным в столовую.

Герцог сидел там, развалясь в своем глубоком кресле. Он дочиста съел все, что было на тарелках, и вытирал губы шелковым платком. Его лицо сияло, и он сладко жмурился от удовольствия.

— Послушай-ка,— сказал он, увидев начальника кухни,— я всегда был очень доволен твоей стряпней, но сегодня завтрак был особенно вкусен. Скажи мне, как зовут повара, который его готовил: я пошлю ему несколько дукатов в награду.

— Господин, сегодня случилась удивительная история,— сказал начальник кухни.

И он рассказал герцогу, как к нему привели утром карлика, который непременно хочет стать дворцовым поваром. Герцог, выслушав его рассказ, очень удивился. Он велел позвать карлика и стал его расспрашивать, кто он такой. Бедному Якобу не хотелось говорить, что он семь лет был белкой и служил у старухи, но и лгать он не любил. Поэтому он только сказал герцогу, что у него теперь нет ни отца, ни матери и что его научила стряпать одна старуха. Герцог долго потешался над странным видом карлика и наконец сказал ему:

— Так и быть, оставайся у меня. Я дам тебе в год пятьдесят дукатов, одно праздничное платье и, сверх того, две пары штанов. За это ты будешь каждый день сам готовить мне завтрак, наблюдать за тем, как стряпают обед, и вообще заведовать моим столом. А кроме того, всем, кто у меня служит, я даю прозвища. Ты будешь называться Карлик Нос и получишь звание помощника начальника кухни.

Карлик Нос поклонился герцогу до земли и поблагодарил его за милость. Когда герцог отпустил его, Якоб радостный вернулся на кухню. Теперь наконец он мог не беспокоиться о своей судьбе и не думать о том, что будет с ним завтра.

Он решил хорошенько отблагодарить своего хозяина, и не только сам правитель страны, но и все его придворные не могли нахвалиться маленьким поваром. С тех пор как Карлик Нос по-

селился во дворце, герцог стал, можно сказать, совсем другим человеком. Прежде ему частенько случалось швырять в поваров тарелками и стаканами, если ему не нравилась их стряпня, а один раз он так рассердился, что запустил в самого начальника кухни плохо прожаренной телячьей ногой. Нога попала бедняге в лоб, и он после этого три дня пролежал в кровати. Все повара дрожали от страха, когда готовили кушанья.

Но с появлением Карлика Носа все изменилось. Герцог теперь ел не три раза в день, как раньше, а пять раз и только похваливал искусство карлика. Все казалось ему превкусным, и он становился день ото дня толще. Он часто приглашал карлика к своему столу вместе с начальником кухни и заставлял их отведать кушанья, которые они приготовили.

Жители города не могли надивиться на этого замечательного карлика.

Каждый день у дверей дворцовой кухни толпилось множество народу — все просили и умоляли главного повара, чтобы он позволил хоть одним глазком посмотреть, как карлик готовит кушанья. А городские богачи старались получить у герцога разрешение посылать на кухню своих поваров, чтобы они могли учиться у карлика стряпать. Это давало карлику немалый доход — за каждого ученика ему платили в день по полдуката,— но он отдавал все деньги другим поварам, чтобы они ему не завидовали.

Так Якоб прожил во дворце два года. Он был бы, пожалуй, даже доволен своей судьбой, если бы не вспоминал так часто об отце и матери, которые не узнали его и прогнали. Только это его и огорчало.

И вот однажды с ним произошел такой случай.

Карлик Нос очень хорошо умел закупать припасы. Он всегда сам ходил на рынок и выбирал для герцогского стола гусей, уток, зелень и овощи. Как-то раз утром он пошел на базар за гусями и долго не мог найти достаточно жирных птиц. Он несколько раз прошелся по базару, выбирая гуся получше. Теперь уже никто не смеялся над карликом. Все низко ему кланялись и почтительно уступали дорогу. Каждая торговка была бы счастлива, если бы он купил у нее гуся.

Расхаживая взад и вперед, Якоб вдруг заметил в конце базара, в стороне от других торговок, одну женщину, которую не видел раньше. Она тоже продавала гусей, но не расхваливала свой товар, как другие, а сидела молча, не говоря ни слова. Якоб подошел к этой женщине и осмотрел ее гусей. Они были как раз такие, как он хотел. Якоб купил трех птиц вместе с клеткой — двух гусаков и одну гусыню,— поставил клетку на плечо и пошел обратно во дворец. И вдруг он заметил, что две птицы гогочут и хлопают крыльями, как полагается хорошим

гусакам, а третья — гусыня — сидит тихо и даже как будто вздыхает.

«Эта гусыня больна,— подумал Якоб.— Как только приду во дворец, сейчас же велю ее прирезать, пока она не издохла».

И вдруг птица, словно разгадав его мысли, сказала:

— Ты не режь меня —
Заклюю тебя.
Если шею мне свернешь,
Раньше времени умрешь.

Якоб чуть не уронил клетку.

— Вот чудеса! — закричал он.— Вы, оказывается, умеете говорить, госпожа гусыня! Не бойся, такую удивительную птицу я не убью. Готов спорить, что ты не всегда ходила в гусиных перьях. Ведь был же и я когда-то маленькой белочкой.

— Твоя правда,— ответила гусыня.— Я не родилась птицей. Никто не думал, что Мими, дочь великого Веттербока, кончит жизнь под ножом повара на кухонном столе.

— Не беспокойтесь, дорогая Мими! — воскликнул Якоб.— Не будь я честный человек и главный повар его светлости, если до вас кто-нибудь дотронется ножом! Вы будете жить в прекрасной клетке у меня в комнате, и я стану вас кормить и разговаривать с вами. А другим поварам скажу, что откармливаю гуся особыми травами для самого герцога. И не пройдет и месяца, как я придумаю способ выпустить вас на волю.

Мими со слезами на глазах поблагодарила карлика, и Якоб исполнил все, что обещал. Он сказал на кухне, что будет откармливать гусыню особым способом, которого никто не знает, и поставил ее клетку у себя в комнате. Мими получала не гусиную пищу, а печенье, конфеты и всякие лакомства, и как только у Якоба выдавалась свободная минутка, он тотчас же прибегал к ней поболтать.

Мими рассказала Якобу, что ее превратила в гусыню и занесла в этот город одна старая колдунья, с которой когда-то поссорился ее отец, знаменитый волшебник Веттербок. Карлик тоже рассказал Мими свою историю, и Мими сказала:

— Я кое-что понимаю в колдовстве — мой отец немножко учил меня своей мудрости. Я догадываюсь, что старуха заколдовала тебя волшебной травкой, которую она положила в суп, когда ты принес ей домой капусту. Если ты найдешь эту травку и понюхаешь ее, ты, может быть, снова станешь таким же, как все люди.

Это, конечно, не особенно утешило карлика: как же он мог найти эту травку? Но у него все-таки появилась маленькая надежда.

Через несколько дней после этого к герцогу приехал погостить один князь — его сосед и друг. Герцог тотчас же позвал к себе карлика и сказал ему:

— Теперь пришло время показать, верно ли ты мне служишь и хорошо ли знаешь свое искусство. Этот князь, который приехал ко мне в гости, любит хорошо поесть и понимает толк в стряпне. Смотри же, готовь нам такие кушанья, чтобы князь каждый день удивлялся. И не вздумай, пока князь у меня в гостях, два раза подать к столу одно кушанье. Тогда тебе не будет пощады. Бери у моего казначея все, что тебе понадобится, хоть золото запеченное нам подавай, только бы не осрамиться перед князем.

— Не беспокойтесь, ваша светлость,— ответил Якоб, низко кланяясь.— Я уж сумею угодить вашему лакомке-князю.

И Карлик Нос горячо принялся за работу. Целый день он стоял у пылающей плиты и без умолку отдавал приказания своим тоненьким голоском. Толпа поваров и поварят металась по кухне, ловя каждое его слово. Якоб не щадил ни себя, ни других, чтобы угодить своему хозяину.

Уже две недели гостил князь у герцога. Они ели не меньше чем по пять раз в день, и герцог был в восторге. Он видел, что его гостю нравится стряпня карлика. На пятнадцатый день герцог позвал Якоба в столовую, показал его князю и спросил, доволен ли князь искусством его повара.

— Ты прекрасно готовишь,— сказал князь карлику,— и понимаешь, что значит хорошо есть. За все время, пока я здесь, ты ни одного кушанья не подал на стол два раза, и все было очень вкусно. Но скажи мне, почему ты до сих пор не угостил нас «пирогом королевы»? Это самый вкусный пирог на свете.

У карлика упало сердце: он никогда не слыхал о таком пироге. Но он и виду не подал, что смущен, и ответил:

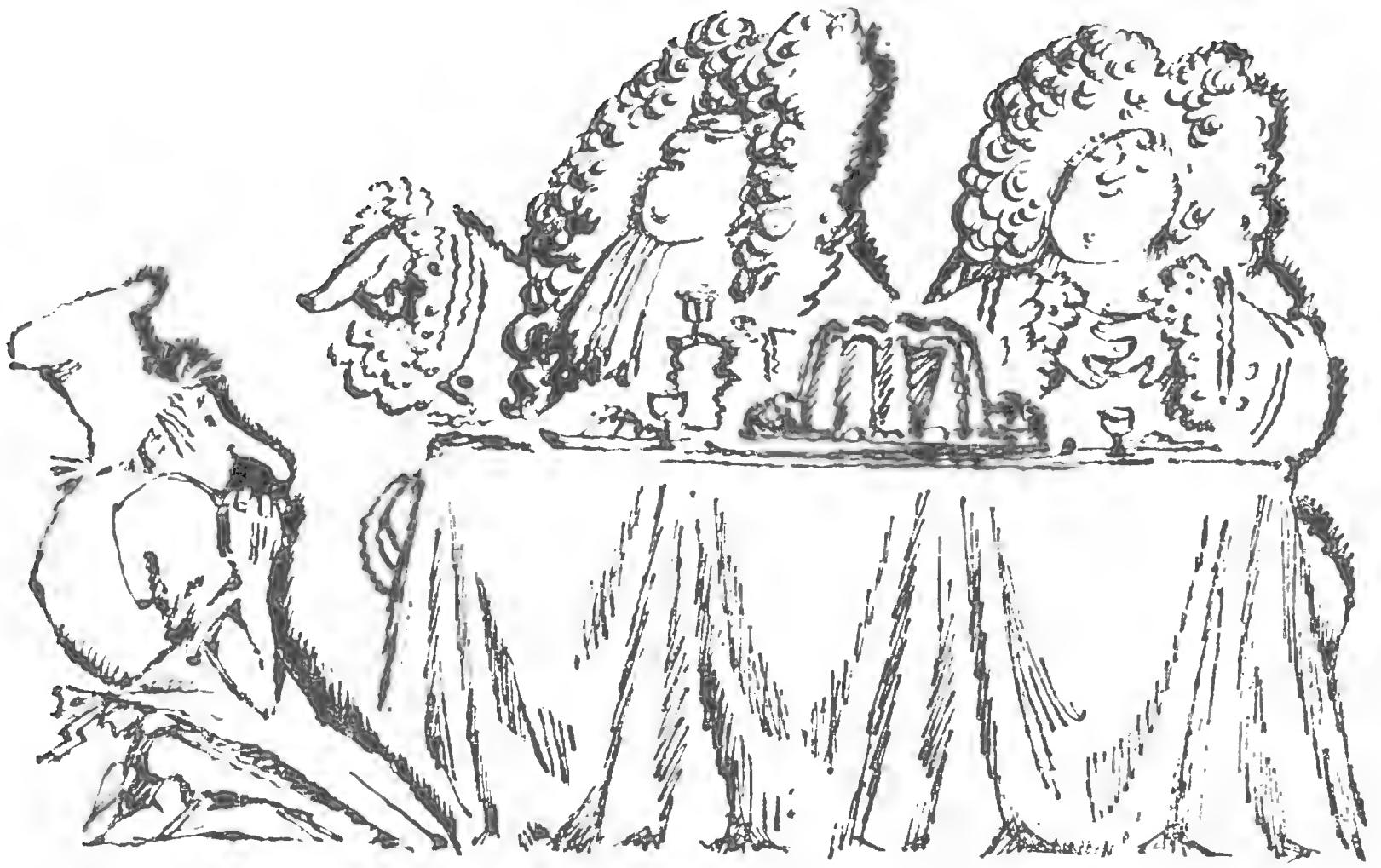
— О господин, я надеялся, что вы еще долго пробудете у нас, и хотел угостить вас «пирогом королевы» на прощанье. Ведь это — король всех пирогов, как вы сами хорошо знаете.

— Ах, вот как! — сказал герцог и рассмеялся.— Ты ведь и меня ни разу не угостил «пирогом королевы». Наверно, ты испечешь его в день моей смерти, чтобы последний раз побаловать меня. Но придумай на этот случай другое кушанье! А «пирог королевы» чтобы завтра был на столе! Слышишь?

— Слушаюсь, господин герцог,— ответил Якоб и ушел, озабоченный и огорченный.

Вот когда наступил день его позора! Откуда он узнает, как пекут этот пирог?

Он пошел в свою комнату и стал горько плакать. Гусыня Мими увидела это из своей клетки и пожалела его.



— О чем ты плачешь, Якоб? — спросила она, и, когда Якоб рассказал ей про «пирог королевы», она сказала: — Вытри слезы и не огорчайся. Этот пирог часто подавали у нас дома, и я, кажется, помню, как его надо печь. Возьми столько-то муки и положи еще такую-то и такую-то приправу — вот пирог и готов. А если в нем чего-нибудь не хватит — беда невелика. Герцог с князем все равно не заметят. Не такой уж у них разборчивый вкус.

Карлик Нос подпрыгнул от радости и сейчас же принялся печь пирог. Сначала он сделал маленький пирожок и дал его попробовать начальнику кухни. Тот нашел, что вышло очень вкусно. Тогда Якоб испек большой пирог и прямо из печи послал его к столу. А сам надел свое праздничное платье и пошел в столовую смотреть, как герцогу с князем понравится этот новый пирог.

Когда он входил, дворецкий как раз отрезал большой кусок пирога, на серебряной лопаточке подал его князю, а потом другой такой же — герцогу. Герцог откусил сразу полкуска, прожевал пирог, проглотил его и с довольным видом откинулся на спинку стула.

— Ах, как вкусно! — воскликнул он.— Недаром этот пирог называют королем всех пирогов. Но и мой карлик — король всех поваров. Не правда ли, князь?

Князь осторожно откусил крохотный кусочек, хорошенько прожевал его, растер языком и сказал, снисходительно улыбаясь и отодвигая тарелку·

— Недурное кушанье! Но только ему далеко до «пирога королевы». Я так и думал!

Герцог покраснел с досады и сердито нахмурился:

— Скверный карлик! — закричал он.— Как ты смел так опозорить своего господина? За такую стряпню тебе следовало бы отрубить башку!

— Господин! — закричал Якоб, падая на колени.— Я испек этот пирог как полагается. В него положено все, что надо.

— Ты лжешь, негодяй! — закричал герцог и отпихнул карлика ногой.— Мой гость не стал бы напрасно говорить, что в пироге чего-то не хватает. Я тебя самого прикажу размолоть и запечь в пирог, урод ты этакий!

— Сжальтесь надо мной! — жалобно закричал карлик, хватая князя за полы его платья.— Не дайте мне умереть из-за горстки муки и мяса! Скажите, чего не хватает в этом пироге, чем он вам так не понравился?

— Это мало тебе поможет, мой милый Нос,— ответил князь со смехом.— Я уже вчера подумал, что тебе не испечь этого пирога так, как его печет мой повар. В нем не хватает одной травки, которой у вас никто не знает. Она называется «чихай на здоровье». Без этой травки у «пирога королевы» не тот вкус, и твоему господину никогда не придется попробовать его таким, каким его делают у меня.

— Нет, я его попробую, и очень скоро! — закричал герцог.— Клянусь моей герцогской честью, либо вы завтра увидите на столе такой пирог, либо голова этого негодяя будет торчать на воротах моего дворца. Пошел вон, собака! Даю тебе сроку двадцать четыре часа, чтобы спасти свою жизнь.

Бедный карлик, горько плача, пошел к себе в комнату и пожаловался гусыне на свое горе. Теперь ему уже не миновать смерти! Ведь он никогда и не слыхивал о траве, которая называется «чихай на здоровье».

— Если в этом все дело,— сказала Мими,— то я могу тебе помочь. Мой отец научил меня узнавать все травы. Будь это недели две назад, тебе, может быть, и вправду грозила бы смерть, но, к счастью, теперь новолуние, а в это время как раз и цветет та трава. Есть где-нибудь около дворца старые каштаны?

— Да! Да! — радостно закричал карлик.— В саду, совсем близко отсюда, растет несколько каштанов. Но зачем они тебе?

— Эта трава,— ответила Мими,— растет только под старыми каштанами. Не будем попусту терять время и пойдем сейчас же ее искать. Возьми меня на руки и вынеси из дворца.

Карлик взял Мими на руки, подошел с ней к дворцовым воротам и хотел выйти. Но привратник преградил ему дорогу.

— Нет, мой милый Нос,— сказал он,— мне строго-настрого велено не выпускать тебя из дворца.

— Неужели мне и в саду нельзя погулять? — спросил карлик.— Будь добр, пошли кого-нибудь к смотрителю и спроси, можно ли мне ходить по саду и собирать траву.

Привратник послал спросить смотрителя, и смотритель позволил: сад ведь был обнесен высокой стеной и убежать из него было невозможно.

Выйдя в сад, карлик осторожно поставил Мими на землю, и она, ковыляя, побежала к каштанам, которые росли на берегу озера. Якоб, пригорюнившись, шел за нею.

«Если Мими не найдет той травки,— думал он,— я утоплюсь в озере. Это все-таки лучше, чем дать отрубить себе голову».

Мими между тем побывала под каждым каштаном, перевернула клювом всякую былинку, но напрасно — травки «чихай на здоровье» нигде не было видно. Гусыня от горя даже заплакала. Приближался вечер, темнело, и становилось все труднее различать стебли трав. Случайно карлик взглянул на другой берег озера и радостно закричал:

— Посмотри, Мими, видишь — на той стороне еще один большой старый каштан! Пойдем туда и поищем, может быть, под ним растет мое счастье.

Гусыня тяжело захлопала крыльями и полетела, а карлик во всю прыть побежал за нею на своих маленьких ножках. Перейдя через мост, он подошел к каштану. Каштан был густой и развесистый, под ним в полутьме почти ничего не было видно. И вдруг Мими замахала крыльями и даже подскочила от радости. Она быстро сунула клюв в траву, сорвала какой-то цветок и сказала, осторожно протягивая его Якобу:

— Вот трава «чихай на здоровье». Здесь ее растет много-много, так что тебе надолго хватит.

Карлик взял цветок в руку и задумчиво посмотрел на него. От него шел сильный приятный запах, и Якобу почему-то вспомнилось, как он стоял у старухи в кладовой, подбирая травы, чтобы начинить ими курицу, и нашел такой же цветок — с зеленоватым стебельком и ярко-красной головкой, украшенной желтой каймой.

И вдруг Якоб весь задрожал от волнения.

— Знаешь, Мими,— закричал он,— это, кажется, тот самый цветок, который превратил меня из белки в карлика! Попробую-ка я его понюхать.

— Подожди немножко,— сказала Мими.— Возьми с собой пучок этой травы, и вернемся к тебе в комнату. Собери свои деньги и все, что ты нажил, пока служил у герцога, а потом мы испробуем силу этой чудесной травки.

Якоб послушался Мими, хотя сердце у него громко стучало

от нетерпения. Он бегом прибежал к себе в комнату. Завязав в узелок сотню дукатов и несколько пар платья, он сунул свой длинный нос в цветы и понюхал их. И вдруг его суставы затрещали, шея вытянулась, голова сразу поднялась из плеч, нос стал делаться все меньше и меньше, а ноги все длиннее и длиннее, спина и грудь выровнялись, и он стал такой же, как все люди. Мими с великим удивлением смотрела на Якоба.

— Какой ты красивый! — закричала она.— Ты теперь совсем не похож на уродливого карлика!

Якоб очень обрадовался. Ему захотелось сейчас же бежать к родителям и показаться им, но он помнил о своей спасительнице.

— Не будь тебя, дорогая Мими, я бы на всю жизнь остался карликом и, может быть, умер бы под топором палача,— сказал он, нежно поглаживая гусыню по спине и по крыльям.— Я должен тебя отблагодарить. Я отвезу тебя к твоему отцу, и он тебя расколдует. Он ведь умнее всех волшебников.

Мими залилась слезами от радости, а Якоб взял ее на руки и прижал к груди. Он незаметно вышел из дворца — ни один человек не узнал его — и отправился с Мими к морю, на остров Готланд, где жил ее отец, волшебник Веттербок.

Они долго путешествовали и наконец добрались до этого острова. Веттербок сейчас же снял чары с Мими и дал Якобу много денег и подарков. Якоб немедля вернулся в свой родной город. Отец и мать с радостью встретили его— он ведь стал такой красивый и привез столько денег!

Надо еще рассказать про герцога.

Утром на другой день герцог решил исполнить свою угрозу и отрубить карлику голову, если он не нашел той травы, о которой говорил князь. Но Якоба нигде не могли отыскать.

Тогда князь сказал, что герцог нарочно спрятал карлика, чтобы не лишиться своего лучшего повара, и назвал его обманщиком. Герцог страшно рассердился и объявил князю войну. После многих битв и сражений они наконец помирились, и князь, чтобы отпраздновать мир, велел своему повару испечь настоящий «пирог королевы». Этот мир между ними так и назвали — «Пирожный мир».

Вот и вся сказка о Карлике Носе.

Ганс Христиан Андерсен

Сказки и истории

ГАДКИЙ УТЕНОК

Хорошо было за городом! Стояло лето. На полях уже золотилась рожь, овес зеленел, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски— этому языку он выучился у своей матери. За полями и лугами темнел большой лес, а в лесу прятались глубокие синие озера. Да, хорошо было за городом! Солнце освещало старую усадьбу, окруженную глубокими канавами с водой. Вся земля — от стен дома до самой воды — заросла лопухом, да таким высоким, что маленькие дети могли стоять под самыми крупными его листьями во весь рост.

В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей это занятие порядком надоело. К тому же ее редко навещали,— другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать вместе с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали.

Утята зашевелились, застучали клювами и высунули головки.

— Пип, пип! — сказали они.

— Кряк, кряк! — ответила утка.— Поторапливайтесь!

Утята выкарабкались кое-как из скорлупы и стали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им — зеленый цвет полезен для глаз.

— Ах, как велик мир! — сказали утята.

Еще бы! Теперь им было куда просторнее, чем в скорлупе.

— Уж не думаете ли вы, что тут и весь мир? — сказала мать.— Какое там! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, за поле... Но, по правде говоря, там я отроду не бывала!.. Ну что, все уже выбрались? — И она поднялась на ноги.— Ах нет, еще не все... Самое большое яйцо целехонько! Да когда же этому будет конец! Я скоро совсем потеряю терпение.

И она уселась опять.

— Ну, как дела? — спросила старая утка, просунув голову в чащу лопуха.

— Да вот, с одним яйцом никак не могу справиться,— сказала молодая утка.— Сижу, сижу, а оно все не лопается. Зато посмотри на тех малюток, что уже вылупились. Просто прелесть!

Все, как один,— в отца! А он-то, негодный, даже не навестил меня ни разу!

— Постой, покажи-ка мне сперва то яйцо, которое не лопается,— сказала старая утка.— Уж не индюшечье ли оно, чего доброго? Ну да, конечно!.. Вот точно так же и меня однажды провели. А сколько хлопот было у меня потом с этими индюшатами! Ты не поверишь: они до того боятся воды, что их и не загонишь в канаву. Уж я и шипела, и крякала, и просто толкала их в воду,— не идут, да и только. Дай-ка я еще раз взгляну. Ну, так и есть! Индюшечье! Брось-ка его да ступай учи своих деток плавать!

— Нет, я, пожалуй, посижу,— сказала молодая утка.— Уж столько терпела, что можно еще немного потерпеть.

— Ну и сиди! — сказала старая утка и ушла.

И вот наконец большое яйцо треснуло.

— Пип! Пип! — пропищал птенец и вывалился из скорлупы.

Но какой же он был большой и гадкий!

Утка оглядела его со всех сторон и всплеснула крыльями.

— Ужасный урод! — сказала она.— И совсем не похож на других! Уж не индюшонок ли это в самом деле? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух был залит солнцем.

Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бултых!— и она очутилась в воде.

— Кряк-кряк! За мной! Живо! — позвала она, и утята один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрыла их с головой, но они сейчас же вынырнули и отлично поплыли вперед. Лапки у них так и заработали, так и заработали. Даже гадкий серый утенок не отставал от других.

— Какой же это индюшонок? — сказала утка.— Вон как славно гребет лапками! И как прямо держится! Нет, это мой собственный сын. Да он вовсе не так дурен, если хорошенько присмотреться к нему. Ну, живо, живо за мной! Я сейчас введу вас в общество — мы отправимся на птичий двор. Только держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро утка со всем своим выводком добралась до птичьего двора. Бог ты мой! Что тут был за шум! Два утиных семейства дрались из-за головки угря. И в конце концов эта головка досталась кошке.

— Вот так всегда и бывает в жизни! — сказала утка и облизнула язычком клюв — она и сама была не прочь отведать угриной головки.— Ну, ну, шевелите лапками! — скомандовала она,

поворачиваясь к утятам.— Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех. Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток! До чего красиво! Это высшее отличие, какого только может удостоиться утка. Это значит, что ее не хотят потерять,— по этому лоскутку ее сразу узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен выворачивать лапки наружу. Вот так! Смотрите. Теперь наклоните головки и скажите: «Кряк!»

Утята так и сделали.

Но другие утки оглядели их и громко заговорили:

— Ну вот, еще целая орава! Точно без них нас мало было! А один-то какой гадкий! Этого уж мы никак не потерпим!

И сейчас же одна утка подлетела и клюнула его в шею.

— Оставьте его! — сказала утка-мать.— Ведь он вам ничего не сделал!

— Положим, что так. Но какой-то он большой и несуразный! — прошипела злая утка.— Не мешает его немного проучить.

А знатная утка с красным лоскутком на лапке сказала:

— Славные у тебя детки! Все очень, очень милы, кроме одного, пожалуй... Бедняга не удался! Хорошо бы его переделать.

— Это никак невозможно, ваша милость! — ответила утка-мать.— Он некрасив — это правда, но у него доброе сердце. А плавает он не хуже, смею даже сказать — лучше других. Я думаю, со временем он выровняется и станет поменьше. Он слишком долго пролежал в яйце и потому немного перерос.— И она разгладила клювом перышки на его спине.— Кроме того, он селезень, а селезню красота не так уж нужна. Я думаю, он вырастет сильным и пробьет себе дорогу в жизнь.

— Остальные утята очень, очень милы!— сказала знатная утка.— Ну, будьте как дома, а если найдете угриную головку, можете принести ее мне.

И вот утята стали вести себя как дома. Только бедному утенку, который вылупился позже других и был такой гадкий, никто не давал проходу. Его клевали, толкали и дразнили не только утки, но даже куры.

— Слишком велик! — говорили они.

А индийский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя чуть не императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел прямо к утенку, поглядел на него и сердито залопотал; гребешок у него так и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, куда деваться. И надо же было ему уродиться таким гадким, что весь птичий двор смеется над ним!

Так прошел первый день, а потом стало еще хуже. Все

гнали бедного утенка, даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, несносный урод!» А мать прибавляла: «Глаза б мои на тебя не глядели!» Утки щипали его, куры клевали, а девушка, которая давала птицам корм, отталкивала его ногою.

Наконец утенок не выдержал. Он перебежал через двор и, распустив свои неуклюжие крылышки, кое-как перевалился через забор прямо в колючие кусты.

Маленькие птички, сидевшие на ветках, разом вспорхнули и разлетелись в разные стороны.

«Это оттого, что я такой гадкий»,— подумал утенок и, зажмурив глаза бросился бежать, сам не зная куда. Он бежал до тех пор, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки.

Тут он провел всю ночь. Бедный утенок устал, и ему было очень грустно.

Утром дикие утки проснулись в своих гнездах и увидали нового товарища.

— Это что за птица? — спросили они.

Утенок вертелся и кланялся во все стороны, как умел.

— Ну и гадкий же ты!— сказали дикие утки.— Впрочем, нам до этого нет никакого дела, только бы ты не лез к нам в родню.

Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом! Лишь бы ему позволили жить в камышах да пить болотную воду,— о большем он и не мечтал.

Так просидел он в болоте два дня. На третий день туда прилетели два диких гусака. Они совсем недавно научились летать и поэтому очень важничали.

— Слушай, дружище! — сказали они.— Ты такой чудной, что на тебя смотреть весело. Хочешь дружить с нами? Мы птицы вольные — куда хотим, туда и летим. Здесь поблизости есть еще болото, там живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить: «Рап! Рап!» Ты так забавен, что, чего доброго, будешь иметь у них большой успех.

Пиф! Паф! — раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми, а вода покраснела от крови.

Пиф! Паф! — раздалось опять, и целая стая диких гусей поднялась над болотом. Выстрел гремел за выстрелом. Охотники окружили болото со всех сторон; некоторые из них забрались на деревья и вели стрельбу сверху. Голубой дым облаками окутывал вершины деревьев и стлался над водой. По болоту рыскали охотничьи собаки. Только и слышно было: шлёп-шлёп! А камыш раскачивался из стороны в сторону. Бедный утенок от страха был ни жив ни мертв. Он хотел было спрятать голову под крылышко, как вдруг прямо перед ним выросла охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глаза-

ми. Она посмотрела на утенка, оскалила острые зубы и — шлеп-шлеп! — побежала дальше.

«Кажется, пронесло,— подумал утенок и перевел дух.— Видно, я такой гадкий, что даже собаке противно съесть меня!»

И он притаился в камышах. А над головою его то и дело свистела дробь, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевельнуться.

Прошло несколько часов. Наконец он осмелился встать, осторожно огляделся вокруг и пустился бежать дальше по полям и лугам.

Дул такой сильный встречный ветер, что утенок еле-еле передвигал лапками.

К ночи он добрался до маленькой убогой избушки. Избушка до того обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, потому и держалась.

Ветер так и подхватывал утенка,— приходилось прижиматься к самой земле, чтобы не унесло.

К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и так перекосилась, что сквозь щель можно легко пробраться внутрь. И утенок пробрался.

В избушке жила старуха со своей курицей и котом. Кота она звала Сыночком; он умел выгибать спину, мурлыкать и даже сыпать искрами, но для этого надо было погладить его против шерсти. У курицы были маленькие коротенькие ножки, и потому ее так и прозвали Коротконожкой. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром утенка заметили. Кот начал мурлыкать, а курица кудахтать.

— Что там такое? — спросила старушка.

Она поглядела кругом и увидела в углу утенка, но сослепу приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.

— Вот так находка! — сказала старушка.— Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень.

И она решила оставить бездомную птицу у себя.

Но прошло недели три, а яиц все не было.

Настоящим хозяином в доме был кот, а хозяйкой — курица. Оба они всегда говорили: «Мы и весь свет!» Они считали самих себя половиной всего света, и притом лучшей половиной. Утенку, правда, казалось, что на сей счет можно быть другого мнения. Но курица этого не допускала.

— Умеешь ты нести яйца? — спросила она утенка.

— Нет!

— Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

— Умеешь ты выгибать спину, сыпать искрами и мурлыкать?

— Нет!

— Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу, нахохлившись.

Как-то раз дверь широко отворилась, и в комнату ворвались струя свежего воздуха и яркий солнечный луч. Утенка так сильно потянуло на волю, так захотелось ему поплавать, что он не мог удержаться и сказал об этом курице.

— Ну, что еще выдумал? — напустилась на него курица.— Бездельничаешь, вот тебе в голову и лезет всякая чепуха! Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет!

— Ах, плавать так приятно! — сказал утенок.— Такое удовольствие нырнуть вниз головой в самую глубь!

— Вот так удовольствие! — сказала курица.— Ты совсем с ума сошел! Спроси у кота — он рассудительней всех, кого я знаю,— нравится ли ему плавать и нырять? О себе самой я уж не говорю. Спроси, наконец, у нашей госпожи старушки, умнее ее, уж наверное, никого нет на свете! Она тебе скажет, любит ли она нырять вниз головой в самую глубь!

— Вы меня не понимаете! — сказал утенок.

— Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Ты, видно, хочешь быть умнее кота и нашей госпожи, не говоря уже обо мне! Не дури и будь благодарен за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, ты попал в такое общество, в котором можешь кое-чему научиться. Но ты пустая голова, и разговаривать с тобой не стоит. Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя. Так всегда поступают истинные друзья. Старайся же нести яйца или научись мурлыкать да сыпать искрами!

— Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят!— сказал утенок.

— Ну и ступай себе! — ответила курица.

И утенок ушел. Он жил на озере, плавал и нырял вниз головой, но все вокруг по-прежнему смеялись над ним и называли его гадким и безобразным.

А между тем настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Они так и сыпались с ветвей, а ветер подхватывал их и кружил по воздуху. Стало очень холодно. Тяжелые тучи сеяли на землю то град, то снег. Даже ворон, сидя на изгороди, каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о такой стуже!

Плохо приходилось бедному утенку.

Раз под вечер, когда солнышко еще сияло на небе, из-за леса поднялась целая стая чудесных, больших птиц. Таких красивых птиц утенок никогда еще не видел — все белые как снег, с длинными гибкими шеями...

Это были лебеди.

Их крик был похож на звуки трубы. Они распростерли свои широкие, могучие крылья и полетели с холодных лугов в теплые края, за синие моря... Вот уж они поднялись высоко-высоко, а бедный утенок все смотрел им вслед, и какая-то непонятная тревога охватила его. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже закричал, да так громко и странно, что сам испугался. Он не мог оторвать глаз от этих прекрасных птиц, а когда они совсем скрылись из виду, он нырнул на самое дно, потом выплыл опять и все-таки долго еще не мог опомниться. Утенок не знал, как зовут этих птиц, не знал, куда они летят, но полюбил их, как не любил до сих пор никого на свете. Красоте их он не завидовал. Ему и в голову не приходило, что он может быть таким же красивым, как они.

Он был рад-радехонек, если бы хоть утки не отталкивали его от себя. Бедный гадкий утенок!

Зима настала холодная-прехолодная. Утенок должен был плавать по озеру без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем, но с каждой ночью полынья, в которой он плавал, становилась все меньше и меньше. Мороз был такой, что даже лед потрескивал. Утенок без устали работал лапками. Под конец он совсем выбился из сил, растянулся и примерз ко льду.

Рано утром мимо проходил крестьянин. Он увидел примерзшего ко льду утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и отнес полумертвую птицу домой к жене.

Утенка отогрели.

Дети задумали поиграть с ним, но утенку показалось, что они хотят обидеть его. Он шарахнулся от страха в угол и попал прямо в подойник с молоком. Молоко потекло по полу. Хозяйка вскрикнула и всплеснула руками, а утенок заметался по комнате, влетел в кадку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Легко представить, на что он стал похож!

Хозяйка бранила утенка и гонялась за ним с угольными щипцами, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь была открыта,— утенок выбежал, растопырив крылья, кинулся в кусты, прямо на свежевыпавший снег, и долго-долго лежал там почти без чувств.

Было бы слишком печально рассказывать про все беды и несчастья гадкого утенка в эту суровую зиму.

Наконец солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами. Зазвенели жаворонки в полях. Вернулась весна!

Утенок выбрался из камышей, где он прятался всю зиму, взмахнул крыльями и полетел. Крылья его теперь были куда крепче прежнего, они зашумели и подняли его над землей. Не успел он опомниться, как долетел уже до большого сада. Яблони стояли все в цвету, душистая сирень склоняла свои

длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо, как пахло весною!

И вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал этих прекрасных птиц, и его охватила какая-то непонятная грусть.

«Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверно, заклюют меня насмерть за то, что я, такой гадкий, осмелился приблизиться к ним. Но все равно! Лучше погибнуть от их ударов, чем сносить щипки уток и кур, пинки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»

И он опустился на воду и поплыл навстречу прекрасным лебедям, а лебеди, завидев его, замахали крыльями и поплыли прямо к нему.

— Убейте меня! — сказал гадкий утенок и низко опустил голову.

И вдруг в чистой, как зеркало, воде он увидел свое собственное отражение. Он был уже не гадким темно-серым утенком, а красивым белым лебедем!

Теперь утенок был даже рад, что перенес столько горя и бед. Он много вытерпел и поэтому мог лучше оценить свое счастье. А большие лебеди плавали вокруг и гладили его своими клювами.

В это время в сад прибежали дети. Они стали бросать лебедям кусочки хлеба и зерно, а самый младший из них закричал:

— Новый прилетел! Новый прилетел!

И все остальные подхватили:

— Да, новый, новый!

Дети хлопали в ладоши и плясали от радости. Потом они побежали за отцом с матерью и опять стали бросать в воду кусочки хлеба и пирожного.

И дети и взрослые говорили:

— Новый лебедь лучше всех! Он такой красивый и молодой!

И старые лебеди склонили перед ним головы.

А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он вспоминал то время, когда все смеялись над ним и гнали его. Но все это было позади. Теперь люди говорят, что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей. Сирень склоняет к нему в воду душистые ветки, а солнышко ласкает своими теплыми лучами... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

— Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще гадким утенком!

СОЛОВЕЙ

Ты, верно, знаешь, что в Китае все жители китайцы и сам император китаец.

Давным-давно это было, но потому-то и стоит рассказать эту историю, пока она еще не забылась совсем.

В целом мире не нашлось бы дворца лучше, чем дворец китайского императора. Он весь был из драгоценного фарфора, такого тонкого и хрупкого, что страшно было до него и дотронуться.

Дворец стоял в прекрасном саду, в котором росли чудесные цветы. К самым красивым цветам были привязаны серебряные колокольчики. И когда дул ветерок, цветы покачивались и колокольчики звенели. Это было сделано для того, чтобы никто не прошел мимо цветов, не поглядев на них. Вот как умно было придумано!

Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что даже главный садовник и тот не знал, где он кончается. А сразу за садом начинался дремучий лес. Этот лес доходил до самого синего моря, и корабли проплывали под сенью могучих деревьев.

Тут в лесу, у самого берега моря, жил соловей. Он пел так чудесно, что даже бедный рыбак, слушая его песни, забывал о своем неводе.

— Ах, как хорошо,— говорил он, вздыхая, но потом снова принимался за свое дело и не думал о лесном певце до следующей ночи.

А когда наступала следующая ночь, он опять, как зачарованный, слушал соловья и снова повторял то же самое:

— Ах, как хорошо, как хорошо!

Со всех концов света приезжали в столицу императора путешественники. Все они любовались великолепным дворцом и прекрасным садом, но, услышав пение соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»

Вернувшись домой, путешественники рассказывали обо всем, что видели. Ученые описывали столицу Китая, дворец и сад императора и никогда не забывали упомянуть о соловье. А поэты слагали в честь крылатого певца, живущего в китайском лесу на берегу синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот одна толстая книга дошла до самого китайского императора. Он сидел на своем золотом троне, читал и кивал головой. Ему очень нравилось читать о том, как хороша его столица, как прекрасны его дворец и сад. Но вот на последней странице книги император прочитал: «В Китае много чудесного, но лучше всего маленькая птичка, по имени соловей, которая живет в лесу близ императорского сада. Ради того, чтобы послушать ее пение, советуем каждому съездить в Китай».

— Что такое? — сказал император.— Как?! В моем государстве и даже рядом с моим собственным дворцом живет такая удивительная птица, а я ни разу не слыхал, как она поет! И я узнаю о ней из иноземных книг!

Он захлопнул книгу и велел позвать своего первого министра. Этот министр напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей пониже его чином осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, он отвечал только: «Пф», а это ведь ровно ничего не означает.

— Я прочел в одной ученой книге, что у нас есть замечательная птица, которую зовут соловей,— сказал император министру.— Ее считают первой достопримечательностью моего государства. Почему же мне ни разу не докладывали об этой птице?

— Ваше величество! — отвечал первый министр и поклонился императору.— Я даже и не слыхал о ней. Она никогда не была представлена ко двору.

— Весь свет знает, что у меня есть такая редкостная птица, и только я один не знаю этого,— сказал император.— Я хочу, чтобы сегодня же вечером она была здесь и пела передо мной!

— Я разыщу ее, ваше величество,— сказал первый министр.

Сказать-то было нетрудно. А где ее сыщешь?

И вот первый министр забегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из придворных не мог ему сказать, что за птица соловей и где этот самый соловей живет.

Первый министр вернулся к императору и доложил, что соловья в Китае нет и никогда не было.

— Ваше величество напрасно изволит верить всему, что пишут в книгах,— сказал он.— Все это одни пустые выдумки.

— Не говори глупостей! — сказал император.— Я хочу слышать соловья. Он должен быть во дворце сегодня же вечером! А если его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина отколотить тебя и всех министров палками по пяткам.

— Тзинг-пе! — сказал первый министр и опять принялся бегать вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам.

С ним бегали все сановники и придворные — никому не хотелось отведать палок.

То и дело они сталкивались носами и спрашивали друг друга:

— Что такое со-ло-вей?

— Где найти со-ло-вья?

Но никто в императорском дворце даже не слышал о соловье, про которого знал уже весь свет.

Наконец придворные прибежали в кухню. Там сидела маленькая девочка и вытирала тарелки.

Первый министр спросил девочку, не знает ли она, где живет соловей.

— Соловей? — сказала девочка.— Да как же мне не знать! Он живет в нашем лесу. А уж как поет! Я каждый день ношу моей больной маме остатки обеда с императорской кухни. Живем мы у самого моря. Рядом в лесной чаще есть старое дерево с большим дуплом и густыми-густыми ветвями. И каждый раз, когда я сажусь отдохнуть под этим деревом, я слышу песню соловья. Он поет так нежно, что слезы сами собой текут у меня из глаз, а на душе становится так радостно, будто меня целует матушка.

— Девочка,— сказал первый министр,— я назначу тебя шестой придворной судомойкой и даже позволю посмотреть, как обедает сам император, если ты покажешь нам, где живет соловей. Он приглашен сегодня вечером ко двору.

И вот все отправились в лес.

Впереди шла девочка, а за ней министры и сановники.

Шли они, шли, и вдруг где-то неподалеку замычала корова.

— О! — сказали придворные.— Это, наверно, и есть соловей. Какой, однако, у него сильный голос!

— Это корова мычит,— сказала девочка.— Еще далеко до того дерева, на котором живет соловей.

И все пошли дальше.

Вдруг в болоте заквакали лягушки.

— Чудесно! — сказал придворный бонза.— Наконец-то я слышу соловья. Точь-в-точь серебряные колокольчики в нашей молельне!..

— Нет, это лягушки,— сказала девочка.— Но теперь, я думаю, мы скоро услышим и самого соловья.

И в самом деле, из чащи ветвей послышалось чудесное пение.

— Вот это и есть соловей! — сказала девочка.— Слушайте, слушайте! А вот и он сам! — И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, которая сидела на ветке.

— Пф! — сказал первый министр.— Никак не думал, что этот знаменитый соловей так невзрачен с виду. Наверно, он посерел от страха, увидев так много знатных особ.

— Соловушка! — громко закричала девочка.— Наш милостивый император хочет послушать тебя.

— Очень рад!— ответил соловей и запел еще звонче.

— Пф, пф! — сказал первый министр.— Его голос звенит так же звонко, как стеклянные колокольчики на парадном балдахине императора. Взгляните только, как работает это маленькое горлышко! Странно, что мы до сих пор никогда не слыхали такого замечательного певца. Он несомненно будет иметь огромный успех при дворе.

— Не желает ли император, чтобы я спел еще? — спросил соловей. Он думал, что с ним говорит сам император.

— Несравненный господин соловей! — сказал первый ми-

нистр.— Его величества императора здесь нет, но он возложил на меня приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением.

— Песни мои гораздо лучше слушать в зеленом лесу,— сказал соловей.— Но я охотно полечу с вами, если это будет приятно императору.

А во дворце между тем готовились к празднику. Все бегали, хлопотали и суетились. В фарфоровых стенах и в стеклянном полу отражались сотни тысяч золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены прекрасные цветы, а привязанные к цветам колокольчики от всей этой беготни, суматохи и сквозного ветра звенели так громко, что никто не слышал своего собственного голоса.

И вот наступил вечер. Посреди огромной залы восседал император. Напротив императорского трона поставили золотой шест, а на самой верхушке его сидел соловей. Все придворные были в полном сборе. Даже бедной девочке из кухни позволили стоять в дверях,— ведь она была теперь не простая девочка, а придворная судомойка. Все были разодеты в пух и прах и не сводили глаз с маленькой серенькой птички.

Но вот император милостиво кивнул головой. И соловей запел.

Он пел так нежно, так чудесно, что даже у самого императора выступили на глазах слезы и покатились по щекам.

Тогда соловей залился еще громче, еще нежнее. Пение его так и хватало за сердце.

Когда он кончил, император сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался.

— Я уже и так вознагражден,— сказал соловей.— Я видел слезы на глазах императора. Какой же еще желать мне награды?

И опять зазвучал его чудесный голос.

— Ах, это очаровательно! — восклицали наперебой придворные дамы.

И с тех пор, когда им нужно было разговаривать с кем-нибудь, кому они хотели понравиться, они набирали в рот воды, чтобы она булькала у них в горле. Придворные дамы, видите ли, вообразили, что это бульканье похоже на соловьиные трели.

Соловья оставили при дворе и отвели ему особую комнату. Два раза в день и один раз ночью ему разрешали гулять на свободе.

Но к нему приставили двенадцать слуг, и каждый из них держал привязанную к ножке соловья шелковую ленточку.

Нечего сказать, большое удовольствие могла доставить такая прогулка!

Весь город заговорил об удивительной птице, и если на улице встречались трое знакомых, один из них говорил: «Со», другой подхватывал: «ло», а третий заканчивал: «вей», после чего все трое вздыхали и поднимали к небу глаза.

Одиннадцать лавочников дали своим сыновьям новое имя: «Соловей» — в честь императорского соловья,— хотя голоса у этих младенцев были похожи на скрип несмазанных колес.

Словом, маленькая лесная птичка прославилась на весь Китай.

Но вот однажды императору прислали из Японии ящичек, завернутый в шелковую материю. На ящичке было написано: «Соловей».

— Это, наверно, новая книга о нашей знаменитой птице,— сказал император.

Ящик открыли, но в нем была не книга, а разукрашенная коробочка. А в коробочке лежал искусственный соловей. Он был очень похож на живого, но весь осыпан брильянтами, рубинами и сапфирами. Стоило завести игрушечную птицу — и она начинала петь одну из тех песен, которые пел настоящий соловей, и вертеть позолоченным хвостиком. На шейке у птицы была ленточка с надписью: «Соловей императора японского ничто в сравнении с соловьем императора китайского».

— Какая прелесть! — сказали все.

А того, кто привез драгоценную птицу, сейчас же возвели в чин придворного поставщика соловьев.

— Теперь пускай этот новый соловей и наш старый певец споют вместе,— решил император.

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей каждый раз пел свою песню по-новому, а искусственный повторял одну и ту же песенку, как заведенная шарманка.

Тогда искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как и настоящий соловей, но при этом был куда красивее — весь так и блестел, так и сверкал драгоценными каменьями. Тридцать три раза пропел он одно и то же и нисколько не устал.

Придворные охотно послушали бы его песенку еще тридцать три раза, но император сказал, что теперь надо послушать для сравнения и настоящего соловья. Тут все обернулись и посмотрели на золотой шест. Но соловья там не было. Куда же он девался?

Никто и не заметил, как соловей выпорхнул в открытое окно и улетел домой, в свой зеленый лес.

— Что же это, однако, такое? — сказал император.

И все придворные стали бранить соловья и называть его неблагодарной тварью.

— Лучшая-то птица все-таки осталась у нас! — говорили все,

и заводному соловью пришлось спеть свою единственную песню в тридцать четвертый раз.

Придворный капельмейстер всячески расхваливал искусственную птицу и уверял, что она гораздо лучше настоящей и наружностью и голосом.

— Я возьму на себя смелость утверждать, высокий повелитель мой, и вы, достопочтенные господа,— говорил он,— что преимущества искусственного соловья перед живым соловьем неоспоримы. Изволите ли видеть, имея дело с живым, вы никогда не знаете заранее, что ему заблагорассудится спеть, в то время как вам всегда известно наперед, что именно будет петь искусственный. Если вам угодно, вы даже можете разобрать его и посмотреть, как он устроен, как расположены и действуют все его валики, винтики и пружинки — плод человеческого ума и учености.

— О да, мы тоже так думаем,— сказали придворные.

А император велел показать птицу всему городу в следующее же воскресенье.

— Пусть и народ послушает ее,— сказал он.

Горожане послушали с удовольствием и выразили свое полное одобрение, словно их угостили отличным чаем, а ведь китайцы, как известно, ничто так не любят, как чай.

Все в один голос восклицали «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами.

Только бедные рыбаки, которым доводилось слышать настоящего соловья, говорили:

— Недурно поет! Даже похоже на живого соловья. Но все-таки не то! Чего-то недостает, а чего — мы и сами не знаем!

А тем временем император издал указ, скрепленный самой большой императорской печатью. В этом указе настоящего соловья объявили навсегда изгнанным из китайского государства. А искусственный занял место на шелковой подушке, возле самой императорской постели. Вокруг него были разложены все пожалованные ему драгоценности, в том числе золотая императорская туфля.

Заводной птице дали особое звание: «Первый певец императорского ночного столика с левой стороны», потому что император считал более важной ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора!

Ученые написали об искусственном соловье двадцать пять толстенных книг, полных самых мудреных и непонятных китайских слов. Однако все придворные уверяли, что прочли эти книги и поняли от слова до слова,— иначе ведь их прозвали бы невеждами и отколотили бы палками по пяткам.

Так прошел год. Император, весь двор и даже весь город знали наизусть каждую нотку в песне искусственного соловья.

Поэтому-то пение его так нравилось. Все теперь сами могли подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клю-клюк-клюк!» И даже сам император напевал иногда: «Ци-ци-ци! Клю-клюк-клюк!» Ну что за прелесть!

И вот однажды вечером искусственная птица распевала перед императором, а он лежал в постели и слушал ее. Вдруг внутри птицы что-то зашипело, зажужжало, колесики быстро завертелись и остановились. Музыка смолкла.

Император вскочил с постели и послал за своим личным лекарем. Но что тот мог поделать? Ведь он никогда не лечил соловьев — ни живых, ни искусственных.

Тогда призвали часовщика. Часовщик разобрал птицу на части и долго рассматривал какие-то колесики и подвинчивал какие-то винтики. Потом он сказал, что птица хоть и будет петь, но обращаться с ней надо очень осторожно: маленькие зубчики истерлись, а поставить новые нельзя. Вот какое горе!

Все были очень опечалены. Император издал новый указ, в котором говорилось, что «Первого певца императорского ночного столика с левой стороны» разрешается заводить только раз в год, да и то ненадолго.

Для успокоения горожан придворный капельмейстер произнес речь, в которой он с большим искусством доказал, что заводной соловей нисколько не стал хуже. Ну, а если это сказал придворный капельмейстер, значит, так оно и было.

Прошло еще пять лет.

Однажды император простудился и заболел. Доктора уже не надеялись на его выздоровление. Министры и придворные собирались провозгласить нового императора, а народ толпился на улице и спрашивал первого министра о здоровье старого императора.

— Пф! — отвечал первый министр и покачивал головой.

Бледный и похолодевший, лежал император на своем великолепном ложе. Все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Слуги бегали взад и вперед по дворцу и узнавали последние новости, а служанки проводили время в болтовне за чашкой чая. Во всех залах и коридорах были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина.

Но старый император еще не умер, хотя и лежал совсем неподвижно на своем великолепном ложе, под бархатным балдахином с золотыми кистями. Окно было раскрыто, и месяц глядел на императора и заводного соловья, который лежал так же неподвижно, как и сам император, на шелковой подушке возле постели больного.

Бедный император едва дышал, ему казалось, что кто-то сжимает его горло. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди

у него сидит Смерть. Она надела себе на голову корону императора, в одной руке у нее была его золотая сабля, а в другой — императорское знамя. А кругом из всех складок бархатного балдахина выглядывали какие-то страшные рожи: одни безобразные и злые, другие — красивые и добрые. Но злых было гораздо больше. Это были злые и добрые дела императора. Они смотрели на него и наперебой шептали.

— Помнишь ли ты это? — слышалось с одной стороны.

— А это помнишь? — доносилось с другой.

И они рассказывали ему такое, что холодный пот выступал у императора на лбу.

— Я забыл об этом,— бормотал он.— А этого никогда и не знал...

Ему стало так тяжело, так страшно, что он закричал:

— Музыку сюда, музыку! Бейте в большой китайский барабан! Я не хочу видеть и слышать их!

Но страшные голоса не умолкали, а Смерть, словно старый китаец, кивала при каждом их слове.

— Музыку сюда, музыку! — еще громче вскричал император.— Пой хоть ты, моя славная золотая птичка! Я одарил тебя драгоценностями, я повесил тебе на шею золотую туфлю!.. Пой же, пой!

Но птица молчала: некому было завести ее, а без этого она петь не умела.

Смерть, усмехаясь, глядела на императора своими пустыми глазными впадинами. Мертвая тишина стояла в покоях императора.

И вдруг за окном раздалось чудное пение. То был маленький живой соловей. Он узнал, что император болен, и прилетел, чтобы утешить и ободрить его. Он сидел на ветке и пел, и страшные призраки, обступившие императора, все бледнели и бледнели, а кровь все быстрее, все жарче приливала к сердцу императора.

Сама Смерть заслушалась соловья и лишь тихо повторяла:

— Пой, соловушка! Пой еще!

— А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? И знамя? И корону? — спрашивал соловей.

Смерть кивала головой и отдавала одно сокровище за другим, а соловей все пел и пел. Вот он запел песню о тихом кладбище, где цветет бузина, благоухают белые розы и в свежей траве на могилах блестят слезы живых, оплакивающих своих близких. Тут Смерти так захотелось вернуться к себе домой, на тихое кладбище, что она закуталась в белый холодный туман и вылетела в окно.

— Спасибо тебе, милая птичка! — сказал император.— Я узнаю тебя. Когда-то я прогнал тебя из моего государства,

а теперь ты своей песней отогнала от моей постели Смерть! Чем мне вознаградить тебя?

— Ты уже наградил меня,— сказал соловей.— Я видел слезы на твоих глазах, когда первый раз пел перед тобой,— этого я не забуду никогда. Искренние слезы восторга — самая драгоценная награда певцу!

И он запел опять, а император заснул здоровым, крепким сном.

А когда он проснулся, в окно уже ярко светило солнце. Никто из придворных и слуг даже не заглядывал к императору. Все думали, что он умер. Один соловей не покидал больного. Он сидел за окном и пел еще лучше, чем всегда.

— Останься у меня! — просил император.— Ты будешь петь только тогда, когда сам захочешь. А искусственную птицу я разобью.

— Не надо! — сказал соловей.— Она служила тебе, как могла. Оставь ее у себя. Я не могу жить во дворце. Я буду прилетать к тебе, когда сам захочу, и буду петь о счастливых и несчастных, о добре и зле, обо всем, что делается вокруг тебя и чего ты не знаешь. Маленькая певчая птичка летает повсюду — залетает и под крышу бедной крестьянской хижины, и в рыбачий домик, которые стоят так далеко от твоего дворца. Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне...

— Все, что хочешь! — воскликнул император и встал с постели.

Он успел уже надеть свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

— Обещай мне не говорить никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем большом мире. Так дело пойдет лучше.

И соловей улетел.

Тут вошли придворные, они собрались поглядеть на умершего императора, да так и застыли на пороге.

А император сказал им:

— Здравствуйте! С добрым утром!

ДЮЙМОВОЧКА

Жила на свете одна женщина. У нее не было детей, а ей очень хотелось ребеночка. Вот пошла она к старой колдунье и говорит:

— Мне так хочется, чтоб у меня была дочка, хоть самая маленькая!..

— Чего же проще! — ответила колдунья.— Вот тебе ячмен-

ное зерно. Это зерно не простое, не из тех, что зреют у вас на полях и родятся птице на корм. Возьми-ка его да посади в цветочный горшок. Увидишь, что будет.

— Спасибо тебе! — сказала женщина и дала колдунье двенадцать медяков.

Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок.

Только она его полила, зернышко сразу же проросло. Из земли показались два листочка и нежный стебель. А на стебле появился большой чудесный цветок, вроде тюльпана. Но лепестки цветка были плотно сжаты: он еще не распустился.

— Какой прелестный цветок! — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.

В ту же минуту в сердцевине цветка что-то щелкнуло, и он раскрылся. Это был в самом деле большой тюльпан, но в чашечке его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм[1] ростом. Поэтому ее так и прозвали — Дюймовочка.

Колыбельку для Дюймовочки сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца — лепесток розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днем она играла на столе.

Посередине стола женщина поставила глубокую тарелку с водой, а по краю тарелки разложила цветы. Длинные стебельки их купались в воде, и цветы долго оставались свежими и душистыми.

Для маленькой Дюймовочки тарелка с водой была целым озером, и она плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке, переплывала с одной стороны тарелки на другую и распевала песни. Такого нежного голоска, как у нее, никто никогда не слышал.

Однажды ночью, когда Дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату пробралась большущая старая жаба, мокрая и безобразная. С подоконника она прыгнула на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы Дюймовочка.

— Как хороша! — сказала старая жаба.— Славная невеста будет моему сыну!

Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Возле сада протекала речка, а под самым ее берегом было

---

[1] В одном дюйме 2,5 см.

топкое болотце. Здесь-то, в болотной тине, и жила старая жаба со своим сыном. Сын был тоже мокрый и безобразный — точь-в-точь мамаша!

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупке.

— Тише ты! Еще разбудишь, чего доброго, и она убежит от нас,— сказала старая жаба.— Ведь она легче перышка. Давай-ка отнесем ее на середину реки и посадим там на лист кувшинки — для такой крошки это целый остров. Оттуда уж ей ни за что не убежать. А я тем временем устрою для вас в тине уютное гнездышко.

В реке росло много кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега! Жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку, в которой спала девочка.

Ах, как испугалась бедная Дюймовочка, проснувшись поутру! Да и как было не испугаться! Со всех сторон ее окружала вода, а берег чуть виднелся вдали. Дюймовочка закрыла глаза руками и горько заплакала.

А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками,— она хотела угодить молодой невестке. Когда все было готово, она подплыла со своим гадким сынком к листу, на котором сидела Дюймовочка, чтобы взять ее кроватку и перенести к себе в дом.

Сладко улыбнувшись, старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала:

— Вот мой сынок! Он будет твоим мужем! Вы славно заживете с ним у нас в тине.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог сказать сынок.

Жабы взяли скорлупку и уплыли с ней. А Дюймовочка все стояла одна посреди реки на большом зеленом листе кувшинки и горько-горько плакала — ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына.

Маленькие рыбки, которые плавали под водой, услыхали, что сказала старуха жаба. Жениха с матушкой они видели и раньше. Теперь они высунули из воды головы, чтобы поглядеть на невесту.

Взглянув на Дюймовочку своими круглыми глазками, они ушли на самое дно и стали думать, что же теперь делать. Им было ужасно жалко, что такой миленькой маленькой девочке придется жить вместе с этими отвратительными жабами где-нибудь под корягой в густой жирной тине. Не бывать же этому! Рыбки со всей речки собрались у листа кувшинки, на котором сидела Дюймовочка, и перегрызли стебелек листа.

И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было

сильное, и лист плыл очень быстро. Теперь-то уж старая жаба никак не могла бы догнать Дюймовочку.

Дюймовочка плыла все дальше и дальше, а маленькие птички, которые сидели в кустах, смотрели на нее и пели:

— Какая миленькая маленькая девочка!

Легкий белый мотылек все кружился над Дюймовочкой и наконец опустился на лист — уж очень ему понравилась эта крошечная путешественница.

А Дюймовочка сняла свой шелковый пояс, один конец набросила на мотылька, другой привязала к листу, и листок поплыл еще быстрее. В это время мимо пролетал майский жук. Он увидел Дюймовочку, схватил ее и унес на дерево. Зеленый лист кувшинки поплыл без нее дальше и скоро скрылся из виду, а с ним вместе и мотылек: ведь он был крепко привязан к листу шелковым поясом.

Как испугалась бедная Дюймовочка, когда рогатый жук обхватил ее лапками и взвился с ней высоко в воздух! Да и белого мотылька ей было очень жалко. Что-то с ним теперь будет? Ведь он умрет с голоду, если ему не удастся освободиться.

А майскому жуку и горя мало. Он уселся на ветке большого дерева, усадил рядом Дюймовочку и сказал ей, что она ему очень нравится, хоть и совсем не похожа на майских жуков.

Потом к ним пришли в гости другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они с любопытством разглядывали Дюймовочку, а их дочки в недоумении разводили крылышками.

— У нее только две ножки! — говорили одни.

— У нее даже нет щупалец! — говорили другие.

— Какая она слабенькая, тоненькая! Того и гляди, переломится пополам,— говорили третьи.

— Очень на человека похожа, и к тому же некрасивая,— решили наконец все жуки.

Даже майскому жуку, который принес Дюймовочку, показалось теперь, что она совсем нехороша, и он решил с ней распрощаться — пусть идет куда знает. Он слетел с Дюймовочкой вниз и посадил ее на ромашку.

Дюймовочка сидела на цветке и плакала: ей было грустно, что она такая некрасивая. Даже майские жуки прогнали ее!

А на самом деле она была премиленькая. Пожалуй, лучше ее и на свете-то никого не было.

Все лето прожила Дюймовочка одна-одинешенька в большом лесу. Она сплела себе из травы колыбельку и подвесила ее под большим листом лопуха, чтобы укрываться от дождя и от солнышка. Она ела сладкий цветочный мед и пила росу, которую каждое утро находила на листьях.

Так прошло лето, прошла и осень. Близилась долгая холодная зима. Птицы улетели, цветы завяли, а большой лист лопуха,

под которым жила Дюймовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубку.

Холод пробирал Дюймовочку насквозь. Платьице ее все изорвалось, а она была такая маленькая, нежная — как тут не мерзнуть! Пошел снег, и каждая снежинка была для Дюймовочки то же, что для нас целая лопата снега. Мы-то ведь большие, а она была ростом всего-навсего с дюйм. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала, как осенний листок на ветру.

Тогда Дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе приют на зиму.

За лесом, в котором она жила, было большое поле. Хлеб с поля уже давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мерзлой земли.

В поле было еще холоднее, чем в лесу, и Дюймовочка совсем замерзла, пока пробиралась между высохшими жесткими стеблями.

Наконец она добрела до норки полевой мыши. Вход в норку был заботливо прикрыт травинками и былинками.

Полевая мышь жила в тепле и довольстве: кухня и кладовая у нее были битком набиты хлебными зернами. Дюймовочка, как нищенка, остановилась у порога и попросила подать ей хоть кусочек ячменного зерна — вот уже два дня во рту у нее не было ни крошки.

— Ах ты бедняжка! — сказала полевая мышь (она была, в сущности, добрая старуха).— Ну иди сюда, погрейся да поешь со мною!

И Дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела.

— Ты мне нравишься,— сказала ей мышь, поглядев на нее блестящими, как бисер, черными глазками.— Оставайся-ка у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты прибирай хорошенько мой дом да рассказывай мне сказки — я до них большая охотница.

И Дюймовочка осталась.

Она делала все, что приказывала ей старая мышь, и жилось ей совсем неплохо в теплой укромной норке.

— Скоро у нас будут гости,— сказала ей однажды полевая мышь.— Раз в неделю меня приходит навестить мой сосед. Он очень богат и живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, а шубу он носит такую, какой ты, верно, и не видывала,— великолепную черную шубу! Выходи, девочка, за него замуж! С ним не пропадешь! Одна беда: он слеп и не разглядит, какая ты хорошенькая. Ну, уж ты зато расскажешь ему самую лучшую сказку, какую только знаешь.

Но Дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за богатого соседа: ведь это был крот — угрюмый подземный житель.

Вскоре сосед и в самом деле пришел к ним в гости.

Правда, шубу он носил очень нарядную — из темного бархата. К тому же, по словам полевой мыши, он был ученый и очень богатый, а дом его был чуть ли не в двадцать раз больше, чем у мыши. Но он терпеть не мог солнца и ругал все цветы. Да и не мудрено! Ведь он никогда в жизни не видел ни одного цветка.

Хозяйка-мышь заставила Дюймовочку спеть для дорогого гостя, и девочка волей-неволей спела две песенки, да так хорошо, что крот пришел в восхищение. Но он не сказал ни слова — он был такой важный, степенный, неразговорчивый...

Побывав в гостях у соседки, крот прорыл под землей длинный коридор от своего дома до самой норки полевой мыши и пригласил старушку вместе с приемной дочкой прогуляться по этой подземной галерее.

Он взял в рот гнилушку — в темноте гнилушка светит не хуже свечки — и пошел вперед, освещая дорогу.

На полпути крот остановился и сказал:

— Здесь лежит какая-то птица. Но нам ее нечего бояться — она мертвая. Да вот можете сами поглядеть.

И крот стал тыкаться своим широким носом в потолок, пока не прорыл в нем дыру. Дневной свет проник в подземный ход, и Дюймовочка увидела мертвую ласточку.

Должно быть, бедная птичка погибла от холода. Ее крылья были крепко прижаты к телу, ножки и голова спрятаны в перышки.

Дюймовочке стало очень жалко ее. Она так любила этих веселых легкокрылых птичек — ведь они целое лето пели ей чудесные песни и учили ее петь. Но крот толкнул ласточку своими короткими лапами и проворчал:

— Что, небось притихла? Не свистишь больше? Вот то-то и есть!.. Да, не хотел бы я быть этакой пичужкой. Только и умеют носиться в воздухе да щебетать. А придет зима — что им делать? Помирай, и все тут. Нет уж, моим детям не придется пропадать зимой от голода и холода.

— Да, да,— сказала полевая мышь.— Какой прок от этого чириканья и щебета? Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не согреешься!

Дюймовочка молчала. Но когда крот и мышь повернулись к птице спиной, она нагнулась к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глаза.

«Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела летом,— подумала девочка.— Сколько радости принесла ты мне, милая ласточка!»

А крот тем временем снова заделал дыру в потолке. Потом, подобрав гнилушку, он проводил домой старуху мышь и Дюймовочку.

К стр. 288

Ночью Дюймовочке не спалось. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой ковер и, пробравшись в подземную галерею, прикрыла им мертвую птичку. Потом она отыскала в кладовой у полевой мыши теплого пуху, сухого мха и устроила для ласточки что-то вроде гнездышка, чтобы ей не так жестко и холодно было лежать на мерзлой земле.

— Прощай, милая ласточка,— сказала Дюймовочка.— Прощай! Спасибо тебе за то, что ты пела мне свои чудесные песни летом, когда деревья были еще зеленые, а солнышко так славно грело.

И она прижалась головой к шелковистым перышкам на груди у птички.

И вдруг она услышала, что в груди у ласточки что-то мерно застучало: «Стук! Стук!» — сначала тихо, а потом громче и громче. Это забилось сердце ласточки. Ласточка была не мертвая — она только окоченела от холода, а теперь согрелась и ожила.

На зиму стаи ласточек всегда улетают в теплые края. Осень еще не успела сорвать с деревьев зеленый наряд, а крылатые путницы уже собираются в дальнюю дорогу. Если же какая-нибудь из них отстанет или запоздает, колючий ветер мигом оледенит ее легкое тело. Она окоченеет, упадет на землю замертво, и ее занесет холодным снегом.

Так случилось и с этой ласточкой, которую отогрела Дюймовочка.

Когда девочка поняла, что птица жива, она и обрадовалась и испугалась. Еще бы не испугаться! Ведь рядом с ней ласточка казалась такой огромной птицей.

Но все-таки Дюймовочка собралась с духом, потеплее укрыла ласточку своим плетеным ковром, а потом сбегала домой, принесла листочек мяты, которым сама укрывалась вместо одеяла, и укутала им голову птицы.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птица уже совсем ожила, но была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку.

Дюймовочка стояла перед нею с куском гнилушки в руках — другого фонаря у нее не было.

— Спасибо тебе, милая крошка! — сказала больная ласточка.— Я так хорошо согрелась! Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко.

— Ах,— сказала Дюймовочка,— теперь так холодно, идет снег! Останься лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой.

И она принесла ласточке ячменных зернышек и воды в цветочном лепестке. Ласточка попила, поела, а потом рассказала девочке, как она поранила себе крыло о терновый куст

и не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края. Пришла зима, стало очень холодно, и она упала на землю... Больше уже ласточка ничего не помнила. Она даже не знала, как попала сюда, в это подземелье.

Всю зиму прожила ласточка в подземной галерее, а Дюймовочка ухаживала за ней, кормила и поила ее. Ни кроту, ни полевой мыши она не сказала об этом ни слова — ведь оба они совсем не любили птиц.

Когда настала весна и пригрело солнышко, Дюймовочка открыла то окошко, которое проделал в потолке крот, и теплый солнечный луч проскользнул под землю.

Ласточка простилась с девочкой, расправила крылышки, но прежде, чем вылететь, спросила, не хочет ли Дюймовочка выбраться вместе с ней на волю. Пусть сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес.

Но Дюймовочке было жалко бросить старую полевую мышь — она знала, что старушке будет очень скучно без нее.

— Нет, мне нельзя! — сказала она, вздыхая.

— Ну что ж, прощай! Прощай, милая девочка! — прощебетала ласточка.

Дюймовочка долго глядела ей вслед, и слезы капали у нее из глаз — ей тоже хотелось на простор да и грустно было расставаться с ласточкой.

— Тви-вить, тви-вить! — крикнула в последний раз ласточка и скрылась в зеленом лесу.

А Дюймовочка осталась в мышиной норе.

С каждым днем ей жилось все хуже, все скучнее. Старая мышь не позволяла ей уходить далеко от дома, а поле вокруг норки заросло высокими толстыми колосьями и казалось Дюймовочке дремучим лесом.

И вот однажды старуха мышь сказала Дюймовочке:

— Наш сосед, старый крот, приходил свататься к тебе. Теперь тебе нужно готовить приданое. Ты выходишь замуж за важную особу, и надо, чтоб у тебя всего было вдоволь.

И Дюймовочке пришлось по целым дням прясть пряжу.

Старуха мышь наняла четырех пауков. Они днем и ночью сидели по углам мышиной норки и втихомолку делали свое дело — ткали разные ткани и плели кружева из самой тонкой паутины.

А слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю и она снова сделается мягкой и рыхлой. Вот тогда-то они и сыграют свадьбу. Но Дюймовочка все грустила и плакала: она совсем не хотела выходить замуж, да еще за толстого слепого крота.

Каждое утро, на восходе солнца, и каждый вечер, на закате,

Дюймовочка выходила за порог мышиной норки. Иногда веселый ветерок раздвигал верхушки колосьев, и девочке удавалось увидеть кусочек голубого неба.

«Как светло, как хорошо тут на воле!» — думала Дюймовочка и все вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточка не показывалась над полем. Должно быть, она вилась и носилась далеко-далеко там, в зеленом лесу над голубой рекой...

И вот наступила осень. Приданое для Дюймовочки было готово.

— Через четыре недели твоя свадьба! — сказала Дюймовочке полевая мышь.

Но Дюймовочка заплакала и ответила, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

Старуха мышь рассердилась.

— Пустяки! — сказала она.— Не упрямься, а не то попробуешь моих зубов. Чем тебе крот не муж? Одна шуба чего стоит! У самого короля нет такой шубы! Да и в погребах у него не пусто. Благодари судьбу за такого мужа!

Наконец настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. Значит, ей все-таки придется идти с ним в его темную нору, жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не видеть ни белого света, ни ясного солнышка — ведь крот их терпеть не может?! А бедной Дюймовочке было так тяжело распроститься навсегда с высоким небом и красным солнышком! У полевой мыши она могла хоть издали, с порога норки, любоваться ими.

И вот она вышла взглянуть на белый свет в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и опять из земли торчали одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла подальше от мышиной норки и протянула к солнцу руки:

— Прощай, солнышко, прощай!

Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла его и сказала:

— Милый цветочек, если увидишь ласточку, передай ей поклон от Дюймовочки.

— Тви-вить, тви-вить! — вдруг раздалось у нее над головой.

Дюймовочка подняла голову и увидела ласточку, которая пролетала над полем. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. Она опустилась на землю, и Дюймовочка, плача, рассказала своей подруге, как ей не хочется выходить замуж за старого угрюмого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнце.

— Уже наступает холодная зима,— сказала ласточка,— и я улетаю далеко-далеко, в дальние страны. Хочешь лететь со

мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота, улетим далеко, за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где стоит вечное лето и всегда цветут цветы. Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной яме.

— Да, да, я полечу с тобой! — сказала Дюймовочка.

Она села ласточке на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому и крепкому перу.

Ласточка стрелой взвилась к небу и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и Дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали.

Вот наконец и теплые края! Солнце сияло тут гораздо ярче, чем у нас, небо было выше, а вдоль изгородей вился кудрявый зеленый виноград. В рощах поспевали апельсины и лимоны, а по дорожкам бегали веселые дети и ловили больших пестрых бабочек.

Но ласточка летела дальше и дальше.

На берегу прозрачного голубого озера посреди раскидистых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились птичьи гнезда. В одном из них и жила ласточка.

— Вот мой дом! — сказала она.— А ты выбери себе самый красивый цветок. Я посажу тебя в его чашечку, и ты отлично заживешь.

Дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладоши.

Внизу, в траве, лежали куски белого мрамора — это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три части. Между мраморными обломками росли крупные белые как снег цветы.

Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. Но что за чудо? В чашечке цветка оказался маленький человечек, такой светлый и прозрачный, словно он был из хрусталя или утренней росы. За плечами у него дрожали легкие крылышки, на голове блестела маленькая золотая корона, а ростом он был не больше нашей Дюймовочки. Это был король эльфов.

Когда ласточка подлетела к цветку, эльф не на шутку перепугался. Ведь он был такой маленький, а ласточка такая большая!

Зато как же он обрадовался, когда ласточка улетела, оставив в цветке Дюймовочку! Никогда еще он не видал такой красивой девочки одного с ним роста. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут.

— Дюймовочка! — ответила девочка.

— Милая Дюймовочка,— сказал эльф,— согласна ли ты быть моей женой, королевой цветов?

Дюймовочка поглядела на красивого эльфа. Ах, он был совсем не похож на глупого, грязного сынка старой жабы и на слепого крота в бархатной шубе! И она сразу согласилась.

Тогда из каждого цветка, перегоняя друг друга, вылетели эльфы. Они окружили Дюймовочку и одарили ее чудесными подарками.

Но больше всех других подарков понравились Дюймовочке крылья — пара прозрачных легких крылышек, совсем как у стрекозы. Их привязали Дюймовочке за плечами, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то была радость!

— Тебя больше не будут звать Дюймовочкой. У нас, эльфов, другие имена,— сказал Дюймовочке король.— Мы будем называть тебя Майей!

И все эльфы закружились над цветами в веселом хороводе, сами легкие и яркие, как лепестки цветов.

А ласточка сидела наверху в своем гнезде и распевала песни, как умела.

Всю теплую зиму эльфы плясали под ее песни. А когда в холодные страны пришла весна, ласточка стала собираться на родину.

— Прощай, прощай! — прощебетала она своей маленькой подруге и полетела через моря, горы и леса домой, в Данию.

Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про Дюймовочку, а от него и мы узнали эту историю.

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

Было когда-то на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все сыновья одной матери — старой оловянной ложки,— и, значит, приходились они друг другу родными братьями. Это были славные, бравые ребята: ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят... Ну, словом, чудо что за солдатики!

Все двадцать пять лежали рядком в картонной коробке. В ней было темно и тесно. Но оловянные солдатики — терпеливый народ, они лежали не шевелясь и ждали дня, когда коробку откроют.

И вот однажды коробка открылась.

— Оловянные солдатики! Оловянные солдатики! — закричал маленький мальчик и от радости захлопал в ладоши.

Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения.

Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. Двадцать четыре были совершенно одинаковые — одного от другого не отличить, а двадцать пятый солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух.

Вот с этим-то одноногим солдатиком и произошла замечательная история, которую я вам сейчас расскажу.

На столе, где мальчик построил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек был чудесный картонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все комнаты. Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро, и вокруг этого зеркального озера стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением.

Все это было прекрасно, но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге, в широко раскрытых дверях. Она тоже была вырезана из картона; на ней была юбочка из тонкого батиста, на плечах — голубой шарф, а на груди — блестящая брошка, почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая.

Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки,— должно быть, она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам.

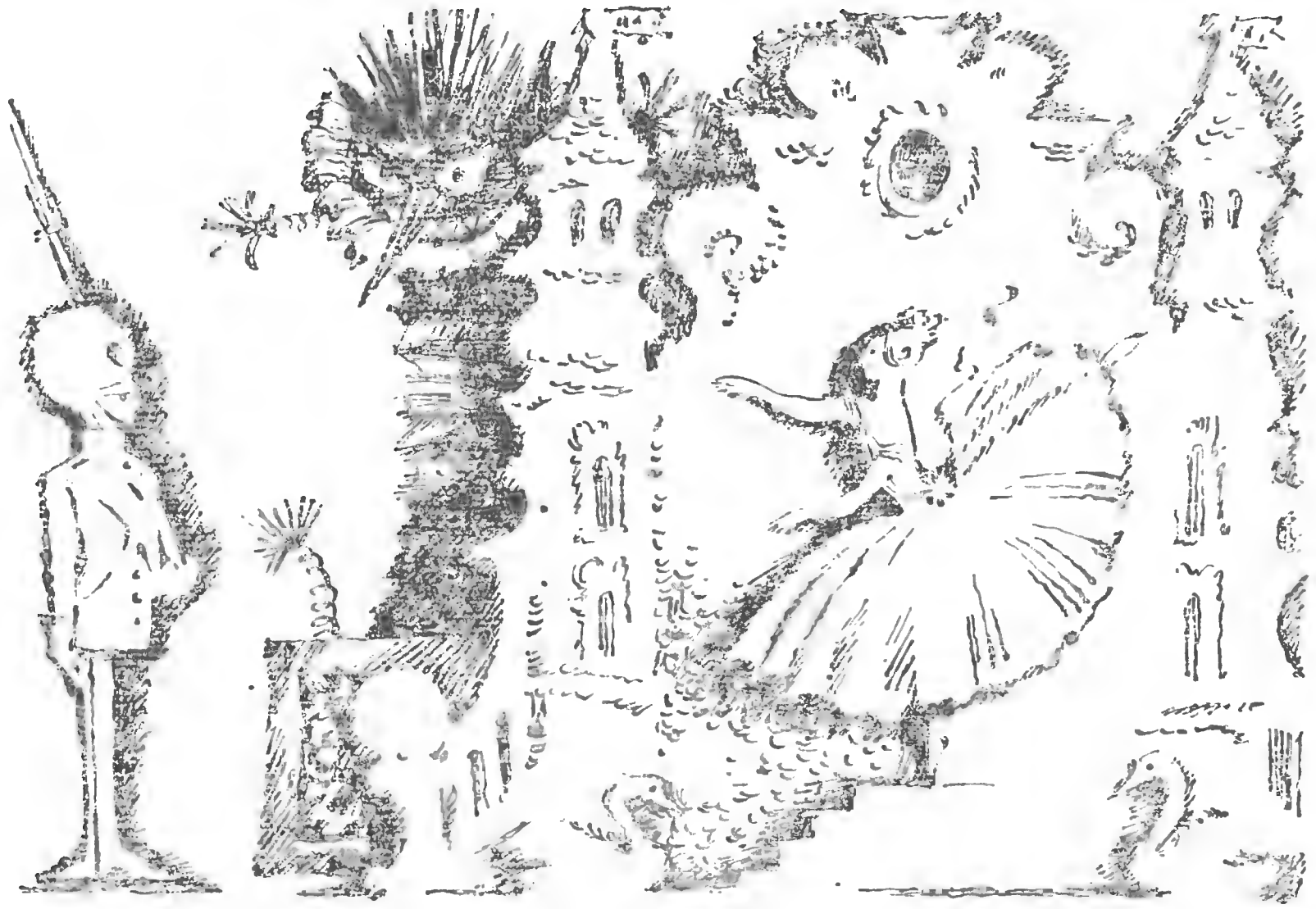
«Вот бы мне такую жену! — подумал оловянный солдатик.— Да только она, наверно, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет!.. А мой дом — простая коробка, да еще набилось нас туда чуть не целая рота — двадцать пять солдат. Нет, ей там не место! Но познакомиться с ней все же не мешает...»

И солдатик притаился за табакеркой, стоявшей тут же, на столе.

Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась!

Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого — его так и не могли найти,— уложили в коробку, и все люди легли спать.

И вот когда в доме стало совсем тихо, игрушки сами стали играть: сначала в гости, потом в войну, а под конец устроили бал. Оловянные солдатики стучали ружьями в стенки своей коробки — им тоже хотелось выйти на волю и поиграть, но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкунчик принялся кувыркаться, а грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы,— тра-та-та-та, тра-та-та-та! Поднялся такой



шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да притом еще стихами.

Только одноногий солдатик и танцовщица не двигались с места.

Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз.

Пробило двенадцать. И вдруг — щелк! — раскрылась табакерка.

В этой табакерке никогда и не пахло табаком, а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом.

— Эй ты, оловянный солдат! — крикнул тролль.— Не больно заглядывайся на плясунью! Она слишком хороша для тебя.

Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.

— Ах, вот ты как! — сказал тролль.— Ладно же, погоди до утра! Ты меня еще вспомнишь!

Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно.

И вдруг — то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает? — но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Ну и натерпелся он страху!

Минуты не прошло — и он уже торчал из земли вверх ногой, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли.

Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик крикнул: «Я тут!» — его бы сейчас же нашли. Но он считал непристойным кричать на улице — ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще оловянный.

Мальчик и служанка ушли обратно в дом. И тут вдруг хлынул дождь, да какой! Настоящий ливень!

По улице расползлись широкие лужи, потекли быстрые ручьи. А когда наконец дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек.

— Смотри-ка,— сказал один из них.— Да, никак, это оловянный солдатик!.. Давай-ка отправим его в плавание!

И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку.

Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши.

Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня! Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то ее кружило на месте, то несло вперед.

Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал — от каски до сапога,— но держался стойко, как полагается настоящему солдату: ружье на плече, голова кверху, грудь колесом.

И вот лодочку занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку.

«Где же это я? — думал оловянный солдатик.— Ах, если бы со мной была моя красавица танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем...»

В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.

— Ты кто такой? — закричала она.— А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

— Держите его! Держите! У него нет паспорта!

И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.

«Я спасен!» — подумал солдатик.

Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только: за мостом вода с шумом падала вниз — прямо в широкий бурный канал!

Оловянному солдатику, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду.

Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз, но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул.

И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой до самых краев.

Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло... И наконец вода накрыла его с головой.

Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плясуньи!

Но тут он вспомнил старую солдатскую песню:

Шагай вперед, всегда вперед!
Тебя за гробом слава ждет!..—

и приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине. Однако случилось совсем другое.

Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика вместе с его ружьем.

Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы, темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке! Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго.

Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла.

Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо.

И вдруг словно молния блеснула в темноте.

Потом стало совсем светло, и кто-то закричал:

— Вот так штука! Оловянный солдатик!

А дело было вот в чем: рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату.

Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг — каких только чудес не бывает на свете! — он увидел ту же комнату, того же

мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу... Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость!

Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы, но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу, танцовщица смотрела на него, и оба молчали.

Вдруг один из мальчиков — самый маленький — схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверно, его подучил злой тролль из табакерки.

В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. Он чувствовал, что весь горит — то ли от огня, то ли от любви,— он и сам не знал. Краска сбежала с его лица, он весь полинял — может быть, от огорчения, а может быть, оттого, что побывал в воде и в желудке у рыбы.

Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плясуньи. А плясунья смотрела на него. И солдатик почувствовал, что тает...

В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь, сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она, как бабочка, порхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула — и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился.

На другой день служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленький комочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую, черную, как уголь, брошку.

Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной плясуньи.

СВИНЬЯ-КОПИЛКА

Ну и много же игрушек было в детской — прямо не сосчитать! А высоко над ними, на шкафу, стояла копилка — глиняная свинья. В спине у нее, как и полагается, была прорезана щель для монет. Сначала эта щель была узенькая, но потом ее чуточку расширили перочинным ножиком, чтобы в нее пролезали и крупные серебряные монеты. Две такие монеты уже лежали на дне ее брюшка, а уж про мелочь и говорить нечего. Мелочью свинья была, как говорится, битком набита, так что и брякнуть не могла. Чего же больше? Ни одна свинья с деньгами не могла бы пожелать лучшей участи. К тому же она еще занимала очень высокое положение: стояла на шкафу и смотрела на всех сверху

вниз. Она знала, что денег у нее по горло и, стоит только захотеть, она может купить все игрушки, которые лежат и стоят внизу. А сознавать это довольно приятно, уж во всяком случае свинье.

Игрушки знали, чего стоит свинья и что она о себе думает, но не говорили об этом. Да и к чему? Они и без того находили о чем поболтать.

Однажды, когда в детской никого не было, из полуоткрытого ящика выглянула большая кукла. Она была уже не слишком молода, не раз теряла голову, и поэтому шея у нее была подклеена.

Кукла поглядела направо, налево и сказала:

— Давайте играть в людей. От скуки и это не худо!

— Давайте, давайте! — закричали все и засуетились в своих коробках и ящиках.

Даже картины и те закачались на стенах, хотя им и не следовало бы показывать свою оборотную сторону, потому что на ней, как известно, ничего не нарисовано.

Было уже совсем поздно. Пробило двенадцать часов. В окна заглядывал месяц и светил вовсю, не требуя за освещение никакой платы.

В игре приняли участие все игрушки до одной, даже детская коляска, хотя она была такая большая и неуклюжая, что ее считали скорее мебелью, чем игрушкой.

Но коляска на это не обижалась.

— Каждому — свое, — говорила она. — Не всем же быть знатными господами и забавляться с утра до вечера. Надо кому-нибудь и дело делать.

Только одной свинье-копилке послали пригласительный билет. Ее нельзя было просто позвать — она стояла так высоко над всеми, что могла и не расслышать.

Впрочем, и на письменное приглашение свинья не соизволила ответить, придет она или не придет. Да в конце концов так и не пришла. В самом деле, зачем ей опускаться до других? Пусть другие позаботятся, чтоб она все видела, не сходя со своего места.

Делать нечего, пришлось исполнить ее желание. Кукольный театр поставили прямо против шкафа, сценой к свинье.

Праздник решили начать с веселой дружеской беседы, потом предполагалось представление и, наконец, общее чаепитие.

Именно с беседы и началось. Лошадь-качалка высказала несколько мыслей о бегах, скачках и чистоте конской породы, детская коляска — о железных дорогах, о поездах, которые будто бы движутся паром, и о прочих новинках. В самом деле, кто же мог об этом судить, если не они... Лошадь — о лошадях, коляска — о поездах!.. Стенные часы рассуждали по поводу

политики-тики-тики! Часы думали, что идут впереди своего времени, но злые языки утверждали, что они порядком отстают. Бамбуковая тросточка хвалилась своим серебряным колпачком и железным башмачком. Еще бы! Ведь она могла считать себя щеголихой с головы до ног! По углам дивана молча лежали две пухленькие, расшитые шелками подушечки. Обе были премиленькие и преглупенькие.

Наконец началась кукольная комедия.

Куклы на нитках представляли, а куклы без ниток и другие игрушки должны были смотреть и хлопать в ладоши. Те же, у кого не было ладоней, могли щелкать и стучать чем попало.

Впрочем, один бойкий хлыстик наотрез отказался щелкать, когда на сцену выходят старые, потрепанные куклы, и сказал, что он щелкает только молоденьким нарядным куколкам.

— Нет, по-моему, уж если хлопать, так всем,— заявил пистон.

«А мне бы только свой угол! — думала плевательница.— Лишь бы плевать в меня удобно было».

Одним словом, каждый рассуждал по-своему.

Комедия, если говорить по правде, не стоила и гроша ломаного, но актеры играли превосходно. Они показывались зрителям только лучшей своей стороной, потому что эта сторона была раскрашена. А нитки у них были такие длинные, что каждая кукла могла играть выдающуюся роль, или, как говорится, быть из ряда вон выходящей.

Зрители были очень растроганы. Кукла с подклеенной шеей до того размякла, что опять потеряла голову.

Даже свинья с деньгами и та чуть не прослезилась. Ей захотелось сделать что-нибудь хорошее, доброе,— например, упомянуть в своем завещании лучшего из актеров: пусть его похоронят рядом с ней, когда придет пора...

Короче говоря, все были очень, очень довольны. На радостях даже отказались от чая — и хорошо сделали, потому что его не было. Вместо этого опять принялись болтать. Это называлось у них «играть в людей». Не то чтобы они передразнивали людей или насмехались над ними. Нет, они просто старались вести себя «по-людски»: каждый думал о себе да еще о том, что скажет о нем свинья с деньгами.

А свинья, подумав о своем завещании, уже не могла больше думать ни о чем другом. «Когда придет пора...» Ах, она всегда приходит нежданно-негаданно...

Хлоп! Неизвестно отчего, свинья вдруг свалилась со шкафа и разбилась вдребезги. Монеты и монетки раскатились во все стороны. Мелочь при этом крутилась волчком, а большие тяжелые монеты неторопливо катились вдоль половиц. Дальше всех катилась одна. Ей очень наскучило лежать в темноте без движения и теперь хотелось пространствовать по белу свету — других

посмотреть и себя показать. Что ж, так оно и случилось: все монеты и монетки разбрелись в разные стороны, кто куда.

А глиняные черепки от свиньи-копилки вымели вместе с мусором.

Но уже на другой день на верхушке шкафа появилась новая свинья-копилка. В брюхе у нее еще не было ни одной монетки, и поэтому, сколько бы ее ни трясли, она не могла брякнуть — совсем как та старая свинья, у которой брюхо было до отказа набито серебряными и медными деньгами. А на первых порах и этого вполне довольно.

Довольно и с вас, милые читатели. Сказке конец.

НОВЫЙ НАРЯД КОРОЛЯ

Много лет назад жил-был король, который страсть как любил наряды и обновки и все свои деньги на них тратил. И к солдатам своим выходил, и в театр выезжал либо в лес на прогулку не иначе как затем, чтобы только в новом наряде щегольнуть. На каждый час дня был у него особый камзол, и как про королей говорят: «Король в совете», так про него всегда говорили: «Король в гардеробной».

Город, в котором жил король, был большой и бойкий, что ни день приезжали чужестранные гости, и как-то раз заехали двое обманщиков. Они сказались ткачами и заявили, что могут выткать замечательную ткань, лучше которой и помыслить нельзя. И расцветкой-то она необыкновенно хороша, и узором, да и к тому же платье, сшитое из этой ткани, обладает чудесным свойством становиться невидимым для всякого человека, который не на своем месте сидит или непроходимо глуп.

«Вот было бы замечательное платье! — подумал король.— Надел такое платье — и сразу видать, кто в твоем королевстве не на своем месте сидит. А еще я смогу отличать умных от глупых! Да, пусть мне поскорее соткут такую ткань!»

И он дал обманщикам много денег, чтобы они немедля приступили к работе.

Обманщики поставили два ткацких станка и ну показывать, будто работают, а у самих на станках ровнехонько ничего нет. Не церемонясь, потребовали они тончайшего шелку и чистейшего золота, прикарманили все и продолжали работать на пустых станках до поздней ночи.

«Хорошо бы посмотреть, как подвигается дело!» — подумал король, но таково-то смутно стало у него на душе, когда он вспомнил, что глупец или тот, кто не годится для своего места, не увидит ткани. И хотя верил он, что за себя-то ему нечего

бояться, все же рассудил, что лучше послать на разведку кого-нибудь еще.

Ведь весь город уже знал, каким чудесным свойством обладает ткань, и каждому не терпелось убедиться, какой никудышный или глупый его сосед.

«Пошлю к ткачам своего честного старого министра!— решил король.— Уж кому-кому, как не ему, рассмотреть ткань, ведь он умен и как никто лучше подходит к своему месту!..»

И вот пошел бравый старый министр в зал, где два обманщика работали на пустых станках.

«Господи помилуй! — подумал старый министр, вытаращив глаза.— Ведь я ничего-таки не вижу!»

Но вслух он этого не сказал.

А обманщики приглашают его подойти поближе, спрашивают, веселы ли краски, хороши ли узоры, и при этом все указывают на пустые станки, а бедняга министр как ни таращил глаза, все равно ничего не увидел, потому что и видеть-то было нечего.

«Господи боже! — думал он.— Неужто я глупец? Вот уж никогда не думал! Только чтоб никто не узнал! Неужто я не гожусь для своего места. Нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани!»

— Что ж вы ничего не скажете? — спросил один из ткачей.

— О, это очень мило! Совершенно очаровательно! — сказал старый министр, глядя сквозь очки.— Какой узор, какие краски!.. Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно нравится!

— Ну что ж, мы рады! — сказали обманщики и ну называть краски, объяснять редкостные узоры. Старый министр слушал и запоминал, чтобы в точности все доложить королю.

Так он и сделал.

А обманщики потребовали еще денег, шелку и золота: дескать, все это нужно им для тканья. Но все это они опять прикарманили, на ткань не пошло ни нитки, а сами по-прежнему продолжали ткать на пустых станках.

Скоро послал король другого честного чиновника посмотреть, как идет дело, скоро ли будет готова ткань. И с этим сталось то же, что и с министром, он все смотрел, смотрел, но так ничего и не высмотрел, потому что, кроме пустых станков, ничего и не было.

— Ну как? Правда, хороша ткань? — спрашивают обманщики и ну объяснять-показывать великолепный узор, которого и в помине не было.

«Я не глуп! — подумал чиновник.— Так, стало быть, не подхожу к доброму месту, на котором сижу? Странно! Во всяком случае, нельзя и виду подавать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, и выразил

свое восхищение прекрасной расцветкой и замечательным узором.

— О да, это совершенно очаровательно! — доложил он королю.

И вот уж весь город заговорил о том, какую великолепную ткань соткали ткачи. А тут и сам король надумал посмотреть на нее, пока она еще не снята со станка.

С целой толпой избранных придворных, среди них и оба честных старых чиновника, которые уже побывали там, вошел он к двум хитрым обманщикам. Они ткали изо всех сил, хотя на станках не было ни нитки.

— Magnifique![1] Не правда ли? — сказали оба бравых чиновника.— Соизволите видеть, ваше величество, какой узор, какие краски!

И они указали на пустой станок, так как думали, что другие-то уж непременно увидят ткань.

«Что такое? — подумал король.— Я ничего не вижу! Это ужасно. Неужто я глуп? Или не гожусь в короли? Хуже не придумаешь!»

— О, это очень красиво! — сказал король.— Даю свое высочайшее одобрение!

Он довольно кивал и рассматривал пустые станки, не желая признаться, что ничего не видит. И вся его свита глядела, глядела и тоже видела не больше всех прочих, но говорила вслед за королем: «О, это очень красиво!» — и советовала ему сшить из новой великолепной ткани наряд к предстоящему торжественному шествию. «Это magnifique! Чудесно! Excellent![2]» — только и слышалось со всех сторон. Все были в совершенном восторге. Король пожаловал каждому из обманщиков рыцарский крест в петлицу и удостоил их звания придворных ткачей.

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за шитьем и сожгли больше шестнадцати свечей. Всем видно было, что они очень торопятся управиться в срок с новым нарядом короля. Они делали вид, будто снимают ткань со станков, они резали воздух большими ножницами, они шили иглой без нитки и наконец сказали:

— Ну вот наряд и готов!

Король вошел к ним со своими самыми знатными придворными, и обманщики, высоко поднимая руки, как будто держали в них что-то, говорили:

— Вот панталоны! Вот камзол! Вот мантия! — И так далее.— Все легкое, как паутинка! Впору подумать, будто на теле и нет ничего, но в этом-то и вся хитрость!

---

[1] Великолепно! (франц.)
[2] Превосходно! (франц.)

— Да, да! — говорили придворные, хотя они ровно ничего не видели, потому что и видеть-то было нечего.

— А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите снять ваше платье! — сказали обманщики.— Мы оденем вас в новое, вот тут, перед большим зеркалом!

Король разделся, и обманщики сделали вид, будто надевают на него одну часть новой одежды за другой. Они обхватили его за талию и сделали вид, будто прикрепляют что-то,— это был шлейф, и король закрутился-завертелся перед зеркалом.

— Ах, как идет! Ах, как дивно сидит! — в голос говорили придворные.— Какой узор, какие краски! Слов нет, роскошное платье!

— Балдахин ждет, ваше величество! — доложил обер-церемониймейстер.— Его понесут над вами в процессии.

— Я готов,— сказал король.— Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом — ведь надо было показать, что он внимательно рассматривает наряд.

Камергеры, которым полагалось нести шлейф, пошарили руками по полу и притворились, будто приподнимают шлейф, а затем пошли с вытянутыми руками — они не смели и виду подать, что нести-то нечего.

Так и пошел король во главе процессии под роскошным балдахином, и все люди на улице и в окнах говорили:

— Ах, новый наряд короля бесподобен! А шлейф-то какой красивый. А камзол-то как чудно сидит!

Ни один человек не хотел признаться, что он ничего не видит, ведь это означало бы, что он либо глуп, либо не на своем месте сидит. Ни одно платье короля не вызывало еще такого восторга.

— Да ведь король голый! — сказал вдруг какой-то ребенок.

— Господи боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал его отец.

И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

— Он голый! Вот ребенок говорит, что он голый!

— Он голый! — закричал наконец весь народ.

И королю стало не по себе: ему казалось, что люди правы, но он думал про себя: «Надо же выдержать процессию до конца».

И он выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, неся шлейф, которого не было.

СВИНОПАС

Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но какое-никакое, а все же королевство,— хоть женись, и вот жениться-то он как раз и хотел.

Оно, конечно, дерзко было взять да спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Но он осмелился. Имя у него было известное на весь свет, и сотни принцесс сказали бы ему спасибо, но вот что ответит императорская дочь?

А вот послушаем.

На могиле отца принца рос розовый куст, да какой красивый! Цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем одна-единственная роза. Зато сладок был ее аромат, понюхаешь — и сразу забудутся все твои горести и заботы. А еще был у принца соловей, и пел он так, будто в горлышке у него были собраны все самые чудесные напевы на свете. Вот и решил принц подарить принцессе розу и соловья. Положили их в большие серебряные ларцы и отослали ей.

Повелел император принести ларцы к себе в большой зал — принцесса играла там в гости со своими фрейлинами, ведь других-то дел у нее не было. Увидела принцесса ларцы с подарками, захлопала в ладоши от радости.

— Ах, если б тут была маленькая киска! — сказала она.

Но появилась чудесная роза.

— Ах, как мило сделано! — в голос сказали фрейлины.

— Мало сказать мило,— отозвался император,— прямо-таки недурно!

Только принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

— Фи, папа! Она не искусственная, она настоящая.

— Фи! — в голос повторили придворные.— Настоящая!

— Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! — сказал император.

И вот выпорхнул из ларца соловей и запел так дивно, что поначалу не к чему и придраться было.

— Superbe! Charmant![1] — сказали фрейлины; все они болтали по-французски одна хуже другой.

— Эта птица так напоминает мне органчик покойной императрицы! — сказал один старый придворный.— Да, да, и звук тот же, и манера!

— Да! — сказал император и заплакал, как ребенок.

— Надеюсь, птица не настоящая? — спросила принцесса.

— Настоящая! — ответили посланцы, доставившие подарки.

— Ну так пусть летит,— сказала принцесса и наотрез отказалась принять принца.

Только принц не унывал; вымазал лицо черной и бурой краской, нахлобучил на глаза шапку и постучался в дверь.

— Здравствуйте, император! — сказал он.— Не найдется ли у вас во дворце местечка для меня?

— Много вас тут ходит да ищет! — отвечал император.—

---

[1] Бесподобно! Великолепно! (франц.)

Впрочем, постой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!

Так и определили принца свинопасом его величества и убогую каморку рядом со свинарником отвели, и там он должен был жить. Ну вот, просидел он целый день за работой и к вечеру сделал чудесный маленький горшочек. Весь увешан бубенцами горшочек, и когда в нем что-нибудь варится, бубенцы вызванивают старинную песенку:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

Но только самое занятное в горшочке то, что если подержать над ним в пару палец — сейчас можно узнать, что у кого готовится в городе. Слов нет, это было почище, чем роза.

Вот раз прогуливается принцесса со всеми фрейлинами и вдруг слышит мелодию, что вызванивали бубенцы. Стала она на месте, а сама так вся и сияет, потому что она тоже умела наигрывать. «Ах, мой милый Августин»,— только эту мелодию и только одним пальцем.

— Ах, ведь и я это могу! — сказала она.— Свинопас-то у нас, должно быть, образованный. Послушайте, пусть кто-нибудь пойдет и спросит, что стоит этот инструмент.

И вот одной из фрейлин пришлось пройти к свинопасу, только она надела для этого деревянные башмаки.

— Что возьмешь за горшочек? — спросила она.

— Десять поцелуев принцессы! — отвечал свинопас.

— Господи помилуй!

— Да уж никак не меньше! — отвечал свинопас.

— Ну, что он сказал? — спросила принцесса.

— Это и выговорить-то невозможно! — отвечала фрейлина.— Это ужасно!

— Так шепни на ухо!

И фрейлина шепнула принцессе.

— Какой невежа! — сказала принцесса и пошла дальше, да не успела сделать и нескольких шагов, как бубенцы опять зазвенели так славно:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

— Послушай,— сказала принцесса,— поди спроси, может, он согласится на десять поцелуев моих фрейлин?

— Нет, спасибо! — отвечал свинопас.— Десять поцелуев принцессы, или горшочек останется у меня.

— Какая скука! — сказала принцесса.— Ну, станьте вокруг меня, чтобы никто не видел!

Загородили фрейлины принцессу, растопырили юбки, и свинопас получил десять поцелуев принцессы, а принцесса — горшочек.

Вот радости-то было! Весь вечер и весь следующий день стоял на огне горшочек, и в городе не осталось ни одной кухни, будь то дом камергера или сапожника, о которой бы принцесса не знала, что там стряпают. Фрейлины плясали от радости и хлопали в ладоши.

— Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

— В высшей степени интересно! — подтвердила обер-гофмейстерина.

— Но только держите язык за зубами, ведь я дочь императора!

— Помилуйте! — сказали все.

А свинопас — то есть принц, но для них-то он был по-прежнему свинопас — даром времени не терял и смастерил трещотку. Стоит повертеть ею в воздухе — и вот уж она сыплет всеми вальсами и польками, какие только есть на свете.

— Но это же superbe! — сказала принцесса, проходя мимо.— Просто не слыхала ничего лучше! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Только целоваться я больше не стану!

— Он требует сто поцелуев принцессы! — доложила фрейлина, выйдя от свинопаса.

— Да он, верно, сумасшедший! — сказала принцесса и пошла дальше, но, сделав два шага, остановилась.— Искусство надо поощрять! — сказала она.— Я дочь императора. Скажите ему, я согласна на десять поцелуев, как вчера, а остальные пусть получит с моих фрейлин!

— Ах, нам так не хочется! — сказали фрейлины.

— Какой вздор! — сказала принцесса.— Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

Пришлось фрейлине еще раз сходить к свинопасу.

— Сто поцелуев принцессы! — сказал он.— А нет — каждый останется при своем.

— Становитесь вокруг! — сказала принцесса, и фрейлины обступили ее и свинопаса.

— Это что еще за сборище у свинарника? — спросил император, выйдя на балкон. Он протер глаза и надел очки.— Не иначе как фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задники своих туфель — туфлями-то ему служили стоптанные башмаки. И-эх, как быстро он зашагал!

Спустился император во двор, подкрадывается потихоньку к фрейлинам, а те только тем и заняты, что поцелуи считают: ведь надо же, чтобы дело сладилось честь по чести и свинопас получил ровно столько, сколько положено,— ни больше ни мень-

ше. Вот почему никто и не заметил императора, а он привстал на цыпочки и глянул.

— Это еще что такое? — сказал он, разобрав, что принцесса целует свинопаса, да как хватит их туфлей по голове!

Случилось это в ту минуту, когда свинопас получал свой восемьдесят шестой поцелуй.

— Heraus![1] — в гневе сказал император и вытолкал принцессу со свинопасом из пределов своего государства.

Стоит и плачет принцесса, свинопас ругается, а дождь так и поливает.

— Ах я горемычная! — причитает принцесса.— Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах я несчастная!..

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду — и вот перед ней уже принц в царственном облачении, да такой пригожий, что принцесса невольно сделала реверанс.

— Теперь я презираю тебя! — сказал он.— Ты не захотела выйти за честного принца. Ты ничего не поняла ни в соловье, ни в розе зато могла целовать за безделки свинопаса. Поделом тебе!

Он ушел к себе в королевство и закрыл дверь на засов. А принцессе только и оставалось стоять да петь:

— Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

ОГНИВО

Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку — отвоевал свое, а теперь держал путь к дому. Как вдруг навстречу ему старая ведьма, уродина уродиной: нижняя губа чуть ли не до самой груди висит.

— Добрый вечер, служивый! — молвила она.— Ишь сабля-то у тебя славная какая и ранец-то какой большой! Словом, молодчина солдат! Ну, сейчас у тебя будет денег сколько хочешь.

— Спасибо, старая карга! — отвечал солдат.

— Видишь вон то старое дерево? — продолжала ведьма и показала на дерево, стоявшее обок дороги.— Внутри оно совсем пустое. Полезай наверх — увидишь дупло, спускайся в него до самого низу. Я обвяжу тебя веревкой, а как кликнешь, вытащу назад.

— Да зачем я туда полезу? — спросил солдат.

---

[1] Вон! (нем.)

— За деньгами! — ответила ведьма.— Дело-то вот какое. Как спустишься в самый низ, окажешься в большом подземном ходе, там совсем светло, потому как горит там сто, а то и несколько раз по сто ламп. Еще увидишь три двери, их можно отворить, ключи торчат снаружи. Зайдешь в первую комнату — увидишь посреди большой сундук, а на нем собака. Глаза у нее с чайную чашку, только ты не робей! Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, потом мигом к собаке, хватай и сажай ее на передник, открывай сундук и бери денег сколько хочешь. Только в сундуке этом сплошь медяки, а захочешь серебра, ступай в другую комнату; только и там сидит собака, глаза что мельничные колеса, но ты не робей, сажай ее на передник и бери деньги! Ну, а уж захочется золота, добудешь и золота, унесешь, сколько силы станет, зайди только в третью комнату. И там тоже сундук с деньгами, а на нем собака, и глаза у нее большущие, что твоя Круглая башня[1]. Всем собакам собака, верь моему слову! Только ты и тут не робей! Знай сажай ее на передник, и ничего она тебе не сделает, а сам бери золота из сундука сколько хочешь!

— Так-то оно так,— молвил солдат,— да вот что ты с меня за это запросишь, старая карга? Ведь не даром же ты для меня стараешься!

— Ни гроша я с тебя не возьму,— отвечала ведьма.— Только принеси мне старое огниво, его там позабыла моя бабка, когда спускалась туда в последний раз.

— Ну ладно, обвязывай меня веревкой! — сказал солдат.

— Вот! — сказала ведьма.— А вот и мой синий клетчатый передник.

Залез солдат на дерево, забрался в дупло и — верно ведь сказала ведьма! — очутился в большом проходе, и горит там не одна сотня ламп.

Открывает солдат первую дверь. В комнате и впрямь сидит собака, глаза с чайные чашки, таращится на солдата.

— Хороша красотка! — сказал солдат, посадил собаку на ведьмин передник, набрал медяков, сколько влезло в карман, закрыл сундук, водворил собаку на место и пошел в другую комнату.

Эге! И тут сидит собака, глаза что мельничные колеса.

— Ну, чего выставилась, смотри, глаза протаращишь! — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник, а когда увидел, сколько в сундуке серебра, вытряхнул медяки и набил оба кармана и ранец серебром.

Ну, теперь в третью комнату. Вот так страшилище! Сидит

---

[1] Башня, воздвигнутая в Копенгагене астрономом Тихо Браге, который устроил в ней обсерваторию.

там собака, глаза и впрямь как Круглая башня и ворочаются ровно колеса.

— Добрый вечер! — сказал солдат и взял под козырек: такой собаки он отродясь не видывал. «Ну да что мне в ней,— подумал он, но не удержался, ссадил собаку и открыл сундук.

Господи боже! Золота-то сколько! Хоть весь Копенгаген покупай, всех сахарных поросят у торговок сластями, всех оловянных солдатиков, всех лошадок-качалок и все кнутики на свете! Вот это деньги так деньги! Выбросил солдат все свое серебро из карманов и из ранца и набрал золота взамен; до того набил все карманы и ранец, и кивер, и сапоги, что насилу с места мог сдвинуться. Ну, теперь-то он при деньгах! Посадил он собаку на сундук, захлопнул дверь и закричал наверх:

— А ну тащи меня, старая карга!

— Огниво взял? — спросила ведьма.

— И то верно,— отвечал солдат,— совсем было забыл.— Пошел и взял огниво.

Вытащила его наверх ведьма, и вот он опять на дороге, только теперь карманы его, и сапоги, и ранец, и кивер полны денег.

— На что тебе огниво? — спросил солдат.

— Не твое дело! — отвечала ведьма.— Получил свое — отдавай мое! Ну же!

— Как бы не так! — сказал солдат.— Сей же час говори, на что оно тебе, не то саблю из ножен — и голова с плеч!

— Не скажу! — упорствовала ведьма.

Тут солдат взял да и отрубил ей голову. Упала ведьма замертво, а он связал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, огниво — в карман и прямиком в город.

Хорош был город, и на самый хороший постоялый двор явился солдат, спросил лучшие комнаты и свою любимую еду — ведь он теперь богатый, вон сколько у него денег!

Стал слуга чистить его сапоги и подивился, как это у такого богатого барина такие старые сапоги, да только солдат еще не успел купить новых. Но уже назавтра были у него и добрые сапоги, и платье под стать! Теперь уж солдат знатный барин, и стали ему рассказывать обо всем, чем славился город, а также о короле и о том, какая прелестная у него дочь-принцесса.

— А как бы ее повидать? — спросил солдат.

— Ее совсем нельзя повидать! — отвечали ему в голос.— Живет она в большом медном замке, а вокруг столько стен да башен! Никто, разве что сам король, не смеет бывать у ней, потому как было гаданье, что дочь его выйдет замуж за совсем простого солдата, а это королю не по вкусу.

«Эх, как бы на нее поглядеть!» — думал солдат, да только кто бы ему позволил!

Жил он теперь кӳда как весело: ходил в театры, выезжал на прогулки в королевский сад и много денег раздавал беднякам, и хорошо делал! Ведь он по себе знал, каково сидеть без гроша в кармане. Ну, а теперь он был богат, разодет в пух и прах, и столько друзей у него объявилось, и все называли его славным малым, кавалером что надо, и это ему очень нравилось. Но так как деньги-то солдат что ни день только тратил, а взамен ничего не получал, то и осталось у него под конец всего-навсего два гроша, и пришлось ему перебраться из отменных комнат в крохотную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги да подлатывать, а из прежних дружков никто больше к нему не наведывался — уж больно много ступенек надо было пересчитать, чтобы до него добраться.

Как-то раз совсем темный был вечер, а солдат не мог купить себе даже свечу; и тут вспомнилось ему, что при огниве, которое он взял в пустом дереве, куда спускала его ведьма, был огарок. Достал солдат огниво с огарком и только ударил по кремню и высек огонь, как дверь распахнулась, и перед ним предстала собака с глазами в чайную чашку, та самая, что он видел в подземелье.

— Чего изволите, господин? — спросила она.

— Вот так штука! — сказал солдат.— Огниво-то, видать, не простое, теперь у меня будет все, чего захочу! А ну, добудь мне денег! — сказал он собаке — и вот уж ее нет как нет, а вот уж она опять тут как тут, и в зубах у нее большой мешок с деньгами.

Распознал солдат, какое чудесное это огниво. Ударишь раз — явится собака, что сидела на сундуке с медяками; ударишь два — явится та, у которой серебро; ударишь три — явится та, у которой золото.

Вновь перебрался солдат в отменные комнаты, стал ходить в добром платье, и все его прежние дружки сей же час признали его, и вновь стал он им мил и люб.

И вот пришло солдату на ум: «Экая несуразица — нельзя повидать принцессу! Уж такая, говорят, красавица, да что толку, раз сидеть ей весь век в медном замке с башнями! Неужто мне так и не доведется взглянуть на нее? А ну-ка где мое огниво?» И он ударил по кремню, и вот уж перед ним собака с глазами в чайную чашку.

— Оно хотя и поздненько,— сказал солдат,— да уж так-то мне захотелось взглянуть на принцессу, ну хоть одним глазком!

Собака сейчас за дверь, и не успел солдат оглянуться, как она опять тут как тут, и на спине у нее принцесса сидит спит. Чудо как хороша принцесса, сразу видать, не какая-нибудь, а самая настоящая! Не утерпел солдат, поцеловал ее — недаром он был молодчина-солдат.

Отнесла собака принцессу обратно, а как наступило утро и стали король с королевой чай разливать, рассказала принцесса, какой ей был нынче удивительный сон. Будто ехала она верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

— Хорошенькое дело! — сказала королева.

И вот на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину, наказали ей разузнать, было ли то в сон или въявь.

А солдату опять страх как захотелось повидать прекрасную принцессу! И вот ночью явилась собака, схватила принцессу и бросилась с ней со всех ног, только старуха фрейлина вскочила в непромокаемые сапоги и, не отставая,— вдогонку. Как увидела фрейлина, что собака скрылась с принцессой в большом доме, подумала: «Ну, теперь-то я знаю, где и что!» — и поставила мелом большой крест на воротах. А потом отправилась домой спать. А собака снова вышла с принцессой, да только как приметила крест, взяла кусок мела и понаставила крестов на всех воротах в городе, и ловко сделала: теперь уж фрейлине никак не найти ворота дома, где живет солдат, раз на всех остальных тоже кресты.

С утра пораньше король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, где же это была ночью принцесса!

— Вот где! — сказал король, как только увидел первые ворота с крестом.

— Нет, вот где, муженек! — сказала королева, завидя крест на других воротах.

— А вот еще один, и еще! — сказали все в голос.

Куда ни глянь — везде были кресты на воротах. Тут уж все поняли, что не найти им того, кого искали.

Только королева была ох как умна и умела не только в карете разъезжать. Взяла она свои большие золотые ножницы, нарезала из шелка лоскутов и сшила этакий маленький хорошенький мешочек, насыпала его мелкой-мелкой гречневой крупой и привязала на спину принцессе, а потом прорезала в нем дырочку, чтобы крупа сыпалась на дорогу, которой ездила принцесса.

И вот опять явилась собака, посадила принцессу на спину и побежала к солдату, который уж так полюбил принцессу, что стал жалеть, отчего он не принц и не может взять ее в жены.

Не заметила собака, что от самого замка до окна солдата, куда она вскочила с принцессой, за нею сыплется крупа. Так вот и узнали король с королевой, куда отлучалась их дочь, и солдата посадили в тюрьму.

Темно было в тюрьме и тоскливо. Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Весело ли слышать такие слова, а огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе.

Утром увидел солдат сквозь железные прутья оконца — торопится народ за город, смотреть, как его будут вешать. Били барабаны, маршировали солдаты. Все бежали сломя голову, и среди прочих сапожный подмастерье в кожаном переднике и башмаках. Он не то что бежал, а прямо-таки мчался галопом, так что один башмак слетел у него с ноги и угодил прямо в стену, у которой сидел и смотрел сквозь решетку солдат.

— Эй, мастеровой! — крикнул солдат.— Не торопись, не такая уж у тебя срочная работа! Без меня ведь все равно дело не сделается! А вот коли сбегаешь ко мне домой да принесешь мне мое огниво, заработаешь четыре гроша. Только одна нога здесь, другая там!

Не прочь был заработать четыре гроша мальчишка и стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату, и тут... А вот сейчас и узнаем, что тут!

За городом была построена большая виселица, а вокруг стояли солдаты и тьма-тьмущая народу. Король с королевой восседали на пышном троне прямо напротив судей и всего королевского совета.

Стоит уже солдат на лестнице, и вот-вот накинут ему петлю на шею, и тогда сказал он, что ведь всегда, когда казнят преступника, исполняют какое-нибудь его невинное желание. А ему так хочется выкурить трубочку, ведь это будет его последняя на этом свете!

Снизошел король к этой просьбе, и тут достал солдат огниво и ударил по кремню. Раз, два, три! — и вот стоят перед ним все три собаки: и та, что с глазами в чайную чашку, и та, что с глазами, как мельничные колеса, и та, что с глазами, как Круглая башня.

— Ну-ка, пособите, не хочу, чтоб меня вешали! — сказал солдат, и тут как кинутся собаки на судей да на королевский совет: кого за ноги схватят, кого за нос, и ну подбрасывать, да так высоко, что все как падали наземь, так и разбивались вдребезги.

— Не хочу! — закричал король, да только самая большая собака схватила и его вместе с королевой да как подбросит вслед за остальными!

Тут уж испугались солдаты, а весь народ закричал:

— Солдатик, будь нам королем и возьми себе прекрасную принцессу!

И вот солдата посадили в королевскую карету. Три собаки плясали перед каретой и кричали «ура!», мальчишки свистели, засунув в рот пальцы, а солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из медного замка и стала королевой, и это ей очень понравилось!

Свадьбу играли восемь дней, и собаки тоже сидели за столом и делали от удивления большие глаза.

ОЛЕ-ЛУКОЙЕ

Никто на свете не знает столько историй, сколько Оле-Лукойе. Вот мастер рассказывать-то!

Вечером, когда дети смирно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он подымается тихонько по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слипаться, и они уже не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Подует — и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно — у Оле-Лукойе нет ведь злого умысла; он хочет только, чтобы дети угомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать истории.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета,— он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повер-

нется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками — его он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся волшебные сказки, другой совсем простой, гладкий,— его он раскрывает над нехорошими детьми; ну, они и спят всю ночь как убитые, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне!

Послушаем же о том, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного мальчика, Яльмара, и рассказывал ему истории! Это будет целых семь историй: в неделе ведь семь дней.

Понедельник

— Ну вот,— сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель,— теперь украсим комнату!

И в один миг все комнатные цветы превратились в большие деревья, которые тянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку, а вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом (если бы только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое!

Вдруг в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара, поднялись ужасные стоны.

— Что там такое? — сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.

Оказывается, это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка: он очень хотел помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара, слушать ее было просто ужасно! На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие, и так целым столбцом одна под другой — это была пропись; сбоку же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были стоять.

— Вот как надо держаться! — говорила пропись.— Вот так, с легким наклоном вправо!

— Ах, мы бы и рады,— отвечали буквы Яльмара,— да не можем! Мы такие плохонькие!

— Так вас надо немного подтянуть! — сказал Оле-Лукойе.

— Ой, нет! — закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.

— Ну, теперь нам не до историй! — сказал Оле-Лукойе.— Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел все буквы Яльмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как твоя пропись. Но утром, когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.

Вторник

Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебной брызгалкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать, и болтали они о себе все, кроме плевательницы; эта молчала и сердилась про себя на их тщеславие: говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо дворцов за лес, в далекое море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебной брызгалкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по земле их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена в красное с белым, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей с золотыми коронами на шеях и сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что они слышали от бабочек.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные и голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели: «Жуу! Жуу!»; всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове история.

Да, вот это было плавание!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на прекрасные сады, озаренные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка — такого редко купишь у торговки. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса

крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю: Яльмар — побольше, принцесса — поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками,— вот что значит настоящие-то принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через город, где жила его старая няня, которая носила его на руках, когда он был еще малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее: она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:

— Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидать вновь хоть раз!
Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить
И в щечки и в лоб целовала.
Так как мне тебя не любить!

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал историю.

Среда

Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

— Хочешь прогуляться, Яльмар? — спросил Оле.— Побываешь ночью в чужих землях, а к утру — опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась; они проплыли по улицам, мимо церкви, и оказались среди сплошного огромного озера. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими раз, другой, но напрасно... Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и — бах! — упал прямо на палубу.

Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

— Ишь какой! — сказали куры.

А индейский петух надулся и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали: «Дур-рак! Дур-рак!»

Аист рассказал им про жаркую Африку, про пирамиды и страусов, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

— Ну не дурак ли?

— Конечно, дурак! — сказал индейский петух и сердито забормотал.

Аист замолчал и стал думать о своей Африке.

— Какие у вас чудесные тонкие ноги! — сказал индейский петух.— Почем аршин?

— Кряк! Кряк! Кряк! — закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слыхал.

— Могли бы и вы посмеяться с нами! — сказал аисту индейский петух.— Очень забавно было сказано! Да куда там, для него это слишком низменно! И вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Что ж, будем забавлять себя сами!

И куры кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу — он уже успел отдохнуть. Аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Куры закудахтали, утки закрякали, а индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.

— Завтра из вас сварят суп! — сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке.

Славное путешествие проделали они ночью с Оле-Лукойе!

Четверг

— Знаешь что? — сказал Оле-Лукойе.— Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! — И правда, в руке у него была хорошенькая мышка.— Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!

— А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар.

— Уж положись на меня! — сказал Оле-Лукойе.

Он дотронулся до мальчика своею волшебной брызгалкой, и Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною с палец.

— Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдатика. По-моему, такой наряд тебе вполне подойдет: мундир ведь так красит, а ты идешь в гости!

— Хорошо! — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика.

— Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка.— Я буду иметь честь отвезти вас.

— Ах, какое беспокойство для фрекен! — сказал Яльмар, и они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дыру, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.

— Правда ведь, чудный запах? — спросила мышка-возница.— Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до зала, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы, налево, покручивая лапками усы,— мышки-кавалеры, а посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зал, как и коридор, был весь смазан салом, другого угощения и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши объявили, что свадьба была великолепна и что они очень приятно провели время.

Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика.

Пятница

— Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе! — сказал Оле-Лукойе.— Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле,— говорят они мне,— мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и

видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! — добавляют они с глубоким вздохом.— Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньги!

— А что мы будем делать сегодня ночью? — спросил Яльмар.

— Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; а еще сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!

— Знаю, знаю! — сказал Яльмар.— Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!

— Да, а сегодня ночью будет сто первый, и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их.

Затем молодые получили подарки, но от угощения отказались: они были сыты своей любовью.

— Что ж, поедем теперь на дачу или отправимся за границу? — спросил молодой.

На совет пригласили опытную путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые кисти винограда, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь и понятия не имеют.

— Зато там нет нашей кудрявой капусты! — сказала курица.— Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно! А еще нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

— Да ведь кочаны похожи как две капли воды! — сказала ласточка.— К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

— Ну, к этому можно привыкнуть! — сказала курица.

— А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!

— То-то и хорошо для капусты! — сказала курица.— Да, в

конце-то концов, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарища-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самой лучшей в мире! Такой недостоин и жить в ней! — Тут курица заплакала.— Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

— Да, курица — особа вполне достойная! — сказала кукла Берта.— Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам — то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

Суббота

— А сегодня будешь рассказывать? — спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.

— Сегодня некогда! — ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик.— Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.

— Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! — продолжал Оле.— Завтра ведь праздник, воскресенье! Мне надо пойти на колокольню — посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола, не то они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле — посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звезды. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звезду и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом каждую поставить на свое место, иначе они не будут держаться и посыплются с неба одна за другой!

— Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! — сказал вдруг висевший на стене старый портрет.— Я прадедушка Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же небесные тела, как наша Земля, тем-то они и хороши!

— Спасибо тебе, прадедушка! — отвечал Оле-Лукойе.— Спасибо! Ты — глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; римляне и греки звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и

знаю, как обходиться и с большими и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

— Ну, уж нельзя и высказать своего мнения! — сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

Воскресенье

— Добрый вечер! — сказал Оле-Лукойе.

Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

— А теперь ты расскажи мне историю про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иголкой.

— Ну нет, хорошенького понемножку! — сказал Оле-Лукойе.— Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе. Но он знает только две сказки: одна бесподобно хороша, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать как!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

— Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Кафтан на нем весь расшит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развевается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала каждого спрашивал:

— Какие у тебя отметки за поведение?

— Хорошие! — отвечали все.

— Покажи-ка! — говорил он.

Приходилось показывать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие,— позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли — они сразу крепко прирастали к седлу.

— А я ничуть не боюсь его! — сказал Яльмар.

— Да и нечего бояться! — сказал Оле.— Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки!

— Вот это поучительно! — пробормотал прадедушкин портрет.— Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение.

Он был очень доволен.

Вот и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Жил-был принц, он хотел взять себе в жены принцессу, да только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет, искал такую, да повсюду было что-то не то; принцесс было полно, а вот настоящие ли они, этого он никак не мог распознать до конца, всегда с ними было что-то не в порядке. Вот и воротился он домой и очень горевал: уж так ему хотелось настоящую принцессу.

Как-то ввечеру разыгралась страшная буря: сверкала молния, гремел гром, дождь лил как из ведра, ужас что такое! И вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять.

У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды! Вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она говорила, что она настоящая принцесса.

«Ну, это мы разузнаем!» — подумала старая королева, но

ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки и положила на доски горошину, а потом взяла двадцать тюфяков и положила их на горошину, а на тюфяки еще двадцать перин из гагачьего пуха.

На этой постели и уложили на ночь принцессу.

Утром ее спросили, как ей спалось.

— Ах, ужасно плохо! — отвечала принцесса.— Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели! Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках! Это просто ужас что такое!

Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы, она почувствовала горошину через двадцать тюфяков и двадцать перин из гагачьего пуха! Такой нежной может быть только настоящая принцесса.

Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он знал, что берет за себя настоящую принцессу, а горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне, если только никто ее не стащил.

Знайте, что это правдивая история!

ДИКИЕ ЛЕБЕДИ

Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. Было у него одиннадцать сыновей и одна дочь, Элиза. Одиннадцать братьев-принцев ходили в школу со звездами на груди и саблями у ноги. Писали они на золотых досках алмазными грифелями и наизусть умели читать не хуже, чем по книжке. Сразу было видно, что они настоящие принцы. А их сестрица Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было отдано полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго.

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, и она с самого начала невзлюбила бедных детей. Они испытали это в первый же день. Во дворце шел пир, и дети затеяли игру в гости. Но вместо пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь, мачеха дала им чайную чашку речного песку — пусть представят себе, что это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу в деревню крестьянам на воспитание, а прошло еще немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.

— Летите на все четыре стороны и заботьтесь о себе сами! — сказала злая королева.— Летите большими птицами без голоса!

Но не сталось так, как она хотела: они превратились в один-

надцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из окон дворца и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо дома, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись кружить над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто их не слышал, не видел. Так и пришлось им улететь ни с чем. Взвились они под самые облака и полетели в большой темный лес у берега моря.

А бедняжка Элиза осталась жить в крестьянском доме и играла зеленым листком — других игрушек у нее не было. Она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнце, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братцев. А когда теплый луч солнца падал ей на щеку, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Порой ветер колыхал розовые кусты, росшие возле дома, и нашептывал розам:

— Есть ли кто красивее вас?

Розы качали головками и отвечали:

— Элиза.

И это была сущая правда.

Но вот минуло Элизе пятнадцать лет, и ее отослали домой. Увидала королева, какая она хорошенькая, разгневалась и еще больше возненавидела ее. И хотелось бы мачехе превратить Элизу в дикого лебедя, как ее братьев, да не посмела она сделать это сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

И вот с утра пораньше пошла королева в мраморную купальню, убранную мягкими подушками и чудесными коврами, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:

— Как войдет Элиза в купальню, сядь ей на голову, пусть она станет такой же ленивой, как ты. А ты сядь Элизе на лоб,— сказала она другой.— Пусть она станет такой же безобразной, как ты, чтобы и отец ее не узнал.— Ну а ты ляг Элизе на сердце,— сказала она третьей.— Пусть она станет злой и мучается от этого!

Пустила королева жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же позеленела. Позвала королева Элизу, раздела и велела ей войти в воду. Послушалась Элиза, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, третья на грудь, но Элиза даже не заметила этого, а как только вышла из воды, по воде поплыли три алых мака. А были бы жабы не ядовиты и не целованы ведьмой, превратились бы они в алые розы. Так невинна была Элиза, что колдовство оказалось против нее бессильным.

Увидала это злая королева, натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем черной, вымазала ей лицо вонючей мазью, разлохматила волосы. Совсем теперь было не узнать хорошенькую Элизу.

Увидел ее отец, испугался и сказал, что не его это дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек, только кто же станет слушать бедных тварей!

Заплакала бедняжка Элиза и подумала о своих выгнанных братьях. Печальная, ушла она из дворца и целый день брела по полям и болотам к большому лесу. Куда ей идти, она и сама толком не знала, но так тяжко было у нее на сердце и так стосковалась она по своим братьям, что решила искать их, пока не найдет.

Не долго шла она по лесу, как уж ночь настала. Совсем сбилась с пути Элиза, прилегла на мягкий мох и склонила голову на пень. Тихо было в лесу, воздух был такой теплый, вокруг зелеными огоньками мерцали сотни светлячков, и когда она тихонько тронула ветку, они посыпались на нее звездным дождем.

Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали алмазными грифелями на золотых досках и рассматривали чудесную книжку с картинками, за которую было отдано полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нолики, как прежде, нет, они описывали все, что видели и пережили. Все картинки в книжке ожили, птицы пели, а люди сходили со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями, но когда она переворачивала страницу, они впрыгивали обратно, чтоб не получалось путаницы в картинках.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко. Она не могла хорошо видеть его за густою листвой деревьев, но лучи его реяли в вышине, словно колеблющаяся золотая кисея. Пахло травой, а птицы чуть не садились Элизе на плечи. Слышался плеск воды — поблизости бежало несколько больших ручьев, вливавшихся в пруд с чудесным песчаным дном. Пруд был окружен густыми кустами, но в одном месте дикие олени проделали большой проход, и Элиза могла спуститься к воде, такой прозрачной, что, если бы ветер не колыхал ветви деревьев и кустов, можно было бы подумать, что они нарисованы на дне, так ясно отражался в воде каждый листочек, и освещенный солнцем, и укрытый в тени.

Увидала в воде свое лицо Элиза и совсем перепугалась — такое оно было черное и гадкое. Но вот она зачерпнула горстью воды, обмыла лоб и глаза, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в прохладную воду. Краше принцессу поискать было по всему свету!

Оделась Элиза, заплела в косы свои длинные волосы и пошла к роднику, напилась из пригоршни и побрела дальше в лес, сама не зная куда. По пути ей попалась дикая яблоня, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Поела Элиза яблочек, подперла ветви колышками и углубилась в самую чащу леса. Тишина стояла такая, что Элиза слышала собственные шаги и шур-

шание каждого сухого листка, на который ступала. Здесь не было видно ни одной птицы, ни один солнечный луч не пробивался сквозь сплошное сплетение ветвей. Высокие деревья стояли так плотно, что, когда она смотрела перед собой, казалось ей, что ее окружают бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой.

Ночью стало еще темнее, ни единого светлячка не светилось во мху. Печальная, улеглась Элиза на траву, а рано утром отправилась дальше. Тут встретилась ей старушка с корзинкой ягод. Старушка дала Элизе горстку ягод, а Элиза спросила, не проезжали ли тут по лесу одиннадцать принцев.

— Нет,— отвечала старушка.— Но вот одиннадцать лебедей в коронах видела, они плавали на реке тут неподалеку.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала речка. Деревья, росшие по ее берегам, тянули друг к другу длинные, покрытые густой листвой ветви, и там, где они не могли дотянуться друг до друга, их корни выпирали из земли и, сплетясь с ветвями, свисали над водой.

Элиза простилась со старушкой и пошла вдоль речки к тому месту, где речка впадала в большое море.

И вот перед девушкой открылось чудесное море. Но ни единого паруса не виднелось на нем, ни единой лодки. Как же ей было продолжать свой путь? Весь берег был усыпан бессчетными камешками, вода обкатала их, и они были совсем круглые. Стекло, железо, камни — все, что выбросило волнами на берег, получило свою форму от воды, а ведь вода была куда мягче нежных рук Элизы.

«Волны неутомимо катятся одна за другой и сглаживают все твердое, буду и я неутомимой! Спасибо вам за науку, светлые, быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем водорослях лежало одиннадцать белых лебединых перьев, и Элиза собрала их в пучок. На них блестели капли — росы или слез, кто знает? Пустынно было на берегу, но Элиза не замечала этого: море вечно менялось, и за несколько часов тут можно было увидеть больше, чем за целый год на пресноводных озерах на суше. Вот надвигается большая черная туча, и море как будто говорит: «Я тоже могу выглядеть мрачным»,— и налетает ветер, и волны показываются своей белой изнанкой. А вот облака отсвечивают розовым, ветер спит, и море похоже на лепесток розы. Иной раз оно зеленое, иной раз белое, но как бы спокойно оно ни было, у берега оно постоянно в тихом движении. Вода легонько вздымается, словно грудь спящего ребенка.

На закате увидала Элиза одиннадцать диких лебедей в золотых коронах. Они летели к суше, следуя один за другим, и похо-

же было, что в небе колышется длинная белая лента. Элиза взобралась на верх береговой кручи и спряталась за куст. Лебеди спустились неподалеку и захлопали своими большими белыми крыльями.

И вот как только солнце село в море, сбросили лебеди перья и превратились в одиннадцать прекрасных принцев — братьев Элизы. Громко вскрикнула Элиза, сразу узнала их, сердцем почуяла, что это они, хотя братья сильно изменились. Она бросилась к ним в объятия, называла их по именам, и как же они обрадовались, увидав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела! И смеялись и плакали Элиза и ее братья и скоро узнали друг от друга, как жестоко обошлась с ними мачеха.

— Мы,— сказал самый старший из братьев,— летаем дикими лебедями, пока солнце стоит на небе. А когда оно заходит, опять принимаем человеческий образ. Вот почему к заходу солнца мы всегда должны быть на суше. Случись нам превратиться в людей, когда мы летим под облаками, мы упадем в пучину. Живем мы не здесь. За морем лежит такая же чудесная страна, как эта, но путь туда далек, приходится лететь через все море, а по пути нет ни единого острова, где можно было бы переночевать. Только на самой середине из моря торчит одинокий утес, и мы можем отдохнуть на нем, тесно прижавшись друг к дружке, вот какой он маленький. Когда море волнуется, брызги так и летят прямо через нас, но мы рады и такому пристанищу. Там ночуем мы в нашем человеческом обличье. Не будь утеса, нам бы и вовсе не видать нашей милой родины: два самых длинных дня в году нам надо для этого перелета, и только раз в году дозволено нам прилетать на родину. Мы можем жить здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, смотреть на дворец, где мы родились и где живет наш отец. Тут нам знаком каждый куст, каждое дерево, тут, как в дни нашего детства, бегают по равнинам дикие лошади, а угольщики поют те же песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда стремимся мы всей душой, и здесь-то мы и нашли тебя, дорогая наша сестрица! Два дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны лететь за море в чудесную, но не родную нам страну. Как же нам взять тебя с собою? У нас нет ни корабля, ни лодки!

— Ах, если б я могла снять с вас заклятье! — сказала сестра.

Так проговорили они всю ночь и задремали лишь на несколько часов.

Проснулась Элиза от шума лебединых крыльев. Братья вновь обратились в птиц, они кружили над ней, а потом скрылись из виду. Только один из лебедей, самый младший, остался с ней. Он положил голову ей на колени, и она гладила его белые крылья. Весь день провели они вместе, а к вечеру прилетели

остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

— Завтра мы должны улететь и сможем вернуться не раньше чем через год. Хватит у тебя мужества лететь с нами? Я один могу пронести тебя на руках через весь лес, так неужто мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море?

— Да, возьмите меня с собой! — сказала Элиза.

...Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры и тростника. Большая и прочная вышла сетка. Элиза легла в нее, и чуть взошло солнце, братья обратились в лебедей, подхватили сетку клювами и взвились с милой, еще спавшей сестрицей под облака. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, и один лебедь летел над ее головой, прикрывая ее от солнца своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву, так странно было лететь по воздуху. Рядом с ней лежала ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев. Их набрал самый младший из братьев, и Элиза улыбнулась ему — она догадалась, что это он летит над ней и прикрывает ее от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели лебеди, так что первый корабль, который они увидели, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако — настоящая гора! — и на нем Элиза увидела гигантские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Никогда раньше не видела она такого великолепного зрелища. Но все выше поднималось солнце, все дальше позади оставалось облако, и мало-помалу движущиеся тени исчезли.

Целый день летели лебеди, словно пущенная из лука стрела, но все же медленнее обычного, ведь на этот раз им приходилось нести сестру. Близился вечер, собиралась буря. Со страхом следила Элиза за тем, как заходит солнце,— одинокого морского утеса все еще не было видно. И еще ей казалось, что лебеди машут крыльями как будто бы через силу. Ах, это она виновата, что они не могут лететь быстрее! Вот зайдет солнце, и они обратятся в людей, упадут в море и утонут...

Черная туча надвигалась все ближе, сильные порывы ветра предвещали бурю. Облака собрались в грозный свинцовый вал, катившийся по небу. Молнии сверкали одна за другой.

Солнце уже коснулось воды, сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг начали снижаться, да так стремительно, что Элизе показалось, будто они падают. Но нет, они продолжали лететь. Вот солнце наполовину скрылось под водой, и тут только Элиза увидела под собою утес не больше головы тюленя, высунувшегося из воды. Солнце быстро погружалось в море и казалось

теперь не больше звезды. Но вот лебеди ступили на камень, и солнце погасло, словно последняя искра догорающей бумаги. Братья стояли рука об руку вокруг Элизы, и все они едва умещались на утесе. Волны с силой ударяли в него и обдавали их брызгами. Небо не переставая озарялось молниями, каждую минуту гремел гром, но сестра и братья, взявшись за руки, находили друг в друге мужество и утешение.

На рассвете опять стало ясно и тихо. Как только взошло солнце, лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и с высоты было видно, как плывет по темно-зеленой воде, точно несметные голубиные стаи, белая пена.

Но вот солнце поднялось выше, и Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе горную страну с глыбами сверкающего льда на скалах, а прямо посередине высился замок, растянувшийся, наверное, на целую милю, с какими-то удивительными галереями одна над другой. Внизу под ним колыхались пальмовые рощи и роскошные цветы величиной с мельничные колеса. Элиза спросила, не та ли это страна, куда они держат путь, но лебеди только покачали головами: это был всего лишь чудесный, вечно меняющий очертания облачный замок Фата-Морганы.

Элиза все смотрела и смотрела на него, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе и образовали двадцать величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви совсем было приблизились, как вдруг превратились в целую флотилию кораблей. Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымающийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся образы и картины!

Но вот показалась и суша, к которой они держали путь. Там высились чудесные горы с кедровыми лесами, городами и замками. И уже задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой, словно обвешанной расшитыми зелеными коврами, так обросла она нежно-зелеными вьющимися растениями.

— Посмотрим, что приснится тебе тут ночью! — молвил младший из братьев и указал сестре ее спальню.

— Ах, если бы мне открылось во сне, как снять с вас заклятье! — отвечала она, и эта мысль не выходила у нее из головы.

И вот пригрезилось ей, будто она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы и фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на старушку, которая дала Элизе ягод в лесу и рассказала о лебедях в золотых коронах.

«Твоих братьев можно спасти,— сказала она.— Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих рук и все-таки окатывает камни, но она не чувствует боли, которую будут чувствовать твои пальцы. У воды нет сердца, которое стало бы изнывать от муки и страха, как твое. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та, что растет на кладбищах, может помочь тебе. Заметь же ее! Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, получится волокно. Из него ты сплетешь одиннадцать рубашек-панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда колдовство развеется. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь работу, и до тех пор, пока не окончишь, пусть даже она растянется на годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, как смертоносный кинжал пронзит сердца твоих братьев. Их жизнь и смерть будут в твоих руках. Запомни все это!»

И фея коснулась ее руки крапивой. Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Уже рассвело, и рядом с нею лежала крапива, точь-в-точь как та, что она видела во сне. Элиза вышла из пещеры и принялась за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались волдырями, но она с радостью терпела боль — только бы спасти милых братьев! Босыми ногами она разминала крапиву и пряла зеленые нити.

Но вот зашло солнце, вернулись братья, и как же они испугались, увидя, что сестра их стала немой! Это не иначе, как новое колдовство злой мачехи, решили они. Но взглянули братья на ее руки и поняли, что́ она задумала ради их спасения. Заплакал младший из братьев, и там, куда падали его слезы, боль утихала, жгучие волдыри исчезали.

Всю ночь провела за работой Элиза, ведь не было ей покоя, пока не освободит она милых братьев. И весь следующий день, пока лебеди были в отлучке, просидела она одна-одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее так быстро.

Одна рубашка-панцирь была готова, и она принялась за другую, как вдруг в горах затрубили охотничьи рога. Испугалась Элиза. А звуки все приближались, раздался лай собак. Убежала в пещеру Элиза, связала в пучок собранную ею крапиву и села на него.

Тут из-за кустов выскочила большая собака, за ней другая, третья. Собаки громко лаяли и бегали взад и вперед у входа в пещеру. Не прошло и нескольких минут, как у пещеры собрались все охотники. Самый красивый среди них был король той страны. Он подошел к Элизе — никогда еще не встречал он такой красавицы.

— Как ты попала сюда, прекрасное дитя? — спросил он, но Элиза только головой покачала в ответ, ведь говорить-то ей нельзя было, от этого зависела жизнь и спасение братьев.

Руки свои она спрятала под передник, чтобы король не увидел, какие муки приходится ей терпеть.

— Пойдем со мной! — сказал он.— Здесь тебе не место! Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце!

И он посадил ее на своего коня. Плакала и ломала руки Элиза, но король сказал:

— Я хочу только твоего счастья! Когда-нибудь ты будешь благодарна мне за это!

И он повез ее через горы, а охотники скакали следом.

К вечеру показалась великолепная столица короля, с храмами и куполами, и привел король Элизу в свой дворец. В высоких мраморных залах там журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами. Но ни на что не смотрела Элиза, а только плакала и тосковала. Как неживая позволила она прислужницам надеть на себя королевские одежды, вплести в волосы жемчуга и натянуть на обожженные пальцы тонкие перчатки.

Ослепительно прекрасная стояла она в роскошном убранстве, и весь двор низко ей поклонился, а король провозгласил ее своею невестой, хотя архиепископ покачивал головой и нашептывал

королю, что эта лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела всем глаза и околдовала короля.

Но король не стал его слушать, сделал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать дорогие кушанья, а сам повел Элизу через благоухающие сады в роскошные палаты. Но не было улыбки ни на губах, ни в глазах ее, а только печаль, словно было ей так на роду написано. Но вот открыл король дверь в маленькую комнатку рядом с ее спальней. Комнатка была увешана дорогими зелеными коврами и напоминала пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь. Все это как диковинку захватил с собой из лесу один из охотников.

— Здесь ты можешь вспоминать свое прежнее жилище! — сказал король.— Здесь и работа, которой ты занималась. Может быть, теперь, в славе твоей, воспоминания о прошлом развлекут тебя.

Увидела Элиза дорогую ее сердцу работу, и улыбка заиграла на ее губах, кровь прилила к щекам. Она подумала о спасении братьев и поцеловала королю руку, а он прижал ее к сердцу.

Архиепископ по-прежнему нашептывал королю злые речи, но они не доходили до сердца короля. На другой день сыграли свадьбу. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону. С досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно. Но другой, более тяжелый обруч сдавливал ей сердце — печаль за ее братьев, и она не заметила боли. Уста ее были по-прежнему замкнуты — одно-единственное слово могло стоить братьям жизни,— но в глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему больше и больше. Ах, если б только можно было довериться ему, поведать ему свою муку! Но она должна была молчать, должна была делать свое дело молча. Вот почему по ночам она тихонько уходила из королевской опочивальни в свою потайную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку-панцирь за другой. Но когда она принялась за седьмую, у нее кончилось волокно.

Найти нужную ей крапиву, знала она, можно на кладбище, но она сама должна была рвать ее. Как же быть?

«Ах, что значит боль в пальцах по сравнению с мукой моего сердца? — думала Элиза.— Я должна решиться!»

Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы и таращились

на нее злыми глазами, но она набрала крапивы и вернулась обратно во дворец.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее — архиепископ. Только получалось, что он был прав, подозревая, что с королевой дело нечисто. И впрямь выходило, что она ведьма, потому-то и сумела околдовать короля и весь народ.

Утром он рассказал королю о том, что видел и что подозревал. Две тяжелые слезы скатились по щекам короля, и сомнение закралось в его сердце. Ночью он притворился, будто спит, но сон не шел к нему, и заметил король, как Элиза встала и скрылась из опочивальни. И так повторялось каждую ночь, и каждую ночь он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потайной комнате.

День ото дня все мрачнел и мрачнел король. Элиза видела это, но не понимала почему, и боязно ей было, и сердце ее болело за братьев. На королевский бархат и пурпур катились ее горькие слезы. Они блестели, как алмазы, и люди, видевшие ее в великолепном одеянии, желали быть на ее месте.

Но скоро, скоро конец работе! Недоставало всего лишь одной рубашки, и тут у нее опять кончилось волокно. Еще раз — последний — нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Со страхом думала она о безлюдном кладбище и ужасных ведьмах, но решимость ее была непоколебима.

И Элиза пошла, но король с архиепископом пошли за ней следом. Увидели они, как она скрылась за кладбищенскими воротами, а когда подошли к воротам, увидели и ведьм на могильных плитах, и король повернул назад.

— Пусть судит ее народ! — сказал он.

И народ присудил — сжечь ее на костре.

Из роскошных королевских палат Элизу отвели в мрачное сырое подземелье с решеткой на окне, в которое со свистом задувал ветер. Вместо бархата и шелка ей дали под голову связку набранной ею на кладбище крапивы, а жесткие, жгучие рубашки-панцири должны были служить ей ложем и одеялом. Но лучшего подарка ей и не надо было, и она вновь принялась за работу. Уличные мальчишки пели ей за окном глумливые песни, и ни одна живая душа не нашла для нее слова утешения.

Но под вечер у решетки раздался шум лебединых крыльев — это отыскал сестру младший из братьев, и она заплакала от радости, хотя и знала, что жить ей осталось, быть может, всего одну ночь. Зато работа ее была почти закончена и братья были тут!

Всю ночь плела Элиза последнюю рубашку. Чтобы хоть немножко помочь ей, мыши, бегавшие по подземелью, приносили к ее ногам стебли крапивы, а у решетки окна сел дрозд и всю ночь подбодрял ее своей веселой песней.

Еще только начинался рассвет, и солнце должно было показаться лишь через час, а к воротам дворца уже явились одиннадцать братьев и потребовали, чтобы их пропустили к королю. Им отвечали, что это никак невозможно: король спит и его нельзя будить. Братья продолжали просить, потом стали угрожать, явилась стража, а потом вышел и сам король узнать, в чем дело. Но тут взошло солнце, и братья исчезли, а над дворцом взлетели одиннадцать лебедей.

Народ валом валил за город смотреть, как будут сжигать ведьму. Жалкая кляча тащила повозку, в которой сидела Элиза. На нее накинули балахон из грубой мешковины. Ее чудные, дивные волосы спадали на плечи, в лице не было ни кровинки, губы беззвучно шевелились, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук свою работу. У ее ног лежали десять рубашек-панцирей, одиннадцатую она плела. Толпа глумилась над нею.

— Посмотрите на ведьму! Ишь, шамкает губами да все никак не расстанется со своими колдовскими штуками! Вырвать их у нее да порвать в клочья!

И толпа бросилась к ней и хотела разорвать крапивные рубашки, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели вокруг нее по краям повозки и захлопали могучими крыльями. Толпа отхлынула.

— Это знамение небесное! Она невинна! — шептали многие, но сказать это вслух не решались.

Вот палач уже схватил Элизу за руку, но она быстро набросила на лебедей крапивные рубашки, и все они превратились в прекрасных принцев, только у самого младшего вместо одной руки так и осталось крыло: не успела Элиза докончить последнюю рубашку, недоставало в ней одного рукава.

— Теперь я могу говорить! — сказала она.— Я невинна!

И народ, видевший все, преклонился перед ней, а она без чувств упала в объятия братьев, так измучена была она страхом и болью.

— Да, она невинна! — молвил старший из братьев и рассказал все, как было, и, пока он говорил, в воздухе разлился аромат, как от миллиона роз,— это каждое полено в костре пустило корни и ветви, и вот уже на месте костра стоял благоухающий куст, весь в алых розах. А на самом верху сиял, словно звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его и положил Элизе на грудь, и она очнулась, и в сердце ее были покой и счастье.

Тут сами собой зазвонили в городе все колокола, и слетелись несметными стаями птицы, и к дворцу потянулось такое радостное шествие, какого еще не видывал ни один король!

РУСАЛОЧКА

Далеко в море вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло, только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен надо поставить одну на другую, тогда только верхняя выглянет на поверхность. Там на дне живет подводный народ.

Только не подумайте, что дно голое, один только белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, словно живые, от малейшего движения воды. А между ветвями снуют рыбы, большие и маленькие, совсем как птицы в воздухе у нас наверху. В самом глубоком месте стоит дворец морского царя — стены его из кораллов, высокие стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыша сплошь раковины; они то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив, и это очень красиво, ведь в каждой лежат сияющие жемчужины и любая была бы великим украшением в короне самой королевы.

Царь морской давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать, женщина умная, только больно уж гордившаяся своей родовитостью: на хвосте она носила целых двенадцать устриц, тогда как прочим вельможам полагалось только шесть. В остальном же она заслуживала всяческой похвалы, особенно потому, что души не чаяла в своих маленьких внучках — принцессах. Их было шестеро, все прехорошенькие, но милее всех самая младшая, с кожей чистой и нежной, как лепесток розы, с глазами синими и глубокими, как море. Только у нее, как, впрочем, и у остальных, ног не было, а вместо них был хвост, как у рыб.

День-деньской играли принцессы во дворце, в просторных палатах, где из стен росли живые цветы. Раскрывались большие янтарные окна, и внутрь вплывали рыбы, совсем как у нас ласточки влетают в дом, когда окна стоят настежь, только рыбы подплывали прямо к маленьким принцессам, брали из их рук еду и позволяли себя гладить.

Перед дворцом был большой сад, в нем росли огненно-красные и темно-синие деревья, плоды их сверкали золотом, цветы — горячим огнем, а стебли и листья непрестанно колыхались. Земля была сплошь мелкий песок, только голубоватый, как серное пламя. Все там внизу отдавало в какую-то особенную синеву,— впору было подумать, будто стоишь не на дне морском, а в воздушной вышине, и небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна видно было солнце, оно казалось пурпурным цветком, из чаши которого льется свет.

У каждой принцессы было в саду свое местечко, здесь они

могли копать и сажать что угодно. Одна устроила себе цветочную грядку в виде кита, другой вздумалось, чтобы ее грядка гляделась русалкой, а самая младшая сделала себе грядку, круглую, как солнце, и цветы на ней сажала такие же алые, как оно само. Странное дитя была эта русалочка, тихое, задумчивое. Другие сестры украшали себя разными разностями, которые находили на потонувших кораблях, а она только и любила, что цветы ярко-красные, как солнце, там, наверху, да еще красивую мраморную статую. Это был прекрасный мальчик, высеченный из чистого белого камня и спустившийся на дно морское после кораблекрушения. Возле статуи русалочка посадила розовую плакучую иву, она пышно разрослась и свешивала свои ветви над статуей к голубому песчаному дну, где получалась фиолетовая тень, зыблющаяся в лад колыханию ветвей, и от этого казалось, будто верхушка и корни ластятся друг к другу.

Больше всего русалочка любила слушать рассказы о мире людей там, наверху. Старой бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно чудесным и удивительным казалось русалочке то, что цветы на земле пахнут,— не то что здесь, на морском дне,— леса там зеленые, а рыбы среди ветвей поют так громко и красиво, что просто заслушаешься. Рыбами бабушка называла птиц, иначе внучки не поняли бы ее: они ведь сроду не видывали птиц.

— Когда вам исполнится пятнадцать лет,— говорила бабушка,— вам дозволят всплывать на поверхность, сидеть в лунном свете на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз исполнялось пятнадцать лет, но сестры были погодки, и выходило так, что только через пять лет самая младшая сможет подняться со дна морского и увидеть, как живется нам здесь, наверху. Но каждая обещала рассказать остальным, что она увидела и что ей больше всего понравилось в первый день,— рассказов бабушки им было мало, хотелось знать побольше.

Ни одну из сестер не тянуло так на поверхность, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Ночь за ночью проводила она у открытого окна и все смотрела наверх сквозь темно-синюю воду, в которой плескали хвостами и плавниками рыбы. Месяц и звезды виделись ей, и хоть светили они совсем бледно, зато казались сквозь воду много больше, чем нам. А если под ними скользило как бы темное облако, знала она, что это либо кит проплывает, либо корабль, а на нем много людей, и, уж конечно, им и в голову не приходило, что внизу под ними хорошенькая русалочка тянется к кораблю своими белыми руками.

И вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность.

Сколько было рассказов, когда она вернулась назад! Ну, а лучше всего, рассказывала она, было лежать в лунном свете на отмели, когда море спокойно, и рассматривать большой город на берегу: точно сотни звезд, там мерцали огни, слышалась музыка, шум экипажей, говор людей, виднелись колокольни и шпили, звонили колокола. И как раз потому, что туда ей было нельзя, туда и тянуло ее больше всего.

Как жадно внимала ее рассказам самая младшая сестра! А потом, вечером, стояла у открытого окна и смотрела наверх сквозь темно-синюю воду и думала о большом городе, шумном и оживленном, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и второй сестре позволили подняться на поверхность и плыть куда угодно. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и решила, что прекраснее зрелища нет на свете. Небо было сплошь золотое, сказала она, а облака — ах, у нее просто нет слов описать, как они красивы! Красные и фиолетовые, плыли они по небу, но еще быстрее неслась к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая диких лебедей. Она тоже поплыла к солнцу, но оно погрузилось в воду, и розовый отсвет на море и облаках погас.

Еще через год поднялась на поверхность третья сестра. Эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Она увидела там зеленые холмы с виноградниками, а из чащи чудесного леса выглядывали дворцы и усадьбы. Она слышала, как поют птицы, а солнце пригревало так сильно, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы остудить свое пылающее лицо. В бухте ей попалась целая стая маленьких человеческих детей, они бегали нагишом и плескались в воде. Ей захотелось поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них явился какой-то черный зверек — это была собака, только ведь ей еще ни разу не доводилось видеть собаку — и залаял на нее так страшно, что она перепугалась и уплыла назад в море. Но никогда не забыть ей чудесного леса, зеленых холмов и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть и нет у них рыбьего хвоста.

Четвертая сестра не была такой смелой, она держалась в открытом море и считала, что там-то и было лучше всего: море видно вокруг на много-много миль, небо над головой как огромный стеклянный купол. Видела она и корабли, только совсем издалека, и выглядели они совсем как чайки, а еще в море кувыркались резвые дельфины и киты пускали из ноздрей воду, так что казалось, будто вокруг били сотни фонтанов.

Дошла очередь и до пятой сестры. Ее день рождения был

зимой, и поэтому она увидела то, чего не удалось увидеть другим. Море было совсем зеленое, рассказывала она, повсюду плавали огромные ледяные горы, каждая ни дать ни взять жемчужина, только куда выше любой колокольни, построенной людьми. Они были самого причудливого вида и сверкали, словно алмазы. Она уселась на самую большую из них, ветер развевал ее длинные волосы, и моряки испуганно обходили это место подальше. К вечеру небо заволоклось тучами, засверкали молнии, загремел гром, почерневшее море вздымало ввысь огромные ледяные глыбы, озаряемые вспышками молний. На кораблях убирали паруса, вокруг был страх и ужас, а она как ни в чем не бывало плыла на своей ледяной горе и смотрела, как молнии синими зигзагами ударяют в море.

Так вот и шло: выплывает какая-нибудь из сестер первый раз на поверхность, восхищается всем новым и красивым, ну, а потом, когда взрослой девушкой может подниматься наверх в любую минуту, все становится ей неинтересно и она стремится домой и уже месяц спустя говорит, что у них внизу лучше всего, только здесь и чувствуешь себя дома.

Часто по вечерам, обнявшись, всплывали пять сестер на поверхность. У всех были дивные голоса, как ни у кого из людей, и когда собиралась буря, грозившая гибелью кораблям, они плыли перед кораблями и пели так сладко о том, как хорошо на морском дне, уговаривали моряков без боязни спуститься вниз. Только моряки не могли разобрать слов, им казалось, что это просто шумит буря, да и не довелось бы им увидеть на дне никаких чудес — когда корабль тонул, люди захлебывались и попадали во дворец морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, когда сестры ее всплывали вот так на поверхность, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, и ей впору было заплакать, да только русалкам не дано слез, и от этого ей было еще горше.

— Ах, когда же мне будет пятнадцать лет! — говорила она.— Я знаю, что очень полюблю тот мир и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

— Ну вот, вырастили и тебя! — сказала бабушка, вдовствующая королева.— Поди-ка сюда, я украшу тебя, как остальных сестер!

И она надела русалочке на голову венок из белых лилий, только каждый лепесток был половинкой жемчужины, а потом нацепила ей на хвост восемь устриц в знак ее высокого сана.

— Да это больно! — сказала русалочка.

— Чтоб быть красивой, можно и потерпеть! — сказала бабушка.

Ах, как охотно скинула бы русалочка все это великолепие

и тяжелый венок! Красные цветы с ее грядки пошли бы ей куда больше, но ничего не поделаешь.

— Прощайте! — сказала она и легко и плавно, словно пузырек воздуха, поднялась на поверхность.

Когда она подняла голову над водой, солнце только что село, но облака еще отсвечивали розовым и золотым, а в бледно-красном небе уже зажглись ясные вечерние звезды; воздух был мягкий и свежий, море спокойно. Неподалеку стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом — не было ни малейшего ветерка. Повсюду на снастях и реях сидели матросы. С палубы раздавалась музыка и пение, а когда совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков и в воздухе словно бы замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла прямо к окну каюты, и всякий раз, как ее приподымало волной, она могла заглянуть внутрь сквозь прозрачные стекла. Там было множество нарядно одетых людей, но красивее всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет. Праздновался его день рождения, оттого-то на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, в небо взмыли сотни ракет, и стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но тут же опять высунула голову, и казалось, будто все звезды с неба падают к ней в море. Никогда еще не видала она такого фейерверка. Вертелись колесом огромные солнца, взлетали в синюю высь чудесные огненные рыбы, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждый канат, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал всем руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в чудной ночи.

Уже поздно было, а русалочка все не могла глаз оторвать от корабля и от прекрасного принца. Погасли разноцветные фонарики, не взлетали больше ракеты, не гремели пушки, зато загудело и заворчало в глуби морской. Русалочка качалась на волнах и все заглядывала в каюту, а корабль стал набирать ход, один за другим распускались паруса, все выше вздымались волны, собирались тучи, вдали засверкали молнии.

Надвигалась буря, матросы принялись убирать паруса. Корабль, раскачиваясь, летел по разбушевавшемуся морю, волны вздымались огромными черными горами, норовя перекатиться через мачту, а корабль нырял, словно лебедь, между высоченными валами и вновь возносился на гребень громоздящейся волны. Русалочке все это казалось приятной прогулкой, но не матросам. Корабль стонал и трещал; вот подалась под ударами волн толстая обшивка бортов, волны захлестнули корабль, переломилась пополам, как тростинка, мачта, корабль лег на бок,

и вода хлынула в трюм. Тут уж русалочка поняла, какая опасность угрожает людям,— ей и самой приходилось увертываться от бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту стало темно, хоть глаз выколи, но вот блеснула молния, и русалочка опять увидела людей на корабле. Каждый спасался, как мог. Она искала глазами принца и увидела, как он упал в воду, когда корабль развалился на части. Сперва она очень обрадовалась — ведь он попадет теперь к ней на дно, но тут же вспомнила, что люди не могут жить в воде и он приплывет во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть! И она поплыла между бревнами и досками, совсем не думая о том, что они могут ее раздавить. Она то ныряла глубоко, то взлетала на волну и наконец доплыла до юного принца. Он почти уже совсем выбился из сил и плыть по бурному морю не мог. Руки и ноги отказывались ему служить, прекрасные глаза закрылись, и он утонул бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно...

К утру буря стихла. От корабля не осталось и щепки. Опять засверкало над водой солнце и как будто вернуло краски щекам принца, но глаза его все еще были закрыты.

Русалочка откинула со лба принца волосы, поцеловала его в высокий красивый лоб, и ей показалось, что он похож на мраморного мальчика, который стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она завидела сушу, высокие синие горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленели чудесные леса, а перед ними стояла не то церковь, не то монастырь — она не могла сказать точно, знала только, что это было здание. В саду росли апельсинные и лимонные деревья, а у самых ворот высокие пальмы. Море вдавалось здесь в берег небольшим заливом, тихим, но очень глубоким, с утесом, у которого море намыло мелкий белый песок. Сюда-то и приплыла русалочка с принцем и положила его на песок так, чтобы голова его была повыше на солнце.

Тут в высоком белом здании зазвонили колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды, покрыла свои волосы и грудь морскою пеной, так что теперь никто не различил бы ее лица, и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Вскоре к утесу подошла молодая девушка и поначалу очень испугалась, но тут же собралась с духом и позвала других людей, и русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке, и, когда

принца увели в большое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.

Теперь она стала еще тише, еще задумчивее, чем прежде. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала.

Часто по утрам и вечерам приплывала она к тому месту, где оставила принца. Она видела, как созревали в саду плоды, как их потом собирали, видела, как стаял снег на высоких горах, но принца так больше и не видала и возвращалась домой каждый раз все печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвив руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за своими цветами она больше не ухаживала. Они одичали и разрослись по дорожкам, переплелись стеблями и листьями с ветвями деревьев, и в садике стало совсем темно.

Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из сестер. За ней узнали и остальные сестры, но больше никто, разве что еще две-три русалки да их самые близкие подруги. Одна из них тоже знала о принце, видела празднество на корабле и даже знала, откуда принц родом и где его королевство.

— Поплыли вместе, сестрица! — сказали русалочке сестры и, обнявшись, поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные позолоченные купола высились над крышей, а между колоннами, окружавшими здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшали большие картины. Загляденье, да и только! Посреди самой большой залы журчал фонтан; струи воды били высоко-высоко под стеклянный купол потолка, через который воду и диковинные растения, росшие по краям бассейна, озаряло солнце.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, ну а она заплывала даже в узкий канал, который проходил как раз под мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на юного принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развевающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иногда замечали, как полощется по ветру ее длинная серебристо-белая вуаль, им казалось, что это плещет крыльями лебедь.

Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам с факелом рыбу, они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его, полумертвого, носило по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней, она ему и присниться не могла!

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы выше облаков, а их страны с лесами и полями раскинулись так широко, что и глазом не охватишь! Очень хотелось русалочке побольше узнать о людях, о их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

— Если люди не тонут,— спрашивала русалочка,— тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

— Ну что ты! — отвечала старуха.— Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет; только когда мы перестаем быть, нас не хоронят, у нас даже нет могил, мы просто превращаемся в морскую пену.

— Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни,— проговорила русалочка.

— Вздор! Нечего и думать об этом! — сказала старуха.— Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

— Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыку волн, не увижу ни чудесных цветов, ни красного солнца! Неужели я никак не могу пожить среди людей?

— Можешь,— сказала бабушка,— пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами, сделает тебя своей женой и поклянется в вечной верности. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым — твой рыбий хвост, например,— люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки, или ноги, как они их называют.

Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

— Будем жить — не тужить! — сказала старуха.— Повеселимся вволю, триста лет — срок немалый... Сегодня вечером у нас во дворце бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных

и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены — и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром.

Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали под свое чудное пение водяные и русалки. Таких прекрасных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало грустно. Незаметно выскользнула она из дворца и, пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла — только бы мне быть с ним. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Еще ни разу не доводилось ей проплывать этой дорогой; тут не росли ни цветы, ни даже трава — кругом был только голый серый песок; вода за ним бурлила и шумела, как под мельничным колесом, и увлекала за собой в пучину все, что только встречала на своем пути. Как раз между такими бурлящими водоворотами и пришлось плыть русалочке, чтобы попасть в тот край, где владычила ведьма. Дальше путь лежал через горячий пузырящийся ил, это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем росли полипы — полуживотные-полурастения, похожие на стоглавых змей, выраставших прямо из песка; ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелиться от корня до самой верхушки и хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уж больше не выпускали. Русалочка в испуге остановилась, сердечко ее забилось от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянулись к ней своими извивающимися руками. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальца-

ми все, что удалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди.

— Знаю, знаю, зачем ты пришла! — сказала русалочке морская ведьма.— Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе — на твою же беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить, как люди. Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя.

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и шлепнулись на песок.

— Ну ладно, ты пришла в самое время! — продолжала ведьма.— Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную походку — ни одна танцовщица не сравнится с тобой, но помни: ты будешь ступать как по острым ножам, и твои ноги будут кровоточить. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе.

— Да! — сказала русалочка дрожащим голосом, подумав о принце.

— Помни,— сказала ведьма,— раз ты примешь человеческий облик, тебе уж не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя так, что забудет ради тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не сделает тебя своей женой, ты погибнешь; с первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской.

— Пусть! — сказала русалочка и побледнела как смерть.

— А еще ты должна заплатить мне за помощь,— сказала ведьма.— И я недешево возьму! У тебя чудный голос, им ты и думаешь обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что

есть у тебя: ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.

— Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне? — спросила русалочка.

— Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся: высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток!

— Хорошо! — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

— Чистота — лучшая красота! — сказала она и обтерла котел связкой живых ужей.

Потом она расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, и скоро стали подыматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и, когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов, на вид он казался прозрачнейшей ключевой водой.

— Бери! — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток.

Потом отрезала ей язык, и русалочка стала немая — не могла больше ни петь, ни говорить.

— Схватят тебя полипы, когда поплывешь назад,— напутствовала ведьма,— брызни на них каплю питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячу кусочков.

Но русалочке не пришлось этого делать — полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда — ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря.

Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на широкую мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом; она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял прекрасный принц и с удивлением рассматривал ее. Она потупилась и увидела, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее появились две маленькие беленькие ножки. Но она была совсем нагая и потому закуталась

в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-синими глазами: говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Правду сказала ведьма: каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам; но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем легко, точно по воздуху. Принц и его свита только дивились ее чудной, плавной походке.

Русалочку нарядили в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз к принцу и его царственным родителям позвали девушек-рабынь, разодетых в шелк и золото. Они стали петь, одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Грустно стало русалочке: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, только чтобы быть возле него!»

Потом девушки стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои белые прекрасные руки, встала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц; он назвал русалочку своим маленьким найденышем, а русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птицы, а зеленые ветви касались ее плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

А ночью во дворце у принца, когда все спали, русалочка спускалась по мраморной лестнице, ставила пылающие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню; она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидала вдали даже свою старую бабушку, которая уже много лет не подымалась из воды, и самого царя морского с короной на голове, они простирали к ней руки, но не смели подплыть к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и принцессой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе, если бы он отдал свое сердце и руку другой, она стала бы пеной морской.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.

— Да, я люблю тебя! — говорил принц.— У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль затонул, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но только ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! — думала русалочка.— Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня! — И русалочка глубоко вздыхала, плакать она не могла.— Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу; с ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась — она ведь лучше всех знала мысли принца.

— Я должен ехать! — говорил он ей.— Мне надо посмотреть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда не полюблю ее! Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!

И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и любви.

— Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? — говорил

он, когда они уже стояли на корабле, который должен был отвезти их в страну соседнего короля.

И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в пучине, и о том, что видели там ныряльщики, а она только улыбалась, слушая его рассказы,— она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны, и ей показалось, что она видит отцовский дворец; старая бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры; они печально смотрели на нее и протягивали к ней свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, а юнга подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань нарядной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили в колокола, с высоких башен раздались звуки рогов; на площадях стояли полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было — она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она.

Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.

— Это ты! — сказал принц.— Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою зардевшуюся невесту.

— Ах, я так счастлив! — сказал он русалочке.— То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня.

Русалочка поцеловала ему руку, а сердце ее, казалось, вот-вот разорвется от боли: его свадьба должна ведь убить ее, превратить в пену морскую.

В тот же вечер принц с молодой женой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, на палубе был раскинут шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; в шатре они должны были провести эту тихую, прохладную ночь.

Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно заскользил по волнам и понесся в открытое море.

Как только смерклось, на корабле зажглись разноцветные фонарики, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка

вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге: никогда еще не танцевала она так чудесно! Ее нежные ножки резало как ножами, но этой боли она не чувствовала — сердцу ее было еще больнее. Она знала, что один лишь вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и терпела невыносимые мучения, о которых принц и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой на сердце; принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями; наконец рука об руку они удалились в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась о поручни и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развевались больше по ветру — они были обрезаны.

— Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! А она дала нам вот этот нож — видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем превратишься в соленую пену морскую. Но спеши! Или он, или ты — один из вас должен умереть до восхода солнца. Убей принца и вернись к нам! Поспеши. Видишь, на небе показалась красная полоска? Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка молодой жены покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены — она одна была у него в мыслях! — и нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута — и она бросила его в волны, и они покраснели, как будто в том месте, где он упал, из моря выступили капли крови.

В последний раз взглянула она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали

мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти; она видела ясное солнце и какие-то прозрачные, чудные создания, сотнями реявшие над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и розовые облака в небе; голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка заметила, что и она стала такой же, оторвавшись от морской пены.

— К кому я иду? — спросила она, поднимаясь в воздухе, и ее голос звучал такою же дивною музыкой.

— К дочерям воздуха! — ответили ей воздушные создания.— Мы летаем повсюду и всем стараемся приносить радость. В жарких странах, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, мы навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду... Летим с нами в заоблачный мир! Там ты обретешь любовь и счастье, каких не нашла на земле.

И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как принц с молодой женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая, поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и вознеслась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

ЕЛКА

Стояла в лесу этакая славненькая елочка; место у нее было хорошее: и солнышко ее пригревало, и воздуха было вдосталь, а вокруг росли товарищи постарше, ель да сосна. Только не терпелось елочке самой стать взрослой; не думала она ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе; не замечала и говорливых деревенских детишек, когда они приходили в лес собирать землянику или малину. Наберут полную кружку, а то нанижут ягоды на соломины, подсядут к елочке и скажут:

— Какая славная елочка!

А ей хоть бы и вовсе не слушать таких речей.

Через год подросла елочка на один побег, через год вытянулась еще немножко; так, по числу побегов, всегда можно узнать, сколько лет росла елка.

— Ах, быть бы мне такой же большой, как другие! — вздыхала елка.— Уж как бы широко раскинулась я ветвями да вы-

глянула макушкой на вольный свет! Птицы вили бы гнезда у меня в ветвях, а как подует ветер, я кивала бы с достоинством, не хуже других!

И не были ей в радость ни солнце, ни птицы, ни алые облака, утром и вечером проплывавшие над нею.

Когда стояла зима и снег лежал вокруг искрящейся белой пеленой, частенько являлся вприпрыжку заяц и перескакивал прямо через елочку — такая обида! Но прошло две зимы, и на третью елка так подросла, что зайцу уже приходилось обегать ее кругом.

«Ах! Вырасти, вырасти, стать большой и старой — лучше этого нет ничего на свете!» — думала елка.

По осени в лес приходили дровосеки и валили сколько-то самых больших деревьев. Так случалось каждый год, и елка, теперь уже совсем взрослая, всякий раз трепетала,— с таким стоном и звоном падали наземь большие прекрасные деревья. С них срубали ветви, и они были такие голые, длинные, узкие — просто не узнать. Но потом их укладывали на повозки, и лошади увозили их прочь из лесу. Куда? Что их ждало?

Весной, когда прилетели ласточки и аисты, елка спросила у них:

— Вы не знаете, куда их увезли? Они вам не попадались?

Ласточки не знали, но аист призадумался, кивнул головой и сказал:

— Пожалуй, что знаю. Когда я летел из Египта, мне встретилось много новых кораблей с великолепными мачтами. По-моему, это они и были, от них пахло елью. Я с ними много раз здоровался, и голову они держали высоко, очень высоко.

— Ах, если б и я была взрослой и могла поплыть через море! А какое оно из себя, это море? На что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать,— ответил аист и улетел.

— Радуйся своей молодости! — говорили солнечные лучи.— Радуйся юной жизни, которая играет в тебе!

И ветер ласкал елку, и роса проливала над ней слезы, но она этого не понимала.

Как подходило рождество, рубили в лесу совсем юные елки, иные из них были даже моложе и ниже ростом, чем наша, которая не знала покоя и все рвалась из лесу. Эти деревца, а они, кстати сказать, были самые красивые, всегда сохраняли свои ветки, их сразу укладывали на повозки, и лошади увозили их из лесу.

— Куда они? — спрашивала елка.— Они ведь не больше меня, а одна так и вовсе меньше. Почему они сохранили все свои ветки? Куда они едут?

— Мы знаем! Мы знаем! — чирикали воробьи.— Мы бывали в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда они едут! Их

К стр. 347

ждет такой блеск и слава, что и не придумаешь! Мы заглядывали в окна, мы видели! Их сажают посреди теплой комнаты и украшают замечательными вещами — золочеными яблоками, медовыми пряниками, игрушками и сотнями свечей!

— А потом? — спрашивала елка, трепеща ветвями.— А потом? Потом что?

— Больше мы ничего не видали! Это было бесподобно!

— А может, и мне суждено пойти этим сияющим путем! — ликовала елка.— Это еще лучше, чем плавать по морю. Ах, как я томлюсь! Хоть бы поскорей опять рождество! Теперь и я такая же большая и рослая, как те, которых увезли в прошлом году... Ах, только бы мне попасть на повозку! Только бы попасть в теплую комнату со всей этой славой и великолепием! А потом?.. Ну, а потом будет что-то еще лучше, еще прекраснее, а то к чему же еще так наряжать меня? Уж конечно, потом будет что-то еще более величественное, еще более великолепное!.. Но что? Ах, как я тоскую, как томлюсь! Сама не знаю, что со мной делается!

— Радуйся мне! — говорили воздух и солнечный свет.— Радуйся своей юной свежести здесь, на приволье!

Но она ни капельки не радовалась; она росла и росла, зиму и лето стояла она зеленая; темно-зеленая стояла она, и все, кто ни видел ее, говорили: «Какая славная елка!» — и под рождество срубили ее первую. Глубоко, в самое нутро ее вошел топор, елка со вздохом пала наземь, и было ей больно, было дурно, и не могла она думать ни о каком счастье, и тоска была разлучаться с родиной, с клочком земли, на котором она выросла: знала она, что никогда больше не видать ей своих милых старых товарищей, кустиков и цветков, росших вокруг, а может, даже и птиц. Отъезд был совсем невеселым.

Очнулась она, лишь когда ее сгрузили во дворе вместе с остальными и чей-то голос сказал:

— Вот эта просто великолепна! Только эту!

Пришли двое слуг при полном параде и внесли елку в большую красивую залу. Повсюду на стенах висели портреты, на большой изразцовой печи стояли китайские вазы со львами на крышках; были тут кресла-качалки, шелковые диваны и большие столы, а на столах книжки с картинками и игрушки, на которые потратили, наверное, сто раз по сто риксдалеров,— во всяком случае, дети говорили так. Елку поставили в большую бочку с песком, но никто бы и не подумал, что это бочка, потому что она была обернута зеленой материей, а стояла на большом пестром ковре. Ах, как трепетала елка! Что-то будет теперь? Девушки и слуги стали наряжать ее. На ветвях повисли маленькие сумочки, вырезанные из цветной бумаги, и каждая была наполнена сластями; золоченые яблоки и грецкие орехи словно сами выросли на елке, и больше ста маленьких свечей, красных, белых

и голубых, воткнули ей в ветки, а на ветках среди зелени закачались куколки, совсем как живые человечки — елка еще ни разу не видела таких,— закачались среди зелени, а вверху, на самую макушку ей посадили усыпанную золотыми блестками звезду. Это было великолепно, совершенно бесподобно...

— Сегодня вечером,— говорили все,— сегодня вечером она засияет!

«Ах! — подумала елка.—Скорей бы вечер! Скорей бы зажгли свечи! И что же будет тогда? Уж не придут ли из леса деревья посмотреть на меня? Уж не слетятся ли воробьи к окнам? Уж не приживусь ли я здесь, уж не буду ли стоять разубранная зиму и лето?»

Да, она изрядно во всем разбиралась и томилась до того, что у нее прямо-таки раззуделась кора, а для дерева это все равно что головная боль для нашего брата.

И вот зажгли свечи. Какой блеск, какое великолепие! Елка затрепетала всеми своими ветвями, так что одна из свечей пошла огнем по ее зеленой хвое; горячо было ужасно.

— Господи помилуй! — закричали девушки и бросились гасить огонь.

Теперь елка не смела даже и трепетать. О, как страшно ей было! Как боялась она потерять хоть что-нибудь из своего убранства, как была ошеломлена всем этим блеском... И тут распахнулись створки дверей, и в зал гурьбой ворвались дети, и было так, будто они вот-вот свалят елку. За ними степенно следовали взрослые. Малыши замерли на месте, но лишь на мгновение, а потом пошло такое веселье, что только в ушах звенело. Дети пустились в пляс вокруг елки и один за другим срывали с нее подарки.

«Что они делают? — думала елка.— Что будет дальше?»

Свечи выгорали вплоть до самых ветвей, и когда они выгорели, их потушили, и дозволено было детям обобрать елку. О, как они набросились на нее! Только ветки затрещали. Не будь она привязана макушкой с золотой звездой к потолку, ее бы опрокинули.

Дети кружились в хороводе со своими великолепными игрушками, а на елку никто и не глядел, только старая няня высматривала среди ветвей, не осталось ли где забытого яблока или финика.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и подтащили к елке маленького толстого человечка, и он уселся прямо под ней.

— Так мы будем совсем как в лесу, да и елке не мешает послушать,— сказал он,— только я расскажу всего одну сказку. Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который с лестницы свалился, а все ж таки в честь попал да принцессу за себя взял?

— Про Иведе-Аведе! — кричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! —кричали другие.

И был шум и гам, одна только елка молчала и думала: «А я-то что же, уж больше не с ними, ничего уж больше не сделаю?» Она свое отыграла, она, что ей было положено, сделала.

И толстый человечек рассказал про Клумпе-Думпе, что с лестницы свалился, а все ж таки в честь попал да принцессу за себя взял. Дети захлопали в ладоши, закричали: «Еще, еще расскажи!», им хотелось послушать и про Иведе-Аведе, но пришлось остаться при Клумпе-Думпе. Совсем притихшая, задумчивая стояла елка, птицы в лесу ничего подобного не рассказывали.

«Клумпе-Думпе с лестницы свалился, а все ж таки принцессу за себя взял! Вот, вот, бывает же такое на свете! — думала елка и верила, что все это правда, ведь рассказывал-то такой славный человек.— Вот, вот, почем знать? Может, и я с лестницы свалюсь и выйду за принца».

И она радовалась, что назавтра ее опять украсят свечами и игрушками, золотом и фруктами.

«Уж завтра-то я не буду так трястись! — думала она.— Завтра я вдосталь натешусь своим торжеством. Опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может, и про Иведе-Аведе». Так, тихая и задумчивая, простояла она всю ночь.

Поутру пришел слуга со служанкой.

«Сейчас меня опять начнут наряжать! — подумала елка. Но ее волоком потащили из комнаты, потом вверх по лестнице, потом на чердак, а там сунули в темный угол, куда не проникал дневной свет.— Что бы это значило? — думала елка.— Что мне тут делать? Что я могу тут услышать?» И она прислонилась к стене и так стояла и все думала, думала. Времени у нее было достаточно.

Много дней и ночей миновало; на чердак никто не приходил. А когда наконец кто-то пришел, то затем лишь, чтобы поставить в угол несколько больших ящиков. Теперь елка стояла совсем запрятанная в угол, о ней как будто окончательно забыли.

«На дворе зима! — подумала она.— Земля затвердела и покрылась снегом, люди не могут пересадить меня, стало быть, я, верно, простою тут под крышей до весны. Как умно придумано! Какие они все-таки добрые, люди!.. Вот если б только тут не было так темно, так страшно одиноко... Хоть бы один зайчишка какой! Славно все-таки было в лесу, когда вокруг снег да еще заяц проскочит, пусть даже и перепрыгнет через тебя, хотя когда-то я этого терпеть не могла. Все-таки ужасно одиноко здесь наверху!»

— Пип! — сказала вдруг маленькая мышь и выскочила из

норы, а за нею следом еще одна малышка. Они обнюхали елку и стали шмыгать по ее ветвям.

— Тут жутко холодно! — сказали мыши.— А то бы просто благодать! Правда, старая елка?

— Я вовсе не старая! — отвечала елка.— Есть много деревьев куда старше меня!

— Откуда ты? — спросили мыши.— И что ты знаешь? — Они были ужасно любопытные.— Расскажи нам про самое чудесное место на свете! Ты была там? Ты была когда-нибудь в кладовке, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, где можно плясать по сальным свечам, куда войдешь тощей, откуда выйдешь жирной?

— Не знаю я такого места,— сказала елка,— зато знаю лес, где светит солнце и поют птицы!

И рассказала елка все про свою юность, а мыши отродясь ничего такого не слыхали и, выслушав елку, сказали:

— Ах, как много ты видела! Ах, как счастлива ты была!

— Счастлива? — переспросила елка и задумалась над своими словами.— Да, пожалуй, веселые были денечки!

И тут рассказала она про сочельник, про то, как ее разубрали пряниками и свечами.

— О! — сказали мыши.— Какая же ты была счастливая, старая елка!

— Я вовсе не старая! — сказала елка.— Я пришла из лесу только нынешней зимой! Я в самой поре! Я только что вошла в рост!

— Как славно ты рассказываешь! — сказали мыши и на следующую ночь привели с собой еще четырех послушать ее, и чем больше елка рассказывала, тем яснее припоминала все и думала: «А ведь и в самом деле веселые были денечки! Но они вернутся, вернутся! Клумпе-Думпе с лестницы свалился, а все ж таки принцессу за себя взял, так, может, и я за принца выйду!» И вспомнился елке этакий хорошенький молоденький дубок, что рос в лесу, и был он для елки настоящий прекрасный принц.

— А кто такой Клумпе-Думпе? — спросили мыши.

И елка рассказала всю сказку, она запомнила ее слово в слово. И мыши подпрыгивали от радости чуть ли не до самой ее верхушки.

На следующую ночь мышей пришло куда больше, а в воскресенье явились даже две крысы. Но крысы сказали, что сказка вовсе не так уж хороша, и мыши очень огорчились, потому что теперь и им сказка стала меньше нравиться.

— Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы.

— Только одну! — отвечала елка.— Я слышала ее в самый счастливый вечер всей моей жизни, но тогда я и не думала, как счастлива я была.

— Чрезвычайно убогая история! А вы не знаете какой-нибудь еще — со шпиком, с сальными свечами? Истории про кладовую?

— Нет,— отвечала елка.

— Так премного благодарны! — сказали крысы и убрались восвояси.

Мыши в конце концов тоже разбежались, и тут елка сказала, вздыхая:

— А все ж хорошо было, когда они сидели вокруг, эти резвые мышки, и слушали, что я им рассказываю! Теперь и этому конец. Но уж теперь-то я не упущу случая порадоваться, как только меня снова вынесут на белый свет!

Но когда это случилось... Да, это было утром, пришли люди и шумно завозились на чердаке. Ящики передвинули, елку вытащили из угла; ее, правда, больнехонько шваркнули об пол, но слуга тут же поволок ее к лестнице, где брезжил дневной свет.

«Ну вот, это начало новой жизни!» — подумала елка. Она почувствовала свежий воздух, первый луч солнца, и вот уж она на дворе. Все произошло так быстро; елка даже забыла оглядеть себя, столько было вокруг такого, на что стоило посмотреть. Двор примыкал к саду, а в саду все цвело. Через изгородь перевешивались свежие, душистые розы, стояли в цвету липы, летали ласточки. «Вить-вить! Вернулась моя женушка!» — щебетали они, но говорилось это не про елку.

«Уж теперь-то я заживу»,— радовалась елка, расправляя ветви. А ветви-то были все высохшие да пожелтевшие, и лежала она в углу двора в крапиве и сорняках. Но на верхушке у нее все еще сидела звезда из золоченой бумаги и сверкала на солнце.

Во дворе весело играли дети — те самые, что в сочельник плясали вокруг елки и так радовались ей. Самый младший подскочил к елке и сорвал звезду.

— Поглядите, что еще осталось на этой гадкой старой елке!— сказал он и стал топтать ее ветви, так что они захрустели под его сапожками.

А елка взглянула на сад в свежем убранстве из цветов, взглянула на себя и пожалела, что не осталась в своем темном углу на чердаке; вспомнила свою свежую юность в лесу, и веселый сочельник, и маленьких мышек, которые с таким удовольствием слушали сказку про Клумпе-Думпе.

— Конец, конец! — сказало бедное дерево.— Уж хоть бы я радовалась, пока было время! Конец, конец!

Пришел слуга и разрубил елку на щепки — вышла целая охапка; жарко запылали они под большим пивоваренным котлом; и так глубоко вздыхала елка, что каждый вздох был как маленький выстрел; игравшие во дворе дети сбежались к костру, уселись перед ним и, глядя в огонь, кричали:

— Пиф-паф!

А елка при каждом выстреле, который был ее глубоким вздохом, вспоминала то солнечный летний день, то звездную зимнюю ночь в лесу, вспоминала сочельник и сказку про Клумпе-Думпе— единственную, которую слышала и умела рассказывать... Так она и сгорела.

Мальчишки играли во дворе, и на груди у самого младшего красовалась звезда, которую носила елка в самый счастливый вечер своей жизни; он прошел, и с елкой все кончено, и с этой историей тоже. Кончено, кончено, и так бывает со всеми историями.

ШТОПАЛЬНАЯ ИГЛА

Жила-была штопальная игла. Она так важничала, словно была тонкой швейной иголкой.

— Осторожнее! — сказала она пальцам, которые вынимали ее из коробки.— Не уроните меня! Упаду на пол — чего доброго, затеряюсь, такая я тонкая.

— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили штопальную иглу.

— Вот видите,— сказала штопальная игла,— со мной целая свита! — И она потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

Пальцы ткнули иглу в старый кухаркин башмак: на нем лопнула кожа и надо было зашить дыру.

— Фу, какая черная работа! — сказала штопальная игла.— Я не выдержу. Я сломаюсь!

И сломалась.

— Ну вот! — сказала игла.— Я же говорила, что я слишком тонка.

«Теперь она никуда не годится»,— подумали пальцы, но все же продолжали крепко держать иглу: кухарка накапала на сломанный конец сургуча и заколола иглой свой шейный платок.

— Вот теперь я брошка! — сказала штопальная игла.— Я всегда знала, что займу высокое положение: в ком есть толк, тот не пропадет.

И она усмехнулась про себя — никто ведь не слыхал, чтобы штопальные иглы смеялись вслух. Вид у нее был такой гордый, будто она ехала в карете и поглядывала по сторонам.

— Позвольте спросить, вы из золота? — обратилась игла к своей соседке-булавке.— Вы очень милы, и у вас собственная голова. Жаль только, маловата. Постарайтесь отрастить ее — не всякому ведь достается головка из настоящего сургуча.

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что выле-

тела из платка и угодила прямо в сточный желоб, куда кухарка выливала помои.

— Отправляюсь в плавание! — заявила штопальная игла.— Только бы не застрять тут.

Но она застряла.

— Ах, я слишком тонка, я не создана для этого мира! — вздохнула она, сидя на дне уличной канавы.— Но не надо падать духом — я ведь знаю себе цену.

И она тянулась в струнку и духом не падала.

Над ней проплывала всякая всячина — щепки, соломинки, клочки старых газет...

— Ишь плывут! — говорила штопальная игла.— И ни один не догадается, кто торчит здесь, под водой. А ведь это я здесь торчу! Я сижу! Вон плывет щепка. У нее только и мыслей, что о щепках. Щепкой она и останется. А вон соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай носа! Смотри наткнешься на камень. А вон обрывок газеты. Все давно уж забыто, что на нем напечатано, а он глядите как важничает... Одна я сижу тихо и смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня никто не отнимет.

Вдруг возле нее что-то блеснуло.

«Брильянт!» — подумала штопальная игла. А это был простой бутылочный осколок, но он ярко блестел на солнце. И штопальная игла с ним заговорила.

— Я брошка! — сказала она.— А вы, должно быть, брильянт?

— Да, в этом роде,— ответил бутылочный осколок.

И они разговорились — каждый считал другого и себя настоящей драгоценностью, а все прочие на свете казались им зазнайками.

Штопальная игла сказала:

— Я жила в коробке у одной девицы. Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пять пальцев, и вы не можете себе представить, до чего доходило их чванство. А ведь у них только и дела было, что вынимать меня из коробки да класть обратно.

— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.

— Блестели? — переспросила игла.— Нет, блеска в них не было, зато чванства хоть отбавляй. Их было пять родных братьев. Все были разного роста, но держались всегда вместе — шеренгой. Только крайний из них, Толстяк, выдавался из ряда. Кланяясь, он сгибался только пополам, а не в три погибели, как остальные братья. Зато он хвастался, что если его отрубят, то весь человек будет негоден для военной службы. Второй палец звался Лакомкой. Куда только он не тыкался — и в сладкое и в кислое, и в солнце и в луну. А когда кухарка писала, он нажимал на перо. Третьего брата звали Долговязым. Он смотрел на всех свысока. Четвертый, по прозванию Златоперст, носил вместо

пояса золотое кольцо. Ну, а самый маленький — Пер-музыкант ничего не делал и очень этим гордился. Хвастунами они были, хвастунами и остались, а я вот угодила из-за них в канаву.

— Зато теперь мы сидим и блестим,— сказал бутылочный осколок.

Но тут воды в канаве прибыло, она хлынула через край и унесла с собой бутылочный осколок.

— Вот и он пошел на повышение! — вздохнула штопальная игла.— А я осталась. Видно, я слишком тонка. Но я горжусь этим, и это благородная гордость.

И она сидела прямо на дне канавы и передумала много дум.

«Я, наверно, родилась от солнечного луча — так я тонка. Недаром мне кажется, что солнце все время ищет меня под водой. Ах, я так тонка, что мой бедный отец никак не может меня найти! Не отломись моя старая головка с глазком, я, кажется, заплакала бы сейчас. Впрочем, нет, я бы этого не сделала. Это неприлично».

Однажды пришли уличные мальчишки и стали копаться в канаве, выискивая старые гвозди, монетки и все в том же духе. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие.

— Ай! — вскрикнул вдруг один из мальчишек. Он укололся о штопальную иглу.— Гляди-ка, что за штука!

— Я не штука, я барышня! — заявила штопальная игла, но никто ее не услышал.

Старую штопальную иглу трудно было узнать. Сургучная головка отвалилась, сама игла вся почернела. Но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

— Вон плывет яичная скорлупа! — закричали мальчишки, поймали скорлупу и воткнули в нее штопальную иглу.

«Белое идет к черному,— подумала штопальная игла.— Теперь меня всем видать! Только бы не поддаться морской болезни, это меня сломит».

Но она не поддалась морской болезни и не сломилась.

«Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок и притом никогда не забывать, что ты выше простого смертного. Теперь я совсем оправилась. Кто поблагороднее, тот, оказывается, и выносливее».

— Крак! — сказала яичная скорлупа. Ее переехал тяжело груженный воз.

— Ой, как давит! — завопила штопальная игла.— Теперь уж меня непременно скрутит морская болезнь! Я не выдержу!

Но она выдержала. Воз проехал, а штопальная игла осталась лежать на мостовой, как лежала.

Ну и пусть себе лежит

ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ

Видали вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и украшенный резными завитушками и листьями? Такой вот шкаф — прабабушкино наследство — стоял в гостиной. Он был весь покрыт резьбой — розами, тюльпанами и самыми затейливыми завитушками. Между ними выглядывали оленьи головки с ветвистыми рогами, а на самой середке был вырезан во весь рост человечек. На него нельзя было глядеть без смеха, да и сам он ухмылялся от уха до уха — улыбкой такую гримасу никак не назовешь. У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержант Козлоног, потому что выговорить такое имя трудно и дается такой титул не многим. Зато и вырезать такую фигуру не легко, ну да все-таки вырезали. Человечек все время смотрел на подзеркальный столик, где стояла хорошенькая фарфоровая пастушка. Позолоченные башмаки, юбочка, грациозно подколотая пунцовой розой, позолоченная шляпа на головке и пастуший посох в руке — ну разве не красота!

Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный, как уголь, но тоже из фарфора и такой же чистенький и милый, как все иные прочие. Он ведь только изображал трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать его принцем — все равно!

Он стоял грациозно, с лестницей в руках, и лицо у него было бело-розовое, словно у девочки, и это было немножко неправильно, он мог бы быть и почумазей. Стоял он совсем рядом с пастушкой — как их поставили, так они и стояли. А раз так, они взяли да обручились. Парочка вышла хоть куда: оба молоды, оба из одного и того же фарфора и оба одинаково хрупкие.

Тут же рядом стояла еще одна кукла, втрое больше их ростом,— старый китаец, умевший кивать головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, вот только доказательств у него не хватало. Он утверждал, что она должна его слушаться, и потому кивал головою обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

— Хороший у тебя будет муж! — сказал старый китаец.— Похоже, даже из красного дерева. С ним ты будешь обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержантшей. У него целый шкаф серебра, не говоря уж о том, что лежит в потайных ящиках.

— Не хочу в темный шкаф! — отвечала пастушка.— Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен!

— Ну так будешь двенадцатой! — сказал китаец.— Ночью, как только старый шкаф закряхтит, сыграем вашу свадьбу, иначе не быть мне китайцем!

Тут он кивнул головой и заснул.

А пастушка расплакалась и, глядя на своего милого фарфорового трубочиста, сказала:

— Прошу тебя, убежим со мной куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться.

— Ради тебя я готов на все! — отвечал трубочист.— Уйдем сейчас же! Уж наверное, я сумею прокормить тебя своим ремеслом.

— Только бы спуститься со столика! — сказала она.— Я не вздохну свободно, пока мы не будем далеко-далеко!

Трубочист успокаивал ее и показывал, куда ей лучше ступать своей фарфоровой ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку. Его лестница также сослужила им добрую службу, и в конце концов они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени вытянули вперед головы, выставили рога и вертели ими во все стороны, а обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержант Козлоног высоко подпрыгнул и крикнул старому китайцу:

— Они убегают! Убегают!

Пастушка и трубочист испугались и шмыгнули в подоконный ящик. Тут лежали разрозненные колоды карт, был кое-как установлен кукольный театр. На сцене шло представление.

Все дамы — бубновые и червонные, трефовые и пиковые — сидели в первом ряду и обмахивались тюльпанами, а за ними стояли валеты и старались показать, что и они о двух головах, как все фигуры в картах. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали, и пастушка заплакала: это так напомнило ее собственную судьбу.

— Сил моих больше нет! — сказала она трубочисту.— Уйдем отсюда!

Но когда они очутились на полу и взглянули на свой столик, они увидели, что старый китаец проснулся и раскачивается всем телом — ведь внутри него перекатывался свинцовый шарик.

— Ай, старый китаец гонится за нами! — вскрикнула пастушка и в отчаянии упала на свои фарфоровые колени.

— Стой! Придумал! — сказал трубочист.— Видишь вон там, в углу, большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами? Спрячемся в нее! Ляжем там на розовые и лавандовые лепестки, и если китаец доберется до нас, засыплем ему глаза солью[1].

— Ничего из этого не выйдет! — сказала пастушка.— Я знаю, китаец и ваза были когда-то помолвлены, а от старой дружбы всегда что-нибудь, да остается. Нет, нам одна дорога — пуститься по белу свету!

---

[1] В старину в комнатах ставили для запаха вазы с сухими цветами и травами; смесь эта посыпалась солью, чтобы сильнее пахла.

— А у тебя хватит на это духу? — спросил трубочист.— Ты подумала о том, как велик свет? О том, что нам уж никогда не вернуться назад?

— Да, да! — отвечала она.

Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал:

— Мой путь ведет через дымовую трубу! Хватит ли у тебя мужества залезть со мной в печку, а потом в дымовую трубу? Там-то уж я знаю, что делать! Мы поднимемся так высоко, что до нас и не доберутся. Там, на самом верху, есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет!

И он повел ее к печке.

— Как тут черно! — сказала она, но все-таки полезла за ним и в печку, и в дымоход, где было темно, хоть глаз выколи.

— Ну вот мы и в трубе! — сказал трубочист.— Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка!

На небе и в самом деле сияла звезда, словно указывая им путь. А они лезли, карабкались ужасной дорогой все выше и выше. Но трубочист поддерживал пастушку и подсказывал, куда ей удобнее ставить свои фарфоровые ножки. Наконец они добрались до самого верха и присели отдохнуть на край трубы — они очень устали, и не мудрено.

Над ними было усеянное звездами небо, под ними все крыши города, а кругом на все стороны, и вширь и вдаль, распахнулся вольный мир. Бедная пастушка никак не думала, что свет так велик. Она склонилась головкой к плечу трубочиста и заплакала так горько, что слезы смыли всю позолоту с ее пояса.

— Это для меня слишком! — сказала пастушка.— Этого мне не вынести! Свет слишком велик! Ах, как мне хочется обратно на подзеркальный столик! Не будет у меня ни минуты спокойной, пока я туда не вернусь! Я ведь пошла за тобой на край света, а теперь ты проводи меня обратно домой, если любишь меня!

Трубочист стал ее вразумлять, напоминал о старом китайце и обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержанте Козлоноге, но она только рыдала безутешно да целовала своего трубочиста. Делать нечего, пришлось уступить ей, хоть это и было неразумно.

И вот они спустились обратно вниз по трубе. Не легко это было! Оказавшись опять в темной печи, они сначала постояли у дверцы, прислушиваясь к тому, что делается в комнате. Все было тихо, и они выглянули из печи. Ах, старый китаец валялся на полу: погнавшись за ними, он свалился со столика и разбился на три части. Спина отлетела начисто, голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержант стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал.

— Какой ужас! — воскликнула пастушка.— Старый дедушка разбился, и виною этому мы! Ах, я этого не переживу!

И она заломила свои крошечные ручки.

— Его еще можно починить! — сказал трубочист.— Его отлично можно починить! Только не волнуйся! Ему приклеят спину, а в затылок вгонят хорошую заклепку, и он опять будет совсем как новый и сможет наговорить нам кучу неприятных вещей!

— Ты думаешь? — сказала пастушка.

И они снова вскарабкались на свой столик.

— Далеко же мы с тобою ушли! — сказал трубочист.— Не стоило и трудов!

— Только бы дедушку починили! — сказала пастушка.— Или это очень дорого обойдется?..

Дедушку починили: приклеили ему спину и вогнали в затылок хорошую заклепку. Он стал как новый, только головой кивать перестал.

— Вы что-то загордились с тех пор, как разбились! — сказал ему обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержант Козлоног.— Только с чего бы это? Ну так как, отдадите за меня внучку?

Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца: они так боялись, что он кивнет. Но кивать он уже больше не мог, а объяснять посторонним, что у тебя в затылке заклепка, тоже радости мало. Так и осталась фарфоровая парочка неразлучна. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.

СТАРЫЙ ДОМ

На одной улице стоял старый-престарый дом, построенный лет триста тому назад. Это можно было прочесть на балке, где год его постройки был вырезан в обрамлении тюльпанов и плетей хмеля. Там же было целое стихотворение, написанное так, как писали в старину, а на балках над каждым окном красовались уморительные рожи. Верхний этаж далеко выступал над нижним, а под самой крышей проходил водосточный желоб, оканчивавшийся головой дракона. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из брюха — желоб-то был дырявый.

Все прочие дома на улице были такие новенькие, опрятные, с большими окнами и ровными стенами. Сразу видно было, что они не желают иметь ничего общего со старым домом и, пожалуй, даже думают про себя: «Долго ли это старье будет торчать тут на позор всей улице? Из-за этого выступа нам не видно, что делается дальше на нашей стороне улицы. А лестница-то! Широченная, будто во дворце, высоченная, словно ведет на колокольню. Железные перила как у входа в могильный склеп, да еще с медными шишками. Какая безвкусица!»

На другой стороне улицы дома были такие же новенькие, опрятные, и думали они то же самое. Но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными лучистыми глазами. Ему старый дом и при солнце и при луне нравился куда больше всех остальных. Он глядел на стену старого дома с облупившейся штукатуркой, и его воображению рисовались самые причудливые картины прошлого: целая улица, застроенная такими же домами с широкими лестницами, выступами и островерхими кровлями, солдаты с алебардами и водосточные желоба, извивающиеся, словно драконы и змеи. Да, на этот дом можно было заглядеться!

А жил в нем старик, носивший панталоны до колен, камзол с большими металлическими пуговицами и парик — самый настоящий, это сразу было видно. По утрам к старику являлся старый слуга, который прибирал в доме и ходил за покупками. Остальное время старик оставался в доме совсем один. Случалось, он подходил к окну и выглядывал на улицу. Мальчик кивал ему, и старик кивал в ответ. Так они познакомились и подружились, хотя не обмолвились ни словом. Ну да это ничуть им не мешало.

Мальчик слышал, как родители его говорили:

— Старику живется неплохо, вот только он ужасно одинок!

И вот в ближайшее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумагу, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика.

— Послушай! Снеси-ка это от меня старому господину напротив! У меня два оловянных солдатика, так вот ему один! Пусть возьмет его, ведь я знаю, что он ужасно одинок!

Старый слуга обрадованно кивнул и отнес солдатика в старый дом. Потом тот же слуга вернулся спросить, не хочет ли мальчик сам побывать у старика. Родители позволили, и мальчик отправился в гости.

Медные шишки на перилах блестели ярче обычного, как будто их вычистили к приходу гостя. А резные трубачи — на дверях были вырезаны трубачи, выглядывающие из тюльпанов,— казалось, трубили изо всех сил, и щеки их так и раздувались: «Ту-ру-ру! Мальчик идет! Ту-ру-ру!»

Двери открылись, и мальчик вошел в коридор. Стены здесь были увешаны старинными портретами рыцарей в доспехах и дам в шелковых платьях. Доспехи бряцали, платья шуршали... Внутренняя лестница сначала поднималась высоко вверх, а потом приспускалась вниз, и вот уж мальчик на изрядно ветхой террасе с большими дырами и длинными щелями в полу, через которые пробивались зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и стена дома так густо поросли зеленью, что терраса казалась настоящим садом, хотя на самом-то деле она была всего-навсего

терраса! Тут стояли старинные цветочные горшки в виде голов с ослиными ушами. Цветы в них росли как хотели. В одном горшке так и лезла через край гвоздика. Зеленые ростки ее разбегались во все стороны и как будто говорили: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне еще один цветок в воскресенье! Цветок в воскресенье!»

С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиной кожей, тисненной золотыми цветами.

— Позолота сотрется, свиная кожа остается! — сказали стены.

В этой комнате стояли резные кресла с высокими спинками и подлокотниками.

— Присядь! Присядь! — приглашали они.— Ох, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как и старый шкаф. Ревматизм в пояснице!

Наконец мальчик попал в комнату с выступом на улицу. Тут сидел старичок хозяин.

— Спасибо за оловянного солдатика, дружок! — сказал он.— И спасибо за то, что зашел проведать!

«Так, так!» или, скорее, «крак, крак!» закряхтела вся мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они чуть ли не выглядывали друг у дружки из-за спины, чтобы посмотреть на мальчика.

На стене висел портрет молодой дамы с красивым живым лицом, но причесанной и одетой по старинной моде: волосы напудрены, платье колоколом. Она не сказала ни «так», ни «крак», а только ласково посмотрела на мальчика, и он сразу же спросил у старика:

— Где ты ее достал?

— Напротив, у старьевщика,— отвечал тот.— Там много таких портретов, но никому до них дела нет: никто не знает, с кого они писаны, все эти люди давным-давно покоятся в земле. Вот и эта дама умерла лет пятьдесят назад, но я знал ее.

За стеклом под картиной висел букет сухих цветов. Им, верно, тоже было лет под пятьдесят, такие старые они были на вид.

Маятник больших часов качался взад и вперед, стрелка двигалась по кругу, и все в комнате старело с каждой минутой, само того не замечая.

— У нас дома говорят, что ты ужасно одинок,— сказал мальчик.

— О, меня постоянно навещают воспоминания прошлого... Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов! А теперь вот и ты навестил меня! Нет, мне хорошо!

И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, каких сегодня уже не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, ремесленники с разве-

вающимися цеховыми знаменами. У портных на знаменах были изображены ножницы, поддерживаемые двумя львами, а у сапожников не сапоги, а двуглавый орел — сапожники ведь делают все парные вещи.

Да, это была книга так книга!

Старичок хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. Нет, в старом доме было чудо как хорошо!

— А я здесь не выдержу! — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке.— Тут так пусто, так печально. Нет, кто привык к жизни в семье, тому здесь не житье. Я здесь не выдержу! День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше. Тут не услышишь ни приятных бесед, какие вели, бывало, твои родители, ни веселой возни ребятишек. Нет, старый хозяин так одинок! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него ласково? Устраивает у него елку? Ничего у него нет впереди, кроме похорон. Я здесь не выдержу!

— Ну, полно! — сказал мальчик.— По-моему, здесь чудесно. А еще сюда приходят старые воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц!

— Не видал, не знаю! — отвечал оловянный солдатик.— Я здесь не выдержу!

— Должен выдержать! — сказал мальчик.

Тут в комнату вошел сияющий хозяин с отменным вареньем, яблоками и орехами, и мальчик думать забыл об оловянном солдатике.

Веселый и довольный, вернулся он домой. Проходили дни и недели. Мальчик просил слугу кланяться хозяину старого дома, и тот просил кланяться в ответ, и вот мальчик опять отправился к нему в гости.

Резные трубачи затрубили: «Ту-ру-ру! Мальчик идет! Ту-ру-ру!» Рыцари на портретах забряцали мечами и доспехами, дамы зашелестели платьями; свиная кожа заговорила, а старые кресла заскрипели и закряхтели от ревматизма в пояснице: «Ох!» Словом, все было как в первый раз, потому что часы и дни в старом доме шли один как другой, без всякой перемены.

— Я не выдержу! — сказал оловянный солдатик.— Я уже плакал оловом. Здесь чересчур тоскливо. Отправьте меня лучше на войну, пусть я лишусь рук и ног — все-таки перемена. Сил моих больше нет! Теперь я знаю, как это приходят старые воспоминания и приводят с собой знакомые лица! Меня они тоже посетили, и, поверь, им не обрадуешься! Особенно если они зачастят. Под конец я чуть не спрыгнул с сундука. Я видел тебя и всех твоих, вы все стояли передо мной как живые. Было то самое воскресное утро, ты помнишь. Все вы, ребятишки, стояли в столовой и пели. Мать и отец стояли рядом. Вдруг дверь отворилась, и вошла ваша двухгодовалая сестренка Мария. А ей

стоит только услышать музыку или пение — все равно какое,— сейчас же в пляс. Вот она и давай танцевать, только никак в такт не попадет — вы пели так протяжно. А она вытянет шейку и то одну ножку поднимет, то другую — нет, все не ладится! Я не удержался, засмеялся про себя да и кувырк со стола! Набил себе шишку, до сих пор не прошла, и поделом мне. И еще много чего вспоминается мне. Все, что я видел, слышал и пережил у вас дома, стоит у меня перед глазами. Так вот, оказывается, какие они, эти воспоминания, вот что они приводят с собой... Скажи, вы по-прежнему поете по воскресеньям? Расскажи мне что-нибудь про малютку Марию! И еще — как поживает мой товарищ, второй оловянный солдатик? Вот счастливец! Нет, нет, я просто не выдержу!

— Я тебя подарил! — сказал мальчик.— И ты должен оставаться тут! Как ты этого не понимаешь!

Вошел старичок со шкатулкой, доверху набитой разными занятными вещами: баночками для белил и притирок, старинными картами — таких больших, расписанных золотом, теперь уж не увидишь. Старичок отпер для гостя и большие ящики старинного бюро, открыл клавикорды, на крышке которых изнутри был нарисован ландшафт. Инструмент издавал тихие дребезжащие звуки, а сам хозяин напевал при этом какую-то песню.

— Это она певала когда-то! — сказал старичок, кивнув на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели.

— Хочу на войну! Хочу на войну! — во все горло закричал оловянный солдатик и бросился с сундука на пол.

Куда же он девался? Искал его и сам старичок хозяин, искал и мальчик — нет нигде, да и только!

— Ну, я найду его после! — сказал старичок, но так и не нашел. Пол был весь в щелях, солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле.

День прошел, и мальчик вернулся домой, и прошла неделя, а за ней и еще несколько недель. Окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на стекло, чтобы оттаял глазок и можно было взглянуть на старый дом. Снег запорошил все завитушки и надпись на балке, завалил лестницу — дом стоял словно нежилой. Так оно и было: старичок, хозяин его, умер.

Вечером к старому дому подъехала повозка, на нее поставили гроб и повезли старичка за город — его должны были похоронить в фамильном склепе. Никто не шел за гробом — все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй.

Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окна, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с ослиными ушами, старинные стулья и шкафы.

Все это разошлось что куда. Портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же да так там и остался — никто ведь не знал этой дамы, никому не нужен был ее портрет.

А весной снесли и сам старый дом — эту развалюху, как говорили люди. С улицы можно было видеть комнату, обитую свиной кожей, которая была порвана и свисала клочьями. Зелень террасы густо обвивала падающие балки. А потом место это расчистили совсем.

— Вот и отлично! — сказали соседние дома.

Вместо старого дома появился новый, с большими окнами и ровными белыми стенами. Перед ним, там, где стоял старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Перед садиком поставили железную решетку с железной калиткой. Все это выглядело так красиво, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Воробьи стайками усаживались на виноградные лозы и чирикали наперебой, да только не о старом доме — они ведь не могли его помнить. С тех пор прошло столько лет, что мальчик успел стать мужчиной — дельным мужчиной на радость своим родителям. Он только что женился и переехал со своей молодой женой в этот новый дом. И вот он стоял в садике и глядел, как его жена сажала в клумбу приглянувшийся ей полевой цветок. Посадив цветок, она хотела примять землю пальцами и вскрикнула:

— Ой! Что это?

Она укололась — из рыхлой земли торчало что-то острое.

Это был — представьте себе! — оловянный солдатик, тот самый, что пропал у старика, завалялся-затерялся в мусоре и много лет пролежал в земле.

Молодая женщина обтерла солдатика сначала зеленым листом, а затем своим тонким носовым платком. Какой чудесный аромат исходил от него! Оловянный солдатик словно от обморока очнулся.

— Дай-ка взглянуть! — сказал молодой человек, смеясь и качая головой.— Это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне историю с оловянным солдатиком, когда я был еще маленьким.

И он рассказал своей жене о старом доме, его хозяине и оловянном солдатике, которого послал старику, потому что тот был ужасно одинок, и рассказывал он так точно и живо, что у молодой женщины навернулись на глаза слезы.

— А может, это все же тот самый? — сказала она.— Спрячу его на память об этой истории. А ты непременно покажи мне могилу старика!

— Я не знаю, где она! — отвечал он.— Да и никто не знает! Все его друзья умерли раньше его, никому не было до него дела, а я тогда был еще совсем маленьким.

— Как ужасно быть таким одиноким! — сказала она.

— Ужасно! — откликнулся оловянный солдатик.— Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!

— Счастье! — повторил чей-то голос совсем рядом, но никто не расслышал его, кроме оловянного солдатика.

А был это лоскуток свиной кожи, которой когда-то была обита комната старого дома. Позолота с него вся сошла, и он был похож скорее на сырую землю, но у него был свой взгляд на вещи, и он его высказал:

— Позолота сотрется, свиная кожа остается.

Только оловянный солдатик с этим не согласился.

СТАРЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ

Слыхали вы историю про старый уличный фонарь? Она не то чтобы так уж занятна, но послушать ее разок не мешает.

Так вот, жил-был этакий почтенный старый уличный фонарь; он честно служил много-много лет и наконец должен был выйти в отставку.

Последний вечер висел фонарь на своем столбе, освещая улицу, и на душе у него было как у старой балерины, которая в последний раз выступает на сцене и знает, что завтра будет всеми забыта в своей каморке.

Завтрашний день страшил старого служаку: он должен был впервые явиться в ратушу и предстать перед «тридцатью шестью отцами города», которые решат, годен он еще к службе или нет. Возможно, его еще отправят освещать какой-нибудь мост или пошлют в провинцию на какую-нибудь фабрику, а возможно, просто сдадут в переплавку, и тогда из него может получиться что угодно. И вот его мучила мысль: сохранит ли он воспоминание о том, что был когда-то уличным фонарем. Так или иначе, он знал, что ему в любом случае придется расстаться с ночным сторожем и его женой, которые стали для него все равно что родная семья. Оба они — и фонарь и сторож — поступили на службу одновременно. Жена сторожа тогда высоко метила и, проходя мимо фонаря, удостаивала его взглядом только по вечерам, а днем никогда. В последние же годы, когда все трое — и сторож, и его жена, и фонарь — состарились, она тоже стала ухаживать за фонарем, чистить лампу и наливать в нее ворвань. Честные люди были эти старики, ни разу не обделили фонарь ни на капельку.

Итак, светил он на улице последний вечер, а поутру должен был отправиться в ратушу. Мрачные эти мысли не давали ему покоя, и не мудрено, что и горел он неважно. Впрочем, мелькали у него и другие мысли; он многое видел, на многое дове-

лось ему пролить свет, быть может, он не уступал в этом всем «тридцати шести отцам города». Но он молчал и об этом. Он ведь был почтенный старый фонарь и не хотел никого обижать, а уж свое начальство тем более.

А между тем многое вспоминалось ему, и время от времени пламя его вспыхивало как бы от таких примерно мыслей: «Да, и обо мне кто-нибудь вспомнит! Вот хоть бы тот красивый юноша... Много лет прошло с тех пор. Он подошел ко мне с письмом в руках. Письмо было на розовой бумаге, тонкой-претонкой, с золотым обрезом, и написано изящным женским почерком. Он прочел его дважды, поцеловал и поднял на меня сияющие глаза. «Я самый счастливый человек на свете!» — говорили они. Да, только он да я знали, что написала в своем первом письме его любимая.

Помню я и другие глаза... Удивительно, как перескакивают мысли! По нашей улице двигалась пышная похоронная процессия. На обитой бархатом повозке везли в гробу молодую прекрасную женщину. Сколько было венков и цветов! А факелов горело столько, что они совсем затмили мой свет. Тротуары были заполнены людьми, провожавшими гроб. Но когда факелы скрылись из виду, я огляделся и увидел человека, который стоял у моего столба и плакал. Никогда мне не забыть взгляда его скорбных глаз, смотревших на меня!»

И много о чем еще вспоминал старый уличный фонарь в этот последний вечер. Часовой, сменяющийся с поста, тот хоть знает, кто заступит его место, и может перекинуться со своим товарищем несколькими словами. А фонарь не знал, кто придет ему на смену, и не мог рассказать ни о дожде и непогоде, ни о том, как месяц освещает тротуар и с какой стороны дует ветер.

В это-то время на мостик через водосточную канаву и явились три кандидата на освобождающееся место, полагавшие, что назначение на должность зависит от самого фонаря. Первым была селедочная головка, светящаяся в темноте; она полагала, что ее появление на столбе значительно сократит расход ворвани. Вторым была гнилушка, которая тоже светилась и, по ее словам, даже ярче, чем вяленая треска; к тому же она считала себя последним остатком всего леса. Третьим кандидатом был светлячок; откуда он явился, фонарь никак не мог взять в толк, но тем не менее светлячок был тут и тоже светился, хотя селедочная головка и гнилушка клятвенно уверяли, что он светит только временами, а потому не в счет.

Старый фонарь сказал, что ни один из них не светит настолько ярко, чтобы служить уличным фонарем, но ему, конечно, не поверили. А узнав, что назначение на должность зависит вовсе не от него, все трое выразили глубокое удовлетворение — он ведь слишком стар, чтобы сделать верный выбор.

В это время из-за угла налетел ветер и шепнул фонарю под колпак:

— Что такое? Говорят, ты уходишь завтра в отставку? И я вижу тебя здесь в последний раз? Ну, так вот тебе от меня подарок. Я проветрю твою черепную коробку, и ты будешь не только ясно и отчетливо помнить все, что видел и слышал сам, но и видеть как наяву все, что будут рассказывать или читать при тебе. Вот какая у тебя будет свежая голова!

— Не знаю, как тебя и благодарить! — сказал старый фонарь.— Лишь бы не попасть в переплавку!

— До этого еще далеко,— отвечал ветер.— Ну, сейчас я проветрю твою память. Если б ты получил много таких подарков, у тебя была бы приятная старость.

— Лишь бы не попасть в переплавку! — повторил фонарь.— Или, может, ты и в этом случае сохранишь мне память?

— Будь же благоразумен, старый фонарь! — сказал ветер и дунул.

В эту минуту выглянул месяц.

— А вы что подарите? — спросил ветер.

— Ничего,— ответил месяц.— Я ведь на ущербе, к тому же фонари никогда не светят за меня, всегда я за них.

И месяц опять спрятался за тучи — он не хотел, чтобы ему надоедали.

Вдруг на железный колпак фонаря капнула капля. Казалось, она скатилась с крыши, но капля сказала, что упала из серых туч, и тоже — как подарок, пожалуй даже самый лучший.

— Я проточу тебя,— сказала капля,— так что ты получишь способность в любую ночь, когда только пожелаешь, обратиться в ржавчину и рассыпаться прахом.

Фонарю этот подарок показался плохим, ветру — тоже.

— Кто даст больше? Кто даст больше? — зашумел он что было сил.

И в эту же минуту с неба скатилась звезда, оставив за собой длинный светящийся след.

— Что это? — вскрикнула селедочная головка.— Никак, звезда с неба упала? И кажется, прямо на фонарь. Ну, если этой должности домогаются столь высокопоставленные особы, нам остается только откланяться и убраться восвояси.

Так все трое и сделали. А старый фонарь вдруг вспыхнул особенно ярко.

— Вот это чудесный подарок! — сказал он.— Я всегда так любовался ясными звездами, их дивным светом! Сам я никогда не мог светить, как они, хотя стремился к этому всем сердцем. И вот они заметили меня, жалкий старый фонарь, и послали мне в подарок одну из своих сестриц. Они одарили меня способностью показывать тем, кого я люблю, все, что я помню и

вижу сам. Вот это поистине удовольствие! А то и радость не в радость, если нельзя поделиться ею с другими.

— Почтенная мысль,— сказал ветер.— Но ты, верно, не знаешь, что к этому дару полагается восковая свеча. Ты никому ничего не сможешь показать, если в тебе не будет гореть восковая свеча. Вот о чем не подумали звезды. И тебя, и все то, что светится, они принимают за восковые свечи. Ну, а теперь я устал, пора улечься,— сказал ветер и улегся.

На другое утро... нет, через день мы лучше перескачем — на следующий вечер фонарь лежал в кресле, и у кого же? У старого ночного сторожа. За свою долгую верную службу старик попросил у «тридцати шести отцов города» старый уличный фонарь. Те посмеялись над ним, но фонарь отдали. И вот теперь фонарь лежал в кресле возле теплой печи, и казалось, будто вырос от этого — он занимал чуть ли не все кресло. Старички уже сидели за ужином и ласково поглядывали на старый фонарь: они охотно посадили бы его с собой хоть за стол.

Правда, жили они в подвале, на несколько локтей под землей, и чтобы попасть в их каморку, надо было пройти через вымощенную кирпичом прихожую, зато в самой каморке было тепло и уютно. Двери были обиты по краям войлоком, кровать пряталась за пологом, на окнах висели занавески, а на подоконниках стояли два диковинных цветочных горшка. Их привез матрос Христиан не то из Ост-Индии, не то из Вест-Индии. Это были глиняные слоны с углублением на месте спины, в которое насыпалась земля. В одном слоне рос чудесный лук-порей — это был огород старичков, в другом пышно цвела герань — это был их сад. На стене висела большая масляная картина, изображающая Венский конгресс, на котором присутствовали разом все императоры и короли. Старинные часы с тяжелыми свинцовыми гирями тикали без умолку и вечно убегали вперед, но это было лучше, чем если бы они отставали, говорили старички.

Итак, сейчас они ужинали, а старый уличный фонарь лежал, как сказано выше, в кресле возле теплой печки, и ему казалось, будто весь мир перевернулся вверх дном. Но вот старик сторож взглянул на него и стал припоминать все, что им довелось пережить вместе в дождь и в непогоду, в ясные, короткие летние ночи и в снежные метели, когда так и тянет в подвальчик,— и старый фонарь словно очнулся и увидел все это как наяву.

Да, славно его проветрил ветер!

Старички были люди работящие и любознательные, ни один час не пропадал у них зря. По воскресеньям после обеда на столе появлялась какая-нибудь книга, чаще всего описание путешествия, и старик читал вслух про Африку, про ее огромные леса и диких слонов, которые бродят на воле. Старушка слуша-

ла и поглядывала на глиняных слонов, служивших цветочными горшками.

— Воображаю! — приговаривала она.

А фонарю так хотелось, чтобы в нем горела восковая свеча,— тогда старушка, как и он сам, наяву увидела бы все: и высокие деревья с переплетающимися густыми ветвями, и голых черных людей на лошадях, и целые стада слонов, утаптывающих толстыми ногами тростник и кустарник.

— Что проку в моих способностях, если нет восковой свечи?— вздыхал фонарь.— У стариков только ворвань да сальные свечи, а этого мало.

Но вот в подвале оказалась целая куча восковых огарков. Длинные шли на освещение, а короткими старушка вощила нить, когда шила. Восковые свечи теперь у стариков были, но им и в голову не приходило вставить хоть один огарок в фонарь.

— Ну, вот и стою я тут со всеми моими редкими способностями,— говорил фонарь.— Внутри у меня целое богатство, а я не могу им поделиться! Ах, вы не знаете, что я могу превратить эти белые стены в чудесную обивку, в густые леса, во все, чего вы пожелаете!.. Ах, вы не знаете!

Фонарь, всегда вычищенный и опрятный, стоял в углу, на самом видном месте. Люди, правда, называли его старым хламом, но старики пропускали такие слова мимо ушей — они любили старый фонарь.

Однажды, в день рождения старого сторожа, старушка подошла к фонарю, улыбнулась и сказала:

— Сейчас мы зажжем в его честь иллюминацию!

Фонарь так и задребезжал колпаком от радости.

«Наконец-то их осенило!» — подумал он.

Но досталась ему опять ворвань, а не восковая свеча. Он горел весь вечер и знал теперь, что дар звезд — чудеснейший дар — так и не пригодится ему в этой жизни.

И вот пригрезилось фонарю — с такими способностями не мудрено и грезить,— будто старики умерли, а сам он попал в переплавку. И страшно ему, как в тот раз, когда предстояло явиться в ратушу на смотр к «тридцати шести отцам города». И хотя он обладает способностью по своему желанию рассыпаться ржавчиной и прахом, он этого не сделал, а попал в плавильную печь и превратился в чудесный подсвечник в виде ангела с букетом в руке. В букет вставили восковую свечу, и подсвечник занял свое место на зеленом сукне письменного стола. Комната очень уютна; все полки заставлены книгами, стены увешаны великолепными картинами. Здесь живет поэт, и все, о чем он думает и пишет, развертывается перед ним, как в панораме. Комната становится то дремучим темным лесом, то озарен-

ными солнцем лугами, по которым расхаживает аист, то палубой корабля, плывущего по бурному морю...

— Ах, какие способности скрыты во мне! — сказал старый фонарь, очнувшись от грез.— Право, мне даже хочется попасть в переплавку. Впрочем, нет! Пока живы старички — не надо. Они любят меня таким, какой я есть, я для них все равно что сын родной. Они чистят меня, заливают ворванью, и мне здесь не хуже, чем всем этим высокопоставленным особам на конгрессе.

С тех пор старый уличный фонарь обрел душевное спокойствие — и он его заслужил.

ЖАБА

Колодец был глубок, веревка длинна, и, когда вытаскивали полное ведро, ворот ходил туго. Как ни прозрачна была колодезная вода, никогда не играли в ней солнечные лучи — они попросту не достигали ее поверхности. А куда солнце заглядывало, пробивалась между камнями травка.

Тут-то и проживало большое семейство жаб. Они были пришлые, и, собственно говоря, первой, причем вверх тормашками, переселилась сюда самая старая жаба — она здравствовала и поныне. Зеленые лягушки, испокон веков обитавшие в колодце, признали жаб за родню и окрестили их курортниками. Но жабы замыслили остаться здесь и обжились на «суше», как они называли мокрые камни.

Старой лягушке довелось разок совершить путешествие в ведре, когда его поднимали наверх. Но там ей показалось чересчур ярко — у нее даже глаза заломило. Ее счастье, что исхитрилась выпрыгнуть из ведра. Она с такой силой шлепнулась об воду, что потом слегла на три дня с болью в спине.

Много о мире наверху она рассказать, конечно, не могла, но, во всяком случае, и она, и все остальные знали, что колодец — это еще не весь мир. Вот старая жаба, та могла бы кое-что рассказать, но она никогда не отвечала на вопросы, ну ее и спрашивать перестали.

— Старуха-толстуха, бородавчатое брюхо! — говорили про жабу молоденькие зеленые лягушки.— И дети все в нее.

— Очень может быть,— отзывалась жаба.— Зато у кого-нибудь из них, а то и у меня самой спрятан в голове драгоценный камень.

Зеленые лягушки слушали, таращили глаза и с досады передразнивали жабу, а потом бухались на дно колодца. А молодые жабы гордо вытягивали задние лапки. Каждая воображала, что драгоценный камень спрятан именно у нее. Они сидели

смирнехонько, боясь даже голову повернуть, но в конце концов спросили, чем же им, собственно, гордиться и что это за драгоценный камень.

— Он такой дорогой и такой красивый, что и не описать,— отвечала старая жаба.— А носят его для собственного удовольствия, другим на зависть. Больше ни о чем не спрашивайте, не стану отвечать.

— Ну уж у меня-то его нет,— сказала самая младшая из жаб, такая безобразная, что дальше некуда.— Да и откуда бы ему взяться у меня? А если другие завидуют, мне это вовсе не доставляет радости. Нет, чего бы мне хотелось, так это добраться когда-нибудь до края колодца и выглянуть на свет. То-то, должно быть, красота!

— Хорошо там, где нас нет,— сказала старая жаба.— Ты все тут знаешь, все тебе знакомо. Берегись ведра, оно может тебя раздавить. А уж если попадешь в него, так скорее выскакивай. Правда, не всем удается упасть так удачно, как мне,— и кожа и кости целы.

— Ква! — сказала младшая жаба, а это все равно что «Ах!» по-нашему. Уж очень ей хотелось побывать наверху, поглядеть на белый свет, на зелень.

И вот наутро, когда полное ведро проходило мимо камня, на котором сидела молодая жаба, все внутри у нее так и затрепетало. Она прыгнула в ведро и упала на его дно. Ведро вытянули наверх и тут же выплеснули.

— Ах ты, чтоб тебя!..— воскликнул работник, увидев жабу.— Сроду не видывал такой гадины!— И он так пнул ее носком деревянного башмака, что чуть не изувечил, но она все-таки успела забиться в высокую крапиву и стала озираться вокруг. Крапива была густая — стебель к стеблю, и вот жаба посмотрела наверх. Солнце просвечивало сквозь листья крапивы, и для нее эти заросли были все равно что для нас лесная чаща со сверкающим между листьями и ветвями солнцем.

— Тут гораздо красивее, чем в колодце! Право, я готова остаться тут на всю жизнь! — сказала жаба.

Прошел час, другой.

— Интересно, а что вокруг? Уж если я забралась так далеко, надо посмотреть и что дальше.

И она поползла что было сил и выползла к дороге. Солнце светило на жабу, пыль припудривала, а она знай себе ползла да ползла через дорогу.

— Вот где суша-то! — сказала она.— Пожалуй, тут даже слишком сухо. У меня першит в горле.

Так добралась она до канавы. Здесь голубели незабудки, цвела таволга. Вдоль канавы тянулась живая изгородь из бузины и боярышника. Словно лианы, вился белый вьюнок. Залю-

боваться можно было всей этой пестротой. А еще порхала здесь бабочка. Жаба решила, что это тоже цветок, только он оторвался от стебля и хочет полетать по свету — чего же тут непонятного!

— Вот бы и мне так полетать! — вздохнула жаба.— Ква! Ах, какая красота!

Восемь дней и восемь ночей провела жаба в канаве, благо еды было вдоволь. А на девятый день сказала себе: «Вперед!» Что же манило ее? Разве могла она найти что-нибудь лучше? Может быть, маленькую жабу или зеленых лягушек? Сегодня ночью ветер донес звуки, говорившие о том, что где-то неподалеку были ее родичи.

«Жизнь прекрасна! Выбраться из колодца, полежать в крапиве, проползти по пыльной дороге, отдохнуть в сырой канаве — до чего же хорошо! Но теперь — вперед! Поискать лягушек или молоденькую жабу! Без общества все-таки не обойтись, одной природы мало!»

И жаба снова пустилась в путь.

Она перебралась через поле, допрыгала до большого пруда, окруженного тростником, и заглянула в заросли.

— Вам здесь не слишком сыро? — спросили ее лягушки.— А впрочем, милости просим. Вы кавалер или дама? Ну да это все равно. Добро пожаловать!

Вечером ее пригласили на концерт — домашний концерт. Известное дело: много рвения, жидкие голоса. Угощения никакого, зато питья — целый пруд, стало бы охоты.

— Теперь двинусь дальше! — сказала молодая жаба. Стремление к лучшему не покидало ее.

Она видела звезды, такие большие и ясные, видела серп молодой луны, видела, как солнце поднимается все выше и выше.

«Пожалуй, я все еще в колодце, только в большом. Надо подняться еще выше! Мне так неспокойно, такая тоска на душе!— А когда луна округлилась и стала полной, бедняга жаба подумала: — Не ведро ли это спускается? Не прыгнуть ли в него, чтобы забраться выше? А может, и солнце — ведро, только покрупнее? Какое оно огромное, яркое! Мы все в нем поместимся. Надо ловить случай. Ах, как светло у меня в голове! Наверно, даже тот драгоценный камень не горит так ярко. Ну да такого камня у меня нет, и я об этом не горюю. Нет, выше, к свету и радости! Я уже решилась, но мне как-то страшно. Шутка ли сделать такой шаг! Но раз надо так надо! Вперед! Вперед на дорогу!»

И она пошла, вернее, поползла, как ей и было положено, и выбралась на проезжую дорогу. Тут жили люди и было много цветочных садов и огородов, где росла капуста. Жаба остановилась отдохнуть перед огородом.

— Сколько же на свете разных тварей! Я даже и не подозревала! Ах, как велик и прекрасен мир! Вот и надо в нем осмотреться, а не сидеть все на одном месте.— И она прыгнула в огород.— Какая тут зелень! Какая благодать!

— Еще бы! — отозвался капустный червяк, сидевший на листке.— У меня здесь самый крупный листок — закрывает полсвета. Ну да мне хватает.

— Кудах-тах-тах! — послышалось около них.

Это пожаловали в огород куры и засеменили между грядок. У курицы, шедшей первой, было очень острое зрение. Она заметила червяка на капустном листе и клюнула. Червяк упал на землю и ну вертеться да извиваться. Курица, не зная, что это должно означать, поглядела на червяка одним глазом, потом другим и решила: «Это он неспроста».

В конце концов она нацелилась склевать червяка. Жаба так испугалась, что поползла прямо на курицу.

— Эге, да он выдвигает резервы! — сказала курица.— Смотрите, какой ползун.— И курица отвернулась от червяка.— Очень мне нужен такой зеленый заморыш! От него только запершит в горле.

Остальные куры согласились с нею, и все ушли.

— Отвертелся-таки! — сказал червяк.— Вот как важно сохранять присутствие духа. Но самое трудное впереди — как вернуться на мой капустный лист. Где он?

А маленькая жаба подскочила к нему выразить свое сочувствие: мол, она так рада, что своим уродством спугнула курицу.

— О чем это вы? — спросил червяк.— Я отвертелся от нее без чужой помощи. Не угодно ли вам оставить меня в покое? А, вот и капустой пахнет. Вот и мой лист. Что может быть лучше собственного хозяйства? Надо только подняться повыше.

«Да! — сказала себе жаба.— Все выше и выше! Вот и червяк тоже так думает. Только он сейчас не в духе со страху. Все мы должны стремиться ввысь». И она задрала голову, как только могла.

На крыше одного крестьянского дома сидел в гнезде аист и щелкал клювом. Рядом сидела аистиха и тоже щелкала.

«Как высоко они живут! — подумала жаба.— Вот бы попасть туда!»

В доме у крестьянина жили два молодых студента. Один — поэт, другой — натуралист. Один радостно воспевал природу, как она отражалась в его сердце,— воспевал короткими, выразительными и звучными стихами. Другой вникал в самую суть вещей, так сказать, потрошил их. Оба были веселыми, добрыми людьми.

— Смотри-ка, жаба, да какой славный экземпляр! — воскликнул натуралист.— Так и просится в банку со спиртом.

— Да у тебя уже две сидят,— возразил поэт.— Оставь эту в покое. Пусть себе радуется жизни.

— Уж больно она безобразна! Просто прелесть! — сказал натуралист.

— Вот если б мы могли найти у нее в голове драгоценный камень, я бы сам помог тебе распотрошить ее.

— Драгоценный камень! — усмехнулся натуралист.— Силен же ты в естествознании.

— А разве не прекрасно это народное поверье, будто жаба, безобразнейшая из тварей, нередко таит в голове драгоценный камень? И разве не бывает того же с людьми? Ведь какие замечательные мысли носил в голове Эзоп или, скажем, Сократ...

Больше жаба ничего не услышала, да все равно она и половины разговора не поняла. Студенты пошли своей дорогой, а жаба ушла от беды — от банки со спиртом.

— И эти тоже толковали про драгоценный камень,— сказала жаба.— Хорошо, что у меня его нет, а то бы мне несдобровать.

На крыше дома опять защелкало. Это аист-отец читал лекцию своему семейству, а семейство косилось на двух студентов, расхаживавших по огороду.

— Нет на земле твари заносчивей человека! — говорил аист.— Слышите, как они тараторят? А по-настоящему-то у них все равно не получается. Они чванятся даром речи, своим человеческим языком. Хорош язык, нечего сказать. Чем дальше кто едет, тем меньше его понимают. А вот мы с нашим языком понимаем друг друга по всему свету, и в Дании, и в Египте. А они даже летать не умеют! Правда, они умеют ездить по железной дороге — так они назвали эту свою выдумку,— зато и шеи себе ломают частенько. Мороз по клюву продирает, как подумаешь. Свет простоял бы и без людей. Во всяком случае, мы прекрасно проживем и без них. Были бы только лягушки да дождевые черви.

«Вот это речь! — подумала молодая жаба.— Какой же он большой и как высоко забрался! Я еще никого на такой высоте не видела».

— А плавает-то как! — воскликнула жаба, когда аист полетел, широко взмахивая крыльями.

Аистиха, оставшись в гнезде, продолжала болтать. Она рассказывала птенцам про Египет, про воды Нила и про то, какой чудесный ил в чужедальней стране. И для жабы все это было ново и занятно.

«Я непременно должна побывать в Египте! — сказала она себе.— Ах, если б аист или кто-нибудь из его птенцов взял меня с собой. Уж я бы отслужила им в день их свадьбы. Да, я побываю в Египте — ведь мне всегда так везет. Право, моя тоска, мои порывы лучше всякого драгоценного камня в голове».

А ведь это-то и был ее драгоценный камень — ее вечная тоска, ее порывы ввысь, все время ввысь! Она как бы светилась изнутри, сияла счастьем, излучала радость.

Тут появился аист. Он заметил жабу в траве, спустился и схватил ее не слишком деликатно. Клюв сжался, засвистел ветер. Неприятно это было, зато жаба летела ввысь, ввысь, в Египет! Глаза ее сияли, из них как будто вылетела искра.

— Ква-ах...

Тело ее умерло, жабы не стало. Ну, а искра из ее глаз — куда девалась она?

Ее подхватил солнечный луч, солнечный луч унес драгоценный камень из головы жабы. Куда?

Не спрашивай об этом натуралиста, спроси лучше поэта. Он ответит тебе сказкой. В этой сказке будут и капустный червяк, и семья аистов. И представь себе! Червяк-то превратится в красивую бабочку! Семья аистов полетит над горами и морями в далекую Африку, а потом найдет кратчайший путь обратно в датскую землю, на то же место, в тот же самый день! Да, это похоже на сказку, но это так! Спроси хоть у натуралиста, он подтвердит. Да ты и сам это знаешь, сам видел.

Ну, а драгоценный камень из головы жабы?

Ищи его на солнце, посмотри на солнце, если можешь!

Блеск его слишком ярок. Не приспособлены еще наши глаза, чтобы разглядеть всю красоту мироздания, но когда-нибудь мы этого достигнем. И это будет всем сказкам сказка, потому что будет она про нас самих.

УЖ ЧТО МУЖЕНЕК СДЕЛАЕТ, ТО И ЛАДНО!

Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше: с историями ведь бывает то же, что со многими людьми, и они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо!

Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые избушки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом и травой, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебная печь выпячивает на улицу свое толстенькое брюшко, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужица воды, там уж, глядишь, утка и утята плавают и корявая ива приткнулась. Ну и, конечно, возле избушки есть и цепная собака, что лает на всех и каждого.

Вот точь-в-точь такая-то избушка и стояла у нас за городом, а в ней жили старички — муж с женой. Как ни скромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись — была у них лошадь, кормившаяся травой, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, ну, а уж известно, за услугу отплачивают услугой! Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или поменять на что-нибудь более полезное. Да вот на что?

— Ну, уж тебе это лучше знать, муженек! — сказала жена.— Нынче как раз ярмарка в городе, поезжай туда да и продай лошадку или поменяй с выгодой. Уж что ты сделаешь, то и ладно. Поезжай с богом.

И она повязала ему на шею платок — это-то она все-таки умела делать лучше мужа,— завязала его двойным узлом; очень шикарно вышло! Потом пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его в губы. И вот поехал он в город на лошади, которую надо было или продать, или обменять. Уж он-то знал свое дело!

Солнце так и пекло, на небе ни облачка! Пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу — кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная: солнцепек и ни малейшей тени по всей дороге.

Шел среди прочих и какой-то человек с коровой; вот уж была корова так корова! Чудесная!

«Верно, и молоко дает чудесное! — подумал наш крестьянин.— То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь!»

— Эй ты, с коровой! — крикнул он.— Постой-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит дороже твоей коровы! Но так и быть: мне корова сподручнее. Поменяемся?

— Ладно! — ответил тот, и они поменялись.

Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси — он ведь сделал то, что задумал; но раз уж он решил побывать на ярмарке, так и надо было, хотя бы для того только, чтоб поглядеть на нее. Вот и пошел он с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу. Добрая была овца: в теле и шерсть густая.

«Вот бы мне такую! — подумал крестьянин.— Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимою ее и в избушке можно держать. И то сказать, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться, что ли?»

Владелец овцы охотно согласился, мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидал человека с большим гусем под мышкой.

— Ишь гусище-то у тебя какой! — сказал крестьянин.— У него и жира и пера вдоволь. А ведь любо было бы поглядеть, как он стоит на привязи у нашей лужи! Да и старухе моей

было бы для кого собирать отбросы! Она часто говорит: «Ах, кабы у нас был гусь!» Ну вот, теперь есть случай добыть его... и она его получит! Хочешь меняться? Дам тебе за гуся овцу да спасибо в придачу!

Тот не отказался, и они поменялись; крестьянин получил гуся. Вот и до городской заставы рукой подать. Толкотни на дороге прибавилось, люди и животные, сбившись толпой, шли по канаве и даже по картофельному полю сторожа. Тут бродила курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкой, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Коротокохвостая была курица, подмигивала одним глазом и вообще на вид хоть куда. «Куд-кудах!» — бормотала она. Что хотела она этим сказать, не знаю, но крестьянин, слушая ее, думал: «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее наседки священника; вот бы нам ее! Курица везде сыщет себе зернышко, почитай что сама себя прокормит! Право, хорошо было бы сменять на нее гуся».

— Хочешь меняться? — спросил он у сторожа.

— Меняться? Отчего ж! — ответил тот.

И они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин — курицу.

Немало-таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить... А постоялый двор тут как тут. К нему он и направился, а оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях.

— Чего у тебя там? — спросил крестьянин.

— Гнилые яблоки! — ответил работник.— Несу полный мешок свиньям.

— Такую-то уйму?! Вот бы поглядела моя старуха! У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли его в сундуке, пока не сгнило. «Все же это показывает, что в доме достаток»,— говорила старуха. Вот бы посмотрела она на такой достаток! Да, надо будет порадовать ее!

— А что дадите за мешок? — спросил парень.

— Что дам? Да вот курицу! — И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу — и прямо к прилавку, а мешок приткнул к самой печке.

Она топилась, но крестьянин и не подумал об этом. В горнице было пропасть гостей: барышники, торговцы скотом и два англичанина, такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники биться об заклад. Теперь слушайте!

Зу-ссс! Зу-ссс!.. Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься.

— Что там такое? — спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее — до мешка с гнилыми яблоками.

— Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься! — сказали они.— То-то крику будет!

— Поцелует она меня, вот и все! — сказал крестьянин.— А еще скажет: «Уж что муженек сделает, то и ладно!»

— А вот посмотрим! — сказали англичане.— Ставим меру золота! В мере сто фунтов!

— И полного четверика довольно! — сказал крестьянин.— Я-то могу поставить только полную меру яблок да нас со старухою в придачу! Так мерка-то выйдет уж с верхом!

— Идет! — сказали те и ударили по рукам.

Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили и яблоки, покатили к избушке крестьянина...

— Здравствуй, старуха!

— Здравствуй, муженек!

— Ну, я променял!

— Да уж ты свое дело знаешь! — сказала жена, обняла его, а на мешок и англичан даже не взглянула.

— Я променял лошадь на корову!

— Слава богу, с молоком будем! — сказала жена.— Будем есть и масло и сыр. Вот мена так мена!

— Так-то так, да корову-то я сменял на овцу!

— И того лучше! — ответила жена.— Обо всем-то ты подумаешь! У нас и травы-то как раз на овцу! Будем теперь с овечьим молоком и сыром, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки будут. Корова-то этого не даст! Она линяет. Вот какой ты, право, умный!

— Я и овцу променял — на гуся!

— Как, неужто у нас в этом году будет к Мартинову дню жареный гусь, муженек?! Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня! Вот ведь славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартинову дню.

— Я и гуся променял — на курицу! — сказал муж.

— На курицу! Вот это мена! Курица нанесет яиц, высидит цыплят, заведем целый птичник! Вот чего мне давно хотелось!

— А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок!

— Ну так дай же мне расцеловать тебя!— сказала жена.— Спасибо тебе, муженек!.. Вот послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я подумала: «Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее — яичницу с луком!» Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, лук у них есть, но она ведь скупая-прескупая! Я прошу одолжить мне луку, а она: «Одолжить! Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь!» Ну, а я теперь могу

одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок! Вот смеху-то, муженек! — И она опять поцеловала его в губы.

— Вот это нам нравится! — вскричали англичане.— Все хуже да хуже, и все нипочем! За это и деньги отдать не жаль!

И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую меру золотых.

Да, уж если жена считает мужа умнее всех на свете и все, что он ни делает, находит хорошим, это без награды не остается!

Вот и вся история! Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе, и ты теперь знаешь: «Уж что муженек сделает, то и ладно!»

ВОЛШЕБНЫЙ ХОЛМ

Юркие ящерицы так и сновали по растрескавшейся коре старого дерева. Они прекрасно понимали друг дружку — ведь разговор-то они вели по-ящеричьи.

— Нет, вы только послушайте, как гремит и гудит внутри волшебного холма,— сказала одна ящерица.— Из-за их возни я вторую ночь глаз не смыкаю. Уж лучше бы зубы болели, все равно ведь не спишь.

— Там что-то затевается! — сказала вторая ящерица.— На ночь, до первых петухов, они поднимают холм на четыре красных столба, он как следует проветривается, а лесные девы разучивают новые танцы с притопыванием. Что-то там затевается!

— Да, да,— подтвердила третья.— Я говорила со знакомым дождевым червем, он как раз вылез из холма, копался там день и ночь в земле и много чего понаслушался. Видеть-то он не видит, бедняга, а вот подкрасться да подслушать — это он мастер. Там ждут гостей, знатных гостей, иностранцев, а вот кого — этого червь не захотел сказать, а может, и сам не знает. Всем блуждающим огонькам приказано готовиться к факельному шествию. Так, что ли, это у них называется? Все столовое серебро и золото — а этого там полно — чистят и выставляют на лунный свет.

— Что же это за гости такие? — спросили разом все ящерицы.— И что же это такое там затевается? Вы только послушайте, как гудит, как гремит!

В эту минуту волшебный холм раскрылся, и оттуда, семеня, вышла старая лесная дева. Спина у нее была голая, но в остальном она была одета вполне прилично. Она была дальней родственницей старого лесного царя, служила у него экономкой и носила на лбу янтарное сердце. Ноги ее так и мелькали —

К стр. 352

раз-два, раз-два! Ишь как засеменила — и прямо в болото, где жил козодой.

— Вы приглашены к лесному царю на праздник нынче ночью,— сказала она.— Только сначала мы бы хотели попросить вас об одной услуге: не согласитесь ли вы разнести приглашения? Ведь вы у себя приемов не устраиваете, так не мешало бы помочь другим. Мы ждем к себе знатных иностранцев — троллей, если это вам что-нибудь говорит. И старый лесной царь не хочет ударить лицом в грязь.

— Кого приглашать? — спросил козодой.

— Ну, на большой бал мы зовем всех подряд, даже людей, если только они умеют разговаривать во сне или занимаются еще хоть чем-нибудь по нашей части. Но к первому блюду решено приглашать с большим выбором, только самую знать. Сколько я спорила с лесным царем! По-моему, привидения и то звать не стоит. Прежде всего надо пригласить морского царя с дочками. Они, правда, не очень любят бывать на суше, но мы посадим их на мокрые камни, а то и еще что получше придумаем. Авось на этот раз они не откажутся. Потом нужно пригласить всех старых троллей первого разряда, из тех, что с хвостами. Потом — водяного и домовых, а кроме того, я считаю, нельзя обойти могильную свинью, трехногую лошадь без головы и гнома-церквушника. Правда, они вроде бы относятся к духовенству, а это народ не нашего толка, но, в конце концов, это только их работа, а по родству-то они ближе к нам и постоянно нас навещают.

— Хорошо! — сказал козодой и полетел созывать гостей.

А лесные девы уже кружились на волшебном холме. Они разучивали танец с покрывалом, сотканным из тумана и лунного света, и тем, кто находит вкус в таких вещах, танец показался бы красивым.

Большой зал внутри холма был прибран на совесть. Пол вымыли лунным светом, а стены протерли ведьминым салом, так что они сияли, точно тюльпаны на солнце. Кухня ломилась от припасов; жарили на вертелах лягушек, начиняли репейником шкурки ужей, готовили салаты из поганок с лягушатиной, мочеными мышиными мордами и цикутой. Пиво привезли от болотницы, а игристое вино с селитрой доставили прямо из кладбищенских склепов. Все готовилось по лучшим рецептам. На десерт собирались подать ржавые гвозди и битое стекло от церковных окон.

Старый лесной царь велел почистить свою корону толченым грифелем, да не простым, а тем, которым писал первый ученик. Раздобыть такой грифель даже для лесного царя задача не из легких. В спальне вешали занавеси и приклеивали их змеиной слюной. Словом, дым стоял коромыслом.

— Ну, теперь еще покурить конским волосом и свиной щетиной, и я считаю — мое дело сделано! — сказала старая лесная дева.

— Папочка, милый! — приставала к лесному царю младшая дочь.— Ну скажи, кто такие эти знатные иностранцы?

— Что ж! — ответил царь.— Пожалуй, можно и сказать. Две мои дочки сегодня станут невестами. Двум из вас придется уехать в чужие края. Сегодня к нам пожалует старый норвежский тролль, тот, что живет на нагорье Доврефьель. Сколько каменных замков у него на утесах! А еще у него есть золотой рудник, лучше, чем многие полагают. С ним едут два его сына, они должны присмотреть себе жен. Старый тролль — настоящий честный норвежец, прямой и веселый. Мы с ним давно знакомы, пили когда-то на брудершафт. Он приезжал сюда за женой, теперь ее уже нет в живых. Она была дочерью короля меловых утесов с острова Мё. Ох и соскучился же я по старику троллю! Правда, про сыновей идет слух, будто они неважно воспитаны и большие задиры. Но, может, это все одни наговоры, уделить им побольше внимания — и они выправятся. Надеюсь, вы сумеете привить им хорошие манеры!

— Когда же они приедут? — спросила одна из дочерей.

— Все зависит от погоды и ветра! — отвечал лесной царь.— Они хотят сэкономить на дорожных расходах, едут с попутным кораблем. Я советовал им ехать сушей через Швецию, но старик и слушать об этом не хочет. Отстает он от жизни, вот что мне в нем не нравится.

Тут прибежали вприпрыжку два блуждающих огонька, один старался обогнать другого и потому прибежал первым.

— Едут! Едут! — закричали они.

— Дайте-ка я надену корону,— сказал лесной царь,— да стану там, где луна светит поярче.

Дочки подобрали свои длинные покрывала и отвесили земной поклон.

Перед ними стоял Доврефьельский тролль в короне из ледяных сосулек и полированных еловых шишек. Он был закутан в медвежью шубу, на ногах теплые сапоги. Сыновья же его ходили без подтяжек и головных уборов — они мнили себя здоровяками.

— И это холм? — спросил младший и ткнул пальцем в волшебный холм.— У нас в Норвегии это назвали бы ямой.

— Дети! — сказал старик.— Яма уходит вниз, холм уходит вверх. У вас что, глаз нет?

Сыновья заявили, что удивляет их тут только одно: как это они сразу, без подготовки, понимают здешний язык.

— Не представляйтесь! — сказал старик.— А то еще подумают, что вы совсем неучи.

Все вошли в волшебный холм. Там уже собралось изыскан-

ное общество, да так быстро, будто гостей ветром надуло. Все было устроено к удобству и полному довольству гостей. Морской народ сидел за столом в больших кадках с водой и чувствовал себя как дома. Все вели себя за столом как положено, только молодые норвежские тролли задрали ноги на стол: они думали, что все, что бы они ни делали, выглядит очень мило.

— А ну, ноги из тарелок! — прикрикнул Доврефьельский тролль, и братья нехотя, но послушались.

Карманы их были набиты еловыми шишками, и они щекотали ими соседок. А потом стащили с ног сапоги, чтобы чувствовать себя привольнее, и дали держать их дамам.

Зато их отец, Доврефьельский тролль, был совсем другой. Он так интересно рассказывал о величественных горах Норвегии, о водопадах, которые в белой пене срываются со скал и то грохочут, как гром, то поют, как орган. Он рассказывал, как выпрыгивают из воды встречь рушащемуся с высоты потоку лососи, чуть только заиграет на золотой арфе водяной, как в светлые зимние ночи звенят бубенцы саней и мальчишки с горящими факелами носятся по льду, такому прозрачному, что видно рыб, которые в страхе бросаются врассыпную у них из-под ног. Да, старик был мастер рассказывать! Все прямо-таки видели и слышали все, о чем он говорил. Вот шумит лесопильня, вот парни и девушки поют песни и отплясывают халлинг-гопля! И вдруг старик тролль ни с того ни с сего чмокнул, будто бы как дядюшка, старую лесную деву, а ведь на самом-то деле никаким родственником он ей не приходился; поцелуй вышел самый взаправдашний.

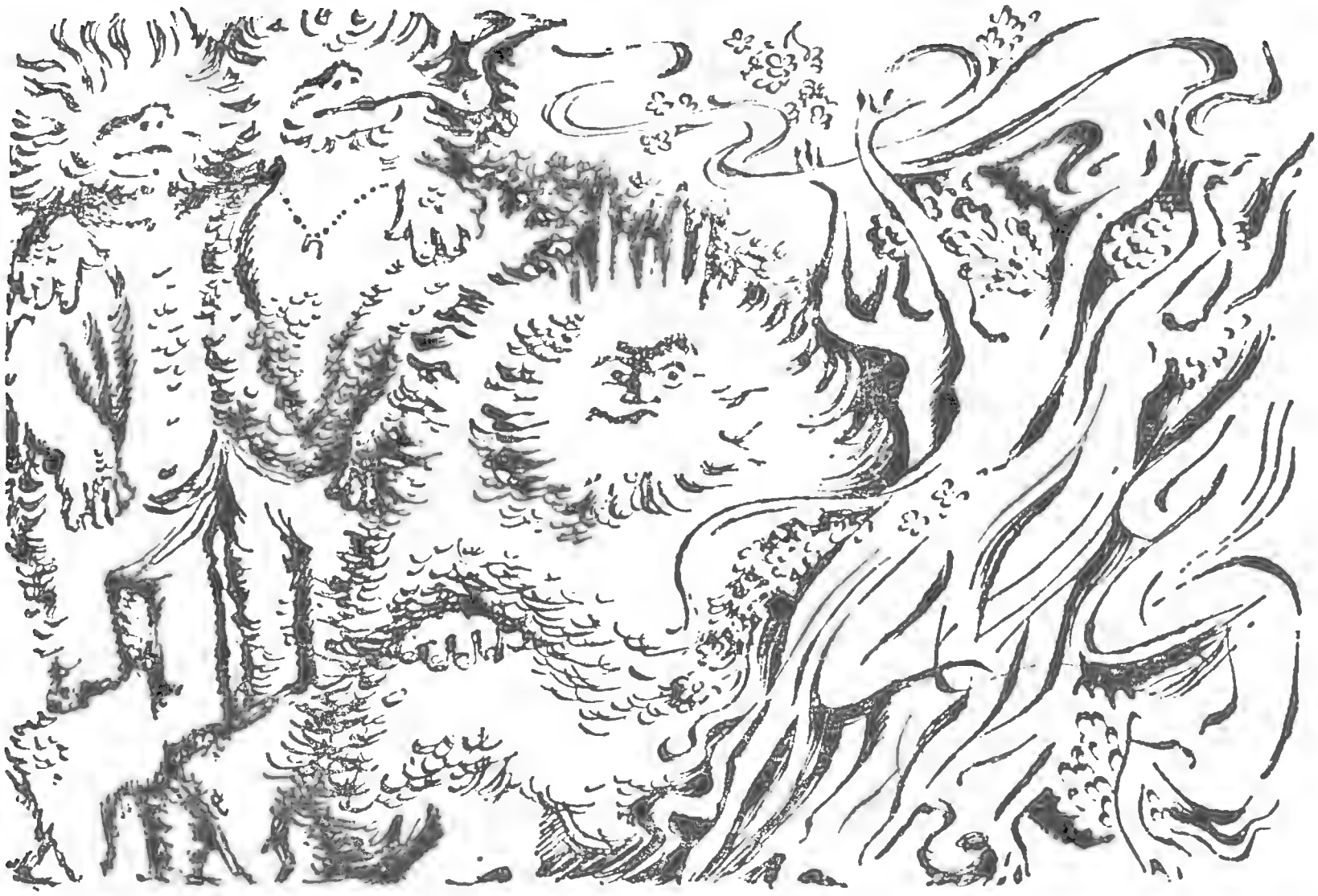
Настал черед лесных дев показать, как они танцуют, и они исполнили и простые танцы, и с притопыванием, и так это ловко у них получалось! Ну, а потом пошел художественный танец, тут полагалось «забываться в вихре пляски». Ух ты, как они вскидывали ноги! Тут уж не разобрать было, где начало, где конец, где руки, где ноги,— все разлеталось, словно щепки, так что трехногой лошади без головы стало дурно, и ей пришлось выйти из-за стола.

— Н-да! — сказал старый тролль.— Ногами-то вертеть — это у них лихо получается. Ну, а что они еще умеют, кроме как плясать, задирать ноги да крутиться волчком?

— Сейчас увидишь,— сказал лесной царь и вызвал свою младшую дочь.

Она была самая красивая из сестер, нежная и прозрачная, словно лунный свет. Она положила в рот белую щепочку и стала невидимой — вот что она умела делать!

Однако старый тролль сказал, что не хотел бы иметь жену, умеющую проделывать такие фокусы, и его сыновьям это вряд ли по душе.



Вторая сестра умела ходить рядом сама с собою, будто была собственной тенью,— ведь тени-то у троллей нет.

У третьей были совсем иные наклонности — она обучалась варить пиво у самой болотницы. Это она так искусно нашпиговала ольховые коряги светляками.

— Будет хорошей хозяйкой! — сказал старик тролль и подмигнул ей, но пива пить не стал — он не хотел пить слишком много.

Вышла вперед четвертая лесная дева, в руках у нее была большая золотая арфа. Она ударила по струнам раз — и почетные гости подняли левую ногу, ведь все тролли — левши. Ударила второй, и все готовы были делать то, что она прикажет.

— Опасная женщина! — сказал старик тролль, а сыновья его повернулись и пошли вон из холма: им все это уже надоело.

— А что умеет следующая? — спросил старый тролль.

— Я научилась любить все норвежское,— сказала пятая дочь.— И выйду замуж только за норвежца. Мечтаю попасть в Норвегию.

Но младшая сестра шепнула троллю на ухо:

— Просто она узнала из одной норвежской песни, что норвежские скалы выстоят, даже когда придет конец света. Вот она и хочет забраться на них — ужасно боится погибнуть.

— Хо-хо! — сказал старый тролль.— И только-то? Ну, а что умеет седьмая, и последняя?

— Сначала шестая,— сказал лесной царь, уж он-то умел считать.

Но шестая ни за что не хотела показаться.

— Я только и умею, что говорить правду в глаза,— твердила она,— а этого никто не любит. Уж лучше буду шить себе саван.

И вот дошла очередь до седьмой, последней дочери. Что же умела она? О, эта умела рассказывать сказки, да к тому же сколько душе угодно.

— Вот мои пять пальцев,— сказал Доврефьельский тролль.— Расскажи мне сказку о каждом.

Лесная дева взяла его руку и начала рассказывать, да так, что он только со смеху покатывался. А когда пришел черед безымянного пальца, который носил на талии золотое кольцо, будто знал, что не миновать помолвки, старый тролль заявил:

— Держи мою руку покрепче. Она твоя. Я сам беру тебя в жены.

Но лесная дева ответила, что она еще не рассказала про безымянный палец и про мизинец.

— А про них мы послушаем зимой,— ответил старый тролль,— про все послушаем: и про елку, и про березу, и про подарки злой феи-хульдры, и как трещит мороз, послушаем. Для того я и беру тебя с собой, чтобы ты рассказывала мне сказки, у нас там никто этого не умеет. Будем сидеть в пещере перед пылающим костром из сосновых дров да попивать мед из древнего золотого рога норвежских королей. Водяной подарил мне несколько таких рогов. Будем сидеть у огня, а к нам наведается Гарбу — добрый дух пастбищ. Он споет тебе песни, которые поют норвежские девушки, когда пасут скот в горах. То-то весело будет! Лосось запляшет в водопаде, начнет биться о каменные стены, но к нам ему не попасть. Да уж, поверь мне, ничего нет лучше доброй старой Норвегии... А где же мальчики?

И правда, где же мальчики? Они носились по полю и тушили блуждающие огоньки, которые чинно построились и готовы были начать факельное шествие.

— Хватит лоботрясничать! Я нашел для вас мать, а вы можете жениться на своих тетках!

Но сыновья ответили, что им больше по душе произносить речи и пить на брудершафт, а жениться им неохота. И они произносили речи, пили на брудершафт и опрокидывали бокалы вверх дном, чтобы показать, что все выпито до дна. Потом они стащили с себя одежду и улеглись спать прямо на стол — стеснительностью они не отличались. А старый тролль отплясывал со своей молодой невестой и даже обменялся с ней башмаками, ведь это куда интереснее, чем меняться кольцами.

— Петух прокричал,— сказала старая лесная дева, которая была за хозяйку.— Пора закрывать ставни, а то мы тут сгорим от солнца.

И холм закрылся.

А по растрескавшемуся старому дереву сновали вверх и вниз ящерицы, и одна сказала другой:

— Ах, мне так понравился старый норвежский тролль!

— А мне больше понравились сыновья,— сказал дождевой червь, только ведь он был совсем слепой, бедняга.

ПРЫГУНЫ

Блоха, кузнечик и гусек-скакунок[1] вздумали раз посмотреть, кто из них выше прыгнет, и пригласили прийти полюбоваться на такое диво весь свет — всех, кто захочет. И вот три изрядных прыгуна сошлись вместе в одной комнате.

— Я выдам свою дочку за того, кто прыгнет выше всех! — сказал король.— Обидно было бы таким молодцам прыгать задаром!

Сначала вышла блоха. Она держалась в высшей степени мило и раскланялась на все стороны: в жилах ее текла голубая кровь, и она вообще привыкла иметь дело только с людьми, а ведь это что-нибудь да значит!

Потом вышел кузнечик. Он был, конечно, потяжелее весом, но тоже очень приличен на вид и одет в зеленый мундир — он и родился в мундире. Кузнечик говорил, что происходит из очень древнего рода, из Египта, а потому в большой чести в здешних местах; его взяли прямо с поля и посадили в трехэтажный карточный домик, который был сделан из одних фигурных карт, обращенных лицом вовнутрь. А окна и двери в нем были прорезаны в туловище червонной дамы.

— Я пою,— сказал кузнечик,— да так, что шестнадцать здешних сверчков, которые трещат с самого рожденья и все-таки не удостоились карточного домика, послушали меня да и похудели с досады!

Таким образом, и блоха и кузнечик полагали, что достаточно зарекомендовали себя в качестве приличной партии для принцессы.

Гусек-скакунок не сказал ничего, но о нем шел слух, что зато он много думает. Придворный пес, как только обнюхал его, сказал, что он из очень хорошего семейства. А старый придворный советник, который получил три ордена за умение молчать,

---

[1] Гусек-скакунок — игрушка из грудной кости гуся.

уверял, что гусек-скакунок наделен пророческим даром: по его спине можно узнать, мягкая или суровая будет зима, а этого нельзя узнать даже по спине самого составителя календарей.

— Я пока ничего не скажу! — сказал старый король.— Но у меня есть свои соображения!

Теперь оставалось прыгать.

Блоха прыгнула, да так высоко, что никто и не уследил, и потому все стали говорить, что она вовсе и не прыгала. Только это было нечестно.

Кузнечик прыгнул вдвое ниже и угодил королю прямо в лицо, и тот сказал, что это очень скверно.

Гусек-скакунок долго стоял и думал, и в конце концов все решили, что он вовсе не умеет прыгать.

— Только бы ему не сделалось дурно! — сказал придворный пес и снова принялся обнюхивать его.

Прыг! И гусек-скакунок маленьким прыжком наискосок очутился прямо на коленях у принцессы, которая сидела на низенькой золотой скамейке.

И тогда король сказал:

— Выше всего — допрыгнуть до моей дочери, вот в чем суть. Но чтобы додуматься до этого, нужна голова, и гусек-скакунок доказал, что она у него есть. И притом с мозгами!

И принцесса досталась гуську-скакунку.

— А все-таки я прыгнула выше всех! — сказала блоха.— Но все равно, пусть остается при своем дурацком гуське с палочкой и смолой! Я прыгнула выше всех, но на этом свете надо иметь фигуру, только тогда тебя заметят!

И блоха поступила добровольцем в чужеземное войско и, говорят, нашла там свою смерть.

Кузнечик возвратился в канаву и стал думать о том, как устроен свет. Он тоже сказал:

— Фигуру, фигуру надо иметь!

И он затянул песенку о своей печальной доле. Из его песни мы и взяли эту историю. Впрочем, она, наверно, выдумана, хоть и напечатана.

ТЕНЬ

Вот уж где печет солнце — так это в жарких странах! Люди загорают там до того, что кожа их становится цвета красного дерева, а в самых жарких — черная, как у негров.

Но пока речь пойдет только о жарких странах: сюда приехал из холодных один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя дома, да скоро отвык и, как все благоразумные

люди, стал сидеть весь день дома с закрытыми ставнями и дверьми. Можно было подумать, что весь дом спит или никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, располагалась так, что жарилась на солнце с утра до вечера, и просто сил не было выносить эту жару! Ученому, приехавшему из холодных стран,— он был человек умный и молодой еще,— казалось, будто он сидит в раскаленной печи. Жара сильно сказывалась на его здоровье. Он исхудал, и даже тень его как-то вся съежилась и стала куда меньше, чем была на родине: жара сказывалась и на ней. Оба они — и ученый и тень — оживали только с наступлением вечера.

И право, любо было посмотреть на них! Как только в комнату вносили свечу, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже часть потолка — ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы вновь набраться сил.

Ученый выходил на балкон и тоже потягивался и, как только в ясном вечернем небе зажигались звезды, чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На все другие балконы — а в жарких странах перед каждым окном балкон — тоже выходили люди: ведь свежий воздух необходим даже тем, кому нипочем быть цвета красного дерева!

Оживление царило и внизу — на улице, и наверху — на балконах. Башмачники, портные и прочий рабочий люд — все высыпали на улицу, выносили на тротуары столы и стулья и зажигали свечи. Их были сотни, этих свечей, а люди — кто пел, кто разговаривал, кто просто гулял. По мостовой катили экипажи, семенили ослы. Динь-динь-динь! — звякали они бубенцами. Тут проходила с пением похоронная процессия, там уличные мальчишки взрывали на мостовой хлопушки, звонили колокола.

Да, оживление царило повсюду. Тихо было в одном только доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. И все же дом этот не пустовал: на балконе, на самом солнцепеке стояли цветы, без поливки они не могли бы цвести так пышно, кто-нибудь да поливал их! Стало быть, в доме кто-то жил. Дверь на балкон отворяли по вечерам, но в самих комнатах было всегда темно, по крайней мере в той, что выходила окнами на улицу. А где-то в глубине дома звучала музыка. Ученому слышалось в ней дивно прекрасное, но, может статься, ему только так казалось: по его мнению, здесь, в жарких странах, все было прекрасно; одна беда — солнце! Хозяин дома, где поселился ученый, тоже не знал, кто живет в доме напротив: там никогда не показывалось ни души, а что до музыки, то он находил ее страшно скучной.

— Словно кто сидит и долбит одну и ту же пьесу, и ничего-то у него не получается, а он все долбит: дескать, добьюсь своего, и по-прежнему ничего не получается, сколько б ни играл.

Как-то ночью ученый проснулся; дверь на балкон стояла настежь, ветер шевелил портьеры, и ему показалось, что балкон дома напротив озарен каким-то удивительным сиянием; цветы пламенели самыми чудесными красками, а между цветами стояла стройная прелестная девушка и, казалось, тоже светилась. Все это так ослепило его, что ученый еще шире раскрыл глаза и тут только окончательно проснулся. Он вскочил, тихонько подошел к двери и стал за портьерой, но девушка исчезла, исчез свет и блеск, и цветы не пламенели больше, а просто стояли прекрасные, как всегда. Дверь на балкон была приотворена, и из глубины дома слышались нежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в мир сладких грез.

Все это было похоже на колдовство. Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами — не могли же жильцы постоянно входить через них!

Однажды вечером ученый сидел на своем балконе. В комнате позади него горела свеча, и вполне естественно, тень его падала на стену дома напротив. Больше того, она даже расположилась между цветами на балконе, и стоило ученому шевельнуться, шевелилась и тень — такое уж у нее свойство.

— Право, моя тень — единственное живое существо в том доме,— сказал ученый.— Ишь как ловко устроилась между цветами. А дверь-то ведь приотворена. Вот бы тени догадаться войти в дом, все высмотреть, а потом вернуться и рассказать мне, что она там видела. Да, ты сослужила бы мне хорошую службу,— как бы в шутку сказал ученый.— Будь добра, войди туда! Ну, идешь?

И он кивнул тени, а тень ответила ему кивком.

— Ну ступай, смотри только не пропади там!

С этими словами ученый встал, и тень его на балконе напротив — тоже. Ученый повернулся — повернулась и тень, и если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в эту минуту, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь дома напротив как раз в то мгновение, когда ученый ушел с балкона в комнату и опустил за собой портьеру.

Наутро ученый вышел в кондитерскую попить кофе и почитать газеты.

— Что такое? — сказал он, выйдя на солнце.— У меня нет тени! Стало быть, она и вправду ушла вчера вечером и не вернулась. Вот досада-то!

Ему стало неприятно, не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что он вспомнил историю о человеке без тени, известную всем и каждому у него на родине, в холодных странах. Вернись он теперь домой и расскажи, что с ним приключилось, все сказали бы, что он пустился в подражательство, а

ему это было без нужды. Вот почему он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал.

Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечу прямо позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света хозяином. Но выманить свою тень таким образом ему не удалось. Уж он и садился, и выпрямлялся — тени не было, тень не являлась. Он хмыкнул — да что толку?

Досадно было, но в жарких странах все растет необычайно быстро, и вот через неделю ученый, выйдя на солнце, к своему величайшему удовольствию, заметил, что от его ног начала расти новая тень — должно быть, корешки-то старой остались. Через три недели у него уже была сносная тень, а за время обратного путешествия ученого на родину она подросла еще и под конец стала такой большой и длинной, что хоть убавляй.

Итак, ученый вернулся домой и стал писать книги об истине, добре и красоте. Шли дни, шли годы... Так прошло много лет.

И вот сидит он однажды вечером у себя дома, как вдруг послышался тихий стук в дверь.

— Войдите! — сказал он, но никто не вошел. Тогда он отворил дверь сам и увидел перед собой необыкновенно тощего человека, так что ему даже как-то чудно стало. Впрочем, одет тот был очень элегантно, по-господски.— С кем имею честь говорить? — спрашивает ученый.

— Я так и думал, что вы не узнаете меня,— сказал элегантный господин.— Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем. Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да, пожалуй, вы думали, что я уже больше не вернусь. Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю!

При этих словах он забренчал множеством дорогих брелоков, висевших на цепочке для часов, а потом начал играть толстой золотой цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и сверкали бриллиантовыми перстнями! Драгоценности были настоящие, не поддельные.

— Я просто не могу прийти в себя от удивления! — сказал ученый.— Что все это означает?

— Да, явление не совсем обыкновенное, это правда,— сказала тень.— Но ведь и вы сами не относитесь к числу людей обыкновенных, а я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своею дорогой, добился, как видите, полного благосостояния; да вот взгрустнулось что-то по вас, захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли — должны же вы когда-нибудь умереть! — и, кстати, взглянуть еще разок

на здешние края. Любовь к родине, понимаете ли, никогда нас не покидает. Я знаю, что у вас теперь новая тень. Скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово — и я заплачу.

— Так неужели это в самом деле ты? — воскликнул ученый.— Это в высшей степени замечательно! Вот уж никогда бы не поверил, что моя бывшая тень вернется ко мне, да еще человеком!

— Скажите же, не должен ли я вам? — вновь спросила тень.— Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу!

— Что за разговор! — сказал ученый.— Какой там долг! Ты вполне свободен! Я ужасно рад, что ты счастлив! Садись же, старина, и расскажи мне, как все это вышло и что ты увидел в доме напротив?

— Извольте,— сказала тень, усаживаясь.— Но обещайте мне не говорить никому здесь, в городе, где бы вы меня не встретили, что я был когда-то вашей тенью. Я собираюсь жениться! Я в состоянии содержать семью, и даже неплохо!..

— Будь спокоен! — сказал ученый.— Никто не будет знать, кто ты, собственно, есть! Вот моя рука! Даю тебе слово! А ведь слово — человек...

— Слово — тень! — вставила тень, ведь иначе она и не могла сказать.

А ученому оставалось только удивляться, как много в ней было человеческого, начиная с самого платья: черная пара из тонкого сукна, лакированные ботинки, цилиндр, который мог складываться, так что оставались только донышко да поля; о брелоках, золотой цепи на шее и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека.

— Ну, теперь к рассказу! — сказала тень и придавила ногами в лакированных ботинках руку новой тени ученого, которая, словно пудель, лежала у его ног. Зачем она это сделала, то ли из высокомерия, то ли в надежде прилепить ее к своим ногам,— неизвестно. А тень, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух. Должно быть, ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и стать хозяином самому себе.

— Знаете, кто жил в доме напротив? — начала бывшая тень.— Нечто прекраснейшее в мире — сама Поэзия! Я провел там три недели, а это все равно что прожить на свете три тысячи лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами, уверяю вас! Я видел все и знаю все!

— Поэзия! — воскликнул ученый.— Да, да! Она часто живет отшельницей в больших городах. Поэзия! Я видел ее лишь мельком, да и то впросонках! Она стояла на балконе и сияла,

как северное сияние. Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, проскользнул в дверь и...

— И оказался в передней! — подхватила тень.— Вы ведь всегда сидели и смотрели только на переднюю. Она не была освещена, в ней царил полумрак, но в отворенную дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Этот свет начисто уничтожил бы меня, если б я сейчас же вошел к деве, но я проявил благоразумие и выждал время. Так и следует всегда поступать!

— И что же ты там увидел? — спросил ученый.

— Я видел все и расскажу вам обо всем, вот только... Видите ли, не из гордости, а... ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем исключительном финансовом и общественном положении... я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы».

— Прошу прощения! — сказал ученый.— Старая привычка, не так легко избавиться... Вы совершенно правы! Постараюсь следить за собой... Так расскажите же, что вы там видели?

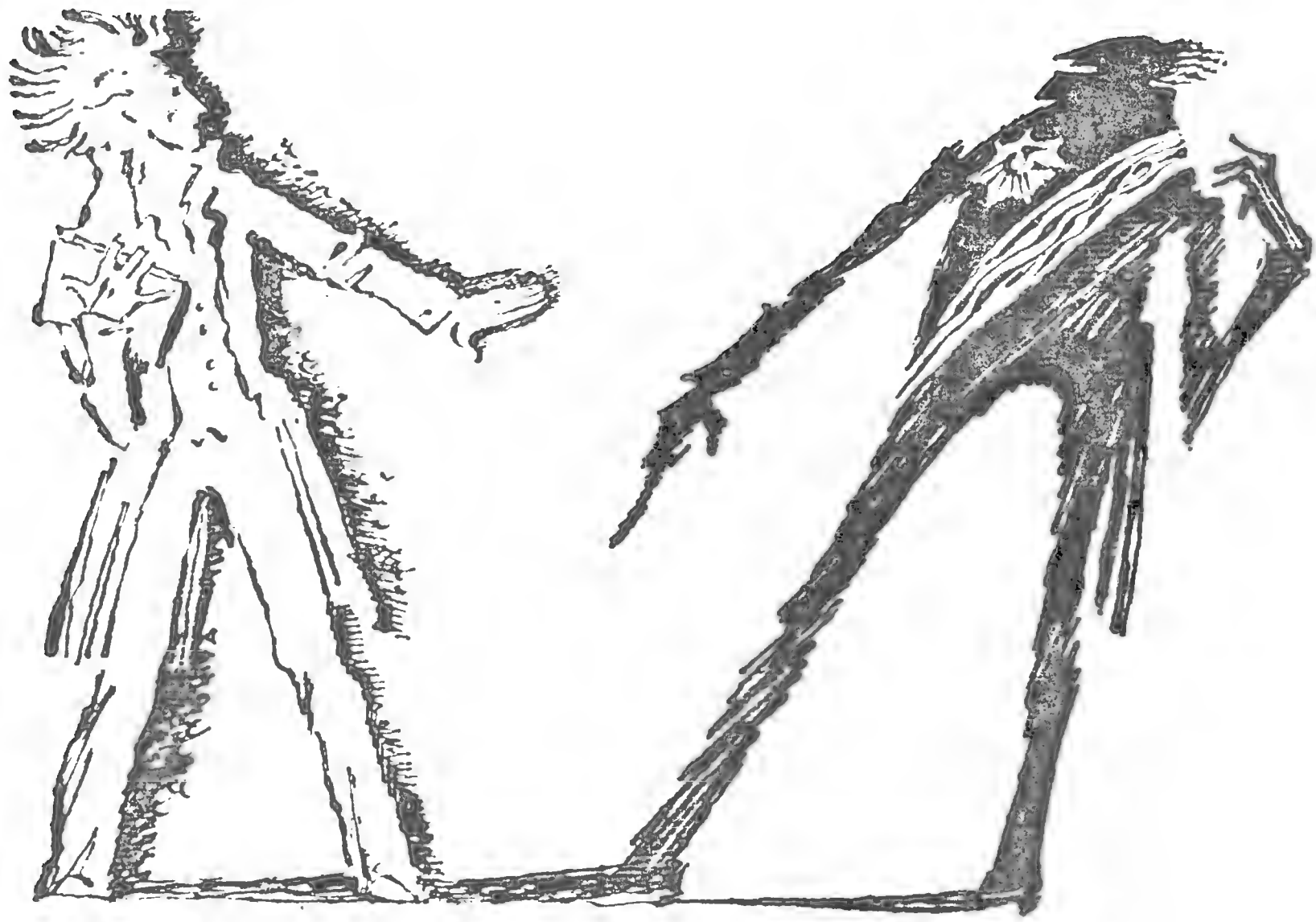
— Все! — отвечала тень.— Я видел все и знаю все!

— На что же были похожи эти внутренние покои? — спросил ученый.— Свежий зеленый лес? Святой храм? Или вашему взору открылось звездное небо, каким его можно видеть только с горных высей?

— Там было все! — сказала тень.— Правда, я не входил в самые покои, а все время оставался в передней, в полумраке, там мне было отлично, и я видел все и знаю все! Ведь я был в передней при дворе Поэзии.

— Но что же вы там видели? Величавые шествия древних богов? Борьбу героев седой старины? Игры милых детей?

— Говорю же вам, я был там и, следовательно, видел все, что только можно было видеть! Явись вы туда, вы бы не сделались человеком, а я сделался! И вместе с тем я познал там мою внутреннюю сущность, все, что есть во мне прирожденного, мое кровное сродство с Поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я ни о чем таком и не помышлял. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца. А при лунном свете я был чуть ли не заметнее вас самих! Но тогда я еще не понимал своей натуры, меня осенило только в передней Поэзии. Там я стал человеком, вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах. А между тем, в качестве человека, я уже стеснялся показываться в своем прежнем виде. Мне нужны были обувь, платье, весь тот внешний человеческий лоск, по которому признают вас за человека. И вот я нашел себе убежище... да, вам я могу в этом признаться, вы ведь не напечатаете этого в книге... я нашел себе убежище у торговки сластями. Она и не подозревала, что она скрывает! Выходил я только по



вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах — это так приятно щекочет спину! Я взбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, в залы и на чердаки, заглядывал туда, куда не мог заглянуть никто, видел то, чего не видел никто другой, да и не должен видеть! Как, в сущности, низок свет! Право, я даже не хотел бы быть человеком, если бы только не было раз навсегда принято считать это чем-то особенным! Я подмечал самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей и даже у их милых бесподобных деток. Я видел то, чего никто не должен знать, но что всем так хочется знать — тайные пороки и грехи людские. Издавай я газету, вот бы ее читали! Но я писал непосредственно заинтересованным лицам и нагонял на них страх во всех городах, где мне приходилось бывать. Меня так боялись и так любили! Профессора признавали меня коллегой, портные одевали — платья теперь у меня вдоволь,— монетчики чеканили для меня монету, а женщины восхищались моей красотой! И вот я стал тем, что я есть. А теперь я распрощаюсь с вами; вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома!

С этими словами тень ушла.

— Как это все-таки странно! — сказал ученый.

Шли дни и годы, и вот тень опять явилась к нему.

— Ну, как дела? — спросила она.

— Увы! — отвечал ученый.— Я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого и дела нет. Я просто в отчаянии, меня это так огорчает!

— А меня нет! — сказала тень.— Я все толстею, и именно к этому надо стремиться. Да, не умеете вы жить на свете. Еще заболеете, пожалуй. Вам надо путешествовать. Я как раз собираюсь летом в небольшое путешествие, поедете со мной? Мне нужен компаньон, так не поедете ли вы в качестве моей тени? Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие. Все издержки беру на себя!

— Ну, это уж слишком! — сказал ученый.

— Да ведь как взглянуть на дело! — сказала тень.— Поездка принесла бы вам большую пользу! Стоит вам согласиться быть моей тенью — и вы поедете на всем готовом.

— Вы сумасшедший! — сказал ученый.

— Но ведь таков мир,— сказала тень.— Таким он и останется!

И тень ушла.

А ученому приходилось круто, его снедали печаль и забота. Он писал об истине, добре и красоте, а люди в этом нисколько не разбирались. Наконец он совсем расхворался.

— Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью! — говорили ученому люди, и он весь дрожал от мысли, мелькавшей у него при этих словах.

— Вам следует побывать на водах! — сказала тень, опять заглянув к нему.— Ничего другого не остается! Я готов взять вас с собой ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, а вы будете описывать поездку и развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды: у меня что-то не отрастает борода, а это своего рода болезнь — борода нужна! Ну, будьте благоразумны, принимайте мое предложение. Ведь мы же поедем как товарищи.

И они поехали. Тень стала хозяином, хозяин — тенью. Они были неразлучны: и ехали, и беседовали, и ходили всегда вместе, то бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться хозяином, и ученый как-то не замечал этого. Он вообще был добродушный, славный, сердечный человек, и вот раз возьми да и скажи тени:

— Мы ведь теперь товарищи да и выросли вместе, не выпить ли нам на брудершафт? Это будет по-приятельски!

— В ваших словах много искреннего доброжелательства,— сказала тень-господин.— И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы человек ученый и, вероятно, знаете, какими странностями отличается натура человеческая. Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги, у других мороз по

коже подирает, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же ощущение овладевает и мною, когда вы говорите мне «ты». Это меня угнетает, я чувствую себя как бы низведенным до прежнего моего положения. Вы понимаете, это просто ощущение, тут нет гордости. Я не могу позволить вам говорить мне «ты», но сам охотно буду говорить с вами на «ты». Таким образом, ваше желание будет исполнено хотя бы наполовину.

И вот тень стала говорить своему бывшему хозяину «ты».

«Это, однако, никуда не годится,— подумал ученый.— Я должен обращаться к нему на «вы», а он мне «тыкает».

Но делать было нечего.

Наконец они прибыли на воды. Наехало много иностранцев. В числе их была и одна красавица принцесса — ее болезнь состояла в том, что у нее было слишком зоркое зрение, а это ведь не шутка, хоть кого испугает.

Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем непохож на остальных.

— Хоть и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня-то не проведешь. Я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени.

Любопытство не давало ей покоя, и она недолго думая подошла к незнакомцу на прогулке и завязала с ним беседу. Как принцесса, она, не церемонясь, сказала ему:

— Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать тени!

— А ваше королевское высочество, должно быть, уже близки к выздоровлению! — сказала тень.— Я знаю, что вы страдали слишком зорким зрением, а теперь, как видно, исцелились от недуга! У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей тени обыкновенные, но я вообще враг всего обыкновенного, и как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами, так я нарядил свою тень настоящим человеком и, как видите, даже и к ней приставил тень. Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою!

«Вот как! — подумала принцесса.— Так я и в самом деле выздоровела? Да, лучше этих вод нет на свете. Вода в наше время обладает поистине чудодейственной силой. Но с отъездом я повременю — теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Лишь бы борода у него не росла, а то он уедет!»

Вечером был бал, и принцесса танцевала с тенью. Принцесса танцевала легко, но тень еще легче, такого танцора принцесса никогда до этого не встречала. Она сказала ему, из какой страны приехала, и оказалось, что он знает эту страну и даже был там,

только она в это время была в отлучке. А он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что и потому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она приходила в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Его знания прямо-таки поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением. А протанцевав с ним еще раз, она влюбилась в него, и тень это отлично заметила: принцесса чуть ли не пронизывала ее насквозь своим взглядом. Протанцевав же с тенью третий раз, принцесса готова была признаться ей в любви, но рассудок все же взял верх, когда она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей придется управлять.

«Умен-то он умен,— говорила она себе,— и это прекрасно. Танцует он восхитительно, и это тоже хорошо, но обладает ли он основательными познаниями, вот что важно! Надо его проэкзаменовать».

И она опять завела с ним разговор и стала задавать ему такие трудные вопросы, на которые и сама не смогла бы ответить.

Тень сделала удивленное лицо.

— Так вы не можете ответить мне! — сказала принцесса.

— Все это я изучил еще в детстве! — отвечала тень.— Я думаю, даже тень моя — вон она стоит у дверей! — сумеет вам ответить.

— Ваша тень? — переспросила принцесса.— Это было бы просто поразительно!

— Я, видите ли, не утверждаю,— сказала тень,— но думаю, что сможет, она ведь столько лет неразлучна со мной и кое-чего от меня понаслышалась. Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень горда тем, что слывет за человека, и, если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с ней как с человеком. Иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует.

— Это мне нравится! — ответила принцесса и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних сторонах и свойствах человеческой натуры.

Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно.

«Каким же должен быть человек, если даже тень его так умна! — подумала принцесса.— Сущее благодеяние для народа и государства, если я изберу его в супруги. Да, так и сделаю!»

И они — принцесса и тень — скоро договорились между собой обо всем. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока принцесса не вернется к себе на родину.

— Никто, даже моя собственная тень! — настаивала тень, имея на то свои причины.

Наконец они прибыли в страну, которой управляла принцесса, когда бывала дома.

— Послушай, старина! — сказала тут тень ученому.— Теперь я достиг верха счастья и могущества человеческого и хочу сделать кое-что и для тебя! Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мною в королевской карете и получать сто тысяч риксдалеров в год. Но за это позволь называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен и заикаться, что был когда-то человеком! А раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, я женюсь на принцессе. Свадьба сегодня вечером.

— Нет, это уж слишком! — воскликнул ученый.— Я этого не хочу и не сделаю! Это значило бы обманывать всю страну и принцессу! Я скажу все! Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень!

— Тебе никто не поверит! — сказала тень.— Ну, будь же благоразумен, не то кликну стражу!

— Я пойду прямо к принцессе! — сказал ученый.

— Ну, я-то попаду к ней прежде тебя! — сказала тень.— А ты отправишься под арест.

Так и вышло: стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса.

— Ты весь дрожишь! — сказала принцесса, когда тень вошла к ней.— Что-нибудь случилось? Смотри не захворай до вечера, сегодня ведь наша свадьба.

— Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту! — сказала тень.— Подумай только... Да много ли, в сущности, нужно мозгам какой-то несчастной тени! Подумай только, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет — подумай только! — своею тенью!

— Какой ужас! — сказала принцесса.— Надеюсь, ее заперли?

— Разумеется, но, боюсь, она уже никогда не придет в себя.

— Бедная тень! — вздохнула принцесса.— Она так несчастна! Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая в ней еще есть. А подумать хорошенько, то, по-моему, даже лучше покончить с ней поскорее и без шума!

— Все-таки это жестоко! — сказала тень.— Она была мне верным слугой! — И тень притворно вздохнула.

— У тебя благородная душа! — сказала принцесса.

Вечером весь город был расцвечен огнями иллюминации, гремели пушечные выстрелы, солдаты брали ружья на караул. Вот была свадьба так свадьба! Принцесса с тенью вышли к народу на балкон, и народ еще раз прокричал им «ура!».

Ничего этого ученый не слышал — с ним уже покончили.

БУЗИННАЯ МАТУШКА

Один маленький мальчик раз простудился. Где он промочил ноги, никто не мог взять в толк — погода стояла совсем сухая. Мать раздела его, уложила в постель и велела принести чайник, чтобы заварить бузинного чаю — отличное потогонное! В эту минуту в комнату вошел славный, веселый старичок, живший в верхнем этаже того же дома. Был он совсем одинок, не было у него ни жены, ни детей, а он так любил ребятишек, умел рассказывать им такие чудесные сказки и истории, что просто чудо.

— Ну вот, попьешь чайку, а там, поди, и сказку услышишь! — сказала мать.

— Эх, кабы знать какую-нибудь новенькую! — отвечал старичок, ласково кивая головой.— Только где же это наш мальчуган промочил себе ноги?

— То-то и оно — где? — сказала мать.— Никто в толк не возьмет.

— А сказка будет? — спросил мальчик.

— Сначала мне нужно знать, глубока ли водосточная канава в переулке, где ваше училище. Можешь ты мне это сказать?

— Как раз до середины голенища! — отвечал мальчик.— Да и то в самом глубоком месте.

— Так вот где мы промочили ноги! — сказал старичок.— Теперь и надо бы рассказать тебе сказку, да ни одной новой не знаю!

— Да вы можете сочинить ее прямо сейчас! — сказал мальчик.— Мама говорит, вы на что ни взглянете, до чего ни дотронетесь, из всего у вас выходит сказка или история.

— Верно, только такие сказки и истории никуда не годятся. Настоящие, те приходят сами. Придут и постучатся мне в лоб: «А вот и я!»

— А скоро какая-нибудь постучится? — спросил мальчик.

Мать засмеялась, засыпала в чайник бузинного чая и заварила.

— Ну расскажите! Расскажите!

— Да вот кабы пришла сама! Но они важные, приходят только, когда им самим вздумается!.. Стой! — сказал вдруг старичок.— Вот она! Посмотри, в чайнике!

Мальчик посмотрел. Крышка чайника начала приподыматься все выше, все выше, вот из-под нее выглянули свежие беленькие цветочки бузины, а потом выросли и длинные зеленые ветви. Они раскидывались на все стороны даже из носика чайника, и скоро перед мальчиком был целый куст; ветви тянулись к самой постели, раздвигали занавески. Как чудесно цвела и благоухала бузина! А из зелени ее выглядывало ласковое лицо старушки,

одетой в какое-то удивительное платье, зеленое, словно листья бузины, и все усеянное белыми цветочками. Сразу даже не разобрать было, платье это или просто зелень и живые цветки бузины.

— Что это за старушка? — спросил мальчик.

— Древние римляне и греки звали ее Дриадой! — сказал старичок.— Ну, а для нас это слишком мудреное имя, и в Новой слободке ей дали прозвище получше: Бузинная матушка. Смотри же на нее хорошенько да слушай, что я буду рассказывать...

...Точно такой же большой, обсыпанный цветами куст рос в углу дворика в Новой слободке. Под кустом сидели в послеобеденный час и грелись на солнышке двое старичков — старый-старый бывший матрос и его старая-старая жена. У них были и внуки, и правнуки, и они скоро должны были отпраздновать свою золотую свадьбу, да только не помнили хорошенько дня и числа. Из зелени глядела на них Бузинная матушка, такая же славная и приветливая, как вот эта, и говорила: «Уж я-то знаю день вашей золотой свадьбы!» Но старички были заняты разговором — вспоминали о былом — и не слышали ее.

— А помнишь,— сказал бывший матрос,— как мы бегали и играли с тобой детьми! Вот тут, на этом самом дворе, мы сажали садик. Помнишь, втыкали в землю прутики и веточки?

— Как же! — подхватила старушка.— Помню, помню! Мы не ленились поливать эти веточки, одна из них была бузинная,

пустила ко́рни, ростки и вот как разрослась! Мы, старички, теперь можем сидеть в ее тени!

— Верно! — продолжал муж.— А вон в том углу стоял чан с водой. Там мы спускали в воду мой кораблик, который я сам вырезал из дерева. Как он плавал! А скоро мне пришлось пуститься и в настоящее плавание!..

— Да, только до того мы еще ходили в школу и кое-чему научились! — перебила старушка.— А потом выросли и, помнишь, однажды пошли осматривать Круглую башню, забрались на самый верх и любовались оттуда городом и морем? А потом отправились во Фредериксберг и смотрели, как катаются по каналам в великолепной лодке король с королевой.

— Только мне-то пришлось плавать по-другому, долгие годы вдали от родины!

— Сколько слез я пролила по тебе! Мне уж думалось, ты погиб и лежишь на дне морском! Сколько раз вставала я по ночам посмотреть, вертится ли флюгер. Флюгер-то вертелся, а ты все не являлся! Как сейчас помню, однажды, в самый ливень, к нам во двор приехал мусорщик. Я жила там в прислугах и вышла с мусорным ящиком да и остановилась в дверях. Погода-то была ужасная! И тут приходит почтальон и подает мне письмо от тебя. Пришлось же этому письму погулять по свету! Я схватила его и сразу же читать! Я и смеялась, и плакала зараз... Я была так рада! В письме говорилось, что ты теперь в теплых краях, где растет кофе! То-то, должно быть, благословенная страна! Ты много еще о чем рассказывал, и я видела все это как наяву. Дождь так и поливал, а я все стояла в дверях с мусорным ящиком. Вдруг кто-то обнял меня за талию...

— Верно, и ты закатила такую оплеуху, что только звон пошел!

— Откуда мне было знать, что это ты! Ты догнал свое письмо. А красивый ты был... Ты и теперь такой. Из кармана у тебя выглядывал желтый шелковый платок, на голове клеенчатая шляпа. Такой щеголь!.. Но что за погода стояла, на что была похожа наша улица!

— И вот мы поженились,— продолжал бывший матрос.— Помнишь? А там пошли у нас детки: первый мальчуган, потом Мари, потом Нильс, потом Петер, потом Ганс Христиан!

— Да, и все они выросли и стали славными людьми, все их любят.

— А теперь уж и у их детей есть дети! — сказал старичок.— Это наши правнуки, и какие же они крепыши! Сдается мне, наша свадьба была как раз в эту пору.

— Как раз сегодня! — сказала Бузинная матушка и просунула голову между старичками, но те подумали, что это кивает им головой соседка.

Они сидели рука в руке и любовно смотрели друг на друга. Немного погодя пришли к ним дети и внучата. Они-то отлично знали, что сегодня день золотой свадьбы стариков, и уже поздравляли их утром, да только старички успели позабыть об этом, хотя хорошо помнили все, что случилось много, много лет назад. Бузина так и благоухала, солнышко, садясь, светило на прощание старичкам прямо в лицо, разрумянивая их щеки. Младший из внуков плясал вокруг дедушки с бабушкой и радостно кричал, что сегодня вечером у них будет настоящий пир: за ужином подадут горячий картофель! Бузинная матушка кивала головой и кричала «ура!» вместе со всеми.

— Да ведь это вовсе не сказка! — возразил мальчуган, внимательно слушавший старичка.

— Это ты так говоришь,— отвечал старичок,— а вот спроси-ка Бузинную матушку!

— Это не сказка! — отвечала Бузинная матушка.— Но сейчас начнется и сказка. Из действительности-то и вырастают самые чудесные сказки. Иначе мой прекрасный куст не вырос бы из чайника.

С этими словами она взяла мальчика на руки, ветви бузины, осыпанные цветами, вдруг сдвинулись вокруг них, и мальчик со старушкой оказались словно в укрытой листвою беседке, которая поплыла с ними по воздуху. Это было чудо как хорошо! Бузинная матушка превратилась в маленькую прелестную девочку, но платьице на ней осталось все то же — зеленое, усеянное беленькими цветочками. На груди у девочки красовался живой бузинный цветок, на светло-русых кудрях — целый венок из таких же цветов. Глаза у нее были большие, голубые. Ах, какая была она хорошенькая, просто загляденье! Мальчик и девочка поцеловались, и оба стали одного возраста, одних мыслей и чувств.

Рука об руку вышли они из беседки и очутились в цветочном саду перед домом. На зеленой лужайке стояла привязанная к колышку трость отца. Для детей и трость была живая. Стоило сесть на нее верхом, и блестящий набалдашник стал великолепной лошадиной головой с длинной развевающейся гривой. Затем выросли четыре стройных крепких ноги, и горячий конь помчал детей кругом по лужайке.

— Теперь мы поскачем далеко-далеко! — сказал мальчик.— В барскую усадьбу, где мы были в прошлом году!

Дети скакали кругом по лужайке, и девочка — мы ведь знаем, что это была Бузинная матушка,— приговаривала:

— Ну, вот мы и за городом! Видишь крестьянский дом? Огромная хлебная печь, словно гигантское яйцо, выпячивается из

стены прямо на дорогу. Над домом раскинул свои ветви бузинный куст. Вон бродит по двору петух, роется в земле, выискивает корм для кур. Гляди, как важно он выступает! А вот мы и на высоком холме у церкви, она стоит среди высоких дубов, один из них наполовину засох... А вот мы у кузницы! Гляди, как ярко пылает огонь, как работают молотами полуобнаженные люди! Искры так и разлетаются во все стороны! Но нам надо дальше, дальше, в барскую усадьбу!

И все, что ни называла девочка, сидевшая верхом на трости позади мальчика, проносилось мимо. Мальчик видел все это, а между тем они только кружились по лужайке. Потом они играли на боковой тропинке, разбивали себе маленький садик. Девочка вынула из своего венка бузинный цветок и посадила в землю. Он пустил корни и ростки и скоро вырос в большой куст бузины, точь-в-точь как у старичков в Новой слободке, когда они были еще детьми. Мальчик с девочкой взялись за руки и тоже пошли гулять, но отправились не к Круглой башне и не во Фредериксбергский сад. Нет, девочка крепко обняла мальчика, поднялась с ним на воздух, и они полетели над Данией. Весна сменялась летом, лето — осенью, осень — зимою. Тысячи картин отражались в глазах мальчика и запечатлевались в его сердце, а девочка все приговаривала:

— Этого ты не забудешь никогда!

А бузина благоухала так сладко, так чу́дно! Мальчик вдыхал и аромат роз, и запах свежих буков, но бузина пахла всего сильнее: ведь ее цветки красовались у девочки на груди, а к ней он так часто склонял голову.

— Как чудесно здесь весною! — сказала девочка, и они очутились в молодом буковом лесу. У ног их цвел душистый ясменник, из травы выглядывали чудесные бледно-розовые анемоны.— О, если б вечно царила весна в благоуханном датском буковом лесу!

— Как хорошо здесь летом! — сказала она, когда они проносились мимо старой барской усадьбы с древним рыцарским замком. Красные стены и зубчатые фронтоны отражались во рвах с водой, где плавали лебеди, заглядывая в старинные прохладные аллеи. Волновались, точно море, нивы, канавы пестрели красными и желтыми полевыми цветами, по изгородям вился дикий хмель и цветущий вьюнок. А вечером взошла большая и круглая луна, с лугов пахнуло сладким ароматом свежего сена.— Это не забудется никогда!

— Как чу́дно здесь осенью! — сказала девочка, и свод небесный вдруг стал вдвое выше и синее. Лес окрасился в чуднейшие цвета — красный, желтый, зеленый.

Вырвались на волю охотничьи собаки. Целые стаи дичи с криком летали над курганами, где лежат старые камни, обросшие

кустами ежевики. На темно-синем море забелели паруса. Старухи, девушки и дети обирали хмель и бросали его в большие чаны. Молодежь распевала старинные песни, а старухи рассказывали сказки про троллей и домовых.

— Лучше не может быть нигде! А как хорошо здесь зимою! — сказала девочка, и все деревья оделись инеем, ветки их превратились в белые кораллы. Захрустел под ногами снег, словно все надели новые сапоги, а с неба одна за другой посыпались падучие звезды.

В домах зажглись елки, увешанные подарками, люди радовались и веселились. В деревне, в крестьянских домах, не умолкали скрипки, летели в воздух яблочные пышки. Даже самые бедные дети говорили: «Как все-таки чудесно зимою!»

Да, это было чудесно! Девочка показывала все мальчику, и повсюду благоухала бузина, повсюду развевался красный флаг с белым крестом[1], флаг, под которым плавал бывший матрос из Новой слободки. И вот мальчик стал юношей, и ему тоже пришлось отправиться в дальнее плавание в теплые края, где растет кофе. На прощание девочка дала ему цветок со своей груди, и он спрятал его в книгу. Часто вспоминал он на чужбине свою родину и раскрывал книгу — всегда на том месте, где лежал цветок! И чем больше юноша смотрел на цветок, тем свежее тот становился, тем сильнее благоухал, а юноше казалось, что он слышит аромат датских лесов. В лепестках же цветка ему виделось личико голубоглазой девочки, он словно слышал ее шепот: «Как хорошо тут и весной, и летом, и осенью, и зимой!» И сотни картин проносились в его памяти.

Так прошло много лет. Он состарился и сидел со своею старушкой женой под цветущим деревом. Они держались за руки и говорили о былом, о своей золотой свадьбе, точь-в-точь как их прадед и прабабушка из Новой слободки. Голубоглазая девочка с бузинными цветками в волосах и на груди сидела в ветвях дерева, кивала им головой и говорила: «Сегодня ваша золотая свадьба!» Потом она вынула из своего венка два цветка, поцеловала их, и они заблестели, сначала как серебро, а потом как золото. А когда девочка возложила их на головы старичков, цветы превратились в золотые короны, и муж с женой сидели точно король с королевой, под благоухающим деревом, так похожим на куст бузины. И старик рассказывал жене историю о Бузинной матушке, как сам слышал ее в детстве, и обоим казалось, что в той истории очень много похожего на историю их жизни. И как раз то, что было похоже, им и нравилось больше всего.

— Вот так! — сказала девочка, сидевшая в листве.— Кто зовет меня Бузинной матушкой, кто Дриадой, а настоящее-то

---

[1] Датский национальный флаг.

мое имя Воспоминание. Я сижу на дереве, которое все растет и растет. Я все помню, обо всем могу рассказать! Покажи-ка, цел ли еще у тебя мой цветок?

И старик раскрыл книгу: бузинный цветок лежал такой свежий, точно его сейчас только вложили между листами. Воспоминание ласково кивало старичкам, а те сидели в золотых коронах, озаренные пурпурным закатным солнцем. Глаза их закрылись, и... и... Да тут и сказке конец!

Мальчик лежал в постели и сам не знал, видел ли он все это во сне или только слышал. Чайник стоял на столе, но бузина из него не росла, а старичок собрался уходить и ушел.

— Как чудесно! — сказал мальчик.— Мама, я побывал в теплых краях!

— Верно! Верно! — сказала мать.— После двух таких чашек бузинного чая не мудрено побывать в теплых краях.— И она хорошенько укутала его, чтобы он не простыл.— Ты таки славно поспал, пока мы спорили, сказка это или быль!

— А где же Бузинная матушка? — спросил мальчик.

— В чайнике! — ответила мать.— Там ей и быть.

ПОСЛЕДНИЙ СОН СТАРОГО ДУБА

(Рождественская сказка)

В лесу, высоко на круче, на открытом берегу моря стоял старый-престарый дуб, и было ему ровно триста шестьдесят пять лет — срок немалый, ну а для дерева это все равно что для нас, людей, столько же суток. Мы бодрствуем днем, спим и видим сны ночью. С деревом дело обстоит иначе: дерево бодрствует три времени года и засыпает только к зиме. Зима — время его сна, его ночь после долгого дня — весны, лета и осени.

В теплые летние дни вокруг его кроны плясали мухи-поденки; они жили, порхали и были счастливы, а когда одно из этих крошечных созданий в тихом блаженстве опускалось отдохнуть на большой свежий лист, дуб всякий раз говорил:

— Бедняжка! Вся твоя жизнь — один-единственный день! Такая короткая... Как печально!

— Печально? — отвечала поденка.— О чем это ты? Кругом так светло, тепло и чудесно! Я так рада!

— Да ведь всего один день — и конец!

— Конец? — говорила поденка.— Чему конец? И тебе тоже?

— Нет, я-то, может, проживу тысячи твоих дней, мой день тянется целые времена года! Ты даже и сосчитать не можешь, как это долго!

— Нет, не понимаю я тебя! У тебя тысячи моих дней, а у меня тысячи мгновений, и в каждом радость и счастье! Ну, а разве с твоей смертью умрет и вся краса мира?

— Нет, — отвечал дуб. — Мир будет существовать куда дольше, бесконечно, я и представить себе не могу, как долго!

— Так, значит, нам с тобой дано поровну, только считаем мы по-разному!

И поденка плясала и кружилась в воздухе, радовалась своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистым крылышкам, радовалась теплому воздуху, напоенному запахом клевера, шиповника, бузины и жимолости. А как пахли ясменник, примулы и мята! Воздух был такой душистый, что впору было захмелеть от него. Что за долгий и чудный был день, полный радости и сладостных ощущений! А когда солнце садилось, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылья отказывались ее носить, она тихо опускалась на мягкую колеблющуюся былинку, сникала головой и сладко засыпала. Это была смерть.

— Бедняжки! — говорил дуб. — Уж слишком короткая у них жизнь!

И каждый летний день повторялась та же пляска, тот же разговор, ответ и засыпание; так повторялось с целыми поколениями поденок, и все они были одинаково веселы, одинаково счастливы.

Дуб бодрствовал свое утро — весну, свой полдень — лето и свой вечер — осень, наступала пора засыпать и ему, приближалась его ночь — зима.

Вот запели бури:

«Покойной ночи! Покойной ночи! Тут лист упал, там лист упал! Мы их обрываем, мы их обрываем! Постарайся заснуть! Мы тебя убаюкаем, мы тебя укачаем! Не правда ли, как хорошо твоим старым ветвям? Их так и ломит от удовольствия! Спи сладко, спи сладко! Это твоя триста шестьдесят пятая ночь, ведь ты еще все равно что годовалый малыш! Спи сладко! Облака сыплют снег, он ляжет простыней, мягким покрывалом вокруг твоих ног! Спи сладко, приятных тебе снов!»

И дуб сбросил с себя листву, собравшись на покой, готовясь уснуть, провести в грезах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.

Он тоже был когда-то маленьким, и колыбелью ему был желудь. По человеческому счету он был теперь на сороковом десятке. Больше, великолепнее его не было дерева в лесу. Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с моря издалека, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искало его. В его зеленой кроне гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались

перелетные птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но сейчас, зимой, дуб стоял без листьев, и видно было, какие у него изгибистые, узловатые сучья; вороны и галки по очереди садились на них и говорили о том, какая тяжелая настала пора, как трудно будет зимой добывать прокорм.

В ночь под рождество дубу приснился самый чудный сон его жизни. Послушаем же!

Он как будто чувствовал, что время настало праздничное, ему слышался вокруг звон колоколов, грезился теплый тихий летний день. Он широко раскинул свою могучую зеленую крону; между его ветвями и листьями играли солнечные лучи, воздух был напоен ароматом трав и кустов; пестрые бабочки гонялись друг за другом; мухи-поденки плясали, как будто все только и существовало для их пляски и веселья. Все, что из года в год переживал и видел вокруг себя дуб, проходило теперь перед ним словно в праздничном шествии. Ему виделись конные рыцари и дамы прошлых времен, с перьями на шляпах и соколами на руке. Они проезжали через лес, трубил охотничий рог, лаяли собаки. Ему виделись вражеские солдаты в блестящих латах и пестрых одеждах, с пиками и алебардами; они разбивали палатки, а затем снимали их. Пылали бивачные костры, люди пели и спали под широко раскинувшимися ветвями дуба. Ему виделись счастливые влюбленные, они встречались здесь в лунном свете и вырезали первую букву своих имен на его иссера-зеленой коре. Веселые странствующие подмастерья, бывало,— с тех пор прошло много, много лет — развешивали на его ветвях цитры и эоловы арфы, и теперь они висели опять и звучали опять так призывно. Лесные голуби ворковали, словно хотели рассказать, что чувствовало при этом дерево, кукушка куковала, сколько летних дней ему еще осталось жить.

И вот словно новый поток жизни заструился в нем от самых маленьких корешков до самых высоких ветвей и листьев. И чудилось ему, что он потягивается, чуялась жизнь и тепло в корнях там, под землей, чуялось, как прибывают силы. Он рос все выше и выше, ствол быстро, безостановочно тянулся ввысь, крона становилась все гуще, все пышнее, все раскидистее. И чем больше вырастало дерево, тем больше росла в нем радостная жажда вырасти еще выше, подняться к самому солнцу, сверкающему и горячему.

Вершина дуба уже поднялась над облаками, которые неслись внизу, как стаи перелетных птиц или белых лебедей.

Дуб видел каждым листком своим, словно у каждого были глаза. Он видел и звезды среди дня, и были они такие большие, блестящие! Каждая светилась, словно пара ясных, кротких очей, напоминая о других знакомых глазах — глазах детей и влюбленных, которые встречались под его кроной.

Дуб переживал чудные, блаженные мгновения. И все-таки ему недоставало его лесных друзей... Ему так хотелось, чтобы и все другие деревья, все кусты, травы и цветы поднялись вместе с ним, ощутили ту же радость, увидели тот же блеск, что и он. Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось разделить свое счастье со всеми — и малыми и большими, и чувство это трепетало в каждой его ветке, каждом листке страстно и горячо, словно в человеческой груди.

Крона дуба шевелилась, словно искала чего-то, словно ей чего-то недоставало; он поглядел вниз и вдруг услышал запах ясменника, а потом и еще более сильный запах жимолости и фиалок, и ему показалось даже, что он слышит кукушку.

И вот сквозь облака проглянули зеленые верхушки леса. Дуб увидал под собой другие деревья, они тоже росли и тянулись вверх; кусты и травы тоже. Некоторые даже вырывались из земли с корнями, чтобы лететь быстрее. Впереди всех была береза; словно белая молния, устремлялся вверх ее стройный ствол, ветви развевались, как зеленые покрывала и знамена. Все лесные растения, даже коричневые султаны тростника, поднимались к облакам; птицы с песнями летели за ними, а на былинке, зыбившейся на ветру, как длинная зеленая лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Гудели майские жуки, жужжали пчелы, заливались во все горло птицы; все в поднебесье пело и ликовало.

«А где же красный водяной цветок? Пусть и он будет с нами! — сказал дуб.— И голубой колокольчик, и малютка маргаритка!»

Дуб всех хотел видеть возле себя.

«Мы тут, мы тут!» — раздалось со всех сторон.

«А красивый прошлогодний ясменник? А ковер ландышей, что расстилался здесь год назад? А чудесная дикая яблонька и все те, кто украшал лес много, много лет? Если б они дожили до этого мгновенья, они были бы с нами!»

«Мы тут, мы тут!» — раздалось в вышине, будто отвечавшие пролетели как раз над ним.

«Нет, до чего же хорошо, просто не верится!— ликовал старый дуб.— Они все тут со мной, и малые и большие! Ни один не забыт! Возможно ли такое счастье?»

«Все возможно!» — прозвучало в ответ.

И старый дуб, не переставший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли.

«Ничего не может быть лучше! — сказал он.— Теперь меня не удерживают никакие узы! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья со мною! И малые и большие — все!»

«Все!»

Вот что снилось старому дубу. И пока он грезил, над землей и морем бушевала страшная буря — это было в рождественскую ночь. Море накатывало на берег тяжелые валы, дуб скрипел и трещал и был вырван с корнями в ту самую минуту, когда ему снилось, что он отделяется от земли. Дуб рухнул... Триста шестьдесят пять лет его жизни стали теперь как один день для мухи-поденки.

В рождественское утро, когда взошло солнце, буря утихла. Празднично звонили колокола, изо всех труб, даже из трубы самой бедной хижины, вился голубой дымок, словно жертвенный фимиам в праздник друидов. Море все более успокаивалось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, подняли нарядные рождественские флаги.

— А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила старый дуб, нашу примету на берегу! — сказали моряки.— Кто нам его заменит? Никто!

Вот какою надгробною речью, краткою, но сказанною от чистого сердца, почтили моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный покров. Донеслась до дуба и старинная песнь, пропетая моряками. Они пели о рождестве, и звуки песни возносились высоко-высоко к небу, как возносился к нему в своем последнем сне старый дуб.

СКОРОХОДЫ

Был назначен приз, и даже два, один большой, другой малый, за наибольшую быстроту — не на состязании, а вообще в течение целого года.

— Я получил первый приз! — сказал заяц.— По-моему, уж можно ожидать справедливости, если судьи — твои близкие друзья и родные. Однако присудить второй приз улитке? Мне это даже обидно!

— Но ведь надо же принимать во внимание и усердие, и добрую волю, как справедливо рассудили высокоуважаемые судьи, и я вполне разделяю их мнение! — заметил заборный столб, бывший свидетелем присуждения призов.— Улитке понадобилось полгода, чтобы переползти через порог, но все-таки она спешила на совесть и даже сломала себе второпях бедренную кость! Она душой и телом отдавалась своему делу, да еще тащила на спине свой дом! Такое усердие достойно всяческого поощрения, вот почему ей и присужден второй приз.

— Могли бы, кажется, и меня взять в расчет! — сказала ласточка.— Быстрее меня на лету, смею думать, никого нет! Где только я не побывала! Везде, везде!

— В том-то и беда,— сказал столб.— Уж больно много вы рыскаете! Вечно рветесь в чужие края, чуть у нас холодком повеет. Вы не патриотка, а потому и не в счет.

— А если бы я проспала всю зиму в болоте, тогда на меня обратили бы внимание? — спросила ласточка.

— Принесите справку от самой болотницы, что вы проспали на родине хоть полгода, тогда посмотрим!

— Я-то заслуживала первого приза, а не второго! — заметила улитка.— Я ведь знаю, что заяц бегает, только когда думает, что за ним гонятся,— словом, из трусости! А я смотрела на движение как на свою жизненную задачу и пострадала при исполнении служебных обязанностей! И уж если кому и следовало присудить первый приз, так это мне! Но я не люблю поднимать шум, терпеть не могу!

И она плюнула.

— Я могу засвидетельствовать, что каждый приз был присужден справедливо! — заявила межевая веха.— Я вообще держусь порядка, меры, расчета. Уже восьмой раз я имею честь участвовать в присуждении призов, но только в этот раз настояла на своем. Дело в том, что я всегда присуждаю призы по алфавиту: для первого приза беру букву с начала, для второго — с конца. Потрудитесь теперь обратить внимание на мой счет: восьмая буква с начала — «з», и на первый приз я подала голос за зайца, а восьмая буква с конца — «у», и на второй приз я подала голос за улитку. В следующий раз первый приз назначу букве «и», а второй — букве «т». Главное, порядок! Иначе и опереться не на что.

— Не будь я сам в числе судей, я бы подал голос за себя! — сказал осел.— Надо принимать во внимание не только быстроту, но и другие качества — например, груз. На этот раз я, впрочем, не хотел упирать на эти обстоятельства, равно как и на ум зайца или на ловкость, с какой он путает следы, спасаясь от погони. Но есть обстоятельство, на которое вообще-то принято обращать внимание и которое никоим образом нельзя упускать из виду — это красота. Я взглянул на чудесные, хорошо развитые уши зайца — на них, право, залюбуешься,— и мне показалось, что я вижу самого себя в детском возрасте! Вот я и подал голос за зайца.

— Ж-ж-жж! — зажужжала муха.— Я не собираюсь держать речь, хочу только сказать несколько слов. Уж я-то попроворнее всякого зайца, это я знаю точно! Недавно я даже подбила одному зайчишке заднюю ногу. Я сидела на паровозе, я это часто делаю — так лучше всего следить за собственной быстротой. Заяц долго бежал впереди поезда; он и не подозревал о моем присутствии. Наконец ему пришлось свернуть в сторону, и тут-то паровоз и толкнул его в заднюю ногу, а я сидела на паровозе.

Заяц остался на месте, а я помчалась дальше. Кто же победил? Полагаю — я! Только очень он мне нужен, этот приз!

«А по-моему,— подумала дикая роза, вслух она ничего не сказала, не в ее характере это было, хотя и лучше было бы, если б она высказалась,— по-моему, и первого и второго приза заслуживает солнечный луч! Он вмиг пробегает безмерное пространство от солнца до земли и пробуждает от сна всю природу. Поцелуи его дарят красоту — мы, розы, алеем и благоухаем от них. А высокие судьи, кажется, совсем и не заметили его! Будь я лучом, я бы отплатила им солнечным ударом... Нет, это отняло бы у них последний ум, а они им и так небогаты. Лучше промолчать. В лесу мир и тишина! Как хорошо цвести, благоухать, упиваться светом и жить в сказаниях и песнях! Но солнечный луч переживет нас всех!»

— А какой первый приз? — спросил дождевой червь. Он проспал событие и только-только явился на сборный пункт.

— Свободный вход в огород с капустой! — ответил осел.— Я сам назначал призы! Первый приз должен был получить заяц, и я, как мыслящий и деятельный член судейской комиссии, обратил надлежащее внимание на потребности и нужды зайца. Теперь он обеспечен. А улитке мы предоставили право сидеть на придорожном камне, греться на солнце и лакомиться мхом. Кроме того, она избрана одним из главных судей в соревнованиях по бегу. Хорошо ведь иметь специалиста в комиссии, как это называется у людей. И, скажу прямо, судя по такому прекрасному началу, мы вправе ожидать в будущем многого!

ВЕТЕР РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЛЬДЕМАРЕ ДО И ЕГО ДОЧЕРЯХ

Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит зыбь, как по воде; пронесется над нивою, и она взволнуется, как море. Так танцует ветер. А послушай его рассказы! Он поет их, и голос его звучит по-разному: в лесу — так, в слуховых окнах, щелях и трещинах стен — иначе. Видишь, как он гонит по небу облака, точно стада овец? Слышишь, как он воет в открытых воротах, будто сторож трубит в рог? А как странно гудит он в дымоходе, врываясь в камин! Пламя вспыхивает и разлетается искрами, озаряя дальние углы комнаты, и сидеть тут, слушая его, тепло и покойно. Пусть рассказывает только он один! Сказок и историй он знает больше, чем все мы, вместе взятые. Слушай же, он начинает рассказ!

«У-у-уу! Лети дальше!» — это его припев.

— На берегу Большого Бельта стоит старый замок с толстыми красными стенами,— начал ветер.— Я знаю там каждый камень, я видел их все, еще когда они сидели в стенах замка Марска Стига. Замок снесли, а камни опять пошли в дело, из них сложили новые стены, новый замок, в другом месте — усадьбе Борребю, он стоит там и поныне.

Знавал я и высокородных владельцев и владетельниц замка, много их поколений сменилось на моих глазах. Сейчас я расскажу о Вальдемаре До и его дочерях!

Высоко держал он свою голову — в нем текла королевская кровь. И умел он не только оленей травить да кубки осушать, а кое-что получше, а что именно — «поживем — увидим», говаривал он.

Супруга его, облаченная в парчовое платье, гордо ступала по блестящему мозаичному полу. Роскошна была обивка стен, дорого плачено за изящную резную мебель. Много золотой и серебряной утвари принесла госпожа в приданое. В погребах хранилось немецкое пиво — пока там вообще что-либо хранилось. В конюшнях ржали холеные вороные кони. Богато жили в замке Борребю — пока богатство еще держалось.

Были у хозяев и дети, три нежных девушки: Ида, Йоханна и Анна Дортея. Я еще помню их имена.

Богатые то были люди, знатные, родившиеся и выросшие в роскоши. У-у-уу! Лети дальше! — пропел ветер и продолжал свой рассказ: — Тут не случалось мне видеть, как в других старинных замках, чтобы высокородная госпожа вместе со своими девушками сидела в парадном зале за прялкой. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни только старые датские песни, а и чужеземные, на других языках. Тут шло гостеванье и пированье, гости наезжали и из дальних и из ближних мест, гремела музыка, звенели бокалы, и даже мне не под силу было их перекрыть! Тут с блеском и треском гуляла спесь, тут были господа, но не было радости.

Стоял майский вечер,— продолжал ветер,— я шел с запада. Я видел, как разбивались о ютландский берег корабли, я пронесся над вересковой пустошью и зеленым лесистым побережьем, я, запыхàвшись и отдуваясь, прошумел над островом Фюн и Большим Бельтом и улегся только у берегов Зеландии, близ Борребю, в великолепном дубовом лесу — он был еще цел тогда.

По лесу бродили парни из окрестных деревень и собирали хворост и ветви, самые крупные и сухие. Они возвращались с ними в селение, складывали их в кучи, поджигали и с песнями принимались плясать вокруг. Девушки не отставали от парней.

Я лежал смирно,— рассказывал ветер,— и лишь тихонько дул на ветку, положенную самым красивым парнем. Она вспыхнула ярче всех, и парня назвали королем праздника, а он выбрал

себе из девушек королеву. То-то было веселья и радости — больше, чем в богатом господском замке Борребю.

Тем временем к замку подъезжала запряженная шестерней золоченая карета. В ней сидели госпожа и три ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка: роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать была как пышный тюльпан и не отвечала ни на один книксен, ни на один поклон, которыми приветствовали ее приостановившие игру поселяне. Тюльпан словно боялся сломать свой хрупкий стебель.

«А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, да, я видел их всех троих, чьими королевами будете вы? — думал я.— Вашим королем будет гордый рыцарь, а то, пожалуй, и принц!» У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!

Так вот, карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс. Госпожа совершала летний объезд своих владений — Борребю, Тьеребю, всех селений окрест.

А ночью, когда я поднялся,— продолжал ветер,— высокородная госпожа легла, чтобы уже не встать. С нею случилось то, что случается со всеми людьми, ничего нового. Вальдемар До стоял несколько минут серьезный и задумчивый. Гордое дерево гнется, но не ломается, думалось ему. Дочери плакали, дворня тоже утирала глаза платками. Госпожа До поспешила дальше из этого мира, полетел дальше и я! У-у-уу! — сказал ветер.

— Я вернулся назад — я часто возвращался,— проносясь над островом Фюн и Большим Бельтом, и улегся на морской берег в Борребю, близ великолепного дубового леса. В нем вили себе гнезда орланы, вяхири, синие вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна. Одни птицы еще сидели на яйцах, другие уже вывели птенцов. Ах, как летали, как кричали птичьи стаи! В лесу раздавались удары топоров, дубы были обречены на сруб. Вальдемар До собирался построить дорогой корабль — военный трехпалубный корабль, его обещал купить король. Вот почему валили лес — примету моряков, прибежище птиц. Летали кругами вспугнутые сорокопуты — их гнезда были разорены. Орланы и прочие лесные птицы лишались своих жилищ. Они как шальные кружили в воздухе, крича от страха и злобы. Я понимал их. А вороны и галки кричали громко и насмешливо: «Крах! Вон из гнезда! Крах! Крах!»

Посреди леса, возле артели лесорубов, стояли Вальдемар До и три его дочери. Все они смеялись над дикими криками птиц, все, кроме младшей, Анны Дортеи. Ей было жаль птиц, и когда настал черед полузасохшего дуба, на голых ветвях которого ютилось гнездо черного аиста с уже выведенными птенцами, она попросила не рубить дерево, попросила со слезами

на глазах, и дуб пощадили ради черного аиста — стоило ли разговаривать из-за одного дерева!

Затем пошла пилка и рубка — строили трехпалубный корабль. Сам строитель был незнатного рода, но благородной души человек. Глаза и лоб обличали в нем ум, и Вальдемар До охотно слушал его рассказы. Заслушивалась ими и молоденькая Ида, старшая дочь, которой было пятнадцать лет. Строитель же, сооружая корабль для Вальдемара До, строил воздушный замок и для себя, в котором он и Ида сидели рядышком, как муж и жена. Так оно и сталось бы, будь его замок с каменными стенами, с валами и рвами, с лесом и садом. Только где уж воробью соваться в танец журавлей! Как ни умен был молодой строитель, он все же был бедняк. У-у-уу! Умчался я, умчался и он — не смел он больше там оставаться, а Ида примирилась со своей судьбой, что же ей было делать?..

В конюшнях ржали вороные кони, на них стоило поглядеть, и на них глядели. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко восхищался ретивыми конями. Я хорошо все слышал, ведь я прошел за господами в открытые двери и сыпал им под ноги золотую солому,— рассказывал ветер.— Вальдемар До хотел получить золото, а адмирал — вороных коней, оттого-то он и нахваливал их. Но его не поняли, и дело не сладилось. Корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками,— ноев ковчег, которому не суждено было пуститься в путь. У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! Жалко было смотреть на него!

Зимою, когда земля лежала под снегом, плавучие льды забили весь Бельт, а я нагонял их на берег,— говорил ветер.— Зимою прилетали стаи ворон и воронов, одни чернее других. Птицы садились на заброшенный, мертвый, одинокий корабль, стоявший на берегу, и хрипло кричали о загубленном лесе, о разоренных дорогих им гнездах, о бесприютных старых птицах, о бездомных молодых, и все ради этого величественного хлама — гордого корабля, которому не суждено выйти в море.

Я вскрутил снежный вихрь, и снег ложился вокруг корабля и накрывал его, словно разбушевавшиеся волны. Я дал ему послушать свой голос и музыку бури. Моя совесть чиста: я сделал свое дело, познакомил его со всем, что полагается знать кораблю. У-у-уу! Лети дальше!

Прошла и зима. Зима и лето проходят, как проношусь я, как проносится снег, как облетает яблоневый цвет и падают листья. Лети дальше! Лети дальше! Так же и с людьми...

Но дочери были еще молоды. Ида по-прежнему цвела, словно роза, как и в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее распущенными русыми волосами, когда она задумчиво стояла под яблоней в саду, не замечая, как я осыпаю

ее цветами. Она смотрела на красное солнышко и золотой небосвод, просвечивавший между темными деревьями и кустами.

Сестра ее, Йоханна, была как стройная блестящая лилия; она была горда и надменна и с такою же тонкой талией, какая была у матери. Она любила заходить в большой зал, где висели портреты предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и затканных жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в косы волосы. Как прекрасны были они! Мужья их были в стальных доспехах или дорогих мантиях на беличьем меху с высокими стоячими голубыми воротниками. Мечи они носили не на пояснице, а у бедра. Где-то будет висеть со временем портрет Йоханны, как-то будет выглядеть ее благородный супруг? Вот о чем она думала, вот что беззвучно шептали ее губы. Я подслушал это, когда ворвался в зал по длинному проходу и, переменившись, понесся вспять.

Анна Дортея, еще четырнадцатилетняя девочка, была тиха и задумчива. Большие синие, как море, глаза ее смотрели серьезно и грустно, но на устах порхала детская улыбка. Я не мог ее сдуть, да и не хотел.

Я часто встречал Анну Дортею в саду, на дороге и в поле. Она собирала цветы и травы, которые могли пригодиться ее отцу: он приготовлял из них питье и капли. Вальдемар До был не только заносчив и горд, но и учен. Он много знал. Все это видели, все об этом шептались. Огонь пылал в его камине даже в летнее время, а дверь была на замке. Он проводил взаперти дни и ночи, но не любил распространяться о своей работе. Силы природы надо испытывать в тиши. Скоро, скоро найдет он самое лучшее, самое драгоценное — червонное золото.

Вот почему из камина валил дым, вот почему трещало и полыхало в нем пламя. Да, да, без меня тут не обошлось,— рассказывал ветер. «Будет, будет! — гудел я в трубу.— Все развеется дымом, сажей, золой, пеплом. Ты прогоришь!» У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! Вальдемар До стоял на своем.

Куда же девались великолепные лошади из конюшен? Куда девалась старинная золотая и серебряная утварь из шкафов? Куда девались коровы с полей, все добро и имение? Да, все это можно расплавить! Расплавить в золотом тигле, но золота не получить.

Пусто стало в кладовых, в погребах и на чердаках. Убавилось людей, прибавилось мышей. Оконное стекло лопнет здесь, треснет там, и мне уже не надо входить непременно через дверь,— рассказывал ветер.— Где дымится труба, там готовится еда, а тут дымилась такая труба, что пожирала всю еду ради червонного золота.

Я гудел в крепостных воротах, словно сторож трубил в рог, но тут не было больше сторожа,— рассказывал ветер.— Я вертел

башенный флюгер, и он скрипел, словно сторож храпел на башне, но сторожа не было и там — были только крысы да мыши. Нищета накрывала на стол, нищета водворилась в платяных шкафах и буфетах, двери срывались с петель, повсюду появились трещины и щели, я свободно входил и выходил,— рассказывал ветер,— оттого-то и знаю, как все было.

От дыма и пепла, от забот и бессонных ночей поседели борода и виски владельца Борребю, пожелтело и избороздилось морщинами лицо, но глаза по-прежнему блестели в ожидании золота, желанного золота.

Я пыхал ему дымом и пеплом в лицо и бороду. Вместо золота явились долги. Я свистел в разбитых окнах и щелях, задувал в сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья — носить их приходилось без конца, без перемены. Да, не такую песню пели девушкам над колыбелью! Господское житье стало житьем горемычным. Лишь я один пел там во весь голос! — рассказывал ветер.— Я засыпал весь замок снегом — говорят, будто под снегом теплее. Взять дров неоткуда было, лес-то ведь вырубили. А мороз так и трещал. Я гулял по всему замку, врывался в слуховые окна и проходы, резвился над крышей и стенами. Высокородные дочери попрятались от холода в постели, отец залез под меховое одеяло. Ни еды, ни дров — вот так господское житье! У-у-уу! Лети дальше! Будет, будет! Но господину До было мало.

«За зимою придет весна,— говорил он.— За нуждою придет достаток. Надо только немножко подождать, подождать. Имение заложено, теперь самое время явиться золоту, и оно явится — к празднику».

Я слышал, как он шептал пауку: «Ты, прилежный маленький ткач, ты учишь меня выдержке. Разорвут твою ткань, ты начинаешь с начала и доводишь работу до конца. Разорвут опять — ты опять, не пав духом, принимаешься за дело. С начала, с начала! Так и следует! И в конце концов ты будешь вознагражден».

Но вот и первый день пасхи. Зазвонили колокола, заиграло на небе солнце. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь, кипятил, охлаждал, перемешивал, возгонял. Я слышал, как он вздыхал в отчаянии, слышал, как он молился, слышал, как он задерживал дыхание. Лампа его потухла — он этого не заметил. Я раздувал уголья, они бросали красный отсвет на его бледное как мел лицо с глубоко запавшими глазами. И вдруг глаза его стали расширяться все больше и больше, и вот уже, казалось, готовы были выскочить из орбит.

Поглядите в сосуд алхимика! Там что-то мерцает. Горит, как жар, чистое и тяжелое... Он подымает сосуд дрожащей рукою, он с дрожью в голосе восклицает: «Золото! Золото!»

У него закружилась голова, я мог бы свалить его одним дуновением,— рассказывал ветер,— но я лишь подул на угли и последовал за ним в комнату, где мерзли его дочери. Его камзол, борода, взлохмаченные волосы были обсыпаны пеплом. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, заключенное в хрупком сосуде. «Нашел! Получил! Золото!» — закричал он и протянул им сосуд, искрившийся на солнце, но тут рука его дрогнула, и сосуд упал на пол, разлетелся на тысячу осколков. Последний мыльный пузырь надежды лопнул... У-у-уу! Лети дальше! И я унесся из замка алхимика.

Поздней осенью, когда дни становятся короче, а туман приходит со своей мокрой тряпкой и выжимает капли на ягоды и голые сучья, я вернулся, свежий и бодрый, проветрил и обдул небо от туч и, кстати, пообломал гнилые ветви — работа не ахти какая, но кто-то должен же ее делать. В замке Борребю тоже было чисто, словно выметено, только на другой лад. Недруг Вальдемара До, Ове Рамель из Баснеса, явился с закладной на именье: теперь замок и все имущество принадлежали ему. Я колотил по разбитым окнам, хлопал ветхими дверями, свистел в щели и дыры: «У-у-уу! Пусть не захочется господину Ове остаться тут!» Ида и Анна Дортея заливались горькими слезами; Йоханна стояла гордо выпрямившись, бледная, до крови прикусив палец. Но что толку! Ове Рамель позволил господину До жить в замке до самой смерти, но ему и спасибо за это не сказали. Я все слышал, я видел, как бездомный дворянин гордо вскинул голову и выпрямился. Тут я с такой силой хлестнул по замку и старым липам, что сломал толстенную и нисколько не гнилую ветвь. Она упала возле ворот и осталась лежать, словно метла, на случай, если понадобится что-нибудь вымести. И вымели — прежних владельцев.

Тяжелый выдался день, горький час, но они были настроены решительно и не гнули спины. Ничего у них не осталось, кроме того, что было на себе, да вновь купленного сосуда, в который собрали с пола остатки сокровища, так много обещавшего, но не давшего ничего. Вальдемар До спрятал его на груди, взял в руки посох, и вот некогда богатый владелец замка вышел со своими тремя дочерьми из Борребю. Я охлаждал своим дуновением его горячие щеки, гладил по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел: «У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!»

Ида и Анна Дортея шли рядом с отцом; Йоханна, выходя из ворот, обернулась. Зачем? Ведь счастье не обернется. Она посмотрела на красные стены, возведенные из камней замка Марска Стига, и вспомнила о его дочерях.

И старшая, младшую за руку взяв,
Пустилась бродить с ней по свету.

Вспомнила ли Йоханна эту песню? Тут изгнанниц было трое, да четвертый — отец. И они поплелись по дороге, по которой, бывало, ездили в карете, поплелись в поле Смидструп, к жалкой мазанке, снятой ими за десять марок в год,— новое господское поместье, пустые стены, пустая посуда: «Крах! Крах! Разорение! Крах!» — как кричали птицы в лесу Борребю, когда деревья падали под ударами топоров.

Господин До и его дочери отлично понимали эти крики, хоть я и дул им в уши изо всех сил — стоило ли слушать?

Так вошли они в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и раздетыми лесами, в открытое море, в другие страны. У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! И так из года в год.

Что же сталось с Вальдемаром До, что сталось с его дочерьми? Ветер рассказывает:

— Последней я видел Анну Дортею, бледный гиацинт,— она была уже сгорбленной старухой, прошло ведь целых пятьдесят лет. Она пережила всех и все знала.

На вересковой пустоши близ города Виборга стоял новый красивый дом священника — красные стены, зубчатый фронтон. Из трубы валил густой дым. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели поверх кустов садового терновника на бурую пустошь. Что же они там видели? Они

видели гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся хижины. Вся крыша поросла мхом и диким чесноком, и покрывала-то хижину главным образом не она, а гнездо аиста. И оно одно только и чинилось — его держал в порядке сам аист.

На хижину эту можно было только смотреть, но уж никак не трогать! Даже мне приходилось дуть здесь с опаской! — рассказывал ветер.— Только ради гнезда аиста и оставляли на пустоши такую развалюху, не то давно бы снесли. Семья священника не хотела прогонять аиста, и вот хижина стояла, а в ней жила бедная старуха. Своим приютом она была обязана египетской птице, а может, и наоборот, аист был обязан ей тем, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, жившего в лесу Борребю. В те времена нищая старуха была нежным ребенком, бледным гиацинтом высокородного цветника. Анна Дортея помнила все.

«О-ох! — Да, и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке.— О-ох! Не звонили колокола над твоею могилой, Вальдемар До! Не пели бедные школьники, когда бездомного владельца Борребю опускали в землю!.. Да, всему наступает конец, даже несчастью!.. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Это-то и нанесло отцу самый жестокий удар... Муж его дочери — жалкий раб, которого господин может посадить на кобылку. Теперь и он, наверно, в земле, и сестра Ида. Да, да! Только мне, бедной, судьба конца не посылает!»

Так говорила Анна Дортея в жалкой хижине, стоявшей лишь благодаря аисту.

Ну, а о самой здоровой и смелой из сестер позаботился я сам! — продолжал ветер.— Она нарядилась в платье, которое было ей больше по вкусу: переоделась парнем и нанялась в матросы на корабль. Скупа была она на слова, сурова на вид, но от дела не отлынивала, вот только лазать не умела. Ну, я и сдул ее в воду, пока не распознали, что она женщина,— и хорошо сделал!

Был первый день пасхи, как и тогда, когда Вальдемару До показалось, что он получил золото, и я услыхал под крышей с гнездом аиста пение, последнюю песнь Анны Дортеи.

В хижине не было даже окна, а просто круглое отверстие в стене. Словно золотой самородок, взошло солнце и заполнило собой хижину. Что за блеск был! Глаза Анны Дортеи не выдержали, не выдержало и сердце. Впрочем, солнце тут ни при чем; не озари оно ее в то утро, случилось бы то же самое.

По милости аиста у Анны Дортеи был кров над головой до последнего дня ее жизни. Я пел и над ее могилой, и над могилой ее отца, я знаю, где и та и другая, а кроме меня, не знает никто.

Теперь настали новые времена, другие времена! Старая про-

езжая дорога упирается теперь в огороженное поле, новая проходит по могилам, а скоро промчится тут и паровоз, таща за собой ряд вагонов и грохоча над могилами, такими же забытыми, как и имена. У-у-уу! Лети дальше!

Вот вам и вся история о Вальдемаре До и его дочерях. Расскажи ее лучше, кто сумеет! — закончил ветер и повернул в другую сторону.

И след его простыл.

УЛИТКА И РОЗЫ

Сад окружала живая изгородь из орешника. За нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст, а под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием — содержала самое себя.

— Погодите, придет и мое время! — сказала она.— Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы.

— Я многого ожидаю от вас,— сказал розовый куст.— Позвольте же узнать, когда это будет?

— Время терпит. Это вот вы все торопитесь! А торопливость ослабляет впечатление.

На другой год улитка лежала чуть ли не на том же самом месте, на солнце, под розовым кустом. Куст выпускал бутоны и расцветал розами, каждый раз свежими, каждый раз новыми.

Улитка наполовину выползла из раковины, навострила рожки и вновь подобрала.

— Все как в прошлом году! Никакого прогресса. Розовый куст остается при своих розах — и ни шагу вперед!

Прошло лето, прошла осень, розовый куст пускал бутоны и расцветал розами, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно; розовый куст пригнулся к земле, улитка уползла в землю.

Опять настала весна, появились розы, появилась улитка.

— Теперь уже вы стары! — сказала она розовому кусту.— Пора бы и честь знать. Вы дали миру все, что могли. Много ли — это вопрос, которым мне некогда заниматься. А что вы ничего не сделали для своего внутреннего развития, это ясно. Иначе из вас вышло бы что-нибудь другое. Что вы скажете в свое оправдание? Ведь вы скоро обратитесь в сухой хворост. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Вы меня пугаете,— сказал розовый куст.— Я никогда над этим не задумывался.

— Да, да, вы, кажется, мало затрудняли себя мышлением!

А вы попробовали когда-нибудь задаться вопросом: зачем вы цветете? И как это происходит? Почему так, а не иначе?

— Нет! — сказал розовый куст.— Я просто цвел от радости и не мог иначе. Солнце такое теплое, воздух так освежающ, я пил чистую росу и обильный дождь. Я дышал, я жил! Силы поднимались в меня из земли, вливались из воздуха, я был счастлив всегда новым, большим счастьем и поэтому всегда должен был цвести. Такова моя жизнь, я не мог иначе.

— Словом, вы жили не тужили! — сказала улитка.

— Конечно! Мне было все дано! — отвечал розовый куст.— Но вам дано еще больше! Вы одна из тех мыслящих, глубоких, высокоодаренных натур, которым суждено удивить мир.

— Была охота! — сказала улитка.— Я знать не желаю вашего мира. Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя.

— Да, но мне кажется, все мы, живущие на земле, должны делиться с другими лучшим, что в нас есть! Отдавать им все, что можем!.. Да, я дал миру только розы... А вы? Вам дано так много. Что дали миру вы? Что вы ему дадите?

— Что дала я? Что дам? Плевать мне на мир! Он мне ни к чему! Мне дела до него нет! Снабжайте его розами, вас только на это и хватит! Пусть орешник дает ему орехи, коровы и овцы — молоко, у них своя публика! Моя же — во мне самой! Я замкнусь в себе самой — и баста. Мне нет дела до мира!

И улитка заползла в свою раковину и закрылась в ней.

— Как печально! — сказал розовый куст.— А я и хотел бы, да не могу замкнуться в себе. У меня все прорывается наружу, прорывается розами. Лепестки их опадают и разносятся ветром, но я видел, как одну из моих роз положила в книгу мать семейства, другую приютила на своей груди прелестная молодая девушка, третью целовали улыбающиеся губки ребенка. И я был так счастлив, я находил в этом истинную усладу. Вот мои воспоминания, моя жизнь!

И розовый куст цвел во всей своей простоте и невинности, а улитка тупо дремала в своей раковине — ей не было дела до мира.

Шли годы...

Улитка стала прахом от праха, и розовый куст стал прахом от праха, истлела в книге и роза воспоминаний... Но в саду цвели новые розовые кусты, в саду росли новые улитки. Они заползали в свои домики и плевались — им не было дела до мира.

Не начать ли эту историю сначала? Она будет все та же.

СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТКА

Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки — чистенькая, светленькая,— покатилась и зазвенела:

— Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!

И пошла.

Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал холодными липкими пальцами, люди постарше вертели и поворачивали много раз, а у молодых она не задерживалась и живо катилась дальше.

Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она целый год гуляла по белу свету, то есть в той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась за границу и оказалась последней родной монеткой в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попала к нему в пальцы.

— Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка! — сказал он.— Ну, пусть едет со мною путешествовать!

И монетка подпрыгнула от радости и зазвенела, когда ее сунули обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать со своими иностранными сородичами, которые все сменялись — одна уступала место другой, ну а она все оставалась в кошельке. Это уже было своего рода отличие!

Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, сама не знала куда. Она лишь слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то и таком-то городе, но сама она ни о чем и представления не имела: не много увидишь, сидя в кошельке, как она! Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт. Ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну, и это не прошло ей даром. Она попала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать, как лежала. Брюки вынесли для чистки в коридор, и тут монетка вывалилась из кармана на пол. Никто этого не слыхал, никто этого не видал.

Утром платье опять забрали в комнату, путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и она вновь должна была пойти в ход вместе с тремя другими монетами.

«Вот хорошо-то! Опять пойду гулять по свету, увижу новых людей, новые нравы!» — подумала монетка.

— А это что за монета? — послышалось в ту же минуту.— Это не наша монета. Фальшивая! Не годится!

С этого и началась история, которую она сама потом рассказывала.

— «Фальшивая! Не годится!» Я вся так и задрожала! — рассказывала она.— Я же знала, что я серебряная, чистого звона и настоящей чеканки. Верно, ошиблись, думаю, не могут люди так отзываться обо мне. Однако они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивой, это я никуда не годилась! «Ну, сбуду ее с рук в сумерках!» — сказал мой хозяин и сбыл-таки. Но при дневном свете меня опять принялись бранить: «Фальшивая!», «Не годится!», «Надо поскорее сбыть ее с рук!»

И монетка дрожала от страха и стыда всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо монеты той страны.

— Ах я горемычная! Что мне мое серебро, мое достоинство, моя чеканка, когда все это ничего не значит! В глазах людей остаешься тем, за кого они тебя принимают! Как же ужасно и вправду иметь нечистую совесть, пробиваться в жизни нечистыми путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело только потому, что я кажусь виновной!.. Всякий раз, как я перехожу в новые руки, я трепещу взгляда, который на меня упадет: я знаю, что меня сейчас же швырнут обратно на стол, словно я какая-нибудь обманщица!

Раз я попала к одной бедной женщине: она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу. Ей никак не удавалось сбыть меня с рук, никто не хотел меня брать. Я была для бедняги сущей напастью.

«Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь! — сказала женщина.— Где мне, при моей бедности, держать фальшивую монету! Отдам-ка ее богатому булочнику, он-то не разорится от этого, хоть и нехорошо это, сама знаю, нехорошо!»

«Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины! — вздохнула я.— Неужто я и впрямь так изменилась под старость!»

Женщина отправилась к богатому булочнику, но он слишком хорошо разбирался в монетах, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили: он швырнул меня в лицо бедной женщине. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так горько, так горько сознавать, что я отчеканена на горе другим! Это я-то, некогда такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, поглядела на меня добродушно и ласково и сказала:

«Не хочу я никого обманывать! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая... А впрочем... Постой, мне пришло на ум — быть может, ты монетка счастливая? Наверно, так! Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу тебя на шею соседкиной дочке — пусть носит на счастье!»

И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно,

когда тебя пробивают, но ради доброго намерения многое можно перенести. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шею малютке, и она улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди.

Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела и что-то задумала... Я сейчас же догадалась! Потом взяла ножницы и перерезала шнурок.

«Счастливая монетка! — сказала она.— А ну посмотрим!» И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела: потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить билетик на счастье.

Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я ведь знала, что меня обзовут фальшивой, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкой. Но нет! Я избежала позора! В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что не глядя бросил меня в выручку, к другим монетам. Выиграл ли купленный на меня билет, не знаю, знаю только, что на другой же день меня признали фальшивой, отложили в сторону и опять отправили обманывать — все обманывать! Ведь это просто невыносимо для честной натуры — ее-то уж у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама разуверилась и в себе и в людях. Тяжелое выдалось для меня время!

Но вот однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же подсунули меня, и он был так прост, что взял меня за тамошнюю монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Фальшивая! Не годится!»

«Мне дали ее за настоящую! — сказал путешественник и вгляделся в меня пристальнее. И вдруг на лице его появилась улыбка. А ведь глядя на меня, давно уже никто не улыбался.— Нет, что же это! — сказал он.— Ведь это наша родная монетка, хорошая, честная монетка моей родины, а в ней пробили дырку и называют ее фальшивой! Вот забавно! Надо припрятать тебя и взять с собою домой».

То-то я обрадовалась! Меня опять называют доброй, честной монетой, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я серебряная, настоящей чеканки! Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре, искры испускает сталь, а не серебро.

Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетами и не затерять. Вынимали меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками, и тогда обо

мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересной, не говоря ни слова.

И вот я попала домой. Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне пробита дыра, как в фальшивой: что за беда, если на самом-то деле ты не фальшивая! Да, надо иметь терпение: пройдет время, и все станет на свои места. Уж в это я твердо верю! — заключила свой рассказ монетка.

О ТОМ, КАК БУРЯ ПЕРЕВЕСИЛА ВЫВЕСКИ

В старину, когда дедушка был еще совсем маленьким мальчиком и разгуливал в красных штанишках, красной курточке с кушаком и шапочке с пером — а надо вам сказать, что тогда детей именно так и одевали, ежели хотели их нарядить,— так вот, в те далекие, далекие времена все было совершенно иначе, чем теперь.

Ведь какие, бывало, торжества устраивались на улицах! Нам с вами таких уже не видать: их давным-давно упразднили, они, видите ли, вышли из моды. Но до чего же занятно теперь послушать дедушкины рассказы об этом, вы и представить себе не можете!

Что это было за великолепие, когда, скажем, сапожники меняли помещение цеха и переносили на новое место цеховую вывеску. Во главе процессии величественно колыхалось шелковое знамя с изображением большого сапога и двуглавого орла. Младшие подмастерья торжественно несли заздравный кубок и большой ларец, а на рукавах у них развевались по ветру красные и белые ленты. Старшие подмастерья держали в руках обнаженные шпаги с насаженными на острия лимонами. Музыка гремела так, что небо сотрясалось, и самым замечательным инструментом в оркестре была «птица» — так называл дедушка длинный шест, увенчанный полумесяцем и обвешанный всевозможными колокольчиками и бубенчиками,— настоящая турецкая музыка! Шест поднимали и раскачивали из стороны в сторону, колокольчики звенели и бренчали, а в глазах просто рябило от золота, серебра и меди, сверкавших на солнце.

Впереди всех бежал арлекин в костюме из разноцветных лоскутков; лицо у него было вымазано сажей, а колпак украшен бубенчиками — ни дать ни взять лошадь, запряженная в сани!

Он размахивал палкой направо и налево, но это была палка-хлопушка: она только громко хлопала и пугала людей, а вреда от нее никому не было. Люди толпились и толкались, стараясь протиснуться, одни — вперед, другие — назад; мальчишки и девчонки спотыкались и летели прямо в канаву, а пожилые кумушки отчаянно работали локтями, сердито озирались по сторонам и бранились. Всюду слышались говор и смех. Люди стояли на лестницах, высовывались из окон, а иные даже забирались на крышу. На небе ярко светило солнышко. Правда, случалось, что на процессию попрыскает небольшой дождик, но ведь дождь крестьянину не помеха: пусть хоть весь город насквозь промокнет, зато урожай будет богаче!

До чего хорошо рассказывал наш дедушка, просто заслушаешься! Ведь еще маленьким мальчиком он все это видел своими глазами. Старший цеховой подмастерье всегда залезал на помост, построенный под самой вывеской, и говорил речь — да не как-нибудь, а в стихах, словно по вдохновению. Впрочем, тут и вправду не обходилось без вдохновения: ведь речь он сочинял вместе с двумя друзьями, и работу они начинали с того, что осушали целую кружку пунша — для пользы дела, конечно. Народ встречал эту речь криками «ура!». Но еще громче кричали «ура!» арлекину, когда он тоже вылезал на помост и передразнивал оратора. Все хохотали до упаду, а он попивал себе мед из водочных рюмок и бросал рюмки в толпу, и люди ловили их на лету. У дедушки была такая рюмочка: ее поймал какой-то штукатур и подарил ему на память. Да, вот это было веселье так веселье! А вывеска, вся в цветах и зелени, красовалась на новом месте.

— Такого праздника не забудешь, хоть до ста лет живи! — говорил дедушка.

Да он и вправду ничего не забыл, хотя каких только не перевидал празднеств и торжеств на своем веку. Много кое-чего мог он порассказать, но забавнее всего рассказывал о том, как в одном большом городе переносили вывески.

Дедушка был еще совсем маленьким, когда приехал с родителями в этот город, самый большой в стране. На улицах было полным-полно народа, и дедушка даже подумал, что здесь тоже будут торжественно переносить вывески, которых, к слову сказать, здесь оказалось великое множество,— сотни комнат можно было бы заполнить этими картинками, если бы их вешали не снаружи, а внутри дома. На вывеске портного было изображено разное платье, и если бы он захотел, то мог бы даже перекроить самого неказистого человека в самого красивого. А на вывеске торговца табаком — хорошенькие мальчики с сигарами в зубах, эдакие озорники! Были тут вывески с маслом и селедками, были вывески с пасторскими воротниками и гробами, а сколь-

ко всюду висело объявлений и афиш — видимо-невидимо! Ходи себе целый день взад и вперед по улицам да любуйся сколько душе угодно — ведь картинки. А заодно узнаешь и что за люди живут на улице — ведь они сами вывесили свои вывески.

— К тому же,— говорил дедушка,— когда ты попал в большой город, полезно и поучительно знать, что кроется за толстыми каменными стенами домов.

И надо же было, чтобы вся эта кутерьма с вывесками приключилась как раз в тот день, когда в город приехал дедушка. Он сам рассказывал об этом, и очень складно, хоть мама и уверяла, что он морочит мне голову. Нет, на этот раз дедушка говорил всерьез.

В первую же ночь, когда он приехал в город, здесь разыгралась страшная буря, до того страшная, что такой ни в газетах никогда не описывали, ни старожилы не помнили. Ветер срывал черепицу с крыш, трещали и валились старые заборы, а одна тачка вдруг взяла да и покатилась по улице, чтобы убежать от бури. А буря бушевала все сильнее и сильнее, ветер дико завывал, ревел и стучал в ставни, стены и крыши. Вода в каналах вышла из берегов и теперь просто не знала, куда ей деваться. Буря неслась над городом, ломала и уносила трубы. А сколько старых высокомерных церковных шпилей согнулось в эту ночь — просто не сосчитать! И они так никогда и не выпрямились.

Перед домом почтенного брандмайора, который прибывал на пожар, когда от строения оставались только головешки, стояла караульная будка. Так вот, буря почему-то захотела лишить его этого скромного символа пожарной доблести и, опрокинув будку, с грохотом покатила ее по улице. Как ни странно, будка остановилась перед домом бедного плотника — того самого, который во время последнего пожара вынес из огня трех человек,— да так и осталась там стоять, но, конечно, без всякого умысла.

Вывеску цирюльника — большой медный таз — ветер забросил на подоконник дома советника юстиции. Вот это было сделано уж явно с целью, поговаривали соседи, ибо все-все, даже самые близкие приятельницы его жены, называли госпожу советницу бритвой. Она была такая умная, такая умная, что знала о людях куда больше, чем они сами о себе знали.

А вывеска с нарисованной на ней вяленой треской перелетела на дверь редактора одной газеты. Подумать только, какая нелепость! Буря, как видно, забыла, что с журналистом шутки плохи: ведь в своей газете он сам себе голова и никакой закон ему не писан.

Флюгерный петух перелетел на крышу соседнего дома, да там и остался — с каким-то злым умыслом, конечно, говорили соседи. Бочка бондаря очутилась под вывеской «Дамские моды». Меню, висевшее у входа в кухмистерскую, ветер перенес к подъ-

езду театра, в который редко кто захаживал. Ничего себе, забавная получилась афиша: «Суп из хрена и фаршированная капуста». Публика валом повалила в театр.

Лисья шкурка с вывески скорняка повисла на шнурке колокольчика у дверей одного молодого человека, который исправно ходил в церковь, вел себя тише воды, ниже травы, стремился к истине и всем служил примером, по словам его тетки.

Доска с надписью: «Высшее учебное заведение» — оказалась на бильярдном клубе, а на питейном заведении появилась вывеска детского врача: «Здесь дети приучаются к бутылочке». И вовсе это было не остроумно, а просто невежливо! Но уж если буря захочет что-нибудь натворить, то натворит непременно, и ничего ты с ней не поделаешь.

Да, ну и выдалась же погода! Наутро — только подумайте! — все вывески в городе поменялись местами, а кое-где получилось такое безобразие, что дедушка, уж как ни хотелось ему рассказать об этом, только помалкивал да посмеивался про себя — я это сразу заметил,— а значит, у него что-нибудь да было на уме.

Каково же было жителям этого города, а особенно приезжим! Они совершенно сбились с толку и ходили как потерянные. Да иначе и быть не могло: ведь они привыкли искать дорогу по вывескам! Например, кто-нибудь хотел попасть на заседание деятелей, обсуждающих важнейшие государственные вопросы, а попадал в школу к мальчишкам, которые изо всех сил старались перекричать друг друга и только что не ходили на головах.

А были и такие, что из-за вывески вместо церкви попадали — о ужас! — в театр.

Теперь подобных бурь больше не бывает: такую только дедушке довелось повидать, и то тогда он был еще мальчишкой. Да и вряд ли такая буря повторится при нас; разве́ что при наших внуках. А мы дадим им благой совет: «Пока буря перевешивает вывески, сидите-ка лучше дома».

СУДЬБА РЕПЕЙНИКА

Перед богатой усадьбой был разбит чудесный сад с редкостными деревьями и цветами. Гости, приезжавшие к господам, громко восторгались садом. А горожане и жители окрестных деревень специально являлись сюда по праздникам и воскресеньям и просили позволения осмотреть его. Приходили сюда с тою же целью и ученики разных школ со своими учителями.

За забором сада, отделявшим его от поля, рос репейник. Он был такой большой, густой и раскидистый, что по всей справедливости заслуживал название куста. Но никто не любовался им, кроме старого осла, возившего тележку молочницы. Он вытягивал свою длинную шею и говорил репейнику:

— Как ты хорош! Так бы и съел тебя!

Но веревка была коротка, никак не дотянуться до репейника ослу.

Как-то раз в саду собралось большое общество: к хозяевам приехали знатные гости из столицы, молодые люди, прелестные девушки, и в их числе одна барышня издалека, из Шотландии, знатного рода и очень богатая.

«Завидная невеста!» — говорили холостые молодые люди и их маменьки.

Молодежь резвилась на лужайке, играла в крокет. Затем все отправились гулять по саду. Каждая барышня сорвала цветок и воткнула его в петлицу своему кавалеру. А юная шотландка долго озиралась кругом, выбирала, выбирала, но так ничего и не выбрала: ни один из садовых цветов не пришелся ей по вкусу. Но вот она глянула через забор, где рос репейник, увидала его иссиня-красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина дома сорвать ей цветок.

— Это цветок Шотландии! — сказала она.— Он украшает шотландский герб. Дайте мне его!

И он сорвал самый красивый, исколов себе при этом пальцы, словно колючим шиповником.

Барышня продела цветок молодому человеку в петлицу, и он был очень польщен, да и каждый из молодых людей охотно отдал бы свой роскошный садовый цветок, чтобы только получить из рук прекрасной шотландки репейник. Но уж если был польщен хозяйский сын, то что же почувствовал сам репейник? Его словно окропило росою, осветило солнцем...

«Однако я поважнее, чем думал! — сказал он про себя.— Место-то мое, пожалуй, в саду, а не за забором. Вот, право, как странно играет нами судьба! Но теперь хоть одно из моих детищ перебралось за забор, да еще попало в петлицу!»

И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому вновь распускавшемуся бутону. А затем не прошло и недели, как репейник услышал новость, и не от людей, не от щебетуний пташек, а от самого воздуха, который воспринимает и разносит повсюду малейший звук, раздающийся в самых глухих аллеях сада или во внутренних покоях дома, где окна и двери стоят настежь. Ветер сказал, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки цветок репейника, удостоился получить также руку и сердце красавицы. Славная вышла пара, вполне приличная партия.

— Это я их сосватал! — решил репейник, вспоминая свой цветок, попавший в петлицу. И каждый вновь распускавшийся цветок должен был выслушивать эту историю.

— Меня, конечно, пересадят в сад! — рассуждал репейник.— Может быть, даже посадят в горшок. Тесновато будет, ну да зато честь-то какая!

И репейник так увлекся этой мечтою, что уже с полной уверенностью говорил: «Я попаду в горшок!» — и обещал каждому своему цветку, который распускался вновь, что и он тоже попадет в горшок, а то и в петлицу — уж выше этого попасть было некуда! Но ни один из цветов не попал в горшок, не говоря уже о петлице. Они впивали в себя воздух и свет, солнечные лучи днем и капельки росы ночью, они цвели, принимали визиты женихов — пчел и ос, которые искали приданого — цветочного сока, получали его и покидали цветы.

— Разбойники этакие! — говорил про них репейник.— Так бы и проколол их насквозь, да не могу!

Цветы поникали головками, блекли и увядали, но на смену им распускались новые.

— Вы являетесь как раз вовремя! — говорил им репейник.— Я с минуты на минуту жду пересадки туда, за забор.

Невинные ромашки и мокричник слушали его с глубоким изумлением, искренне веря каждому его слову.

А старый осел, таскавший тележку молочницы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цветущий репейник, но веревка была коротка, никак не добраться ослу до куста.

А репейник так много думал о своем родиче, репейнике шотландском, что под конец уверовал в свое шотландское происхождение и в то, что именно его родители и красовались в гербе страны. Великая была мысль, но отчего бы такому большому репейнику и не иметь великих мыслей?

— Иной раз происходишь из такого знатного рода, что не смеешь и догадываться об этом! — сказала крапива, росшая неподалеку. У нее тоже было смутное ощущение, что при надлежащем уходе и она могла бы превратиться во что-нибудь этакое благородное.

Прошло лето, прошла осень. Листья с деревьев облетели, цветы стали ярче, но почти без запаха. Ученик садовника распевал в саду по ту сторону забора:

— Вверх на горку,
Вниз под горку
Пролетает жизнь!

Молоденькие елки в лесу уже начали томиться предрождественской тоской, хотя до рождества было еще далеко.

— А я так все здесь и стою! — сказал репейник.— Словно никому до меня и дела нет, а ведь я устроил свадьбу! Они обручились да и поженились вот уж неделю тому назад! Что ж, сам я шагу не сделаю — не могу!

Прошло еще несколько недель. На репейнике красовался всего лишь один цветок, последний, зато какой большой, какой пышный! Вырос он почти у самых корней, ветер обдавал его холодом, краски его поблекли, и чашечка, большая, словно у цветка артишока, напоминала теперь высеребренный подсолнечник.

В сад вышла молодая пара — муж и жена. Они шли вдоль садового забора, и молодая женщина заглянула через него.

— А вот он, большой репейник! Все еще стоит! — воскликнула она.— Но на нем нет больше цветов!

— А вон, видишь, призрак последнего! — сказал муж, указывая на высеребренную чашечку цветка.

— Все-таки он красив! — сказала она.— Надо велеть вырезать такой на рамке нашего портрета.

Пришлось молодому мужу опять лезть через забор за цветком репейника. Цветок уколол его пальцы — ведь молодой человек обозвал его призраком. И вот цветок попал в сад, в дом и даже в залу, где висел масляный портрет молодых супругов. В петлице у молодого был изображен цветок репейника. Поговорили и об этом цветке и о том, который только что принесли, чтобы вырезать на рамке.

Ветер подхватил этот разговор и разнес далеко-далеко по округе.

— Чего только не приходится переживать! — сказал репейник.— Мой первенец попал в петлицу, мой последыш попадет на рамку! Куда же попаду я?

А осел стоял у дороги и косился на него:

— Подойди ко мне, сладостный мой! Сам я не могу подойти к тебе — веревка коротка!

Но репейник не отвечал. Он все больше и больше погружался в думы. Так он продумал вплоть до рождества и наконец расцвел мыслью:

— Коли детки пристроены хорошо, родители могут постоять и за забором!

— Вот это благородная мысль! — сказал солнечный луч.— Но и вы займете почетное место!

— В горшке или на рамке? — спросил репейник.

— В сказке! — ответил луч.

Вот она, эта сказка!

КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

I. Начало

Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой королевской площади. В одном доме собралось большое общество — иногда ведь все-таки приходится принимать гостей, зато, глядишь, и сам дождешься когда-нибудь приглашения.

Гости разбились на две большие группы: одна немедленно засела играть в карты, другая образовала кружок вокруг хозяйки, которая предложила «придумать что-нибудь поинтереснее», и беседа потекла сама собой.

Между прочим, речь зашла про средние века, и многие находили, что в те времена жилось гораздо лучше, чем теперь. Да, да! Советник юстиции Кнап отстаивал это мнение так рьяно, что хозяйка тут же с ним согласилась, и они вдвоем накинулись на бедного Эрстеда, который доказывал в своей статье в «Альманахе», что наша эпоха кое в чем все-таки выше средневековья. Но советник утверждал, что времена короля Ганса были лучшей и счастливейшей порой в истории человечества.

Пока ведется этот жаркий спор, который прервался лишь на мгновение, когда принесли вечернюю газету (впрочем, читать в ней было решительно нечего), пройдем в переднюю, где гости оставили свои пальто, палки, зонтики и калоши! Сюда только что вошли две женщины: молодая и старая.

На первый взгляд их можно было принять за горничных, сопровождающих каких-нибудь старых барынь, которые пришли в гости к хозяйке, но, приглядевшись повнимательнее, вы бы заметили, что эти женщины ничуть не похожи на служанок: слишком уж мягки и нежны были у них руки, слишком величавы осанка и все движения, а платье их отличалось каким-то особо смелым покроем.

Вы, конечно, уже догадались, что это были феи. Младшая была если и не самой феей Счастья, то, уж наверно, одной из ее верных помощниц и занималась тем, что приносила людям разные мелкие дары счастья. Старшая казалась гораздо более серьезной — она была феей Печали и всегда управлялась со своими делами сама, не перепоручая их никому: тогда, по крайней мере, она знала, что все будет сделано, как она хотела.

Стоя в передней, они рассказывали друг другу о том, где побывали за день. Помощница феи Счастья сегодня выполнила всего лишь несколько маловажных поручений: спасла от ливня чью-то новую шляпу, передала одному почтенному человеку поклон от высокопоставленного ничтожества, и все в том же

духе. Но зато в запасе у нее осталось нечто совершенно необыкновенное.

— Нужно тебе сказать,— закончила она,— что у меня сегодня день рождения, и в честь этого события мне дали пару калош, с тем чтобы я отнесла их людям. Эти калоши обладают одним замечательным свойством: того, кто их наденет, они могут мгновенно перенести в любое место и любую эпоху — стоит ему только пожелать,— и от этого он почувствует себя совершенно счастливым.

— Ты так думаешь? — отозвалась фея Печали.— Знай же: он будет самым несчастным человеком на земле и благословит ту минуту, когда наконец избавится от своих калош.

— Ну, это мы еще посмотрим! — проговорила фея Счастья.— А пока что я поставлю их у дверей. Авось кто-нибудь их наденет по ошибке вместо своих и обретет счастье.

Вот какой между ними произошел разговор.

II. Что случилось с советником юстиции

Было уже поздно. Советник юстиции Кнап собирался домой, все еще размышляя о временах короля Ганса. И надо же было так случиться, чтобы вместо своих калош он надел калоши счастья. Как только он вышел в них на улицу, волшебная сила калош немедленно перенесла его во времена короля Ганса, и ноги его тотчас же утонули в непролазной грязи, потому что при короле Гансе улиц, конечно, не мостили.

— Ну и грязища! Просто ужас что такое! — пробормотал советник.— И к тому же ни один фонарь не горит.

Луна еще не взошла, стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке.

На углу перед изображением мадонны висела лампада, но она чуть теплилась, так что советник заметил картину, лишь поравнявшись с нею, и только тогда разглядел божью матерь с младенцем на руках.

«Здесь, наверно, была мастерская художника,— решил он,— а вывеску позабыли убрать».

Тут мимо него прошло несколько человек в средневековых костюмах.

«Чего это они так вырядились? — подумал советник.— Должно быть, с маскарада идут».

Но внезапно послышался барабанный бой и свист дудок, замелькали факелы, и взорам советника представилось удивительное зрелище! Навстречу ему по улице двигалась странная процессия: впереди шли барабанщики, искусно выбивая дробь, а за ними стражники с луками и арбалетами. По-видимому, то

была свита, сопровождавшая какое-то важное лицо. Изумленный советник спросил, что это за шествие и кто этот сановник.

— Епископ Зеландский! — послышалось в ответ.

— Господи помилуй! Что еще такое приключилось с епископом? — вздохнул советник Кнап, грустно покачивая головой.

Размышляя обо всех этих чудесах и не глядя по сторонам, советник медленно шел по Восточной улице, пока наконец не добрался до площади Высокого Мыса. Однако моста, ведущего к Дворцовой площади, на месте не оказалось,— бедный советник едва разглядел в кромешной тьме какую-то речонку и в конце концов заметил лодку, в которой сидели двое парней.

— Прикажете переправить вас на остров? — спросили они.

— На остров? — переспросил советник, не зная еще, что он теперь живет во времена средневековья.— Мне нужно попасть в Христианову гавань на Малую торговую улицу.

Парни вытаращили на него глаза.

— Скажите мне хотя бы, где мост? — продолжал советник.— Ну что за безобразие! Фонари не горят, а грязь такая, что кажется, будто по болоту бродишь!

Но чем больше он говорил с перевозчиками, тем меньше понимал их.

— Не понимаю я вашей тарабарщины! — рассердился наконец советник и повернулся к ним спиной.

Моста он все-таки не нашел; каменный парапет набережной тоже исчез.

«Что делать! Вот безобразие! — думал он. Да, никогда еще действительность не казалась ему такой жалкой и мерзкой, как в этот вечер.— Нет, лучше взять извозчика,— решил он.— Но, господи, куда же они все запропастились? Как назло, ни одного! Вернусь-ка я на Новую королевскую площадь, там, наверно, стоят экипажи, а то мне вовек не добраться до Христиановой гавани!»

Он снова вернулся на Восточную улицу и успел уже пройти ее почти всю, когда взошла луна.

«Господи, что это здесь понастроили?» — изумился советник, увидев перед собой Восточные городские ворота, которые в те далекие времена стояли в конце Восточной улицы.

Наконец он отыскал калитку и вышел на теперешнюю Новую королевскую площадь, которая в старину была просто большим лугом. На лугу там и сям торчали кусты, его пересекал не то широкий канал, не то река. На противоположном берегу расположились жалкие лавчонки халландских шкиперов, отчего место это называлось Халландской высотой.

— Боже мой! Или это мираж, фата-моргана, или я... господи... пьян? — застонал советник юстиции.— Что же это такое? Что же это такое?

И советник опять повернул назад, подумав, что заболел. Шагая по улице, он теперь внимательнее приглядывался к домам и заметил, что все они старинной постройки и многие крыты соломой.

— Да, конечно, я заболел,— вздыхал он,— а ведь всего-то стаканчик пунша выпил, но мне и это повредило. И надо же додуматься — угощать гостей пуншем и горячей лососиной! Нет, я непременно поговорю об этом с госпожой советницей. Вернуться разве к ней и рассказать, какая со мной приключилась беда? Неудобно, пожалуй. Да они там все, наверное, уже давно спать улеглись.

Он стал искать дом одних своих знакомых, но его тоже не оказалось на месте.

— Нет, это просто наваждение какое-то! Не узнаю Восточной улицы. Ни одного магазина! Все только старые, жалкие лачуги — можно подумать, что я попал в Роскилле или Рингстед. Да, плохо мое дело! Ну что уж тут стесняться, вернусь к советнице! Но, черт возьми, как мне найти ее дом? Я больше не узнаю его. Ага, здесь, кажется, еще не спят!.. Ах, я совсем расхворался, совсем расхворался...

Он наткнулся на полуоткрытую дверь, из-за которой лился свет. Это был один из тех старинных трактиров, которые походили на теперешние наши пивные. Общая комната напоминала голштинскую харчевню. В ней сидело несколько завсегдатаев — шкипера, копенгагенские бюргеры и еще какие-то люди, с виду ученые. Попивая пиво из кружек, они вели какой-то жаркий спор и не обратили ни малейшего внимания на нового посетителя.

— Простите,— сказал советник подошедшей к нему хозяйке,— мне вдруг стало дурно. Вы не достанете мне извозчика? Я живу в Христиановой гавани.

Хозяйка посмотрела на него и грустно покачала головой, потом что-то сказала по-немецки. Советник подумал, что она плохо понимает по-датски, и повторил свою просьбу на немецком языке. Хозяйка уже заметила, что посетитель одет как-то странно, а теперь, услышав немецкую речь, окончательно убедилась в том, что перед ней иностранец. Решив, что он плохо себя чувствует, она принесла ему кружку солоноватой колодезной воды. Советник оперся головой на руку, глубоко вздохнул и задумался: куда же все-таки он попал?

— Это вечерний «День»? — спросил он, просто чтобы сказать что-нибудь, увидев, как хозяйка убирает большой лист бумаги.

Она его не поняла, но все-таки протянула ему лист: это была старинная гравюра, изображавшая странное свечение неба, которое однажды наблюдали в Кёльне.

— Антикварная картина! — сказал советник, увидев гравюру, и сразу оживился: — Где вы достали эту редкость? Очень, очень интересно, хотя и сплошная выдумка. На самом деле это было просто северное сияние, как объясняют теперь ученые; и, вероятно, подобные явления вызываются электричеством.

Те, что сидели близко и слышали его слова, посмотрели на него с уважением; один человек даже встал, почтительно снял шляпу и сказал с самым серьезным видом:

— Вы, очевидно, крупный ученый, мосье?

— О нет,— ответил советник,— просто я могу поговорить о том о сем, как и всякий другой.

— Скромность — прекраснейшая добродетель,— изрек его собеседник.— Впрочем, о сути вашего высказывания я другого мнения, хотя и воздержусь пока делиться моим собственным суждением.

— Осмелюсь спросить, с кем имею удовольствие беседовать? — осведомился советник.

— Я бакалавр[1] богословия,— ответил тот.

Эти слова все объяснили советнику — незнакомец был одет в соответствии со своим ученым званием.

«Должно быть, это какой-то старый сельский учитель,— подумал он,— человек не от мира сего, каких еще можно встретить в отдаленных уголках Ютландии».

— Здесь, конечно, не место для ученых бесед,— говорил богослов,— но я все-таки очень прошу вас продолжать свою речь. Вы, конечно, весьма начитаны в древней литературе?

— О да! Вы правы, я частенько-таки почитываю древних авторов, то есть все их хорошие произведения; но очень люблю и новейшую литературу, только не «Обыкновенные истории»; их хватает и в жизни.

— Обыкновенные истории? — переспросил богослов.

— Да, я говорю об этих новых романах, которых столько теперь выходит.

— О, они очень остроумны и пользуются успехом при дворе,— улыбнулся бакалавр.— Король особенно любит романы об Ифвенте и Гаудиане, в которых рассказывается о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, и даже изволил шутить по этому поводу со своими приближенными[2].

---

[1] Бакалавр — низшая ученая степень в старинных университетах.

[2] Знаменитый датский писатель Хольберг рассказывает в своей «Истории Датского государства», что, прочитав роман о рыцарях Круглого стола, король Ганс однажды сказал в шутку своему приближенному Отто Руду, которого очень любил: «Эти господа Ифвент и Гаудиан, о которых говорится в этой книге, были замечательные рыцари. Таких теперь больше не встретишь». На что Отто Руд ответил: «Если бы теперь встречались такие короли, как король Артур, то, наверное, нашлось бы немало таких рыцарей, как Ифвент и Гаудиан». *(Примеч. Андерсена.)*

— Этих романов я еще не читал,— сказал советник юстиции.— Должно быть, это Хольберг что-нибудь новое выпустил?

— Нет, что вы, не Хольберг, а Готфред фон Гемен,— ответил бакалавр.

— Так вот кто автор! — воскликнул советник.— Какое древнее имя! Ведь это наш первый датский книгопечатник, не так ли?

— Да, он наш первопечатник! — подтвердил богослов.

Таким образом, пока что все шло прекрасно. Когда один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей в Дании несколько лет назад, а именно в 1484 году, советник подумал, что речь идет о недавней эпидемии холеры, и разговор благополучно продолжался. А после как было не вспомнить окончившуюся совсем недавно пиратскую войну 1490 года, когда английские каперы захватили стоящие на рейде датские корабли. Тут советник, вспомнив о событиях 1801 года, охотно присоединил свой голос к общим нападкам на англичан. Но дальше разговор что-то перестал клеиться и все чаще прерывался гробовой тишиной. Добрый бакалавр был очень уж невежественный: самые простые суждения советника казались ему чем-то необычайно смелым и фантастичным. Собеседники смотрели друг на друга со все возрастающим недоумением, и, когда наконец окончательно перестали понимать один другого, бакалавр, пытаясь поправить дело, заговорил по-латыни, но это мало помогло.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросила хозяйка, потянув советника за рукав.

Тут он опомнился и в изумлении воззрился на своих собеседников, потому что за разговором совсем забыл, что с ним происходит.

«Господи, где я?» — подумал он, и при одной мысли об этом у него закружилась голова.

— Давайте пить кларет, мед и бременское пиво! — закричал один из гостей.— И вы с нами!

Вошли две девушки, одна из них была в двухцветном чепчике, они подливали гостям вино и низко приседали. У советника даже мурашки забегали по спине.

— Что же это такое? Что это такое? — шептал он, но вынужден был пить вместе со всеми.

Собутыльники так на него насели, что бедный советник пришел в совершеннейшее смятение, и когда кто-то сказал, что он, должно быть, пьян, ничуть в этом не усомнился и только попросил, чтобы ему наняли извозчика. Но все подумали, что он говорит по-московитски. В жизни советник не попадал в такую грубую и неотесанную компанию.

«Можно подумать,— говорил он себе,— что мы вернулись

ко временам язычества. Нет, это ужаснейшая минута в моей жизни!»

Тут ему пришло в голову: а что, если залезть под стол, подползти к двери и улизнуть? Но когда он был уже почти у цели, гуляки заметили, куда он ползет, и схватили его за ноги. К счастью, при этом у него с ног свалились калоши, а с ними рассеялось и волшебство.

При ярком свете фонаря советник отчетливо увидел большой дом и все соседние, узнал и Восточную улицу. Сам он лежал на тротуаре, упираясь ногами в чьи-то ворота, а рядом сидел ночной сторож, спавший крепким сном.

— Господи! Значит, я заснул прямо на улице! — сказал советник.— А вот и Восточная улица... Как здесь светло и красиво! Кто бы мог подумать, что один стакан пунша так подействует на меня!

Спустя две минуты советник уже ехал на извозчике в Христианову гавань. Всю дорогу он вспоминал пережитые им ужасы и от всего сердца благословлял счастливую действительность и свой век, который, несмотря на все его пороки и недостатки, все-таки был лучше средневековья, в котором ему только что довелось побывать. И надо сказать, что на этот раз советник юстиции мыслил вполне разумно.

III. Приключения ночного сторожа

— Гм, кто-то оставил здесь свои калоши! — сказал сторож.— Это, наверно, лейтенант, что живет наверху. Вот ведь какой, бросил их у самых ворот!

Честный сторож, конечно, хотел было немедленно позвонить и отдать калоши их законному владельцу, тем более что у лейтенанта еще горел свет, но побоялся разбудить соседей.

— Ну и тепло, должно быть, ходить в таких калошах! — сказал сторож.— А кожа до чего мягкая!

Калоши пришлись ему как раз впору.

— И ведь как странно устроен мир! — продолжал он.— Взять хотя бы этого лейтенанта: мог бы сейчас преспокойно спать в теплой постели, так нет же, всю ночь шагает взад и вперед по комнате. Вот кому счастье! Нет у него ни жены, ни детей, ни тревог, ни забот; каждый вечер по гостям разъезжает. Хорошо бы мне поменяться с ним местами: я бы тогда стал самым счастливым человеком на земле!

Не успел он это подумать, как волшебной силой калош мгновенно перевоплотился в того офицера, что жил наверху. Теперь он стоял посреди комнаты, держа в руках листок розовой бумаги со стихами, которые написал сам лейтенант.

БУДЬ Я БОГАТ

«Будь я богат,— мальчишкой я мечтал,—
Я непременно б офицером стал,
Носил бы форму, саблю и плюмаж!»
Но оказалось, что мечты — мираж.
Шли годы — эполеты я надел,
Но, к сожаленью, бедность — мой удел.

Веселым мальчиком, в вечерний час,
Когда, ты помнишь, я бывал у вас,
Тебя я детской сказкой забавлял,
Что составляло весь мой капитал.
Ты удивлялась, милое дитя,
И целовала губы мне шутя.

Будь я богат, я б и сейчас мечтал
О той, что безвозвратно потерял...
Она теперь красива и умна,
Но до сих пор сума моя бедна,
А сказки не заменят капитал,
Которого всевышний мне не дал.

Будь я богат, я б горечи не знал
И на бумаге скорбь не изливал,
Но в эти строки душу я вложил
И посвятил их той, которую любил.
В стихи мои вложил я пыл любви!
Бедняк я, бог тебя благослови!

Да, влюбленные вечно пишут подобные стихи, но люди благоразумные их все-таки не печатают. Чин лейтенанта, любовь и бедность — вот злополучный треугольник или, вернее, треугольная половина игральной кости, брошенной на счастье и расколовшейся. Так думал и лейтенант, опустив голову на подоконник и тяжко вздыхая: «Бедняк сторож и тот счастливей, чем я. Он не знает моих мучений. У него есть домашний очаг, а жена и дети делят с ним и радость и горе. Ах, как бы мне хотелось быть на его месте, ведь он гораздо счастливей меня!»

И в тот же миг ночной сторож снова стал ночным сторожем: ведь офицером он сделался лишь благодаря калошам, но, как мы видели, не стал от этого счастливее и захотел вернуться в свое прежнее состояние. И очень вовремя!

«Какой скверный сон мне приснился,— подумал он.— А впрочем, довольно забавный. Надо же, я стал тем самым лейтенантом, который живет у нас наверху. И до чего же скучно он

живет! Как мне не хватало жены и ребятишек: кто-кто, а они всегда готовы зацеловать меня до смерти».

Ночной сторож сидел на прежнем месте и кивал в такт своим мыслям. Сон никак не выходил у него из головы, а на ногах все еще были надеты калоши счастья. По небу покатилась звезда.

«Ишь как покатилась,— сказал себе сторож.— Ну ничего, их там еще много осталось. А хорошо бы увидеть поближе все эти небесные штуковины. Особенно луну...»

Он так размечтался, что палка со звездой на конце — у нас ее прозвали утренней звездой — выпала у него из рук, а глаза уставились на луну, но вот они закрылись, веки слиплись, и сторож начал клевать носом.

— Эй, сторож, который час? — спросил какой-то прохожий.

Не дождавшись ответа, он слегка щелкнул спящего по носу. Тело сторожа потеряло равновесие и во всю длину растянулось на тротуаре.

Решив, что сторож умер, прохожий пришел в ужас и поспешил сообщить об этом куда следует. Сторожа отвезли в больницу, и там с него первым долгом, конечно, сняли калоши.

А как только сняли калоши, волшебство рассеялось, и сторож немедленно ожил. Потом он уверял, что это была самая бредовая ночь в его жизни. Он даже за две марки не согласился бы вновь пережить все эти ужасы. Впрочем, теперь все это позади.

Сторожа выписали в тот же день, а калоши остались в больнице.

IV Приключения молодого медика

Каждый житель Копенгагена много раз видел главный вход в главную городскую больницу, но так как эту историю, возможно, будут читать не только копенгагенцы, нам придется дать кое-какие разъяснения.

Дело в том, что больницу отделяет от улицы довольно высокая решетка из толстых железных прутьев. Прутья эти расставлены так редко, что многие практиканты, если только они худощавы, ухитряются протиснуться между ними, когда в неурочный час хотят выбраться в город. Трудней всего им просунуть голову, так что и в этом случае, как, впрочем, нередко бывает в жизни, большеголовым приходилось труднее всего... Ну, для вступления об этом хватит.

В тот вечер в главной больнице как раз дежурил один молодой медик, о котором хоть и можно было сказать, что «голова у него большая», но... лишь в самом прямом смысле слова.

Шел проливной дождь; однако, невзирая на непогоду и де-

журство, медик все-таки решил сбегать в город по каким-то неотложным делам хотя бы на четверть часика.

«Незачем,— думал он,— связываться с привратником, если можно легко пролезть сквозь решетку».

В вестибюле все еще валялись калоши, забытые сторожем. В такой ливень они были очень кстати, и медик надел их, не догадываясь, что это калоши счастья. Теперь осталось только протиснуться между железными прутьями, чего ему еще ни разу не приходилось делать.

— Господи, только бы просунуть голову,— промолвил он.

И в тот же миг голова его, хотя и очень большая, благополучно проскочила между прутьями — не без помощи калош, разумеется. Теперь дело было за туловищем, но ему никак не удавалось пролезть.

— Ух, какой я толстый! — сказал студент.— А я-то думал, что голову просунуть всего труднее будет. Нет, не пролезть мне!

Он хотел было сразу же втянуть голову обратно, но не тут-то было: она застряла безнадежно, он мог лишь крутить ею сколько угодно и без всякого толка. Сначала медик просто рассердился, но вскоре настроение его испортилось вконец: калоши поставили его прямо-таки в ужасное положение.

К несчастью, он никак не догадывался, что надо просто пожелать освободиться, и сколько ни вертел головой, она не пролезала обратно.

Дождь все лил и лил, и на улице не было ни души. До звонка к дворнику все равно никак было не дотянуться, а сам освободиться он не мог. Он думал, что, чего доброго, придется простоять так до утра: ведь только утром можно будет послать за кузнецом, чтобы он перепилил решетку. И вряд ли удастся перепилить ее быстро, а на шум сбегутся школьники, все окрестные жители,— да, да, сбегутся и будут глазеть на медика, который прикован к решетке, как преступник к позорному столбу! Глазеть, как в прошлом году на огромную агаву, когда она расцвела.

— Ой, кровь так и приливает к голове. Нет, я так с ума сойду! Просто сойду с ума! Ох, только бы мне освободиться!

Давно нужно было медику сказать это: в ту же минуту голова его освободилась, и он стремглав кинулся назад, совершенно обезумев от страха, в который повергли его калоши счастья.

Но если вы думаете, что этим дело и кончилось, то глубоко ошибаетесь. Почувствовав себя худо, наш медик решил, что простудился там, у больничной ограды, и решил немедля взяться за лечение.

«Говорят, в таких случаях всего полезнее русская баня,— вспомнил он.— Ах, если бы я уже лежал на полке́».

И само собой он тут же очутился в бане на самом верхнем полке́. Но лежал он там совсем одетый, в сапогах и калошах, а с потолка на лицо ему капала горячая вода.

— Ой! — закричал медик и побежал скорее принять душ.

Банщик тоже закричал: он испугался, увидев в бане одетого человека.

К счастью, медик, не растерявшись, шепнул ему:

— Не бойся, это я на пари.

Вернувшись домой, медик первым делом поставил себе один большой пластырь из шпанских мушек на шею, а другой на спину, чтобы вытянуть дурь из головы.

Наутро вся спина у него набухла кровью — вот и все, чем его облагодетельствовали калоши счастья. Этого умника с большой головой — с «большой», да только в самом прямом смысле слова.

V Превращения незадачливого писаря

Между тем наш знакомый сторож вспомнил про калоши, которые нашел на улице, а потом оставил в больнице, и забрал их оттуда. Но ни лейтенант, ни соседи не признали этих калош своими, и сторож отнес их в полицию.

— Да они как две капли воды похожи на мои! — сказал один из полицейских писарей, поставив находку рядом со своими калошами и внимательно ее рассматривая.— Тут и опытный глаз сапожника не отличил бы одну пару от другой.

— Господин писарь...— обратился к нему полицейский, вошедший с какими-то бумагами.

Писарь поговорил с ним, а когда опять взглянул на обе пары калош, то уж и сам перестал понимать, которая из них его пара — та, что стоит справа, или та, что слева.

«Мои, должно быть, вот эти, мокрые»,— подумал он и ошибся: это были как раз калоши счастья.

Что же, полиция тоже иногда ошибается.

Писарь надел калоши и, сунув одни бумаги в карман, а другие — под мышку (ему нужно было кое-что перечитать и переписать дома), вышел на улицу. День был воскресный, стояла чудесная погода, и полицейский писарь подумал, что неплохо было бы прогуляться по Фредериксбергу.

Молодой человек отличался редким прилежанием и усидчивостью, так что пожелаем ему приятной прогулки после многих часов работы в душной канцелярии.

Сначала он шел, ни о чем не думая, и калошам поэтому все не представлялось удобного случая проявить свою чудодейственную силу.

Но вот он повстречал в одной аллее своего знакомого, молодого поэта, и тот сказал, что завтра отправляется путешествовать на все лето.

— Эх, вот вы опять уезжаете, а мы остаемся,— сказал писарь.— Счастливые вы люди, летаете себе где хотите и куда хотите, а у нас цепи на ногах.

— Да, но ими вы прикованы к хлебному дереву,— возразил поэт.— Вам нет нужды заботиться о завтрашнем дне, а когда вы состаритесь, получите пенсию.

— Так-то так, но вам все-таки живется гораздо привольнее,— сказал писарь.— Писать стихи — что может быть лучше! Публика носит вас на руках, и вы сами себе господа. А вот попробовали бы вы посидеть в суде, как мы сидим, да повозиться с этими скучнейшими делами!

Поэт покачал головой, писарь тоже покачал головой, и они разошлись в разные стороны, оставшись каждый при своем мнении.

«Удивительный народ эти поэты,— думал молодой чиновник.— Хотелось бы поближе познакомиться с такими натурами, как он, и самому стать поэтом. Будь я на их месте, я бы в своих стихах не стал хныкать. Ах, какой сегодня чудесный весенний день, сколько в нем красоты, свежести, поэзии! Какой необыкновенно прозрачный воздух! Какие причудливые облака! А трава и листья так сладостно благоухают! Никогда я так остро не ощущал этого, как сейчас».

Вы, конечно, заметили, что он уже стал поэтом. Но внешне совсем не изменился — нелепо думать, что поэт не такой же человек, как все прочие. Среди простых людей часто встречаются натуры гораздо более поэтические, чем многие прославленные поэты. Только у поэтов гораздо лучше развита память, и все идеи, образы, впечатления хранятся в ней до тех пор, пока не найдут своего поэтического выражения на бумаге. Когда у простого человека проявляется его поэтически одаренная натура, происходит своего рода превращение, и такое именно превращение произошло с писарем.

«Какое восхитительное благоухание! — думал он.— Оно напоминает мне фиалки у тетушки Лоны. Я был тогда еще совсем маленьким. Господи, и как это я ни разу не вспомнил о ней раньше! Добрая старая тетушка! Она жила как раз за Биржей. Всегда, даже в самую лютую стужу, на окнах у нее зеленели в банках какие-нибудь веточки или росточки, фиалки наполняли комнату ароматом; а я прикладывал нагретые медяки к обледенелым стеклам, чтобы можно было смотреть на улицу. Какой вид открывался из этих окон! На канале стояли вмерзшие в лед корабли, огромные стаи ворон составляли весь их экипаж. Но с наступлением весны суда преображались. С песнями и криками

«ура!» матросы обкалывали лед: корабли смолили, оснащали всем, чем нужно, и они наконец уплывали в заморские страны. Они-то уплывают, а я вот остаюсь здесь; и так будет всегда; всегда я буду сидеть в полицейской канцелярии и смотреть, как другие получают заграничные паспорта. Да, таков мой удел! — И он глубоко-глубоко вздохнул, но потом вдруг опомнился: — Что это такое со мной делается сегодня? Раньше мне ничего подобного и в голову не приходило. Верно, это весенний воздух так на меня действует. А сердце сжимается от какого-то сладостного волнения».

Он полез в карман за своими бумагами.

«Возьмусь за них, буду думать о чем-нибудь другом»,— решил он и пробежал глазами первый попавшийся под руку лист бумаги.

— «Фру Зигбрит, оригинальная трагедия в пяти действиях»,— прочитал он.— Что такое? Странно, почерк мой! Неужели это я написал трагедию? А это еще что? «Интрига на балу, или Большой праздник, водевиль». Но откуда все это у меня? Наверное, кто-нибудь подсунул. Да тут еще письмо...

Письмо прислала дирекция одного театра; она не очень вежливо извещала автора, что обе его пьесы никуда не годятся.

— Гм,— произнес писарь, усаживаясь на скамейку.

В голову его вдруг хлынуло множество мыслей, а сердце исполнилось неизъяснимой нежности... к чему — он и сам не знал. Машинально он сорвал цветок и залюбовался им. Это была простая маленькая маргаритка, но она в течение одной минуты сообщила ему о себе больше, чем можно узнать, выслушав несколько лекций по ботанике. Она рассказала ему предание о своем рождении, рассказала о том, как могуч солнечный свет,— ведь это благодаря ему распустились и заблагоухали ее нежные лепестки. А поэт в это время думал о суровой жизненной борьбе, пробуждающей в человеке неведомые ему силы и чувства. Воздух и свет — возлюбленные маргаритки, но свет — ее главный покровитель, перед ним она благоговеет; а когда он уходит вечером, она засыпает в объятиях воздуха.

— Свет одарил меня красотой! — сказала маргаритка.

— А воздух дает тебе жизнь! — шепнул ей поэт.

Неподалеку стоял мальчуган и хлопал палкой по воде в грязной канаве — брызги разлетались в разные стороны. Писарь задумался вдруг о тех миллионах живых, невидимых простым глазом существ, которые взлетают вместе с водяными каплями на огромную, по сравнению с их собственными размерами, высоту,— вот как если бы мы, например, очутились над облаками. Размышляя об этом, а также о своем превращении, наш писарь улыбнулся: «Я просто сплю и вижу сон. Но какой это все-таки удивительный сон! Оказывается, можно грезить наяву,

сознавая, что это тебе только снится. Хорошо бы вспомнить обо всем этом завтра утром, когда я проснусь. Какое странное состояние! Сейчас я всё вижу так четко, так ясно, чувствую себя таким бодрым и сильным — и в то же время хорошо знаю, что, если утром попытаюсь что-нибудь припомнить, в голову мне полезет только чепуха. Сколько раз это бывало со мной! Все эти чудесные вещи похожи на сокровища гномов: ночью, когда их получаешь, они кажутся драгоценными камнями, а днем превращаются в кучу щебня и увядших листьев».

Вконец расстроенный, писарь грустно вздыхал, поглядывая на птичек, которые весело распевали свои песенки, перепархивая с ветки на ветку.

«И им живется лучше, чем мне. Уметь летать — какая чудесная способность! Счастлив тот, кто ею одарен. Если бы только я мог превратиться в птичку, я бы стал вот таким маленьким жаворонком!»

И в ту же минуту рукава и фалды его сюртука превратились в крылья и обросли перьями, а вместо калош появились коготки. Он сразу заметил все эти превращения и улыбнулся.

«Ну, теперь я убедился, что это сон. Но таких дурацких снов мне еще не приходилось видеть»,— подумал он, взлетел на зеленую ветку и запел.

Однако в его пении уже не было поэзии, так как он перестал быть поэтом: калоши выполняли только одно дело зараз. Захотел писарь стать поэтом — стал, захотел превратиться в птичку — превратился, но зато утратил свои прежние свойства.

«Забавно, нечего сказать! — подумал он.— Днем я сижу в полицейской канцелярии, занимаясь важнейшими делами, а ночью мне снится, что я жаворонком летаю по Фредериксбергскому парку. Да об этом, черт возьми, можно написать целую народную комедию!»

И он слетел на траву, завертел головкой и принялся весело клевать гибкие травинки, казавшиеся ему теперь огромными африканскими пальмами. Внезапно вокруг него стало темно, как ночью; ему почудилось, будто на него набросили какое-то гигантское одеяло! На самом же деле это мальчик из слободки накрыл его своей шапкой. Мальчик запустил руку под шапку и схватил писаря за спинку и крылья. Тот сначала запищал от страха, потом вдруг возмутился:

— Ах ты негодный щенок! Как ты смеешь! Я полицейский писарь!

Но мальчишка услышал только жалобное «пи-и, пи-и-и». Он щелкнул птичку по клюву и пошел с нею дальше, на горку.

По дороге он встретил двух школьников; оба они были в высшем классе по своему положению в обществе и в низшем — по умственному развитию и успехам в науках. Они купили жаворон-

ка за восемь скиллингов. Таким образом, полицейский писарь вернулся в город и оказался в одной квартире на Готской улице.

— Черт побери, хорошо, что это сон,— сказал писарь,— а не то я бы здорово рассердился! Сначала я стал поэтом, потом — жаворонком. И ведь это моя поэтическая натура внушила мне желание превратиться в такую малютку. Однако невеселая это жизнь, особенно когда попадешь в лапы к подобным сорванцам. Ох, чем все это кончится?

Мальчики принесли его в красиво обставленную комнату, где их встретила толстая улыбающаяся женщина. Она ничуть не обрадовалась простой полевой птичке, как она назвала жаворонка, тем не менее разрешила мальчикам оставить его и посадить в маленькую клетку на подоконнике.

— Быть может, он немного развлечет попочку! — добавила она и с улыбкой взглянула на большого зеленого попугая, который важно покачивался на кольце в роскошной металлической клетке.— Сегодня у попочки день рождения,— сказала она, глупо улыбаясь,— и полевая птичка хочет его поздравить.

Попугай, ничего на это не ответив, все так же важно раскачивался взад и вперед. В это время громко запела красивая канарейка, которую сюда привезли прошлым летом из теплой и благоухающей родной страны.

— Ишь крикунья! — сказала хозяйка и набросила на клетку белый носовой платок.

— Пи-пи! Какая ужасная метель! — вздохнула канарейка и умолкла.

Писаря, которого хозяйка назвала полевой птичкой, посадили в маленькую клетку, рядом с клеткой канарейки и по соседству с попугаем. Попугай мог внятно выговаривать одну фразу, нередко звучавшую очень комично: «Нет, будем людьми!», а все остальное получалось у него так же невразумительно, как щебет канарейки. Впрочем, писарь, превратившись в птичку, отлично понимал своих новых знакомых.

— Я порхала над зеленой пальмой и цветущим миндальным деревом,— пела канарейка.— Вместе с братьями и сестрами я летала над чудесными цветами и зеркальной гладью озер, и нам приветливо кивали отражения прибрежных кустов. Я видела стаи разноцветных попугаев, которые рассказывали множество чудеснейших историй.

— Это дикие птицы,— отозвался попугай,— не получившие никакого образования. Нет, будем людьми! Что же ты не смеешься, глупая птица? Если этой остроте смеется сама хозяйка и ее гости, так почему бы не посмеяться и тебе? Не ценить хороших острот — это очень большой порок, должен вам сказать. Нет, будем людьми!

— А ты помнишь красивых девушек, что плясали под сенью

цветущих деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный сок диких растений?

— Конечно, помню,— отвечал попугай,— но здесь мне гораздо лучше! Меня прекрасно кормят и всячески ублажают. Я знаю, что я умен, и с меня довольно. Нет, будем людьми! У тебя, что называется, поэтическая натура, а я сведущ в науках и остроумен. В тебе есть гениальность, но не хватает рассудительности. Ты метишь слишком высоко, поэтому люди тебя осаживают. Со мной они так поступать не станут, потому что я обошелся им дорого. Я внушаю уважение уже одним своим клювом, а болтовней своей могу кого угодно поставить на место. Нет, будем людьми!

— О моя теплая, цветущая родина,— пела канарейка,— я буду петь о твоих темно-зеленых деревьях, чьи ветви целуют прозрачные воды тихих заливов, о светлой радости моих братьев и сестер, о вечнозеленых хранителях влаги в пустыне—кактусах.

— Перестань хныкать! — проговорил попугай.— Скажи лучше что-нибудь смешное. Смех — это знак высокого духовного развития. Вот разве могут, к примеру, смеяться собака или лошадь? Нет, они могут только хныкать, а способностью смеяться одарен лишь человек. Ха-ха-ха, будем людьми! — расхохотался попочка.

— И ты, маленькая серая датская птичка,— сказала канарейка жаворонку,— ты тоже стала пленницей. В твоих лесах, наверное, холодно, но зато в них ты свободна. Лети же отсюда! Смотри, они забыли запереть твою клетку! Форточка открыта, лети же — скорей, скорей!

Писарь так и сделал, вылетел из клетки и уселся возле нее.

В этот миг дверь в соседнюю комнату открылась, и на пороге появилась кошка, гибкая, страшная, с зелеными горящими глазами. Кошка уже совсем было приготовилась к прыжку, но канарейка заметалась в клетке, а попугай захлопал крыльями и закричал:

— Нет, будем людьми!

Писарь похолодел от ужаса и, вылетев в окно, полетел над домами и улицами. Летел, летел, наконец устал, и вот увидел дом, который показался ему знакомым. Одно окно в доме было открыто. Писарь влетел в комнату и уселся на стол.

К своему изумлению, он увидел, что это его собственная комната.

— Нет, будем людьми! — машинально повторил он излюбленную фразу попугая и в ту же минуту вновь стал полицейским писарем, только зачем-то усевшимся на стол.

— Господи помилуй,— сказал писарь,— как это я попал на стол, да еще заснул? И какой дикий сон мне приснился! Какая чепуха!

VI. Конец

На другой день рано утром, когда писарь еще лежал в постели, в дверь постучали, и вошел его сосед, снимавший комнату на том же этаже,— молодой студент-философ.

— Одолжи мне, пожалуйста, твои калоши,— сказал он.— Хоть в саду и сыро, да больно уж ярко светит солнышко. Хочу туда сойти выкурить трубочку.

Он надел калоши и вышел в сад, в котором росло только два дерева — слива и груша; впрочем, даже столь скудная растительность в Копенгагене большая редкость.

Студент прохаживался взад и вперед по дорожке. Время было раннее, всего шесть часов утра. На улице заиграл рожок почтового дилижанса.

— О, путешествовать, путешествовать! — вырвалось у него.— Что может быть прекраснее! Всю жизнь я мечтал о путешествиях. Как хочется уехать подальше отсюда, увидеть волшебную Швейцарию, поездить по Италии!

Хорошо еще, что калоши счастья выполнили желания немедленно, а то бы студент, пожалуй, забрался слишком далеко и для себя самого, и для нас с вами. В тот же миг он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в почтовый дилижанс вместе с восемью другими пассажирами. Голова у него трещала, шею ломило, ноги затекли и болели, потому что сапоги жали немилосердно. Он не спал и не бодрствовал, но был в состоянии какого-то мучительного оцепенения. В правом кармане у него лежал аккредитив, в левом — паспорт, а в кожаном мешочке на груди было зашито несколько золотых.

Стоило нашему путешественнику клюнуть носом, как ему тут же начинало мерещиться, что он уже потерял одно из этих сокровищ, и тогда его бросало в дрожь, а рука его судорожно описывала треугольник — справа налево и на грудь,— чтобы проверить, все ли цело. В сетке над головами пассажиров болтались зонтики, палки, шляпы, и это мешало студенту наслаждаться прекрасным горным пейзажем. Но он все смотрел, смотрел и не мог насмотреться, а в сердце его звучали строки стихотворения, которое написал, хотя и не стал печатать, один известный нам швейцарский поэт:

Прекрасный край! Передо мной
Монблан белеет вдалеке,
Здесь был бы, право, рай земной,
Будь больше денег в кошельке.

Природа здесь была мрачная, суровая и величественная. Хвойные леса, покрывавшие заоблачные горные вершины, изда-

ли казались просто зарослями вереска. Пошел снег, подул резкий, холодный ветер.

— Ух! — вздохнул студент.— Если бы мы уже были по ту сторону Альп! Там теперь наступило лето, и я наконец получил бы по аккредитиву свои деньги. Я так за них боюсь, что все эти альпийские красоты перестали меня пленять. Ах, если б я уже был там!

И он немедленно очутился в самом сердце Италии, где-то на дороге между Флоренцией и Римом.

Последние лучи солнца озаряли лежащее между двумя темно-синими холмами Тразименское озеро, превращая его воды в расплавленное золото. Там, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, теперь виноградные лозы мирно обвивали друг друга своими зелеными плетями. У дороги, под сенью благоухающих лавров, прелестные полуголые ребятишки пасли стадо черных как смоль свиней.

Да, если бы описать эту картину как следует, все бы только и твердили: «Ах, восхитительная Италия!»

Но, как ни странно, ни студент, ни его спутники этого не думали. Тысячи ядовитых мух и комаров тучами носились в воздухе; напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками, насекомые все равно кусали и жалили их. В карете не было человека, у которого не распухло бы все лицо, искусанное в кровь. У лошадей был еще более несчастный вид: бедных животных сплошь облепили огромные насекомые, так что кучер время от времени слезал с козел и отгонял от лошадей их мучителей, но уже спустя мгновение налетали новые.

Скоро зашло солнце, и путешественников охватил пронизывающий холод — правда, ненадолго, но все равно это было не слишком приятно. Зато вершины гор и облака окрасились в непередаваемо красивые зеленые тона, отливающие блеском последних солнечных лучей. Эта игра красок не поддается описанию, ее нужно видеть. Зрелище изумительное, все с этим согласились, но в желудке у каждого было пусто, тело устало, душа жаждала приюта на ночь, а где его найти? Теперь все эти вопросы занимали путешественников гораздо больше, чем красоты природы.

Дорога проходила через оливковую рощу, и казалось, что едешь где-нибудь у себя на родине, между знакомыми голубыми ивами. Вскоре карета подъехала к одинокой гостинице. У ворот ее сидело множество нищих-калек, даже самый бодрый из них казался страшным сыном голода. Словно сама нищета тянулась к путникам из этой кучи тряпья и лохмотьев.

— Господин, помогите несчастным! — хрипели они, протягивая руки за подаянием.

Путешественников встретила хозяйка гостиницы, босая, не-

чесаная, в грязной кофте. Двери в комнатах держались на веревках, под потолком порхали летучие мыши, кирпичный пол был весь в выбоинах, а вонь стояла такая, что хоть топор вешай.

— Лучше бы уж она накрыла нам стол в конюшне,— сказал кто-то из путешественников.— Там, по крайней мере, знаешь, чем дышишь.

Открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха, но тут в комнату протянулись иссохшие руки и послышалось опять:

— Господин, помогите несчастным!

Стены комнаты были сплошь исписаны, и половина надписей ругательски ругала «прекрасную Италию».

Принесли обед; водянистый суп с перцем и прогорклым оливковым маслом, потом приправленный таким же маслом салат и, наконец, несвежие яйца и жареные петушиные гребешки — в качестве украшения пиршества. Даже вино казалось не вином, а какой-то микстурой.

На ночь дверь забаррикадировали чемоданами, и одному путешественнику поручили стоять на часах, а остальные уснули. Часовым был выбран студент-философ. Ну и духота стояла в комнате! Жара нестерпимая, комары, а тут еще стоны нищих под окном, которые даже ночью не давали покою.

«Нет, уж лучше умереть, чем выносить всю эту муку,— подумал студент.— Так хочется спать. Спать, спать, спать и не просыпаться».

Не успел он так подумать, как очутился у себя дома. На окнах висели длинные белые занавески, посреди комнаты на полу стоял черный гроб, а в нем смертным сном спал он сам. Его желание исполнилось.

В этот миг в комнате появились две женщины. Мы их знаем: то были фея Печали и вестница Счастья, и они склонились над умершим.

— Ну,— спросила Печаль,— много счастья принесли человечеству твои калоши?

— Что ж, тому, кто лежит здесь, они, по крайней мере, дали вечный покой! — ответила фея Счастья.

— О нет,— сказала Печаль.— Он сам ушел из мира раньше своего срока. Но я окажу ему благодеяние! — И она стащила калоши со студента.

Смертный сон прервался. Студент-философ проснулся и встал. Фея Печали исчезла, а с ней и калоши. Должно быть, она решила, что теперь они будут принадлежать ей.

РЕБЯЧЬЯ БОЛТОВНЯ

У богатого купца был детский вечер; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек образованный, даже в свое время окончил гимназию. Дети болтали без умолку — у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто «ужасно важное».

— Я камер-юнкерская дочка! — сказала она.

Она точно так же могла быть дочкой лавочника — от человека не зависит, кем он рождается. Но она рассказывала другим детям, что она «урожденная» такая-то, а кто не «урожденный», из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но, если ты не «урожденная», толку не выйдет.

— А уж из тех, чье имя кончается на «сен»,— прибавила она,— никогда ничего путного не выйдет. Тут уж упрись руками в бока да держись подальше от всех этих «сенов»!

И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была премиленькая!

Но дочка купца обиделась: фамилия ее отца была Мадсен, стало быть, тоже оканчивалась на «сен», и вот она гордо закинула головку и сказала:

— Зато мой папа может купить леденцов на целых сто риксдалеров и разбросать их народу! А твой может?

— Ну, а мой папа,— сказала дочка писателя,— может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит мама: ведь это он распоряжается газетой! — И девочка гордо закинула голову — ни дать ни взять принцесса крови!

А за полуотворенною дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку; мальчуган не смел войти в комнату: куда такому бедняку соваться к богатым и знатным детям! Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных, веселящихся детей в щелку; и уже одно это было для него огромным счастьем.

«Вот бы мне на их место!» — думалось ему. Он слышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было пасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать газету, а не то что самим издавать ее. Ну, а хуже всего было то, что фамилия его отца, а значит, и его собственная, как раз кончалась на «сен»! Из него никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но родился он, казалось ему, не хуже других; иначе и быть не могло.

Вот какой был этот вечер!

Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.

В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажете, это легко угадать? Нет, не легко! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него все-таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» — Торвальдсен. Великий скульптор Торвальдсен.

Ну, а другие дети? Дети кровной, денежной и умственной спеси, из них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все они были дети как дети! Вышло из них одно хорошее: задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были так, ребячья болтовня!

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ...

Жил-был молодой человек. Он учился на поэта и хотел стать поэтом к пасхе, а потом жениться и зажить доходом от своих сочинений. Сочинять — значит придумывать что-то новое, это он знал, вот только придумывать не умел. Слишком поздно он родился, все уже было разобрано до того, как он появился на свет, все воспето, обо всем написано.

— Как счастливы были те, что родились тысячу лет назад! — говорил он.— Им не трудно было стяжать бессмертие! Даже тех, кто родился сто лет назад, можно считать счастливыми: все-таки тогда еще оставалось много такого, о чем можно было писать. А теперь все сюжеты для поэзии исчерпаны — о чем же я стану писать?

И до того он доучился, бедняга, что извел себя вконец и заболел. Ни один врач не мог ему помочь, разве что знахарка. Жила она в маленьком домике у шлагбаума, который должна была поднимать перед всадниками и экипажами. Но она умела открывать не только шлагбаум и была умнее самого доктора, ездившего в собственном экипаже и платившего налог за звание.

— Надо пойти к ней! — решил молодой человек.

Жила знахарка в маленьком, чистеньком домике без затей: ни дерева рядом, ни цветов. У дверей только улей — вещь очень полезная! И маленькое картофельное поле — вещь тоже очень полезная! А еще была тут канава, поросшая терновником. Терновник уже отцвел и был усыпан ягодами, от которых сводит рот, если отведать их до того, как их прихватит морозом.

«Вот воплощение нашего лишенного поэзии века!» — поду-

мал молодой человек, и это уже была мысль, золотое зерно, найденное на пороге дома знахарки.

— Запиши ее! — сказала она. — И крошки тоже хлеб! Я знаю, зачем ты пришел: ты не умеешь ничего придумывать, а хочешь стать к пасхе поэтом!

— Обо всем уже написано! — сказал он.— Наше время не то, что доброе старое время!

— Конечно, нет! — отвечала знахарка.— В старые времена знахарок сжигали, а поэты ходили голодные, с продранными локтями. Наше время лучше, самое лучшее. Но у тебя нет правильного взгляда на вещи, нет острого слуха. Есть о чем петь и рассказывать и в наше время, надо только уметь рассказывать. А мысли можно черпать где хочешь — в злаках и травах земных, в текучих и стоячих водах, надо только уметь, надо уметь поймать солнечный луч. На вот попробуй-ка мои очки, приставь к уху мой слуховой рожок и перестань думать только о самом себе.

Не думать о самом себе было трудненько, удивительно, как такая умная женщина могла даже потребовать этого.

Он взял очки и рожок и вышел на середину картофельного поля. Старуха дала ему большую картофелину. В картофелине звенело. Затем послышалась песня со словами — история картофелин, очень интересная будничная история в десяти строках; десяти строк было достаточно.

О чем же пела картофелина?

Она пела о себе и своей семье, о том, как картофель впервые появился в Европе, и о том презрении, какое ей довелось испытать, пока ее не признали за дар, более драгоценный, чем золотые самородки.

— По повелению короля нас раздавали в ратушах всех городов, всем было объявлено о нашем великом значении, но этому никто не верил, не знали даже, как нас сажать. Одни рыли яму и бросали в нее целую меру картофеля. Другие совали в землю одну картофелину здесь, другую там и ждали, что из каждой вырастет целое дерево, с которого можно будет стряхивать плоды. Появлялись отдельные кусты, цветы, водянистые плоды, остальное же погибало. Никому не приходило в голову порыться в земле, поискать там настоящие картофелины... Да, мы много вынесли и выстрадали, то есть не мы, а наши предки, но ведь это все едино.

— Вот так история! — сказал молодой человек.

— Ну хватит, пожалуй. Теперь посмотри на терновник!

— У нас тоже есть близкие родственники на родине картофеля, но только севернее,— рассказывал терновник.— Туда явились норманны из Норвегии, они направились на запад сквозь туманы и бури в неведомую страну и там, за льдами и снегами,

нашли травы и зеленые луга, кусты с темно-синими винными ягодами — терновник. Его ягоды созревали на морозе, как созреваем и мы. А та страна получила название Винланд — «Винная страна», или Гренландия — «Зеленая страна».

— В высшей степени романтическое повествование! — сказал молодой человек.

— Да, а теперь поднимись на насыпь, что возле канавы,— сказала старуха,— да погляди на дорогу, ты увидишь там людей.

— Вот так толпа! — сказал молодой человек.— Да тут историям конца не будет. Шум, гам! У меня просто в глазах рябит. Я лучше отойду назад.

— Нет, шагай вперед! — сказала старуха.— Шагай прямо в людскую толчею, пусть твои глаза и уши будут открыты и сердце тоже, тогда ты скоро что-нибудь да придумаешь. Только прежде чем идти, давай-ка сюда мои очки и слуховой рожок!

И она отняла у него и то и другое.

— Теперь я ровно ничего не вижу! — сказал молодой человек.— И ничего не слышу.

— Ну, тогда не сделаться тебе к пасхе поэтом.

— А когда же?

— Ни к пасхе, ни к троице! Тебе никогда ничего не придумать!

— Так за что же мне взяться, если я хочу зарабатывать на поэзии?

— Ну, этого-то ты можешь добиться хоть к масленице! — сказала старуха.— Трави поэтов! Рази их творения, это все равно что разить их самих. Главное, не дрейфь! Бей сплеча и тогда сколотишь деньжонок, чтобы прокормить себя и жену.

— Чего только не придумают! — сказал молодой человек и ну колотить поэтов направо и налево, раз уж сам не мог заделаться поэтом.

Все это нам поведала знахарка; кому же, как не ей, знать, чего только не придумают.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ,

в которой рассказывается о зеркале и его осколках

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем сейчас. Так вот, жил-был тролль, злой-презлой, сущий дьявол. Раз был он в особенно хорошем расположении духа: смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось дальше некуда, а все дурное и безобразное

так и выпирало, делалось еще гаже. Прекраснейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами, или казалось, будто стоят они кверху ногами, а животов у них вовсе нет! Лица искажались так, что и не узнать, а если у кого была веснушка, то уж будьте покойны — она расползалась и на нос и на губы. А если у человека являлась добрая мысль, она отражалась в зеркале такой ужимкой, что тролль так и покатывался со смеху, радуясь своей хитрой выдумке.

Ученики тролля — а у него была своя школа — рассказывали всем, что сотворилось чудо: теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их истинном свете. Они бегали повсюду с зеркалом, и скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые не отразились бы в нем в искаженном виде.

Напоследок захотелось им добраться и до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось зеркало, так что они еле удерживали его в руках. Но вот они взлетели совсем высоко, как вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось на миллионы, биллионы осколков, и оттого произошло еще больше бед. Некоторые осколки, с песчинку величиной, разлетаясь по белу свету, попадали людям в глаза, да так там и оставались. А человек с таким осколком в глазу начинал видеть все навыворот или замечать в каждой вещи только дурное — ведь каждый осколок сохранял свойство всего зеркала. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было страшнее всего: сердце делалось как кусок льда. Были среди осколков и большие — их вставили в оконные рамы, и уж в эти-то окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки, и худо было, ссли такие очки надевали для того, чтобы лучше видеть и правильно судить о вещах.

Злой тролль надрывался от смеха — так веселила его эта затея. А по свету летало еще много осколков. Послушаем же про них!

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Мальчик и девочка

В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, а потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, и садик у них был чуть

побольше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга, как брат и сестра.

Родители их жили в каморках под крышей в двух соседних домах. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Стоило лишь перешагнуть через желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое.

У родителей было по большому деревянному ящику, в них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты — по одному в каждом ящике, пышно разросшиеся. Родителям пришло в голову поставить эти ящики поперек желоба, так что от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Зелеными гирляндами спускался из ящиков горох, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Родители позволяли мальчику и девочке ходить друг к другу в гости по крыше и сидеть на скамеечке под розами. Как чудесно им тут игралось!

А зимой эти радости кончались. Окна зачастую совсем замерзали, но дети нагревали на печи медные монеты, прикладывали их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное круглое отверстие, а в него выглядывал веселый, ласковый глазок — это смотрели, каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга, а зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а потом подняться на столько же вверх. На дворе перепархивал снежок.

— Это роятся белые пчелки! — говорила старая бабушка.

— А у них тоже есть королева? — спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть такая.

— Есть! — отвечала бабушка.— Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не присаживается на землю, вечно носится в черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки, вот оттого-то и покрываются они морозными узорами, словно цветами.

— Видели, видели! — говорили дети и верили, что все это сущая правда.

— А сюда Снежная королева не может войти? — спрашивала девочка.

— Пусть только попробует! — отвечал мальчик.— Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает.

Но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай был дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них, побольше, упала на край цветочного

ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительно сверкающего льда, и все же живая! Глаза ее сияли, как две ясных звезды, но не было в них ни теплоты, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Кай испугался и спрыгнул со стула. А мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу.

На другой день было ясно и морозно, но потом настала оттепель, а там и весна пришла. Заблистало солнце, прогляну-ла зелень, строили гнезда ласточки. Окна растворили, и дети опять могли сидеть в своем садике в водосточном желобе над всеми этажами.

Розы в то лето цвели пышно, как никогда. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы и радовались солнцу. Ах, какое чудесное стояло лето, как хорошо было под розовыми кустами, которым, казалось, цвести, и цвести вечно!

Как-то раз Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками — зверями и птицами. На больших башенных часах пробило пять.

— Ай! — вскрикнул вдруг Кай.— Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею, он часто-часто моргал, но в глазу как будто ничего не было.

— Должно быть, выскочило,— сказал он.

Но это было не так. Это были как раз осколки того дьявольского зеркала, о котором мы говорили вначале.

Бедняжка Кай! Теперь его сердце должно было стать как кусок льда. Боль прошла, но осколки остались.

— О чем ты плачешь? — спросил он Герду.— Мне совсем не больно! Фу, какая ты некрасивая! — вдруг крикнул он.— Вон ту розу точит червь. А та совсем кривая. Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат.

И он пнул ящик ногою и сорвал обе розы.

— Кай, что ты делаешь! — закричала Герда, а он, видя ее испуг, сорвал еще одну розу и убежал от милой маленькой Герды в свое окно.

Принесет ли теперь ему Герда книжку с картинками, он скажет, что эти картинки хороши только для грудных ребят; расскажет ли что-нибудь старая бабушка — придерется к ее словам. А то дойдет даже до того, что начнет передразнивать ее походку, надевать ее очки, говорить ее голосом. Выходило очень похоже, и люди смеялись. Скоро Кай научился передразнивать и всех соседей. Он отлично умел выставлять напоказ все их странности и недостатки, и люди говорили:

— Удивительно способный мальчуган!

А причиной всему были осколки, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он и передразнивал даже милую малснькую Герду, а ведь она любила его всем сердцем.

И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда шел снег, он явился с большим увеличительным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.

— Погляди в стекло, Герда,— сказал он.

Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Это было так красиво!

— Видишь, как хитро сделано! — сказал Кай.— Гораздо интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если б только они не таяли!

Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками!» — и убежал.

На площади каталось множество детей. Кто посмелее, привязывал свои санки к крестьянским саням и катился далеко-далеко. Это было куда как занятно. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке. Сани объехали вокруг площади два раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее, затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и приветливо кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе все кивал ему, и он продолжал ехать за ним.

Вот они выбрались за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, и стало темно, хоть глаз выколи. Мальчик поспешно отпустил веревку, которою зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к ним и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал — никто не услышал его. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробы, перескакивая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал.

Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина — Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега.

— Славно проехались! — сказала она.— Но ты совсем замерз — полезай ко мне в шубу!

Посадила она мальчика в сани, завернула в свою медвежью шубу. Кай словно в снежный сугроб опустился.

— Все еще мерзнешь? — спросила она и поцеловала его в лоб.

У! Поцелуй ее был холоднее льда, он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что еще немного — и он умрет... Но только на минуту, а потом, напротив, ему стало так хорошо, что он даже совсем перестал зябнуть.

— Мои санки! Не забудь мои санки! — спохватился он.

Санки привязали на спину одной из белых кур, и она полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

— Больше не буду целовать тебя,— сказала она.— Не то зацелую до смерти.

Кай взглянул на нее. Как она была хороша! Лица умней и прелестней он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему.

Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что на самом-то деле он знает совсем мало.

В тот же миг Снежная королева взвилась с ним на черное облако. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни;

они летели над лесами и озерами, над морями и сушей; студеные ветры дули под ними, выли волки, искрился снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь, а днем заснул у ног Снежной королевы.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Цветник женщины, которая умела колдовать

А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто этого не знал, никто не мог дать ответ.

Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота.

Много было пролито по нему слез, горько и долго плакала Герда. Наконец решили, что Кай умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни.

Но вот настала весна, выглянуло солнце.

— Кай умер и больше не вернется! — сказала Герда.

— Не верю! — отвечал солнечный свет.

— Он умер и больше не вернется! — повторила она ласточкам.

— Не верим! — отвечали они.

Под конец и сама Герда перестала этому верить.

— Надену-ка я свои новые красные башмачки (Кай ни разу еще не видел их),— сказала она как-то утром,— да пойду спрошу про него у реки.

Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна-одинешенька за город, прямо к реке.

— Правда, что ты взяла моего названого братца? — спросила Герда.— Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты вернешь мне его!

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки — самое драгоценное, что у нее было,— и бросила в реку. Но они упали у самого берега, и волны сейчас же вынесли их обратно — река словно бы не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана и от ее толчка отошла от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на берег, но пока пробира-

лась с кормы на нос, лодка уже совсем отплыла и быстро неслась по течению.

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. Воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега и щебетали, словно желая ее утешить:

— Мы здесь! Мы здесь!

Лодку уносило все дальше. Герда сидела смирно, в одних чулках: красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее.

«Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда, повеселела, встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами.

Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором ютился домик под соломенной крышей, с красными и синими стеклами в окошках. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. Герда закричала им — она приняла их за живых,— но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла старая-престарая старушка с клюкой, в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

— Ах ты бедное дитятко! — сказала старушка.— И как это ты попала на такую большую быструю реку да забралась так далеко?

С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку клюкой, притянула к берегу и высадила Герду.

Герда была рада-радешенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась незнакомой старухи.

— Ну, пойдем, да расскажи мне, кто ты и как сюда попала,— сказала старушка.

Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Гм! Гм!» Когда девочка кончила, она спросила старушку, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, верно, пройдет, так что горевать пока не о чем, пусть Герда лучше отведает вишен да полюбуется цветами, что растут в саду: они красивее, чем в любой книжке с картинками, и все умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ.

Окна были высоко от пола и все из разноцветных — красных, синих и желтых — стеклышек; от этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла есть их сколько угодно. А пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и золотым

сиянием окружали милое, приветливое, круглое, словно роза, личико девочки.

— Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! — сказала старушка.— Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем!

И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше забывала Герда своего названого братца Кая — старушка умела колдовать. Только она была не злою колдуньей и колдовала лишь изредка, для своего удовольствия; теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась клюкой до всех розовых кустов, и те как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде этих роз вспомнит о своих, а там и о Кае да и убежит от нее.

Потом старушка повела Герду в цветник. Ах, какой аромат тут был, какая красота: самые разные цветы, и на каждое время года! Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились сны, какие видит разве королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветок в саду, но как ни много их было, ей все же казалось, что какого-то недостает, только какого? И вот раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами, и самым красивым из них была роза — старушка забыла ее стереть, когда спровадила живые розы под землю. Вот что значит рассеянность!

— Как! Тут нет роз? — сказала Герда и сейчас же побежала в сад, искала их, искала, да так и не нашла.

Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы падали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов, и как только они увлажнили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же цветущий, как прежде.

Обвила его ручонками Герда, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.

— Как же я замешкалась! — сказала девочка.— Мне ведь надо искать Кая!.. Вы не знаете, где он? — спросила она у роз.— Правда ли, что он умер и не вернется больше?

— Он не умер! — отвечали розы.— Мы ведь были под землей, где лежат все умершие, но Кая меж ними не было.

— Спасибо вам! — сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала: — Вы не знаете, где Кай?

Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о своей собственной сказке или истории. Много их наслушалась Герда, но ни один не сказал ни слова о Кае.

Тогда Герда пошла к одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.

— Ты, маленькое ясное солнышко! — сказала ему Герда.— Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названого братца?

Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы! И в этой песенке ни слова не говорилось о Кае!

— Был первый весенний день, солнце грело и так приветливо светило на маленький дворик. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома, и возле самой стены проглянул первый желтенький цветок, он сверкал на солнце, словно золотой. Во двор вышла посидеть старая бабушка. Вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и поцеловала старушку. Поцелуй девушки дороже золота — он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в сердце, золото и на небе в утренний час! Вот и все! — сказал одуванчик.

— Бедная моя бабушка! — вздохнула Герда.— Верно, она скучает обо мне и горюет, как горевала о Кае. Но я скоро вернусь и его приведу с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы — толку от них не добьешься, они знай твердят свое! — И она побежала в конец сада.

Дверь была заперта, но Герда так долго шатала ржавый засов, что он поддался, дверь отворилась, и девочка так, босоножкой, и пустилась бежать по дороге. Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею.

Наконец она устала, присела на камень и осмотрелась: лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень. Только в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно.

— Господи! Как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха! — сказала Герда и опять пустилась в путь.

Ах, как ныли ее бедные усталые ножки! Как холодно, сыро было вокруг! Длинные листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю; листья так и сыпались. Один только терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь мир!

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Принц и принцесса

Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго смотрел он на девочку, кивая ей головою, и наконец молвил:

— Кар-кар! Здрррравствуй!

Выговаривать по-человечески чище он не мог, но он желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Что такое «одна-одинешенька», Герда знала очень хорошо, сама на себе испытала. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая.

Ворон задумчиво покачал головой и сказал:

— Может быть! Может быть!

— Как! Правда? — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона — так крепко она его расцеловала.

— Потише, потише! — сказал ворон.— Думаю, это был твой Кай. Но теперь он, верно, забыл тебя со своею принцессой!

— Разве он живет у принцессы? — спросила Герда.

— А вот послушай,— сказал ворон.— Только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.

— Нет, этому меня не учили,— сказала Герда.— Как жалко!

— Ну ничего,— сказал ворон.— Расскажу, как сумею, хоть и плохо.

И он рассказал все, что знал.

— В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя! Прочла все газеты на свете и позабыла все, что в них прочла,— вот какая умница! Раз как-то сидит она на троне — а веселья-то в этом не так уж много, как люди говорят,— и напевает песенку: «Отчего бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле!» — подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать такого человека, который бы умел отвечать, когда с ним говорят, а не такого, что умел бы только важничать,— это ведь так скучно! И вот барабанным боем созывают всех придворных дам, объявляют им волю принцессы. Уж так они все обрадовались! «Вот это нам нравится! — говорят.— Мы и сами недавно об этом думали!» Все это истинная правда! — прибавил ворон.— У меня при дворе есть невеста — ручная ворона, от нее-то я и знаю все это.

На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того же, кто будет держать себя

непринужденно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет в мужья. Да, да! — повторил ворон.— Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою. Народ валом повалил во дворец, пошла давка и толкотня, да все без проку ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорят отлично, а стоит им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в серебре да лакеев в золоте и войти в огромные, залитые светом залы — и их оторопь берет. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют за ней ее же слова, а ей вовсе не это было нужно. Ну, точно на них порчу напускали, опаивали дурманом! А выйдут за ворота — опять обретут дар слова. От самых ворот до дверей тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам там был и видел.

— Ну, а Кай-то, Кай? — спросила Герда.— Когда же он явился? И он пришел свататься?

— Постой! Постой! Вот мы дошли и до него! На третий день явился небольшой человечек, не в карете, не верхом, а просто пешком, и прямо во дворец. Глаза блестят, как твои, волосы длинные, вот только одет бедно.

— Это Кай! — обрадовалась Герда.— Я нашла его! — И она захлопала в ладоши.

— За спиной у него была котомка,— продолжал ворон.

— Нет, это, верно, были его санки! — сказала Герда.— Он ушел из дому с санками.

— Очень может быть! — сказал ворон.— Я не особенно вглядывался. Так вот, моя невеста рассказывала, как вошел он в дворцовые ворота и увидел гвардию в серебре, а по всей лестнице лакеев в золоте, ни капельки не смутился, только головой кивнул и сказал: «Скучненько, должно быть, стоять тут на лестнице, войду-ка я лучше в комнаты!» А все залы залиты светом. Тайные советники и их превосходительства расхаживают без сапог, золотые блюда разносят,— торжественнее некуда! Сапоги его страшно скрипят, а ему все нипочем.

— Это, наверное, Кай! — воскликнула Герда.— Я знаю, он был в новых сапогах. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке.

— Да, они таки скрипели порядком,— продолжал ворон.— Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы со своими служанками и служанками служанок и кавалеры со слугами и слугами слуг, а у тех опять прислужники. Чем ближе кто-нибудь стоял к дверям, тем выше задирал нос. На прислужника слуги, прислуживающего слуге и стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без дрожи — такой он был важный!

— Вот страх-то! — сказала Герда.— А Кай все-таки женился на принцессе?

— Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он завел с принцессой беседу и говорил не хуже, чем я по-вороньи,— так, по крайней мере, сказала мне моя ручная невеста. Держался он очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже.

— Да-да, это Кай! — сказала Герда.— Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Ах, проводи же меня во дворец!

— Легко сказать,— отвечал ворон,— трудно сделать. Постой, я поговорю с моей невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девочек!

— Меня впустят! — сказала Герда.— Когда Кай услышит, что я тут, он сейчас же прибежит за мною.

— Подожди меня тут у решетки,— сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал:

— Кар, кар! Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов и вот этот хлебец. Она стащила его на кухне — там их много, а ты, верно, голодна!.. Ну, во дворец тебе не попасть: ты ведь босая — гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и где достать ключ.

И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, где один за другим падали осенние листья, и когда огни во дворце погасли, ворон провел девочку в полуотворенную дверь.

О, как билось сердечко Герды от страха и нетерпения! Точно она собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да, да, он, верно, здесь! Герда так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, и как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние! Ах, она была просто вне себя от страха и радости!

Но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.

— Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, барышня! — сказала ручная ворона.— И ваша жизнь также очень трогательна! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим.

— А мне кажется, за нами кто-то идет,— сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени:

лошади с развевающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.

— Это сны! — сказала ручная ворона.— Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас, удобнее будет рассмотреть спящих.

Тут они вошли в первую залу, где стены были обиты розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой, так что было от чего прийти в замешательство. Наконец они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями; с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидала темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову... Ах, это был не Кай!

Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.

— Ах ты бедняжка! — сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них — только пусть они не делают этого впредь,— и захотели даже наградить их.

— Хотите быть вольными птицами? — спросила принцесса.— Или желаете занять должность придворных ворон, на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали:

— Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде — больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручки и подумала: «Как добры все люди и животные!» — закрыла глаза и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась.

На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце сколько она пожелает.

Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков — она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названого братца.

Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она

простилась со всеми, к воротам подъехала карета из чистого золота, с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы: у кучера, лакеев, форейторов — дали ей и форейторов — красовались на головах маленькие золотые короны.

Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути.

Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею — он не мог ехать, сидя спиною к лошадям. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями, с тех пор как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета была битком набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.

— Прощай! Прощай! — закричали принц и принцесса.

Герда заплакала, ворона — тоже. Через три мили простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание! Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая, как солнце, не скрылась из виду.

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

Маленькая разбойница

Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники; карета горела как жар, она резала разбойникам глаза, и они просто не могли этого вынести.

— Золото! Золото! — закричали они, схватив лошадей под уздцы, убили маленьких форейторов, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.

— Ишь какая славненькая, жирненькая! Орешками откормлена! — сказала старуха разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми, нависшими бровями.— Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?

И она вытащила острый сверкающий нож. Какой ужас!

— Ай! — вскрикнула она вдруг: ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что просто любо.— Ах ты дрянная девчонка! — закричала мать, но убить Герду не успела.

— Она будет играть со мной,— сказала маленькая разбойница.— Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постели.

И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на месте. Разбойники захохотали.

— Ишь как пляшет со своей девчонкой!

— Хочу в карету! — закричала маленькая разбойница и настояла на своем — она была ужасно избалована и упряма.

Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и кочкам в чащу леса.

Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:

— Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты, верно, принцесса?

— Нет,— отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая.

Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула и сказала:

— Они тебя не убьют, даже если я и рассержусь на тебя,— я лучше сама убью тебя!

И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую мягкую теплую муфточку.

Вот карета остановилась: они въехали во двор разбойничьего замка.

Он был весь в огромных трещинах; из них вылетали во́роны и воро́ны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги, казалось, каждому из них нипочем проглотить человека, но они только высоко подпрыгивали и даже не лаяли — это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

— Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца,— сказала Герде маленькая разбойница.

Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердях больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились.

— Все мои! — сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями.— На, поцелуй его! — крикнула она и ткнула голубя Герде прямо в лицо.— А вот тут сидят лесные плутишки,— продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене, за деревянною решеткой.— Эти двое — лесные плутишки. Их надо держать взаперти, не то живо улетят! А вот и мой милый старичина бяшка! — И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике.— Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет! Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом — он до смерти этого боится.

С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.

— Неужели ты и спишь с ножом? — спросила ее Герда.

— Всегда! — отвечала маленькая разбойница.— Мало ли что может статься! Ну, расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету.

Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали; другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвила одною рукой шею Герды — в другой у нее был нож — и захрапела, но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых.

Вдруг лесные голуби проворковали:

— Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях Снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенцы, еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. Курр! Курр!

— Что вы говорите! — воскликнула Герда.— Куда же полетела Снежная королева? Знаете?

— Наверно, в Лапландию — ведь там вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи.

— Да, там вечный снег и лед. Чудо как хорошо! — сказал северный олень.— Там прыгаешь себе на воле по огромным сверкающим равнинам. Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а постоянные ее чертоги — у Северного полюса, на острове Шпицберген.

— О Кай, мой милый Кай! — вздохнула Герда.

— Лежи смирно,— сказала маленькая разбойница.— Не то пырну тебя ножом!

Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:

— Ну, так и быть!.. А ты знаешь, где Лапландия? — спросила она затем у северного оленя.

— Кому же и знать, как не мне! — отвечал олень, и глаза его заблестели.— Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам.

— Так слушай,— сказала Герде маленькая разбойница.— Видишь, все наши ушли, дома одна мать; немного погодя она хлебнет из большой бутылки и вздремнет, тогда я кое-что сделаю для тебя.

И вот старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, а маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:

— Еще долго можно было бы потешаться над тобой! Уж больно ты уморительный, когда тебя щекочут острым ножом. Ну,

да так и быть! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Можешь бежать в свою Лапландию, но за это ты должен отвезти к дворцу Снежной королевы эту девочку — там ее названый брат. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила громко, а у тебя вечно ушки на макушке.

Северный олень так и подпрыгнул от радости. А маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее для верности и даже подсунула под нее мягкую подушку, чтобы ей удобнее было сидеть.

— Так и быть,— сказала она затем,— возьми назад свои меховые сапожки — ведь холодно будет! А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша. Но мерзнуть я тебе не дам: вот огромные рукавицы моей матери, они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки! Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей уродины матери.

Герда плакала от радости.

— Терпеть не могу, когда хнычут! — сказала маленькая разбойница.— Теперь ты должна радоваться. Вот тебе еще два хлеба и окорок, чтобы не пришлось голодать.

И то и другое было привязано к оленю.

Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которою был привязан олень, и сказала ему:

— Ну, живо! Да береги смотри девочку.

Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки по лесу, по болотам и степям. Выли волки, каркали вороны.

Уф! Уф! — послышалось вдруг с неба, и оно словно зачихало огнем.

— Вот мое родное северное сияние! — сказал олень.— Гляди, как горит.

И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот они очутились в Лапландии.

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ

Лапландка и финка

Олень остановился у жалкой лачуги. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках.

Дома была одна старуха лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю

историю Герды, но сначала рассказал свою собственную — она казалась ему гораздо важнее.

Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.

— Ах вы бедняги! — сказала лапландка.— Долгий же вам еще предстоит путь! Придется сделать сто с лишним миль, пока доберетесь до Финляндии, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске — бумаги у меня нет,— и вы снесете послание финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала несколько слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался.

Уф! Уф! — послышалось опять с неба, и оно стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финляндии и постучался в дымовую трубу финки — у нее и дверей-то не было.

Ну и жара стояла в ее жилье! Сама финка, низенькая толстая женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы жарко, положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске.

Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть, а потом сунула треску в котел — рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазами, но не говорила ни слова.

— Ты такая мудрая женщина...— сказал олень.— Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела Снежную королеву!

— Силу двенадцати богатырей! — сказала финка.— Да много ли в том проку!

С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его: он был весь исписан какими-то удивительными письменами.

Финка принялась читать их и читала до того, что пот градом покатился с ее лба.

Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:

— Кай в самом деле у Снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной

же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе Снежная королева сохранит над ним свою власть.

— А не можешь ли ты дать Герде что-нибудь такое, что сделает ее сильнее всех?

— Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди и звери? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас занимать ей силу, ее сила в ее сердце, в том, что она невинный милый ребенок. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколок, то мы и подавно ей не поможем! В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, обсыпанного красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно.

С этими словами финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.

— Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! — закричала Герда, очутившись на морозе.

Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в губы, и по щекам его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад.

Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц.

Она побежала вперед что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба — небо было совсем ясное, и в нем полыхало северное сияние,— нет, они бежали по земле прямо на Герду и становились все крупнее и крупнее.

Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом, но эти были куда больше, страшнее и все живые.

Это были передовые дозорные войска Снежной королевы.

Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоглавых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Однако Герда смело шла все вперед и вперед и наконец добралась до чертогов Снежной королевы.

Посмотрим же, что было в это время с Каем. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она так близко от него.

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ

Что случилось в чертогах Снежной королевы и что случилось потом

Стенами чертогов были вьюги, окнами и дверями буйные ветры. Сто с лишним зал тянулись здесь одна за другой так, как наметала их вьюга. Все они освещались северным сиянием, и самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда. Никогда не устраивались здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, на которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи; никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракою, не сходились на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички.

Холодно, пустынно, грандиозно! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела Снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете.

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого — поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его было все равно что кусок льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек,— которая называется китайской головоломкой. Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, только из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала.

Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова, но никак не мог сложить того, что ёму особенно хотелось,— слово «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить.

— Теперь я полечу в теплые края,— сказала Снежная королева.— Загляну в черные котлы.

Так она называла кратеры огнедышащих гор — Этны и Везувия.

— Побелю их немножко. Это хорошо для лимонов и винограда.

Она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз.

В это-то время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:

— Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!

Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала; горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался:

— Герда! Милая Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? — И он оглянулся вокруг.— Как здесь холодно, пустынно!

И он крепко прижался к Герде. А она смеялась и плакала от радости. И это было так чудесно, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы; поцеловала его в глаза, и они заблестели; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.

Снежная королева могла вернуться когда угодно — его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами.

Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. А когда дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень.

Кай и Герда отправились сначала к финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом — к лапландке. Та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать.

Олень тоже провожал юных путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с ним и с лапландкой.

Вот перед ними и лес. Запели первые птицы, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке с пистолетами за поясом.

Герда сразу узнала и лошадь — она была когда-то впряжена в золотую карету — и девушку. Это была маленькая разбойница.

Она тоже узнала Герду. Вот была радость!

— Ишь ты, бродяга! — сказала она Каю.— Хотелось бы мне знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?

Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.

— Они уехали в чужие края,— отвечала молодая разбойница.

— А ворон? — спросила Герда.

— Лесной ворон умер; ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и сетует на судьбу. Но все это пустяки, а ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его.

Герда и Кай рассказали ей обо всем.

— Ну, вот и сказке конец! — сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет к ним в город.

Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда — своей.

Они шли, и на их пути расцветали весенние цветы, зеленела трава. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: часы говорили «тик-так», стрелки двигались по циферблату. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали совсем взрослыми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой, взяли друг друга за руки, и холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной королевы забылось, как тяжелый сон.

Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло лето, теплое благодатное лето.

САДОВНИК И ГОСПОДА

В миле от столицы, посреди старинной усадьбы, стоял красивый барский дом с массивными стенами, башенками и фронтонами. В этом доме жили муж и жена — богатые и знатные дворяне. Они, правда, приезжали сюда только летом, но это было

самое любимое их поместье. Дом был красив снаружи, удобен и уютен внутри. Высеченный из камня родовой герб хозяев украшал парадный подъезд. Прекрасные розы обвивали этот герб и поднимались вверх по стене, а перед домом расстилался густой ковер зелени. Рядом с белым и красным боярышником здесь красовались редкостные цветы, которые цвели не только в оранжерее, но и под открытым небом.

Недаром у хозяев усадьбы служил хороший садовник. Цветник, фруктовый сад, огород — все это было делом его рук и радовало глаз. За огородом еще сохранились остатки старого сада, заросшего кустами букса, которые были подстрижены в виде шаров и пирамид. А дальше высились два огромных старых дерева, почти совсем высохших. Издали казалось, что внезапный порыв урагана сверху донизу облепил их голые сучья густыми комьями навоза. На самом деле это был не навоз, а птичьи гнезда.

В этих гнездах с незапамятных времен жили крикливые стаи ворон и грачей, которые устроили тут настоящий птичий городок и безраздельно царили в усадьбе. Они ведь были первыми поселенцами в здешних краях, исконными владельцами поместья, его подлинными хозяевами. Двуногих обитателей усадьбы они просто презирали, хоть и мирились волей-неволей с существованием столь низменных созданий. А те иной раз палили в птиц из ружей, и тогда стаи взъерошенных, перепуганных ворон и грачей взлетали с криком: «Карр! Карр!»

Садовник не раз говорил господам, что надо бы срубить эти деревья — они портят вид сада; а как только их не станет, из сада улетят и крикливые птицы. Но господа и слышать не хотели о том, чтобы лишиться деревьев и птичьего гомона. В старых деревьях и в карканье птиц они видели особую прелесть — печать старины, которую хотели сохранить во что бы то ни стало.

— Деревья перешли к птицам по наследству от предков, так пусть же птицы и владеют ими, добрейший Ларсен! — говорили хозяева.

(Ларсеном звали садовника, но для нашей истории это не имеет значения.)

— Разве вам мало места, добрейший Ларсен? В вашем распоряжении цветники и теплицы, фруктовый сад и огород.

Садовник действительно мог распоряжаться цветниками, теплицами, садом и огородом, и он ухаживал за ними, возделывал и пестовал их с усердием и любовью. Господа были этим очень довольны, но не скрывали от садовника, что в других домах их часто угощают такими фруктами и показывают им такие цветы, до которых далеко их собственным цветам и фруктам. Эти слова огорчали садовника, потому что он всем сердцем желал, чтобы сад у его господ был лучший в мире, и ради этого тру-

дился не покладая рук. Руки у него были умелые, а сердце доброе.

Однажды господа пригласили его к себе и сказали ему ласково и снисходительно, как и подобает господам, что вчера они были в гостях у своих знатных друзей и те угостили их яблоками и грушами, да такими сочными, такими ароматными, что сами они, хозяева Ларсена, и все остальные гости пришли в восхищение.

— Конечно,— сказали господа,— те фрукты привезены из-за границы.

Но отчего бы Ларсену не попытаться вырастить такие же в их усадьбе? Вот только смогут ли нежные плоды приспособиться к местному климату? По слухам, яблоки и груши, которые господа ели в гостях, были куплены в городе у самого крупного торговца фруктами; к нему-то господа и послали садовника, чтобы разузнать, из какой страны прибыли эти плоды, и выписать оттуда черенки.

Садовник хорошо знал этого торговца, так как по приказу господ продавал ему излишки фруктов из хозяйского сада.

И вот он поехал в город и спросил у торговца, откуда тот получил хваленые яблоки и груши.

— Из вашего собственного сада! — ответил торговец и показал Ларсену яблоки и груши, которые тот сразу узнал.

Ну и обрадовался садовник! Он поспешил к своим господам и сказал, что яблоки и груши, которые они ели в гостях,— из их собственного сада.

Господа ушам своим не верили.

— Быть не может, Ларсен! — говорили они.— Если вы хотите убедить нас, что это правда, принесите собственноручную расписку торговца фруктами.

И Ларсен принес ее господам.

— Удивительно! — воскликнули они.

Теперь каждый день к господскому столу подавали большие вазы с чудесными яблоками и грушами из их собственного сада. Целыми корзинами рассылались эти фрукты друзьям по соседству, в другие города и даже за границу. Господам это было очень приятно. Однако они никогда не упускали случая напомнить садовнику, что последние две осени погода особенно благоприятствовала фруктовым садам и у всех садовников был хороший урожай.

Прошло немного времени. Однажды господа были приглашены на обед во дворец. На следующий день они вызвали к себе садовника и рассказали ему, что к королевскому столу подавали необыкновенно сочные и сладкие дыни из собственных королевских теплиц.

— Подите к придворному садовнику, любезный Ларсен, и

попросите его дать вам семена этих необыкновенных дынь, хоть немножко.

— Но ведь королевский садовник сам получил от меня эти семена! — радостно воскликнул Ларсен.

— Если так, значит, он сумел вырастить из них превосходные дыни,— заявили господа.— Дыни, поданные к столу, были одна другой лучше!

— Выходит, гордиться надо мне,— сказал Ларсен.— В нынешнем году у королевского садовника дыни не удались; и вот он увидел, какие чудесные дыни растут в саду вашей милости, отведал их и заказал несколько штук для королевского стола.

— Уж не воображаете ли вы, Ларсен, что за королевским столом подавались дыни из нашего сада?

— Ничуть в этом не сомневаюсь,— ответил Ларсен.

Он пошел к королевскому садовнику и получил у него свидетельство, в котором было сказано, что дыни, подававшиеся за обедом в королевском замке, были доставлены из сада, принадлежащего господам Ларсена.

Господа были поражены. Они рассказывали об этом случае всем и каждому и всякий раз показывали свидетельство королевского садовника. А семена дынь, как прежде черенки яблонь и груш, они стали рассылать во многие страны.

Тем временем из разных мест приходили вести, что посланные черенки привились, яблони и груши приносят отменные плоды, которые названы по имени родовой господской усадьбы. Название усадьбы писали теперь на английском, немецком и французском языках.

Прежние хозяева усадьбы и мечтать об этом не могли.

— Лишь бы только садовник не возомнил о себе невесть что,— встревожились господа.

Но Ларсен думал совсем о другом: он стремился к тому, чтобы сохранить за собой славу одного из лучших садовников в стране и каждый год создавать какой-нибудь новый отличный сорт плодов или овощей. И он создавал их, но в благодарность за его труды ему часто приходилось слышать, что первые его прославившиеся фрукты — яблоки и груши — были все-таки самыми лучшими, а все остальные уже не могли с ними сравниться. Дыни, правда, очень вкусны, но все же далеко не так, как яблоки и груши. Клубника тоже хороша, но не лучше той, которую подают у других господ. А когда однажды у садовника не уродилась редиска, то господа только и говорили, что о неудачной редиске, словно позабыв обо всех других овощах и фруктах своего сада.

Можно было подумать, что господам приятно говорить: «В этом году у вас все уродилось плохо, добрейший Ларсен!»

Они были просто счастливы, твердя: «Ах, как плохо все у вас уродилось нынче!»

Несколько раз в неделю садовник приносил в комнату свежие букеты, подобранные с удивительно тонким вкусом; в этих букетах каждый цветок, сочетаясь с другими цветами, становился как будто еще прекраснее.

— У вас хороший вкус, Ларсен,— говорили господа.— Но не забудьте, что этим даром вы обязаны не самому себе, а господу богу.

Однажды садовник принес господам большую хрустальную вазу, в которой плавал лист кувшинки, а на этом листе, опустив в воду длинный плотный стебелек, покоился ярко-голубой цветок величиной с подсолнечник.

— Индийский лотос! — воскликнули господа.

В жизни они не видывали подобного цветка. Они приказали днем выставлять его на солнце, а вечером освещать искусственным светом. И каждый, кто видел этот цветок, приходил в восторг, называя его чудом.

Так назвала его даже знатнейшая дама королевства — молодая принцесса. Она была умная и добрая девушка.

Господа сочли для себя честью преподнести принцессе голубой цветок, и она взяла его с собой во дворец. А они спустились в сад посмотреть, нет ли там другого такого же цветка, но не нашли того, что хотели. Тогда они позвали садовника и спросили, где он достал голубой лотос.

— Мы искали, но не нашли таких цветов ни в оранжерее, ни на клумбах в саду,— сказали они.

— Там их и нет,— улыбнулся садовник.— Этот скромный цветок растет на грядках в огороде. Но правда, он необыкновенно красив! Он похож на голубой кактус, а на самом деле это всего лишь цветок артишока.

— Как же вы не сказали нам раньше? — возмутились господа.— Мы думали, что это редкий заморский цветок! Вы осрамили нас перед принцессой! Она пришла в восторг, как только взглянула на цветок, и сказала, что никогда не видела такого растения, а ведь она прекрасно разбирается в ботанике. Но теперь понятно, почему она его не узнала: науке нечего делать в огороде. И как вам могло прийти в голову, милейший Ларсен, принести в комнаты подобный цветок? Теперь над нами будут потешаться!

И прекрасный голубой цветок, сорванный на грядке, был изгнан из господских покоев, где он оказался не к месту. А господа отправились к принцессе извиняться и объясняться, что цветок был обыкновенным огородным растением, которое садовник вздумал поставить в вазу, за что и получил строгий выговор.

— Это грешно и несправедливо! — укоризненно проговорила

принцесса.— Он открыл для нас цветок, о котором мы ничего не знали, показал нам красоту там, где мы и не думали ее искать! Пока артишоки в цвету, я прикажу придворному садовнику каждый день ставить их в вазу в моей комнате.

Так она и сделала.

Тогда господа объявили садовнику, что он снова может поставить в вазу свежий цветок артишока.

— В сущности, цветок и в самом деле красив,— сказали они.— Да, красив, как это ни странно!

И они даже похвалили садовника.

— Он любит, когда его хвалят,— говорили господа.— Он у нас балованное дитя!

Как-то раз осенью поднялась буря. К ночи она так разбушевалась, что вырвала с корнем несколько могучих деревьев на опушке леса. И к большому горю господ (они так и говорили: «Какое горе!»), но к великой радости садовника, она повалила оба высоких дерева с птичьими гнездами. Слуги потом рассказывали, что к завыванию бури примешивались крики грачей и ворон, которые бились крыльями в оконные стекла.

— Ну, теперь вы рады, Ларсен,— сказали господа.— Буря сломала деревья, и птицы улетели в лес. Ничто здесь больше не напоминает о старине: от нее не осталось и следа. Нас это глубоко огорчает!

Садовник ничего не ответил господам. Он молча лелеял мечту о том, как он возделает теперь прекрасный, солнечный участок земли, к которому прежде не смел прикоснуться, и превратит его в украшение всего сада на радость своим господам.

Вырванные бурей деревья, падая, смяли и поломали старые буксовые кусты, и садовник посадил на их месте простые полевые и лесные растения родной земли.

Ни один садовник, кроме Ларсена, не решился бы посадить в господском саду подобные растения. А Ларсен каждому отвел подходящий для него участок на солнце или в тени — как кому было нужно. Землю он возделывал с любовью, и земля щедро отблагодарила его.

Здесь поднялся уроженец шотландских пустошей — можжевельник, похожий цветом и очертаниями на итальянский кипарис. Расцвел блестящий колючий терновник, одетый зеленью и зимой и летом. А кругом пышно разросся папоротник разных видов, то напоминавший миниатюрные пальмы, то казавшийся предком нежного прекрасного растения, которое мы называем «венерины волосы». Здесь цвел и репейник, который люди обычно презирают, но напрасно, потому что его свежие цветы могут служить украшением любого букета. Репейник рос на сухой почве, а ниже, на более влажном месте, зеленел лопух, тоже презираемое всеми растение, хотя его Королевская свеча — полевое

растение с высоким стеблем и яркими цветами — тянулась ввысь, похожая на огромный многоцветный канделябр. Цвели здесь также ясменник, первоцвет, лесной ландыш, белокрыльник и нежная трехлистная кислица. Любо-дорого было смотреть на всю эту красоту!

А впереди всех, у самой проволочной ограды, расположился ряд карликовых грушевых деревьев, привезенных из Франции. Погода стояла солнечная, уход за ними был заботливый, и они вскоре стали приносить крупные, сочные плоды — такие же, как и у себя на родине.

На месте двух старых, засохших деревьев садовник водрузил два длинных шеста: один из них был увенчан Даннеброгом — датским флагом, а другой шест летом и осенью был обвит душистыми побегами хмеля; зимой же к нему подвешивали кормушку, чтобы птицам небесным было чем поживиться на рождество.

— Наш Ларсен становится сентиментальным на старости лет,— пожимали плечами господа.— Но он служит нам преданно и честно.

В новогоднем номере одного столичного иллюстрированного журнала появилась гравюра, изображавшая старое поместье. На ней виден был и Даннеброг, и кормушка с рождественским угощением для птиц, а подпись гласила: «Какая это прекрасная мысль — возродить давний обычай, столь характерный для подобной старинной усадьбы!»

— Что бы наш Ларсен ни придумал, об этом сейчас же раззвонят по всему свету! — удивлялись господа.— Прямо счастливец какой-то! Право, нам, чего доброго, придется еще гордиться тем, что он служит у нас.

Но они, разумеется, и не думали этим гордиться, ибо никогда не забывали, что они знатные господа, а значит, могут в любую минуту прогнать Ларсена, если им вздумается. Но они его не прогоняли, это были добрые люди, а таких добрых людей на белом свете очень много, к счастью для разных там Ларсенов.

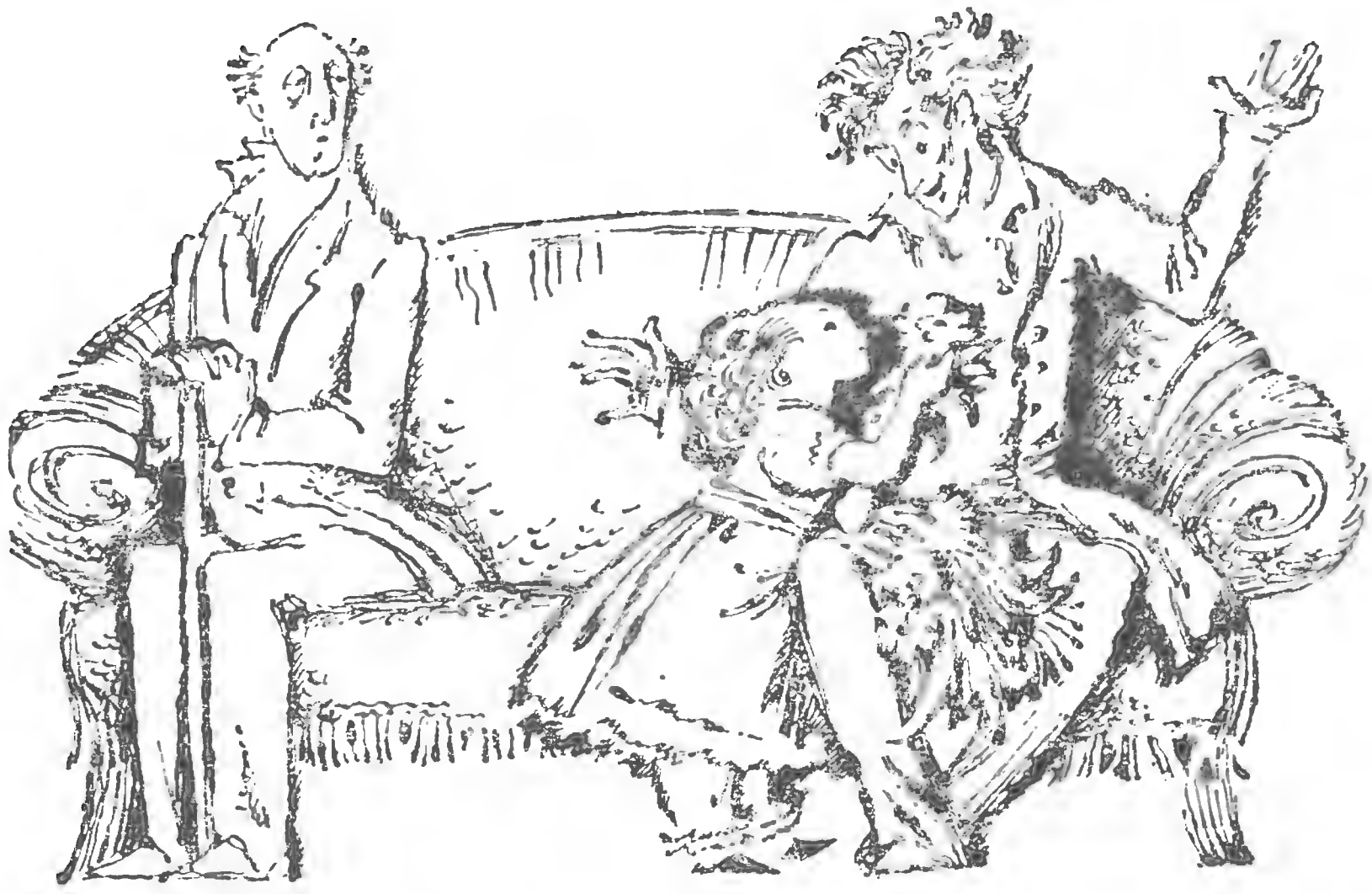
Вот и вся история о садовнике и господах.

Поразмысли-ка о ней на досуге.

ЦВЕТЫ МАЛЕНЬКОЙ ИДЫ

— Бедные мои цветочки совсем завяли! — сказала маленькая Ида.— Вчера вечером они были такие красивые, а теперь совсем повесили головки! Отчего это? — спросила она студента, сидевшего на диване.

Она очень любила этого студента,— он умел рассказывать



чудеснейшие истории и вырезывать презабавные фигурки: сердечки с крошками танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой забавник был этот студент!

— Что же с ними? — спросила она опять и показала ему свой завядший букет.

— Знаешь что? — сказал студент.— Цветы были сегодня ночью на балу, вот и повесили теперь головки!

— Да ведь цветы не танцуют! — сказала маленькая Ида.

— Танцуют! — отвечал студент.— По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают — просто чудо!

— А детям нельзя прийти к ним на бал?

— Отчего же,— сказал студент,— ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.

— А где танцуют самые красивые цветы? — спросила Ида.

— Ты ведь бывала за городом, там, где большой дворец, в котором летом живет король и где такой чудесный сад с цветами? Помнишь лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы!

— Я еще вчера была там с мамой,— сказала маленькая Ида,— но на деревьях нет больше листьев, и во всем саду ни одного цветка! Куда они все девались? Их столько было летом!

— Они все во дворце! — сказал студент.— Надо тебе сказать, что как только король и придворные переезжают в город,

все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые розы садятся на трон — это король с королевой. Красные петушьи гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются — это камер-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Гиацинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями — голубыми фиалками, а тюльпаны и большие желтые лилии — это пожилые дамы, они наблюдают за танцами и вообще за порядком.

— А цветочкам не может достаться за то, что они танцуют в королевском дворце? — спросила маленькая Ида.

— Да ведь никто же не знает об этом! — сказал студент.— Правда, ночью заглянет иной раз во дворец старик смотритель с большою связкою ключей в руках, но цветы, как только заслышат звяканье ключей, сейчас присмиреют, спрячутся за длинные занавески, которые висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда одним глазом.

«Тут что-то пахнет цветами!» — бормочет старик смотритель, а видеть ничего не видит.

— Вот забавно! — сказала маленькая Ида и даже в ладоши захлопала.— И я тоже могу их увидеть?

— Можешь,— сказал студент.— Стоит только, как опять пойдешь туда, заглянуть в окошки. Вот я сегодня видел там длинную желтую лилию; она лежала и потягивалась на диване — воображала себя придворной дамой.

— А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда? Ведь это далеко!

— Не бойся,— сказал студент,— они могут летать, когда захотят! Ты видела красивых красных, желтых и белых бабочек, похожих на цветы? Они ведь и были прежде цветами, только прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками, точно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо, за то и получили позволение летать и днем; другие должны сидеть смирно на своих стебельках, а они летают, и лепестки их стали наконец настоящими крылышками. Ты сама видела их! А впрочем, может быть, цветы из Ботанического сада и не бывают в королевском дворце! Может быть, они даже и не знают, что там идет по ночам такое веселье. Вот что я скажу тебе: то-то удивится потом профессор ботаники — ты ведь его знаешь, он живет тут рядом! — когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце. Тот расскажет об этом остальным, и они все убегут. Профессор придет в сад, а там ни единого цветочка, и он в толк не возьмет, куда они девались!

— Да как же цветок расскажет другим? У цветов нет языка!

— Конечно, нет,— сказал студент,— зато они умеют объяс-

няться знаками! Ты сама видела, как они качаются и шевелят своими зелеными листочками, чуть подует ветерок. Это у них так мило выходит — точно они разговаривают!

— А профессор понимает их знаки? — спросила маленькая Ида.

— Как же! Раз утром он пришел в свой сад и видит, что большая крапива делает листочками знаки прелестной красной гвоздике; этим она хотела сказать гвоздике: «Ты так мила, я очень тебя люблю!» Профессору это не понравилось, и он сейчас же ударил крапиву по листьям — листья у крапивы все равно что пальцы — да обжегся! С тех пор и не смеет ее трогать.

— Вот забавно! — сказала Ида и засмеялась.

— Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? — сказал скучный советник, который тоже пришел в гости и сидел на диване.

Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезал затейливые, забавные фигурки, вроде человека на виселице и с сердцем в руках — его повесили за то, что он воровал сердца,— или старой ведьмы на помеле, с мужем на носу. Все это очень не нравилось советнику, и он всегда повторял:

— Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Но Иду очень позабавил рассказ студента о цветах, и она думала об этом целый день.

«Так цветочки повесили головки потому, что устали после бала!» И маленькая Ида пошла к своему столику, где стояли все ее игрушки; ящик столика тоже битком был набит разным добром. Кукла Софи лежала в своей кроватке и спала, но Ида сказала ей:

— Тебе придется встать, Софи, и полежать эту ночь в ящике; бедные цветы больны, их надо положить в твою постельку, может быть, они и выздоровеют!

И она вынула куклу из кровати. Софи посмотрела на Иду очень недовольно и не сказала ни слова,— она рассердилась за то, что у нее отняли постель.

Ида уложила цветы, укрыла их хорошенько одеялом и велела им лежать смирно, за это она обещала напоить их чаем, и тогда они встали бы завтра утром совсем здоровыми! Потом она задернула полог, чтобы солнце не светило цветам в глаза.

Рассказ студента не шел у нее из головы, и, собираясь идти спать, Ида не могла удержаться, чтобы не заглянуть за спущенные на ночь оконные занавески; на окошках стояли чудесные мамины цветы — тюльпаны и гиацинты, и маленькая Ида шепнула им:

— Я знаю, что у вас ночью будет бал!

Цветы стояли как ни в чем не бывало и даже не шелохнулись, ну да маленькая Ида что знала, то знала.

В постели Ида долго еще думала о том же и все представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют!

«Неужели и мои цветы были на балу во дворце?» — подумала она и заснула.

Но посреди ночи маленькая Ида вдруг проснулась; она видела сейчас во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что тот набивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и папа с мамой крепко спали.

— Хотелось бы мне знать: спят ли мои цветы в постельке? — сказала маленькая Ида про себя и приподнялась с подушки, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой были ее игрушки и цветы; потом она прислушалась,— ей показалось, что в той комнате играют на фортепьяно, но очень тихо и нежно; такой музыки она никогда еще не слыхала.

— Это, верно, цветы танцуют! — сказала Ида.— Господи, как бы мне хотелось посмотреть!

Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить папу с мамой.

— Хоть бы цветы вошли сюда! — сказала она.

Но цветы не входили, а музыка все продолжалась, такая тихая, нежная, просто чудо! Тогда Идочка не выдержала, потихоньку вылезла из кроватки, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в соседнюю комнату. Что за прелесть была там!

В той комнате не горел ночник, а было все-таки светло, как днем, от месяца, глядевшего из окошка прямо на пол, где в два ряда стояли тюльпаны и гиацинты; на окнах не осталось ни единого цветка — одни горшки с землей. Цветы очень мило танцевали: они то становились в круг, то, взявшись за длинные зеленые листочки, точно за руки, кружились парами. На фортепьяно играла большая желтая лилия — это, наверное, ее маленькая Ида видела летом! Она хорошо помнила, как студент сказал: «Ах, как она похожа на фрекен Лину!» Все посмеялись тогда над ним, но теперь Иде и в самом деле показалось, будто длинная желтая лилия похожа на Лину; она и на рояле играла так же, как Лина: поворачивала свое продолговатое лицо то в одну сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Никто не заметил Иды.

Вдруг маленькая Ида увидала, что большой голубой крокус вскочил прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кроватке и отдернул полог; там лежали больные цветы, но они живо поднялись и кивнули головками, давая знать, что и они тоже хотят танцевать. Старый Курилка со сломанной ниж-

ней губой встал и поклонился прекрасным цветам; они совсем не были похожи на больных — спрыгнули со стола и принялись веселиться вместе со всеми.

В эту минуту что-то стукнуло, как будто что-то упало на пол. Ида посмотрела в ту сторону — это была масленичная верба: она тоже спрыгнула со стола к цветам, считая, что она им сродни. Верба тоже была мила; ее украшали бумажные цветы, а на верхушке сидела восковая куколка в широкополой черной шляпе, точь-в-точь такой, как у советника. Верба прыгала посреди цветов и громко топала своими тремя красными деревянными ходульками,— она танцевала мазурку, а другим цветам этот танец не удавался, потому что они были слишком легки и не могли топать.

Но вот восковая кукла на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала:

— Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Теперь кукла была точь-в-точь советник, в черной широкополой шляпе, такая же желтая и сердитая! Но бумажные цветы ударили ее по тонким ножкам, и она опять съежилась в маленькую восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха.

Верба продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею, все равно — вытягивался ли он во всю длину или оставался маленькою восковою куколкой в черной широкополой шляпе. Наконец уж цветы, особенно те, что лежали в кукольной кровати, стали просить за него, и верба оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике, где лежала кукла Софи и другие игрушки. Курилка побежал по краю стола, лег на живот и приотворил ящик. Софи встала и удивленно огляделась.

— Да у вас, оказывается, бал! — проговорила она.— Что же это мне не сказали?

— Хочешь танцевать со мной? — спросил Курилка.

— Хорош кавалер!— сказала Софи и повернулась к нему спиной; потом уселась на ящик и стала ждать — авось ее пригласит кто-нибудь из цветов, но никто и не думал ее приглашать. Она громко кашлянула, но и тут никто не подошел к ней. Курилка плясал один, и очень недурно!

Видя, что цветы и не глядят на нее, Софи вдруг свалилась с ящика на пол и наделала такого шума, что все сбежались к ней и стали спрашивать: не ушиблась ли она? Все разговаривали с нею очень ласково, особенно те цветы, которые только что спали в ее кроватке; Софи нисколько не ушиблась, и цветы маленькой Иды стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели с собой в лунный кружок на полу и принялись танцевать

с ней, а другие цветы кружились вокруг них. Теперь Софи была очень довольна и сказала цветочкам, что охотно уступает им свою кроватку,— ей хорошо и в ящике!

— Спасибо! — сказали цветы.— Но мы не можем жить так долго! Утром мы совсем умрем! Скажи только маленькой Иде, чтобы она схоронила нас в саду, где зарыта канарейка; летом мы опять вырастем и будем еще красивее!

— Нет, вы не должны умирать! — сказала Софи и поцеловала цветы. В это время дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа цветов.

Ида никак не могла понять, откуда они взялись,— должно быть, из королевского дворца. Впереди шли две прелестные розы с маленькими золотыми коронами на головах — это были король с королевой. За ними, раскланиваясь во все стороны, шли чудесные левкои и гвоздики. Музыканты — крупные маки и пионы — дули в шелуху от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они танцевали — и голубые фиалки, и красные ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались, что просто загляденье!

Наконец все пожелали друг другу спокойной ночи, а маленькая Ида тихонько пробралась в свою кроватку, и ей всю ночь снились цветы и все, что она видела.

Утром она встала и побежала к своему столику посмотреть, там ли ее цветочки.

Она отдернула полог — да, они лежали в кроватке, но совсем, совсем завяли! Софи тоже лежала на своем месте в ящике и выглядела совсем сонной.

— А ты помнишь, что тебе надо передать мне? — спросила ее Ида.

Но Софи глупо смотрела на нее и не раскрывала рта.

— Какая же ты нехорошая! — сказала Ида.— А они еще танцевали с тобой!

Потом она взяла картонную коробочку с нарисованною на крышке хорошенькою птичкой, открыла коробочку и положила туда мертвые цветы.

— Вот вам и гробик! — сказала она.— А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы на будущее лето вы выросли еще красивее!

Йонас и Адольф, норвежские кузены, были бойкие мальчуганы; отец подарил им по новому луку, и они пришли показать их Иде. Она рассказала им про бедные умершие цветы и позволила помочь их похоронить. Мальчики шли впереди с луками на плечах; за ними маленькая Ида с мертвыми цветами в короб-

ке. Вырыли в саду могилу, Ида поцеловала цветы и опустила коробку в яму, а Йонас с Адольфом выстрелили над могилкой из луков,— ни ружей, ни пушек у них ведь не было.

СКВЕРНЫЙ МАЛЬЧИШКА

Жил-был старый поэт, настоящий хороший поэт и очень добрый. Раз вечером сидел он дома, а на дворе разыгралась непогода. Дождь лил как из ведра, но старому поэту было так уютно и тепло возле кафельной печки, где ярко горел огонь и, весело шипя, пеклись яблоки.

— Плохо попасть в такую непогоду — нитки сухой не останется! — сказал он.

Он был очень добрый.

— Впустите, впустите меня! Я озяб и весь промок! — закричал вдруг за дверями ребенок.

Он плакал и стучал в дверь, а дождь так и лил, ветер так и бился в окна.

— Бедняжка! — сказал старый поэт и пошел отворять двери.

За дверями стоял маленький мальчик, совсем голенький. С его длинных золотистых волос стекала вода, он дрожал от холода; если бы его не впустили, он бы, наверное, погиб.

— Бедняжка!— сказал старый поэт и взял его за руку.— Пойдем ко мне, я обогрею тебя, дам тебе винца и яблоко; ты такой хорошенький мальчуган!

Он и в самом деле был прехорошенький. Глаза у него сияли, как две яркие звезды, а мокрые золотистые волосы вились кудрями — ну, совсем ангелочек! — хоть он весь и посинел от холода и дрожал как осиновый лист. В руках у него был чудесный лук; беда только — он весь испортился от дождя, краска на длинных стрелах слиняла.

Старый поэт уселся поближе к печке, взял малютку на колени, выжал его мокрые кудри, согрел ручонки в своих руках и вскипятил ему сладкого вина. Мальчик повеселел, щеки у него зарумянились, он спрыгнул на пол и стал плясать вокруг старого поэта.

— Ишь какой ты веселый мальчуган! — сказал старик поэт.— А как тебя зовут?

— Амур! — отвечал мальчик.— Ты разве не знаешь меня? Вот и лук мой. Я умею стрелять! Посмотри, погода разгулялась, месяц светит.

— А лук-то твой испортился! — сказал старый поэт.

— Вот было бы горе! — сказал мальчуган, взял лук и стал

его осматривать.— Он совсем высох, и ему ничего не сделалось! Тетива натянута как следует! Сейчас я его испробую.

И он натянул лук, положил стрелу, прицелился и выстрелил старику поэту прямо в сердце!

— Вот видишь, мой лук совсем не испорчен! — закричал он, громко засмеялся и убежал.

Скверный мальчишка! Выстрелил в старика поэта, который пустил его обогреться, приласкал, напоил вином и дал самое лучшее яблоко!

Добрый старик лежал на полу и плакал: он был ранен в самое сердце. Потом он сказал:

— Фу, какой скверный мальчишка этот Амур! Я расскажу о нем всем хорошим детям, чтобы они береглись, не связывались с ним,— он и их обидит.

И все хорошие дети — и мальчики и девочки — стали остерегаться этого Амура, но он все-таки умеет иногда обмануть их; такой плут!

Идут студенты с лекций, и он рядом: книжка под мышкой, в черном сюртуке, и не узнаешь его! Они думают, что он тоже студент, возьмут его под руку, а он и пустит им стрелу прямо в грудь.

Или вот идут девушки от священника или в церковь — он тоже тут как тут; вечно гоняется за людьми! А то заберется иногда в большую люстру в театре и горит там ярким пламенем; люди-то думают сначала, что это лампа, и уж потом только разберут, в чем дело. Бегает он и по королевскому саду и по крепостной стене. А раз так он ранил в сердце твоих родителей! Спроси-ка у них, они тебе расскажут. Да, скверный мальчишка этот Амур, ты лучше не связывайся с ним! Он только и делает, что бегает за людьми. Подумай, раз он пустил стрелу даже в твою старую бабушку! Было это давно, давно прошло и быльем поросло, а все-таки не забылось да и не забудется никогда! Фу! Злой Амур! Но теперь ты знаешь про него, знаешь, какой это скверный мальчишка!

РОМАШКА

Вот послушайте-ка!

За городом, у самой дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеною деревянною решеткой.

Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели в саду перед дачей, и наша

ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем — желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом-то деле был всего только понедельник; все дети смирно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников; наша ромашка тоже смирно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей природы. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его громких, звучных песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую порхающую певунью птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь.

«Я ведь вижу и слышу все! — думала она.— Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!»

В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки — им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавы. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка! Слава богу, что я расту так близко — увижу все, налюбуюсь вдоволь!» Вдруг раздалось «квир-квир-вит!», и жаворонок спустился... не в сад, к пионам и тюльпанам, а прямехонько в траву, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая славная мягкая травка! Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!»

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно белые лепестки отливали серебром.

Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы — они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы

были лопнуть! Хорошо, что они не умели говорить — досталось бы от них ромашке! Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула: «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепестки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко.

Утром цветок опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка пела, но как грустно! Бедняжка попалась в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце — она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепестки; ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им тут нужно.

— Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка! — сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

— Давай вырвем цветок! — сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику!

— Нет, пусть лучше останется! — сказал первый из мальчиков.— Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку.

Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

— Тут нет воды! — жаловался жаворонок.— Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни глоточка воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Здесь такая духота! Ах, я умру, не видать мне больше ни красного солнышка, ни свежей зелени, ни всего божьего мира!

Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил клюв в свежий, прохладный дерн, увидал ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал:

— И ты завянешь здесь, бедный цветок! Тебя да этот клочок зеленого дерна — вот что они дали мне взамен всего мира! Каждая травинка должна быть для меня теперь зеленым деревом, каждый твой лепесток — благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

«Ах, чем бы мне утешить его!» — думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву.

Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала:

— Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как накануне: она была совсем больна и стояла грустно повесив головку.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю украсили ее цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку — его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, оставили ее умирать в клетке от жажды, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о той, которая все-таки больше всех любила бедную птичку и всем сердцем желала ее утешить.

АИСТЫ

На крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы,— они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах без дела. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен.

«Вот важно так важно! — думал он.— У гнезда моей жены

стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играли ребятишки; увидев аиста, самый озорной из мальчуганов затянул, как умел и помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:

— Аист, аист белый,
Что стоишь день целый,
Словно часовой,
На ноге одной?
Или деток хочешь
Уберечь своих?
Попусту хлопочешь,—
Мы изловим их!
Одного повесим,
В пруд швырнем другого,
Третьего заколем,
Младшего ж живого
На костер мы бросим
И тебя не спросим!

— Послушай-ка, что поют мальчики! — сказали птенцы.— Они говорят, что нас повесят и утопят!

— Не нужно обращать на них внимания! — сказала им мать.— Только не слушайте, ничего и не будет!

Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов; только один из мальчиков, по имени Петер, не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных. А мать утешала птенцов.

— Не обращайте внимания! — говорила она.— Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на одной-то ноге!

— А нам страшно! — сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головки в гнездо.

На другой день ребятишки опять высыпали на улицу, увидали аистов и опять запели:

— Одного повесим,
В пруд швырнем другого...

— Так нас повесят и утопят? — опять спросили птенцы.

— Да нет же, нет! — отвечала мать.— А вот скоро мы начнем ученье! Вам нужно выучиться летать! Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам. Они будут приседать перед нами в воде и петь: «ква-ква-ква!» А мы съедим их — вот будет веселье!

— А потом? — спросили птенцы.

— Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует! Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом! Так вот, старайтесь изо всех сил, когда ученье начнется!

— Так нас все-таки заколют, как сказали мальчики! Слушай-ка, они опять поют!

— Слушайте меня, а не их! — сказала мать.— После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может! Там есть тоже река, которая разливается, и тогда весь берег покрывается илом! Ходишь себе по илу и кушаешь лягушек!

— О! — сказали птенцы.

— Да! Вот прелесть! Так день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время как нам там будет так хорошо, здесь, на деревьях, не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут кусками и будут падать на землю белыми крошками!

Она хотела рассказать им про снег, да не умела объяснить хорошенько.

— А эти нехорошие мальчики тоже застынут кусками? — спросили птенцы.

— Нет, кусками они не застынут, но померзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате и носу не посмеют высунуть на улицу! А вы-то будете летать в чужих краях, где цветут цветы и ярко светит теплое солнышко.

Прошло немного времени, птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и озираться кругом. Папаша-аист каждый день приносил им славных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными штуками! Доставал головою свой хвост, щелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории.

— Ну, пора теперь и за ученье приняться! — сказала им в один прекрасный день мать, и всем четверым птенцам пришлось вылезть из гнезда на крышу.

Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями и все-таки чуть-чуть не свалились!

— Смотрите на меня! — сказала мать.— Голову вот так, ноги так! Раз-два! Раз-два! Вот что поможет вам пробить себе дорогу в жизни! — И она сделала несколько взмахов крыльями. Птенцы неуклюже подпрыгнули и — бац! — все так и растянулись! Они были еще тяжелы на подъем.

— Я не хочу учиться! — сказал один птенец и вскарабкался назад в гнездо.— Я вовсе не хочу лететь в теплые края!

— Так ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой, я сейчас позову их!

— Ай, нет, нет! — сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу.

На третий день они уже кое-как летали и вообразили, что могут также держаться в воздухе на распластанных крыльях.

«Незачем все время ими махать,— говорили они.— Можно и отдохнуть». Так и сделали, но... сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями.

В это время на улице собрались мальчики и запели:

— Аист, аист белый!

— А что, слетим да выклюем им глаза? — спросили птенцы.

— Нет, не надо! — сказала мать.— Слушайте лучше меня, это куда важнее! Раз-два-три! Теперь полетим направо: раз-два-три! Теперь налево, вокруг трубы! Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволю вам завтра отправиться со мной на болото. Там соберется много других милых семейств с детьми,— вот и покажите себя! Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше, так гораздо красивее и внушительнее!

— Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим мальчикам? — спросили птенцы.

— Пусть они себе кричат что хотят! Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листика, ни сладкого яблочка!

— А мы все-таки отомстим! — шепнули птенцы друг другу и продолжали учение.

Задорнее всех из ребятишек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку об аистах. Ему было не больше шести лет, хотя птенцы-то думали, что ему лет сто,— он был ведь куда больше их отца с матерью, а что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей! И вот вся месть птенцов должна была обрушиться на этого мальчика, который был зачинщиком и самым неугомонным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты и чем больше подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше, как перед самым отлетом их в теплые края.

— Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах! Если дело пойдет плохо и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчики ведь будут правы. Вот увидим!

— Увидишь! — сказали птенцы и усердно принялись за

упражнения. С каждым днем дело шло все лучше, и наконец они стали летать так легко и красиво, что просто любо!

Настала осень; аисты начали приготовляться к отлету на зиму в теплые края. Вот так маневры пошли! Аисты летали взад и вперед над лесами и озерами: им надо было испытать себя — предстояло ведь огромное путешествие! Наши птенцы отличились и получили на испытании не по нулю с хвостом, а по двенадцати с лягушкой и ужом! Лучше этого балла для них и быть не могло: лягушек и ужей можно ведь было съесть, что они и сделали.

— Теперь будем мстить! — сказали они.

— Хорошо! — сказала мать.— Вот что я придумала — это будет лучше всего. Я знаю, где тот пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока аист не возьмет их и не отнесет к папе с мамой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудные сны, каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям — крошечного братца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем к тем детям, которые не дразнили аистов; нехорошие же насмешники не получат ничего! А тому доброму мальчику,— надеюсь, вы не забыли его,— который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем зараз и братца и сестрицу. Его зовут Петер, будем же и мы в честь его зваться Петерами!

Как сказано, так и было сделано, и вот всех аистов зовут с тех пор Петерами.

ВОРОТНИЧОК

Жил-был щеголь; у него только и было за душой, что сапожная подставка, гребенка да еще чудеснейший щегольский воротничок. Вот о воротничке-то и пойдет речь.

Воротничок уже довольно пожил на свете и стал подумывать о женитьбе. Случилось ему раз попасть в стирку вместе с чулочною подвязкой.

— Ах! — сказал воротничок.— Что за грация, что за нежность и миловидность! Никогда не видал ничего подобного! Позвольте узнать ваше имя?

— Ах, нет-нет! — отвечала подвязка.

— А где вы, собственно, изволите пребывать?

Но подвязка была очень застенчива, вопрос показался ей нескромным, и она молчала.

— Вы, вероятно, завязка? — продолжал воротничок.— Вроде тесемки, которая стягивает платье на талии? Да-да, я

вижу, милая барышня, что вы служите и для красы и для пользы.

— Пожалуйста, не заводите со мной разговоров! — сказала подвязка.— Я, кажется, не подала вам никакого повода!

— Ваша красота — достаточный повод! — сказал воротничок.

— Ах, сделайте одолжение, держитесь подальше! — вскричала подвязка.— Вы на вид настоящий мужчина!

— Как же, я ведь щеголь! — сказал воротничок.— У меня есть сапожная подставка и гребенка!

И совсем неправда. Эти вещи принадлежали не ему, а его господину; воротничок просто хвастался.

— Подальше, подальше! — сказала подвязка.— Я не привыкла к такому обращению!

— Недотрога! — сказал воротничок.

Тут его взяли из корыта, выстирали, накрахмалили, высушили на солнце и положили на гладильную доску.

Появился горячий утюг.

— Сударыня! — сказал воротничок утюжной плитке.— Прелестная вдовушка! Я пылаю! Со мной происходит какое-то превращение! Я сгораю! Вы прожигаете меня насквозь! Ух!.. Вашу руку и сердце!

— Ах ты рвань! — сказала утюжная плитка и гордо проехалась по воротничку. Она воображала себя локомотивом, который тащит за собой по рельсам вагоны.— Рвань! — повторила она.

Воротничок немножко пообтрепался по краям, и явились ножницы подравнять их.

— О! — воскликнул воротничок.— Вы, должно быть, первая танцовщица? Вы так чудесно вытягиваете ножки! Ничего подобного не видывал! Кто из людей может сравниться с вами? Вы бесподобны!

— Знаем! — сказали ножницы.

— Вы достойны быть графиней! — продолжал воротничок.— Я владею только барином-щеголем, сапожною подставкой и гребенкой... Ах, будь у меня графство...

— Он сватается?! — вскричали ножницы и, осердясь, с размаху так резанули воротничок, что совершенно искалечили его.

Пришлось его бросить.

— Остается присвататься к гребенке! — сказал воротничок.— Удивительно, как сохранились ваши зубки, барышня!.. А вы никогда не думали о замужестве?

— Как же! — сказала гребенка.— Я уже невеста! Выхожу за сапожную подставку!

— Невеста! — воскликнул воротничок.

Теперь ему не за кого было свататься, и он стал презирать всякое сватовство.

Время шло, и воротничок попал наконец с прочим тряпьем на бумажную фабрику. Тут собралось большое тряпичное общество; тонкие тряпки держались, как и подобает, подальше от грубых. У каждой нашлось о чем порассказать, у воротничка, конечно, больше всех: он был страшный хвастун.

— У меня было пропасть невест! — тараторил он.— Так и бегали за мной. Еще бы! Подкрахмаленный, я выглядел таким франтом! У меня даже были собственные сапожная подставка и гребенка, хотя я никогда и не пользовался ими. Посмотрели бы вы на меня, когда я лежал, бывало, на боку! Никогда не забыть мне моей первой невесты — завязки! Она была такая тонкая, нежная, мягкая! Она бросилась из-за меня в лохань! Была тоже одна вдовушка; она дошла просто до белого каления!.. Но я оставил ее, и она почернела с горя! Еще была первая танцовщица; это она ранила меня,— видите? Бедовая была! Моя собственная гребенка тоже любила меня до того, что порастеряла от тоски все свои зубы! Вообще немало у меня было разных приключений!.. Но больше всего жаль мне подвязку, то бишь — завязку, которая бросилась из-за меня в лохань. Да, много у меня кое-чего на совести!.. Пора, пора мне стать белою бумагою!

Желание его сбылось: все тряпье стало белою бумагой, а воротничок — как раз вот этим самым листом, на котором напечатана его история,— так он был наказан за свое хвастовство. И нам тоже не мешает быть осторожнее: как знать? Может быть, и нам придется в конце концов попасть в тряпье да стать белою бумагой, на которой напечатают нашу собственную историю, и вот пойдешь разносить по белу свету всю подноготную о самом себе!

ЛЕН

Лен цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже еще нежнее! Солнце ласкало его, дождь поливал, и льну это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать сначала умоет их, а потом поцелует, дети от этого хорошеют, хорошел и лен.

— Все говорят, что я уродился на славу! — сказал лен.— Говорят, что я еще вытянусь, и потом из меня выйдет отличный кусок холста! Ах, какой я счастливый! Право, я счастливее всех! Это так приятно, что и я пригожусь на что-нибудь! Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает! Ах, я так счастлив, так счастлив! Я счастливее всех!

— Да, да, да! — сказали колья изгороди.— Ты еще не знаешь света, а мы так вот знаем,— вишь, какие мы сучковатые!

И они жалобно заскрипели:

— Оглянуться не успеешь,
Как уж песенке конец!

— Вовсе не конец! — сказал лен.— И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет дождик! Я чувствую, что расту и цвету! Я счастливее всех на свете!

Но вот раз явились люди, схватили лен за макушку и вырвали с корнем. Больно было! Потом его положили в воду, словно собирались утопить, а после того держали над огнем, будто хотели изжарить. Ужас что такое!

— Не вечно же нам жить в свое удовольствие! — сказал лен.— Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь!

Но льну приходилось уж очень плохо. Чего-чего только с ним не делали: и мяли, и тискали, и трепали, и чесали — да просто всего и не упомнишь! Наконец он очутился на прялке. Жжж! Тут уж поневоле все мысли вразброд пошли!

«Я ведь так долго был несказанно счастлив! — думал он во время этих мучений.— Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю! Да, надо, надо!.. Ох!»

И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Но вот наконец из него вышел большой кусок великолепного холста. Весь лен до последнего стебелька пошел на этот кусок.

— Но ведь это же бесподобно! Вот уж не думал, не гадал-то! Как мне, однако, везет! А колья-то все твердили: «Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец!» Много они смыслили, нечего сказать! Песенке вовсе не конец! Она только теперь и начинается. Вот счастье-то! Да если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете! Какой я теперь крепкий, мягкий, белый и длинный! Это небось получше, чем просто расти или даже цвести в поле! Там никто за мною не ухаживал, воду я только и видал, что в дождик, а теперь ко мне приставили прислугу, каждое утро меня переворачивают на другой бок, каждый вечер поливают из лейки! Сама пасторша держала надо мною речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего куска! Ну, можно ли быть счастливее меня!

Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну и досталось же ему! Его и резали, и кроили, и кололи иголками — да, да! Нельзя сказать, чтобы это было приятно! Зато из холста вышло двенадцать пар... таких принадлежностей туалета, которые не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых двенадцать пар вышло!

— Так вот когда только из меня вышло кое-что! Вот каково было мое назначение! Да ведь это же просто благодать! Теперь

и я приношу пользу миру, а в этом ведь вся и суть, в этом-то вся и радость жизни! Нас двенадцать пар, но все же мы одно целое, мы — дюжина! Вот так счастье!

Прошли года, и белье износилось.

— Всему на свете бывает конец! — сказало оно.— Я бы и радо было послужить еще, но невозможное — невозможно!

И вот белье разорвали на тряпки. Они было уже думали, что им совсем пришел конец, так их принялись рубить, мять, варить, тискать... Ан, глядь — они превратились в тонкую белую бумагу!

— Нет, вот сюрприз так сюрприз! — сказала бумага.— Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать. Чего только на мне не напишут! Какое счастье!

И на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее,— так хорошо и умно они были написаны. Какое счастье, что люди смогли их прочитать!

— Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубенькими цветочками! — говорила бумага.— И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастье нести людям радость и знания! Я все еще не могу прийти в себя от счастья! Самой себе не верю! Но ведь это так! Сама я тут ни при чем, я старалась только по мере слабых сил своих не даром занимать место! И вот жизнь несет меня от одной радости и почести к другой! Всякий раз, как я подумаю: «Ну вот и песенке конец», тут-то как раз и начинается для меня новая, еще высшая, лучшая жизнь! Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне! Так ведь и должно быть! Прежде у меня были голубенькие цветочки, теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшею мыслью! Счастливее меня нет никого на свете!

Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию, и все, что на ней было написано, перепечатали в книгу, да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большему числу людей, нежели одна та бумага, на которой были написаны рассказы: бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути.

«Да, конечно, так дело-то будет вернее! — подумала исписанная бумага.— Этого мне и в голову не приходило! Я останусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую бабушку! На мне ведь все написано, слова стекали с пера прямо на меня! Я останусь, а книги будут бегать по белу свету! Вот это дело! Нет, как я счастлива, как я счастлива!»

Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе и положили на полку.

— Ну, можно теперь и опочить на лаврах! — сказала бумага.— Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточиться!

Теперь только я поняла как следует, что во мне есть! А познать себя самое — большой шаг вперед. Но что же будет со мной потом? Одно я знаю — что непременно двинусь вперед! Все на свете постоянно идет вперед, к совершенству.

В один прекрасный день бумагу взяли да и сунули в плиту; ее решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную лавочку на обертку масла и сахара.

Дети обступили плиту; им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет и как потом по золе начнут перебегать и потухать одна за другою шаловливые, блестящие искорки! Точь-в-точь ребятишки бегут домой из школы! После всех выходит учитель — это последняя искра. Но иногда думают, что он уже вышел — ан нет! Он выходит еще много времени спустя после самого последнего школьника!

И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула!

— Уф! — сказала она и в ту же минуту превратилась в столб пламени, которое взвилось в воздух высоко-высоко, лен никогда не мог поднять так высоко своих голубеньких цветочных головок, и пламя сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение зарделись, и все слова и мысли обратились в пламя!

— Теперь я взовьюсь прямо к солнцу! — сказало пламя, словно тысячами голосов зараз, и взвилось в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче, воздушнее пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько когда-то было цветочков на льне. Когда пламя погасло, они еще раз проплясали по черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок.

Ребятишки выбежали из школы, за ними вышел и учитель; любо было поглядеть на них! И дети запели над мертвою золой:

— Оглянуться не успеешь,
Как уж песенке конец!

Но незримые крошечные существа говорили:

— Песенка никогда не кончается — вот что самое чудесное! Мы знаем это, и потому мы счастливее всех!

Но дети не расслышали ни одного слова, а если б и расслышали, не поняли бы. Да и не надо! Не все же знать детям!

ГАНС ЧУРБАН

Старая история, пересказанная вновь

Была в одной деревне старая усадьба, а у старика владельца ее было два сына, да таких умных, что и вполовину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне; это было можно,— она сама объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре.

Оба брата готовились к испытанию целую неделю — больше времени у них не было, да и того было довольно: знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года — одинаково хорошо мог пересказывать и с начала и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина; значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки,— вот какой был искусник!

— Уж я-то добуду королевскую дочь! — говорили и тот и другой.

И вот отец дал каждому по прекрасному коню: тому, что знал наизусть словарь и газеты, вороного, а тому, что обладал государственным умом и вышивал подтяжки, белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче открывался, и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является третий брат,— всего-то их было трое, да третьего никто и не считал: далеко ему было до своих ученых братьев, и звали его попросту Ганс Чурбан.

— Куда это вы так разрядились? — спросил он.

— Едем ко двору «выговорить» себе королевну! Ты не слыхал разве, о чем барабанили по всей стране?

И ему рассказали, в чем дело.

— Эге! Так и я с вами! — сказал Ганс Чурбан.

Но братья только засмеялись и уехали.

— Отец, дай мне коня! — закричал Ганс Чурбан.— Меня страсть забрала охота жениться! Возьмет королевна меня — ладно, а не возьмет — я сам ее возьму!

— Пустомеля! — сказал отец.— Не дам я тебе коня. Ты и говорить-то не умеешь! Вот братья твои — те молодцы!

— Коли не даешь коня, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня! — И Ганс Чурбан уселся на козла верхом, всадил ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. Эх ты, ну, как понесся!

— Знай наших! — закричал он и запел во все горло.

А братья ехали себе потихоньку, молча; им надо было хоро-

шенько обдумать все красные словца, которые они собирались подпустить в разговоре с королевной,— тут ведь надо было держать ухо востро.

— Го-го! — закричал Ганс Чурбан.— Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!

И он показал дохлую ворону.

— Чурбан! — сказали те.— Куда ты ее тащишь?

— В подарок королевне!

— Вот, вот! — сказали они, расхохотались и уехали вперед.

— Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел! Такие штуки не каждый день валяются на дороге!

Братья опять обернулись посмотреть.

— Чурбан! — сказали они.— Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха! И его ты тоже подаришь королевне?

— И его подарю! — ответил Ганс Чурбан.

Братья засмеялись и уехали от него вперед.

— Го-го! Вот и я! — опять закричал Ганс Чурбан.— Нет, чем дальше, тем больше! Го-го!

— Ну-ка, что ты там еще нашел? — спросили братья.

— А нет, не скажу! Вот обрадуется-то королевна!

— Тьфу! — плюнули братья.— Да ведь это грязь из канавы!

— И еще какая! — ответил Ганс Чурбан.— Первейший сорт, в руках не удержишь, так и течет!

И он набил себе грязью полный карман.

А братья пустились от него вскачь и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шести человек, и ставили их так близко друг к другу, что им и шевельнуться было нельзя. И хорошо, что так, не то они распороли бы друг другу спины за то только, что один стоял впереди другого.

Все остальные жители страны собрались около дворца. Многие заглядывали в самые окна — любопытно было посмотреть, как королевна принимает женихов. Женихи входили в залу один за другим, и как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется!

— Не годится! — говорила королевна.— Вон его!

Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все, а тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь себя вверх ногами, у каждого окна по три писца, да еще один советник, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать на углу по два скиллинга,— просто ужас. К тому же печку так натопили, что она раскалилась докрасна.

— Какая жара здесь! — сказал наконец жених.

— Да, отцу сегодня вздумалось жарить петушков! — сказала королевна.

Жених и рот разинул, такого разговора он не ожидал и не

нашелся, что ответить, а ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее.

— Э-э! — проговорил он.

— Не годится! — сказала королевна.— Вон!

Пришлось ему убраться восвояси. За ним явился к королевне другой брат.

— Ужасно жарко здесь! — начал он.

— Да, мы жарим сегодня петушков! — ответила королевна.

— Как, что, ка..? — пробормотал он, и все писцы написали: «как, что, ка..?»

— Не годится! — сказала королевна.— Вон!

Тут явился Ганс Чурбан. Он въехал на козле прямо в залу.

— Вот так жарища! — сказал он.

— Да, я жарю петушков! — ответила королевна.

— Вот удача! — сказал Ганс Чурбан.— Так и мне можно будет зажарить мою ворону?

— Можно! — сказала королевна.— А у тебя есть в чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковородки!

— У меня найдется! — сказал Ганс Чурбан.— Вот посудинка, да еще с ручкой!

И он вытащил из кармана старый деревянный башмак и положил в него ворону.

— Да это целый обед! — сказала королевна.— Но где ж нам взять подливку?

— А у меня в кармане! — ответил Ганс Чурбан.— У меня ее столько, что девать некуда, хоть бросай!

И он зачерпнул из кармана горсть грязи.

— Вот это я люблю! — сказала королевна.— Ты скор на ответы, за словом в карман не лезешь, тебя я и возьму в мужья! Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три писца да еще один советник? А советник-то хуже всех — ничего не понимает!

Это все она наговорила, чтобы испугать Ганса. А писцы заржали и посадили на пол кляксы.

— Ишь какие господа! — сказал Ганс Чурбан.— Вот я сейчас угощу его!

И он недолго думая выворотил карман и залепил советнику все лицо грязью.

— Вот это ловко! — сказала королевна.— Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь!

Так и стал Ганс Чурбан королем, женился, надел корону и сел на трон. Мы узнали все это из газеты, которую издает муниципальный советник, но на нее не след полагаться.

Оскар
Уайльд
Сказка

МАЛЬЧИК-ЗВЕЗДА

Как-то раз двое бедных Лесорубов возвращались домой, пробираясь через густой сосновый бор. Была зимняя ночь, стоял лютый мороз. И на земле и на деревьях лежал толстый снежный покров, и когда Лесорубы пробирались сквозь чащу, маленькие обледеневшие веточки обламывались от их движений, а когда они приблизились к Горному Водопаду, то увидели, что он неподвижно застыл в воздухе, потому что его поцеловала Королева Льда.

Мороз был так лют, что даже звери и птицы совсем растерялись от неожиданности.

— Уф! — проворчал Волк и запрыгал между кустами, поджав хвост.— Какая чудовищная погода! Не понимаю, куда смотрит правительство.

— Фью! Фью! Фью! — просвиристели зеленые Коноплянки.— Старушка Земля умерла, и ее одели в белый саван.

— Земля готовится к свадьбе, а это ее подвенечный наряд,— прошептали друг другу Горлинки. Их маленькие розовые ножки совершенно окоченели от холода, но они считали своим долгом придерживаться романтического взгляда на мир.

— Вздор! — проворчал Волк.— Говорю вам, что во всем виновато правительство, а если вы мне не верите, я вас съем.—Волк обладал очень трезвым умом и в споре никогда не лез за словом в карман.

— Ну, что касается меня,— сказал Дятел, который был прирожденным философом,— я не нуждаюсь в физических законах для объяснения явлений. Если вещь такова сама по себе, то она сама по себе такова, а сейчас адски холодно.

Холод в самом деле был адский. Маленькие Белочки, жившие в дупле высокой ели, все время терли друг другу носы, чтобы хоть немного согреться, а Кролики съежились в комочек в своих норках и не смели выглянуть наружу. И только большие рогатые Совы — одни среди всех живых существ — были, по-видимому, довольны. Их перья так обледенели, что стали совсем твердыми, но это их нисколько не смущало, они таращили свои огромные желтые глаза и перекликались друг с другом через весь лес:

— У-уу! У-уу! У-уу! У-уу! Какая нынче восхитительная погода!

А двое Лесорубов все шли и шли через бор, ожесточенно дуя на замерзшие пальцы и топая по обледенелому снегу тяжелыми, подбитыми железом сапогами. Один раз они провалились в глубокий, занесенный снегом овраг и вылезли оттуда белые, как мукомолы, когда те стоят у крутящихся жерновов; а в другой раз они поскользнулись на твердом гладком льду замерзшего болота, вязанки хвороста у них рассыпались, и пришлось им собирать их и заново увязывать; а еще как-то им почудилось, что они заблудились, и на них напал великий страх, ибо им было известно, что Снежная Дева беспощадна к тем, кто засыпает в ее объятиях. Но они возложили свои надежды на заступничество Святого Мартина, который благоприятствует всем путешественникам, и вернулись немного обратно по своим следам, а дальше шли с большей осмотрительностью и в конце концов вышли на опушку и увидели далеко внизу в долине огни своего селения.

Они очень обрадовались, что выбрались наконец из леса, и громко рассмеялись, а долина показалась им серебряным цветком и Луна над ней — цветком золотым.

Но, посмеявшись, они снова стали печальны, потому что вспомнили про свою бедность, и один из них сказал другому:

— С чего это мы так развеселились? Ведь жизнь хороша только для богатых, а не для таких, как мы с тобой. Лучше бы нам замерзнуть в бору или стать добычей диких зверей.

— Ты прав,— отвечал его товарищ.— Одним дано очень много, а другим — совсем мало. В мире царит несправедливость, и благами она одаряет лишь немногих, а вот горе отмеряет щедрой рукой.

Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное и странное. Прекрасная, необычайно яркая звезда упала с неба. Она покатилась по небосводу меж других звезд, и когда изумленные Лесорубы проводили ее взглядом, им показалось, что она упала за старыми ветлами возле небольшой овчарни, неподалеку от того места, где они стояли.

— Слушай! Да ведь это же кусок золота, надо его разыскать! — разом закричали оба и тут же припустились бежать — такая жажда золота их обуяла.

Но один из них бежал быстрее другого, перегнал своего товарища, пробрался между ветлами... И что же он увидел? На белом снегу и вправду лежало что-то, сверкающее, как золото. Лесоруб подбежал, наклонился, поднял этот предмет с земли и увидел, что он держит в руках плащ из золотой ткани, причудливо расшитый звездами и ниспадающий пышными складками. И он крикнул своему товарищу, что нашел сокровище, упавшее с неба, и тот поспешил к нему, и они опустились на снег и расправили складки плаща, чтобы достать оттуда золото и разделить его между собой. Но увы! В складках плаща они не обнаружили ни

К стр. 501

золота, ни серебра, ни других сокровищ, а увидели только спящее дитя. И один Лесоруб сказал другому:

— Все наши надежды пошли прахом, нет нам с тобой удачи! Ну какая польза человеку от ребенка? Давай оставим его здесь и пойдем своим путем, ведь мы люди бедные, у нас и своих детей хватает, и мы не можем отнимать у них хлеб, чтобы отдавать его другим.

Но второй Лесоруб отвечал так:

— Нет, нельзя совершить такое злое дело — оставить это дитя замерзать тут на снегу, и хоть я не богаче тебя и у меня еще больше ртов просят хлеба, а в горшках тоже не густо, все равно я отнесу этого ребенка к себе домой, и моя жена позаботится о нем.

И он осторожно поднял ребенка, завернул его в плащ, чтобы защитить от жгучего мороза, и зашагал вниз с холма к своему селению, а его товарищ очень подивился про себя такой его глупости и мягкосердечию.

А когда они пришли в селение, его товарищ сказал:

— Ты взял себе ребенка, так отдай мне плащ, ты же должен поделиться со мной находкой.

Но тот отвечал ему:

— Нет, не отдам, потому что этот плащ не твой и не мой, а принадлежит только ребенку,— и, пожелав ему доброго здоровья, подошел к своему дому и постучал в дверь.

Когда жена отворила дверь и увидела, что это ее муженек возвратился домой целый и невредимый, она обвила руками его шею, и поцеловала его, и сняла с его спины вязанку хвороста, и отряхнула снег с его сапог, и пригласила его войти в дом.

Но Лесоруб сказал жене:

— Я нашел кое-что в лесу и принес тебе, чтобы ты позаботилась о нем.— И он не переступил порога.

— Что же это такое? — воскликнула жена.— Покажи скорее, ведь у нас в дому пусто, и мы во многом нуждаемся.

И тогда он распахнул плащ и показал ей спящее дитя.

— Увы мне! — горестно прошептала жена.— Разве у нас нет собственных детей, что тебе, хозяин, понадобилось сажать к нашему очагу подкидыша? А может, он принесет нам несчастье? И кто его знает, как надо за ним ухаживать? — И она очень рассердилась на мужа.

— Да ты послушай, ведь это Дитя-звезда,— отвечал муж и рассказал жене удивительную историю о том, как он нашел этого ребенка.

Но это ее не успокоило, и она начала насмехаться над ним, и бранить его:

— Наши дети сидят без хлеба, а мы будем кормить чужого ребенка? А о нас кто позаботится? Нам кто даст поесть?

— Но ведь господь заботится даже о воробьях и дает им пропитание,— отвечал муж.

— А мало воробьев погибает от голода зимой? — спросила жена.— И разве сейчас не зима?

На это муж ничего не ответил ей, но и не переступил порога.

И тут злой ветер, прилетев из леса, ворвался в распахнутую дверь, и жена вздрогнула, поежилась и сказала мужу:

— Почему ты не затворишь дверь? Смотри, какой студеный ветер, я совсем замерзла.

— В доме, где живут люди с каменными сердцами, всегда будет стужа,— сказал муж.

И жена не ответила ему ничего, только ближе пододвинулась к огню.

Но прошло еще немного времени, и она обернулась к мужу и поглядела на него, и ее глаза были полны слез. И тогда он быстро вошел в дом и положил ребенка ей на колени. А она, поцеловав ребенка, опустила его в колыбельку рядом с младшим из своих детей. А на другое утро Лесоруб взял необыкновенный плащ из золота и спрятал его в большой сундук, а его жена сняла с шеи ребенка янтарное ожерелье и тоже спрятала.

Итак, Дитя-звезда стал расти вместе с детьми Лесоруба, и ел за одним с ними столом, и играл с ними. И с каждым годом он становился все красивее и красивее, и жители селения дивились его красоте, ибо все они были смуглые и черноволосые, а у него лицо было белое и нежное, словно выточенное из слоновой кости, и золотые кудри его были как лепестки нарцисса, а губы — как лепестки алой розы, и глаза — как фиалки, отраженные в прозрачной воде ручья. И он был строен, как цветок, выросший в густой траве, где не ступала нога косца.

Но красота его принесла ему только зло, ибо он вырос себялюбивым, гордым и жестоким. На детей Лесоруба, да и на всех прочих детей в селении он смотрел сверху вниз, потому что, говорил он, все они низкого происхождения, в то время как он— знатного рода, ибо происходит от Звезды. И он помыкал детьми и называл их своими слугами. Он не испытывал сострадания к беднякам или к слепым, недужным и увечным, но швырял в них камнями и прогонял их из селения на проезжую дорогу и кричал им, чтобы они шли побираться в другое место, после чего ни один из нищих, кроме каких-нибудь самых отчаявшихся, не осмеливался вторично прийти в это селение за милостыней. И он был точно околдован своей красотой и издевался над всеми, кто был жалок и безобразен, и выставлял их на посмешище. Себя же он очень любил и летом в безветренную погоду часто лежал у водоема в фруктовом саду священника и глядел на свое дивное отражение, и смеялся от радости, любуясь своей красотой.

Лесоруб и его жена не раз бранили его, говоря:

— Мы-то ведь не так поступили с тобой, как поступаешь ты с этими несчастными, обездоленными судьбой, у которых нет ни одной близкой души на свете. Почему ты так жесток к тем, кто нуждается в участии?

Но Мальчик-звезда не внимал их словам, только хмурился и усмехался презрительно, а потом бежал к своим сверстникам и помыкал ими как хотел. И его сверстники слушались его, потому что он был красив, быстроног и умел плясать, и петь, и наигрывать на свирели. И куда бы Мальчик-звезда ни повел их, они следовали за ним, и что бы он ни приказал им сделать, они ему повиновались. И когда он проткнул острой тростинкой подслеповатые глаза крота, они смеялись, и когда он швырял камнями в прокаженного, они смеялись тоже. Всегда и во всем Мальчик-звезда был их вожаком, и они стали столь же жестокосердны, как и он.

* * *

И вот как-то раз через селение проходила одна несчастная нищенка. Одежда ее была в лохмотьях, босые ноги, израненные об острые камни дороги, все в крови — словом, была она в самом бедственном состоянии. Изнемогая от усталости, она присела отдохнуть под каштаном.

Но тут увидел ее Мальчик-звезда и сказал своим товарищам:

— Гляньте! Под прекрасным зеленолистым деревом сидит отвратительная грязная нищенка. Пойдем прогоним ее, потому что она противна и безобразна.

И с этими словами он подошел к ней поближе и начал швырять в нее камнями и насмехаться над ней, а она поглядела на него, и в глазах ее отразился ужас, и она не могла отвести от него взгляда. Но тут Лесоруб, который стругал жерди под навесом, увидел, что делает Мальчик-звезда, подбежал к нему и стал его корить, говоря:

— Воистину у тебя каменное сердце, и жалость тебе неведома. Что сделала тебе эта бедная женщина, почему ты гонишь ее отсюда?

Тогда Мальчик-звезда покраснел от злости и сказал:

— А кто ты такой, чтобы спрашивать меня, почему я так поступаю? Я тебе не сын и не обязан тебя слушаться.

— Это верно,— отвечал Лесоруб,— однако я пожалел тебя, когда нашел в лесу.

И тут нищая, услыхав эти слова, громко вскрикнула и упала без чувств. Тогда Лесоруб поднял ее и отнес к себе в дом, а его жена принялась ухаживать за ней. И когда женщина очнулась, Лесоруб и его жена поставили перед ней еду и питье и сказали, что они рады предоставить ей кров.

Но женщина не хотела ни есть, ни пить и спросила Лесоруба:

— Правду ли ты сказал, что нашел этого мальчика в лесу? И с того дня минуло десять лет, не так ли?

И Лесоруб ответил:

— Да, так оно и было, я нашел его в лесу, и с того дня минуло уже десять лет.

— А не нашел ли ты вместе с ним еще чего-нибудь? — воскликнула женщина.— Не было ли у него на шее янтарного ожерелья? И не был ли он закутан в золотой плащ, расшитый звездами?

— Все верно,— отвечал Лесоруб. И он вынул плащ и янтарное ожерелье из сундука и показал их женщине.

И когда женщина увидела эти вещи, она расплакалась от радости и сказала:

— Этот ребенок — мой маленький сын, которого я потеряла в лесу. Прошу тебя, пошли за ним скорее, ведь в поисках его я обошла всю землю.

И Лесоруб с женой вышли из дома и стали звать Мальчика-звезду и сказали ему:

— Войди в дом, там ты найдешь свою мать, которая ждет тебя.

И Мальчик-звезда, исполненный радости и изумления, вбежал в дом. Но когда он увидел ту, что ждала его там, он презрительно рассмеялся и сказал:

— Ну, а где же моя мать? Я не вижу здесь никого, кроме этой противной нищенки.

И женщина ответила ему:

— Я — твоя мать.

— Ты, должно быть, лишилась рассудка! — гневно вскричал Мальчик-звезда.— Я не твой сын, ведь ты же нищенка, ты уродлива и одета в лохмотья. Ну-ка убирайся отсюда, чтоб я не видел больше твоего мерзкого лица!

— Но ведь ты же в самом деле мой маленький сынок, которого я родила в лесу! — вскричала женщина и, упав перед ним на колени, простерла к нему руки.— Разбойники украли тебя и оставили погибать в лесу...— плача, проговорила она.— Но я сразу узнала тебя, как только увидела, и узнала вещи, по которым тебя можно опознать,— золотой плащ и янтарное ожерелье. И я молю тебя: пойдем со мной, ведь, разыскивая тебя, я обошла весь свет. Пойдем со мной, мой сын, потому что я нуждаюсь в твоей любви.

Но Мальчик-звезда не шевельнулся; он наглухо затворил свое сердце, чтобы ее жалобы не могли туда проникнуть, и в наступившей тишине слышны были только горестные стенания женщины.

Наконец Мальчик-звезда заговорил, и его голос звучал холодно и презрительно.

— Если это правда, что ты моя мать,— сказал он,— лучше бы тебе не приходить сюда и не позорить меня, ведь я думал, что моей матерью была Звезда, а не какая-то нищенка, как ты говоришь мне. Поэтому убирайся отсюда, чтобы я никогда тебя больше не видел.

— Увы, сын мой! — вскричала женщина.— Неужели ты не поцелуешь меня на прощанье? Ведь я столько претерпела мук, чтобы найти тебя!

— Нет,— сказал Мальчик-звезда,— ты слишком омерзительна, и мне легче поцеловать гадюку или жабу, чем тебя.

Тогда женщина встала и, горько рыдая, скрылась в лесу, а Мальчик-звезда, увидав, что она ушла, очень обрадовался и побежал играть со своими товарищами.

Но те, поглядев на него, начали смеяться над ним и сказали:

— Да ведь ты мерзок, как жаба, и отвратителен, как гадюка. Убирайся отсюда, мы не хотим, чтобы ты играл с нами! — И они выгнали его из сада.

Тогда Мальчик-звезда задумался и сказал себе:

— Что такое они говорят? Я пойду к водоему и погляжусь в него, и он скажет мне, что я красив.

И он пошел к водоему и поглядел в него, но что же он увидел! Лицом он стал похож на жабу, а тело его покрылось чешуей, как у гадюки. И он бросился ничком на траву, и заплакал, и сказал:

— Не иначе, как это мне наказание за мой грех. Ведь я отрекся от моей матери и прогнал ее, я возгордился перед ней и был с ней жесток. Теперь я должен отправиться на поиски и обойти весь свет, пока не найду ее. А до тех пор не будет мне ни отдыха, ни покоя.

Тут подошла к нему маленькая дочка Лесоруба, и положила ему руку на плечо, и сказала:

— Это еще не беда, что ты утратил свою красоту. Оставайся с нами, и я никогда не буду дразнить тебя.

Но он сказал ей:

— Нет, я был жесток к моей матери, в наказание мне и случилось это несчастье. Поэтому я должен уйти отсюда и бродить по свету, пока не найду своей матери и не вымолю у нее прощенья.

И он побежал в лес и начал громко призывать свою мать, прося ее вернуться к нему, но не услышал ответа. Весь день он звал ее, а когда солнце закатилось, прилег на груду листьев и уснул, и все птицы и звери оставили его, потому что знали, как жестоко он поступил, и только жаба разделяла его одиночество и охраняла его сон, да гадюка медленно проползла мимо.

А наутро он встал, сорвал несколько кислых ягод с дерева, съел их и побрел через дремучий лес, горько плача. И всех, кто

бы ни повстречался ему на пути, он спрашивал, не видали ли они его матери.

Он спросил Крота:

— Ты роешь свои ходы под землей. Скажи, не видал ли ты моей матери?

Но Крот отвечал:

— Ты выколол мне глаза, как же я мог ее увидеть?

Тогда он спросил у Коноплянки:

— Ты взлетаешь выше самых высоких деревьев и можешь видеть оттуда весь мир. Скажи, не видала ли ты моей матери?

Но Коноплянка отвечала:

— Ты подрезал мне крылья ради забавы. Как же могу я теперь летать?

И маленькую Белочку, которая жила в дупле ели одна-одинешенька, он спросил:

— Где моя мать?

И Белочка отвечала:

— Ты убил мою мать; может быть, ты разыскиваешь свою, чтобы убить ее тоже?

И Мальчик-звезда опустил голову, и заплакал, и стал просить прощенья у всех божьих тварей, и углубился дальше в лес, продолжая свои поиски. А на третий день, пройдя через весь лес, он вышел на опушку и спустился в долину.

И когда он проходил через селение, дети дразнили его и бросали в него камнями, и крестьяне не позволяли ему даже соснуть в амбаре, боясь, что от него может сесть плесень на зерно, ибо он был очень гадок с виду, и приказывали работникам прогнать его прочь, и ни одна душа не сжалилась над ним. И нигде не мог он ничего узнать о нищенке, которая была его матерью, хотя вот уже три года бродил он по свету, и не раз казалось ему, что он видит ее впереди на дороге, и тогда он принимался звать ее и бежал за ней, хотя острый щебень ранил его ступни и из них сочилась кровь. Но он не мог ее догнать, а те, кто жил поблизости, утверждали, что они не видели ни ее, ни кого-нибудь похожего с виду, и потешались над его горем.

Три полных года бродил он по свету и нигде никогда не встречал ни любви, ни сострадания, ни милосердия; весь мир обошелся с ним так же, как поступал он сам в дни своей гордыни.

И вот однажды вечером он подошел к городу, расположенному на берегу реки и обнесенному высокой крепостной стеной, и приблизился к воротам. Хотя он очень устал и натрудил ноги, все же он хотел войти в город. Но воины, стоявшие у ворот на страже, скрестили свои алебарды и грубо крикнули ему:

— Что нужно тебе в нашем городе?

— Я разыскиваю мою мать,— отвечал он,— и молю вас, дозвольте мне войти в город, ведь может случиться, что она там.

Но они стали насмехаться над ним, и один из них, тряся черной бородой, поставил перед ним свой щит и закричал:

— Воистину твоя мать возрадуется, увидев тебя, ведь ты безобразней, чем жаба в болоте или гадюка, выползшая из топи! Убирайся отсюда! Убирайся! Твоей матери нет в нашем городе.

А другой, тот, что держал в руке желтый стяг на древке, сказал ему:

— Кто твоя мать и почему ты разыскиваешь ее?

И он отвечал:

— Моя мать живет подаянием, так же как и я, и я обошелся с ней очень дурно и молю тебя: дозволь мне пройти, чтобы я мог испросить у нее прощения, если она живет в этом городе.

Но они не захотели его пропустить и стали колоть своими пиками.

А когда он с плачем повернул обратно, некто в кольчуге, разукрашенной золотыми цветами, и в шлеме с гребнем в виде крылатого льва приблизился к воротам и спросил воинов, кто тут просил дозволения войти в город. И воины отвечали ему:

— Это нищий и сын нищенки, и мы прогнали его прочь.

— Ну и зря,— рассмеявшись, сказал тот,— мы продадим это мерзкое создание в рабство, и цена его будет равна цене чаши сладкого вина.

А в это время мимо проходил какой-то страшный и злой с виду старик и, услыхав эти слова, сказал:

— Я заплачу за него эту цену,— и, заплатив ее, взял Мальчика-звезду за руку и повел в город.

Они прошли много улиц и подошли наконец к маленькой калитке в стене, затененной большим гранатовым деревом. И старик коснулся калитки яшмовым перстнем, и она отворилась, и они спустились по пяти бронзовым ступеням в сад, где цвели черные маки и стояли зеленые глиняные кувшины. И тогда старик вынул из своего тюрбана узорчатый шелковый шарф, и завязал им глаза Мальчику-звезде, и повел его куда-то, толкая перед собой. А когда он снял повязку с его глаз, Мальчик-звезда увидел, что он находится в темнице, которая освещалась фонарем, повешенным на крюк.

И старик положил перед ним на деревянный лоток ломоть заплесневелого хлеба и сказал:

— Ешь.

И поставил перед ним чашу с солоноватой водой и сказал:

— Пей.

И когда Мальчик-звезда поел и попил, старик ушел и запер дверь темницы на ключ и закрепил железной цепью.

* * *

На следующее утро старик, который на самом деле был одним из самых искусных и коварных волшебников Ливии и научился своему искусству у другого волшебника, обитавшего на берегу Нила, вошел в темницу, хмуро поглядел на Мальчика-звезду и сказал:

— В том лесу, что неподалеку от ворот этого города гяуров, скрыты три золотые монеты — из белого золота, из желтого золота и из красного золота. Сегодня ты должен принести мне монету из белого золота, а если не принесешь, получишь сто плетей. Поспеши, на закате солнца я буду ждать тебя у калитки моего сада. Смотри принеси мне монету из белого золота, или тебе будет плохо, потому что ты мой раб и я уплатил за тебя цену целой чаши сладкого вина.— И он завязал глаза Мальчику-звезде шарфом узорчатого шелка, и вывел его из дома в сад, где росли черные маки, и, заставив подняться на пять бронзовых ступенек, отворил с помощью своего перстня калитку.

И Мальчик-звезда вышел из калитки, прошел через город и вступил в лес, о котором говорил ему Волшебник.

А лес этот издали казался очень красивым, и мнилось, что он полон певчих птиц и ароматных цветов, и Мальчик-звезда радостно углубился в него. Но ему не довелось насладиться красотой леса, ибо, куда бы он ни ступил, повсюду перед ним поднимался из земли колючий кустарник, полный острых шипов, и ноги его обжигала злая крапива, и чертополох колол его своими острыми, как кинжал, колючками, и Мальчику-звезде приходилось очень плохо. А главное, он нигде не мог найти монету из белого золота, о которой говорил ему Волшебник, хотя и разыскивал ее с самого утра до полудня и от полудня до захода солнца. Но вот солнце село, и он побрел домой, горько плача, ибо знал, какая участь его ожидает.

Но когда он подходил к опушке леса, из чащи до него долетел крик — казалось, кто-то взывает о помощи. И, позабыв про свою беду, он побежал на этот крик и увидел маленького Зайчонка, попавшего в силок, расставленный каким-то охотником.

И Мальчик-звезда сжалился над Зайчонком, и освободил его из силка, и сказал ему:

— Сам я всего лишь раб, но тебе я могу даровать свободу.

А Зайчонок ответил ему так:

— Да, ты даровал мне свободу, скажи, чем могу я отблагодарить тебя!

И Мальчик-звезда сказал ему:

— Я ищу монету из белого золота, но нигде не могу найти ее, а если я не принесу ее своему хозяину, он прибьет меня.

— Ступай за мной,— сказал Зайчонок,— и я отведу тебя

туда, куда тебе нужно, потому что я знаю, где спрятана эта монета и зачем.

Тогда Мальчик-звезда последовал за маленьким Зайчонком. И что же он увидел? В дупле большого дуба лежала монета из белого золота, которую он искал. И Мальчик-звезда безмерно обрадовался, схватил ее и сказал Зайчонку:

— За услугу, которую я оказал тебе, ты отблагодарил меня сторицей, и за добро, что я для тебя сделал, ты воздал мне стократ.

— Нет,— отвечал Зайчонок,— как ты поступил со мной, так и я поступил с тобой.— И он проворно поскакал прочь.

Теперь следует сказать, что у городских ворот сидел Прокаженный. Лицо его скрывал серый холщовый капюшон и глаза его горели в прорезях словно угли, и когда он увидел приближавшегося к воротам Мальчика-звезду, он загремел своей деревянной миской, и зазвонил в свой колокольчик, и крикнул ему:

— Подай мне милостыню, или я должен буду умереть с голоду, ибо они изгнали меня из города и нет никого, кто бы сжалился надо мной!

— Увы! — вскричал Мальчик-звезда.— У меня в кошельке есть только одна-единственная монета, и если я не отнесу ее моему хозяину, он прибьет меня, потому что я его раб.

Но Прокаженный стал просить его и молить и делал это до тех пор, пока Мальчик-звезда не сжалился над ним и не отдал ему монету из белого золота.

Когда же он подошел к дому Волшебника, тот отворил калитку, и впустил его в сад, и спросил его:

— Ты принес монету из белого золота?

И Мальчик-звезда ответил:

— У меня ее нет.

И тогда Волшебник набросился на него, и стал его избивать и поставил перед ним пустой деревянный лоток для хлеба:

— Ешь.

И поставил перед ним пустую чашу:

— Пей.

И снова бросил его в темницу. А наутро Волшебник пришел к нему и сказал:

— Если сегодня ты не принесешь мне монету из желтого золота, то навсегда останешься моим рабом и получишь от меня триста плетей.

Тогда Мальчик-звезда направился в лес и целый день искал там монету из желтого золота, но нигде не мог найти ее. А когда закатилось солнце, он опустился на землю и заплакал. И пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький Зайчонок, которого он освободил из силка.

И Зайчонок спросил его:

— Почему ты плачешь? И что ты ищешь в лесу.

И Мальчик-звезда отвечал:

— Я ищу монету из желтого золота, которая здесь спрятана, и если я не найду ее, мой хозяин прибьет меня и навсегда оставит у себя в рабстве.

— Следуй за мной! — крикнул Зайчонок и поскакал через лес, пока не прискакал к небольшому озеру. А на дне озера лежала монета из желтого золота.

— Как мне благодарить тебя? — сказал Мальчик-звезда.— Ведь вот уж второй раз, как ты выручаешь меня.

— Ну и что ж, зато ты первый сжалился надо мной,— сказал Зайчонок и проворно поскакал прочь.

И Мальчик-звезда взял монету из желтого золота и поспешил в город. Но Прокаженный увидел его на дороге, и побежал ему навстречу, и упал перед ним на колени, крича:

— Подай мне милостыню, или я умру с голоду!

Мальчик-звезда сказал ему:

— У меня в кошельке нет ничего, кроме монеты из желтого золота, но если я не принесу ее моему хозяину, он прибьет меня и навеки оставит у себя в рабстве.

Но Прокаженный молил его сжалиться над ним, и Мальчик-звезда пожалел его и отдал ему монету из желтого золота.

* * *

А когда он подошел к дому Волшебника, тот отворил калитку, и впустил его в сад, и спросил его:

— Ты принес монету из желтого золота?

И Мальчик-звезда ответил:

— У меня ее нет.

И Волшебник набросился на него, и стал его избивать, и заковал его в цепи, и снова вверг в темницу.

А наутро Волшебник пришел к нему и сказал:

— Если сегодня ты принесешь мне монету из красного золота, я отпущу тебя на свободу, а если не принесешь, я убью тебя.

И Мальчик-звезда отправился в лес и целый день разыскивал там монету из красного золота, но нигде не мог ее найти. Когда же стемнело, он сел и заплакал. И пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький Зайчонок.

— Монета из красного золота, которую ты ищешь, находится в пещере, что у тебя за спиной. Перестань же плакать и возрадуйся,— сказал Зайчонок.

— Как могу я отблагодарить тебя! — воскликнул Мальчик-звезда.— Ведь уже третий раз ты выручаешь меня из беды.

— Но ты первый сжалился надо мной,— сказал Зайчонок и проворно ускакал прочь.

А Мальчик-звезда вошел в пещеру и в глубине ее увидел монету из красного золота. Он положил ее в свой кошелек и поспешил вернуться в город. Но когда Прокаженный увидел его, он стал посреди дороги и громко закричал, взывая к нему:

— Отдай мне монету из красного золота, или я умру!

И Мальчик-звезда снова пожалел его и отдал ему монету из красного золота, сказав:

— Твоя нужда больше моей.

Однако сердце его сжалось от тоски, ибо он знал, какая страшная судьба его ожидает.

* * *

Но чудо! Когда проходил он городские ворота, воины низко склонились перед ним, отдавая ему почести и восклицая:

— Как прекрасен господин наш!

А толпа горожан следовала за ним, и все твердили:

— Воистину не найдется никого прекраснее во всем мире!

И Мальчик-звезда заплакал и сказал себе:

— Они смеются надо мной и потешаются над моей бедой.

Но так велико было стечение народа, что он сбился с дороги и пришел на большую площадь, где стоял королевский дворец.

И ворота дворца распахнулись, и навстречу Мальчику-звезде поспешили священнослужители и знатнейшие вельможи города и, смиренно поклонившись ему, сказали:

— Ты — наш господин, которого мы давно ожидаем, и сын нашего государя.

А Мальчик-звезда сказал им в ответ:

— Я не королевский сын, я сын бедной нищенки. И зачем говорите вы, что я прекрасен, когда я знаю, что вид мой мерзок?

И тогда тот, чья кольчуга была разукрашена золотыми цветами и на чьем шлеме гребень был в виде крылатого льва, поднял свой щит и вскричал:

— Почему господин мой не верит, что он прекрасен?

И Мальчик-звезда посмотрелся в щит. И что же он увидел? Его красота вернулась к нему, и лицо его стало таким же, каким было прежде, только в глазах своих он заметил что-то новое, чего раньше никогда в них не видел. А священнослужители и вельможи преклонили перед ним колена и сказали:

— Было давнее пророчество, что в этот день придет к нам тот, кому суждено править нами. Так пусть же господин наш возьмет эту корону и этот скипетр и станет нашим королем, справедливым и милосердным.

Но Мальчик-звезда отвечал им:

— Я недостоин этого, ибо я отрекся от матери, которая носила меня под сердцем, и теперь ищу ее, чтобы вымолить у нее

прощение, и не будет мне покоя, пока я не найду ее. Так отпустите же меня, ибо я должен вновь отправиться странствовать по свету, и нельзя мне медлить здесь, хоть вы и предлагаете мне корону и скипетр.

И, сказав это, он отвернулся от них и обратил свое лицо к улице, тянувшейся до самых городских ворот. И что же он увидел? Среди толпы, оттеснившей стражу, стояла нищенка, которая была его матерью, а рядом с ней стоял Прокаженный. И крик радости сорвался с его уст, и, бросившись к своей матери, он осыпал поцелуями раны на ее ногах и оросил их слезами. Он склонил свою голову в дорожную пыль и, рыдая так, словно сердце его разрывалось, сказал:

— О мать моя! Я отрекся от тебя в дни моей гордыни. Не отринь же меня в час моего смирения! Я питал к тебе ненависть... Одари же меня любовью! Я отверг тебя. Прими же свое дитя...

Но нищенка не ответила ему ни слова.

И он простер руки к Прокаженному и припал к его стопам, говоря:

— Трижды оказал я тебе милосердие. Умоли же мою мать ответить мне хоть единый раз.

Но Прокаженный хранил безмолвие.

И снова зарыдал Мальчик-звезда и сказал:

— О мать моя, это страдание мне не по силам! Даруй мне свое прощение и позволь вернуться в наш лес.

И нищенка положила руку на его голову и сказала:

— Встань!

И Прокаженный положил руку на его голову и тоже сказал:

— Встань!

И он встал с колен и посмотрел на них. И что же! Перед ним были Король и Королева. И Королева сказала ему:

— Вот твой отец, которому ты помог в час нужды.

А Король сказал:

— Вот твоя мать, чьи ноги ты омыл своими слезами.

И они пали в его объятия, и осыпали его поцелуями, и отвели во дворец, где облекли его в дивные одежды и возложили на его голову корону и дали ему в руки скипетр, и он стал властелином города, который стоял на берегу реки. И был он справедлив и милосерден ко всем. Он изгнал злого Волшебника, а Лесорубу и его жене послал богатые дары, а сыновей их сделал вельможами. И он не дозволял никому обращаться жестоко с птицами и лесными зверями, и всех учил добру, любви и милосердию. И он кормил голодных и сирых и одевал нагих, и в стране его всегда царили мир и благоденствие.

Но правил он недолго. Слишком велики были его муки, слишком тяжкому подвергся он испытанию — и спустя три года он умер. А преемник его был тираном.

Сельма
ЛАГЕРЛЁФ
Чудесное
путешествие
Нильса
с дикими гусями
Повесть-сказка

Глава первая

ЛЕСНОЙ ГНОМ

1

В маленькой шведской деревушке Вестменхёг жил когда-то мальчик, по имени Нильс. С виду — мальчик как мальчик. А сладу с ним не было никакого.

На уроках он считал ворон и ловил двойки, в лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил, кур гонял, в коров бросал камни, а кота дергал за хвост, будто хвост — это веревка от дверного колокольчика.

Так прожил он до двенадцати лет. И тут случилось с ним необыкновенное происшествие.

Вот как было дело.

Однажды в воскресенье отец с матерью собрались на ярмарку в соседнее село. Нильс не мог дождаться, когда они уйдут.

«Шли бы скорее! — думал Нильс, поглядывая на отцовское ружье, которое висело на стене.— Мальчишки, как увидят меня с ружьем, от зависти лопнут».

Но отец будто отгадал его мысли.

— Смотри, из дому ни на шаг! — сказал он.— Открывай учебник и берись за ум. Слышишь?

— Слышу,— ответил Нильс, а про себя подумал: «Так я и буду тратить воскресный день на уроки!»

— Учись, сынок, учись,— сказала мать.

Она даже сама достала с полки учебник, положила на стол и придвинула кресло.

А отец отсчитал десять страниц и строго-настрого приказал:

— Чтобы к нашему возвращению все назубок знал. Сам проверю.

Наконец отец с матерью ушли.

«Им-то хорошо, вон как весело шагают! — тяжело вздохнул Нильс.— А я точно в мышеловку попался с этими уроками!»

Но что поделаешь! Нильс знал, что с отцом шутки плохи. Он опять вздохнул и уселся за стол. Правда, смотрел он не столько в книгу, сколько в окно. Ведь это было куда интереснее!

По календарю был еще март, но здесь, на юге Швеции, весна уже успела переспорить зиму. В канавах весело бежала вода.

На деревьях набухли почки. Буковый лес расправил свои ветви, окоченевшие в зимние холода, и теперь тянулся кверху, как будто хотел достать до голубого весеннего неба.

А под самым окном с важным видом разгуливали куры, прыгали и дрались воробьи, в мутных лужах плескались гуси. Даже коровы, запертые в хлеву, почуяли весну и мычали на все голоса, словно просили: «Вы-ыпусти нас, вы-ыпусти нас!»

Нильсу тоже хотелось и петь, и кричать, и шлепать по лужам, и драться с соседскими мальчишками. Он с досадой отвернулся от окна и уставился в книгу. Но прочел он не много. Буквы стали почему-то прыгать перед глазами, строчки то сливались, то разбегались... Нильс и сам не заметил, как заснул.

Кто знает, может быть, Нильс так и проспал бы весь день, если б его не разбудил какой-то шорох.

Нильс поднял голову и насторожился.

В зеркале, которое висело над столом, отражалась вся комната. Никого, кроме Нильса, в комнате нет... Все как будто на месте, все в порядке... И вдруг Нильс чуть не вскрикнул! Кто-то открыл крышку сундука!

В сундуке мать хранила все свои драгоценности. Там лежали наряды, которые она носила еще в молодости,— широченные юбки из домотканого крестьянского сукна, расшитые цветным бисером лифы, белые как снег, накрахмаленные чепцы, серебряные пряжки и цепочки.

Мать никому не позволяла открывать без нее сундук, а Нильса и близко к нему не подпускала. И уж о том, что она могла уйти из дому, не заперев сундука, даже говорить нечего! Не бывало такого случая. Да и сегодня — Нильс отлично это помнил — мать два раза возвращалась с порога, чтобы подергать замок — хорошо ли защелкнулся?

Кто же открыл сундук?

Может быть, пока Нильс спал, в дом забрался вор и теперь прячется где-нибудь здесь, за дверью или за шкафом? Нильс затаил дыхание и, не мигая, всматривался в зеркало.

Что это за тень там, в углу сундука? Вот она шевельнулась... Вот поползла по краю... Мышь? Нет, на мышь не похоже...

Нильс прямо глазам не верил. На краю сундука сидел маленький человечек. Он словно сошел с воскресной картинки в календаре. На голове — широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных сафьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки.

«Да ведь это гном! — догадался Нильс.— Самый настоящий гном!»

Мать часто рассказывала Нильсу о гномах. Они живут в лесу. Они умеют говорить и по-человечьи, и по-птичьи, и по-зверино-

му. Они знают о всех кладах, которые хоть сто, хоть тысячу лет назад были зарыты в землю. Захотят гномы — зимой на снегу цветы зацветут, захотят — летом замерзнут реки.

Ну, а бояться гнома нечего. Что плохого может сделать такое крошечное существо!

К тому же гном не обращал на Нильса никакого внимания. Он, кажется, ничего не видел, кроме бархатной безрукавки, расшитой мелким речным жемчугом, что лежала в сундуке на самом верху.

Пока гном любовался затейливым старинным узором, Нильс уже прикидывал, какую бы штуку сыграть с удивительным гостем.

Хорошо бы столкнуть его в сундук и потом захлопнуть крышку. А можно еще вот что...

Не поворачивая головы, Нильс оглядел комнату. В зеркале она вся была перед ним как на ладони. На полках в строгом порядке выстроились кофейник, чайник, миски, кастрюли... У окна — комод, заставленный всякой всячиной... А вот на стене — рядом с отцовским ружьем — сачок для ловли мух. Как раз то, что нужно!

Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя.

Один взмах — и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза.

Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика. Он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось немного приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз.

— Послушай, Нильс,— взмолился наконец гном,— отпусти меня на волю! Я дам тебе за это золотую монету, большую, как пуговица на твоей рубашке.

Нильс на минуту задумался.

— Что ж, это, пожалуй, неплохо,— сказал он и перестал раскачивать сачок.

Цепляясь за реденькую ткань, гном ловко полез вверх. Вот он уже ухватился за железный обруч, и над краем сетки показалась его голова...

Тут Нильсу пришло на ум, что он продешевил. Вдобавок к золотой монете ведь можно было потребовать, чтобы гном учил за него уроки. Да мало ли что еще можно придумать! Гном теперь на все согласится! Когда сидишь в сачке, спорить не станешь.

И Нильс снова встряхнул сетку.

Но тут вдруг кто-то отвесил ему такую затрещину, что сетка выпала у него из рук, а сам он кубарем откатился в угол.

2

С минуту Нильс лежал не двигаясь, потом, кряхтя и охая, встал.

Гнома уже и след простыл. Сундук был раскрыт, а сачок висел на своем месте — рядом с отцовским ружьем.

«Приснилось мне все это, что ли? — подумал Нильс.— Да нет, правая щека горит, словно по ней прошлись утюгом. Это гном меня так огрел! Конечно, отец с матерью не поверят, что гном побывал у нас в гостях. Скажут — все твои выдумки, чтобы уроки не учить. Нет, как ни верти, а надо опять садиться за книгу!»

Нильс сделал два шага и остановился. С комнатой что-то случилось. Стены их маленького домика раздвинулись, потолок ушел высоко вверх, а кресло, на котором Нильс всегда сидел, возвышалось над ним неприступной горой. Чтобы взобраться на него, Нильсу пришлось карабкаться по витой ножке, как по корявому стволу дуба. Книга по-прежнему лежала на столе, но она была такая огромная, что вверху страницы Нильс не мог разглядеть ни одной буквы. Он улегся животом на книгу и пополз от строчки к строчке, от слова к слову. Он прямо измучился, пока прочел одну фразу.

— Да что же это такое? Так ведь и к завтрашнему дню до конца страницы не доберешься! — воскликнул Нильс и рукавом отер пот со лба.

И вдруг он увидел, что из зеркала на него смотрит крошечный человечек — совсем такой же, как тот гном, который попался к нему в сетку. Только одет по-другому: в кожаных штанах, в жилетке и в клетчатой рубашке с большими пуговицами.

— Эй, ты, чего тебе здесь надо? — крикнул Нильс и погрозил человечку кулаком.

Человечек тоже погрозил кулаком Нильсу.

Нильс подбоченился и высунул язык. Человечек тоже подбоченился и тоже показал Нильсу язык.

Нильс топнул ногой. И человечек топнул ногой.

Нильс прыгал, вертелся волчком, размахивал руками, но человечек не отставал от него. Он тоже прыгал, тоже вертелся волчком и размахивал руками.

Тогда Нильс сел на книгу и горько заплакал. Он понял, что гном заколдовал его и что маленький человечек, который смотрел на него из зеркала,— это он сам, Нильс Хольгерсон.

«А может быть, это все-таки сон?» — подумал Нильс.

Он крепко зажмурился, потом — чтобы совсем проснуться — ущипнул себя изо всех сил и, подождав с минуту, снова открыл глаза. Нет, он не спал. И рука, которую он ущипнул, болела по-настоящему.

Нильс подобрался к самому зеркалу и уткнулся в него носом. Да, это он, Нильс. Только был он теперь не больше воробья.

«Надо найти гнома,— решил Нильс.— Может быть, гном просто пошутил?»

Нильс сполз по ножке кресла на пол и стал обшаривать все углы. Он залез под скамью, под шкаф,— сейчас ему это было нетрудно,— залез даже в мышиную нору, но гнома нигде не было.

Оставалась еще надежда — гном мог спрятаться во дворе.

Нильс выбежал в сени. Где же его башмаки? Они должны стоять возле двери. И сам Нильс, и его отец с матерью, и все крестьяне в Вестменхёге, да и во всех деревнях Швеции, всегда оставляют свои башмаки у порога. Башмаки ведь деревянные. В них ходят только по улице, а дома снимают.

Но как он, такой маленький, справится теперь со своими большими, тяжелыми башмачищами?

И тут Нильс увидел перед дверью пару крохотных башмачков. Сначала он обрадовался, а потом испугался. Если гном заколдовал даже башмаки,— значит, он и не собирался снять заклятие с Нильса!

Нет, нет, надо поскорее найти гнома! Надо просить его, умолять! Никогда, никогда больше Нильс никого не обидит! Он станет самым послушным, самым примерным мальчиком... Нильс сунул ноги в башмачки и проскользнул в дверь. Хорошо, что она была приоткрыта. Разве смог бы он дотянуться до щеколды и отодвинуть ее!

У крыльца, на старой дубовой доске, переброшенной с одного края лужи на другой, прыгал воробей. Чуть только воробей увидел Нильса, он запрыгал еще быстрее и зачирикал во все свое воробьиное горло. И — удивительное дело! — Нильс его прекрасно понимал.

— Посмотрите-ка на Нильса! — кричал воробей.— Посмотрите-ка на Нильса!

— Кукареку! — весело заорал петух.— Сбросим-ка его в ре-ку!

А куры захлопали крыльями и наперебой закудахтали:

— Так ему и надо! Так ему и надо!

Гуси обступили Нильса со всех сторон и, вытягивая шеи, шипели ему в ухо:

— Хорош-ш! Ну уж хорош! Что, боиш-шься теперь? Боишься?

И они клевали его, щипали, долбили клювами, дергали за руки и за ноги.

Бедному Нильсу пришлось бы совсем плохо, если бы в это время на дворе не появился кот. Заметив кота, куры, гуси и утки сейчас же бросились врассыпную и принялись рыться в земле

с таким видом, будто их ничего на свете не интересует, кроме червяков и прошлогодних зерен.

А Нильс обрадовался коту, как родному.

— Милый котик,— сказал он,— ты знаешь все закоулки, все дыры, все норки на нашем дворе. Будь добр, скажи, где мне найти гнома? Он ведь не мог далеко уйти.

Кот ответил не сразу. Он уселся, обвил хвостом передние лапы и посмотрел на мальчика. Это был огромный черный кот, с большим белым пятном на груди. Его гладкая шерстка так и блестела на солнце. Вид у кота был вполне добродушный. Он даже втянул свои когти и зажмурил желтые глаза с узенькой-преузенькой полоской посредине.

— М-р-р, м-р-р! Я, конечно, знаю, где найти гнома,— заговорил кот ласковым голосом.— Но еще неизвестно, скажу я тебе или нет...

— Котик, котик, золотой ротик, ты должен мне помочь! Разве ты не видишь, что гном меня заколдовал?

Кот чуть-чуть приоткрыл глаза. В них вспыхнул зеленый злой огонек, но мурлыкал кот по-прежнему ласково.

— Это за что же я должен тебе помогать? — сказал он.— Может быть, за то, что ты сунул мне в ухо осу? Или за то, что ты подпалил мне шерсть? Или за то, что ты каждый день дергал меня за хвост? А?

— А я и сейчас могу дернуть тебя за хвост! — закричал Нильс. И, забыв о том, что кот раз в двадцать больше, чем он сам, шагнул вперед.

Что тут стало с котом! Глаза у него засверкали, спина выгнулась, шерсть поднялась дыбом, из мягких пушистых лап вылезли острые когти. Нильсу даже показалось, что это какой-то невиданный дикий зверь выскочил из лесной чащи. И все-таки Нильс не отступил. Он сделал еще шаг... Тогда кот одним прыжком опрокинул Нильса и прижал его к земле передними лапами.

— Помогите, помогите! — закричал Нильс изо всех сил. Но голосок у него был теперь не громче, чем у мышонка. Да и некому было его выручать.

Нильс понял, что ему пришел конец, и в ужасе закрыл глаза.

Вдруг кот втянул когти, выпустил Нильса из лап и сказал:

— Ладно, на первый раз хватит. Если бы твоя мать не была такой доброй хозяйкой и не поила меня утром и вечером молоком, тебе пришлось бы худо. Ради нее я оставлю тебя в живых.

С этими словами кот повернулся и будто ни в чем не бывало пошел прочь, тихонько мурлыкая, как полагается доброму домашнему коту. А Нильс встал, стряхнул с кожаных штанов грязь и поплелся в конец двора. Там он вскарабкался на выступ каменной ограды, уселся, свесив крошечные ноги в крошечных башмачках, и задумался.

Что же будет дальше?! Скоро вернутся отец и мать. Как они удивятся, увидев своего сына! Мать, конечно, заплачет, а отец, может, скажет: так Нильсу и надо! Потом придут соседи со всей округи, примутся его рассматривать и ахать... А вдруг его кто-нибудь украдет, чтобы показывать зевакам на ярмарке? Вот посмеются над ним мальчишки!.. Ах, какой он несчастный! Какой несчастный! На всем белом свете, наверное, нет человека несчастнее, чем он!

Бедный домик его родителей, прижатый к земле покатой крышей, никогда не казался ему таким большим и красивым, а тесный дворик — таким просторным.

Где-то над головой Нильса зашумели крылья. Это с юга на север летели дикие гуси. Они летели высоко в небе, вытянувшись правильным треугольником, но, увидев своих родичей — домашних гусей,— спустились ниже и закричали:

— Летите с нами! Летите с нами! Мы летим на север, в Лапландию! В Лапландию!

Домашние гуси заволновались, загоготали, захлопали крыльями, как будто пробовали, могут ли они взлететь. Но старая гусыня — она приходилась бабушкой доброй половине гусей — бегала вокруг них и кричала:

— С ума сош-шли! С ума сош-шли! Не делайте глупостей! Вы же не какие-нибудь бродяги, вы почтенные домашние гуси!

И, задрав голову, она закричала в небо:

— Нам и тут хорошо! Нам и тут хорошо!

Дикие гуси спустились еще ниже, словно высматривая что-то во дворе, и вдруг — все разом — взмыли в небо.

— Га-га-га! Га-га-га! — кричали они.— Разве это гуси? Это какие-то жалкие курицы! Оставайтесь в вашем курятнике!

От злости и обиды у домашних гусей даже глаза сделались красными. Такого оскорбления они еще никогда не слышали.

Только белый молодой гусь, задрав голову кверху, стремительно побежал по лужам.

— Подождите меня! Подождите меня! — кричал он диким гусям.— Я лечу с вами! С вами!

«Да ведь это Мартин, лучший мамин гусь,— подумал Нильс.— Чего доброго, он и в самом деле улетит!»

— Стой, стой! — закричал Нильс и бросился за Мартином.

Нильс едва догнал его. Он подпрыгнул и, обхватив руками длинную гусиную шею, повис на ней всем телом. Но Мартин даже не почувствовал этого, точно Нильса и не было. Он сильно взмахнул крыльями — раз, другой — и, сам того не ожидая, полетел.

Прежде чем Нильс понял, что случилось, они уже были высоко в небе.

Глава вторая

ВЕРХОМ НА ГУСЕ

1

Нильс и сам не знал, как ему удалось перебраться на спину Мартина. Никогда Нильс не думал, что гуси такие скользкие. Обеими руками он вцепился в гусиные перья, весь съежился, вобрал голову в плечи и даже зажмурил глаза.

А вокруг выл и гудел ветер, словно хотел оторвать Нильса от Мартина и сбросить вниз.

— Сейчас упаду, вот сейчас упаду! — шептал Нильс.

Но прошло десять минут, двадцать, а он не падал. Наконец он расхрабрился и чуть-чуть приоткрыл глаза.

Справа и слева мелькали серые крылья диких гусей, над самой головой Нильса, чуть не задевая его, проплывали облака, а далеко-далеко внизу темнела земля.

Она была совсем не похожа на землю. Казалось, что кто-то расстелил под ними огромный клетчатый платок. Каких только клеток тут не было! Одни клетки — черные, другие желтовато-серые, третьи светло-зеленые.

Черные клетки — это только что вспаханная земля, зеленые клетки — осенние всходы, перезимовавшие под снегом, а желтовато-серые квадратики — это прошлогоднее жниво, по которому еще не прошел плуг крестьянина.

Вот клетки по краям темные, а в середине — зеленые. Это сады: деревья там стоят совсем голые, но лужайки уже покрылись первой травой.

А вот коричневые клетки с желтой каймой — это лес: он еще не успел одеться зеленью, а молодые буки на опушке желтеют старыми, сухими листьями.

Сначала Нильсу было даже весело разглядывать это разноцветье. Но чем дальше летели гуси, тем тревожнее становилось у него на душе.

«Чего доброго, они и в самом деле занесут меня в Лапландию!» — подумал он.

— Мартин, Мартин! — крикнул он гусю. — Поворачивай домой! Хватит, налетались!

Но Мартин ничего не ответил.

Тогда Нильс изо всей силы пришпорил его своими деревянными башмачками.

Мартин чуть-чуть повернул голову и прошипел:

— Слуш-ш-ай, ты! Сиди смирно, а не то сброш-шу тебя...

Пришлось сидеть смирно.

2

Весь день белый гусь Мартин летел вровень со всей стаей, будто он никогда и не был домашним гусем, будто он всю жизнь только и делал, что летал.

«И откуда у него такая прыть?» — удивлялся Нильс.

Но к вечеру Мартин все-таки стал сдавать. Теперь-то всякий бы увидел, что летает он без году один день: то вдруг отстанет, то вырвется вперед, то будто провалится в яму, то словно подскочит вверх.

И дикие гуси увидели это.

— Акка Кебнекайсе! Акка Кебнекайсе! — закричали они.

— Что вам от меня нужно? — спросила гусыня, летевшая впереди всех.

— Белый отстает!

— Он должен знать, что летать быстро легче, чем летать медленно! — крикнула гусыня, даже не обернувшись.

Мартин пытался сильнее и чаще взмахивать крыльями, но усталые крылья отяжелели и тянули его вниз.

— Акка! Акка Кебнекайсе! — опять закричали гуси.

— Что вам нужно? — отозвалась старая гусыня.

— Белый не может лететь так высоко!

— Он должен знать, что летать высоко легче, чем летать низко! — ответила Акка.

Бедный Мартин напряг последние силы. Но крылья у него совсем ослабели и едва держали его.

— Акка Кебнекайсе! Акка! Белый падает!

— Кто не может летать, как мы, пусть сидит дома! Скажите это белому! — крикнула Акка, не замедляя полета.

— И верно, лучше бы нам сидеть дома,— прошептал Нильс и покрепче уцепился за шею Мартина.

Мартин падал, как подстреленный.

Счастье еще, что по пути им подвернулась какая-то тощая ветла. Мартин зацепился за верхушку дерева и повис среди веток. Так они и висели. Крылья у Мартина обмякли, шея болталась, как тряпка. Он громко дышал, широко разевая клюв, точно хотел захватить побольше воздуха. Нильсу стало жалко Мартина. Он даже попробовал его утешить.

— Милый Мартин,— сказал Нильс ласково,— не печалься, что они тебя бросили. Ну посуди сам, куда тебе с ними тягаться! Давай лучше вернемся домой!

Мартин и сам понимал: надо бы вернуться. Но ему так хотелось доказать всему свету, что и домашние гуси кое-чего стоят!

А тут еще этот противный мальчишка со своими утешениями! Если бы он не сидел у него на шее, Мартин, может, и долетел бы до Лапландии.

Со злости у Мартина сразу прибавилось силы. Он замахал крыльями с такой яростью, что сразу поднялся чуть не до самых облаков и скоро догнал стаю.

На его счастье, начало смеркаться.

На землю легли черные тени. С озера, над которым летели дикие гуси, пополз туман.

Стая Акки Кебнекайсе спустилась на ночевку.

3

Чуть только гуси коснулись прибрежной полоски земли, они сразу полезли в воду. На берегу остались гусь Мартин и Нильс.

Как с ледяной горки, Нильс съехал со скользкой спины Мартина. Наконец-то он на земле! Нильс расправил затекшие руки и ноги и поглядел по сторонам.

Зима здесь отступала медленно. Все озеро было еще подо льдом, и только у берегов выступила вода — темная и блестящая.

К самому озеру черной стеной подходили высокие ели. Всюду снег уже растаял, но здесь, у корявых, разросшихся корней, снег все еще лежал плотным толстым слоем, как будто эти могучие ели силой удерживали возле себя зиму.

Солнце уже совсем спряталось.

Из темной глубины леса слышалось какое-то потрескивание и шуршание.

Нильсу стало не по себе.

Как далеко они залетели! Теперь, если Мартин даже захочет вернуться, им все равно не найти дороги домой... А все-таки Мартин молодец!.. Да что же это с ним?

— Мартин! Мартин! — позвал Нильс.

Мартин не отвечал. Он лежал, как мертвый, распластав по земле крылья и вытянув шею. Глаза его были подернуты мутной пленкой. Нильс испугался.

— Милый Мартин,— сказал он, наклонившись над гусем,— выпей глоток воды! Увидишь, тебе сразу станет легче.

Но гусь даже не шевельнулся. Нильс похолодел от страха...

Неужели Мартин умрет? Ведь у Нильса не было теперь ни одной близкой души, кроме этого гуся.

— Мартин! Ну же, Мартин! — тормошил его Нильс.

Гусь словно не слышал его.

Тогда Нильс схватил Мартина обеими руками за шею и потащил к воде.

Это было нелегкое дело. Гусь был самый лучший в их хозяйстве, и мать раскормила его на славу. А Нильса сейчас едва от земли видно. И все-таки он дотащил Мартина до самого озера и сунул его голову прямо в студеную воду.

Сначала Мартин лежал неподвижно. Но вот он открыл глаза, глотнул разок-другой и с трудом встал на лапы. С минуту он постоял, шатаясь из стороны в сторону, потом по самую шею залез в озеро и медленно поплыл между льдинами. То и дело он погружал клюв в воду, а потом, запрокинув голову, жадно глотал водоросли.

«Ему-то хорошо,— с завистью подумал Нильс,— а ведь я тоже с утра ничего не ел».

В это время Мартин подплыл к берегу. В клюве у него был зажат маленький красноглазый карасик.

Гусь положил рыбу перед Нильсом и сказал:

— Дома мы не были с тобой друзьями. Но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя.

Нильс чуть не бросился обнимать Мартина. Правда, он никогда еще не пробовал сырой рыбы. Да что поделаешь, надо привыкать! Другого ужина не получишь.

Он порылся в карманах, разыскивая свой складной ножичек. Ножичек, как всегда, лежал с правой стороны, только стал не больше булавки,— впрочем, как раз по карману.

Нильс раскрыл ножичек и принялся потрошить рыбу.

Вдруг послышался какой-то шум и плеск. На берег, отряхиваясь, вышли дикие гуси.

— Смотри не проболтайся, что ты человек,— шепнул Нильсу Мартин и выступил вперед, почтительно приветствуя стаю.

Теперь можно было хорошенько рассмотреть всю компанию. Надо признаться, что красотой они не блистали, эти дикие гуси. И ростом не вышли, и нарядом не могли похвастать. Все как на подбор серые, точно пылью покрытые,— хоть бы у кого-нибудь одно белое перышко!

А ходят-то как! Вприпрыжку, вприскочку, ступают куда попало, не глядя под ноги.

Мартин от удивления даже развел крыльями. Разве так ходят порядочные гуси? Ходить надо медленно, ступать на всю лапу, голову держать высоко. А эти ковыляют, точно хромые.

Впереди всех выступала старая-престарая гусыня. Ну, уж это была и красавица! Шея тощая, из-под перьев кости торчат, а крылья точно кто-то обгрыз. Зато ее желтые глаза сверкали, как два горящих уголька. Все гуси почтительно смотрели на нее, не смея заговорить, пока гусыня первая не скажет свое слово.

Это была сама Акка Кебнекайсе, предводительница стаи.

Сто раз уже водила она гусей с юга на север и сто раз возвращалась с ними с севера на юг. Каждый кустик, каждый островок на озере, каждую полянку в лесу знала Акка Кебнекайсе. Никто не умел выбрать место для ночевки лучше, чем Акка Кебнекайсе; никто не умел лучше, чем она, укрыться от хитрых врагов, подстерегавших гусей в пути.

Акка долго разглядывала Мартина от кончика клюва до кончика хвоста и наконец сказала:

— Наша стая не может принимать к себе первых встречных. Все, кого ты видишь перед собой, принадлежат к лучшим гусиным семействам. А ты даже летать как следует не умеешь. Что ты за гусь, какого роду и племени?

— Моя история не длинная,— грустно сказал Мартин.— Я родился в прошлом году в местечке Сванегольм, а осенью меня продали Хольгеру Нильсону — в соседнюю деревню Вестменхёг. Там я и жил до сегодняшнего дня.

— Как же ты набрался храбрости лететь с нами? — спросила Акка Кебнекайсе.

— Вы назвали нас жалкими курицами, и я решил доказать вам, диким гусям, что и мы, домашние гуси, кое на что способны,— ответил Мартин.

— На что же вы, домашние гуси, способны? — снова спросила Акка Кебнекайсе.— Как ты летаешь, мы уже видели, но, может быть, ты отличный пловец?

— И этим я не могу похвастать,— печально сказал Мартин.— Мне доводилось плавать только в пруду за деревней, но, по правде говоря, этот пруд разве что немного побольше самой большой лужи.

— Ну, тогда ты, верно, мастер прыгать?

— Прыгать? Ни один уважающий себя домашний гусь не позволит себе прыгать,— сказал Мартин.

И вдруг спохватился. Он вспомнил, как смешно подпрыгивают дикие гуси, и понял, что сказал лишнее.

Теперь Мартин был уверен, что Акка Кебнекайсе сейчас же прогонит его из своей стаи.

Но Акка Кебнекайсе сказала:

— Мне нравится, что ты говоришь так смело. Кто смел, тот будет верным товарищем. Ну, а научиться тому, чего не умеешь, никогда не поздно. Если хочешь, оставайся с нами.

— Очень хочу! — ответил Мартин.

Вдруг Акка Кебнекайсе заметила Нильса.

— А это кто еще с тобой? Таких, как он, я никогда не видала.

Мартин замялся на минуту.

— Это мой товарищ...— неуверенно сказал он.

Тут Нильс выступил вперед и решительно заявил:

— Меня зовут Нильс Хольгерсон. Мой отец — Хольгер Нильсон — крестьянин, и до сегодняшнего дня я был человеком, но сегодня утром...

Кончить ему не удалось. Едва он произнес слово «человек», гуси попятились и, вытянув шеи, злобно зашипели, загоготали, захлопали крыльями.

— Человеку не место среди диких гусей,— сказала старая гусыня.— Люди были, есть и будут нашими врагами. Ты должен немедленно покинуть стаю.

Теперь уже Мартин не выдержал и вмешался:

— Но ведь его и человеком-то не назовешь! Смотрите, какой он маленький! Я ручаюсь, что он не сделает вам никакого зла. Позвольте ему остаться хотя бы на одну ночь.

Акка испытующе посмотрела на Нильса, потом на Мартина и наконец сказала:

— Наши деды, прадеды и прапрадеды завещали нам никогда не доверяться человеку, будь он маленький или большой. Но если ты ручаешься за него, так и быть — сегодня пусть он останется с нами. Мы ночуем на большой льдине посреди озера. А завтра утром он должен покинуть нас.

С этими словами она поднялась в воздух. За нею полетела вся стая.

— Послушай, Мартин,— робко спросил Нильс,— ты что же, останешься с ними?

— Ну конечно! — с гордостью сказал Мартин.— Не каждый день домашнему гусю выпадает такая честь — лететь в стае Акки Кебнекайсе.

— А как же я? — опять спросил Нильс.— Мне ни за что одному не добраться домой. Я сейчас и в траве заблужусь, не то что в этом лесу.

— Домой тебя относить мне некогда, сам понимаешь,— сказал Мартин.— Но вот что я могу тебе предложить: летим вместе со всеми. Посмотрим, что это за Лапландия такая, а потом и домой вернемся. Акку я уж как-нибудь уговорю, а не уговорю, так обману. Ты теперь маленький, спрятать тебя нетрудно. Ну, довольно разговаривать! Собери-ка поскорее сухой травы. Да побольше!

Когда Нильс набрал целую охапку прошлогодней травы, Мартин осторожно подхватил его за ворот рубашки и перенес на большую льдину. Дикие гуси уже спали, подвернув головы под крылья.

— Разложи траву,— скомандовал Мартин,— а то без подстилки у меня, чего доброго, лапы ко льду примерзнут.

Подстилка хоть и получилась жидковатая (много ли Нильс мог травы унести!), но все-таки лед кое-как прикрывала.

Мартин стал на нее, снова схватил Нильса за шиворот и сунул к себе под крыло.

— Спокойной ночи! — сказал Мартин и покрепче прижал крыло, чтобы Нильс не вывалился.

— Спокойной ночи! — сказал Нильс, зарываясь с головой в мягкий и теплый гусиный пух.

Глава третья

НОЧНОЙ ВОР

1

Когда все птицы и звери уснули крепким сном, из лесу вышел лис Смирре.

Каждую ночь выходил Смирре на охоту, и плохо было тому, кто беспечно засыпал, не успев забраться на высокое дерево или спрятаться в глубокой норе.

Мягкими, неслышными шагами подошел лис Смирре к озеру. Он давно уже выследил стаю диких гусей и заранее облизывался, думая о вкусной гусятине.

Но широкая черная полоса воды отделяла Смирре от диких гусей. Смирре стоял на берегу и от злости щелкал зубами.

И вдруг он заметил, что ветер медленно-медленно подгоняет льдину к берегу.

«Ага, добыча все-таки моя!» — ухмыльнулся Смирре и, присев на задние лапы, терпеливо принялся ждать.

Он ждал час... Ждал два часа... три...

Черная полоска воды между берегом и льдиной становилась все у́же и у́же.

Вот до лиса донесся гусиный дух.

Смирре проглотил слюну.

С шуршанием и легким звоном льдина ударилась о берег...

Смирре изловчился и прыгнул на лед.

Он подбирался к стае так тихо, так осторожно, что ни один гусь не услышал приближения врага. Но старая Акка услышала. Резкий крик ее разнесся над озером, разбудил гусей, поднял всю стаю в воздух.

И все-таки Смирре успел схватить одного гуся.

От крика Акки Кебнекайсе проснулся и Мартин. Сильным взмахом он раскрыл крылья и стремительно взлетел вверх. А Нильс так же быстро полетел вниз.

Он стукнулся об лед и открыл глаза. Спросонок Нильс даже не понял, где он и что с ним случилось. И вдруг он увидел ли́са, удиравшего с гусем в зубах. Не раздумывая долго, Нильс кинулся вдогонку.

Бедный гусь, попавшийся в пасть Смирре, услышал топот деревянных башмачков и, выгнув шею, с робкой надеждой посмотрел назад.

«Ах вот кто это! — грустно подумал он.— Ну, значит, пропал я. Куда такому справиться с лисом!»

А Нильс совсем забыл, что лис, если захочет, может разда-

вить его одной лапой. Он бежал по пятам за ночным вором и твердил сам себе:

— Только бы догнать! Только бы догнать!

Лис перепрыгнул на берег — Нильс за ним.

Лис бросился к лесу — Нильс за ним.

— Сейчас же отпусти гуся! Слышишь? — закричал Нильс.— А не то я тебя так отделаю, что сам не рад будешь!

— Кто это там пищит? — удивился Смирре.

Он был любопытен, как все ли́сы на свете, и поэтому остановился и повернул морду.

Сначала он даже не увидел никого.

Только когда Нильс подбежал ближе, Смирре разглядел своего страшного врага.

Лису стало так смешно, что он чуть не выронил добычу.

— Говорю тебе, отдавай моего гуся! — кричал Нильс.

Смирре положил гуся на землю, придавил его передними лапами и сказал:

— Ах, это твой гусь? Тем лучше. Можешь посмотреть, как я с ним расправлюсь!

«Этот рыжий вор, кажется, и за человека меня не считает!» — подумал Нильс и бросился вперед.

Обеими руками он вцепился в лисий хвост и дернул что было силы.

От неожиданности Смирре выпустил гуся. Только на секунду. Но и секунды было достаточно. Не теряя времени, гусь рванулся вверх. Он очень хотел бы помочь Нильсу. Но что он мог сделать? Одно крыло у него было смято, из другого Смирре успел повыдергать перья. К тому же в темноте гусь почти ничего не видел. Может быть, Акка Кебнекайсе что-нибудь придумает? Надо скорее лететь к стае. Нельзя же оставлять Нильса в такой беде!

И, тяжело взмахивая крыльями, гусь полетел к озеру.

Нильс и Смирре посмотрели ему вслед. Один с радостью, другой со злобой.

— Что ж! — прошипел лис.— Если гусь ушел от меня, так уж тебя я не выпущу. Проглочу в два счета!

— Ну это мы посмотрим! — сказал Нильс и еще крепче сжал лисий хвост.

И верно, поймать Нильса оказалось не так просто.

Смирре прыгнул вправо, а хвост занесло влево.

Смирре прыгнул влево, а хвост занесло вправо.

Смирре кружился, как волчок, но и хвост кружился вместе с ним, а вместе с хвостом — Нильс.

Сначала Нильсу было даже весело от этой бешеной пляски. Но скоро руки у него затекли, в глазах зарябило. Вокруг Нильса поднимались целые тучи прошлогодних листьев, его ударяло о корни деревьев, глаза засыпало землей.

«Нет! Долго так не продержаться. Надо удирать!»

Нильс разжал руки и выпустил лисий хвост.

И сразу, точно вихрем, его отбросило далеко в сторону и ударило о толстую сосну. Не чувствуя боли, Нильс стал карабкаться на дерево — выше, выше — и так, без передышки, чуть не до самой вершины.

А Смирре ничего не видел,— все кружилось и мелькало у него перед глазами, и сам он как заводной кружился на месте, разметая хвостом сухие листья.

— Полно тебе плясать-то! Можешь отдохнуть немножко! — крикнул ему сверху Нильс.

Смирре остановился как вкопанный и с удивлением посмотрел на свой хвост. На хвосте никого не было.

2

— Ты не лис, а ворона! Карр! Карр! Карр! — кричал Нильс.

Смирре задрал голову. Высоко на дереве сидел Нильс и показывал ему язык.

— Все равно от меня не уйдешь! — сказал Смирре и уселся под деревом.

Нильс надеялся, что лис в конце концов проголодается и отправится добывать себе другой ужин. А лис рассчитывал, что Нильса рано или поздно одолеет дремота и он свалится на землю.

Так они и сидели всю ночь: Нильс — высоко на дереве, Смирре — внизу под деревом.

Страшно в лесу ночью! В густой тьме все кругом будто окаменело. Нильс и сам боялся пошевельнуться. Ноги и руки у него затекли, глаза слипались... Казалось, что ночь никогда не кончится, что никогда больше не наступит утро.

И все-таки утро наступило. Солнце медленно поднималось далеко-далеко за лесом.

Но прежде чем показаться над землей, оно послало целые снопы огненных сверкающих лучей, чтобы они развеяли, разогнали ночную тьму.

Облака на темном небе, ночной иней, покрывавший землю, застывшие ветви деревьев — все вспыхнуло, озарилось светом.

Проснулись лесные жители. Красногрудый дятел застучал своим клювом по коре. Из дупла выпрыгнула белочка с орехом в лапках, уселась на сучок и принялась завтракать. Пролетел скворец. Где-то запел зяблик.

— Проснитесь! Выходите из своих нор, звери! Вылетайте

из гнезд, птицы! Теперь вам нечего бояться,— говорило всем солнце.

Нильс с облегчением вздохнул и расправил онемевшие руки и ноги.

Вдруг с озера донесся крик диких гусей, и Нильс с вершины дерева увидел, как вся стая поднялась со льдины и полетела над лесом.

Он крикнул им, замахал руками, но гуси пронеслись над головой Нильса и скрылись за верхушками сосен. Вместе с ними улетел его единственный товарищ, белый гусь Мартин.

Нильс почувствовал себя таким несчастным и одиноким, что чуть не заплакал.

Он посмотрел вниз. Под деревом по-прежнему сидел лис Смирре, задрав острую морду, и ехидно ухмылялся.

— Эй, ты! — крикнул Смирре.— Видно, твои друзья не очень-то о тебе беспокоятся! Слезай-ка лучше, приятель. У меня для дорогого дружка хорошее местечко приготовлено, теплень-кое, уютное! — И он погладил себя лапой по брюху.

Но вот где-то совсем близко зашумели крылья. Среди густых веток медленно и осторожно летел серый гусь.

Как будто не видя опасности, он летел прямо на Смирре.

Смирре замер.

Гусь летел так низко, что казалось, крылья его вот-вот заденут землю.

Точно отпущенная пружина, Смирре подскочил кверху. Еще чуть-чуть, и он схватил бы гуся за крыло. Но гусь вывернулся из-под самого его носа и бесшумно, как тень, пронесся к озеру.

Не успел Смирре опомниться, а из чащи леса уже вылетел второй гусь. Он летел так же низко и так же медленно.

Смирре приготовился. «Ну, этому уж не уйти!» Лис прыгнул. Всего только на волосок не дотянулся он до гуся. Удар его лапы пришелся по воздуху, и гусь как ни в чем не бывало скрылся за деревьями.

Через минуту появился третий гусь. Он летел вкривь и вкось, словно у него было перебито крыло.

Чтобы не промахнуться снова, Смирре подпустил его совсем близко — вот сейчас гусь налетит на него и заденет крыльями. Прыжок — и Смирре уже коснулся гуся. Но тот шарахнулся в сторону, и острые когти лиса только скрипнули по гладким перьям.

Потом из чащи вылетел четвертый гусь, пятый, шестой... Смирре метался от одного к другому. Глаза у него покраснели, язык свесился набок, рыжая блестящая шерсть сбилась клочья-ми. От злости и от голода он ничего уже не видел; он бросался на солнечные пятна и даже на свою собственную тень.

Смирре был немолодой, видавший виды лис. Собаки не раз гнались за ним по пятам, и не раз мимо его ушей со свистом пролетали пули. И все-таки никогда Смирре не приходилось так плохо, как в это утро.

Когда дикие гуси увидели, что Смирре совсем обессилел и, едва дыша, свалился на кучу сухих листьев, они прекратили свою игру.

— Теперь ты надолго запомнишь, каково тягаться со стаей Акки Кебнекайсе! — прокричали они на прощание и скрылись за лесной чащей.

А в это время белый гусь Мартин подлетел к Нильсу. Он осторожно подцепил его клювом, снял с ветки и направился к озеру.

Там на большой льдине уже собралась вся стая.

Увидев Нильса, дикие гуси радостно загоготали и захлопали крыльями. А старая Акка Кебнекайсе выступила вперед и сказала:

— Ты первый человек, от которого мы видели добро, и стая позволяет тебе остаться с нами.

Глава четвертая

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И НОВЫЕ ВРАГИ

1

Пять дней летел уже Нильс с дикими гусями. Теперь он не боялся упасть, а спокойно сидел на спине Мартина, поглядывая направо и налево.

Синему небу конца-края нет, воздух легкий, прохладный, будто в чистой воде в нем купаешься. Облака взапуски бегут за стаей: то догонят ее, то отстанут, то собьются в кучу, то снова разбегутся, как барашки по полю. А то вдруг небо потемнеет, покроется черными тучами, и Нильсу кажется, что это не тучи, а какие-то огромные возы, нагруженные мешками, бочками, котлами, надвигаются со всех сторон на стаю. Возы с грохотом сталкиваются. Из мешков сыплется крупный, как горох, дождь, из бочек и котлов льет ливень.

А потом опять, куда ни глянь,— открытое небо, голубое, чистое, прозрачное. И земля внизу вся как на ладони.

Снег уже совсем стаял, и крестьяне вышли в поле на весенние работы. Волы, покачивая рогами, тащат за собой тяжелые плуги.

— Га-га-га! — кричат сверху гуси.— Поторапливайтесь! А то и лето пройдет, пока вы доберетесь до края поля.

К стр. 575

Волы не остаются в долгу. Они задирают головы и мычат:

— М-м-медленно, но верно! М-м-медленно, но верно!

Вот по крестьянскому двору бегает баран. Его только что остригли и выпустили из хлева.

— Баран, баран! — кричат гуси.— Шубу потерял!

— Зато бе-е-егать легче, бе-е-егать легче! — кричит в ответ баран.

А вот стоит собачья будка. Гремя цепью, около нее кружит сторожевая собака.

— Га-га-га! — кричат крылатые путешественники.— Какую красивую цепь на тебя надели!

— Бродяги! — лает им вслед собака.— Бездомные бродяги! Вот вы кто такие!

Но гуси даже не удостаивают ее ответом. Собака лает — ветер носит.

Если дразнить было некого, гуси просто перекликались друг с другом.

— Где ты?

— Я здесь!

— Ты здесь?

— Я тут!

И лететь им было веселее. Да и Нильс не скучал. Но все-таки иногда ему хотелось пожить по-человечески. Хорошо бы посидеть в настоящей комнате, за настоящим столом, погреться у настоящей печки. И на кровати поспать было бы неплохо! Когда это еще будет! Да и будет ли когда-нибудь! Правда, Мартин заботился о нем и каждую ночь прятал у себя под крылом, чтобы Нильс не замерз. Но не так-то легко человеку жить под птичьим крылышком!

Хуже всего было с едой. Дикие гуси вылавливали для Нильса самые лучшие водоросли и каких-то водяных паучков. Нильс вежливо благодарил гусей, но отведать такое угощение не решался.

Случалось, что Нильсу везло, и в лесу, под сухими листьями, он находил прошлогодние орешки. Сам-то он не мог их разбить. Он бежал к Мартину, закладывал орех ему в клюв, и Мартин с треском раскалывал скорлупу. Дома Нильс так же колол грецкие орехи, только закладывал их не в гусиный клюв, а в дверную щель.

Но орехов было очень мало. Чтобы найти хоть один орешек, Нильсу приходилось иной раз час бродить по лесу, пробираясь сквозь жесткую прошлогоднюю траву, увязая в сыпучей хвое, спотыкаясь о хворостинки.

На каждом шагу его подстерегала опасность.

Однажды на него вдруг напали муравьи. Целые полчища огромных пучеглазых муравьев окружили его со всех сторон.

Они кусали его, обжигали своим ядом, карабкались на него, заползали за шиворот и в рукава. Нильс отряхивался, отбивался от них и руками и ногами, но, пока он справлялся с одним врагом, на него набрасывалось десять новых.

Когда он прибежал к болоту, на котором расположилась для ночевки стая, гуси даже не сразу узнали его — весь он, от макушки до пяток, был облеплен черными муравьями.

— Стой, не шевелись! — закричал Мартин и стал быстро-быстро склевывать одного муравья за другим.

2

Целую ночь после этого Мартин, как нянька, ухаживал за Нильсом.

От муравьиных укусов лицо, руки и ноги у Нильса стали красные, как свекла, и покрылись огромными волдырями. Глаза затекли, все тело ныло и горело, точно после ожога.

Мартин собрал большую кучу сухой травы — Нильсу для подстилки, а потом обложил его с ног до головы мокрыми липкими листьями, чтобы оттянуть жар.

Как только листья подсыхали, Мартин осторожно снимал их клювом, окунал в болотную воду и снова прикладывал к больным местам.

К утру Нильсу стало полегче, ему даже удалось повернуться на другой бок.

— Кажется, я уже здоров,— сказал Нильс.

— Какое там здоровье! — проворчал Мартин.— Не разберешь, где у тебя нос, где глаз. Все распухло. Ты бы сам не поверил, что это ты, если б увидел себя! За один час ты так растолстел, будто тебя год чистым ячменем откармливали.

Кряхтя и охая, Нильс высвободил из-под мокрых листьев одну руку и распухшими, негнущимися пальцами стал ощупывать лицо.

И верно, лицо было точно туго надутый мяч. Нильс с трудом нашел кончик носа, затерявшийся между вздувшимися щеками.

— Может, надо почаще менять листья? — робко спросил он Мартина.— Как ты думаешь? А? Может, тогда скорее пройдет?

— Да куда же чаще! — сказал Мартин.— Я и так все время взад-вперед бегаю. И надо же тебе было в муравейник залезть!

— Разве я знал, что там муравейник? Я не знал! Я орешки искал.

— Ну ладно, не вертись,— сказал Мартин и шлепнул ему на лицо большой мокрый лист.— Полежи спокойно, а я сейчас приду.

И Мартин куда-то ушел. Нильс только слышал, как за-

чмокала и захлюпала под его лапами болотная вода. Потом чмоканье стало тише и наконец затихло совсем.

Через несколько минут в болоте снова зачмокало и зачавкало, сперва чуть слышно, где-то вдалеке, а потом все громче, все ближе и ближе.

Но теперь шлепали по болоту уже четыре лапы.

«С кем это он идет?» — подумал Нильс и завертел головой, пытаясь сбросить примочку, закрывавшую все лицо.

— Пожалуйста, не вертись! — раздался над ним строгий голос Мартина.— Что за беспокойный больной! Ни на минуту одного нельзя оставить!

— А ну-ка, дай я посмотрю, что с ним такое,— проговорил другой гусиный голос, и кто-то приподнял лист с лица Нильса.

Сквозь щелочки глаз Нильс увидел Акку Кебнекайсе.

Она долго с удивлением рассматривала Нильса, потом покачала головой и сказала:

— Вот уж никогда не думала, что от муравьев такая беда может приключиться! Гусей-то они не трогают, знают, что гусь их не боится...

— Раньше и я их не боялся,— обиделся Нильс.— Раньше я никого не боялся.

— Ты и теперь никого не должен бояться,— сказала Акка.— Но остерегаться должен многих. Будь всегда наготове. В лесу берегись лисы и куницы. На берегу озера помни о выдре. В ореховой роще избегай кобчика. Ночью прячься от совы, днем не попадайся на глаза орлу и ястребу. Если ты идешь по густой траве, ступай осторожно и прислушивайся, не ползет ли поблизости змея. Если с тобой заговорит сорока, не доверяй ей,— сорока всегда обманет.

— Ну, тогда мне все равно пропадать,— сказал Нильс.— Разве уследишь за всем сразу? От одного спрячешься, а другой тебя как раз и схватит.

— Конечно, одному тебе со всеми не справиться,— сказала Акка.— Но в лесу и в поле живут не только наши враги, у нас есть и друзья. Если в небе покажется орел, тебя предупредит белка. О том, что крадется лиса, пролопочет заяц. О том, что ползет змея, прострекочет кузнечик.

— Чего ж они все молчали, когда я в муравьиную кучу лез? — проворчал Нильс.

— Ну, надо и самому голову на плечах иметь,— ответила Акка.— Мы проживем здесь три дня. Болото тут хорошее, водорослей сколько душе угодно, а путь нам предстоит долгий. Вот я и решила — пусть стая отдохнет да подкормится. Мартин тем временем тебя подлечит. На рассвете четвертого дня мы полетим дальше.

Акка кивнула головой и неторопливо зашлепала по болоту.

3

Это были трудные дни для Мартина. Нужно было и лечить Нильса, и кормить его. Сменив примочку из мокрых листьев и поправив подстилку, Мартин бежал в ближний лесок на поиски орехов. Два раза он возвращался ни с чем.

— Да ты просто не умеешь искать! — ворчал Нильс.— Разгребай хорошенько листья. Орешки всегда на самой земле лежат.

— Знаю я. Да ведь тебя надолго одного не оставишь!.. А лес не так близко. Не успеешь добежать, сразу назад надо.

— Зачем же ты пешком бегаешь? Ты бы летал.

— А ведь верно! — обрадовался Мартин.— Как это я сам не догадался! Вот что значит старая привычка!

На третий день Мартин прилетел совсем скоро, и вид у него был очень довольный. Он опустился около Нильса и, не говоря ни слова, во всю ширь разинул клюв. И оттуда один за другим выкатилось шесть ровных, крупных орехов. Таких красивых орехов Нильс никогда еще не находил. Те, что он подбирал на земле, всегда были уже подгнившие, почерневшие от сырости.

— Где же ты нашел такие орешки! — воскликнул Нильс.— Точно из лавки.

— Ну хоть и не из лавки,— сказал Мартин,— а вроде того.

Он подхватил самый крупный орешек и сдавил его клювом. Скорлупа звонко хрустнула, и на ладонь Нильса упало свежее золотистое ядрышко.

— Эти орехи дала мне из своих запасов белка Сирле! — гордо проговорил Мартин.— Я познакомился с ней в лесу. Она сидела на сосне перед дуплом и щелкала орешки для своих бельчат. А я мимо летел. Белка так удивилась, когда увидела меня, что даже выронила орешек. «Вот,— думаю,— удача! Вот повезло!» Приметил я, куда орешек упал, и скорее вниз. Белка за мной. С ветки на ветку перепрыгивает и ловко так — точно по воздуху летает. Я думал, ей орешка жалко, белки ведь народ хозяйственный. Да нет, ее просто любопытство разобрало: кто я, да откуда, да отчего у меня крылья белые? Ну, мы и разговорились. Она меня даже к себе пригласила на бельчат посмотреть. Мне хоть и трудновато среди веток летать, да неловко было отказаться. Посмотрел. А потом она меня орехами угостила и на прощанье вон еще сколько дала — едва в клюве поместились. Я даже поблагодарить ее не мог — боялся орехи растерять.

— Вот это нехорошо,— сказал Нильс, запихивая орешек в рот.— Придется мне самому ее поблагодарить.

4

На другое утро Нильс проснулся чуть свет. Мартин еще спал, спрятав, по гусиному обычаю, голову под крыло.

Нильс легонько шевельнул ногами, руками, повертел головой. Ничего, все как будто в порядке.

Тогда он осторожно, чтобы не разбудить Мартина, выполз из-под вороха листьев и побежал к болоту. Он выискал кочку посуше и покрепче, взобрался на нее и, став на четвереньки, заглянул в неподвижную черную воду.

Лучшего зеркала и не надо было! Из блестящей болотной жижи на него глядело его собственное лицо. И все на месте, как полагается: нос как нос, щеки как щеки, только правое ухо чуть-чуть больше левого. Нильс встал, отряхнул мох с коленок и зашагал к лесу. Он решил непременно разыскать белку Сирле.

Во-первых, надо поблагодарить за угощение, а во-вторых, попросить еще орехов — про запас. И бельчат хорошо бы заодно посмотреть...

Пока Нильс добрался до опушки, небо совсем посветлело.

«Надо скорее идти,— заторопился Нильс.— А то Мартин проснется и пойдет меня искать».

Но все получилось не так, как думал Нильс. С самого начала ему не повезло.

Мартин говорил, что белка живет на сосне. А сосен в лесу очень много. Поди-ка угадай, на какой она живет!

«Спрошу кого-нибудь»,— подумал Нильс, пробираясь по лесу.

Он старательно обходил каждый пень, чтобы не попасть снова в муравейную засаду, прислушивался к каждому шороху и, чуть что, хватался за свой ножичек, готовясь отразить нападение змеи.

Он шел так осторожно, так часто оглядывался, что даже не заметил, как наткнулся на ежа. Еж принял его прямо в штыки, выставив навстречу сотню своих иголок. Нильс попятился назад и, отступив на почтительное расстояние, вежливо сказал:

— Мне нужно у вас кое-что разузнать. Не можете ли вы хотя бы на время убрать ваши колючки?

— Не могу! — буркнул еж и плотным колючим шаром покатился мимо Нильса.

— Ну что ж! — сказал Нильс.— Найдется кто-нибудь посговорчивей.

И только он сделал несколько шагов, как откуда-то сверху на него посыпался настоящий град: кусочки сухой коры, хворостинки, шишки. Одна шишка просвистела у самого его носа, другая ударила по макушке. Нильс почесал голову, отряхнул мусор и с опаской поглядел вверх.

Прямо над его головой на широколапой ели сидела остроносая длиннохвостая сорока и старательно сбивала клювом черную шишку. Пока Нильс разглядывал сороку и придумывал, как бы с ней заговорить, сорока справилась со своей работой, и шишка стукнула Нильса по лбу.

— Чу́дно! Прекрасно! Прямо в цель! Прямо в цель! — затараторила сорока и шумно захлопала крыльями, прыгая по ветке.

— По-моему, вы не очень-то удачно выбрали цель,— сердито сказал Нильс, потирая лоб.

— Чем же плохая цель? Очень хорошая цель. А ну-ка постойте здесь минутку, я еще с той ветки попробую.— И сорока вспорхнула на ветку повыше.— Кстати, как вас зовут? Чтобы я знала, в кого целюсь! — крикнула она сверху.

— Зовут-то меня Нильсом. Только, право, вам не стоит трудиться. Я и так знаю, что вы попадете. Лучше скажите, где тут живет белка Сирле. Мне она очень нужна.

— Белка Сирле? Вам нужна белка Сирле? О, мы с ней старые друзья! Я с удовольствием вас провожу до самой ее сосны. Это недалеко. Идите за мной следом. Куда я — туда и вы. Куда я — туда и вы. Прямо к ней и придете.

С этими словами она перепорхнула на клен, с клена перелетела на ель, потом на осину, потом опять на клен, потом снова на ель...

Нильс метался за ней туда и сюда, не отрывая глаз от черного вертлявого хвоста, мелькавшего среди веток. Он спотыкался и падал, опять вскакивал и снова бежал за сорочьим хвостом.

Лес становился гуще и темнее, а сорока все перепрыгивала с ветки на ветку, с дерева на дерево.

И вдруг она взвилась в воздух, закружилась над Нильсом и затараторила:

— Ах, я совсем забыла, что иволга звала меня нынче в гости! Сами понимаете, что опаздывать невежливо. Вам придется меня немного подождать. А пока всего доброго, всего доброго! Очень приятно было с вами познакомиться.— И сорока улетела.

5

Целый час выбирался Нильс из лесной чащи. Когда он вышел на опушку, солнце уже стояло высоко в небе.

Усталый и голодный, Нильс присел на корявый корень.

«Вот уж посмеется надо мной Мартин, когда узнает, как одурачила меня сорока... И что я ей сделал? Правда, один раз я разорил сорочье гнездо, но ведь это было в прошлом году, и не здесь, а в Вестменхёге. Ей-то откуда знать!»

Нильс тяжело вздохнул и с досадой стал носком башмачка

ковырять землю. Под ногами у него что-то хрустнуло. Что это? Нильс наклонился. На земле лежала ореховая скорлупка. Вот еще одна. И еще, и еще.

«Откуда это здесь столько ореховой скорлупы? — удивился Нильс.— Уж не на этой ли самой сосне живет белка Сирле?»

Нильс медленно обошел дерево, всматриваясь в густые зеленые ветки. Никого не было видно. Тогда Нильс крикнул что было силы:

— Не здесь ли живет белка Сирле?

Никто не ответил.

Нильс приставил ладони ко рту и опять закричал:

— Госпожа Сирле! Госпожа Сирле! Ответьте, пожалуйста, если вы здесь!

Он замолчал и прислушался. Сперва все было по-прежнему тихо, потом сверху до него донесся тоненький, приглушенный писк.

— Говорите, пожалуйста, погромче! — опять закричал Нильс.

И снова до него донесся только жалобный писк. Но на этот раз писк шел откуда-то из кустов, около самых корней сосны.

Нильс подскочил к кусту и притаился. Нет, ничего не слышно — ни шороха, ни звука.

А над головой опять кто-то запищал, теперь уже совсем громко.

«Полезу-ка посмотрю, что там такое»,— решил Нильс и, цепляясь за выступы коры, стал карабкаться на сосну.

Карабкался он долго. На каждой ветке останавливался, чтобы отдышаться, и снова лез вверх.

И чем выше он взбирался, тем громче и ближе раздавался тревожный писк.

Наконец Нильс увидел большое дупло.

Из черной дыры, как из окна, высовывались четыре маленьких бельчонка.

Они вертели во все стороны острыми мордочками, толкались, налезали друг на друга, путаясь длинными голыми хвостами. И все время, ни на минуту не умолкая, пищали в четыре рта, на один голос.

Увидев Нильса, бельчата от удивления замолкли на секунду, а потом, как будто набравшись новых сил, запищали еще пронзительнее.

— Тирле упал! Тирле пропал! Мы тоже упадем! Мы тоже пропадем! — верещали бельчата.

Нильс даже зажал уши, чтобы не оглохнуть.

— Да не галдите вы! Пусть один говорит. Кто там у вас упал?

— Тирле упал! Тирле! Он влез на спину Дирле, а Пирле толкнула Дирле, и Тирле упал.

— Постойте-ка, я что-то ничего не пойму: тирле-дирле, дирле-тирле! Позовите-ка мне белку Сирле. Это ваша мама, что ли?

— Конечно, это наша мама! Только ее нет, она ушла, а Тирле упал. Его змея укусит, его ястреб заклюет, его куница съест. Мама! Мама! Иди сюда!

— Ну, вот что,— сказал Нильс,— забирайтесь-ка поглубже в дупло, пока вас и вправду куница не съела, и сидите тихонько. А я полезу вниз, поищу вашего Мирле — или как его там зовут!

— Тирле! Тирле! Его зовут Тирле!

— Ну, Тирле так Тирле,— сказал Нильс и осторожно стал спускаться.

6

Нильс искал бедного Тирле недолго. Он направился прямо к кустам, откуда раньше слышался писк.

— Тирле, Тирле! Где ты? — кричал он, раздвигая густые ветки.

Из глубины кустарника в ответ ему кто-то тихонько пискнул.

— Ага, вот ты где! — сказал Нильс и смело полез вперед, ломая по дороге сухие стебли и сучки.

В самой гуще кустарника он увидел серый комочек шерсти с реденьким, как метелочка, хвостиком. Это был Тирле. Он сидел на тоненькой веточке, вцепившись в нее всеми четырьмя лапками, и так дрожал со страху, что ветка раскачивалась под ним, точно от сильного ветра.

Нильс поймал кончик ветки и, как на канате, подтянул к себе Тирле.

— Перебирайся ко мне на плечи,— скомандовал Нильс.

— Я боюсь! Я упаду! — пропищал Тирле.

— Да ты уже упал, больше падать некуда! Лезь скорее!

Тирле осторожно оторвал от ветки одну лапу и вцепился в плечо Нильса. Потом он вцепился в него второй лапой и наконец весь, вместе с трясущимся хвостом, перебрался на спину к Нильсу.

— Держись покрепче! Только когтями не очень-то впивайся,— сказал Нильс и, сгибаясь под своей ношей, медленно побрел в обратный путь.— Ну и тяжелый же ты! — вздохнул он, выбравшись из чащи кустарника.

Он остановился, чтобы немного передохнуть, как вдруг знакомый скрипучий голос затрещал прямо у него над головой:

— А вот и я! Вот и я!

Это была длиннохвостая сорока.

— Что это у вас на спине? Очень интересно, что это вы несете? — стрекотала сорока.

Нильс ничего не ответил и молча направился к сосне.

Но не успел он сделать и трех шагов, как сорока пронзительно закричала, затрещала, захлопала крыльями.

— Разбой среди бела дня! У белки Сирле похитили бельчонка! Разбой среди бела дня! Несчастная мать! Несчастная мать!

— Никто меня не похищал — я сам упал! — пискнул Тирле.

Однако сорока и слушать ничего не хотела.

— Несчастная мать! Несчастная мать! — твердила она.

А потом сорвалась с ветки и стремительно полетела в глубь леса, выкрикивая на лету все одно и то же:

— Разбой среди бела дня! У белки Сирле украли бельчонка! У белки Сирле украли бельчонка!

— Вот пустомеля! — сказал Нильс и полез на сосну.

7

Нильс был уже на полпути, как вдруг услышал какой-то глухой шум.

Шум приближался, становился все громче, и скоро весь воздух наполнился птичьим криком и хлопаньем тысячи крыльев.

Со всех сторон к сосне слетались встревоженные птицы, а между ними взад и вперед сновала длиннохвостая сорока и громче всех кричала:

— Я сама его видела! Своими глазами видела! Этот разбойник Нильс унес бельчонка! Ищите вора! Ловите его! Держите его!

— Ой, я боюсь! — прошептал Тирле.— Они тебя заклюют, а я опять упаду!

— Ничего не будет, они нас даже не увидят,— храбро сказал Нильс. А сам подумал: «А ведь и верно — заклюют!»

Но все обошлось благополучно.

Под прикрытием веток Нильс с Тирле на спине добрался наконец до беличьего гнезда.

На краю дупла сидела белка Сирле и хвостом вытирала слезы.

А над ней кружилась сорока и без умолку трещала:

— Несчастная мать! Несчастная мать!

— Получайте вашего сына,— тяжело пыхтя, сказал Нильс и, точно куль муки, сбросил Тирле в отверстие дупла.

Увидев Нильса, сорока замолчала на минуту, а потом решительно тряхнула головой и застрекотала еще громче:

— Счастливая мать! Счастливая мать! Бельчонок спасен! Храбрый Нильс спас бельчонка! Да здравствует Нильс!

А счастливая мать обняла Тирле всеми четырьмя лапами, нежно гладила его пушистым хвостом и тихонько посвистывала от радости.

И вдруг она повернулась к сороке.

— Постой-ка,— сказала она,— кто же это говорил, что Нильс украл Тирле?

— Никто не говорил! Никто не говорил! — протрещала сорока и на всякий случай отлетела подальше.— Да здравствует Нильс! Бельчонок спасен! Счастливая мать обнимает свое дитя! — кричала она, перелетая с дерева на дерево.

— Ну, понесла на своем хвосте последние новости! — сказала белка и бросила ей вслед старую шишку.

8

Только к концу дня Нильс вернулся домой — то есть не домой, конечно, а к болоту, где отдыхали гуси.

Он принес полные карманы орехов и два прутика, сверху донизу унизанные сухими грибами.

Все это подарила ему на прощание белка Сирле.

Она проводила Нильса до опушки леса и долго еще махала ему вслед золотистым хвостом. Она бы проводила его и дальше, но не могла: по ровной дороге белке ходить так же трудно, как человеку по деревьям.

А лесные птицы проводили Нильса до самого болота. Они кружились над его головой и на все голоса распевали в его честь звонкие песни.

Длиннохвостая сорока старалась больше всех и пронзительным голосом выкрикивала:

— Да здравствует Нильс! Да здравствует храбрый Нильс!

На другое утро стая покинула болото. Гуси построились ровным треугольником, и старая Акка Кебнекайсе повела их в путь.

— Летим к Глиммингенскому замку! — крикнула Акка.

— Летим к Глиммингенскому замку! — передавали гуси друг другу по цепочке.

— Летим к Глиммингенскому замку! — закричал Нильс в самое ухо Мартину.

Глава пятая

ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА

1

Со всех сторон Глиммингенский замок окружен горами. И даже сторожевые башни замка кажутся вершинами гор.

Нигде не видно ни входов, ни выходов. Толщу каменных стен прорезают лишь узкие, как щели, окошки, которые едва пропускают дневной свет в мрачные, холодные залы.

В далекие незапамятные времена эти стены надежно защищали обитателей замка от набегов воинственных соседей.

Но в те дни, когда Нильс Хольгерсон путешествовал в компании диких гусей, люди больше не жили в Глиммингенском замке и в его заброшенных покоях хранили только зерно.

Правда, это вовсе не значит, что замок был необитаем. Под его сводами поселились совы и филин, в старом развалившемся очаге приютилась дикая кошка, летучие мыши были угловыми жильцами, а на крыше построили себе гнездо аисты.

Не долетев немного до Глиммингенского замка, стая Акки Кебнекайсе опустилась на уступы глубокого ущелья.

Лет сто тому назад, когда Акка в первый раз вела стаю на север, здесь бурлил горный поток. А теперь на самом дне ущелья едва пробивался тоненькой струйкой ручеек. Но все-таки это была вода. Поэтому-то мудрая Акка Кебнекайсе и привела сюда свою стаю.

Не успели гуси устроиться на новом месте, как сразу же к ним явился гость. Это был аист Эрменрих; самый старый жилец Глиммингенского замка.

Аист — очень нескладная птица. Шея и туловище у него немногим больше, чем у обыкновенного домашнего гуся, а крылья почему-то огромные, как у орла. А что за ноги у аиста! Словно две тонкие жерди, выкрашенные в красный цвет. И что за клюв! Длинный-предлинный, толстый, а приделан к совсем маленькой головке. Клюв так и тянет его голову книзу. Поэтому аист всегда ходит повесив нос, будто вечно чем-то озабочен и недоволен.

Приблизившись к старой гусыне, аист Эрменрих поджал, как того требует приличие, одну ногу к самому животу и поклонился так низко, что его длинный нос застрял в расщелине между камнями.

— Рада вас видеть, господин Эрменрих,— сказала Акка Кебнекайсе, отвечая поклоном на его поклон.— Надеюсь, у вас все благополучно? Как здоровье вашей супруги? Что поделывают ваши почтенные соседки, тетушки совы?

Аист попытался было что-то ответить, но клюв его прочно

застрял между камнями, и в ответ раздалось одно только бульканье.

Пришлось нарушить все правила приличия, стать на обе ноги и, упершись в землю покрепче, тащить свой клюв, как гвоздь из стены.

Наконец аист справился с этим делом и, щелкнув несколько раз клювом, чтобы проверить, цел ли он, заговорил:

— Ах, госпожа Кебнекайсе! Не в добрый час вы посетили наши места! Страшная беда грозит этому дому...

Аист горестно поник головой, и клюв его снова застрял между камнями.

Недаром говорят, что аист только для того открывает клюв, чтобы пожаловаться. К тому же он цедит слова так медленно, что их приходится собирать, точно воду, по капле.

— Послушайте-ка, господин Эрменрих,— сказала Акка Кебнекайсе,— не можете ли вы как-нибудь вытащить ваш клюв и рассказать, что у вас там стряслось?

Одним рывком аист выдернул клюв из расщелины и с отчаянием воскликнул:

— Вы спрашиваете, что стряслось, госпожа Кебнекайсе? Коварный враг хочет разорить наши жилища, сделать нас нищими и бездомными, погубить наших жен и детей! И зачем только я вчера, не щадя клюв, целый день затыкал все щели в гнезде! Да разве мою супругу переспоришь? Ей что ни говори, все как с гуся вода...

Тут аист Эрменрих смущенно захлопнул клюв. И как это у него сорвалось насчет гуся!..

Но Акка Кебнекайсе пропустила его слова мимо ушей. Она считала ниже своего достоинства обижаться на всякую болтовню.

— Что же все-таки случилось? — спросила она.— Может быть, люди возвращаются в замок?

— Ах, если бы так! — грустно сказал аист Эрменрих.— Этот враг страшнее всех людей на свете, госпожа Кебнекайсе. Крысы, серые крысы подступают к замку! — воскликнул он и опять поник головой.

— Серые крысы? Что же вы молчали до сих пор? — воскликнула гусыня.

— Да разве я молчу? Я все время только и твержу о них. Эти разбойники не посмотрят, что мы тут столько лет живем. Они что хотят, то и делают. Пронюхали, что в замке хранится зерно, вот и решили захватить замок. И ведь как хитры, как хитры! Вы знаете, конечно, госпожа Кебнекайсе, что завтра в полдень на Кулаберге праздник? Так вот, как раз сегодня ночью полчища серых крыс ворвутся в наш замок. И некому будет защищать его. На сто верст кругом все звери и птицы гото-

вятся к празднику. Никого теперь не разыщешь! Ах, какое несчастье! Какое несчастье!

— Не время проливать слезы, господин Эрменрих,— строго сказала Акка Кебнекайсе.— Мы не должны терять ни минуты. Я знаю одну старую гусыню, которая не допустит, чтобы совершилось такое беззаконие.

— Уж не собираетесь ли вы, уважаемая Акка, вступить в бой с серыми крысами? — усмехнулся аист.

— Нет,— сказала Акка Кебнекайсе,— но у меня в стае есть один храбрый воин, который справится со всеми крысами, сколько бы их ни было.

— Нельзя ли посмотреть на этого силача? — спросил Эрменрих, почтительно склонив голову.

— Что ж, можно,— ответила Акка.— Мартин! Мартин! — закричала она.

Мартин проворно подбежал и вежливо поклонился гостю.

— Это и есть ваш храбрый воин? — насмешливо спросил Эрменрих.— Неплохой гусь, жирный.

Акка ничего не ответила и, обернувшись к Мартину, сказала:

— Позови Нильса.

Через минуту Мартин вернулся с Нильсом на спине.

— Послушай,— сказала Нильсу старая гусыня,— ты должен помочь мне в одном важном деле. Согласен ли ты лететь со мной в Глиммингенский замок?

Нильс был очень польщен. Еще бы, сама Акка Кебнекайсе обращается к нему за помощью. Но не успел он произнести и слова, как аист Эрменрих, точно щипцами, подхватил его своим длинным клювом, подбросил, снова поймал на кончик собственного носа, опять подбросил и опять поймал...

Семь раз проделал он этот фокус, а потом посадил Нильса на спину старой гусыне и сказал:

— Ну, если крысы узнают, с кем им придется иметь дело, они, конечно, разбегутся в страхе. Прощайте! Я лечу предупредить госпожу Эрменрих и моих почтенных соседей, что сейчас к ним пожалует их спаситель. А то они насмерть перепугаются, когда увидят вашего великана.

И, щелкнув клювом, аист улетел.

2

В Глиммингенском замке был переполох. Все жильцы побросали свои насиженные места и сбежались на крышу угловой башни,— там жил аист Эрменрих со своей аистихой.

Гнездо у них было отличное. Аисты устроили его на старом

колесе от телеги, выложили в несколько рядов прутьями и дерном, выстлали изнутри мягким мхом и пухом. А снаружи гнездо обросло густой травой и даже мелким кустарником.

Не зря аист Эрменрих и его аистиха гордились своим домом!

Сейчас гнездо было битком набито жильцами Глиммингенского замка. В обыкновенное время они старались не попадаться друг другу на глаза, но опасность, грозившая замку, сблизила всех.

На краю гнезда сидели две почтенные старушки совы. Они испуганно хлопали круглыми глазами и наперебой рассказывали страшные истории о кровожадности и жестокости крыс.

Одичавшая кошка спряталась на самом дне гнезда, у ног госпожи Эрменрих, и жалобно мяукала, как маленький котенок. Она была уверена, что крысы загрызут ее первую, чтобы рассчитаться со всем кошачьим родом.

А по стенам гнезда, опрокинувшись вниз головой, висели летучие мыши. Они были очень смущены. Как-никак, серые крысы приходились им родней. Бедные летучие мыши все время чувствовали на себе косые взгляды, как будто это они были во всем виноваты.

Посреди гнезда стоял аист Эрменрих.

— Надо бежать,— решительно говорил он,— иначе мы все погибнем.

— Ну да, погибнем, все погибнем! — запищала кошка.— Разве у них есть сердце, у этих разбойников? Они непременно отгрызут мне хвост.— И она укоризненно посмотрела на летучих мышей.

— Есть о чем горевать — о каком-то облезлом хвосте! — возмутилась старая тетушка сова.— Они способны загрызть даже маленьких птенчиков. Я хорошо знаю это отродье. Все крысы таковы. Да и мыши не лучше! — И она злобно сверкнула глазами.

— Ах, что с нами будет, что с нами будет! — стонала аистиха.

— Идут! Идут! — ухнул вдруг филин Флимнеа.

Он сидел на кончике башенного шпиля и, как дозорный, смотрел по сторонам.

Все, точно по команде, повернули головы и в ужасе застыли.

В это время к гнезду подлетела Акка Кебнекайсе с Нильсом. Но никто даже не взглянул на них. Как зачарованные все смотрели куда-то вниз, в одну сторону.

«Да что это с ними? Что они там увидели?» — подумал Нильс и приподнялся на спине гусыни.

Внизу за крепостным валом тянулась длинная дорога, вымощенная серыми камнями.

На первый взгляд — обыкновенная дорога. Но когда Нильс пригляделся, он увидел, что дорога эта движется, как живая,

шевелится, становится то шире, то уже, то растягивается, то сжимается.

— Да это крысы, серые крысы! — закричал Нильс.— Скорее летим отсюда!

— Нет, мы останемся здесь,— спокойно сказала Акка Кебнекайсе.— Мы должны спасти Глиммингенский замок.

— Да вы, верно, не видите, сколько их? Даже если бы я был мальчик как мальчик, я и то ничего не смог бы сделать.

— Если бы ты был большим, как настоящий мальчик, ты ничего не смог бы сделать, а теперь, когда ты маленький, как воробей, ты победишь всех серых крыс. Подойди-ка к моему клюву, я должна сказать тебе кое-что на ухо.

Нильс подошел к ней, и она долго что-то шептала ему.

— Вот это ловко! — засмеялся Нильс и хлопнул себя по коленке.— Запляшут они у нас.

— Чш-ш, молчи! — зашипела старая гусыня.

Потом она подлетела к филину Флимнеа и о чем-то стала шептаться с ним.

И вдруг филин весело ухнул, сорвался со шпиля и куда-то полетел.

3

Было уже совсем темно, когда серые крысы подступили к стенам Глиммингенского замка. Трижды они обошли весь замок кругом, отыскивая хоть какую-нибудь щель, чтобы пробраться внутрь. Нигде ни лазейки, ни выступа, некуда лапу просунуть, не за что уцепиться.

После долгих поисков крысы нашли наконец камень, который чуть-чуть выпирал из стены. Они навалились на него со всех сторон, но камень не поддавался. Тогда крысы стали грызть его зубами, царапать когтями, подкапывать под ним землю. С разбегу они кидались на камень и повисали на нем всей своей тяжестью.

И вот камень дрогнул, качнулся и с глухим грохотом отвалился от стены...

Когда все затихло, крысы одна за другой полезли в черное квадратное отверстие. Они лезли осторожно, то и дело останавливаясь. В чужом месте всегда можно наткнуться на засаду. Но нет, кажется, все спокойно — ни звука, ни шороха.

Тогда крысы уже смелее начали взбираться вверх по лестнице.

В больших покинутых залах целыми горами лежало зерно. Крысы были голодны, а запах зерна такой соблазнительный! И все-таки крысы не тронули ни одного зернышка.

Может быть, это ловушка? Может быть, их хотят застигнуть

врасплох? Нет! Они не поддадутся на эту хитрость! Пока они не обыщут весь замок, нельзя думать ни об отдыхе, ни о еде.

Крысы обшарили все темные углы, все закоулки, все ходы и переходы. Нигде никого.

Видно, хозяева замка струсили и бежали.

Замок принадлежит им, крысам!

Сплошной лавиной они ринулись туда, где кучами лежало зерно. Крысы с головой зарывались в сыпучие горы и жадно грызли золотистые пшеничные зерна. Они еще и наполовину не насытились, как вдруг откуда-то до них донесся тоненький, чистый звук дудочки.

Крысы подняли морды и замерли.

Дудочка замолкла, и крысы снова набросились на лакомый корм.

Но дудочка заиграла опять. Сперва она пела чуть слышно, потом все смелее, все громче, все увереннее. И вот наконец, будто прорвавшись сквозь толстые стены, по всему замку раскатилась звонкая трель.

Одна за другой крысы оставляли добычу и бежали на звук дудочки. Самые упрямые ни за что не хотели уходить — жадно и быстро они догрызали крупные крепкие зерна. Но дудочка звала их, она приказывала им покинуть замок, и крысы не смели ее ослушаться.

Крысы скатывались по лестнице, перепрыгивали друг через друга, бросались вниз прямо из окон, словно торопились как можно скорее туда, во двор, откуда неслась настойчивая и зовущая песня.

Внизу, посредине замкового двора, стоял маленький человечек и наигрывал на дудочке.

Крысы плотным кольцом окружили его и, подняв острые морды, не отрывали от него глаз. Во дворе уже и ступить было некуда, а из замка сбегались все новые и новые полчища крыс.

Чуть только дудочка замолкала, крысы шевелили усами, оскаливали пасти, щелкали зубами. Вот сейчас они бросятся на маленького человечка и растерзают его в клочки!

Но дудочка играла снова, и крысы снова не смели шевельнуться.

Наконец маленький человечек собрал всех крыс и медленно двинулся к воротам. А за ним покорно шли крысы.

Человечек насвистывал на своей дудочке и шагал все вперед и вперед. Он обогнул скалы и спустился в долину. Он шел полями и оврагами, и за ним сплошным потоком тянулись крысы.

Уже звезды потухли в небе, когда маленький человечек подошел к озеру.

У самого берега, как лодка на привязи, покачивалась на волнах серая гусыня.

Не переставая наигрывать на дудочке, маленький человечек прыгнул на спину гусыни, и она поплыла к середине озера.

Крысы заметались, забегали вдоль берега, но дудочка еще звонче звенела над озером, еще громче звала их за собой.

Забыв обо всем на свете, крысы ринулись в воду...

4

Когда вода сомкнулась над головой последней крысы, гусыня со своим седоком поднялась в воздух.

— Ты молодец, Нильс,— сказала Акка Кебнекайсе.— Ты хорошо справился с делом. Ведь если бы у тебя не хватило силы все время играть, они бы загрызли тебя.

— Да, признаться, я сам этого боялся,— сказал Нильс.— Они так и щелкали зубами, едва только я переводил дух. И кто бы поверил, что такой маленькой дудочкой можно усмирить целое крысиное войско! — Нильс вытащил дудочку из кармана и стал рассматривать ее.

— Эта дудочка волшебная,— сказала гусыня.— Все звери и птицы слушаются ее. Коршуны, как цыплята, будут клевать корм из твоих рук, волки, как глупые щенки, будут ласкаться к тебе, чуть только ты заиграешь на этой дудочке.

— А где же вы ее взяли?— спросил Нильс.

— Ее принес филин Флимнеа,— сказала гусыня,— а филину дал ее лесной гном.

— Лесной гном?! — воскликнул Нильс, и ему сразу стало не по себе.

— Ну да, лесной гном,— сказала гусыня.— Что ты так перепугался? Только у него одного и есть такая дудочка. Кроме меня и старого филина Флимнеа, никто про это не знает. Смотри, и ты не проговорись никому. Да держи дудочку покрепче, не урони. Еще до восхода солнца филин Флимнеа должен вернуть ее гному. Гном и так не хотел давать дудочку, когда услышал, что она попадет в твои руки. Уж филин уговаривал его, уговаривал... Еле уговорил. И за что это гном так сердится на тебя?

Нильс ничего не ответил. Он притворился, что не расслышал последних слов Акки. На самом-то деле он прекрасно все слышал и очень испугался.

«Значит, гном все еще помнит о моей проделке! — мрачно размышлял Нильс.— Мало того, что я его в сачок поймал, да ведь как еще обманул! Только бы он Акке ничего не сказал. Она строгая, справедливая, узнает — сейчас же выгонит меня из стаи. Что со мной тогда будет? Куда я такой денусь?» — И он тяжело вздохнул.

— Что это ты вздыхаешь? — спросила Акка.

— Да я просто зевнул. Что-то спать хочется.

Он и вправду скоро заснул, да так крепко, что даже не услышал, как они спустились на землю. Вся стая с шумом и криком окружила их. А Мартин растолкал всех, снял Нильса со спины старой гусыни и бережно спрятал у себя под крылом.

— Ступайте, ступайте,— гнал он всех прочь.— Дайте человеку выспаться!

Но долго спать Нильсу не пришлось.

Еще не взошло солнце, а к диким гусям уже прилетел аист Эрменрих. Он непременно хотел повидать Нильса и выразить ему благодарность от своего имени и от имени всего своего семейства.

Потом появились летучие мыши. В обычные дни на рассвете они ложатся спать. Утро у них — вечером, а вечер — утром. И никто не может их уговорить, что это непорядок. Но сегодня даже они отказались от своих привычек.

Вслед за летучими мышами прибежала кошка, весело помахивая уцелевшим хвостом.

Все хотели посмотреть на Нильса, все хотели приветствовать его — бесстрашного воина, победителя серых крыс.

Глава шестая

ПРАЗДНИК НА ГОРЕ КУЛАБЕРГ

1

Не успела стая успокоиться после ночных событий, как уже пора было собираться на Кулаберг.

— Тебе повезло! — говорили дикие гуси Мартину.— Только раз в году сходятся вместе все звери и птицы. Какие игры они затевают! Какие танцы заводят!

— Что-то я никогда не слышал об этом празднике,— сказал Нильс.— А ведь я учился в школе целых три года.

— Ничего нет удивительного, что об этом празднике ты не слышал,— сказала старая Акка.— О великом празднике птиц и зверей не слышал ни один человек. И ни один человек не должен знать дороги, которая ведет на Кулаберг.

И Акка Кебнекайсе пристально посмотрела на Нильса.

«Верно, она не возьмет меня с собой,— подумал Нильс.— Ведь все-таки я человек».

Но он ни о чем не спросил Акку.

Тем временем гуси старательно готовились к празднику. Приглаживали на себе перышки, чтобы лежали одно к одному, мыли лапы, до блеска начищали песком клювы.

Только Мартин и Нильс сидели в сторонке и старались не обращать внимание на все эти сборы. Они ни о чем не говорили, но прекрасно друг друга понимали.

Нильс думал о том, что ему, конечно, не бывать на Кулаберге, а Мартин думал о том, что ему, конечно, придется остаться с Нильсом. Не бросать же товарища одного!

Около полудня снова прилетел аист Эрменрих.

С самого утра ему не сиделось на месте. Он уже раз пять летал на болото и принес столько лягушек, что госпожа Эрменрих не знала, куда их девать.

Теперь, глядя на господина Эрменриха, никто бы не сказал, что он открывает клюв только для того, чтобы пожаловаться на судьбу. Каждым своим движением он, казалось, говорил, что нет на свете аиста счастливее, чем он.

Когда господин Эрменрих кончил все свои поклоны, приветствия и приседания, Акка Кебнекайсе отвела его в сторону и сказала:

— Мне нужно с вами серьезно поговорить, господин Эрменрих. Сегодня мы все отправляемся на Кулаберг. Вы знаете, с нашей стаей летит белый гусь и... — тут старая Акка запнулась,— и его приятель.— Акка Кебнекайсе все-таки не решилась назвать Нильса человеком.— Так вот я хотела бы, чтобы он тоже отправился с нами. Раньше я сама относилась к нему подозрительно, но теперь готова ручаться за него, как за любого из своей стаи. Я знаю, что он никогда не выдаст нас людям. Я даже думаю...

Но аист не дал ей кончить.

— Уважаемая Акка Кебнекайсе,— важно произнес аист.— Насколько я понимаю, вы говорите о Нильсе, который избавил от беды Глиммингенский замок? О том самом Нильсе, который вступил в единоборство с тысячей серых крыс? О великом Нильсе, который, рискуя собственной жизнью, спас жизнь моей жене и моим детям? О Нильсе, который...

— Да, да, о нем,— прервала Акка Кебнекайсе пышную речь аиста Эрменриха.— Так что же вы посоветуете?

— Госпожа Кебнекайсе,— торжественно сказал аист и так энергично стукнул клювом по камню, что тот раскололся, будто пустой орешек.— Госпожа Кебнекайсе, я сочту за честь для себя, если наш спаситель Нильс вместе с нами отправится на Кулаберг. До сих пор я не могу простить себе, что вчера так непочтительно обошелся с ним. И чтобы загладить свою вину — невольную, прошу вас помнить! — я сам понесу его, разумеется, не в клюве, а на своей спине.

Господин Эрменрих тряхнул головой и с видом непоколебимой решимости взметнул свой клюв, точно копье, к небу.

Когда Нильс узнал, что его берут на Кулаберг и что сам

аист хочет нести его, он готов был прыгать выше головы. Это, может быть, и не очень высоко, но выше собственной головы не прыгнуть ни одному человеку.

Наконец все сборы и приготовления были закончены.

Аист подставил Нильсу свой клюв, и Нильс вскарабкался по нему на спину господина Эрменриха. И вся стая вместе с аистом, Нильсом и Мартином двинулась в путь.

Только теперь Нильс по-настоящему понял, что значит летать.

Дикие гуси не могли угнаться за аистом точно так же, как когда-то Мартин не мог угнаться за дикими гусями.

К тому же господин Эрменрих хотел доставить Нильсу как можно больше удовольствий. Поэтому он все время проделывал в воздухе разные фокусы. Он просто превзошел самого себя,— то взмывал к самым облакам и, расправив крылья, неподвижно застывал в воздухе, то камнем падал вниз, да так, что казалось, вот-вот разобьется о землю. А то принимался вычерчивать в воздухе круги — сначала широкие, потом все у́же и у́же, сначала плавно, потом все быстрее и быстрее,— так, что у Нильса дух захватывало.

Да, это был настоящий полет!

Нильс едва успевал поворачиваться, чтобы отыскать глазами стаю Акки Кебнекайсе.

Стая, как всегда, летела в строгом порядке. Гуси мерно взмахивали крыльями. И, не отставая от других, как заправский дикий гусь, летел Мартин.

2

Крутые склоны горного хребта Кулаберг поднимаются прямо из моря. У подножия Кулаберга нет ни полоски земли или песка, которая защищала бы его от яростных волн. Тысячи лет упрямые волны бьются о каменные глыбы, рассыпаясь шипучей пеной. По камешку, по песчинке волны вырыли глубокие пещеры, пробили в скалистых уступах сводчатые ворота, врезались в глубину гор широкими заливами. Море и его помощник ветер вытесали здесь высокие стены, без единой зазубринки, без единой морщинки, такие гладкие и блестящие, что даже самый лучший каменщик на свете и то бы им позавидовал.

По склонам Кулаберга, вцепившись в камни крепкими корнями, растут деревья. Морской ветер бьет их, пригибает книзу, не дает поднять головы. Но деревья не сдаются. Они приникают к самой горе, и листва их, словно плющ, стелется по голому камню.

В глубине этого неприступного горного кряжа, невидимая и недоступная ни одному человеку, находится площадка — такая

ровная, словно кто-то срезал гигантским ножом верхушку горы.

Один раз в году, ранней весной, сюда сходятся все четвероногие и пернатые на великие игрища птиц и зверей.

День для этого сборища выбирают журавли. Они отлично предсказывают погоду и наперед знают, когда будет дождь, а когда небо будет ясное.

По древнему обычаю, звери и птицы на все время праздника заключают друг с другом перемирие. Зайчонок в этот день может спокойно прогуливаться под боком у воронов, и ни один из крылатых разбойников не посмеет на него даже каркнуть. А дикие гуси могут без опаски прохаживаться под самым носом у лисиц, и ни одна даже не посмотрит на них. И все-таки звери держатся стаями — так уже повелось из века в век.

Прежде чем выбрать себе место, гуси хорошенько огляделись по сторонам.

Совсем рядом с ними поднимался целый лес ветвистых рогов,— тут расположились стада оленей. Неподалеку виднелся огненно-рыжий лисий пригорок. Еще дальше — серый пушистый холм; здесь сбились в кучу зайцы.

Хотя гуси и знали, что им не грозит никакая опасность, они все-таки выбрали для себя местечко подальше от лисиц.

Все с нетерпением ждали начала праздника. А больше всего не терпелось Нильсу. Ведь он был первый и единственный человек, которому выпала честь увидеть игрища зверей и птиц.

Но праздник не начинался, потому что, кроме стаи Акки Кебнекайсе, никто из пернатых еще не пожаловал на Кулаберг. Нильс во все глаза смотрел, не летят ли птичьи стаи. Сидя на спине господина Эрменриха, он видел все небо.

Но птицы словно позабыли о сегодняшнем празднике.

Небо было совсем чистое, только далеко-далеко над самым горизонтом повисло небольшое темное облачко. Это облачко становилось все больше и больше. Оно двигалось прямо на Кулаберг и над самой площадкой, где собрались звери, закружилось на месте.

И все облако пело, свистело, щебетало. Оно то поднималось, то опускалось, звук то затихал, то разрастался. Вдруг это поющее облако разом упало на землю — и вся земля запестрела красно-серо-зелеными щеглами, жаворонками, зябликами.

Вслед за первым облаком показалось второе. Где бы оно ни проплывало — над деревенским хутором или над городской площадью, над усадьбой, рудником или заводом,— отовсюду к нему поднимались с земли словно струйки серой пыли. Облако росло, ширилось, и, когда оно подошло к Кулабергу, хлынул настоящий воробьиный ливень.

А на краю неба уже показалась черно-синяя грозовая туча. Она надвигалась на Кулаберг, нагоняя на всех страх. Ни один

солнечный луч не мог проникнуть сквозь эту плотную завесу. Стало темно как ночью. Зловещий, скрипучий грохот перекатывался по туче из конца в конец, и вдруг черный град посыпался на Кулаберг. Когда он прошел, солнце снова засияло в небе, а по площадке расхаживали, хлопая крыльями и каркая, черные вороны, галки и прочий вороний народ.

А потом небо покрылось сотней точек и черточек, которые складывались то в ровный треугольник, то вытягивались, точно по линейке, в прямую линию, то вычерчивали в небе полукруги. Это летели из окрестных лесов и болот утки, гуси, журавли, глухари...

Как заведено на Кулаберге испокон веков, игры начинались полетом воронов.

С двух самых отдаленных концов площадки во́роны летели навстречу друг другу и, столкнувшись в воздухе, снова разлетались в разные стороны. Сами во́роны находили, что не может быть ничего красивее этого танца. Но всем остальным он казался довольно-таки бестолковым и утомительным. Верно, потому воронов и выпускали первыми, чтобы потом они уже не портили праздника. Наконец во́роны угомонились.

На площадку выбежали зайцы.

Вот теперь-то пошло настоящее веселье!

Зайцы прыгали, кувыркались через голову, кто катался по земле колесом, кто вертелся волчком, стоя на одной лапе, кто ходил прямо на голове. Зайцам и самим было весело, и смотреть на них было весело!

Да и как же им было не прыгать и не кувыркаться! Весна идет! Кончилась холодная зима! Кончилось голодное время!

После зайцев настала очередь глухарей.

Глухари расселись на дереве — в блестящем черном оперении, с ярко-красными бровями, важные, надутые. Первым завел свою песню глухарь, который сидел на самой верхней ветке. Он поднял хвост, открывая под черными перьями белую подкладку, вытянул шею, закатил глаза и заговорил, засвистел, затакал:

— Зис! Зис! Так! Так! Так!

Три глухаря, сидевшие пониже, подхватили его песню, и с ветки на ветку, с сучка на сучок эта песня спускалась по дереву, пока не затоковали все глухари. Теперь все дерево пело и свистело, приветствуя долгожданную весну.

Глухариная песня всех взяла за живое, все звери готовы были вторить ей. А тетерева, не дождавшись своей очереди, от избытка радости принялись во весь голос подтягивать:

— О-р-р! О-р-р! О-р-р!

Все были так поглощены пением, что никто не заметил, как одна из лисиц тихонько стала подкрадываться к стае Акки Кебнекайсе. Это был лис Смирре.

— Дикие гуси! Берегитесь! Берегитесь! — закричал маленький воробушек.

Смирре бросился на воробья и одним ударом лапы расправился с ним. Но гуси уже успели подняться высоко в воздух.

Смирре так и завыл от ярости. Ведь сколько дней и ночей лис только о том и думал, как бы отомстить Акке и ее стае. Увидев всю стаю здесь, на Кулаберге, он забыл обо всех священных обычаях этого весеннего праздника, забыл обо всем на свете.

Нарушить мир на Кулаберге! Такого еще никогда не случалось!

Когда звери увидели, что Смирре пытался напасть на диких гусей, что он убил воробья, гневу их не было предела. Даже лисицы восстали против своего сородича.

Тут же на месте был устроен суд.

Приговор гласил:

«Тот, кто попрал вечный закон мира в день великого сборища зверей и птиц, навсегда изгоняется из своей стаи. Лис Смирре нарушил этот закон, и лапа его не должна больше ступать по нашей земле».

А для того чтобы все знали, какое преступление совершил Смирре, самая старая из лисиц откусила ему кончик уха.

Униженный, посрамленный, с откушенным ухом, лис Смирре бросился бежать, вслед ему несся яростный лай всей лисьей стаи...

Пока звери чинили расправу над лисом Смирре, глухари и тетерева продолжали свою песню. Такой уж характер у этих лесных птиц,— когда они заводят песню, они ничего не видят, не слышат, не понимают.

Наконец и сами певцы устали и замолкли.

Теперь на площадку вышли олени. Это были прославленные борцы.

Боролись сразу несколько пар. Олени сталкивались лбами, рога их переплетались, из-под копыт взлетали камни. Олени бросались друг на друга с таким боевым грозным ревом, что всех зверей и птиц охватывал воинственный дух. Птицы расправляли крылья, звери точили когти. Весна пробуждала во всех новые силы, силы к борьбе и к жизни.

Олени кончили борьбу как раз вовремя, потому что, глядя на них, всем другим тоже хотелось показать свою удаль, и, того гляди, праздник кончился бы всеобщей дракой.

— Теперь очередь журавлей! Теперь очередь журавлей! — пронеслось над Кулабергом.

И вот на площадке появились журавли — большие серые птицы на длинных стройных ногах, с гибкой шеей, с красным хохолком на маленькой точеной головке. Широко раскрыв

крылья, журавли то взлетали, то, едва коснувшись земли, быстро кружились на одной ноге. Казалось, на площадке мелькают не птицы, а серые тени. Кто научил журавлей скользить так легко и бесшумно? Может быть, туман, стелющийся над болотами? Может быть, вольный ветер, проносящийся над землей? Или облака, проплывающие в небе?

Все на Кулаберге, словно завороженные, следили за журавлями. Птицы тихонько поднимали и опускали крылья, звери покачивались из стороны в сторону, одни — похлопывали хвостами в лад журавлиному танцу, другие — наклоняли рога.

Журавли кружились до тех пор, пока солнце не скрылось за горными уступами. И когда их серые крылья слились с серыми сумерками, они взмыли в небо и пропали вдали.

Праздник кончился.

Держась поближе к своим стадам и стаям, птицы и звери спешили покинуть Кулаберг.

3

Было уже совсем темно, когда гуси снова вернулись к стенам Глиммингенского замка.

— Сегодня все могут спокойно выспаться,— сказала Акка.— Лиса Смирре можно не бояться. А завтра на рассвете — в путь.

Гуси были рады отдыху. Подвернув головы под крылья, они сразу заснули. Не спал только Нильс.

Глубокой ночью Нильс тихонько выполз из-под крыла Мартина. Он огляделся по сторонам и, убедившись в том, что никто его не видит, быстро зашагал к замку.

У Нильса было важное дело. Во что бы то ни стало он должен повидать филина Флимнеа. Надо выпытать у филина, где живет лесной гном. Тогда уж Нильс разыщет его, даже если лесной гном живет на краю света. Пусть гном потребует от него все, что захочет. Нильс все сделает, только бы снова стать человеком!

Нильс долго бродил вокруг замка, пытаясь высмотреть где-нибудь на башне филина Флимнеа. Но было так темно, что он не видел даже собственной руки. Он совсем продрог и хотел уже возвращаться, как вдруг услышал чьи-то голоса.

Нильс поднял голову: четыре горящих, точно раскаленные угольки, глаза пронизывали темноту.

— Теперь-то он как шелковый... А ведь раньше от него житья не было,— говорила одна сова другой.— Всем от него доставалось! Сколько он гнезд разрушил! Сколько птенцов погубил! А раз,— тут сова заговорила совсем шепотом,— страшно даже произнести, что он сделал: подшутил над лесным гномом. Ну, гном его и заколдовал...

— Неужели же он никогда не превратится в человека? — спросила вторая сова.

— Трудно ему теперь человеком стать. Ведь знаешь, что для этого нужно?

— Что? Что?

— Это такая страшная тайна, что я могу сказать ее тебе только на ухо...

И Нильс увидел, как одна пара горящих глаз приблизилась к другой совсем-совсем близко.

Как ни прислушивался Нильс, он ничего не услышал.

Долго еще стоял он у стен замка, ожидая, что совы опять заговорят. Но совы, нашептавшись в свое удовольствие, улетели прочь.

«Видно, мне никогда не превратиться в человека!» — грустно подумал Нильс и поплелся к стае диких гусей.

Глава седьмая

ПОГОНЯ

1

Наступило дождливое время. Все небо было затянуто серыми скучными тучами, и солнце спряталось за ними так далеко, что никто не мог бы сказать, где оно находится. Дождь тяжело шлепал по крыльям гусей. Гуси летели молча, не переговариваясь друг с другом. Только Акка Кебнекайсе время от времени оглядывалась назад, чтобы посмотреть, не отстал ли, не потерялся ли кто-нибудь в этой серой мокрой мгле.

Нильс совсем приуныл. Он сидел на спине у Мартина промокший до нитки и замерзший. Даже когда стая опускалась для ночевки, он не мог обсушиться и отогреться. Повсюду — лужи, мокрая, мерзлая земля. Под деревьями тоже не укрыться от дождя,— чуть только ветер шевельнет ветку, с нее сыплются на голову, за шиворот, на плечи крупные, как горох, холодные капли.

Голодный, дрожащий Нильс забирался под крыло Мартина и с тоской думал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне Вестменхёг. Он представлял себе, как вечером в домах зажигают лампы. Все сидят у своих очагов, отдыхая после работы, а на столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А ему вот приходится, скрючившись в три погибели, прятаться под крылом гуся где-то среди болотных кочек и есть гнилые орешки, подобранные с земли. Но как же ему стать человеком? Как узнать, что от него хочет гном?

Ради этого он согласился бы теперь решить все задачи в учебнике по арифметике и выучить все правила грамматики. И ведь ни с одним человеком на свете он не мог посоветоваться. Если случалось, что стая выбирала для ночевки место на окраине села или города, Нильс никогда не отваживался даже подойти к дому, где жили люди, не то что заговорить с кем-нибудь. Разве может он теперь показаться людям на глаза!

Нет, он ни за что не позволит, чтобы над ним смеялись и рассматривали его, словно какую-то диковинную букашку. Пусть уж лучше никто из людей никогда его не увидит.

А гуси летели все вперед и вперед и уносили Нильса все дальше и дальше на север.

2

С тех пор как лис Смирре был с позором изгнан из лисьей стаи, счастье совсем покинуло его.

Отощавший и злой, бродил Смирре по лесам, не находя нигде ни еды, ни пристанища. Дошло до того, что однажды он схватил большую шишку и стал украдкой выгрызать из нее сухие зернышки.

— Ах, как интересно! Ах, как интересно! Смотрите все! Смотрите! Лис Смирре ест только траву и шишки! — застрекотал кто-то над его головой.— Зайцы могут спокойно танцевать на лужайке! Птицы могут не прятать больше свои яйца! Смирре никого не тронет! Смирре ест только траву и шишки!

Смирре так и заскрипел зубами от досады. Он, наверно, покраснел бы от злости и стыда, если бы и без того не был весь красно-рыжий — от кончиков ушей до кончика хвоста.

Смирре отшвырнул шишку и поднял голову:

— А, это ты, длиннохвостая сорока! Вовремя же ты мне подвернулась! Я как раз наточил себе зубы об сосновую шишку!

— Зря старался, дорогой куманек! Мои перья не по твоим зубам!— крикнула сорока и, чтобы подразнить Смирре, спрыгнула на ветку пониже.

Это было очень неосторожно с ее стороны. И сорока сразу же в этом убедилась. Не успела она вильнуть хвостом, как Смирре подпрыгнул и сгреб ее передними лапами. Сорока рванулась, забила крыльями, да не тут-то было!

— Потише, потише, ты оторвешь мне хвост! — кричала сорока.

— Я тебе не то что хвост, я тебе голову оторву!— прошипел Смирре и щелкнул зубами.

— Да ты же первый об этом пожалеешь! — трещала сорока, извиваясь в лапах Смирре.— Ведь если ты отгрызешь мне голову, ты не узнаешь про новости, которые я припасла для тебя.

— Ну, какие еще там новости? Выкладывай скорее. А то я тебя вместе со всеми твоими новостями проглочу.

— Дело в том,— начала сорока,— что здесь недавно была стая Акки Кебнекайсе...

— Что же ты, пустомеля, до сих пор молчала!— залаял Смирре.— Где стая? Говори!

— Я с величайшей радостью сообщу об этом, если ты отпустишь мой хвост,— вкрадчиво сказала сорока.

— И так скажешь! — буркнул Смирре и, в подтверждение своих слов, хорошенько тряхнул сороку.— Ну, отвечай! Где стая? В какую сторону полетела?

Сорока увидела, что деваться некуда.

— Они полетели к берегам Роннебю,— сказала она.— Я нарочно подслушала их разговор и поспешила к тебе навстречу, чтобы успеть тебя предупредить. Неужели в благодарность за мою дружбу ты съешь меня?

— Была бы ты жирнее, так я бы не посмотрел на дружбу,— сказал Смирре.— Уж очень ты тоща — один хвост да язык болтливый. Ну ладно, проваливай! Только если ты наврала — берегись! С неба достану. Вот тебе мое лисье слово.

И, тряхнув сороку еще разок на прощание, лис пустился в путь.

К вечеру Смирре догнал диких гусей. С высокого, обрывистого берега он увидел узенькую песчаную отмель и на ней стаю Акки Кебнекайсе. Эту стаю нетрудно было узнать,— ярко-белые крылья Мартина выдавали ее даже издалека, даже в темноте.

Место для ночевки было как нельзя лучше. С одной стороны оно защищено отвесной скалой. С другой стороны — бурным потоком, по которому стремительно проносились обломки льдин.

«Нет, тебе по этой скале не спуститься,— говорил сам себе лис Смирре, глядя вниз.— Тут и лапу поставить некуда».

И вдруг Смирре навострил уши. В двух шагах от него кто-то осторожно крался по дереву. Не поворачивая головы, Смирре скосил глаза.

Маленькая юркая куница, извиваясь всем телом, скользила по гладкому стволу вниз головой. В зубах она держала задушенного птенца.

Хоть Смирре и был голоден, но добыча в зубах у куницы не вызвала у него зависти. Позавидовал он другому.

«Вот бы мне так лазить, как эта куница! — подумал Смирре.— Тогда старая Акка со своей стаей не спала бы сейчас на песочке... Но все равно эти гуси от меня не уйдут!»

Смирре немного отошел от дерева, чтобы куница не подумала, будто он собирается отнять у нее добычу, и приветливым голосом сказал:

— Вот приятная встреча!

Но куница решила, что будет гораздо благоразумнее, если она поднимется повыше. И она в один миг взбежала чуть ли не на самую вершину дерева.

— Куда ты? Постой! Я только хотел пожелать тебе приятного аппетита,— сказал Смирре.— Правда, меня немного удивляет, что ты при твоей ловкости довольствуешься такой мелочью... Впрочем, у каждого свой вкус.

Куница ничего не ответила.

— Все-таки не могу тебя понять,— не унимался Смирре.— Рядом целая стая диких гусей — хватай любого на выбор! — а она с какой-то несчастной пичугой возится.

Куница уже успела расправиться со своей добычей и спустилась пониже.

— Чего же ты сам время теряешь? Врешь, наверное, рыжий мошенник!

— Если не веришь, посмотри сама. А я и так сыт,— сказал Смирре.

Куница соскользнула с дерева и, подбежав к обрыву, заглянула вниз.

— А ведь и верно, гуси! — сказала она и проворно стала спускаться по обрыву.

Смирре следил за каждым ее движением.

«Хоть мне и не достанется ничего,— думал он,— зато я отомщу этим бродягам за все свои обиды».

А куница спускалась все ниже и ниже. Она повисала то на одной лапе, то на другой, а если уж совсем не за что было уцепиться, змеей скользила по расщелинам.

Смирре не сводил с нее глаз.

Вот куница уже у самой реки. Сейчас она доберется до отмели...

Затаив дыхание, Смирре ждал предсмертного гусиного крика.

И вдруг он увидел, что куница шлепнулась в воду. Потом шумно захлопали крылья, и вся стая стремительно поднялась в воздух.

Смирре успел пересчитать гусей. Их было по-прежнему четырнадцать.

— Ушли! Опять ушли! — прохрипел Смирре.— Эта дура куница только спугнула их... Ну, уж с ней-то я расправлюсь!— И он защелкал зубами.

Но когда куница снова показалась на берегу, Смирре и смотреть на нее не захотел — такой у нее был жалкий вид.

Вода потоками стекала с ее длинной шерсти. Отяжелевший, намокший хвост волочился по земле. Она часто дышала, то и дело потирая голову передними лапами.

— Медведь ты косолапый, а не куница! — презрительно сказал Смирре.— Все дело испортила.

— Да разве я виновата? — жалобно заговорила куница.— Я уже совсем рядом была, я уж и гуся себе присмотрела — самого большого, жирного, белого... А он как стукнет меня камнем по голове! Я так в воду и бултыхнулась... Подумать только— гусь, а камнями бросается! Вот бы ни за что не поверила, если бы кто другой сказал.

— Да ты и себе не верь,— сказал Смирре.— Не гусь это. Это все он, мальчишка проклятый!

— Какой такой мальчишка? Не выдумывай! Там одни только гуси...

Но Смирре уже не слушал ее. Он мчался вдогонку за стаей.

4

Медленно и устало сонные гуси летели над рекой. Высоко в небе светил месяц, и гуси хорошо видели, как река черной, блестящей лентой извивалась среди скал. Скалы сжимали ее с двух сторон, преграждали ей путь завалами и наконец совсем загнали под землю. Но река и под землей пробила себе дорогу и, вырвавшись наружу, кипящим водопадом обрушилась на дно ущелья, поднимая столбы водяной пыли и пены.

Здесь, у подножия водопада, на скользких камнях среди бушующего водоворота, гуси решили провести остаток ночи.

Нельзя сказать, что это было очень удобное место для мирного отдыха — того и гляди, унесет бурным потоком! Зато от диких зверей — убежище надежное.

Это очень хорошо понял и Смирре, когда увидел стаю. Никогда еще гуси не были так близко от него. И никогда до них не было так трудно добраться, как теперь.

Дрожа от голода и злости, Смирре смотрел на гусей, спавших среди бушующего потока.

На его счастье, из воды вынырнула выдра с рыбой в зубах.

«Вот кто мне поможет!» — подумал Смирре.

Медленно, чтобы не спугнуть выдру, он подошел к ней поближе и сказал:

— Приятного аппетита!

Выдра покосилась на него и попятилась назад.

— Да ты не бойся, не бойся, ешь на здоровье! — ласково сказал Смирре.— Только, по правде сказать, я никогда бы не поверил, что ты можешь есть такую дрянь.

Выдра поспешно проглотила рыбу, облизнулась и сказала:

— По-моему, и ты был бы не прочь отведать рыбки.

— Нет, я предпочитаю гусятину,— небрежно ответил Смирре.

— Гусятина — это, конечно, неплохо. Но где же ее взять?

— Да ты просто не видишь, что делается у тебя под самым носом,— сказал Смирре.

— А что делается? — спросила выдра.

— Поверни свою морду вон к тому большому камню, тогда увидишь. Впрочем, тебе все равно до них не доплыть.

Выдра быстро повернулась всем телом и тут только увидела гусей. Не говоря ни слова, она нырнула в воду и поплыла прямо к камням, на которых спали гуси.

«Как это Смирре посмел сказать, что мне не доплыть до гусей!» — думала выдра, и это прибавляло ей силы.

А Смирре сидел на берегу и с завистью смотрел, как ловко она правит хвостом, как быстро перебирает лапами.

Правда, на этот раз даже выдре пришлось трудно. То и дело ее отбрасывало назад, швыряло в сторону, крутило на месте. Но вот она уже у цели. Вот она уже вползает на большой камень.

— Ну, хватай же, хватай, скорей! — шептал Смирре и от нетерпения переступал с лапы на лапу.

Он не очень надеялся на то, что выдра поделится с ним, но еще больше, чем голод, его мучило желание мести.

Вдруг выдра пронзительно взвизгнула, перекувыркнулась и шлепнулась прямо в воду.

Стремительный поток сразу подхватил ее, закружил, завертел и, словно котенка, понес вперед.

А гуси в ту же минуту поднялись высоко в воздух и полетели прочь.

— Нет, сегодня вы у меня спать не будете,— прошипел Смирре и бросился за стаей.

Он бежал не щадя ног, натыкаясь на камни, проваливаясь в ямы. Он не видел ничего, кроме четырнадцати гусей, летевших над его головой.

С разбегу он наскочил на что-то мягкое, скользкое, мокрое.

Смирре не удержался и упал.

— Эй, эй! Полегче, приятель!— проговорил кто-то под ним.

— Тьфу, да это опять ты, мокрая выдра! — огрызнулся Смирре.— Тебе бы только в болоте сидеть — головастиков ловить... А еще выдра называется!

— Да, тебе-то легко говорить, а я вот чуть без лапы не осталась,— заскулила выдра.— И ведь совсем уж рядом с ними была... Уже за крыло одного гуся схватила. Да вдруг точно острая колючка вонзилась мне в лапу... Вот посмотри сам, как изуродовало! — И она подняла свою раненую лапу.

И верно, перепонка между пальцами была вся изрезана и висела кровавыми клочьями.

— Опять его проделки! — сказал Смирре и, перешагнув через мокрую выдру, побежал дальше.

5

Ночь уже подходила к концу, когда измученные гуси увидели вдалеке одинокую скалу. Она высоко торчала среди других скал, как поднятый палец великана. Это было надежное убежище, и, собрав последние силы, гуси полетели к скале.

А Смирре, тоже собрав последние силы, побежал за ними.

Но по земле путь длинней, чем по воздуху. Когда Смирре подбежал к подножию скалы, гуси уже спали на ее вершине.

Опытным взглядом бывалого охотника Смирре оглядел скалу. «Не стоит и пробовать, только ноги переломаешь! — подумал он.— Зато поразвлечь их можно».

Он сел на задние лапы, задрал кверху морду и начал выть, скулить, скрипеть зубами, щелкать языком... А эхо трижды повторяло за ним каждый звук, так что воздух кругом дрожал и гудел.

Смирре недаром старался. Гуси проснулись, зашевелились, тревожно загоготали. Но резкий голос Акки Кебнекайсе остановил их:

— Опасности нет! Спите спокойно.

И когда гуси утихли, а Смирре замолчал на минуту, чтобы перевести дух, Акка подошла к самому краю утеса и сказала:

— Это ты тут шляешься, Смирре?

— Да, это я,— ответил Смирре.— Не хотите ли вы нанять меня в сторожа? Тогда вас ни одна куница, ни одна выдра не потревожит. А то, боюсь, вы не очень-то выспались сегодня.

— Так это ты подослал к нам куницу и выдру? — спросила Акка.

— Не стану отпираться — я,— сказал Смирре.— Я хотел отблагодарить вас за развлечение, которое вы мне доставили в лесу на берегу озера. Только ведь каждый развлекается, как умеет: вы по-гусиному, а я по-лисьему. Впрочем, я готов помириться с вами. Если ты, Акка, бросишь мне мальчишку, которого вы с собой таскаете, я оставлю вас в покое. Вот тебе мое честное лисье слово.

— Нет,— сказала Акка,— мальчишку ты никогда не получишь. Вот тебе мое честное гусиное слово.

— Ну что ж! Тогда пеняйте на себя,— сказал Смирре.— Пока меня носят ноги, вам не будет житья. Это так же верно, как то, что меня зовут Смирре!

Глава восьмая

ВОРОНЫ С РАЗБОЙНИЧЬЕЙ ГОРЫ

1

Лис Смирре был не из тех, кто забывает обиды. Он поклялся, что отомстит Нильсу и его крылатым товарищам, и был верен своей клятве.

Куда бы ни летела стая, Смирре, как тень, бежал за ней по земле. Где бы ни спускались гуси, Смирре был уже тут как тут.

Никогда еще старой Акке Кебнекайсе не было так трудно выбрать место для ночевки. То и дело она сворачивала с пути, чтобы отыскать какой-нибудь островок среди озера или глухое болото, куда бы Смирре не мог добраться.

Да и самому Смирре приходилось несладко. Он не ел и не спал, бока у него ввалились, а рыжий пушистый хвост, которым он всегда так гордился, стал похож на жалкую мочалку. Но он не сдавался. Выследив остров, на котором однажды заночевали гуси, Смирре отправился за подмогой к своим старым друзьям — во́ронам.

Это была настоящая разбойничья шайка. Жили во́роны на горе, которая так и называлась Разбойничьей горой. Гора возвышалась над диким полем, таким огромным, что казалось, ему нет конца-края. И куда ни посмотришь — все оно поросло бурьяном. Эта некрасивая никчемная трава, которую отовсюду гонят, здесь была полновластной хозяйкой. Она глубоко запустила в землю свои корни, кустики ее крепко держались друг за друга, и если в заросли бурьяна попадало какое-нибудь семечко, бурьян заглушал его и не давал подняться.

Люди избегали этого дикого пустынного места. А во́ронам оно пришлось по душе. Каждую весну прилетали они на гору и вели отсюда свои разбойничьи набеги.

С утра они разлетались во все стороны в поисках добычи, а вечером слетались и хвастались друг перед другом своими подвигами: один перебил все яйца в совином гнезде, другой выклевал зайчонку глаз, третий украл в деревне оловянную ложку.

Когда Смирре подошел к Разбойничьей горе, вся шайка была в сборе. Во́роны громко каркали и сплошной черной тучей кружились над большим глиняным кувшином.

Кувшин был плотно закрыт деревянной крышкой, и сам атаман шайки, старый ворон Фумле-Друмле, стоял над кувшином и долбил крышку клювом.

— Добрый вечер, приятель,— сказал Смирре.— Над чем ты так трудишься?

— Добрый вечер, кум,— мрачно каркнул Фумле-Друмле и еще сильнее застучал клювом по крышке.— Видишь, какую штуку мои молодцы притащили. Хотел бы я знать, что там внутри!.. Да вот крышку проклятую никак не открыть.

Смирре подошел к кувшину, свалил его лапой набок и осторожно стал катать по земле. В кувшине что-то бренчало и звенело.

— Эге, да там не иначе, как серебряные монеты! — сказал лис.— Славная находка.

От жадности у Фумле-Друмле загорелись глаза — ведь давно известно, что во́роны не пролетят мимо самого простого осколка стекла или медной пуговицы. А уж за блестящую монету они готовы все на свете отдать!

— Ты думаешь, тут серебряные монеты? — прокаркал Фумле-Друмле и снова задолбил клювом по крышке.

— Конечно,— сказал Смирре.— Послушай, как они звенят.

И Смирре опять принялся катать кувшин по земле. И опять в кувшине забренчало и зазвенело.

— Сер-р-ребро! Сер-р-ребро! Сер-р-ребро! — закаркали во́роны.— Ур-р-ра! Сер-р-ребро!

— Подождите радоваться,— сказал Смирре.— Его еще надо достать!

Он потер лапой жалкий остаток уха и задумался.

— А ведь, кажется, я смогу вам помочь! — наконец проговорил он.— Хотите знать, кто может открыть этот кувшин?

— Говор-ри! Говор-ри! Говор-ри! — закричали во́роны.

— Есть тут один мальчишка,— сказал Смирре,— он со старой Аккой путешествует. Ну уж это и мастер — золотые руки!

— Где он? Где он? — опять закричали во́роны.

— Я могу показать вам дорогу,— сказал Смирре,— но за это вы должны отдать мальчишку мне. У меня с ним кое-какие счеты.

— Бер-ри его! Бер-ри! Бер-ри! Нам не жалко,— каркнул Фумле-Друмле.— Только спер-рва пусть кр-рышку откр-роет!

2

Нильс проснулся раньше всех в стае. Он выбрался из своей пуховой постели под крылом Мартина и пошел бродить по острову.

Нильсу очень хотелось есть. На счастье, он наткнулся на кустик молодого, только что пробившегося щавеля. Нильс сорвал один листик и принялся высасывать из стебелька прохладный кисловатый сок. Высосав все до последней капли, он потянулся за вторым листком. Вдруг что-то острое ударило его в затылок,

чьи-то цепкие когти впились в ворот его рубахи, и Нильс почувствовал, что поднимается в воздух.

Нильс вертелся и дергался, как паяц на ниточке. Он махал руками, дрыгал ногами, отбиваясь от невидимого врага, но все было напрасно.

— Мартин! Мартин! Сюда! Ко мне! — закричал Нильс.

Но вместо Мартина к нему подлетел огромный ворон.

Он был чернее сажи, острый клюв его загибался крючком, а маленькие круглые глаза горели желтыми злыми огоньками.

Это был атаман вороньей шайки — Фумле-Друмле.

— Не р-р-разговар-р-ривай! — хрипло каркнул Фумле-Друмле Нильсу в самое ухо.— Не то я выклюю тебе глаза.

И чтобы Нильс не принял его слова за шутку, клюнул его на первый раз в ногу. А ворон, который держал Нильса в своих когтях, так тряхнул его, что Нильс по самые уши провалился в ворот собственной рубашки.

— Теперь в дор-рогу! — скомандовал Фумле-Друмле.

— В дор-рогу! Скор-рей в дор-рогу! — каркнул в ответ его товарищ, и оба ворона яростно захлопали крыльями.

Нильс хоть и привык летать, но на этот раз путешествие по воздуху не очень-то ему понравилось. Он болтался, как мешок, между небом и землей. Вороньи когти царапали ему спину, воротник наползал на самые глаза.

«Надо запомнить дорогу,— думал Нильс.— Как же это мы летели? Сперва над озером, потом направо свернули. Значит, на обратном пути надо сворачивать налево... А вот и лес! Хорошо, если бы сорока попалась навстречу. Она уж на весь свет растрезвонит о моем несчастье,— может, и гуси узнают, где я. Они тогда непременно прилетят ко мне на выручку».

Но сороки нигде не было видно.

«Ну ничего, я и сам выпутаюсь из беды»,— подумал Нильс.

На одном дереве Нильс увидел лесного голубя и голубку. Голубь надулся, распушил перья и громко, переливчато ворковал. А голубка, склонив голову набок, слушала его и от удовольствия покачивалась из стороны в сторону.

— Ты самая красивая, самая красивая, самая красивая! Нет никого тебя красивее, тебя красивее, тебя красивее! Ни у кого нет таких пестрых перышек, таких гладких перышек, таких мягких перышек! — пел голубь.

— Не верь ему! Не верь ему! — прокричал сверху Нильс.

Голубка так удивилась, что даже перестала раскачиваться, а у голубя от возмущения забулькало в горле.

— Кто, кто, кто... кто смеет так говорить, так говорить? — забормотал он, оглядываясь.

— Похищенный во́ронами! — крикнул Нильс.— Скажите Акке...

Но сейчас же он увидел острый клюв Фумле-Друмле.

— Бер-р-реги свои глаза! — каркнул ворон.

По всему было видно, что Фумле-Друмле готов исполнить угрозу. Нильс вобрал голову в плечи и покрепче зажмурился.

Когда он снова открыл глаза, старый лес был уже позади.

Они летели над молоденькой березовой рощицей. Почки на ветках уже начали лопаться, и деревья стояли, точно в зеленом пуху.

Веселый дрозд кружился над березками, то взлетал вверх, то садился на ветку и без умолку щебетал:

— Ах, как хорошо! Ах, как хорошо! Ах, как хорошо!

И, передохнув немного, начинал эту песенку сначала, потому что никакой другой он не знал.

— Ах, как хорошо! Как хорошо! Как хорошо!

— Ну, это кому как! Кому хорошо, а кому и не очень! — крикнул Нильс.

Дрозд высоко задрал голову и с удивлением прокричал:

— Кто это тут недоволен?

— Вороний пленник! Вороний пленник!

На этот раз увернуться от ворона Нильсу не удалось. Фумле-Друмле налетел на него и твердым, острым клювом стукнул прямо в лоб. Удар был такой сильный, что Нильс, как маятник, закачался — вправо-влево, вправо-влево — и рубашка его угрожающе затрещала.

Всякого другого такой удар навсегда отучил бы перечить во́ронам, но Нильса не так-то легко было запугать.

Пролетая над деревней, он увидел скворечник, примостившийся на высокой березе. Около скворечника сидели скворец и скворчиха и весело пели:

— У нас четыре яичка! У нас четыре хорошеньких яичка! У нас будет четыре умных, красивых птенчика!

— Их утащат во́роны так же, как меня! — закричал Нильс, пролетая над ними.

— Кто это кричит? Кого утащили во́роны? — засуетились скворец и скворчиха и на всякий случай спрятались в своем домике.

— Меня утащили! Меня, Нильса Хольгерсона! Скажите это Акке Кебнекайсе! — прокричал несчастный вороний пленник и весь съежился, готовясь к расплате за свою смелость.

Но во́роны точно не слышали его. Изо всех сил работали они крыльями, торопясь к горе, которая одиноко торчала среди голого поля.

3

Еще издали Нильс увидел какую-то темную тучу, повисшую над горой. Точно вихрем ее кружило на одном месте, то взметая вверх, то прибивая к земле.

Фумле-Друмле и его спутник камнем упали в эту живую тучу.

— Скор-рей! Скор-рей! Скор-рей! — закаркали во́роны, и вся стая закружилась еще быстрее.

Нильс растерянно смотрел по сторонам.

«Зачем они меня сюда притащили? Что им от меня нужно?»

И, словно в ответ, Фумле-Друмле клюнул Нильса в голову, подталкивая его к кувшину.

— Смотр-р-ри пр-рямо,— прокаркал ворон. — Этот кувшин полон серебра. Ты должен открыть его. Не откроешь — глаза выклюем, откроешь — с почетом отпустим.

Фумле-Друмле хитро подмигнул своим молодцам, и все они дружно закаркали:

— Спасибо скажем!

— Проводника ему дадим!

— Да еще какого! Рыжего, пушистого!

Тут из-за большого камня высунулась острая морда Смирре. Высунулась и сразу спряталась.

«Ага, вот чьи это штуки,— подумал Нильс.— Ловко придумано! Теперь открывай не открывай — один конец. Ну да еще посмотрим, кто кого одолеет».

Нильс подошел к горшку, с важным видом постучал по стенкам, по крышке, потом подозвал Фумле-Друмле и тихо сказал ему:

— Слушай, кувшин открыть мне, конечно, ничего не стоит. Только, по-моему, зря вы хлопочете: все равно серебра вам не видать.

— Как это не видать? — возмутился Фумле-Друмле.

— А так и не видать! Вы вот связались с лисом Смирре, а он только и ждет, как бы вашим серебром поживиться. Чуть я открою кувшин, он сразу на серебро и бросится — вам ни одной монетки не оставит.

Фумле-Друмле сверкнул глазами.

— Ах вот оно что! — сказал ворон.— Хитер лис, да и я не прост. Нет, старого атамана ему не провести! Иди открывай кувшин. А уж я от рыжего как-нибудь отделаюсь.

Нильс вытащил свой ножичек и стал медленно ковырять крышку.

Тем временем Фумле-Друмле подлетел к Смирре.

— Знаешь что, дружище,— сказал он лису,— пожалуй, ты сплоховал. Чего это ты высунул свою морду? Только напугал

мальчишку. Видишь, он теперь от страха едва жив. Ты бы убрался куда-нибудь подальше... А уж когда он справится с делом, откроет кувшин, я тебе сразу дам знать: три раза каркну.

Лис недовольно заворчал, но делать было нечего — сам виноват. Он отбежал немного и присел за кустом.

— Дальше, дальше иди! — крикнул ворон.

Он подождал, пока лис совсем сбежал с горы, и тогда только вернулся к Нильсу.

— Теперь живо за дело,— сказал Фумле-Друмле.

Но открыть кувшин было не так-то просто. Деревянная крышка крепко сидела в горлышке. Нильс вдоль и поперек исцарапал ее своим маленьким ножичком, да все без толку, крышка — ни взад ни вперед. А тут еще во́роны каркают над душой:

— Скор-рей! Скор-рей! Скор-рей! Откр-рывай! Откр-рывай! Откр-рывай!

И наскакивают на него, клюют, бьют крыльями — прямо шевельнуться не дают.

— А ну, р-р-разойдись! — скомандовал вдруг Фумле-Друмле.

Во́роны злобно закаркали, но не посмели ослушаться своего атамана и отлетели в сторону.

Нильс с облегчением вздохнул и стал осматриваться кругом: нет ли поблизости чего-нибудь покрепче да побольше, чем его ножичек?

Около кувшина валялась крепкая, острая, дочиста обглоданная кость. Нильс поднял ее. Потом выковырял из земли камень и принялся за дело. Он наставил кость, как долото, между крышкой и горлышком и начал бить по ней камнем. Он бил до тех пор, пока кость не вошла почти наполовину. Тогда Нильс обеими руками ухватился за конец, торчавший снаружи, и повис на нем вместо груза. Он весь натужился, напряг мускулы и даже поджал ноги к животу, чтобы стать потяжелее. И вот крышка заскрипела, затрещала и вдруг вылетела из горлышка, как ядро из пушки. А Нильс кубарем покатился по земле.

— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра! — закричали во́роны и бросились к горшку.

Они хватали монетки, клевали их, катали, а потом высоко подбрасывали и снова ловили.

Монетки сверкали, искрились и звенели в воздухе. Настоящий серебряный дождь падал на землю. А во́роны, как ошалелые, без умолку каркали и кружились на одном месте.

Фумле-Друмле не отставал от них.

Наконец он вспомнил о Нильсе и подлетел к нему.

В клюве у него была зажата блестящая новенькая монетка. Он бросил ее прямо в руки Нильсу и прокаркал:

— Бери свою долю и — в путь! Старый Фумле-Друмле никогда своему слову не изменяет. Ты помог мне уберечь от Смирре серебро, а я помогу уберечь тебе от него голову. Только до вашего острова лететь очень далеко. Я спущу тебя за полем, около деревни, не то мои молодцы без меня все серебро растащат, мне ничего не оставят.

Он подождал, пока Нильс засунул монетку в карман, и даже подтолкнул ее клювом, чтобы она не выпала. Потом сгреб когтями Нильса за шиворот и поднялся в воздух.

— А лису это будет хороший урок. Пусть навсегда запомнит, что никому еще не удавалось перехитрить старого атамана.

«Ну, кое-кому удалось!» — подумал Нильс.

4

Лис Смирре ждал-ждал условного знака и, не дождавшись, решил пойти посмотреть, что делается на горе.

Во́роны уже расхватали все серебро. На земле валялся пустой кувшин, а рядом деревянная крышка.

Фумле-Друмле и Нильса нигде не было.

Лис схватил за хвост первого попавшегося ворона и стал так его трепать, что пух и перья полетели во все стороны.

— Говори, куда девали мальчишку? Где ваш мошенник-атаман?

— А во-он, посмотри! — ответил ворон и показал на черную точку, видневшуюся вдалеке.

Лис понял — его обманули.

— Счастье твое, что мне сейчас некогда,— прошипел Смирре,— а то рассчитался бы я с тобой за вашего атамана.

И он понесся вдогонку за беглецами. Он увидел, как ворон спустился около деревни, а потом снова поднялся, но уже один.

Смирре выждал, пока ворон отлетел подальше, и бросился рыскать по деревне. Теперь уже дело верное — мальчишке от него не уйти! Смирре пробежал одну улицу и только свернул в другую, как увидел Нильса. Вот он — его злейший враг! Сейчас Смирре отплатит ему за все обиды! Оскалив пасть, лис кинулся на Нильса. Еще секунда, и маленькому другу Акки Кебнекайсе пришел бы конец!

Но тут, на счастье Нильса, из-за угла показались два крестьянина. Нильс бросился им прямо под ноги и засеменил рядом. Под прикрытием двух пар больших крестьянских сапог он чувствовал себя в безопасности. Он даже обернулся и помахал лису Смирре рукой — попробуй, мол, сунься ко мне! Этого Смирре не выдержал. Забыв про всякую осторожность, он рванулся вперед.

— Смотри,— сказал один крестьянин,— какая-то рыжая собака увязалась за нами.

— Прочь отсюда! — крикнул другой и дал такого пинка Смирре, что тот отлетел на десять шагов.

Крестьяне свернули в ближний двор и поднялись по ступенькам крыльца.

И никому из них даже в голову не пришло, что тут, рядом, остался беззащитный человек, за которым охотится лис Смирре.

Ах, как хотелось Нильсу войти в дом вместе с хозяевами!

Но дверь захлопнулась, и снова он остался один.

Посреди двора стояла собачья будка. Недолго думая Нильс юркнул в будку и забился в самый дальний угол.

В будке жила на цепи огромная сторожевая собака. Она не очень обрадовалась незваному гостю. Тем более, что гость этот опрокинул ее плошку и вылил на соломенную подстилку всю воду.

Собака привстала, ощерилась и зарычала на Нильса.

— Не гони меня,— стал упрашивать ее Нильс,— а то меня съест лис Смирре. Наверное, он уже тут, рядом...

— Как, опять этот вор здесь? — прорычала собака и открыла уже пасть, чтобы залиться лаем.

— Пожалуйста, не лай! — зашептал Нильс.— Ты только спугнешь его. Лучше давай так сделаем: я отцеплю твой ошейник, ты лиса и схватишь.

— Ну что ж, это можно,— сказала собака и подставила Нильсу шею: она рада была случаю немножко погулять на свободе.

Нильсу порядком пришлось повозиться с ошейником, но все-таки он расстегнул его, и собака, весело потряхивая головой, выглянула из своей конуры.

Лис уже сидел неподалеку и нюхал воздух.

— Убирайся-ка подобру-поздорову,— зарычала на него собака,— а то попробуешь, острые ли у меня зубы!

— Ничего ты со мной не сделаешь,— сказал лис.— Всей твоей прыти только на пять шагов и хватает.

— Сегодня, может, и на шесть хватит,— проворчала собака и огромным прыжком подскочила к лису.

Одним ударом она сбила его с ног, придавила лапами к земле, а потом вцепилась в его шею зубами и поволокла к будке.

На пороге уже стоял Нильс с ошейником в руках.

— Здоро́во, кум! А я вот тебе подарочек приготовил,— весело сказал Нильс, позвякивая цепью.— Ну-ка, примерим! Пожалуй, шея у тебя тонковата для этого ожерелья! Ну да не горюй, мы тебе хорошенький поясок приладим.

Он просунул ошейник одним концом под брюхо Смирре и щелкнул замком.

— Ну и пояс! Вот так пояс! — приговаривал Нильс, прыгая вокруг Смирре.

Смирре лязгал зубами, извивался, визжал, но ничего не помогало — ошейник крепко-накрепко перетянул его брюхо.

— Ну, будь здоров, куманек! — весело крикнул Нильс и побежал к воротам.

Смирре рванулся за ним, да не тут-то было! Всей его прыти хватило теперь ровно на пять шагов.

А Нильс, помахав ему на прощание рукой, пошел своей дорогой.

5

Дойдя до конца деревни, Нильс остановился.

Куда же теперь идти?

И вдруг он услышал над самой головой гусиный крик:

— Мы здесь! Где ты? Где ты?

— Я тут! — закричал Нильс и высоко подпрыгнул, чтобы гуси могли разглядеть его в густой траве.

И в самом деле, Мартин сразу его увидел. Он спустился на землю и стал перед Нильсом, как верный конь.

Нильс ласково похлопал его по шее.

— Вот уж не думал, что вы так скоро меня найдете! — сказал он.

— Мы бы и не нашли,— ответил Мартин,— если бы голубь дорогу не показал, да дрозд не помог, да скворец не надоумил.

— Ну, значит, не зря я им кричал,— сказал Нильс.— Ведь мне во́роны ни одного слова не давали сказать. За каждое слово клювом долбили...— И Нильс потер свои шишки и синяки.— А знаешь, кто во́ронов подговорил? — спросил Нильс.— Лис Смирре! Все его проделки!

— Ах он рыжий разбойник! — воскликнул Мартин.— Прямо житья от него нет! Ну что нам с ним делать? Как от него избавиться?

— Теперь уже ничего не надо делать,— важно сказал Нильс.— Я сам все сделал. Я его на цепь посадил. Он сейчас сидит, как дворовый пес, в собачьей будке и только зубами щелкает.

Мартин от радости захлопал крыльями.

— Смирре сидит на цепи! Вот это ловко! Ну и молодец же ты, Нильс! Ну и молодец! Летим скорее, ведь Акка еще ничего не знает!

Нильс вскочил на Мартина, и они полетели к стае.

— Смирре сидит на цепи! Нильс посадил Смирре на цепь!— кричал еще издали Мартин.

И по всей стае, от одного гуся к другому, пронеслась радостная весть:

— Нильс посадил Смирре на цепь! Смирре посажен на цепь! Смирре сидит на цепи!

Обгоняя друг друга, гуси летели навстречу Нильсу и на все голоса выкрикивали:

— Нильс победил Смирре!

— Нильс посадил Смирре на цепь!

Они кружились над Нильсом, и от их веселого крика прозрачный весенний воздух звенел и дрожал.

И сама старая Акка Кебнекайсе кружилась и кричала вместе со всеми, не думая о своих преклонных годах, забыв, что она вожак стаи.

Глава девятая

БРОНЗОВЫЙ И ДЕРЕВЯННЫЙ

I

Солнце уже село. Последние его лучи погасли на краях облаков. Над землей сгущалась вечерняя тьма. Стаю Акки Кебнекайсе сумерки застигли в пути. Гуси устали. Из последних сил они махали крыльями. А старая Акка как будто забыла об отдыхе и летела все дальше и дальше.

Нильс с тревогой вглядывался в темноту.

«Неужели Акка решила лететь всю ночь?»

Вот уже показалось море. Оно было таким же темным, как небо. Только гребни волн, набегающих друг на друга, поблескивали белой пеной. И среди волн Нильс разглядел какие-то странные каменные глыбы, огромные, черные.

Это был целый остров из камней.

Откуда здесь эти камни?

Кто набросал их сюда?

Нильс вспомнил, как отец рассказывал ему про одного страшного великана. Этот великан жил в горах высоко над морем. Он был стар, и часто спускаться по крутым склонам ему было трудно. Поэтому, когда ему хотелось наловить форели, он выламывал целые скалы и бросал их в море. Форель так пугалась, что выскакивала из воды целыми стаями. И тогда великан шел вниз, к берегу, чтобы подобрать свой улов.

Может быть, вот эти каменные глыбы, что торчат из волн, и набросал великан.

Но почему же в провалах между глыбами сверкают огненные точки? А что, если это глаза притаившихся зверей? Ну конечно же! Голодные звери так и рыщут по острову, высмат-

ривая себе добычу. Они и гусей, верно, приметили и ждут не дождутся, чтобы стая спустилась на эти камни.

Вот и великан стоит на самом высоком месте, подняв руки над головой. Уж не тот ли это, который любил лакомиться форелью? Может быть, и ему страшно среди диких зверей. Может, он зовет стаю на помощь — потому и поднял руки?

А со дна моря на остров лезут какие-то чудовища. Одни тонкие, остроносые, другие — толстые, бокастые. И все сбились в кучу, чуть не давят друг друга.

«Скорей бы уж пролететь мимо!» — подумал Нильс.

И как раз в это время Акка Кебнекайсе повела стаю вниз.

— Не надо! Не надо! Тут мы все пропадем! — закричал Нильс.

Но Акка словно не слышала его. Она вела стаю прямо на каменный остров.

И вдруг, словно по взмаху волшебной палочки, все кругом изменилось. Громадные каменные глыбы превратились в обыкновенные дома. Глаза зверей стали уличными фонарями и освещенными окнами. А чудовища, которые осаждали берег острова, были просто-напросто кораблями, стоявшими у причала.

Нильс даже рассмеялся. Как же он сразу не догадался, что внизу под ними был город. Ведь это же Карлскрона! Город кораблей! Здесь корабли отдыхают после дальних плаваний, здесь их строят, здесь их чинят.

Гуси опустились прямо на плечи великана с поднятыми руками. Это была ратуша с двумя высокими башнями.

Акка Кебнекайсе никогда бы не остановилась на ночлег под самым боком у людей. Но в этот вечер выбора у нее не было,— гуси едва держались на крыльях.

Впрочем, крыша городской ратуши оказалась очень удобным местом для ночлега. По краю ее шел широкий и глубокий желоб. В нем можно было прекрасно спрятаться от посторонних глаз и напиться воды, которая сохранилась от недавнего дождя. Одно плохо — на городских крышах не растет трава и не водятся водяные жуки.

И все-таки совсем голодными гуси не остались. Между черепицами, покрывавшими крышу, застряло несколько хлебных корок — остаток пиршества не то голубей, не то воробьев. Для настоящих диких гусей это, разумеется, не корм, но, на худой конец, можно и сухого хлеба поклевать.

Зато Нильс поужинал на славу.

Хлебные корки, высушенные ветром и солнцем, показались ему даже вкуснее, чем сдобные сухари, которыми славилась на весь Вестменхёг его мать.

Правда, вместо сахара они были густо обсыпаны серой городской пылью, но это беда небольшая.

Нильс ловко соскреб пыль своим ножичком и, разрубив корку на мелкие кусочки, с удовольствием грыз сухой хлеб.

Пока он трудился над одной коркой, гуси успели и поесть, и попить, и приготовиться ко сну. Они растянулись цепочкой по дну желоба — хвост к клюву, клюв к хвосту,— потом разом подогнули головы под крылья и заснули. А Нильсу спать не хотелось. Он забрался на спину Мартина и, перевесившись через край желоба, стал смотреть вниз. Ведь это был первый город, который он видел так близко с тех пор, как летит с гусиной стаей.

Время было позднее. Люди уже давно легли спать. Только изредка торопливо пробегал какой-нибудь запоздалый прохожий, и шаги его гулко разносились в тихом, неподвижном воздухе. Каждого прохожего Нильс долго провожал глазами, пока тот не исчезал где-нибудь за поворотом.

«Сейчас он, наверное, придет домой,— грустно думал Нильс.— Счастливый! Хоть бы одним глазком взглянуть, как живут люди!.. Самому ведь не придется уже...»

— Мартин, а Мартин, ты спишь? — позвал Нильс своего товарища.

— Сплю,— сказал Мартин.— И ты спи.

— Мартин, ты погоди спать. У меня к тебе дело есть.

— Ну, что еще?

— Пожалуйста, Мартин, спусти меня вниз, на улицу,— зашептал Нильс.— Я погуляю немножко, а ты выспишься и потом прилетишь за мной. Мне так хочется по улицам походить. Как все люди ходят.

— Вот еще! Только мне и забота вниз-вверх летать!

И Мартин решительно сунул голову под крыло.

— Мартин, да ты не спи! Послушай, что я тебе скажу. Ведь если бы ты был когда-нибудь человеком, тебе бы тоже захотелось увидеть настоящих людей.

Мартину стало жалко Нильса. Он высунул голову из-под крыла и сказал:

— Ладно, будь по-твоему. Только помни мой совет: на людей смотри, а сам им на глаза не показывайся. А то не вышло бы какой беды.

— Да не беспокойся! Меня ни одна мышь не увидит,— весело сказал Нильс и от радости даже заплясал на спине у Мартина.

— Потише, потише, ты мне все перья переломаешь! — заворчал Мартин, расправляя усталые крылья.

Через минуту Нильс стоял на земле.

— Далеко не уходи! — крикнул ему Мартин и полетел наверх досыпать остаток ночи.

2

Нильс медленно шел по улице, то и дело оглядываясь и прислушиваясь. Один за другим гасли огоньки в окнах. Улицы были пустынными, тихими. И все-таки Нильс знал, что за каждой стеной, за каждой дверью живут люди.

Вот впереди одно окно освещено. Нильс остановился и долго стоял в яркой полосе света.

Если бы можно было заглянуть через раздвинутую занавеску!

Но окно было слишком высоко, а Нильс слишком мал.

Он слышал голоса, смех. Слов разобрать он не мог, но все равно готов был стоять и слушать хоть всю ночь,— ведь это говорили люди!

Может быть, он и простоял бы до утра, но свет в окне погас, и голоса смолкли. Значит, и в этом доме легли уже спать.

Нильс побрел дальше.

На углу, против уличного фонаря, он увидел вывеску. Большими буквами на ней было написано: АПТЕКА. Вот если бы нашлось такое лекарство, от которого Нильс сразу бы вырос! Пусть бы это лекарство было горькое, как полынь,— Нильс выпил бы, не поморщившись, целую бутылку. Если надо, так выпил бы и две бутылки! Только где такое лекарство взять?!

На другом углу была лавка, и над ней висел огромный золотой крендель. Нильс не мог оторвать от него глаз. Хоть бы кусочек такого кренделя попробовать! Да что кренделя! Простого бы хлеба кусочек!

Нильс тяжело вздохнул и зашагал дальше.

Он сворачивал с улицы на улицу, пока наконец не вышел на большую площадь.

Наверное, это была самая главная площадь во всем городе.

Нильс огляделся по сторонам. В этот поздний час на площади не было ни одного человека, если не считать за человека бронзовую статую, стоявшую на высокой каменной тумбе.

«Кто бы это мог быть?» — думал Нильс, расхаживая вокруг тумбы.

Вид у Бронзового был очень важный — длинный камзол, башмаки с пряжками, на голове треуголка. Одну ногу он выставил вперед, точно собрался сойти с пьедестала, а в руке держал толстую палку. Не будь он сделан из бронзы, он, наверное, давно бы пустил эту палку в ход. На лице у него так и было написано, что спуску он никому не даст: нос крючком, брови нахмурены, губы поджаты.

— Эй ты, пугало бронзовое! — крикнул ему Нильс.— Ты

кто такой? Да не смотри на меня так сердито! Я тебя нисколько не боюсь...

Нильс нарочно говорил так храбро, потому что на самом деле сердце у него замирало от страха. Этот пустой притихший город... Темные, будто ослепшие, дома... Этот Бронзовый, который, казалось, не сводил с Нильса глаз... Тут всякому станет не по себе!

И чтобы как-нибудь подбодрить себя, Нильс крикнул:

— Что же ты молчишь? Ну ладно, не хочешь разговаривать — и не надо. До свидания. Счастливо оставаться!

Нильс помахал Бронзовому рукой и отправился дальше. Он обошел всю площадь и свернул на широкую улицу, которая вела к гавани.

И вдруг он насторожился. Кто-то медленно и тяжело шел за ним. Каждый шаг был как удар кузнечного молота о наковальню. От каждого шага вздрагивала земля и звенели стекла в домах.

«Бронзовый!» — мелькнуло в голове у Нильса.

И ему стало так страшно, что он бросился бежать куда глаза глядят. Он добежал до конца одной улицы, потом свернул в другую, потом в третью...

На крыльце какого-то дома он присел, чтобы немного передохнуть.

Шаги слышались теперь где-то вдалеке.

— И чего это я так испугался?— успокаивал себя Нильс.— Может, он просто гуляет. Надоело стоять, вот он и пошел пройтись. Что тут особенного? Да я ему ничего плохого и не сказал...

Нильс прислушался.

Тут за углом точно ударил набат — так гулко и звонко застучали по камням стопудовые сапоги.

Бронзовый шел прямо на Нильса. Он шел, не сгибая колен, не поворачивая головы, и застывшим взглядом смотрел перед собой.

«Куда бы спрятаться? — думал Нильс, растерянно оглядываясь.— Куда бы спрятаться?»

Но все двери в домах были плотно заперты, негде укрыться, негде спастись.

И вдруг Нильс увидел на другой стороне улицы старую, полуразвалившуюся деревянную церковь. От времени стены ее покосились, крыша съехала набок, и, наверное, вся церковь давно бы рассыпалась, если б старые кряжистые клены не подпирали ее своими разросшимися ветвями.

«Вот где я спрячусь! — обрадовался Нильс.— Залезу на самую верхушку дерева, тогда меня хоть до завтра ищи — не найдешь».

И Нильс бросился через дорогу.

Он был уже почти у самой цели и только теперь увидел, что на церковной паперти стоит какой-то человек. Человек этот в упор смотрел на Нильса и подмигивал ему одним глазом.

Нильс совсем растерялся. Что теперь делать? Куда деваться?

Назад бежать — Бронзовый его, как муху, раздавит, вперед идти — может, еще хуже будет. Кто его знает, почему этот человек подмигивает? Будь у него хорошее на уме, он бы по-хорошему и разговаривал, а не мигал.

Но в это время где-то совсем близко загремели, загрохотали бронзовые сапоги.

Раздумывать было некогда, и Нильс двинулся вперед.

А человек на паперти стоял все так же неподвижно. Он подмигивал Нильсу то одним глазом, то другим, кивал ему, но с места не сходил. И каждый раз, когда он наклонял голову, раздавался легкий скрип, точно кто-то садился на рассохшуюся табуретку.

«Кажется, он не такой уж сердитый. Даже как будто улыбается,— подумал Нильс, подходя к нему ближе.— Да что это! Ведь он же деревянный!»

И верно, человек этот с ног до головы был из дерева. И борода у него была деревянная, и нос деревянный, и глаза деревянные. На голове у деревянного человека была деревянная шляпа, на плечах деревянная куртка, перетянутая деревянным поясом, на ногах деревянные чулки и деревянные башмаки.

Одна щека у деревянного человека была красная, а другая серая. Это оттого, что на одной щеке краска облупилась, а на другой еще держалась.

На деревянной его груди висела деревянная дощечка. Красивыми буквами, украшенными разными завитушками, на ней было написано:

«Прохожий! На твоем пути
Смиренно я стою.
Монетку в кружку опусти —
И будешь ты в раю!»[1]

В левой руке Деревянный держал большую кружку — тоже деревянную.

«Вот оно что! — подумал Нильс.— Он, значит, подаяние собирает. То-то он меня так подзывал! Хорошо, что у меня есть монетка. Отдам-ка ее! Все равно она мне никогда не пригодится».

И Нильс полез в карман за вороньей монеткой.

---

[1]Стихи на страницах 574, 575 написаны С. Я. Маршаком.

Деревянный сразу догадался. С протяжным скрипом и потрескиванием он наклонился и поставил перед Нильсом свою кружку.

А тяжелые удары бронзовых подошв гремели уже совсем за спиной.

«Пропал я!» — подумал Нильс.

Он с радостью сам залез бы в кружку для монет. Да, на беду, отверстие было слишком узким даже для него.

А Деревянный словно понял Нильса. Что-то опять заскрежетало у него внутри, и деревянная рука опустилась к самой земле.

Нильс вскочил на широкую, как лопата, ладонь. Деревянный быстро поднял его и посадил к себе под шляпу.

И как раз вовремя! Из-за угла уже вышагивал Бронзовый!

Примостившись на макушке своего деревянного спасителя, Нильс с ужасом ждал, что будет дальше.

Сквозь щели в старой, рассохшейся шляпе Нильс увидел, как подходил Бронзовый. Он высоко выбрасывал ноги, и от каждого шага искры выбивались из-под его подошв, а камни мостовой глубоко вдавливались в землю.

Бронзовый был очень зол.

Он вплотную подошел к Деревянному и, стукнув палкой, остановился. От удара тяжелой палки задрожала земля, и Деревянный так зашатался, что шляпа, вместе с Нильсом, чуть не съехала́ у него на затылок.

— Кто ты такой? — прогремел Бронзовый.

Деревянный вздрогнул, и в его старом теле что-то затрещало. Он отдал честь, потом вытянул руки по швам и скрипучим голосом ответил:

— Розенбум, ваше величество! Бывший старший боцман на линейном корабле «Дристигхетен». В сражении при Фербелине дважды ранен. По выходе в отставку служил церковным сторожем. В тысяча шестьсот девяностом году скончался. Впоследствии был вырезан из дерева и поставлен вместо кружки для милостыни.

У этой паперти святой
Стою, как на часах.
Мой пра́х под каменной плитой.
Душа на небесах.

Деревянный снова отдал честь и застыл.

— Я вижу, ты славный солдат, Розенбум. Жаль, что я не успел представить тебя к награде, пока меня не водрузили на эту тумбу посреди площади.

— Премного благодарен,— опять козырнул Деревянный.— Всегда готов служить верой и правдой своему королю и отечеству!

«Так, значит, это король! — ужаснулся Нильс и даже съежился под шляпой.— А я его пугалом обозвал!..»

— Послушай, Розенбум,— снова заговорил Бронзовый.— Ты должен сослужить мне еще одну, последнюю службу. Не видел ли ты мальчишку, который бегает тут по улицам? Сам он не больше воробья, зато дерзок не по росту. Ты подумай только, этот мальчишка не знал, кто я такой! Надо его хорошенько проучить.

И Бронзовый снова стукнул палкой.

— Так точно, ваше величество! — проскрипел Деревянный.

Нильс похолодел от страха. «Неужели выдаст?!»

— Так точно, видел,— повторил Деревянный.— Пять минут назад пробегал здесь. Показал мне нос, да и был таков. Я хоть и простой солдат, а все же обидно.

— Куда же он побежал, Розенбум?

— Осмелюсь доложить, побежал к старой корабельной верфи.

— Ты поможешь мне разыскать его, Розенбум,— сказал Бронзовый.— Идем скорее. Нельзя терять ни минуты. Еще до восхода солнца я должен вернуться на свою тумбу. С тех пор как я стал памятником, я могу ходить только ночью. Идем же, Розенбум!

Деревянный жалобно заскрипел всем своим телом.

— Всеподданнейше ходатайствую перед вашим величеством об оставлении меня на месте. Хотя краска кое-где еще держится на мне, но внутри я весь прогнил.

Бронзовый позеленел от злости.

— Что! Бунтовать? — загрохотал он и, размахнувшись, ударил Розенбума палкой по спине.

Щепки так и полетели во все стороны.

— Эй, не дури, Розенбум! Смотри, хуже будет.

— Так точно, хуже будет,— скрипнул Розенбум и замаршировал на месте, чтобы размять свои деревянные ноги.

— Шагом марш! За мной! — скомандовал бронзовый король и затопал по улице.

А за ним, потрескивая и поскрипывая, двинулся деревянный солдат.

Так шествовали они через весь город, до самой корабельной верфи: Бронзовый — впереди, Деревянный — позади, а Нильс — у Деревянного на голове.

У высоких ворот они остановились. Бронзовый легонько ударил по огромному висячему замку. Замок разлетелся на мелкие кусочки, и ворота с лязгом открылись.

Сквозь щелочку в шляпе Нильс увидел старую верфь. Это было настоящее корабельное кладбище. Старые, допотопные суда с пробоинами в раздутых боках лежали здесь, как выброшенные на сушу рыбы. На почерневших от времени стапелях

застряли потрепанные бурей шхуны с обвисшими рваными парусами, с перепутавшимися, точно паутина, снастями. Повсюду валялись ржавые якоря, бухты полуистлевших канатов, покореженные листы корабельного железа.

У Нильса даже глаза разгорелись — так много тут было интересного. А ведь он видел только то, что было справа, потому что в шляпе, под которой он сидел, с левой стороны не было ни одной щелочки.

— Послушай, Розенбум, мы же не найдем его здесь! — сказал Бронзовый.

— Так точно, ваше величество, не найдем,— сказал Деревянный.

— Но мы должны его найти, Розенбум! — загремел Бронзовый.

— Так точно, должны,— проскрипел Деревянный.

И они двинулись по шатким мосткам. От каждого их шага мостки вздрагивали, трещали и прогибались.

По пути Бронзовый переворачивал вверх дном каждую лодку, сокрушая корабельные мачты, с грохотом разбивал старые ящики. Но нигде — ни под лодками, ни в ящиках, ни под мостками, ни на мачтах — он не мог найти дерзкого мальчишку. И не мудрено, потому что мальчишка этот преспокойно сидел под шляпой на голове старого солдата Розенбума.

Вдруг Бронзовый остановился.

— Розенбум, узнаешь ли ты этот корабль? — воскликнул он и вытянул руку.

Розенбум повернулся всем корпусом направо, и Нильс увидел какое-то огромное корыто, обшитое по краям железом.

— Узнаешь ли ты этот славный корабль, Розенбум? Посмотри, какая благородная линия кормы! Как гордо поставлен нос! Даже сейчас видно, что это был королевский фрегат... А помнишь, Розенбум, как славно палили на нем пушки, когда я ступал на его палубу?

Бронзовый замолчал, мечтательно глядя на старый, развалившийся корабль с развороченным носом и разбитой кормой.

— Да, много он видел на своем веку, мой старый боевой товарищ,— сказал Бронзовый.— А теперь он лежит здесь, как простая баржа, всеми заброшенный и забытый, и никто не знает, что сам король ходил когда-то по его палубе.

Бронзовый тяжело вздохнул.

Слезы, большие, круглые, как пули, медленно потекли из его бронзовых глаз.

И вдруг он стукнул палкой, выпрямился, колесом выпятил грудь.

— Шапки долой, Розенбум! Мы должны отдать последний долг свидетелю нашей былой славы.— И широким величест-

венным движением руки Бронзовый снял свою треуголку.— Честь и слава погибшим! Ура! — громовым голосом закричал он.

— Урр-ра! — закричал Деревянный и сорвал с головы свою шляпу.

— Урр-ра! — закричал вместе с ними Нильс и притопнул ногой на голове у Розенбума.

Прокричав троекратное «ура!», Бронзовый с легким звоном надел свою треуголку и повернулся.

И тут его бронзовое лицо потемнело так, что стало похоже на чугунное.

— Розенбум! Что у тебя на голове? — зловещим шепотом проговорил он.

А на голове у Розенбума стоял Нильс и, весело приплясывая, махал Бронзовому рукой.

От ярости слова застряли у Бронзового в горле, и он только задвигал челюстями, силясь что-то сказать. Впрочем, он мог разговаривать и без слов — ведь у него была хорошая бронзовая дубинка. Ее-то он и пустил в ход.

Страшный удар обрушился на голову Деревянного. Из треснувшего лба взвился целый столб пыли и трухи. Ноги у Деревянного подкосились, и он рухнул на землю.

Когда все затихло, Нильс осторожно вылез из-под груды щепок. Бронзового и след простыл, а на востоке из-за леса мачт вырывались красные лучи восходящего солнца.

Нильс с грустью посмотрел на кучу обломков — это было все, что осталось от Деревянного.

«Да, не промахнись его величество, и моим бы косточкам тут лежать,— подумал Нильс.— Бедный Розенбум! Если бы не я, проскрипел бы ты, наверное, еще годик-другой...»

Нильс бережно собрал разлетевшиеся во все стороны щепки и сложил их вместе ровной горкой.

Построив памятник своему погибшему товарищу, Нильс побежал к воротам.

«Не опоздать бы мне! — с беспокойством думал он, поглядывая на светлевшее небо.— Пока я разыщу ратушу, солнце, пожалуй, совсем взойдет. А вдруг Мартин и в самом деле улетит без меня?»

Он выскочил за ворота и побежал по улицам, стараясь припомнить, где он плутал ночью. Но утренний свет все изменил, все выглядело теперь по-иному, и Нильс ничего не узнавал. Он свернул в один переулок, в другой и, сам того не ожидая, выбежал прямо к ратуше.

Не успел он отдышаться, как перед ним уже стоял Мартин.

— Ну, сегодня ты молодец. Послушался меня, далеко не ходил,— похвалил его Мартин.

Нильс ничего не ответил. Он не хотел огорчать своего друга.

Когда стая пролетала над площадью, Нильс посмотрел вниз.

На высокой каменной тумбе стоял Бронзовый. Видно было, что он очень торопился и поспел на место в самую последнюю минуту. Камзол его был расстегнут, треуголка сбилась на затылок, а палка торчала под мышкой.

— Прощайте, ваше бронзовое величество! — крикнул Нильс.

Но Бронзовый молчал.

Может быть, он не слышал, а если и слышал, все равно ничего не мог сказать.

Ночь прошла. Начинался новый день.

Глава десятая

ПОДВОДНЫЙ ГОРОД

1

Стая Акки Кебнекайсе летела над прибрежной полосой, там где земля встречается с морем.

Давно уже в этих местах между землей и морем шел нескончаемый спор.

Вдали от берега у земли только и было забот, что о картофеле, об овсе и о репе. Про море она и не думала.

И вдруг узкий длинный залив, как ножом, разрезал землю.

Земля отгородилась от него березой и ольхой и снова занялась своими обычными делами...

Но вот еще один залив рассек землю.

Земля и на этот раз окружила его деревьями, словно это был не морской залив, а обыкновенное пресное озеро.

А заливы бороздили уже весь берег. Они ширились, они вторгались в самую середину лесов и полей, дробили землю на мелкие кусочки.

Море хотело захватить землю.

Земля хотела оттеснить море.

Земля подбиралась к морю отлогими зелеными холмами.

Но море выбрасывало ей навстречу песок и складывало у берега сыпучие горы.

— Не пущу! — говорило море.

— Не сдамся! — говорила земля.

И она поднималась перед морем отвесной скалистой стеной.

Тогда море начинало яростно биться. Оно шумело и пенилось,

оно кидалось на утесы так, словно хотело растерзать на части всю землю.

Но земля пускалась на хитрость. Она выставляла заслон из множества островов — шхер. Они держались крепко, как солдаты в строю. В первой шеренге стояли самые заслуженные старые бойцы. На них давно и травинки не осталось: свирепые волны срывали с них даже водоросли — из пены поднимались только камни, источенные глубокими морщинами.

Море перекатывалось через них, шло на приступ дальше. Но все новые и новые защитники вставали на его пути. И море билось с ними, постепенно истощая свою ярость. А когда добиралось наконец до земли, у него уже не было сил, и оно мирно плескалось у зеленых островков.

Здесь, на этих поросших травой шхерах, стая Акки Кебнекайсе в последний раз отдыхала перед самым большим перелетом.

Дорога всех птичьих стай шла дальше над открытым морем.

2

Нильс сидел на своем белокрылом коне и вертел головой во все стороны. В воздухе было шумно, как на большой проезжей дороге в ярмарочный день.

Никогда в жизни не видел Нильс столько птиц сразу.

Тут были и черно-белые казарки, и пестрокрылые утки, и крохали, и кулики, и кайры, и гагары. Они кричали, гоготали, чирикали, щебетали, свистели на все голоса. Они перекликались, переговаривались, старые знакомые приветствовали друг друга, а новички то и дело спрашивали:

— Скоро ли мы прилетим?

— Уж не сбились ли мы с пути?

— Сколько же можно лететь без отдыха?

Но вожаки уверенно вели свои стаи все дальше и дальше. Берег и шхеры были уже совсем не видны.

Нильс взглянул вниз, и — удивительное дело! — ему показалось, что ничего больше не было — ни земли, ни моря. И где-то там, под ними, тоже летели птичьи стаи, тоже проносились, обгоняя друг друга, легкие облака. Неужели они летят так высоко, что, кроме неба, ничего уже нет?

Нильс посмотрел вверх, потом опять вниз и увидел, что там, внизу, птицы летят как-то странно, запрокинувшись на спины.

Да ведь там море! Спокойное, гладкое, как огромное зеркало, прозрачное море.

И небо — со всеми облаками, с перелетными стаями — отражается в нем так ясно, что самое море кажется небом.

День для перелета над морем был как нельзя лучше. Легкий ветер разгонял облака, словно расчищая птицам дорогу.

Только на западе нависла какая-то темная туча, и края ее почти касались самой воды.

Акка Кебнекайсе давно поглядывала на эту тучу,— туча ей не нравилась.

И недаром! Ветер уже не помогал птицам. Он набрасывался на них и резкими толчками норовил разметать во все стороны их ровный строй.

Начиналась буря. Небо почернело. Волны с ревом наскакивали друг на друга.

— Лететь назад, к берегу! — крикнула Акка Кебнекайсе.

Она знала, что такую бурю лучше переждать на суше.

Трижды пытались гуси повернуть к берегу, и трижды напористый ветер поворачивал их к морю.

Тогда Акка решила спуститься на воду. Она боялась, что ветер занесет их в такую даль, откуда даже ей не найти дороги в Лапландию. А волны были не так страшны, как ветер.

Крепко прижав крылья к бокам, чтобы вода не пробралась под перья, гуси качались на волнах, точно поплавки.

Им было вовсе не так уж плохо. Только Нильс продрог и промок до нитки. Холодные волны тяжело перекатывались через него, словно хотели оторвать от Мартина. Но Нильс крепко, обеими руками, вцепился в Мартинову шею. Ему было и страшно и весело, когда они скатывались с крутых волн, а потом разом взлетали на пенистый гребень. Вверх — вниз! Вверх — вниз! Вверх — вниз!

Сухопутные птицы, занесенные ветром в открытое море, с завистью смотрели, как легко пляшут гуси на волнах.

— Счастливые! — кричали они.— Волны спасут вас!.. Ах, если бы и мы умели плавать!

Но все-таки волны были ненадежным убежищем. От долгой качки на волнах гусей стало клонить ко сну. То один гусь, то другой засовывал клюв под крыло.

Правда, мудрая Акка никому не давала спать.

— Проснитесь! — кричала она.— Проснитесь! Кто заснет — отобьется от стаи, кто отобьется от стаи — погибнет.

Услышав голос Акки, гуси встряхивались, но через минуту сон снова одолевал их.

Скоро даже сама Акка Кебнекайсе не в силах была побороть дремоту. Все реже и реже раздавался над водой ее голос.

И вдруг из волны совсем рядом с Аккой высунулись какие-то круглые, зубастые морды.

— Тюлени! Тюлени! Тюлени! — пронзительно закричала Акка и взлетела, шумно хлопая крыльями.

Сонные гуси, разбуженные ее криком, нехотя поднялись над

водой, а того, кто заснул слишком крепко, Акка будила ударом клюва. Медлить было нельзя — тюлени окружали их со всех сторон. Еще минута — и многие гуси сложили бы здесь свои головы.

И вот снова стая в воздухе, снова гуси борются с ветром. Ветру и самому пора бы отдохнуть, но он не давал покоя ни себе, ни другим. Он подхватил гусей, закружил и понес в открытое море.

Объятые страхом перед наступающей ночью, гуси летели сами не зная куда. Тьма быстро сгущалась. Гуси едва видели друг друга, едва слышали слабый крик, которым сзывала их старая Акка.

Нильсу казалось, что волны не могут грохотать громче, что тьма вокруг не может быть чернее. И все-таки в какую-то минуту шум и свист внизу стали еще сильнее, а из тьмы выступило что-то еще чернее, чем небо. Это была скала, словно вынырнувшая со дна моря. Волны так и кипели у ее подножия, со скрежетом перекатывая каменные глыбы.

Неужели Акка не видит опасности? Вот сейчас они разобьются!

Но Акка видела больше, чем все другие. Она разглядела в скале пещеру и под ее каменные своды привела гусей.

Не выбирая места, гуси повалились на землю и тотчас заснули мертвым сном.

И Нильс заснул — прямо на шее у Мартина, не успев даже залезть к нему под крыло.

3

Нильс проснулся оттого, что лунный свет бил ему прямо в глаза. Луна, словно нарочно, остановилась у входа в пещеру, чтобы разбудить Нильса. Конечно, можно было забраться под крыло Мартина и еще поспать, но для этого пришлось бы потревожить верного друга. Нильс пожалел Мартина — очень уж тот уютно прикорнул между двумя камнями. Должно быть, совсем измучился, бедняга.

Тихонько вздохнув, Нильс вышел из пещеры.

Чуть только он обогнул выступ скалы, как перед ним открылось море. Оно лежало такое мирное и спокойное, точно бури никогда не бывало.

Чтобы как-нибудь скоротать время до утра, Нильс набрал на берегу полную пригоршню плоских камешков и стал бросать их в море. Да не просто бросать, а так, чтобы они мячиком прыгали по лунной дорожке.

— Три... пять... семь... десять,— считал Нильс каждый удар

камешка о воду.— Хорошо бы до самой луны добросить! Только вот камня подходящего нет. Нужен совсем-совсем плоский.

И вдруг Нильс вспомнил: монетка! У него ведь есть воронья монетка! Деревянному он так и не успел ее отдать.

Вот теперь она все-таки сослужит Нильсу службу.

Нильс вытащил из кармана монетку, повертел ее в пальцах, занес руку назад, выставил ногу вперед и бросил монетку.

Но монетка упала, не долетев до воды, закружилась, зашаталась из стороны в сторону и легла на мокрый песок. Нильс бросился за ней вдогонку. Он уже протянул за монеткой руку, да так и застыл на месте.

Что это? Что случилось?

Море исчезло. Прямо перед Нильсом возвышалась глухая каменная стена.

Нильс задрал голову. Стена была такая высокая, что закрывала чуть не полнеба. Верхний край ее кончался зубцами, и было видно, как в просветах между ними шагал часовой в блестящем шлеме, с копьем в руках.

«Может, я все-таки сплю?» — подумал Нильс.

Он крепко-крепко зажмурил глаза и быстро открыл их.

Стена по-прежнему стояла перед ним. Самая настоящая стена, сложенная из крупных необтесанных камней.

Невдалеке между двумя круглыми башнями Нильс увидел ворота. Тяжелые кованые створки их были наглухо закрыты.

Но чуть только Нильс подошел поближе, ржавые петли заскрежетали, заскрипели, и ворота медленно раскрылись, как будто приглашая Нильса войти.

И Нильс вошел.

Под низкими каменными сводами сидели стражники, вооруженные топориками на длинных древках, и играли в кости. Они были так заняты игрой, что даже не заметили, как Нильс проскользнул мимо них.

Сразу за воротами была большая площадь, а от площади во все стороны расходились улицы.

В городе, наверное, был праздник. Повсюду развевались пестрые флаги, весело горели цветные фонарики. Да и народ на улицах тоже был разодет по-праздничному: мужчины в длинных бархатных кафтанах с меховой опушкой, в шапочках, украшенных перьями; женщины — в расшитых серебром и золотом платьях и в кружевных чепчиках с бантами, торчащими на голове, как бабочки.

Таких богатых нарядов Нильс никогда не видел, разве что на картинках в старой дедовской книге, которую мать давала Нильсу рассматривать только по воскресеньям.

Но странное дело: хотя по всему было ясно, что в городе праздник, никто не смеялся, не пел, не шутил. Лица у людей

были печальные и встревоженные, и все молча с беспокойством посматривали вверх.

Нильс тоже посмотрел вверх.

Высоко над всеми крышами поднималась четырехугольная башня. В каменную стену ее были вделаны часы. Огромным круглым глазом они смотрели вниз, на город.

«Вот хорошо, что тут часы есть! — подумал Нильс.— Погуляю часок и вернусь назад».

И он весело зашагал по улицам.

Никто не обращал внимания на Нильса. Не так-то легко было разглядеть его в толпе. Он свободно бегал по городу, рассматривал дома, заглядывал во дворы.

И отовсюду, куда бы он ни пошел, он видел часы на башне.

На одной из улочек возле каждого крыльца сидели нарядные женщины и молча пряли золотую пряжу. Время от времени они тяжело вздыхали и посматривали на башенные часы.

«Наверное, устали всю ночь работать»,— подумал Нильс и свернул в другую улицу.

Тут тоже шла работа. По всей улице разносился звон и лязг металла — это оружейных дел мастера ковали кинжалы и мечи.

Изредка они отрывались от работы, чтобы отереть рукавом пот со лба и украдкой взглянуть на часы.

На третьей улице башмачники шили сафьяновые сапоги и туфли с меховой опушкой, на четвертой — кружевницы плели кружева, на пятой — гранильщики шлифовали блестящие разноцветные камни.

И все работали молча, только изредка поднимая головы, чтобы поглядеть на башенные часы.

Долго бегал Нильс по городу, пока не выбежал на большую, просторную улицу.

По обеим сторонам ее тянулись лавки. Двери их были широко открыты, полки завалены товаром, но торговля шла не очень-то бойко.

Купцы уныло сидели за своими стойками, не обращая внимания на редких покупателей. А те, даже не глядя на разложенные товары, о чем-то тихо спрашивали купцов и, тяжело вздыхая, выходили из лавки, так ничего и не купив.

«Наверно, приценивались. Да, видно, не по карману товар»,— подумал Нильс.

Перед одной лавкой Нильс остановился и долго стоял как вкопанный. Это была оружейная лавка.

Целое войско можно было снарядить здесь в поход.

Тут были кованые мечи в золотой и серебряной оправе и тонкие, как спицы, шпаги. Тут были сабли всех образцов — прямые и изогнутые, в ножнах и без ножен. Тут были палаши, тесаки, кинжалы — маленькие и большие, с рукоятками из кости и де-

рева, из золота и серебра. Тут были тяжелые щиты, разукрашенные гривастыми львами и семиглавыми драконами. А в глубине лавки, в углу, высился целый лес остроконечных копий, громоздились рыцарские доспехи — латы, кольчуги, шлемы.

И все оружие — совсем новенькое, еще не потемневшее в боях и на рыцарских турнирах! Оно так и горело, так и сверкало!

«А что, если войти? — подумал Нильс.— Может, никто не заметит меня... А если заметит, я скажу, что хочу купить что-нибудь...»

Но Нильс хорошо помнил, как торговцы на ярмарках гоняли мальчишек, которые попусту глазели на товары, щупали их, долго выбирали, торговались, а потом удирали, ничего не купив. Одного мальчишку из их деревни даже поймали и отодрали за уши, чтобы другим было неповадно. Это на простой-то ярмарке! А уж тут и подавно выдерут.

Нильс долго топтался возле лавки — то подойдет к двери, то отойдет, то снова подойдет.

«Что бы такое придумать? — размышлял Нильс.— Ага, знаю! Скажу, что мне меч нужен. А такого, чтобы мне по росту был, и не найдется. Тогда я скажу: простите, мол, за беспокойство! — и уйду».

Нильс набрался духу и шмыгнул в лавку.

Около стойки в кресле с высокой резной спинкой сидел бородатый купец и не отрываясь смотрел в окно.

Он смотрел на башенные часы.

Яркая луна, висевшая в небе точно фонарь, освещала огромный часовой круг и черные стрелки, ползущие по нему медленно и неуклонно.

Нильс незаметно проскользнул мимо купца и, крадучись, пошел вдоль стены, сверху донизу увешанной оружием.

Глаза у него так и разбегались во все стороны. Он не знал, на что раньше смотреть.

Особенно понравился Нильсу один кинжал. Кинжал был совсем небольшой, пожалуй, всего только вдвое больше Нильса. По рукоятке его вилась серебряная змейка. И висел кинжал не так уж высоко — над самой стойкой.

Нильс украдкой взглянул на купца — тот по-прежнему сидел на своем кресле и неподвижно смотрел в окно. Тогда Нильс расхрабрился. По ящикам, сваленным у стены, он взобрался на стойку и обеими руками схватил кинжал. Схватить-то схватил, а удержать не смог. С глухим звоном кинжал упал на пол.

Нильс весь похолодел. Он хотел укрыться за ящиками, но было уже поздно. Купец оглянулся на стук и, с грохотом отшвырнув кресло, бросился к Нильсу.

Бежать было некуда. Нильс сжал в кармане ножичек — единственное свое оружие — и приготовился защищаться.

Но купец вовсе не собирался нападать. Он смотрел на Нильса добрыми глазами и быстро-быстро говорил на каком-то непонятном языке. По всему было видно, что он даже рад Нильсу.

Он торопливо срывал со стены мечи, щиты, кинжалы и, низко кланяясь Нильсу,— то ли от услужливости, то ли оттого, что Нильс был очень уж мал,— выкладывал перед ним свои сокровища.

Одним рывком он выхватывал из ножен шпаги и сабли, долго размахивал ими перед самым носом перепуганного Нильса, а потом, припав на правую ногу, делал вдруг смелый выпад и насквозь протыкал невидимого врага.

Он надевал на себя разные шлемы и, присев перед Нильсом на корточки, вертел головой, чтобы Нильс мог рассмотреть хорошенько и узорчатый гребень, и забрало, и пышные перья.

А под конец он вырвал из своей бороды волосок и, подбросив его, перерубил в воздухе огромным мечом. От всех этих упражнений в лавке стоял свист и лязг, а на стенах, на потолке, на прилавке прыгали и плясали лунные зайчики.

В это время из других лавок тоже прибежали купцы. Они тащили с собой все, что было у них самого лучшего: пеструю парчу, ковры, ожерелья, кубки, связки сапог.

Они сваливали все это около Нильса и, показывая друг другу на часы, торопливо бежали за новыми товарами.

«Куда это они так торопятся? И почему все смотрят на часы?» — подумал Нильс и сам посмотрел на часы.

С тех пор как он вошел в город, стрелка уже обежала почти полный круг.

«Пора мне возвращаться,— спохватился Нильс,— а то гуси проснутся, искать меня будут».

Но не так-то легко было уйти от назойливых купцов.

— У меня же денег нет! Понимаете, нет денег,— пытался он объяснить купцам.

Но те ничего не понимали.

Они умоляюще смотрели на Нильса и поднимали почему-то один палец. А хозяин оружейной лавки вытащил из кассы маленькую монетку и тыкал пальцем то на нее, то на груду добра, сваленного около Нильса, точно хотел сказать, что все это он отдаст за одну маленькую монетку!

«Вот чудаки! — подумал Нильс.— Тут мешком золота не расплатишься, а они одну только монетку спрашивают... Да ведь у меня есть монетка! — обрадовался он и стал шарить у себя в карманах.— Где же она? Ах ты, досада какая! Ведь она на берегу осталась».

— Подождите минутку! — крикнул Нильс и, юркнув между ворохом материй, ковров и еще чего-то, пустился бежать по улице через площадь, за ворота...

Он сразу нашел свою монетку. Она лежала на прежнем месте, у самой стены. Нильс схватил ее и, крепко зажав в кулаке, бросился назад к воротам...

Но ворот уже не было. И стены не было. И города не было.

Перед ним по-прежнему лежало спокойное море, и тихие волны едва слышно шуршали о прибрежные камни.

Нильс не знал, что и думать.

— Ну, это уж совсем не дело — то есть город, то нет города. Ничего не поймешь!

И вдруг за спиной его раздался крик:

— Вот он где! Здесь он!

Нильс обернулся. Из-за выступа скалы показался Мартин, а за ним вся стая Акки Кебнекайсе. Мартин был очень зол.

— Ты куда же это убежал? — шипел он.— Дождешься, что тебя опять кто-нибудь утащит. Прямо хоть привязывай тебя по ночам... Ну чего ты здесь не видел?

— Лучше спроси, что я здесь видел,— сказал Нильс.

— Ну а что видел? — буркнул Мартин.

— Город видел, с башнями, с красивыми домами. А народу там сколько! И все ходят в бархате и в шелках — один наряднее другого... А лавки какие там богатые! Таких товаров у нас даже на ярмарке новогодней не увидишь. И все прямо за бесценок идет. Сказать, так не поверишь. Я вот за одну эту монетку всю лавку чуть не купил — со стойкой и даже с купцом.

И Нильс показал Мартину маленькую серебряную монетку.

— Так что же ты не купил? Не сторговался, что́ ли? — насмешливо спросил Мартин.

— Какое там не сторговался! — воскликнул Нильс.— От купцов отбою не было. Да я, как назло, монетку обронил. А пока бегал искал — город точно под воду провалился. Вот досада-то!

Тут Мартин и все гуси не выдержали и дружно загоготали.

— Что вы смеетесь? — чуть не заплакал от обиды Нильс.— Я ведь не вру, я в самом деле был в этом городе. Я все могу рассказать,— какие там дома, какие улицы...

Но гуси не слушали его и дружно гоготали.

— Замолчите! — раздался вдруг голос Акки Кебнекайсе.— Мальчик говорит правду.

Гуси с удивлением посмотрели на нее.

— Да, да,— сказала Акка,— мальчик говорит правду. Вы еще молоды и неопытны, вы не знаете, что когда-то, много-много лет назад, путь в Лапландию лежал через этот остров. И на острове этом был тогда город. Еще моя прабабка рассказывала моей бабке, а бабка рассказывала мне, а теперь я расскажу вам об этом чудесном городе. Слушайте же меня.

И старая Акка рассказала им вот какую историю.

4

Давным-давно, может быть, тысячу лет назад, а может быть, и две тысячи, остров, на который буря занесла гусей, не был таким пустынным и диким. На берегу его стоял богатый и прекрасный город Винетта.

Во всем мире не было ткачей искуснее, чем в Винетте; никто не умел делать такие красивые кубки и кинжалы, как мастера Винетты; никто не умел плести такие тонкие кружева, как кружевницы из Винетты.

Каждый день одни корабли, нагруженные богатыми товарами, отчаливали от пристани, а другие корабли, нагруженные золотом и серебром, возвращались из далеких плаваний.

Со всеми городами, какие только ни есть на свете, торговали жители Винетты. Их корабли плавали по всем морям и во всех гаванях находили приют и отдых.

Но никогда ни один чужой корабль не бросал якорь в гавани Винетты. Никто даже не знал, где находится этот город. Никому не открывали жители Винетты дороги к своему острову.

Чем больше богатели они, тем больше боялись за свои богатства. Недаром издавна люди говорят: богатому не спится, богатый вора боится. Так и жители Винетты. Плохо спали они по ночам. От зари до зари по городу ходили сторожа с топориками на плечах и с колотушками в руках. На всех дверях висели тяжелые замки. Злые собаки охраняли лавки и склады.

Чужих приезжих людей жители Винетты боялись больше всего. Кто его знает, чужого человека, какие у него мысли! Может, он разбойник, вор? Может, только и высматривает, как проникнуть в заветные кладовые?

И они топили корабли, случайно приближавшиеся к их острову, убивали чужестранцев, которых буря выбрасывала на их берег. Даже птиц, пролетавших мимо, они подстреливали, чтобы те не разнесли по свету, где находится город Винетта.

Много диких гусей сложило здесь свои головы в те недобрые времена.

Скоро море в этих местах стало совсем пустынным и безмолвным. Моряки обходили остров стороной, голоса птиц никогда уже не раздавались над ним, рыба стаями уходила к другим берегам. Не понравилось это морскому царю.

— Это что ж такое! Кто здесь настоящий хозяин?! — разбушевался морской царь.— Не хотят, чтобы видели их город, так ладно же, никто больше его не увидит. Эй, волны! На приступ!

И вот море двинулось на город.

Страх и смятение охватили жителей.

Чтобы защититься от моря, они стали строить стену. Чем выше поднималась вода, тем выше росла стена. Быстро работали

жители Винетты, громоздя камень на камень, но, как ни спешили они, море все-таки их обогнало. Оно ринулось через край стены, заливая все улицы, дома, площади...

Но жители Винетты и под водой работают дни и ночи напролет. Склады и лавки их по-прежнему ломятся от товаров, только торговать-то теперь им не с кем.

Лишь однажды в столетие, ровно на один час, этот город всплывает со дна моря. И если какой-нибудь чужестранец в этот час войдет в Винетту и хоть что-нибудь купит, город получит прощение и останется на земле. Но если стрелка башенных часов опишет полный круг, а покупателя не найдется, город снова опустится на дно моря и будет стоять там еще сто лет.

— Я слышала эту историю от своей бабки,— сказала Акка,— а вы расскажите ее вашим внукам.

Глава одиннадцатая

В МЕДВЕЖЬЕЙ БЕРЛОГЕ

1

Резкий, холодный ветер дул весь день напролет. Он бросался на стаю Акки Кебнекайсе то справа, то слева, то сзади, то спереди. Но гуси летели своей дорогой, взмахивая крыльями так же мерно, как всегда.

Не обращал внимания на ветер и Нильс. Давно прошли те времена, когда он, чуть что, вцеплялся всеми пальцами в перья Мартина. Теперь он как ни в чем не бывало сидел верхом на шее белого гуся, да еще болтал ногами, словно сидел верхом на заборе у себя во дворе.

Но ветер не сдавался. Разозлившись, что никто его не боится, он ринулся на гусей с такой силой, что в один миг разметал их ровный треугольник.

Не удержался на своем крылатом коне и Нильс.

Счастье, что он был таким маленьким и легким. Нильс падал, как сухой лист, как клочок бумаги. Его кружило и переворачивало то вверх ногами, то вниз головой. Вот-вот он ударится о землю... Но земля словно расступалась под ним.

Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал.

«Где же это я?» — подумал он, вставая на ноги.

Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте. Он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой — клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму.

Позади него что-то ворочалось, сопело, пыхтело.

Нильс обернулся и увидел какую-то глыбу, поросшую длинным коричневым мхом. Вот она зашевелилась, приподнялась. В темноте сверкнули два огонька...

Медведица! Лохматая бурая медведица!

Ну, теперь-то ему уж несдобровать!

А медведица подняла лапу и будто шутя дотронулась до Нильса.

Чуть дотронулась,— и Нильс уже лежал на земле. Медведица, переваливаясь, обошла вокруг Нильса, обнюхала его, перевернула с боку на бок.

Потом она села на задние лапы и, подцепив Нильса за рубашку, поднесла к самой морде. Она собиралась только получше разглядеть, что за непонятное существо так нежданно-негаданно откуда-то с неба свалилось в берлогу. А Нильс решил — вот сейчас, сию минуту, медведица проглотит его.

Нильс хотел крикнуть, но крик застрял у него в горле. Никогда в жизни ему не было так страшно.

Но медведица осторожно положила Нильса на землю и, повернув голову, позвала кого-то ласковым голосом:

— Мурре! Брумме! Идите сюда! Я тут кое-что нашла для вас.

Из темного угла выкатились два медвежонка. Это были совсем маленькие медвежата. Они даже на ногах держались еще нетвердо, а шерсть у них была пушистая и мягкая, как у только что родившихся щенят.

— Что, что ты нашла для нас, мурлила? Это вкусно? Это нам на ужин? — заговорили разом Мурре и Брумме.

Медведица мордой подтолкнула несчастного Нильса к своим детенышам.

Мурре подскочил первым. Недолго думая он схватил Нильса зубами за шиворот и уволок его в угол.

Но и Брумме не зевал. Он бросился на брата, чтобы отнять у него Нильса. Оба медвежонка принялись тузить друг друга. Они катались, барахтались, кусались, пыхтели и рычали.

А Нильс тем временем выскользнул из-под медвежат и начал карабкаться по стене ямы.

— Смотри, удерет! — закричал Брумме, которому уже изрядно досталось от брата.

Мурре на минуту остановился. Потом отвесил Брумме последнюю пощечину и полез за Нильсом. В два счета он догнал его и, подняв лапу, сбросил вниз, словно еловую шишку.

Теперь Нильс угодил прямо в когти Брумме. Правда, ненадолго. Мурре налетел на брата и опять отбил у него Нильса. Брумме, конечно, не стерпел и принялся дубасить Мурре. А Мурре тоже умел за себя постоять — и дал Брумме сдачу.

Нильсу-то было все равно — у Брумме он в лапах или у Мурре. И так, и этак плохо. Лучше всего и от того и от другого поскорее избавиться. И пока братья дрались, Нильс снова полез вверх.

Но каждый раз это кончалось одним и тем же. Мурре и Брумме догоняли его — и все начиналось сначала.

Скоро Нильс так устал, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.

«Будь что будет!» — подумал он и лег посреди берлоги.

Медвежата подталкивали его лапами и кричали:

— Беги, беги! А мы будем тебя догонять!

— Не побегу! Шагу больше не сделаю! — сказал Нильс.

Мурре и Брумме очень удивились.

— Мурлила! Мурлила! — закричали они.— Он больше не хочет с нами играть!

— Не хочет играть? — сказала медведица и подошла поближе.

Она посмотрела на Нильса, обнюхала его и сказала:

— Эх, дети, дети! Какая уж тут игра! Вы его совсем замучили. Дайте ему отдохнуть. Да вам и самим пора спать. Уже поздно.

Медведица улеглась. Около нее прикорнули усталые Мурре и Брумме. Нильса они положили между собой.

Нильс старался не шевелиться. Он ждал, чтобы все медвежье семейство заснуло. Вот тогда-то он непременно удерет из берлоги. Хватит с него, наигрался с медвежатами!

Медведица и ее сыновья и в самом деле скоро заснули.

В темной берлоге послышался храп на разные голоса. Медведица храпела громко, раскатисто, точно в горле у нее перекатывались камни. Присвистывая, храпел Мурре, причмокивая, храпел Брумме.

Они храпели так заразительно, что глаза у Нильса закрылись сами собой и он тоже заснул.

2

Проснулся Нильс оттого, что со стен берлоги посыпались камешки и земля. Кто-то большой и тяжелый спускался в яму.

Нильс просунул голову между лапами Брумме и Мурре.

На далеком небе взошла луна. Лунный свет проник в берлогу. И прямо в пятне лунного света Нильс увидел медведя. Он был огромный. Лапы — толстые, каждая как пень. Глазки маленькие, злые. Из открытой красной пасти торчат два острых белых клыка.

— Здесь пахнет человеком! — заревел медведь.

— Глупости! — проворчала медведица.— Откуда тут взяться человеку? Ложись спать, а то разбудишь детей.

Медведь еще раз потянул носом, покачал лохматой головой и грузно опустился на землю.

Нильс поспешил спрятаться между медвежатами. И надо же такому случиться! Какая-то шерстинка — не то от шубы Мурре, не то от шубы Брумме — попала ему в нос. Нильс громко чихнул.

Хозяин берлоги вскочил и подбежал к своим детенышам. Один удар могучей лапы — и Мурре полетел вправо. Второй удар — Брумме откатился влево. А посредине остался лежать маленький Нильс Хольгерсон.

— Вот он! Вот он, человек! — зарычал медведь.

— Не трогай его! — крикнула медведица.— Не трогай! Мурре и Брумме так славно с ним играли. Они будут плакать, если ты его проглотишь. Да и какой это человек! В жизни своей не видела, чтобы человек был таким маленьким.

— А почему у него руки и ноги, как у человека? — сказал медведь.— Почему на нем вместо шерсти штаны и рубашка? Ну ладно, подождем до утра. Утром посмотрим, что с ним делать.

И медведь снова улегся.

Опять стало тихо в берлоге.

Спали медведь и медведица, спали их детеныши — мохнатые медвежата Брумме и Мурре. Одному Нильсу было не до сна.

«Вы-то можете ждать до утра,— думал он.— А мне ждать незачем. Если медведь не съест, так медвежата замучают насмерть!»

Медленно и осторожно он выбрался из-под медвежат и, цепляясь за траву и корни, полез вверх. То и дело он останавливался, оглядывался, прислушивался. Но медвежата мирно спали, и пока они видели во сне, как они играют с Нильсом, Нильс выбрался из ямы.

Кругом был густой лес, дерево к дереву, ствол к стволу.

Куда идти? Как разыскать стаю? Далеко-то гуси улететь не могли. Нильс знал — ни Мартин, ни Акка его не бросят. Надо только подальше отойти от медвежьей берлоги.

Нильс посмотрел по сторонам. Налево деревья стоят как будто пореже. Может быть, там лес кончается? И Нильс пошел налево.

Он шел быстро, но осторожно — мало ли какие опасности подстерегают в лесу! На всякий случай он далеко обходил корни деревьев — ведь под корнями звери любят устраивать свои норы. А Нильсу вовсе не хотелось из медвежьих лап попасть в лапы куницы или волка.

Но обитатели леса крепко спали в этот глухой ночной час. Было совсем тихо. Только изредка поскрипывали ветки, словно ежась от ночной сырости, да где-то вверху время от времени раздавался легкий шорох. Верно, это какая-нибудь птица, отсидев во сне лапку, устраивалась поудобнее.

Нильс совсем успокоился.

И вдруг он услышал какое-то шуршание и хруст. Так могли шуршать листья под лапами большого зверя. С таким хрустом могли ломаться сухие сучки, когда на них тяжело наступают... Медведь! Медведь проснулся и идет по его следу.

Нильс прижался к стволу ели.

Нет, это не медведь. У медведя не бывает рук и ног. Медведь не ходит в болотных сапогах. Это же человек! Даже двое людей! Они шли по лесной тропинке прямо к тому месту, где притаился Нильс. За плечами у каждого было ружье.

«Охотники! — подумал Нильс с тревогой.— Может, нашу стаю выследили...»

Почти у самой ели охотники остановились.

— Вот тут и устроим засаду,— сказал один.— Я их вчера неподалеку видел.

«Ну да, это они про гусей,— подумал Нильс и похолодел от страха.— Гуси, верно, искали меня, кружили над лесом, а охотники их приметили...»

В это время охотник опять заговорил:

— У них берлога тут близко. Целое семейство в ней живет — медведь, медведица и двое медвежат.

Нильс так и открыл рот.

«Вот оно что! Они нашли моих медведей! Надо скорее предупредить медведей! Надо им все рассказать!»

На четвереньках, стараясь не высовываться из травы, Нильс отполз от ели, а потом бросился бежать назад, к берлоге.

Теперь он не думал ни о кунице, ни о волках. Он думал только о том, как бы поскорее добраться до медвежьей берлоги. И бежал, бежал со всех ног.

У входа в берлогу он остановился и перевел дух. Потом наклонился. Заглянул вниз. Тихо. Темно.

Тут Нильс вспомнил про сердитого хозяина берлоги. Ведь если бы не медведица, он непременно съел бы Нильса. Ох, до чего же не хочется самому лезть в медвежью пасть!

На одну короткую минуту Нильс помедлил. Убежать? А что будет с веселыми медвежатами Мурре и Брумме? Неужели он позволит, чтобы охотники их убили? И их мурилу, и даже их отца! Узнала бы Акка Кебнекайсе, что Нильс мог спасти медвежье семейство и струсил, очень бы рассердилась, разговаривать бы с ним не стала. Да и что сделает ему медведь? Сразу не проглотил, так теперь-то подавно и когтем не тронет.

И Нильс решительно стал спускаться в медвежью берлогу.

Медвежата спали сбившись в клубок. Даже не разберешь, где Мурре, а где Брумме. Вот медведица. Храпит вовсю. А вот и хозяин берлоги.

Нильс подошел к самому его уху и крикнул:

— Проснись, медведь! Вставай!

Медведь глухо зарычал и вскочил.

— Что? Кто?.. Кто смеет меня будить? А, это ты? Я же говорил, что тебя надо просто-напросто проглотить!

И медведь широко раскрыл свою красную пасть.

Но Нильс даже не отступил.

— Не спешите так, господин медведь,— храбро заговорил он.— Конечно, проглотить меня вам ничего не стоит. Только я вам не советую. У меня для вас важные новости.

Медведь присел на задние лапы.

— Ну, выкладывай,— проворчал он.

— В лесу охотники засели,— сказал Нильс.— Я слышал, они про медвежью берлогу говорили. Вас, наверное, подстерегают.

— Так,— сказал медведь.— Хорошо, что я тебя не съел. Буди скорее Мурре и Брумме! А жену я сам разбужу. Она со сна еще злее, чем я.

Он с трудом растолкал медведицу и сразу начал командовать:

— Живо собирайся! Досиделись, пока охотники не пришли. Я же давно говорил, что уходить надо. И пещеру присмотрел хорошую подальше в горах. А ты все свое: «Жаль покидать обжитое местечко. Подождем еще. Пусть дети подрастут!» Вот и дождались! Уж не знаю, как теперь ноги унесем.

Нильс и опомниться не успел, как медведь схватил его зубами за рубашку и полез из ямы. Медведица с медвежатами карабкалась за ними.

Это было настоящее бегство!

Кто выдумал, что медведь — неповоротливый? Медведь косолапый — это правда. И ходит он переваливаясь из стороны в сторону — это тоже правда. А неповоротливым его никак не назовешь.

Медведи бежали так быстро, что у Нильса все перед глазами мелькало.

Даже Брумме и Мурре не могли угнаться за своими родителями.

— Мурлила! Мурлила! Мы хотим отдохнуть! Мы все пятки себе отбили!

Пришлось медвежьему семейству сделать передышку.

Нильс обрадовался этому еще больше, чем медвежата. Ему совсем не улыбалось, чтобы медведь затащил его в свою новую берлогу.

— Господин медведь,— сказал он как можно вежливее,— я думаю, что я вам больше не нужен. Не обижайтесь на меня, но я бы хотел вас покинуть. Во что бы то ни стало мне надо найти стаю Акки Кебнекайсе...

— Стаю Акки Кебнекайсе? — удивился медведь.— А зачем

тебе стая Акки Кебнекайсе? Постой, постой, я что-то припоминаю. Уж не тот ли ты Нильс, который путешествует с гусями?

— Да, меня зовут Нильсом Хольгерсоном, и я лечу с дикими гусями в Лапландию. Но вчера вечером ветер сбросил меня прямо к вам в берлогу,— ответил Нильс.

— Что же ты раньше не сказал? — заревел медведь.— Слыхал я о тебе, слыхал. Все белки и зайчата, все жаворонки и зяблики о тебе твердят. По всему лесу о тебе молва идет. А я-то тебя чуть не проглотил... Но как же ты найдешь своих гусей? Я бы помог тебе, да сам видишь, надо отвести семейство на новую квартиру. Ну погоди, сейчас что-нибудь придумаю.

Думал он долго. Потом подошел к дереву и стал его трясти изо всех сил. Толстое дерево так и закачалось под его лапами. Вверху среди веток зашевелилось что-то черное.

— Карр! Карр! — раздался скрипучий голос.— Кто трясет дерево? Кто мешает мне спать?

— Ага, я так и знал, что кто-нибудь там да ночует. Вот тебе и проводник будет,— сказал Нильсу медведь и, подняв голову, закричал: — Эй, ворон, спускайся пониже! Мне с тобой поговорить надо.

Ворон слетел на нижнюю ветку и уставился на Нильса. И Нильс во все глаза смотрел на ворона. Это был Фумле-Друмле, атаман шайки Разбойничьей горы. С кем, с кем, а с Фумле-Друмле Нильсу меньше всего хотелось повстречаться. Он еще хорошо помнил его твердый клюв и острые когти.

— Здор-рово, пр-риятель! — закаркал ворон.— Вот ты где бр-родишь! А вчера гуси весь вечер-р-р кр-ружили над лесом. Вер-рно, тебя искали.

Нильс обрадовался.

— А сейчас они где? — спросил он.

— Что я им, стор-р-рож?..— сказал Фумле-Друмле.— Др-р-рыхнут где-нибудь на болоте. А мне на болоте нечего делать. У меня от сырости кости болят.

— Ладно, хватит болтать! — прикрикнул на ворона медведь.— Помоги Нильсу отыскать стаю. Не то — не будь я медведем — и тебе, и всему твоему вороньему роду плохо придется.

Фумле-Друмле слетел на землю.

— Можешь меня не пугать,— сказал он медведю,— мы с Нильсом старые друзья-приятели. Ну, как, отправились в путь?

— А ты не потащишь меня к своей шайке? — с опаской спросил Нильс.

— Да я с ней давно рассорился,— ответил ворон.— С того самого дня, как ты гостил на Разбойничьей горе. Они ведь тогда все монетки растащили, мне ни одной не оставили.

— Хочешь, я тебе дам? — спросил Нильс.— Ту самую, что ты мне подарил.

— Дай, дай, дай! — закричал ворон и закружился над Нильсом.

Нильс вытащил из кармана свою серебряную монетку.

Эту монетку он хотел отдать Деревянному, но Бронзовый ему помешал.

Эта монетка могла бы спасти подводный город, если бы Нильс ее не уронил.

Так пусть она теперь порадует хоть Фумле-Друмле.

А Фумле-Друмле и верно обрадовался.

Он выхватил монетку из рук Нильса и, шумно хлопая крыльями, исчез в густых ветках дерева.

«Удрал»,— подумал Нильс.

Но Фумле-Друмле уже стоял перед ним. Монетки в клюве не было. Спрятал, должно быть, в дупле.

— В дор-р-рогу! В дор-р-рогу! — закаркал Фумле-Друмле.

Нильс попрощался с медведями и подошел к ворону.

— Только не вздумай нести меня в клюве! Я привык верхом.

— Вер-р-рхом так вер-р-рхом,— каркнул ворон.

Нильс уселся на шею Фумле-Друмле, и они полетели.

3

Дикие гуси в самом деле кружили весь вечер над лесом. Они высматривали и звали своего маленького друга, но Нильс не откликался. Только когда совсем стемнело, Акка Кебнекайсе со всей стаей опустилась на землю.

Заночевать гуси решили на краю болота за лесом.

Сколько возни всегда бывало, пока гуси улягутся. И поесть надо, и поговорить хочется.

А сегодня даже самые лучшие водоросли застревали в горле. И не до разговоров было. У всех одно на уме — где-то наш Нильс? Какая беда с ним стряслась?

Акка Кебнекайсе и Мартин заснули позже всех. Старая гусыня подсела к Мартину и, тихонько похлопав его крылом по крылу, сказала:

— Он многому научился за это время. Ничего дурного с ним не должно случиться. Спи, завтра опять полетим на поиски.

Но искать Нильса не пришлось.

Как только солнце разбудило гусей и они открыли глаза, поднялся такой радостный гогот, что все лягушки в болоте переполошились.

Да и как было гусям не радоваться! Нильс — целый и невредимый — лежал на своем месте, рядом с Мартином, и спал как ни в чем не бывало.

Глава двенадцатая

В ПЛЕНУ

1

Путь близился к концу. В последний раз ночевали гуси как бездомные бродяги. Завтра они уже не будут спать где придется, они построят себе крепкие теплые гнезда и заживут по-семейному.

Первой в стае всегда просыпалась Акка Кебнекайсе. Но в этот день первым проснулся Мартин.

Он постучал клювом по своему крылу, под которым, свернувшись калачиком, спал Нильс, и крикнул:

— Эй ты, лежебока! Вставай!

Нильс вынырнул из-под крыла Мартина и вместе с ним обошел всех гусей.

Мартин легонько подталкивал по очереди каждого гуся, а Нильс кричал:

— Просыпайся! Просыпайся! Пора лететь. В Лапландии выспишься.

Очень уж и Мартину и Нильсу не терпелось поскорее увидеть эту самую Лапландию.

Через полчаса вся стая двинулась в путь.

То и дело гусей догоняли другие птичьи стаи. Все окликали гусей, приветствовали, приглашали к себе на новоселье.

— Как здоровье почтенной Акки Кебнекайсе? — кричали утки.

— Где вы остановитесь? Мы остановимся у Зеленого мыса! — кричали кулики.

— Покажите нам мальчика, который спас медвежье семейство! — щебетали чижи.

— Он летит на белом гусе! — ответила Акка Кебнекайсе.

И Мартин на лету гордо выгибал шею,— ведь на него и на Нильса сейчас все смотрели.

— Маленький Нильс! Где ты? Где ты? — тараторили ласточки.— Белка Сирле просила передать тебе привет!

— Я здесь! Вот я! — кричал в ответ Нильс и махал рукой ласточкам.

Ему было очень приятно, что все о нем спрашивают. Он развеселился и даже запел песню:

— Гусиная страна,
Ты издали видна!
Привет тебе, Лапландия,
Гусиная страна!

Несет меня в Лапландию
Домашний белый гусь,
И скоро я в Лапландии
На землю опущусь!

Лаплан-Лаплан-Лапландия,
Ты издали видна!
Да здравствует Лапландия,
Гусиная страна!

Он пел во все горло, раскачиваясь из стороны в сторону, и болтал ногами. И вдруг один башмачок соскочил у него с ноги.

— Мартин, Мартин, стой! — закричал Нильс.— У меня башмачок слетел!

— Вот уж это совсем не дело! — заворчал Мартин.— Теперь пока спустимся, пока разыщем твой башмак, сколько времени даром пройдет! Ну да что с тобой поделаешь... Акка Кебнекайсе! Акка Кебнекайсе! — крикнул он.

— Что случилось? — спросила гусыня.

— Мы потеряли башмачок,— сказал Мартин.

— Башмачок нужно найти,— сказала Акка Кебнекайсе.— Только мы полетим вперед, а уж вы нас догоняйте. Запомните хорошенько: лететь надо прямо на север, никуда не сворачивая. Мы всегда останавливаемся у подножия Серых скал, возле Круглого озера.

— Да мы вас живо догоним! Но все-таки вы не очень торопитесь,— сказал Мартин.

Потом он обернулся к Нильсу и скомандовал:

— Ну, теперь держись крепче!

И они полетели вниз.

2

Башмачок они нашли сразу. Он лежал на лесной тропинке, в пяти шагах от того места, где Мартин спустился, и как будто ждал своего хозяина. Но не успел Нильс спрыгнуть с Мартина, как в лесу послышались человеческие голоса и на тропинку выбежали мальчик и девочка.

— Гляди-ка, Матс! Что это такое? — закричала девочка.

Она нагнулась и подняла башмачок Нильса.

— Вот так штука! Самый настоящий башмачок, совсем как у нас с тобой. Только нам он даже на нос не налезет.

Матс повертел башмачок в руках и вдруг громко рассмеялся.

— Послушай-ка, Ооса! А что, если этот башмачок нашему котенку примерить? Может, ему подойдет?

Ооса захлопала в ладоши.

— Ну конечно, подойдет! А потом мы еще три таких сделаем. И будет у нас кот в сапогах.

Ооса побежала по тропинке. За Оосой побежал Матс, а за Матсом Мартин с Нильсом.

Тропинка вела прямо к домику лесничего. На крыльце, свернувшись клубком, дремал котенок.

Ооса уселась на корточки и посадила котенка к себе на колени, а мальчик стал засовывать его лапу в башмачок. Но котенок не хотел обуваться: он царапался, пищал и так отчаянно отмахивался всеми четырьмя лапами и даже хвостом, что в конце концов выбил башмачок из рук Матса.

Тут как раз подоспел Мартин. Он подцепил башмачок клювом и пустился наутек.

Но было уже поздно.

В два прыжка Матс подскочил к Мартину и схватил его за крыло.

— Мама, мама,— закричал он,— наша Марта вернулась!

— Да я не Марта! Пустите меня, я Мартин! — кричал несчастный пленник, отбиваясь и крыльями и клювом.

Все напрасно — никто его не понимал.

— Нет, шалишь, теперь тебе не уйти,— приговаривал Матс и, точно клещами, сжимал его крыло.— Хватит, нагулялась. Мама! Да мама, иди же скорее! — снова закричал он.

На его крик из дому вышла краснощекая женщина.

Увидев Мартина, она очень обрадовалась.

— Я так и знала, что Марта вернется,— говорила она, подбегая к гусю.— Что ей одной в лесу делать?.. Ой, да ведь это не Марта — это чей-то чужой гусак! — вскрикнула женщина.— Откуда он взялся? Тут и деревни поблизости нет. Ну да все равно, раз Марта убежала, пусть хоть этот у нас останется.

Она хотела было взять Мартина и отнести в птичник, но не тут-то было! Мартин рвался у нее из рук, бил ее крыльями, клевал и щипал до крови.

— Вот дикарь! — сказала хозяйка.— Нет, такого в птичник пускать нельзя. Он у меня всех кур покалечит. Что же с ним делать? Зарезать, что ли?

Она быстро скинула передник и набросила на Мартина. Как ни бился Мартин, как ни рвался, ничего не помогало — он только еще больше запутывался в переднике.

Так его, спеленатого, и понесла хозяйка в дом.

3

Нильс в это время стоял, притаившись за деревом. Он все видел, все слышал и от горя и досады готов был заплакать.

Никогда еще он не жалел так горько, что гном заколдовал его. Будь он настоящим человеком, пусть бы попробовал кто-нибудь тронуть Мартина!

А теперь, прямо у него на глазах, Мартина, его лучшего друга, потащили в кухню, чтобы зарезать и зажарить на обед. Неужели же Нильс так и будет стоять сложа руки и смотреть?

Нет, он спасет Мартина! Спасет во что бы то ни стало!

Нильс решительно двинулся к дому.

По дороге он все-таки поднял и надел свой башмачок, валявшийся в траве.

Самое трудное было попасть в дом. Крыльцо было высокое, целых семь ступенек!

Точно акробат, подтягивался Нильс на руках со ступеньки на ступеньку, пока не добрался до верха.

Дверь, на его счастье, была открыта, и Нильс незаметно проскользнул на кухню.

У окна на большом столе лежал Мартин. Лапы и крылья у него были связаны так крепко, что он не мог шевельнуться.

Возле очага возилась женщина. Засучив рукава, она терла мочалкой большой чугунок. Точно такой чугунок был и у матери Нильса — она всегда жарила в нем кур и гусей.

Вымыв чугунок, женщина поставила его сушиться, а сама принялась разводить огонь в очаге.

— Опять хворосту не хватит! — проворчала она и, подойдя к окошку, громко крикнула: — Матс! Ооса!

Никто не отозвался.

— Вот бездельники! Целый день бегают без толку, не могут даже хворосту набрать! — И, хлопнув дверью, она вышла во двор.

А Нильсу только того и надо было.

— Мартин, ты жив? — спросил он, подбегая к столу.

— Пока что жив,— уныло ответил Мартин.

— Ну потерпи еще минуточку, сейчас я тебя освобожу.

Нильс обхватил руками и ногами ножку стола и быстро полез вверх.

— Скорее, Нильс, а то она сейчас вернется,— торопил его Мартин.

Но Нильса не надо было торопить. Вскочив на стол, он выхватил из кармана свой ножичек и, как пилой, стал перепиливать веревки.

Ножичек так и мелькал у него в руке. Взад-вперед! Взад-вперед! Взад-вперед!

Вот уже крылья свободны. Мартин осторожно пошевелил ими.

— Кажется, целы, не поломаны,— сказал он.

А Нильс уже пилил веревки на лапах. Веревки были новые, жесткие, а ножичек совсем затупился.

— Скорей, скорей, она идет! — крикнул вдруг Мартин.

— Ой, не успеть! — прошептал Нильс.

Ножичек его стал горячим, пальцы онемели и распухли, но он все пилил и пилил. Вот веревка уже расползается под ножом... Еще минута — и Мартин спасен.

Но тут скрипнула дверь, и в комнату вошла хозяйка с огромной охапкой хворосту.

— Натягивай веревку! — успел крикнуть Нильс.

Мартин изо всех сил дернул лапами, и веревка лопнула.

— Ах разбойник! Да как же это он ухитрился? — воскликнула хозяйка.

Она швырнула хворост на пол и подскочила к столу. Но Мартин вывернулся прямо у нее из-под рук.

И началась погоня.

Мартин — к двери, а хозяйка его ухватом от двери. Мартин — на шкаф, а хозяйка его со шкафа метлой. Мартин — на посудную полку, а хозяйка как прихлопнет его решетом — одни только лапы на свободе остались.

— Фу, совсем загонял! — сказала хозяйка и рукавом отерла пот со лба.

Потом она сгребла Мартина за лапы и, опрокинув вниз головой, опять потащила к столу.

Одной рукой она крепко придавила гуся, а другой скручивала ему лапы веревкой.

И вдруг что-то острое вонзилось ей в палец. Хозяйка вскрикнула и отдернула руку.

— Ой, что это? — прошептала она.

Из-за большой деревянной солонки на столе выглядывал крошечный человечек и грозил ей ножичком.

— Ой, что это? — опять прошептала она.

Пока хозяйка охала и ахала, Мартин не терял времени даром. Он вскочил, отряхнулся и, схватив Нильса за шиворот, вылетел в окно.

— Ну и дела! — сказала хозяйка, когда они скрылись за верхушками деревьев.

Она тяжело вздохнула и стала подбирать хворост, разбросанный по полу.

Глава тринадцатая

ГУСИНАЯ СТРАНА

1

Мартин с Нильсом летели прямо на север, как им велела Акка Кебнекайсе. Хотя они и одержали победу в сражении с хозяйкой, но победа эта досталась им нелегко. Все-таки хозяйка здорово потрепала Мартина. Крылья у него были помяты, на одну лапу он хромал, бок, по которому проехалась метла, сильно болел.

Мартин летел медленно, неровно, совсем как в первый день их путешествия — то будто нырнет, то взметнется вверх, то завалится на правый бок, то на левый. Нильс едва держался у него на спине. Его так и бросало из стороны в сторону, словно они опять попали в бурю.

— Знаешь что, Мартин,— сказал Нильс,— надо бы тебе передохнуть. Спускайся вниз! Вон, кстати, и полянка хорошая. Пощиплешь свежей травки, наберешься сил, а там и снова в путь.

Долго уговаривать Мартина не пришлось. Ему и самому приглянулась эта полянка. Да и торопиться теперь было нечего — стаю им все равно не догнать, а доберутся они до Лапландии на час раньше или на час позже — это уж не важно.

И они опустились на полянку.

Каждый занялся своим делом: Мартин щипал свежую молодую травку, а Нильс разыскивал старые орехи.

Он медленно брел по опушке леса от дерева к дереву, обшаривая каждый клочок земли, как вдруг услышал какой-то шорох и потрескивание.

Рядом в кустарнике кто-то прятался.

Нильс остановился.

Шорох затих.

Нильс стоял не дыша и не двигаясь.

И вот наконец один куст зашевелился. Среди веток мелькнули белые перья. Кто-то громко загоготал.

— Мартин! Что ты тут делаешь? Зачем ты сюда залез? — удивился Нильс.

Но в ответ ему раздалось только шипение, и из куста чуть-чуть высунулась чья-то чужая гусиная голова.

— Да это вовсе не Мартин! — воскликнул Нильс.— Кто же это может быть? Уж не та ли гусыня, из-за которой чуть не зарезали Мартина?

— Ах вот как, они хотели меня зарезать?.. Хорошо, что я убежала,— проговорил гусиный голос, и белая голова снова высунулась из куста.

— Значит, вы Марта? — спросил Нильс.— Очень рад познакомиться.— Нильс поклонился гусыне.— Мы только что от ваших хозяев. Едва ноги унесли.

— А сам-то ты кто? — недоверчиво спросила гусыня.— И на человека не похож, и на гуся не похож. Постой-ка, постой! Уж не тот ли ты Нильс, о котором тут в лесу такие чудеса рассказывают!

— Так и вы слышали обо мне? — обрадовался Нильс.— Выходит, мы с вами знакомы. А Мартина вы еще не видели? Он здесь, на полянке. Пойдемте к нему. Он, наверное, очень вам обрадуется. Знаете, он тоже домашний гусь и тоже убежал из дому. Только моя мама ни за что бы его не зарезала...

Мартин и вправду очень обрадовался. Он даже забыл о своих ранах и, увидев гусыню, сразу стал прихорашиваться: пригладил клювом перышки, расправил крылья, выпятил грудь.

— Очень, очень рад вас видеть,— сказал Мартин, кланяясь.— Вы прекрасно сделали, что убежали от ваших хозяев. Это очень грубые люди. Но все-таки вам, наверное, страшно жить в лесу одной? В лесу так много врагов, вас всякий может обидеть.

— Ах, я сама не знаю, что мне делать,— жалобно заговорила гусыня.— У меня нет ни минутки покоя. Нынешней ночью куница чуть не оборвала мне крыло. Но все равно я ни за что не вернусь домой! Ни за что! Хозяйский сынок только и делает, что дразнит меня. А хозяйская дочка никогда вовремя не накормит и не напоит.— И гусыня горько заплакала.

Нильсу стало не по себе: он вспомнил, что и Мартину когда-то приходилось от него несладко.

Может, и Мартин вспомнил об этом, но из деликатности не подал виду. А Марте он сказал:

— Не надо плакать! Мы с Нильсом сейчас что-нибудь придумаем.

— Я уже придумал! — крикнул Нильс.— Она полетит с нами.

— Ну да, конечно же, она полетит с нами,— обрадовался Мартин. Ему очень понравилось предложение Нильса.— Правда, Марта, вы полетите с нами?

— Ах, это было бы очень хорошо,— сказала Марта,— но я ведь почти не умею летать. Нас, домашних гусей, никто этому не учит.

— Ничего, вы сами научитесь,— сказал Мартин.— Поверьте мне, это не так уж трудно. Надо только твердо помнить, что летать высоко легче, чем летать низко, а летать быстро легче, чем летать медленно. Вот и вся наука. Я-то теперь хорошо это знаю! Ну а если по правилам не выйдет, можно и без правил — потихонечку, полегонечку, над самым леском. Чуть что, сразу опустимся на землю и отдохнем.

— Что ж, если вы так любезны, я с удовольствием разделю вашу компанию,— сказала гусыня.— Должна вам признаться, что, пока я жила тут одна, я немного училась летать. Вот посмотрите.

И Марта побежала по лужайке, взмахивая на ходу крыльями. Потом вдруг подпрыгнула и полетела.

— Прекрасно! Прекрасно! Вы отлично летаете! — воскликнул Мартин.— Нильс, садись скорее!

Нильс вскочил ему на спину, и они тронулись в путь.

Марта оказалась очень способной ученицей. Она все время летела вровень с Мартином, ничуточки от него не отставая.

Зато Мартин никогда еще не летал так медленно. Он еле шевелил крыльями и то и дело устраивал привал.

Нильс даже испугался. Он наклонился к самому уху гуся и зашептал:

— Что с тобой, Мартин? Уж не заболел ли ты?

— Тише, тише,— тоже шепотом ответил Нильсу Мартин и покосился на Марту.— Как ты не понимаешь! Ведь она в первый раз летит. Забыл, каково мне приходилось поначалу-то!

Так они и летели в пол-лета. Хорошо еще, что никто их не видел. Все птичьи стаи давно пролетели мимо.

Каждый раз, когда Нильс смотрел вниз, ему казалось, что вся земля путешествует вместе с ним.

Медленно тянулись поля и луга.

Бежали реки — то спокойно разливаясь по долинам, то шумно перепрыгивая через каменистые пороги.

Деревья, упираясь корнями в землю, взбирались по горам до самых вершин, а потом сбегали по склонам — где врассыпную, где густой толпой.

А солнце оглядывало всю землю и всех подбадривало:

— Вперед! Вперед! Веселее!

Но чем дальше Нильс летел на север, тем меньше становилось у него спутников. Первыми попрощались с Нильсом вишневые и яблоневые деревца. Они кивали ему вслед, наклоняя головы в пышных белоснежных шапках, как будто хотели сказать: «Дальше нам нельзя! Ты думаешь, это снег на наших ветках? Нет, это цветы. Мы боимся, что их прихватит утренним морозом и они облетят раньше времени. Тогда не будет осенью ни вишен, ни яблок. Нет, нет, дальше нам нельзя!»

Потом отстали пашни. С ними остановились на месте и села. Ведь в селах живут крестьяне. Как же им уйти от полей, на которых они взращивают хлеб!

Зеленые луга, где паслись коровы и лошади, нехотя свернули в сторону, уступая дорогу топким мшистым болотам.

А куда подевались леса? Еще недавно Нильс летел над такими густыми чащами, что за верхушками деревьев и земли не было видно.

Но сейчас деревья будто рассорились. Растут вразброд, каждое само по себе. Буков давно и в помине нет.

Вот и дуб остановился, точно задумался,— идти ли дальше.

— Шагай, шагай! — крикнул ему сверху Нильс.— Чего ты боишься?

Дуб качнулся вперед, опять задумался, да так и застыл на месте.

— Ну и стой себе, если ты такой упрямый! — рассердился Нильс.— Вон березки и сосны храбрее тебя!

Но березы и сосны тоже испугались севера. Они скрючились и пригнулись к самой земле, будто хотели спрятаться от холода.

А солнце катилось по небу и не уставало светить.

— Не понимаю,— сказал Мартин,— летим, летим, а вечер все никак не наступит. До чего же спать хочется!

— И мне спать хочется! — сказала Марта.— Глаза слипаются.

— Да и я бы не прочь вздремнуть,— сказал Нильс.— Смотри, смотри, Мартин, вон аисты на болоте спят. Тут, в Лапландии, все по-другому. Может, здесь вместо луны всю ночь солнце светит? Давай и мы привал устроим.

Так они и сделали.

3

На следующий день Нильс, Мартин и Марта увидели Серые скалы, возвышающиеся над Круглым озером.

— Ура! — закричал Нильс.— Прилетели! Бросай якорь, Мартин!

Они опустились на берег, поросший густым камышом.

— Ну что, Мартин? Рад? — говорил Нильс.— Нравится тебе? Смотри, тут и трава не простая, а лапландская, и камыш, наверное, лапландский, и вода в озере лапландская!

— Да, да, все прямо замечательно,— говорил Мартин, а сам даже не глядел ни на что.

По правде сказать, его сейчас совсем не интересовало, лапландская тут трава или какая-нибудь другая.

Мартин был чем-то озабочен.

— Послушай, Нильс,— тихонько сказал он,— как же нам быть с Мартой? Акка Кебнекайсе, конечно, хорошая птица, но очень уж строгая. Ведь она может Марту и не принять в стаю.

— Принять-то примет...— сказал Нильс.— Только знаешь

что, давай сделаем так: Марту пока здесь оставим и явимся одни. Выберем подходящую минуту и во всем признаемся Акке. А уж потом за Мартой слетаем.

Они спрятали Марту в камышах, натаскали ей про запас водорослей, а сами пошли искать свою стаю.

Медленно пробирались они по берегу, заглядывая за каждый кустик молодого ивняка, за каждую кочку.

Всюду кипела работа — переселенцы устраивались на новых квартирах. Кто тащил в клюве веточку, кто охапку травы, кто клочок мха. У некоторых гнезда были уже готовы, и соседи с завистью поглядывали на счастливых хозяев, которые отдыхали в новых домах.

Но все это были чужие гуси. Никого из своих Нильс и Мартин не находили.

— Не знаете ли вы, где остановилась Акка Кебнекайсе? — спрашивали они каждого встречного.

— Как не знать! Она к самым скалам полетела. Устроилась под старым орлиным гнездом,— отвечали им.

Наконец они увидели высокую скалу и на ней гнездо — точно огромная корзина, оно прилепилось к каменному склону.

— Ну, кажется, пришли,— сказал Нильс.

И верно, навстречу им уже бежали и летели друзья. Гуси обступили Мартина и Нильса тесным кольцом и радостно гоготали:

— Наконец-то! Прилетели!

— Где это вы пропадали?

— Вы что, летать разучились? — кричали им со всех сторон.

— Акка! Акка Кебнекайсе! Встречай гостей!

Акка не торопясь подошла к ним.

— Нашли башмачок? — спросила она.

— Башмачок-то нашли,— весело сказал Нильс и притопнул каблучком.— Пока искали, чуть головы не потеряли. Зато вместе с башмачком мы нашли Мартину невесту.

— Вот это хорошо,— кивнула Акка.— Я и сама уж подумала, что надо его женить, а то ему одному скучно будет. Он ведь гусь молодой. Ну, где же ваша невеста?

— А она тут, недалеко. Я мигом слетаю за ней,— обрадовался Мартин и полетел за Мартой.

4

Через несколько дней у подножия Серых скал вырос целый гусиный город.

Мартин с Мартой тоже обзавелись собственным домом. Первый раз в жизни пришлось им жить своим хозяйством. Сперва

это было не очень-то легко. Ведь что там ни говори, а домашние гуси избалованный народ. Привыкли жить, ни о чем не думая,— дом для них всегда готов, обед каждый день в корыте подают. Только и дела — ешь да гуляй! А тут и жилье надо самим строить, и о пропитании самим заботиться.

Но все-таки домашние гуси — это гуси, и Мартин с Мартой отлично зажили в новом доме.

Нильсу тоже поначалу пришлось трудно. Гуси, конечно, позаботились о нем — всей стаей смастерили для него теплое, красивое гнездо. Но Нильс не захотел в нем жить — как-никак он человек, а не птица, и ему нужна крыша над головой.

Нильс решил построить себе настоящий дом.

Прежде всего на ровном месте он начертил четырехугольник,— вот начало дома и заложено. После этого Нильс стал вбивать по углам длинные колышки. Он садился на клюв Мартина, и Мартин, вытянув шею, поднимал его как можно выше. Нильс устанавливал колышек в самый угол и камнем вколачивал в землю.

Теперь оставалось выстроить стены. Мартину и тут нашлась работа. Он подносил в клюве палочки-бревнышки, укладывал их друг на друга, а Нильс связывал их травой. Потом ножичком вырезал в стене дверь и окошко и взялся за самое главное — за крышу.

Крышу он сплел из тоненьких гибких веточек, как в деревне плетут корзины. Она и получилась, как корзина: вся просвечивала.

— Ничего, светлее будет,— утешал себя Нильс.

Когда дом был готов, Нильс пригласил к себе в гости Акку Кебнекайсе. Внутрь она, конечно, войти не могла — через дверь пролезала только ее голова. Но зато она хорошенько осмотрела все снаружи.

— Дом-то хорош,— сказала Акка,— а вот крыша ненадежная: и от солнца под такой крышей не спрячешься, и от дождя не укроешься. Ну, да этому горю помочь можно. Сейчас мастеров тебе пришлю.

И она куда-то полетела.

Вернулась она с целой стаей ласточек. Ласточки закружились, захлопотали над домом: они улетали, прилетали и без устали стучали клювами по крыше и стенам. Не прошло и часа, как дом был со всех сторон облеплен толстым слоем глины.

— Лучше всяких штукатуров работают! — весело закричал Нильс.— Молодцы, ласточки!

Так понемногу все и устроились.

А скоро появились новые заботы: в каждом доме запищали птенцы.

Только в гнезде Акки Кебнекайсе было по-прежнему тихо. Но хотя сама она и не вывела ни одного птенца, хлопот у нее

было хоть отбавляй. С утра до вечера она летала от гнезда к гнезду и показывала неопытным родителям, как надо кормить птенцов, как учить их ходить, плавать и нырять.

У Мартина и Марты было пятеро длинноногих гусят. Родители долго думали, как бы назвать своих первенцев, да все не могли выбрать подходящих имен. Все имена были недостойны их красавцев.

То имя было слишком короткое, то слишком длинное, то слишком простое, то слишком мудреное, то нравилось Мартину, но не нравилось Марте, то нравилось Марте, но не нравилось Мартину.

Так, наверное, они и проспорили бы все лето, если б в дело не вмешался Нильс. Он сразу придумал имена всем пяти гусятам.

Имена были не длинные, не короткие и очень красивые. Вот какие: Юкси, Какси, Кольме, Нелье, Вийси. По-русски это значит: Первый, Второй, Третий, Четвертый, Пятый. И хотя все гусята увидели свет в один час, Юкси то и дело напоминал своим братьям, что он первый вылупился из яйца, и требовал, чтобы все его слушались.

Но братья и сестры не хотели его слушаться, и в гнезде Мартина не прекращались споры и раздоры.

«Весь в отца,— думал Нильс, глядя на Юкси.— Тот тоже вечно скандалил на птичьем дворе, никому проходу не давал. А зато теперь какой хороший гусь...»

Раз десять в день Мартин и Марта призывали Нильса на семейный суд, и он разбирал все споры, наказывал виновных, утешал обиженных.

Нильс был строгим судьей, и все-таки гусята очень его любили. Да и не мудрено: он гулял с ними, учил их прыгать через палочку, водил с ними хороводы. Как же было его не любить!

Глава четырнадцатая

ПРИЕМЫШ

1

Был теплый ясный день. К полудню солнце стало припекать, а в Лапландии даже летом это бывает нечасто.

В тот день Мартин и Марта решили дать своим гусятам первый урок плавания.

На озере они боялись учить их — как бы не случилось какой беды! Да и сами гусята, даже храбрый Юкси, ни за что не хотели лезть в холодную озерную воду.

К счастью, накануне прошел сильный дождь, и лужи еще не высохли. А в лужах вода и теплая и неглубокая. И вот на семейном совете было решено поучить гусят плавать сначала в луже. Их выстроили парами, а Юкси, как самый старший, шел впереди.

Около большой лужи все остановились. Марта вошла в воду, а Мартин с берега подталкивал к ней гусят.

— Смелей! Смелей! — покрикивал он на птенцов.— Смотрите на свою мать и подражайте ей во всем.

Но гусята топтались у самого края лужи, а дальше не шли.

— Вы опозорите всю нашу семью! — кричала на них Марта.— Сейчас же идите в воду!

И она в сердцах ударила крыльями по луже.

Гусята по-прежнему топтались на месте.

Тогда Мартин подхватил Юкси клювом и поставил его прямо посреди лужи. Юкси сразу по самую макушку ушел в воду. Он запищал, забарахтался, отчаянно забил крылышками, заработал лапками и... поплыл.

Через минуту он уже отлично держался на воде и с гордым видом посматривал на своих нерешительных братьев и сестер.

Это было так обидно, что братья и сестры тут же полезли в воду и заработали лапками ничуть не хуже Юкси. Сначала они старались держаться поближе к берегу, а потом осмелели и тоже поплыли на самую середину лужи.

Вслед за гусями и Нильс решил было выкупаться.

Но в это время какая-то широкая тень накрыла лужу.

Нильс поднял голову. Прямо над ними, распластав огромные крылья, парил орел.

— Скорей на берег! Спасайте птенцов! — закричал Нильс Мартину и Марте, а сам помчался искать Акку...

— Прячьтесь! — кричал он по дороге.— Спасайтесь! Берегитесь!

Встревоженные гуси выглядывали из гнезд, но, увидев в небе орла, только отмахивались от Нильса.

— Да что вы, ослепли все, что ли? — надрывался Нильс.— Где Акка Кебнекайсе?

— Я тут. Что ты кричишь, Нильс? — услышал он спокойный голос Акки, и голова ее высунулась из камыша.— Чего ты пугаешь гусей?

— Да разве вы не видите? Орел!

— Ну конечно, вижу. Вот он уже спускается.

Нильс, вытаращив глаза, смотрел на Акку. Он ничего не понимал.

Орел приближается к стае, и все преспокойно сидят, будто это не орел, а ласточка какая-нибудь.

Чуть не сбив Нильса с ног широкими сильными крыльями, орел сел у самого гнезда Акки Кебнекайсе.

— Привет друзьям! — весело сказал он, щелкнув своим страшным клювом.

Гуси высыпали из гнезд и приветливо закивали орлу.

А старая Акка Кебнекайсе вышла ему навстречу и сказала:

— Здравствуй, здравствуй, Горго́. Ну, как живешь? Рассказывай про свои подвиги!

— Да уж лучше мне о своих подвигах не рассказывать,— ответил Горго.— Ты меня не очень-то за них похвалишь!

Нильс стоял в стороне, смотрел, слушал и не верил ни своим глазам, ни своим ушам.

«Что за чудеса! — думал он.— Кажется, этот Горго даже побаивается Акки. Будто Акка — орел, а он — обыкновенный гусь».

И Нильс подошел поближе, чтобы получше разглядеть этого удивительного орла.

Горго тоже уставился на Нильса.

— Это что же за зверь? — спросил он Акку.— Не человечьей ли он породы?

— Это Нильс,— сказала Акка.— Он действительно человечьей породы, но все-таки наш лучший друг.

— Друзья Акки — мои друзья! — торжественно сказал орел Горго и слегка наклонил голову.

Потом он снова повернулся к старой гусыне.

— Надеюсь, вас тут без меня никто не обижает? — спросил Горго.— Вы только дайте знак и я со всяким расправлюсь!

— Ну, ну, не зазнавайся,— сказала Акка и легонько стукнула орла клювом по голове.

— А что, разве не так? Разве смеет кто-нибудь из птичьего народа перечить мне? Что-то я таких не знаю. Пожалуй, только ты! — И орел ласково похлопал своим огромным крылом по крылу гусыни.— А теперь мне пора,— сказал он, бросив орлиный взгляд на солнце.— Мои птенцы до хрипоты накричатся, если я запоздаю с обедом. Они ведь все в меня!

— Ну, спасибо, что навестил,— сказала Акка.— Я тебе всегда рада.

— До скорого свидания! — крикнул орел.

Он взмахнул крыльями, и ветер зашумел над гусиной толпой.

Нильс долго стоял, задрав голову, и глядел на исчезавшего в небе орла. Вдруг из густых камышей раздался робкий голос Мартина.

— Что, улетел? — шепотом спросил он, вылезая на берег.

— Улетел, улетел, не бойся, его и не видно уже! — сказал Нильс.

Мартин повернулся назад и закричал:

— Марта, дети, вылезайте! Он улетел!

Из густых зарослей выглянула встревоженная Марта.

Марта осмотрелась кругом, потом поглядела на небо и только тогда вышла из камышей. Крылья ее были широко растопырены, и под ними жались перепуганные гусята.

— Неужели это был настоящий орел? — спросила Марта.

— Самый настоящий,— сказал Нильс.— И страшный какой. Кончиком клюва заденет — так насмерть зашибет. А поговоришь с ним немножко — даже и не скажешь, что это орел. С нашей Аккой, как с родной матерью, разговаривает.

— А как же ему иначе со мной разговаривать? — сказала Акка.— Я ему вроде матери и прихожусь.

Тут уж Нильс совсем разинул рот от удивления.

— Ну да, Горго — мой приемный сын,— сказала Акка.— Идите-ка поближе, я вам сейчас все расскажу.

И Акка рассказала им удивительную историю.

2

Несколько лет тому назад старое пустое гнездо на Серой скале не было пустым. В нем жили орел с орлицей.

Все гуси и утки, прилетавшие на лето в Лапландию, устраивались подальше от этой страшной скалы. Только Акка Кебнекайсе каждый год приводила сюда свою стаю.

Акка не зря выбрала это место. Орлы были опасные соседи, но и надежные сторожа. Ни один хищник не смел приблизиться к Серым скалам с тех пор, как там поселились орлы. Стая Акки Кебнекайсе могла не бояться ни ястребов, ни коршунов, ни кречетов, зато ей приходилось остерегаться самих сторожей.

Как только орлы просыпались, они вылетали на охоту. Но еще раньше, чем просыпались орлы, просыпалась Акка. Спрятавшись в кустарнике, она смотрела, куда направят орлы свой полет.

Если орлы скрывались за вершинами скал, стая могла спокойно плескаться в озере и ловить водяных пауков. Если же орлы кружились над долиной, все отсиживались в своих гнездах.

В полдень Акка снова выходила на разведку — в этот час орлы возвращались с охоты. Даже издали по их полету Акка угадывала, удачный или неудачный был у них день.

— Берегитесь! — кричала она своей стае, когда орлы возвращались с пустыми когтями.

— Опасность миновала! — кричала она, видя, что орлы тащат в когтях крупную добычу.

Но вот однажды орлы, вылетев рано поутру, в свой обычный час не вернулись в гнездо.

Акка долго сидела в своем убежище, высматривая в небе орлов, но так и не дождалась их возвращения.

На следующее утро Акка вышла на разведку еще раньше, чем всегда. Уже солнце поднялось высоко в небе, но орлы не показывались.

«Верно, они вчера так и не вернулись в гнездо»,— подумала Акка.

Она не видела их и в полдень на скалистой площадке, где орлы всегда делили принесенную добычу.

На третий день все было по-прежнему. Орлы не вылетали из гнезда и не возвращались в него.

Тогда Акка поняла, что какая-то беда стряслась с орлами, и сама полетела к скале. Еще издали она услышала злой и жалобный крик, доносившийся из орлиного гнезда.

В гнезде, посреди обглоданных костей, старая Акка увидела неуклюжего, безобразного птенца. Он был покрыт редким пухом, на маленьких беспомощных крыльях торчком стояли прямые жесткие перышки, а острый загнутый книзу клюв был совсем уже как у взрослого орла.

— Я есть хочу, есть хочу! — кричал он и широко разевал клюв.

Оглядевшись кругом, не подстерегают ли ее где-нибудь за уступом орлы, Акка села на край гнезда.

— Наконец-то! Хоть кто-то явился! — закричал птенец, увидев Акку.— Что ты принесла? Давай скорей, я есть хочу!

Акка очень рассердилась.

— Я еще к тебе в няньки не нанималась! — прикрикнула она на птенца.— Где твои отец с матерью?

— Откуда я знаю! — запищал птенец.— Они уже два дня не возвращаются. Ну, чего ты сидишь тут? Ты что, не слышишь? Я есть хочу! Есть! Есть! Дай мне скорее есть!

Акке стало жалко птенца. Все-таки сирота — ни отца, ни матери. И она отправилась искать ему корм.

Она выловила в озере большую форель и принесла ее птенцу. Увидев, что гусыня что-то тащит, орленок вытянул шею, и Акка бросила ему свою добычу прямо в раскрытый клюв.

Но орленок сразу выплюнул рыбу.

— Уж не думаешь ли ты, что я буду есть такую гадость? Сейчас же принеси мне куропатку или зайца, слышишь? — зашипел он и защелкал клювом, точно хотел растерзать Акку на части.

Акка строго посмотрела на него, клюнула его раз, другой и, когда орленок притих, сказала:

— Запомни хорошенько, возиться с тобой никто не будет. Твои отец и мать, наверное, погибли, и если ты не хочешь умереть с голоду, ты должен есть то, что тебе дают.

Потом она разыскала на дне гнезда форель, которую выплюнул орленок, и опять положила ее перед ним.

— Ешь! — приказала она.

Орленок злобно посмотрел на Акку, но рыбу съел.

С этого дня поутру, в полдень и вечером Акка летала к орлиному гнезду и кормила своего питомца. Она носила ему рыбу, лягушек, червяков, и орленок покорно все ел.

Так дело шло до тех пор, пока Акка не начала линять.

Последний раз она с трудом добралась до орлиного гнезда, теряя по дороге перья.

— Слушай,— сказала она орленку,— больше я к тебе прилетать не могу. Перенести тебя вниз на своей спине я тоже не могу. Ты должен сам спуститься в долину, иначе ты умрешь с голоду. Не скрою — этот первый полет может стоить тебе жизни. До земли далеко, а ты еще не умеешь летать.

Но орленок был не робкого десятка. Он вскарабкался на край гнезда, посмотрел вниз — так ли далеко до этой самой земли — и смело прыгнул.

Акка с тревогой следила за ним. Своих детей у нее давно уже не было, и этот чужой птенец стал ей дорог, словно родной сын.

К счастью, все обошлось благополучно. Сначала орленок несколько раз перевернулся в воздухе, но ветер помог ему — раскрыл его крылья, и орленок, целый и невредимый, сел на землю.

Все лето орленок прожил в долине вместе с гусятами и очень с ними подружился. Он думал, что он тоже гусенок, и ни в чем не хотел отставать от своих товарищей. Гусята шли на озеро — и он с ними. Гусята в воду — и он в воду. Но гусята, бойко работая лапами, легко и быстро доплывали до середины озера. А орленок, как ни старался, как ни бил когтями по воде, сразу захлебывался и тут же, у самого берега, шел ко дну.

Не раз Акка вытаскивала своего питомца из озера полузадохшегося и долго трясла его, пока он снова не начинал дышать.

— Почему я не могу плавать, как другие? — спрашивал у нее орленок.

— Пока ты лежал в своем гнезде, у тебя выросли слишком длинные когти,— отвечала ему Акка.— Но не горюй, из тебя все-таки выйдет хорошая птица.

Зато когда для гусят пришло время учиться летать, никто из них не мог угнаться за Горго. Горго летал выше всех, быстрее всех, дальше всех.

Скоро даже просторная долина стала для него слишком тесной, и он пропадал целыми днями где-то за озером и за горами. Каждый раз он возвращался злой и озабоченный.

— Почему куропатки и козлята убегают и прячутся, когда моя тень падает на землю? — спрашивал он Акку.

— Пока ты лежал в своем гнезде, у тебя выросли слишком большие крылья,— отвечала Акка.— Но не горюй, из тебя все-таки выйдет хорошая птица.

— А почему я ем рыбу и лягушек, а другие гусята щиплют траву и клюют жуков? — спрашивал он Акку.

— Потому что я не могла приносить тебе другого корма, пока ты жил на своей скале,— отвечала ему Акка.— Но не горюй, из тебя все-таки выйдет хорошая птица.

Осенью, когда гуси двинулись в далекий путь на юг, Горго полетел с ними. Но он никак не мог научиться держать строй во время полета. То и дело он улетал далеко вперед, потом снова возвращался и кружился над стаей.

Другие птицы, увидев орла среди диких гусей, поднимали тревожный крик и круто сворачивали в сторону.

— Почему они боятся меня? — спрашивал Горго.— Разве я не такой же гусь, как вы?

Однажды они пролетали над крестьянским двором, на котором куры и петухи мирно рылись в мусорной куче.

— Орел! Орел! — закукарекал петух.

И тотчас же все куры бросились врассыпную.

На этот раз Горго не стерпел.

«Дурачье! — подумал он.— Они не умеют даже отличить дикого гуся от орла. Ну ладно же, я проучу их!»

И, сложив крылья, он камнем упал на землю.

— Я покажу тебе, какой я орел! — кричал он, разбрасывая сено, под которым спрятался петух.— Ты запомнишь, какой я орел! — кричал он и бил петуха клювом.

Вечером на привале, когда все гуси уже заснули, Акка долго сидела в раздумье.

Она понимала, что пришло время расстаться с орлом. Она сама вскормила его, воспитала, и ей было жалко отпускать его. Но ничего не поделаешь, он должен знать, что он орел, и должен жить, как подобает орлам.

Акка встала и пошла разыскивать своего питомца, мирно спавшего среди гусей...

В ту же ночь перед рассветом Горго покинул стаю.

Но каждый год, когда гуси возвращались в Лапландию, Горго прилетал в долину у Серых скал.

Это был могучий и смелый орел. Даже родичи побаивались его и никогда не вступали с ним в спор. Лесные птицы пугали его именем непослушных птенцов. Горные козлы трепетали, как трусливые зайчата, завидев его тень. Он никого не щадил, он бил свою добычу без промаха. Но за всю свою жизнь он ни разу не охотился у Серых скал и не тронул даже кончиком когтей ни одного дикого гуся.

Глава пятнадцатая

ТАЙНА СОВ

1

Дни протекали за днями мирно и тихо. Каждый день был похож на другой как две капли воды.

На озере возле Серых скал вырос настоящий птичий город. Со всех сторон его защищали от чужих глаз горы. Никакой зверь сюда не заглядывал, а про людей и говорить нечего. Да и откуда здесь взяться людям? Что им тут делать среди болот и камней?

— Неужели же во всей Лапландии нет ни одного человека? — говорил Нильс Мартину.

— Нет, и хорошо, что нет,— отвечал Мартин.— Ты уж меня прости, а нам, гусям, неплохо отдохнуть от людей.

Но Нильс был с ним не согласен. По правде сказать, ему иногда хотелось отдохнуть от гусей, как он их ни любил.

— А вон там, за горами,— не унимался Нильс,— неужели тоже только птицы живут?

Старая Акка услышала этот разговор и подошла к Нильсу.

— Хочешь сам увидеть, что там за горами? — сказала Акка.— Я и то уж думала — ну что ты, как нянька, сидишь целыми днями с гусятами? Хочешь, полетим завтра? Надо тебе посмотреть нашу Лапландию.

На другой день Нильс проснулся раньше раннего. Даже Акка еще спала. А уж она-то поднималась первая во всей стае. Нильс не решился разбудить гусыню. Он принялся расхаживать взад-вперед около спящей Акки. Ходит как будто тихо, а нет-нет и наступит, словно невзначай, на сучок. Ну, гусыня и проснулась.

— Что, не терпится тебе? — сказала она.— Я и сама рада размять крылья.

И все-таки Акка сначала обошла для порядка все гнезда, убедилась, что ничего худого ни с кем за ночь не случилось, и только тогда решилась покинуть свою стаю.

Гряда за грядой перед Нильсом открывались горы. Горы как будто выталкивали друг друга, каждая хотела подняться повыше, поближе к солнцу и звездам.

На самых высоких вершинах лежал снег. Снег был белый-белый, он блестел и искрился на солнце, а в ущельях, куда солнечные лучи не могли заглянуть, снег казался голубым, как небо.

Глядя на эти вершины, Нильс вспомнил сказку про одноглазого тролля. Вот какая была эта сказка.

Жил когда-то в лесу одноглазый тролль.

Задумал он построить себе дом — такой же, как у людей.

И построил. Дом вышел отличный. От стены до стены — верста, от пола до потолка — три версты. Одно только плохо — печки в доме нет. Верно, тролль не разглядел своим одним глазом, что люди у себя в домах складывают печи.

Зима по лесу гуляет. А тролль сидит в своем доме и дрожит от холода.

— Никуда этот дом не годится! — рассердился тролль.— Надо новый строить. Только теперь я буду умнее. Построю дом поближе к солнцу — пусть оно меня греет.

И тролль принялся за работу. Он собирал повсюду камни и громоздил их друг на друга.

Скоро гора из камней поднялась чуть не до самых туч.

— Вот теперь, пожалуй, хватит! — сказал тролль.— Теперь я построю себе дом на вершине этой горы. Буду жить у самого солнца под боком. Уж рядом с солнцем не замерзну!

И тролль полез на гору.

Только что такое?! Чем выше он лезет, тем холоднее становится.

Добрался до вершины.

«Ну,— думает,— отсюда до солнца рукой подать!»

А у самого от холода зуб на зуб не попадает.

Тролль этот был упрямый: если уж ему в голову что западет, ничем не выбьешь. Решил на горе построить дом — и построил.

Солнце как будто близко, а холод все равно до костей пробирает.

Так этот глупый тролль и замерз.

«И почему это? — думал Нильс, поеживаясь от холодного воздуха.— Наверху ведь в самом деле ближе к солнцу, а холоднее?»

В это время Акка, словно подслушав его мысли, начала спускаться вниз.

Горы под ними расступились, и теперь они летели над долиной. Долину разрезала узенькая ленточка реки.

А что это за странные холмики на берегу? Круглые, остроконечные... И дым из них поднимается!

Дым! Значит, здесь живут люди! Ну конечно, в Лапландии живут лопари. И холмы — это вовсе не холмы, а дома. Их делают так: вбивают в землю несколько жердей, а потом обтягивают оленьими шкурами. И называются такие дома чу́мами.

Нильс знал об этом по рассказам школьного учителя. А теперь он все видел собственными глазами!

Вот между чумами бродят какие-то животные. На головах у них торчат рога. Да это же олени! Целое стадо лапландских

домашних оленей! У крайнего чума горел костер. Девочка-лопарка что-то пекла на раскаленных камнях.

На девочке были надеты меховые штаны и длинная рубаха, тоже меховая. Нильс догадался, что это не мальчик, а девочка, только потому, что две длинные черные косички все время падали вперед, когда она наклонялась. А девочка их все отбрасывала на спину, чтобы они не попали в огонь.

Вдруг Акка Кебнекайсе повела головой направо, налево и, когда убедилась, что рядом с девочкой никого нет, опустилась совсем низко. Нильс даже почувствовал жар от костра и запах горячего теста. Акка сделала над девочкой один круг, другой...

Девочка подняла голову и с удивлением посмотрела на гусыню. Должно быть, она подумала: «Что за странная птица! Кажется, ей что-то от меня надо...» А гусыня взлетела повыше и опять закружилась над маленькой лопаркой.

Тогда девочка засмеялась, схватила с камня горячую лепешку и протянула ее птице. Акка подцепила лепешку клювом и быстро улетела прочь.

Нильс еле успел крикнуть девочке: «Спасибо!» Он ведь сразу догадался, для кого это Акка Кебнекайсе выпрашивала угощение.

В небольшой ложбине старая гусыня и Нильс отлично позавтракали. Акка щипала редкую траву, пробивавшуюся из-под камней, а Нильс ел лепешку. Настоящую лепешку из настоящей муки, свежую, еще горячую! Ему казалось, что ничего вкуснее не бывает на свете. И он старался как можно дольше растянуть это удовольствие.

На Круглое озеро возле Серых скал они вернулись только под вечер.

2

Лето подходило к концу. Гусята подрастали и радовали родительские сердца. Если и бывали когда-нибудь ссоры в стае Акки Кебнекайсе, то, пожалуй, только из-за того, чьи дети лучше.

Особенно гордились своим потомством Мартин и Марта.

Нильс тоже находил, что их дети самые красивые. Белые, как снег на горах, без единого пятнышка, и только клювы и лапы красные, как брусника.

Крылья у гусят уже немного окрепли, и Мартин каждое утро учил гусят летать. Сначала гусята чуть-чуть поднимались над землей — взмахнут разок-другой крылышками и опять опустятся на траву. Потом они начали взлетать все выше и выше и держались в воздухе все дольше и дольше.

Училась летать и Марта. Она принималась за уроки вечером,

когда гусята уже спали — нельзя же было показывать детям, что она, мать большого семейства, тоже едва умеет летать.

Мартин заставлял Марту круто поворачиваться на лету, взмахивать крыльями вровень с его крыльями, подниматься в воздух не с разбегу, а прямо с места. Словом, учил ее всему, чему сам научился у диких гусей за долгий путь от Вестменхёга до Лапландии. И Марта старалась изо всех сил. Ведь близилось время, когда стая Акки Кебнекайсе должна будет покинуть Лапландию и пуститься в обратную дорогу.

А то, что это время не за горами, было видно по всему.

Как-то раз Мартин пришел к Нильсу. Он просунул голову в дверь его домика и заговорил.

— Не понимаю,— сказал он,— до каких это пор Акка Кебнекайсе собирается держать нас в Лапландии? Зима на носу, а она и думать ни о чем не думает. Скорей бы домой! Гусят бы всем показать — и родичам, и курам, и коровам. Марту бы со всеми познакомить! Уж она-то всему птичнику по душе придется! Еще бы, ведь такая красавица!

Нильс тоже думал: «Верно говорит Мартин. Пора бы нам домой! Как отец с матерью обрадуются, когда я вместо одного гуся целый выводок приведу. Они, конечно, решили, что мы давно погибли — и я и Мартин. И вдруг — нате вам! — открывается дверь, и входят друг за дружкой: сперва Юкси, за Юкси — Какси, за Какси — Кольме, за Кольме — Нелье, за Нелье — Вийси, за Вийси — Мартин с Мартой, а за ними я... «Здравствуйте, дорогие родители! Принимайте гостей!..» Что тут начнется! Отец с матерью даже заплачут от радости. Все соседи сбегутся, все мальчишки! «Где же ты пропадал целое лето?» — спросят. А я скажу: «На гусе в Лапландию летал...»

Но тут Нильс вспомнил, что он теперь совсем не похож на прежнего Нильса. Мать и отец, может, и не узнают его...

Соседские мальчишки засмеют, задразнят, станут за ним с сачком гоняться, как он сам гонялся за гномом.

«Нет, лучше уж не возвращаться, пока не сделаюсь настоящим человеком,— подумал Нильс.— Только когда это еще будет! И что это за тайна, о которой говорили совы?»

Но Мартину он сказал:

— А не будет ли нам дома скучно? Каждый день одно и то же. Дом да двор, двор да дом! Знаешь что, отправимся-ка мы лучше с дикими гусями за море.

— Что ты! Что ты! — испугался Мартин.

Ведь он все-таки был домашним гусем. Теперь, когда Мартин доказал стае Акки Кебнекайсе, что он ничуть не хуже диких гусей, ему хотелось только одного — спокойной жизни в родном птичнике. Хватит с него всяких приключений! Он сыт ими по горло!

— Что ты! Что ты! — повторил Мартин.— А я думал, тебе тоже хочется домой.

Нильс не выдержал.

— Конечно, хочется! — крикнул он.— Да что об этом толковать! Тебе-то хорошо. Вон ты какой большой стал, мне на тебя сейчас даже влезать трудно. А я ничуточки не вырос. Ну посуди сам: как я такой отцу и матери на глаза покажусь? Возвращайся один домой, а я останусь с гусями. Акка меня теперь не прогонит.

— Ну нет, я без тебя домой не вернусь,— сказал Мартин.— Это уж последнее дело — бросать товарища в беде.— Мартин задумался на минуту.— Слушай-ка, Нильс, ты бы поговорил с Аккой. Наверное, она поможет тебе, что-нибудь придумает. Она ведь все на свете умеет. Вон даже орла и то приручила.

— Правда! — обрадовался Нильс.— Пойду-ка я посоветуюсь с Аккой.

На следующий день Нильс пошел к гнезду старой гусыни.

— Здравствуй, Акка,— сказал он.— Мне надо поговорить с тобой.

— Говори,— сказала она,— я тебя слушаю.

Нильс помолчал.

— Понимаешь, Акка,— сказал он наконец,— я ведь не всегда был таким. Я был настоящим мальчиком, а гном взял и заколдовал меня...

Акка Кебнекайсе совсем не удивилась.

— Да я об этом догадывалась,— сказала она.— Что же теперь делать?

— Вот я и хотел спросить тебя — что же теперь мне делать? Ты самая умная из всех птиц, ты, верно, знаешь, как мне снова стать человеком. А если не знаешь, спроси, пожалуйста, у сов, тебе-то они скажут.

— А почему ты думаешь, что совы знают? — спросила Акка.

— Я слышал, как они шептались и говорили, что это страшная тайна. Еще когда мы были в Глиммингенском замке, слышал. Только потом они заговорили так тихо, что я ни слова не разобрал. Может, ты тоже знаешь эту тайну?

— Нет, я не знаю этой тайны,— сказала Акка.— Спросить у сов? Так ведь они мне не расскажут. Я с ними не очень-то дружна, с этими кумушками... Но постой! Дай мне три дня сроку, может быть, я тебе помогу.

3

Три дня Нильс не спал, не ел, не пил и все ждал, когда наконец Акка позовет его и он узнает, как освободиться от колдовских чар.

«Если Акка сама взялась за это, так уж дело верное,— думал Нильс.— Она зря обещать не будет!»

Он видел, как на следующий день после их разговора Акка улетела куда-то и вернулась только поздно вечером.

Никто из стаи не знал, куда и зачем она летала,— она никому не сказала об этом, и никто не смел ее спросить.

И Нильс не спрашивал ее ни о чем. Правда, он старался почаще попадаться ей на глаза и придумывал разные поводы, чтобы лишний раз пройти мимо ее гнезда, но Акка как будто не замечала его. А если и заговаривала с ним, то все о каких-нибудь пустяках.

«Может, не вышло у нее ничего,— думал Нильс,— потому она и молчит? Так уж лучше бы сразу сказала, начистоту».

На второй день все было по-прежнему. Акка точно забыла про Нильса.

Никогда еще дни не тянулись для Нильса так медленно. Чтобы как-нибудь убить время, Нильс решил починить крышу на своем домике, но, чуть только принялся строгать прутики, сразу порезал себе палец. Попробовал покрепче привязать пуговицу, болтавшуюся на ниточке, а вместо того оторвал ее совсем. Пошел собирать свежую траву для подстилки, да на обратном пути столько раз падал, что всю траву растерял.

За какое бы дело он ни брался, ничего у него не клеилось, все валилось из рук. А тут еще гусята пристают, бегают за ним по пятам.

Нильс спрятался было от них в своем домике, но гусята и здесь нашли его. Они поминутно прибегали к нему и, просунув головы в дверь, звали то на озеро, то на болото за ягодами.

— Не хочу, идите сами,— говорил Нильс.

Так он и сидел один в своем домике. Прошел день, прошла ночь, и еще день прошел. Акка его не звала.

На третий день к вечеру Нильс совсем загрустил. Вот уже все сроки миновали, а старая Акка даже не вспомнила о нем. И, уткнувшись лицом в свою травяную подстилку, Нильс горько заплакал. Он громко всхлипывал, тяжело вздыхал, и от этого ему становилось так жалко себя, что слезы в три ручья лились у него из глаз. Подушка его давно промокла, лицо распухло, глаза болели, а он все плакал и плакал, пока не заснул.

И вдруг кто-то загоготал над самым его ухом, затеребил его, затормошил, затряс. Нильс вскочил на ноги.

Мартин, просунув голову в домик Нильса, громко кричал:

— Скорей! Иди скорей! Тебя Акка зовет...

4

Акка сидела в своем гнезде, а рядом с ней на кочке сидел орел.

«Он-то здесь зачем?» — удивился Нильс и растерянно посмотрел на Акку.

— Иди, иди,— сказала Акка.— Мы тебя как раз ждем.

Потом она повернулась к орлу и чуть-чуть наклонила голову.

— Теперь рассказывай, Горго.

— Все в порядке. Был я в Глиммингенском замке, познакомился с вашими совами,— весело заговорил орел.

«Ага! Так, значит, Акка посылала его к совам!» — подумал Нильс и насторожился.

— Ну и далеко живут ваши приятельницы! Я уж думал, не поспею к сроку вернуться. Даже домой не залетел — прямо сюда со свежими новостями. Да и с совушками этими было немало возни. Прилетел, а они, видите ли, спят... Все у них шиворот-навыворот, все не как у птиц. Другие ночью мирно спят, а эти за день-то выспятся хорошенько, а ночью по лесу рыщут. Сразу видно — воровская порода...

— Но ты их все-таки разбудил? — робко спросил Нильс.

— А как же. Стану я с ними церемониться! Я как погладил клювом одну, так и другая сова проснулась. Хлопают обе глазищами, охают, ахают, ухают. Сослепу да спросонок ничего понять не могут. Они и так не больно-то понятливы, а тут, видно, последний ум у них отшибло. «Безобразие! — кричат.— Кто смеет тревожить наш сон?» Ну, я им показал, кто смеет. Они теперь надолго запомнят.

— Зачем же ты с ними так! — с укором сказал Нильс.— Они, наверное, рассердились, теперь у них ничего не выведать.

— Как это не выведать? — возмутился Горго.— Да я уже все выведал.

— Ну что? Что они сказали? — еле выговорил Нильс.

— Ты меня не перебивай,— сказал Горго,— а слушай. Я их спрашиваю: «Вы чего между собой сплетничаете, о чужих тайнах болтаете?» Они туда, сюда... «Что ты! — бормочут.— Мы и знать ничего не знаем, какие такие тайны». Я опять потряс их немножко. «А, говорят, знаем, вспомнили. Наклонись, пожалуйста, поближе. Мы эту тайну можем сообщить только шепотом и только на ухо». И зашипели мне в оба уха, как змеи. Ну, я не сова, я шептаться не буду. Я тебе прямо скажу...

— Говори же, говори! — помертвевшим голосом прошептал Нильс.

— Трудно тебе стать человеком,— сказал Горго.— Этот гном такое придумал, что и не приснится.

— Да не томи его,— вмешалась Акка.— Говори скорее.

— Так вот: не быть тебе, Нильс, человеком, пока кто-нибудь по доброй воле не захочет стать таким же маленьким, как ты.

— Да кто же захочет стать таким, как я! — в отчаянии воскликнул Нильс.

— Подожди, это еще не все. Если найдется такой, ты должен сразу же сказать заклинание. И ни слова не перепутать. Я это заклинание сто раз повторил, пока запомнил. А теперь ты запоминай.

И Горго стал говорить медленно и торжественно:

— Стань передо мной,
Как мышь перед горой,
Как снежинка перед тучей,
Как ступенька перед кручей,
Как звезда перед луной.

Бурум-шурум,
Шалты-балты.
Кто ты? Кто я?
Был — я, стал — ты.

— Как, как ты сказал? — переспросил Нильс.— Шурум-шалты? Бурум-балты? Я — был, стал — ты?

— Ну вот все и перепутал! Это же заклинание! Тут каждое слово должно быть на месте. Подумай только: захочет кто-нибудь стать таким, как ты, а ты своим «бурум-балты» все дело испортишь. Слушай сначала.

И Горго начал сначала.

А Нильс смотрел ему прямо в клюв и повторял слово за словом:

— Бурум-шурум,
Шалты-балты.
Кто ты? Кто я?
Был — я, стал — ты.

Глава шестнадцатая

УДАЧНИК И НЕУДАЧНИК

1

После первых же ночных заморозков Акка Кебнекайсе велела всем готовиться к отлету.

Теперь стая была почти втрое больше, чем весной.

Двадцать два гусенка должны были совершить свой первый перелет.

Накануне дня, назначенного для отправки в дальний путь, Акка устроила гусятам экзамен. Сперва каждый в отдельности показывал свое искусство, потом все вместе. Это было очень трудно: надо разом взлететь и в строгом порядке построиться треугольником. Десять раз Акка заставляла гусят подняться и спуститься, пока они не научились держать расстояние, не налетать друг на друга и не отставать.

На следующий день на рассвете стая покинула Серые скалы. Впереди летела Акка Кебнекайсе, а за нею двумя ровными расходящимися линиями тянулась вся стая — восемнадцать гусей справа и восемнадцать гусей слева мерно взмахивали крыльями.

Нильс, как всегда, сидел верхом на Мартине. Время от времени он оборачивался назад, чтобы пересчитать гусят,— не отстал ли кто? Все ли на месте?

Гусята старались изо всех сил.

Они отчаянно били крыльями по воздуху и покрикивали друг на друга:

— Держись правее!

— Куда ты вылез?

— Ты мой хвост задеваешь!

Один только Юкси был всем недоволен. Не прошло и часа, как он жалобно запищал:

— Акка Кебнекайсе! Акка Кебнекайсе! У меня крылья устали!

— Ничего, отдохнешь ночью! — крикнула Акка.

Но Юкси не унимался.

— Не хочу ночью, хочу сейчас! — пищал он.

— Молчи, молчи! — зашипел на него Мартин.— Ты же самый старший! Как тебе не стыдно!

Юкси стало стыдно, и он замолчал. Но через час он опять забыл, что он старший, и опять поднял писк:

— Акка Кебнекайсе! Акка Кебнекайсе! Я хочу есть!

— Подожди! — крикнула Акка.— Придет время, все будут есть и ты поешь.

— Не хочу ждать, хочу сейчас! — пищал Юкси.

— Не позорь родителей,— зашипели Мартин и Марта.— Вот дождешься, что Акка выгонит тебя из стаи. Что ты тогда будешь делать? Пропадешь ведь один.

Юкси и сам знал, что пропадет, и замолчал.

Одна за другой уходили назад снежные горы.

— Смотрите и запоминайте! — говорила Акка гусятам.— Эта гора называется Сарьечокко, а рядом — Порсочокко. Вот тот водопад называется Зьофаль, а этот Ристо. А горное озеро под нами...

Но тут гусята взмолились.

— Акка! Акка! — закричали они.— У нас в голове не помещается столько названий. Они такие трудные...

— Ничего,— ответила Акка.— Чем больше вбивать в ваши головы, тем больше в них останется места!

— А как называется вон та гора, самая высокая? — спросил Нильс.

— Она называется: Ке-бне-кайсе! — торжественно произнесла старая гусыня.

«Ах вот оно что! — подумал Нильс.— Верно, Акка родилась тут. Потому она и зовется — Акка Кебнекайсе. Ну конечно же, такая замечательная гусыня, как наша Акка, и родиться должна была не где-нибудь, а у самой высокой горы!»

И Нильс с еще большим уважением посмотрел через головы гусей на предводительницу стаи.

Лопари тоже уходили на зиму подальше от суровых гор. Нильс видел, как они спускаются вниз целыми стойбищами, с оленьими стадами, с домашним скарбом. Даже дома с собой забирают.

Нильс смотрел во все глаза — может, где-нибудь в толпе кочевников идет девочка, которая угостила его лепешкой? Неужели он так и не попрощается с ней?

Но стая летела слишком высоко и слишком быстро. Где же тут разглядеть маленькую лопарку!

«Ну если уж с ней нельзя попрощаться, так попрощаюсь со всей Лапландией»,— подумал Нильс.

И он громко запел:

— Лаплан-Лаплан-Лапландия,
Ты все еще видна!
Прощай, прощай, Лапландия,
Чудесная страна!

Принес меня в Лапландию
Домашний белый гусь,
И, может быть, в Лапландию
Я снова возвращусь.

Вот и совсем ушли горы.

Снова, как весной, кланяются гусям березки — кивают головой, машут ветвями, что-то шепчут. Они дальше всех провожали стаю на север и теперь первые встречают ее.

2

Стая летела на юг тем же путем, каким весной летела на север.

«Тут я потерял башмачок,— вспоминал Нильс.— Как на меня Мартин рассердился! А ведь не потеряй я башмачок, Мартин не нашел бы Марту!..

«А где-то здесь мои медведи живут. Вот бы посмотреть на Мурре и Брумме, какие они теперь стали. Их мурлила, верно, и управиться не может со своими сыночками...»

«А здесь Бронзовый должен стоять. Да вон он и стоит! Совсем позеленел от злости... Жаль, Деревянного больше нет. Бедный добрый Розенбум!»

Нильс даже вздохнул, вспомнив своего деревянного друга.

«А где же мы теперь летим?»

Этого места Нильс никак не мог припомнить.

Тут было все, что только можно пожелать, как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зеленый наряд, реки протянули свои притоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротника, море украсило шхерами и фиордами, горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодородными пашнями.

Здесь, в этом удивительном краю, где сошлись юг и север, запад и восток, стая Акки Кебнекайсе устроила привал.

Кто хотел — шлепал по болоту; кто хотел — плескался рядом в речке; кому нравилось — гулял по лесу. Все тут было под боком.

Нильс сидел на лесной опушке под корнями сосны и маленькой палочкой разгребал опавшую хвою.

Над головой у него с ветки на ветку перепрыгнула белка и бросила ему орешек.

Зайчонок проскакал мимо и положил у его ног морковку.

Из кустов выбежал еж и остановился перед Нильсом. Он ощетинился всеми своими иглами, и на кончике каждой иглы у него была насажена спелая брусничина.

«Вот сколько у меня друзей!» — подумал Нильс.

А помочь его беде никто не мог...

Вдруг Нильс услышал знакомый каркающий голос:

— Здр-р-равствуй! Здр-р-равствуй! Здр-р-равствуй!

Нильс поднял голову. Да это Фумле-Друмле! Атаман вороньей шайки.

— Р-р-разыскал-таки тебя! — выкрикнул Фумле-Друмле, хлопая крыльями.— Кр-р-ружил по небу, кр-р-ружил и р-р-разыскал.

Наконец Фумле-Друмле сел около Нильса.

— Мы с тобой стар-р-рые др-р-рузья,— сказал Фумле-Друм-

ле,— а др-р-рузья др-р-руг др-р-руга выр-р-ручают. Я уж постар-р-рался, р-р-разузнал, как тебе в человека пр-р-ревр-р-ратиться!..

Нильс ничего не ответил.

— Что ж ты не р-р-радуешься? — каркнул ворон.

Нильс опять ничего не ответил. Потом вздохнул и тихонько забормотал:

— Стань передо мной,
Как мышь перед горой,
Как снежинка перед тучей,
Как ступенька перед кручей,
Как звезда перед луной.

Бурум-шурум,
Шалты-балты,
Кто ты? Кто я?
Был — я, стал — ты.

— Ты откуда это знаешь? — спросил Фумле-Друмле, и глаза у него засверкали от обиды, что не он первый открыл эту тайну Нильсу.

— Мне орел Горго сказал,— ответил Нильс.— Да что толку знать? Все равно мне некому спеть эту колдовскую песенку.

— Твой Гор-р-го дур-рень,— каркнул Фумле-Друмле.— А вот я тебе по-настоящему помогу. Я уже р-р-разыскал того, кто р-р-рад с тобой поменяться.

— Правда, Фумле-Друмле? Неужели правда? — воскликнул Нильс.— Кто же это? Кто?

— Не тор-р-ропись. Узнаешь, когда пр-р-ридет вр-р-ремя,— сказал Фумле-Друмле.— Забир-р-райся на меня.

И Фумле-Друмле подставил Нильсу свое крыло.

Нильс, как по мосткам, взбежал к Фумле-Друмле на спину, и они полетели.

— Мартин! Мартин! Акка! Подождите меня! Я вернусь! — успел крикнуть Нильс.

Все гуси с удивлением смотрели ему вслед, но Нильс был уже далеко.

Скоро он увидел островерхие крутые крыши старинного города Упсала.

Фумле-Друмле покружил над домами и наконец сел на крышу, которая ему почему-то приглянулась. Ветер перекатывал по черепицам обрывок бумаги. Через окошко маленькой мансарды была видна комната.

У стола сидел юноша и, не отрывая глаз, смотрел, как ветер треплет бумажный листок.

— Опять этот ворон,— сказал юноша, когда Фумле-Друмле опустился на крышу.— Ну что ему от меня надо? Какую еще беду мне накаркает?

«Верно, одна беда с ним уже случилась»,— подумал Нильс.

И Нильс угадал.

3

Беда началась вот с чего.

Жили в городе Упсала два студента.

Одному во всем везло. Так крепко сдружилась с ним удача, что никогда его не оставляла,— что бы он ни задумал, за какое бы дело ни взялся. Вот и был он всегда весел, всегда доволен, со всеми приветлив. Зато и его все любили. Экзаменаторы не скупились для него на пятерки, товарищи души в нем не чаяли, и жилось ему на свете легче легкого.

Его так и называли — Удачник. Да к нему никакое другое имя и не подходило! Он даже сам позабыл, как его звали отец с матерью.

А второй студент был нелюдимый, незаметный, беда за ним так и ходила следом, ни на шаг его не отпускала. От людей он прятался, да и с ним никто не дружил. Товарищи даже имени его не знали, а просто называли его Неудачник. Да и какое другое имя можно было ему дать!

И вот однажды, когда Удачник, весело напевая, собрался идти сдавать последний экзамен, дверь отворилась, и вошел Неудачник. В руках у него был какой-то объемистый сверток.

— Я пришел к тебе с просьбой,— робко сказал он Удачнику.— Целых пять лет я трудился над одним сочинением и вот теперь кончил его. Я и сам не знаю, что у меня получилось. Но твоему слову поверю.

Удачник сказал:

— Давай, я прочту.

И подумал про себя: «Вот как все меня любят. Даже этот нелюдим пришел ко мне».

А Неудачник протянул ему сверток и сказал:

— Мне очень стыдно давать тебе такую мазню, но у меня нет денег, чтобы нанять переписчика. Да, по правде сказать, я боюсь кому-нибудь отдать мое сочинение. Ведь если его потеряют — вся моя работа пропала.

— Ты можешь не тревожиться,— сказал Удачник,— у меня не пропадет ни один листок.

Неудачник ушел. А Удачник выглянул в окно, чтобы посмотреть на башенные часы. До экзаменов времени оставалось

еще много, знал он все назубок, делать пока нечего, и он решил посмотреть, что за сочинение принес ему Неудачник.

Он развязал сверток. Перед ним лежала груда листков, исписанных вдоль и поперек.

На первой странице крупными буквами было выведено: «История города Упсала».

«И про что это он мог столько написать?» — подумал Удачник.

Он прочел одну страницу, вторую, третью и забыл обо всем на свете, сидя над этими истрепанными листками.

Каждый день проходил он мимо городского собора и ничего не знал о нем.

А теперь этот собор словно ожил. Ожили короли, погребенные под его каменными плитами. Ожили люди, которые его построили, хоть и прошло с тех пор немало веков.

Без собора нельзя было даже представить себе города. Да разве могло что-нибудь случиться с этой каменной громадой? А ведь когда-то собор был разрушен пожаром. Удачнику почудилось, что со страницы рукописи, над которой он склонился, несется тревожный набат и встает огненное зарево.

И библиотеку, в которую Удачник ходил чуть не каждый день, он увидел как будто первый раз в жизни. Из каких только стран сюда не попадали книги, в переплетах из кожи и резного дерева, с застежками и без застежек!

Каждый год, в феврале, он бродил по ярмарке и покупал в лавках всякие безделицы. А ведь ярмарка эта могла бы уже в трехсотый раз отпраздновать свой день рождения. И Удачнику, пока он переворачивал страницы, казалось, что он сам поет и пляшет вместе с веселой толпой в старинных одеждах на самой первой ярмарке, которая шумела здесь ровно триста лет тому назад.

Только бой башенных часов заставил его вспомнить, что ему пора собираться на экзамен.

Удачник вскочил, бросился в чуланчик, где висел его самый лучший костюм, потом в прихожую — там стояли его новые ботинки, снова вбежал в комнату за своей студенческой шапкой... и вдруг остановился на пороге как вкопанный.

Пока он суетился и бегал взад-вперед, ветер распахнул окно, перепутал, перемешал все листки рукописи и понес их над крышей.

Забыв про свой парадный костюм, Удачник бросился догонять ветер. Хорошо еще, что его комната была на самом чердаке! Он перемахнул через подоконник и был уже на крыше.

А ветер словно смеялся над бедным Удачником: то подбросит листки, то закружит, а то вдруг дунет, да так, что белая бумажная стая разлетится во все стороны.

Удачник прямо из сил выбился, а поймал только два или три обрывка.

Чуть не плача, вернулся он в свою комнату.

И вдруг прямо против его окна на крышу уселся ворон — огромный, черный, глаза злые, хитрые. Сел и закаркал.

У неудачливого Удачника совсем упало сердце.

Ведь ворон каркает не к добру. Одна беда уже свалилась на него. А за первой и вторая нагрянет.

Так и случилось.

Он чуть не опоздал на экзамен. На все вопросы отвечал невпопад, и кончилось дело тем, что он получил двойку.

Медленно брел несчастный Удачник домой.

А Неудачник уже поджидал его у ворот.

— Ты еще не прочел? — спросил он с тревогой.

— Мне не до тебя было, я готовился к экзамену. Не все ведь такие бездельники, как ты,— сказал Удачник.

Он нарочно говорил так грубо, чтобы поскорее избавиться от товарища. Как он скажет ему, что случилась такая беда, какой даже этот Неудачник никогда не знал? А Неудачник подумал: «Наверное, мое сочинение никуда не годится, вот он со мной и не хочет разговаривать. Нет, ни в чем, видно, нет мне удачи!»

На другой день, чуть только злосчастный Удачник вышел из дому, ему повстречался Неудачник.

— Ты что подстерегаешь меня? — сердито сказал Удачник.— Когда прочитаю, сам к тебе приду, а ходить за мной следом — нечего.

— Нет, нет, я не тороплю тебя. Я только вот что хотел сказать,— робко проговорил Неудачник,— если ты увидишь, что мое сочинение никуда не годится, ты можешь выбросить его или сжечь.

Удачник ничего не ответил и прошел мимо. А Неудачник теперь не сомневался, что вся его работа была пустой потерей времени.

«И говорить-то о ней — только время терять!» — со стыдом подумал Неудачник.

На третий день Удачник совсем не выходил из дому.

Слова, сказанные Неудачником, не переставали звучать у него в ушах: «Если ты увидишь, что мое сочинение никуда не годится, ты можешь выбросить его или сжечь». А если сказать, что я так и сделал?.. Никто ничего не узнает... И сам Неудачник не узнает...»

Весь день он ходил из угла в угол по своей комнате, и каждый раз, когда он поднимал голову, он видел ворона, который неподвижно сидел против его окна.

— Ах, какой я несчастный, какой несчастный! — громко воскликнул Удачник.— Мухе и той живется лучше, чем мне! Вот

если бы стать мухой! Или кузнечиком... Кем угодно, только бы избавиться от беды.

— Кар-р-р! Кар-р-р! — закричал вдруг ворон и, тяжело взмахивая крыльями, полетел прочь.

Прошел еще один день, а несчастный Удачник не мог ни на что решиться.

«Нет, лучше всего сказать правду,— думал он.— Но ведь этот Неудачник не поверит мне. Он непременно решит, что я только из жалости хвалю его сочинение, а что на самом деле — оно никуда не годится, и я сжег его. И что историю про ветер я просто выдумал... А если он даже поверит — так будет еще хуже. Ведь его труд, который мог бы прославить его, погиб навсегда. Так, может быть, лучше ему думать, что его сочинение только того и стоило, чтобы его сожгли? Но как же я скажу это?.. Ах, что же мне делать? Что делать?» — думал в отчаянии Удачник.

И мысли его бежали по тому же самому кругу. Обмануть — нельзя. Сказать правду — невозможно. Не поверит ему товарищ — плохо. Поверит — еще того хуже.

Он метался по комнате, как зверь в клетке, то садился, то вскакивал, то снова садился и ничего не видящими глазами глядел в окно.

Под вечер он услышал скрипучее карканье.

— Опять этот ворон! — с тоской сказал Удачник.— Ну что ему от меня надо! Какую еще беду он мне накаркает!

А ворон взлетел на самый подоконник, и со спины его — прямо на стол — соскочил маленький, точно игрушечный человечек.

Удачник так удивился, что на минуту забыл о всех своих неудачах.

— Эй! Кто ты такой? Может, ты гном? Но ведь гномы бывают только в сказках!

— Если бы только в сказках! — тихо сказал Нильс, вздыхая.— Я ведь был человек как человек, вот такой, как ты, только мальчик. А настоящий гном заколдовал меня. С тех пор я так и живу — не то человек, не то непонятно что...

— Где же ты живешь? — спросил Удачник.

— А я с птицами живу. Меня гусиная стая к себе взяла.

— Какой ты счастливый! — воскликнул Удачник.— Ах, если б я мог стать таким, как ты! Если бы и меня унесли отсюда перелетные птицы!

Тут ворон, который до сих пор молчал, подтолкнул Нильса крылом и радостно каркнул:

— Говор-р-ри! Говор-р-ри! Скор-р-рей говор-р-ри!

«Вот оно что! Вот зачем Фумле-Друмле принес меня сюда! — подумал Нильс.— Неужели я сейчас снова стану человеком!..

Он открыл рот и, замирая от волнения, начал:

— Стань передо мной,
Как мышь перед горой...

И вдруг замолчал. Как будто забыл все колдовские слова.

— Говор-р-ри! Говор-р-ри дальше! — закаркал Фумле-Друмле.

Но Нильс только отмахнулся от него.

А Удачник, который ни о чем и не подозревал, наклонился над Нильсом и сказал:

— Ну говори же, говори дальше! Я никогда не слышал таких стишков!

— И хорошо, что не слышал,— сказал Нильс.

— Дур-р-рак! Дур-р-рак! — закаркал Фумле-Друмле.

— Помолчи! — прикрикнул на ворона Нильс.

Потом снова повернулся к Удачнику и спросил:

— А ты почему хочешь стать таким, как я?

— Потому что я самый несчастный человек на свете! — воскликнул Удачник.— Ты только послушай, что со мной случилось.

И он рассказал Нильсу, ничего не утаивая, о своей беде.

— Да, тут рад будешь на край света улететь,— согласился Нильс.— Но ведь Неудачнику-то от этого не станет легче!.. Послушай, я, кажется, смогу помочь твоему горю.

Он подбежал к ворону и стал что-то шептать ему на ухо.

— Дур-р-рак! Дур-р-рак! — закаркал в ответ ему Фумле-Друмле.

А Нильс все уговаривал и уговаривал ворона. Потом забрался к нему на спину, и они улетели — ворон и маленький человечек.

— Что это? — пробормотал Удачник, тряхнув головой.— Наверное, я спал и мне приснился сон?

Пока он раздумывал над этим, кто-то бросил в его окно несколько листков пропавшей рукописи.

И перед Удачником мелькнули черные вороньи крылья.

Весь вечер, до поздней ночи, собирали Нильс и Фумле-Друмле развеянные ветром листы и листок за листком приносили Удачнику. Они подбирали их на крышах и чердаках, на ветках деревьев и на дорожках сада, среди мусорной свалки и на колокольне собора. Куда только не заглядывали ворон и мальчик!

Одну страничку Нильс вытащил из собачьей будки. Фумле-Друмле вырвал какой-то исписанный листок прямо из рук торговца, когда тот свертывал из него кулек для орехов.

А счастливый Удачник расправлял, разглаживал каждую страницу и складывал их по порядку.

— Вот все и на месте! — сказал он наконец.— Спасибо тебе,

маленький человечек! И тебе спасибо, ворон! Я думал, ты мне беду накаркаешь, а ты мне вот какое счастье принес!

Он схватил рукопись и, несмотря на поздний час, побежал к Неудачнику. Пусть и счастливый Неудачник порадуется своей удаче!

Фумле-Друмле и Нильс остались одни на крыше.

— Ну что ж, надо возвращаться восвояси,— сказал ворон Нильсу.— Прозевал свое счастье, на себя и пеняй.

— Да ты не сердись, Фумле-Друмле,— сказал Нильс.— Очень уж мне стало жалко и Удачника и Неудачника.

Глава семнадцатая

ДО́МА

1

И вот наконец Нильс увидел родную деревню.

— Гляди, гляди,— крикнул он Мартину,— вон улица наша! Вон наш дом! Попросим Акку спуститься.

Но Акку не надо было просить. Она ведь была умная гусыня и сама понимала, как хочется Нильсу увидеть родной дом.

Она высмотрела за деревней заглохший пруд и приказала стае спускаться.

Нильсу не терпелось сейчас же побежать домой. Но он боялся встретиться с кем-нибудь на улице и решил подождать до вечера.

Когда совсем уже стемнело, он отправился в деревню.

Мартин со своим семейством тоже пошел с ним. Он хотел показать жене и детям птичник, в котором провел свою молодость.

— Мы только взглянем разок и вернемся,— сказал Нильс старой гусыне.

К счастью, они никого не встретили, пока шли через деревню.

Вот и знакомый двор. Они осторожно прошмыгнули через калитку.

Во дворе было тихо. Все куры и гуси давно уже спали. Только из дома доносились неясные голоса. Дверь в дом была приоткрыта, и оттуда узкой полоской пробивался свет.

Нильс заглянул в щелку.

В комнате все по-прежнему: у окна — стол, около печки — сундук и даже сачок на старом месте, между окном и шкафом.

Мать с отцом сидели за столом около лампы. Мать что-то вязала, а отец штопал рыбачью сеть. Под столом, свернувшись калачиком, лежал кот и тихонько мурлыкал.

— Где-то сейчас наш сыночек? — говорила мать, тяжело вздыхая.— Верно, голодает да холодает, скитаясь по дорогам... А может, больной лежит. Долго ли ребенку заболеть!..

Отец ничего не сказал. Он только нахмурился и еще ниже склонился над сетью.

— А может, его и на свете уже нет,— снова заговорила мать и украдкой вытерла глаза концом своего вязанья.

«Да я жив! Я здесь!» — чуть было не крикнул Нильс и сам отер рукавом слезы.

— Ну уж ты придумаешь! — сердито сказал отец.— Подожди, вернется наш сыночек! Мы еще с ним порыбачим.

Но мать только всхлипнула в ответ.

— Уж какое там вернется! Если и жив, все равно домой не придет...— говорила она сквозь слезы.— Сколько раз тебе твердила: не наказывай ты его. Ведь мал он да глуп — что с него спросишь? А ты, чуть что, сразу за ремень. Вот он и убежал.

— Ну да, а сама ты его мало бранила, что ли?

— Да я так уж, любя...

— А я что, не любя? Только вот одно я в толк не возьму — неужели он Мартина с собой увел? Собаку бы еще, это я понимаю. Собака — друг человека. А тут гусь какой-то! Гусь человеку не товарищ.

— Как это не товарищ? Еще какой товарищ! — крикнул Нильс и скорей захлопнул ладонью рот.

— Кто это там пищит? — сказала мать, оглядываясь.— Мыши, что ли? Прямо беда с ними, все зерно в подполье перепортят. Эй, ты, котище! Довольно тебе нежиться, ступай на охоту!

Кот зевнул, потянулся и лениво пошел к двери. Он повел носом вправо, повел влево. Нет! Мышиным духом не пахнет.

А Нильс тем временем ни жив ни мертв стоял за кадкой с водой. Он боялся шевельнуться, боялся дохнуть.

Что, если кот и вправду примет его за мышь?

И Нильс сразу представил себе, как кот бросается на него, хватает и тащит в зубах к матери.

У него даже пот на лбу выступил от страха и стыда.

Но кот, не обнаружив ничего подозрительного, угрожающе мяукнул в темноту и вернулся на место.

Нильс подождал с минутку, потом тихонько выбрался из своего убежища и медленно побрел по двору.

Около птичника стояло старое корыто, из которого мать всегда кормила кур и гусей. Гусята обступили корыто со всех сторон и жадно подбирали оставшиеся на дне зернышки.

— Это зерно ячменное,— объяснял Мартин своим детям.— Такое зерно домашние гуси клюют каждый день.

— Очень вкусное зерно,— сказал Юкси.— Давайте останемся и будем домашними гусями!

Тут к ним подошел Нильс.

— Что ж, Мартин, мне пора идти,— грустно сказал он.— А ты, если хочешь, оставайся.

— Нет,— сказал Мартин,— я тебя не брошу. С тобой я бы остался, а так — это не дело... Ну, полетели! — скомандовал он гусятам.

— Не хочу никуда лететь,— запищал Юкси.— Хочу здесь жить! Надоело мне все летать да летать.

— Раз отец велит тебе лететь, значит, надо лететь,— строго сказал Нильс.

— Да, тебе легко рассуждать,— опять запищал Юкси.— Сидишь себе на папиной шее и пальцем не шевельнешь. Попробовал бы сам полетать! Ах, если бы я сделался таким же маленьким, как ты! Меня бы тогда тоже все на спине носили. Вот было бы хорошо!

— Глупый! — сказал Нильс.— Неужели же ты, Юкси, и вправду хочешь быть маленьким?

— А что же тут такого? — ответил Юкси.— О маленьких все заботятся, маленьких ничего не заставляют делать...— Гусенок упрямо топнул лапой и запищал изо всех сил: — Хочу быть маленьким! Хочу быть маленьким! Хочу быть таким, как Нильс!

— Вот наказанье с этим Юкси! — сказал Мартин.— Недаром говорят — в семье не без урода. Проучить бы его, оставить бы навсегда маленьким!..

— Ну и что ж, я бы не заплакал,— хорохорился Юкси.

«Ах вот ты какой! — подумал Нильс.— Тогда тебя и жалеть нечего!»

И Нильс медленно и громко заговорил:

— Стань передо мной,
Как мышь перед горой,
Как снежинка перед тучей,
Как ступенька перед кручей,
Как звезда перед луной.

Бурум-шурум,
Шалты-балты.
Кто ты? Кто я?
Был — я, стал — ты.

И что же! Едва Нильс проговорил последнее слово, Юкси будто сжался в комочек. Он стал не больше воробья! Таким он был, когда только-только вылупился из яйца!

Юкси с удивлением озирался кругом. Он не понимал, что это с ним случилось.

А Мартин с Мартой загоготали, захлопали крыльями, забегали по двору.

«Наверное, они испугались за Юкси,— подумал Нильс.— А почему они сами тоже стали как будто меньше?»

— Мартин! Слушай, Мартин! — позвал Нильс своего друга.

Но Мартин шарахнулся в сторону, а за ним — Марта и все гусята.

В это время хлопнула дверь, и из дому с фонарем в руках выбежала мать.

— Кто это там гусей выпустил? Эй, мальчик, ты что тут делаешь? — закричала она и подбежала к Нильсу.

Вдруг фонарь выпал у нее из рук.

— Нильс, сыночек мой! — воскликнула она.— Отец, отец, иди скорее! Наш Нильс вернулся.

2

На следующий день Нильс проснулся еще до рассвета. Он сел на кровати и огляделся. Где он? Вместо высокого неба — над ним низкий потолок. Вместо кустов — гладкие стены. Да ведь он дома! У себя дома!

Нильс чуть не закричал от радости.

И вдруг он вспомнил: «А как же Акка Кебнекайсе! Неужели она улетит со своей стаей, и я никогда ее больше не увижу?»

Нильс вскочил и выбежал во двор.

«Верно, и Мартин хочет попрощаться со стаей Акки Кебнекайсе»,— подумал он и приоткрыл дверь птичника.

Мартин спал рядом с Мартой, окруженный гусятами.

— Мартин! Мартин! — позвал Нильс.— Проснись!

Мартин открыл глаза, вытянул шею и зашипел.

— Мартин! Да что ты? Ведь это я, Нильс!

Мартин недоверчиво покосился на него, но шипеть перестал.

— Мартин! Пойдем попрощаемся с Аккой! — сказал Нильс.

— Га-га-га! — ответил Мартин.

Но что он хотел сказать, Нильс не понял.

— Ну, не хочешь — не надо!

Нильс махнул рукой и один пошел к пруду.

Он еще не привык к тому, что у него такие большие руки и ноги. Поэтому он старательно обошел первый же камень, который попался ему на дороге.

— Да что это я! — спохватился Нильс и даже рассмеялся.

Он нарочно вернулся назад, перешагнул через камень, да еще поддал его носком башмака.

На краю деревни Нильс увидел, как из дому с ведрами в руках вышла какая-то женщина. Нильс прижался к забору. И опять рассмеялся. Ну чего ему прятаться? Ведь он теперь мальчик как мальчик.

И он смело пошел дальше.

Утро выдалось тихое, ясное. То и дело в небе раздавались веселые птичьи голоса. И каждый раз Нильс задирал голову — не его ли это стая летит?

Наконец он подошел к пруду.

В кустах испуганно зашевелились дикие гуси.

— Не бойтесь, это я, Нильс! — крикнул мальчик.

Услышав чужой голос, гуси совсем переполошились и с шумом поднялись в воздух.

— Акка! Акка! Подожди! Не улетай! — кричал Нильс.

Гуси взметнулись еще выше, а потом построились ровным треугольником и закружились над головой Нильса.

«Значит, узнали меня! — обрадовался Нильс и замахал им рукой.— Прощаются со мной!»

А одна гусыня отделилась от стаи и полетела прямо к Нильсу. Это была Акка Кебнекайсе. Она села на землю у самых его ног и стала что-то ласково говорить:

— Га-га-га! Га-га-га! Га-га-га!

Нильс нагнулся к ней и тихонько погладил ее по жестким крыльям. Вот какая она теперь маленькая рядом с ним!

— Прощай, Акка! Спасибо тебе! — сказал Нильс.

И в ответ ему старая Акка раскрыла крылья, как будто хотела на прощание обнять Нильса.

Дикие гуси закричали над ними, и Нильсу показалось, что они зовут Акку, торопят ее в путь.

Акка еще раз ласково похлопала Нильса крылом по плечу...

И вот она опять в небе, опять впереди стаи.

— На юг! На юг! — звенят в воздухе птичьи голоса.

Нильс долго смотрел вслед своим недавним друзьям. Потом вздохнул и медленно побрел домой.

Так кончилось удивительное путешествие Нильса с дикими гусями.

Снова Нильс стал ходить в школу.

Теперь в дневнике у него поселились одни пятерки, а двойкам туда было не пробраться.

Гусята тоже учились чему им полагается: как клевать зерно из деревянного корыта, как чистить перья, как здороваться с хозяйкой. Скоро они переросли Мартина с Мартой. Только Юкси остался на всю жизнь маленьким, словно он только что вылупился из яйца.

Комментарии

ШАРЛЬ ПЕРРО

(1628—1703)

Прежде, чем слава сказочника, к Шарлю Перро пришла слава государственного деятеля и поэта. Двадцать лет верой и правдой отслужил он королю Людовику XIV и его первому министру Кольберу, двадцать лет управлял строительством королевских дворцов и служб, но ничего, кроме доброй славы, это усердие ему не принесло: когда в 1682 году, поссорившись с министром, Перро должен был уйти в отставку, то за все долгие годы преданной службы он не получил никакой награды.

Зато Перро-поэт был более удачлив. Удалившись от дел в министерстве, он отдает литературе всю свою неисчерпаемую энергию. Перро не только проводит некоторые полезные реформы во Французской академии, во главе которой он был, но и собирается преобразовать в практическом духе всю литературу. В 1687 году он пишет поэму «Век Людовика Великого», посвященную не столько королю-солнцу, сколько расцвету науки и культуры во Франции того времени. В этой и других поэмах, в которых, помимо литературы, речь шла об «астрономии, географии, навигации, военном деле, философии, музыке и медицине», Перро доказывал современникам, что пришла пора искусству отойти от античных образцов и стать на современную, национальную почву. Перро и его сторонников называли новыми, а защитников классической традиции во главе с поэтом Никола́ Буало́ — древними. Вошедший в историю литературы спор древних и новых не утихал восемь лет. И сказки Перро тоже веский довод в этом споре — ведь он уравнял в правах такие классические жанры, как трагедия и ода, с бесхитростными историями, сказками, хорошо известными французам с детства, говоря, что они «могут быть в ряду новых литературных жанров».

Однако сказки никогда не удались бы Перро и не дожили бы до наших дней, если бы он не обладал одним редчайшим по тем временам качеством —

любовью и вниманием к детям. В глазах современников выглядело причудой его решение самому заняться воспитанием четырех детей, оставшихся у него после смерти жены. Перро же поступил так не только из чувства долга, но и потому, что с детьми ему было по-настоящему интересно и весело. Семейство жило дружно, часто устраивались вечера сказок, на которых снова и снова пересказывались приключения любимых героев: Золушки, Красной Шапочки, Кота в сапогах.

В печати сказки Перро стали появляться с 1691 года, а в 1697 году они составили сборник «Истории, или Сказки былых времен с поучениями» с подзаголовком: «Сказки матушки Гусыни». Большая их часть, например «Красная Шапочка», «Ослиная шкура» (у Перро это сказка в стихах, прозой ее пересказали позднее), «Спящая красавица», «Золушка», основаны на сюжетах французских народных сказок. А вот история «Рике с хохолком» встречается в одном испанском романе, а «Кот в сапогах» родом из Италии.

Не изменяя сюжетов, Перро изменил общий тон народных сказок, его герои — светские кавалеры и дамы, изысканно вежливые, изящные и насмешливые. К каждой сказке он приписывал коротенькое и часто шутливое «поучение».

Сказки Перро во все времена привлекали внимание композиторов, в том числе и русских. Всем известны балет П. И. Чайковского «Спящая красавица», балет С. С. Прокофьева «Золушка».

Первый русский перевод сказок Перро появился в конце XVIII века, и затем сказки много раз переводились и издавались. Старший современник Пушкина поэт В. А. Жуковский написал сказки в стихах «Спящая царевна» (1831) и «Кот в сапогах» (1845) по мотивам Перро. В 1866 году «Волшебные сказки Перро» были опубликованы в переводе И. С. Тургенева.

«Несмотря на свою несколько щепетильную, старофранцузскую грацию,— писал Тургенев в предисловии,— сказки Перро заслуживают почетное место в детской литературе. Они веселы, занимательны, непринужденны, не обременены ни излишней моралью, ни авторской претензиею; в них еще чувствуется веяние народной поэзии, их некогда создавшей; в них есть именно та смесь непонятно-чудесного и обыденно-простого, которая составляет отличительный признак настоящего сказочного вымысла».

В советское время появилось первое научное издание сказок Перро на русском языке («ACADEMIA», 1936 г., перевод под редакцией М. Петровского). В 1946 году замечательный советский драматург и сказочник Е. Шварц написал киносценарий «Золушка», по которому был снят фильм. Для детей много раз издавались сказки «Золушка», «Подарки феи», «Спящая красавица», «Кот в сапогах» в переводе Т. Габбе и «Красная Шапочка» в переводе под редакцией С. Маршака. Сказка «Рике с хохолком» в детском издательстве печатается впервые (по изданию «Сказки матушки Гусыни», Ленинград, «Художественная литература» 1976).

ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН

(1776—1822)

Гофман родился в городе Кёнигсберге, в семье адвоката и должен был пойти по стопам отца. Закончив юридическое образование, он поступает на государственную службу, переезжает из одного города в другой и наконец задерживается в Варшаве. Но в карьере чиновника для Гофмана не было ничего привлекательного, и он всегда с удовольствием занимался делами, далекими от службы по судебному ведомству: рисовал, читал лекции о музыке, сам сочинил балет и оперу, организовал филармоническое общество. В 1806 году судьба спасает его от скучной службы: войска Наполеона занимают Варшаву и Гофман, как и все прусские чиновники, оказывается без места. Целых восемь лет ведет он жизнь бродячего артиста, дает уроки музыки, дирижирует, пишет декорации, ставит спектакли, и хотя денег никогда не хватает, он счастлив свободой. В 1809 году появились его первые литературные произведения, посвященные музыке и музыкантам: «Кавалер Глюк», «Дон Жуан», очерки о композиторе Крейслере.

И все-таки в 1814 году Гофман вынужден вернуться на службу, которую называл «своей тюрьмой». Отныне и до конца жизни он — чиновник министерства юстиции в Берлине. Именно в эти последние восемь лет (1814—1822) созданы его основные произведения: сборники «Фантазии в манере Калло» (1814—1815), «Ночные рассказы» (1817), «Серапионовы братья» (1819—1821), повести «Золотой горшок» (1814), «Крошка Цахес» (1819), «Повелитель блох» (1822), неоконченный роман «Житейские воззрения кота Мурра» (1820—1822).

Великий русский писатель-демократ А. И. Герцен сказал о Гофмане: «Его жизнь нисколько не была похожа на прозябание, она самая странная, самая разнообразная из всех его повестей, или, лучше, в ней-то зародыш всех его фантастических сочинений». Захватывающая фантастика, всепроникающая ирония Гофмана оказали огромное влияние на немецкую литературу и на творчество многих писателей далеко за пределами Германии. Гофманом восхищались такие мастера, как Бальзак, Жорж Санд, Диккенс, Уайльд, Бодлер, По. Его соотечественник, великий поэт Генрих Гейне отводил ему особое место в ряду современников, подчеркивая, что «Гофман со своими причудливыми картинками всегда и неизменно держится земной реальности».

В России первые переводы рассказов Гофмана появились еще в двадцатых годах XIX века. Многие из них печатались в журнале «Московский телеграф», вокруг которого группировались прогрессивные критики — Белинский, Станкевич, Герцен. Здесь же были опубликованы переводы «Золотого горшка», глав из романа «Житейские воззрения кота Мурра». Далеко не все переводы были сделаны на высоком уровне. По этому поводу один из первых и лучших переводчиков Гофмана, писатель из революционно-демократической среды В. П. Боткин писал в 1836 году: «Чтобы переводить Гофмана, надо чувствовать так же, как он чувствует, а для этого надо так же страдать, так же

сумасбродить и быть готову так же умереть, как он страдал, сумасбродил и умер».

Первая в России статья о Гофмане принадлежит А. И. Герцену, она появилась в «Московском телеграфе» в том же 1836 году. С творчеством Гофмана, в основном во французских переводах, были знакомы Пушкин, Лермонтов, Гоголь.

К середине сороковых годов увлечение романтизмом прошло, и долгое время в России почти не вспоминали о Гофмане. Исключение составляла сказка «Щелкун орехов и мышиный король» из цикла «Серапионовы братья», которую регулярно переиздавали для детей. А в конце XIX века оказалось, что Гофман удивительно вписывается в духовный настрой эпохи, и интерес к нему вспыхивает вновь. В 1880 году появился виртуозный перевод повести «Золотой горшок», выполненный поэтом и философом, близким к символизму, Владимиром Соловьевым. В 1896 году начинается и в 1899 году заканчивается издание Полного собрания сочинений Гофмана. 6 декабря 1892 года в Мариинском театре в Петербурге состоялось первое представление балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» по сказке Гофмана.

В советское время интерес к Гофману не иссяк, его сочинения переводятся и издаются большими тиражами. В 1962 году в издательстве «Художественная литература» вышел трехтомник Гофмана. Совсем недавно, в 1976 году, для детей была издана книга «Золотой горшок и другие истории» (М., Изд-во «Детская литература»). В 1978 году издательство «Детская литература» выпустила повесть Гофмана «Маленький Цахес, по прозванию Циннобер» — в новом переводе С. Апта, этот перевод дополнил второе издание «Золотого горшка и других историй» в 1981 году.

Сказка «Щелкунчик и Мышиный Король» была впервые переведена на русский язык в 1835 году, а в 1840 году в книге «Подарок на Новый год. Две сказки Гофмана для больших и маленьких детей» она появилась под названием: «Грызун орехов и царек мышей». Это издание было отмечено рецензией Белинского, который назвал сказку «чудным созданием чудного гения».

В 1937 году в издательстве «ACADEMIA» был впервые опубликован перевод И. С. Татариновой, с тех пор много раз печатавшийся, в том числе в изданиях для детей. Этот перевод публикуется и в данном томе.

ЯКОБ ГРИММ

(1785—1863)

и ВИЛЬГЕЛЬМ-КАРЛ ГРИММ

(1786—1859)

Братья Якоб и Вильгельм Гримм увлеклись изучением народного творчества, германской стариной еще в студенческие годы. Возможно, поначалу это было данью моде: интерес к национальной истории, особенно к истории средневековья — одна из характерных черт молодого литературного направления романтизма, зародившегося в Германии на рубеже XVIII и XIX веков. Но у Якоба и Вильгельма это увлечение стало делом всей жизни. В 1811 году, почти одновременно, вышли в свет научная работа Я. Гримма «О старонемецком мейстерзанге» (то есть о немецких поэтах-певцах XIII—XVI веков) и перевод «Древнедатских героических песен» В. Гримма. Уже в этих первых работах видно отличие основательного теоретика Якоба, в будущем выдающегося филолога, от художественной натуры Вильгельма. В дальнейшем, хотя оба брата будут работать вместе, это разделение сфер деятельности сохранится.

В 1812 году появился первый том «Детских и домашних сказок», 1815-м — второй и в 1822-м — третий, завершающий основной свод, в который вошли двести сказок (не считая вариантов) разных районов Германии. Братья Гримм не только собирали и записывали сказки со слов крестьян-сказителей, но и организовали такую же работу по всей стране. Среди корреспондентов, присылавших им записи, были учителя, писатели.

Однако дословные записи надо было не только разобрать по циклам и диалектам, но и обработать. Вначале братья Гримм старались вносить как можно меньше своего в эту обработку, сохранять все проявления древнего мышления, старинные языковые формы. Если бы они выполнили это свое первоначальное намерение, свод немецких сказок хотя и стал бы большим событием в науке, но никогда не сыграл бы той роли в литературе и духовной жизни Германии, которую «Детские и домашние сказки» сыграли на самом деле. К счастью, Якоб и Вильгельм в конце концов решили действовать по-другому: сохраняя многие особенности стиля и языка народных сказок, но опираясь чаще всего на более поздние, а потому более понятные для читателей варианты, они придали сказкам литературную форму, в одном месте удалив непоследовательность и противоречие, в другом прибавив чуточку юмора или что-то подчеркнув. Разумеется, для этого нужна была большая чуткость к народному слову и художественная одаренность. В результате сказки, оставаясь народными по духу (гораздо больше, чем, например, сказки Ш. Перро), вместе с тем получили живость, которой так часто не хватает сухой научной записи.

В 1840 году, после поездки по Северной Германии, Ф. Энгельс писал, что только здесь он «по-настоящему понял «Детские сказки» Гриммов. Почти

на всех этих сказках заметен отпечаток того, что они зародились здесь...»[1]

Братья Гримм открыли для современников сокровища народной фантазии, поэзии, юмора. Они вообще обладали редким даром оживлять сказания далекой древности и блестяще перевели на немецкий легенды Скандинавии, французскую «Песнь о Роланде», составили два сборника «Немецких преданий». Оба брата пользовались уважением и признанием у себя на родине. Они были профессорами сначала Геттингенского, а потом Берлинского университетов, членами Академии наук.

До революции в России много раз издавались сказки братьев Гримм в разных переводах. В советское время для детей сказки Гриммов были пересказаны А. Введенским и под редакцией С. Маршака вышли в Лендетиздате в 1935 году. В 1949 году появился перевод Г Петникова, вновь переизданный в 1978 году в издательстве «Художественная литература». Пересказы Т. Габбе впервые были опубликованы в сборнике «По дорогам сказки» в 1962 году.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, «Искусство», 1957, 2, с. 551.

ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ

(1802—1827)

Гауф родился в городе Штутгарте в бюргерской семье. Когда ему исполнилось семь лет, отец его умер, и мать вместе с детьми переехала в Тюбинген к деду. В доме деда мальчик зачитывался собранными в его богатой библиотеке книгами, отдавая предпочтение запутанным историям и рассказам о старине, которые по вечерам пересказывал сестрам, переиначивая по-своему и присочиняя красочные подробности.

В восемнадцать лет он поступил на теологический факультет одного из крупнейших в Германии Тюбингенского университета, а по окончании его, в 1824 году, стал домашним учителем в семье барона и баронессы Хюгель, людей состоятельных и имевших связи с литературным миром. Первыми слушателями первых сказок Гауфа были его маленькие воспитанники. А в 1826 году вышел первый «Альманах сказок».

В том же году появились два романа Гауфа: «Лихтенштейн» и «Человек с луны». «Лихтенштейн», роман исторический, принес молодому писателю славу «немецкого Вальтера Скотта». Что же касается «Человека с луны», то и его успех был не менее шумным, но скандальным. Решив мистифицировать читателей, Гауф выпустил этот роман под именем автора чрезвычайно популярных дешевых книжонок Клаурена и написал его в виде пародии на продукцию этого любимца публики. Пародия была столь искусна, что поклонники Клаурена покупали нарасхват его «последний роман», а он сам выступил с протестом. Пришлось Гауфу объясниться в печати и объявить, что он не покушался на лавры Клаурена, а только хотел высмеять его и лишенную вкуса публику.

Успех всех трех опубликованных в один год книг дал Гауфу возможность осуществить давнюю мечту: он отправился в путешествие за границу. Но прошел всего год — и Гауф, один из самых молодых и самых прославленных писателей Германии, умер в возрасте двадцати пяти лет от нервной горячки.

Второй «Альманах сказок» вышел еще при жизни автора, в 1827 году, а третий — в 1828-м, уже после его смерти. Сказки составляют три цикла: «Караван», «Александрийский шейх и его невольники» и «Харчевня в Шпессарте». Истории (не все они волшебные) каждого цикла объединены общим обрамляющим рассказом: в первом по пустыне бредет торговый караван, во втором шейх отпускает на волю рабов и находит своего давно потерянного сына, в третьем действуют шпессартские разбойники, постояльцы харчевни, дорожные спутники. Сюжеты для новелл и сказок Гауф черпал и в фольклоре, и в вошедших в моду арабских сказках «Тысяча и одной ночи», и у немецких и французских авторов. Сказки «Калиф-аист» и «Маленький Мук» относятся к циклу «Караван», «Карлик Нос» — к циклу «Александрийский шейх», а «Холодное сердце» — к циклу «Харчевня в Шпессарте».

На русский язык Гауфа много переводили с конца XIX века. В 1923 году сказки Гауфа были изданы в серии «Всемирная литература» в переводе Б. Д. Прозоровской, а в 1938 году в переводах Н. Г. Касаткиной, И. С. Татариновой и М. А. Полиевктовой. В 1977 году издательство «Художественная литература» выпустило в свет сказки Гауфа; для этого сборника был сделан новый перевод «Харчевни в Шпессарте» С. Е. Шлапоберской. Для детей сказки Гауфа выходили неоднократно, в сборниках и в отдельных изданиях.

В издательстве «Детская литература» сказки Гауфа издавались многократно отдельными изданиями в переводах М. Салье и в сборнике «По дорогам сказки» в пересказах Т. Габбе и А. Любарской.

ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН

(1805—1875)

Великий сказочник родился в старинном датском городке Оденсе, в семье сапожника. Его детство проходило среди самых обыкновенных людей, в самом обыкновенном бедном жилище, но не было такой обыкновенной вещи, которая не превращалась бы для него в чудо: сбивчивые рассказы старух из соседней богадельни становились в его воображении волшебными историями; ножницы, которыми кроила его мать, в его руках принимались плясать по бумаге, вырезывая причудливые фигурки; одних названий пьес на театральных афишах было довольно, чтобы он сочинял и разыгрывал с помощью самодельных тряпичных актеров целые спектакли.

Театр был первым серьезным увлечением Андерсена. В четырнадцать лет, после смерти отца, он отправился в столицу Дании Копенгаген, чтобы стать актером. Актера из него не вышло, зато некоторые из предложенных им пьес, а может быть, и сам их автор вызвали интерес у директора одного из театров, и по его ходатайству Андерсен получил стипендию и право бесплатного обучения в латинской школе.

Достигнув двадцати лет, Андерсен решил, что его призвание — поэзия, и его первые книги стихов и лирических записок привлекли к нему внимание некоторых литераторов, в том числе выдающегося датского поэта и драматурга А. Эленшлегера.

Едва обретя самостоятельность, Андерсен пустился в странствия. За свою жизнь он совершил двадцать девять путешествий, побывал во многих странах Европы, в Азии и даже добрался до Африки! Любопытство его было неистощимо, и что-то детское угадывалось в этой страсти все посмотреть и попробовать. Больше всего в путешествиях его интересовали люди, и он не упускал случая познакомиться с дорожными спутниками, расспросить их и, конечно, повидать знаменитых писателей, поэтов, музыкантов. Вот далеко не полный список тех из них, кого он посетил в годы молодости и зрелости: Гюго, Бальзак, Дюма, Диккенс, Гейне, Россини, Вагнер, Лист.

Из путешествия по Италии Андерсен привез первый роман «Импровизатор» (1835), который принес ему известность, но был довольно скоро забыт. В том же 1835 году вышел и первый сборник сказок, обессмертивших имя Андерсена. Прирожденный талант сказочника, талант, в котором он так долго не решался признаться ни себе, ни другим, наконец проявился. И в сказке Андерсену удалось выразить все то, что не удавалось ему как драматургу, актеру и поэту. Для сказки, а не для сцены пригодилось умение перевоплощаться в любые лица и вещи — от китайского императора до штопальной иглы; пригодились и прекрасная память, и дар импровизации, и поэтичность, и любовь ко всему новому и удивительному, и бесконечная доброта — словом, все те сказочные свойства, без которых не были бы написаны «Стойкий оловянный солдатик» и «Снежная королева», «Гадкий утенок» и «Соловей».

Вторая половина тридцатых и сороковые годы XIX века — время, когда были созданы лучшие сказки Андерсена. С 1843 года он стал называть их «Новыми сказками», а с 1852-го — «Историями», которые становились все более грустными и серьезными. Именно с Андерсена началась настоящая детская литература, он — прадедушка Карлсона. Хотя, разумеется, сказки Андерсена интересно и важно читать не только детям.

«Я приношу пользу миру, а в этом ведь весь смысл, вся радость жизни»,— говорил Андерсен. И он щедро дарил радость каждой своей новой сказкой. Андерсен выступал с чтением сказок перед народом. Он не только не отрекался от своего «низкого» происхождения, но гордился им и хотел, чтобы его сказки согревали детство ребятишек из таких же семей, в какой вырос он сам. А самыми заклятыми его врагами были жестокость и чванство. Свою биографию (1846) он назвал: «Сказка моей жизни», но, может быть, «Гадкий утенок» — тоже автобиография?

Сказки и истории Ганса Христиана Андерсена быстро облетели весь свет. В России их стали переводить почти сразу после появления первого сборника.

«Я рад, что мои произведения читаются в великой России»,— писал Андерсен в 1868 году переводчице М. В. Трубниковой. В 1845—1847 годах в журналах «Современник» и «Новая библиотека для воспитания» появились сказки «Бронзовый кабан», «Роза с могилы Гомера», «Гадкий утенок», «Соловей» в переводе Р К. Грот, сестры знатока и популяризатора скандинавской литературы Я. К. Грота. В шестидесятых годах М. В. Трубникова и Н. В. Стасова перевели с немецкого Полное собрание сочинений Андерсена. В семидесятых — восьмидесятых годах вышли три тома сказок, в числе переводчиков которых была украинская писательница Марко Вовчок. Наконец, в 1894—1895 годах появились переводы сказок с датского, выполненные А. и П. Ганзен, многие из которых остаются лучшими до сегодняшнего дня.

О сказках Андерсена с восторгом отзывались А. Чехов, Л. Толстой.

В советское время сказки Андерсена переведены на тридцать два языка народов нашей страны и ежегодно издаются массовыми тиражами. В 1937 году издательство «ACADEMIA» выпустило два тома сказок в переводе под редакцией М. Полиевктовой, а в 1969 году вышел двухтомник Андерсена в издательстве «Художественная литература», включающий старые и новые переводы. Каждый год для детей выходит в свет один, два, три сборника сказок Андерсена в переводах и пересказах Т. Габбе, А. Любарской, Ю. Яхниной, К. Телятникова и других. Прекрасный литературный портрет Андерсена, написанный с талантом и любовью К. Паустовским, можно найти в книге Г.-Х. Андерсен «Сказки и истории», М., Гослитиздат, 1955. Впоследствии эта вступительная статья неоднократно перепечатывалась.

Постоянно обращаются к сказкам Андерсена детские театры. Еще до революции на сцене шли «Огниво», «Принцесса и свинопас», «Дюймовочка», «Снежная королева». В 1939 году Е. Шварц написал пьесу «Снежная королева», которая до сих пор не сходит со сцены. Он же написал две пьесы для взрослых по мотивам сказок Андерсена «Голый король» (1934) и «Тень» (1940).

ОСКАР УАЙЛЬД

(1854—1900)

Полное имя Уайльда — Оскар Фингал О'Флаэрти Уилс. Его отец был выдающимся врачом, и за особые заслуги он, бывший аптекарь, был пожалован дворянским титулом. Мать тоже была очень талантлива: знала много языков, писала стихи, очерки. И оба они слыли людьми со странностями даже в родной Ирландии, где чудаки не редкость.

Оскар Уайльд получил отличное образование: в 1879 году он окончил Оксфордский университет. Уже в студенческие годы он задавал тон товарищам, был признанным законодателем мод и лучшим университетским поэтом. По окончании университета Уайльд с наслаждением окунулся в литературную и светскую жизнь. Его первый сборник стихов (1881) был встречен восторженно. Но главным его достоинством было, по признанию современников, неподражаемое умение вести беседу. Это было не просто искусство светской болтовни, это была вдохновенная импровизация. Подражатели «блистательного Оскара» — а их было множество — могли копировать его прическу, одежду, манеру держаться, но подражать его таланту и остроумию не мог никто.

Однако Уайльд стремился не просто блистать, а удивлять и даже шокировать общество. Не из одного тщеславия он придавал себе вид принца из сказки: длинные кудри, кружева, бархатный берет, короткие панталоны и атласные чулки,— ему хотелось напомнить зачерствевшим в мещанском практицизме соотечественникам о том, что, кроме полезного и общепринятого, существует прекрасное, необыкновенное. В 1882 году Уайльд как знаменитость (хотя, по существу, он еще почти ничего не написал!) был приглашен в Америку, где читал лекции по эстетике, точнее, по эстетизму, объясняя американцам свое понимание красоты и искусства. А искусством для него была вся жизнь, которую он играл, как актер на сцене.

С конца восьмидесятых годов до 1895 года Уайльд создал почти все свои основные произведения: роман «Портрет Дориана Грея» (1891), пьесы (1892—1895), статьи об искусстве и два сборника сказок «Счастливый принц и другие истории» (1888) и «Гранатовый домик» (1891). В последний сборник вошла и сказка «Мальчик-звезда».

Уайльда считали и часто продолжают считать человеком одаренным, блестящим, но холодным, чуждым сострадания и предпочитавшим все искусственное настоящему. Да, он действительно красил полевые гвоздики в зеленый цвет, любил повторять, что «ложь поэзии правдивее правды жизни»; он велел сшить одному нищему в грязных лохмотьях лохмотья новые, более отвечающие эстетическим требованиям, и все же в нем жило и другое, то, что он не выставлял напоказ, но и не прятал,— то, что проступает в романе и особенно в сказках. «Портрет Дориана Грея» — тоже сказка, только страшная. Герой романа — молодой человек, прекрасный и утонченный, чья главная страсть — жажда наслаждений и который в поисках удовольствий, не колеблясь, губит любящую его женщину, убивает друга. Лицо его остается по-прež-

нему прекрасным, зато меняется лицо портрета, на котором отражается все уродство души Дориана Грея. Пытаясь уничтожить портрет, Дориан Грей гибнет сам, унося в могилу свой истинный страшный облик.

Так же и в сказке «Мальчик-звезда» жестокость превращается в уродство, но у этой сказки счастливый конец. В сказке «Великан эгоист» сад зацветает лишь тогда, когда великан пускает в него детей. «Счастливый принц» — это золотая статуя с сапфировыми глазами, и все свои драгоценности и позолоту принц раздает людям, погибающим в нужде. Написать добрую сказку может, наверное, только добрый человек. И, возможно, сказки Оскара Уайльда говорят о нем правдивее, чем его «красивые жесты», тем более что, в отличие от жестов, сказки продолжают жить.

Не всю жизнь Уайльд оставался баловнем судьбы, она оказалась жестокой к нему: в 1895 году он был приговорен к двум годам каторжной тюрьмы, и не один буржуа злорадствовал по поводу того, что этот экстравагантный денди, коривший их всех за серость и косность, открыто признан безнравственным человеком. Заодно безнравственными объявили и его книги и сожгли их. Уайльда лишили прав отцовства, он потерял все свое состояние, жена его умерла от горя.

В тюрьме Уайльд не переставал писать, но теперь, когда его окружали страдания и самому ему пришлось страдать наравне с людьми, брошенными на самое дно общества, в его произведениях появились боль и гнев. Свидетельства тому «Баллада Редингской тюрьмы» и «Письма о тюремной жизни», в которых Уайльд пишет о чуткости товарищей по несчастью, о чудовищных законах, карающих детей, и о мучениях маленьких арестантов.

Светские знакомые Уайльда были поражены и не узнавали своего прежнего кумира в авторе этих стихов и статей. Только Бернард Шоу, знавший Уайльда с другой стороны (в 1886 году они вместе подписали просьбу о помиловании американских политических преступников), единственный человек в Англии, пытавшийся смягчить его участь, сказал: «Он совсем не переменился».

Остаток жизни Уайльд прожил в нищете и болезни, двери домов прежних друзей были для него закрыты. Скончался он в Париже, в квартале бедноты.

В России Уайльд стал популярен с конца XIX века. В 1903—1910 годах издавалось Полное собрание его сочинений в десяти томах, а в 1912 году — четырехтомное собрание сочинений под редакцией К. И. Чуковского, знатока творчества Уайльда и автора интересной книги о нем. Чуковский был составителем и советского издания Уайльда в двух томах (М., 1960).

Сказка «Мальчик-звезда» под разными названиями переводилась несколько раз до революции. В 1941 году появился перевод И. Г. Винокурова «Звездный мальчик», а в 1960 году в двухтомнике опубликован перевод Т. Озерской, который печатается в данном томе. В 1972 году в издательстве «Детская литература» вышли сказки Уайльда со статьей А. Аникста, из которой много можно узнать о писателе. Об Оскаре Уайльде для детей писал и К. Паустовский (предисловие к сборнику 1937 года).

СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ

(1858—1940)

Сельма Оттилия Лувиса Лагерлёф родилась в шведской провинции Вермланд, в живописной усадьбе Морбакка. И пожалуй, нет ни одного крупного произведения Лагерлёф, в которое не вплетались бы сказки и легенды Вермланда. Детство Сельмы, несмотря на тяжелую болезнь, было счастливым, она росла в большой дружной семье, где любили чтение, музыку. Начиная с семи лет, она принимается сочинять стихи, прозу, пьесы — словом, пробовать все подряд.

Окончив лицей в Стокгольме, а затем высшую учительскую семинарию, Сельма Лагерлёф стала работать учительницей в городке Ландскруне на юге Швеции. Там она написала первый роман, о котором вскоре заговорила вся страна, «Сагу о Йесте Берлинге» (1891). Воодушевленная успехом, она решает целиком посвятить себя литературе.

За долгую и до последнего дня наполненную творчеством жизнь Сельма Лагерлёф написала много романов, рассказов и пьес, принесших ей славу не только в Швеции, но и далеко за ее пределами. Она была избрана членом Шведской академии, почетным доктором крупнейшего в Швеции Упсальского университета, стала лауреатом Нобелевской премии (1909) «за благородный идеализм и богатство фантазии». Много путешествовала, побывала в 1912 году и в России, на родине Тургенева, Толстого и Достоевского, которых она называла в числе своих учителей.

Но самая счастливая судьба выпала ее книге для детей «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции». Эта книга была задумана как учебник географии. История ее создания началась с того дня, когда Сельма Лагерлёф получила письмо от Альфреда Далина, одного из руководителей Всеобщего союза учителей народных школ Швеции. Союз решил заменить устаревшие и неинтересные школьные учебники новыми, написанными живо и увлекательно. Лагерлёф как известной писательнице и бывшей учительнице предлагалось принять участие в написании книги для чтения по географии Швеции, в которую, кроме обязательных сведений, должны были входить описания природы, традиций, легенды шведских провинций. Предложение пришлось Лагерлёф по душе, и она приняла его с одним условием: она хотела написать всю книгу от начала до конца сама, не отказываясь, разумеется, от консультации специалистов. Кроме того, летом 1902 года, выполняя ее просьбу, А. Далин разослал шведским учителям список вопросов по этнографии и фольклору различных областей.

Сельма Лагерлёф изучила все присланные материалы, перечитала множество научных книг и справочников по географии, ботанике и зоологии, и наконец в 1904 году были написаны первые страницы книги, в которой вся Швеция, от южной провинции Сконе до северной Лапландии, была показана с птичьего полета глазами заколдованного мальчика. В конце 1906 года вышел первый, а через год, в конце 1907-го — второй том «Путешествия Нильса». Объем книги в подлиннике около шестисот страниц.

Дети встретили Нильса с восторгом и завалили автора книги письмами и вопросами. Но нашлись строгие критики, которые приняли книгу в штыки. Церковь признала ее вредной, так как в ней действуют тролли и прочие неузаконенные христианством существа. Некоторые ученые нашли в книге кое-какие неточности и обрушились на Лагерлёф за то, что она осмелилась проникнуть в храм науки и протащить туда неуместные сказки и шутки. Об одном из таких критиков Сельма Лагерлёф писала: «В целом гнев его пробудили не столько обнаруженные им ошибки, сколько сама попытка фантастично и весело писать для детей»[1].

В тот же год, когда книга вышла в свет, Нильс отправился путешествовать по разным странам: его историю стали переводить на многие языки мира. В одном из парков японской столицы Токио даже поставили памятник: Нильс верхом на Мартине.

Первый русский перевод сказки был сделан в 1908 году, но оказался довольно слабым и не принес успеха книге. Этот и другие ранние переводы были сделаны не с языка оригинала, а с немецкого. Доступной для детей книга Лагерлёф стала в 1940 году с выходом в свет пересказа З. М. Задунайской и А. И. Любарской под названием: «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». В 1973 году пересказ был дополнен. Текст книги в пересказе значительно сокращен, опущены подробные описания шведских провинций, изменены многие эпизоды, выделен основной сказочный стержень сюжета. Изменен также и конец истории Нильса: у Лагерлёф он остается маленьким, чтобы сохранить жизнь Мартину (точнее Мортену) и его семейству, и только надеется на милость гнома. Эпизод с Юкси и обратным превращением Нильса внесен в текст авторами пересказа. Все эти изменения служат определенной цели: в пересказе нет искусственности, которая почти неизбежна при сокращении большого произведения, а история Нильса и Мартина читается с захватывающим интересом. Пересказ Задунайской и Любарской стал самостоятельной и давно полюбившейся детям книгой. В нашем издании в текст внесены некоторые исправления и уточнения.

Н. МАВЛЕВИЧ

---

[1] Цитируется по книге Л. Ю. Брауде «Полет Нильса», М., 1975.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Нагибин. О сказках и сказочниках 3

Ш. ПЕРРО (1628—1703)

Сказки

Красная Шапочка. *Перевод с французского под редакцией С. Маршака* . 29
Рике с хохолком. *Перевод с французского А. Федорова* 31
Золушка, или Хрустальная туфелька. *Пересказ с французского Т. Габбе* 36
Подарки феи. *Пересказ с французского Т. Габбе* 43
Спящая красавица. *Пересказ с французского Т. Габбе* 46
Кот в сапогах. *Пересказ с французского Т. Габбе* 52

Э. Т. А. ГОФМАН (1766—1822)

Щелкунчик и Мышиный Король. *Сказка. Перевод с немецкого И. Татариновой* 57

БРАТЬЯ ГРИММ
ЯКОБ (1785—1863), ВИЛЬГЕЛЬМ (1786—1859)

Сказки

Три брата. *Пересказ с немецкого Т. Габбе* 109
Белоснежка и Краснозорька. *Пересказ с немецкого Т. Габбе* 110
Король Дроздобород. *Пересказ с немецкого Т. Габбе* 117
Ленивый Гейнц. *Перевод с немецкого Г. Еременко* 123
Три счастливца. *Перевод с немецкого Г. Еременко* 125
Госпожа Метелица. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией С. Маршака* 128
Горшок каши. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией С. Маршака* 131
Выгодное дело. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией С. Маршака* 132

Бременские музыканты. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией С. Маршака* 135
Семеро храбрецов. *Пересказ А. Введенского с немецкого под редакцией С. Маршака* 138
Храбрый портной. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией А. Маршака* 140
Глупый Ганс. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией С. Маршака* 145
Заяц и еж. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией С. Маршака* 150
Соломинка, уголь и боб. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией С. Маршака* 152
Молодой великан. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией С. Маршака* 153
Маленькие человечки. *Пересказ с немецкого А. Введенского под редакцией С. Маршака* 158

В. ГАУФ (1802—1827)

Сказки

Калиф-аист. *Пересказ с немецкого А. Любарской* 163
Холодное сердце. *Пересказ с немецкого Т. Габбе и А. Любарской* . . . 174
Маленькнй Мук. *Перевод с немецкого М. Салье* 214
Карлик Нос. *Перевод с немецкого М. Салье* 227

Г.-Х. АНДЕРСЕН (1805—1875)

Сказки и истории

Гадкий утенок. *Перевод с датского А. Ганзен. Пересказ Т. Габбе и А. Любарской* 251
Соловей. *Перевод с датского А. Ганзен. Пересказ Т. Габбе и А. Любарской* 259
Дюймовочка. *Перевод с датского А. Ганзен. Пересказ Т. Габбе* 267
Стойкий оловянный солдатик. *Перевод с датского А. Ганзен. Пересказ Т. Габбе и А. Любарской* 277
Свинья-копилка. *Перевод с датского А. Ганзен. Пересказ Т. Габбе* . . . 282
Новый наряд короля. *Перевод с датского А. Ганзен* 285
Свинопас. *Перевод с датского А. Ганзен* 287
Огниво. *Перевод с датского А. Ганзен* 292
Оле-Лукойе. *Перевод с датского А. Ганзен* 298
Принцесса на горошине. *Перевод с датского А. Ганзен* 307
Дикие лебеди. *Перевод с датского А. Ганзен* 308
Русалочка. *Перевод с датского А. Ганзен* 320
Елка. *Перевод с датского А. Ганзен* 335
Штопальная игла. *Перевод с датского А. Ганзен* 342

Пастушка и трубочист. *Перевод с датского А. Ганзен* 345
Старый дом. *Перевод с датского А. Ганзен* 348
Старый уличный фонарь. *Перевод с датского А. Ганзен* 354
Жаба. *Перевод с датского А. Ганзен* 359
Уж что муженек сделает, то и ладно! *Перевод с датского А. Ганзен* . . . 364
Волшебный холм. *Перевод с датского И. Разумовской и С. Самостреловой* 368
Прыгуны. *Перевод с датского А. Ганзен* 374
Тень. *Перевод с датского А. Ганзен* 375
Бузинная матушка. *Перевод с датского А. Ганзен* 386
Последний сон старого дуба. *Перевод с датского А. Ганзен* 392
Скороходы. *Перевод с датского А. Ганзен* 396
Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях. *Перевод с датского А. Ганзен* 398
Улитка и розы. *Перевод с датского А. Ганзен* 407
Серебряная монетка. *Перевод с датского А. Ганзен* 409
О том, как буря перевесила вывески. *Перевод с датского К. Телятникова* 412
Судьба репейника. *Перевод с датского А. Ганзен* 415
Калоши счастья. *Перевод с датского К. Телятникова* 419
Ребячья болтовня. *Перевод с датского А. Ганзен* 438
Чего только не придумают... *Перевод с датского Б. Прозоровской* . . . 439
Снежная королева. *Перевод с датского А. Ганзен* 441
Садовник и господа. *Перевод с датского Ю. Яхниной* 463
Цветы маленькой Иды. *Перевод с датского А. Ганзен* 469
Скверный мальчишка. *Перевод с датского А. Ганзен* 476
Ромашка. *Перевод с датского А. Ганзен* 477
Аисты. *Перевод с датского А. Ганзен* 480
Воротничок. *Перевод с датского А. Ганзен* 484
Лен. *Перевод с датского А. Ганзен* 486
Ганс Чурбан. *Перевод с датского А. Ганзен* 490

О. УАЙЛЬД (1856—1900)

Мальчик-звезда. *Сказка. Перевод с английского Т. Озерской* 495

С. ЛАГЕРЛЁФ (1858—1949)

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. *Повесть-сказка. В свободном пересказе З. Задунайской и А. Любарской* 511

КОММЕНТАРИИ 637

Составление тома
Е. Н. Катасоновой

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(том 38)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

*

ИБ № 2981

Ответственные редакторы
С. К. Беркман и Н. В. Шерешевская

Художественный редактор
Н. З. Левинская

Технический редактор
Н. Г. Мохова

Корректоры
Ж. Ю. Румянцева и Э. Н. Сизова

Сдано в набор 19.09.80. Подписано к печати 28.10.81. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 42,13. Усл. кр. отт. 45,01. Уч.-изд. л. 42,77+ +9 вкл.=43,33. Тираж 407 000 (200 001—407 000) экз. Заказ № 2390. Цена 2 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49. Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

Л64 **Литературные** сказки зарубежных писателей/ Сост. Е. Н. Катасоновой; Предисл. Юрия Нагибина; Коммент. Н. Мавлевич; Рис. Н. Гольц.— М.: Дет. лит., 1982.— 655 с., ил.— (Б-ка мировой литературы для детей, т. 38).

В пер.: 2 р. 10 к.

В этот том вошли сказки и сказочные повести Ш. Перро, Э. Т. А. Гофмана, Бр. Гримм, В. Гауфа, Г.-Х. Андерсена, О. Уайльда, С. Лагерлёф.

Л $\frac{70803—012}{М101(03)82}$ Подп. изд. Сб.3

2р. 10к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»